

Владимир Гендряков | 2

Владимир Гендряков



Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1979

Владимир Тендряков

Собрание сочинений в четырех томах

Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1979

Владимир Тендряков

Собрание сочинений

ТОМ

2

Романы

Москва

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1979

P2
T33



Оформление художника
С. ГАННУШКИНОЙ

Т $\frac{70302-197}{028(01)-79}$ — подписное

Т Тугой узел

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Душной июньской ночью Комелев вышел из Сташинского сельсовета, где проводил заседание партактива, сел в машину, уткнул в грудь подбородок и задремал...

На крутом повороте у моста через реку Шору шофер вдруг почувствовал, что Степан Петрович всем телом мягко привалился к его боку. Шофер затормозил на мосту, испуганно тряхнул за плечо, сдавленным голосом окликнул. Комелев не ответил...

Врачи установили — инфаркт.

Секретаря райкома Комелева хоронили через два дня.

Вперемешку с невысоким соснячком стояли кресты и скромные деревянные обелиски с выцветшими фанерными звездами. Пока не пришел народ, на этом тихом сельском кладбище хозяйничал дятел, выбивал звонкую дробь, дурманяще пахло нагретой на солнцепеке земляникой.

В Коршуновском районе не было оркестра — люди молча обступили могилу, из которой тянуло влажным погребным холодком. Дятел спрятался и притих. Крепкий запах земляники как-то сам собой рассеялся.

Председатель колхоза «Труженик» Игнат Гмызин, вместе с другими несший гроб, осторожно освободил плечо от полотенца, смятой кепкой вытер лоб и бритую голову.

Гроб лег на край могилы. Комелев, тучноватый, важный, с большим желтым, мертвецки матовым лбом, лежал, накрытый по грудь, в своей черной гимнастерке, в которой его привыкли видеть при жизни.

Приминая влажный песок, поднялся на насыпь второй секретарь Баев. Его лицо было усталым, потным от жары, на подбородке заметно выступала щетина.

Игнат Гмызин, отступив в сторону, стал разглядывать собравшихся. И с покойным Комелевым, и с теми, кто его провожал, Игнат проработал много лет.

В изголовье гроба стоит шурин Игната, заведующий отделом пропаганды и агитации райкома Павел Мансуров, плечистый, подобранный, как всегда щеголеватый — полотняный китель выутюжен, легкие сапоги лишь чуть припудрены пылью. Он уронил курчавую голову, хранит в статной фигуре торжественность.

За его спиной, подставив под солнце крепкий ежик рыжеватых волос, сутулился инструктор райкома Серафим Сурепкин. Сгорбленность, скорбная усталость на лице, даже торчащие просвечивающие уши — все означало, что он убит горем. Но Игнат знал: Серафим Сурепкин готовится выступить и, наверное, настраивает себя. Ни один митинг, ни одно совещание не проходили без выступления этого человека. Покойный Комелев звал его: «Серафим Златоуст».

Заслуженный учитель Аркадий Максимович Зеленцов, чопорно **аккуратный** в своем длинном стариковском пиджаке, с **грустным** спокойствием смотрит прямо перед собой. О чем он думает сейчас? Может быть, о том, что он старик и ему тоже придет черед лежать так, лицом в небо, и бесстрастно слушать печальные речи; может быть, по своей привычке философствовать над всем, высчитывает, как коротка в масштабах вселенной человеческая жизнь.

Тут же, почти на голову выше старика, стоит его внучка, красавица Катя Зеленцова. Маленькая, гладко зачесанная девичья голова вскинута, бровастое лицо сурово, а большие глаза скрытно тревожны — она не привыкла видеть смерть близко, смерть пугает ее.

У ног гроба — семья покойного.

За юбку матери держатся дочери. Младшая, лет шести, не смотрит на отца, озирается кругом. На заплаканном грязном личике не видно горя, оно выражает лишь испуг. А старшая, с пионерским галстуком на шее (ее вызвали на похороны из пионерлагеря), ткнулась под руку матери, плачет и плачет безудержно.

Сын Комелева, уже взрослый парень, в этом году копчающий школу, стоит прямо, поддерживает мать и не пла-

чет. Но по его красным глазам можно догадаться, что плакал он дома, а бледное лицо, судорожно сведенные челюсти говорят — все свое горе выплакать не успел, сейчас важал, сирягал его от посторонних.

Зато мать, повязанная по-деревенски белым платочком, концами вниз, держится на ногах, лишь вцепившись в сына. Лицо ее опухло от слез.

Она вышла за Степана Комелева, когда тот был еще простым крестьянским парнем. Он рос, она оставалась прежней, деревенской, любящей посудачить бабой, больше всего боявшейся, чтоб ее Степа не уехал без овчинной душегрейки в командировку. Она жила не его интересами, но для него — другой жизни не представляла. Чувствовалось: хочется ей завуть в голос, истошно, по-деревенски, по-бабьи выкричать горе, облегчить сердце, но разве можно — все кругом в чинном молчании стоят и слушают.

Игнат ошибся: после Баева вышел не Серафим Сурепкин, а шагнул к могиле и повернулся лицом к людям Аркадий Максимович.

Глуховатым, негромким и в такой обстановке удивительно спокойным голосом старый учитель заговорил:

— Я знаю о том, как Степан Петрович любил детей. Тот, кто любит детей, любит в людях будущее. Любить будущее людей — это даже больше, чем просто любить. Он любил вас, товарищи...

Слова Аркадия Максимовича словно разбудили Игната.

«Любил?.. А ведь правда!» Ему вспомнился этот неторопливый, несколько вяловатый в движениях человек. Приезжая в колхоз, он оставлял машину у обочины дороги и враскачку, медленным шагом обходил от поля к полю бригады. Никто никогда не слышал от него жалоб ни на больное сердце, ни на больные ноги. Ради людей, — да, прав старик, — ради их будущего он не жалел себя.

Он любил!.. Но не только же родные Комелева — жена, сын, дочери — должны переживать смерть как личное горе. Потерянная любовь — несчастье. И самая скромная цена за эту потерю — слезы. А слез нет. У всех печальные лица, все до единого невеселы, но кто может быть веселым на похоронах?

А сам он, Игнат?.. У него тоже нет слез, только теперь, после слов Аркадия Максимовича, он испытывает легкое угрызение совести.

Комелев не берег себя на работе, не следил за своим здоровьем, отмахивался от врачей... Сейчас все слушают Аркадия Максимовича и своим печальным молчанием соглашаются: «Да, он любил нас...» И только жена Комелева, привалившись головой к плечу сына, стала сильнее всхлипывать.

Приготовились опускать гроб.

Сам райвоенком, молодцеватый мужчина, выразив почему-то на своем лице угрозу, блестя золотом нарукавных нашивок, поднял руку и, резко опустив ее, выдохнул:

— Или!

Десять парней из общества ДОСААФ ударили из винтовок в воздух. В глубине кладбища испуганно забились на деревьях вороны.

Жена Комелева бессильно опустилась на усеянную сосновыми шишками землю и, не сдерживаясь, в голос запричитала. Не выдержал и сын: он стоял над матерью, глядел в могилу, и слезы текли по его бледному искаженному лицу.

Каждый из присутствовавших подходил, набирал горсть влажного песка и кидал в могилу. Вместе с Игнатом подошел Павел Мансуров. Брошенная ими земля одновременно мягко шлепнулась о крышку гроба. Народ расходился, мужчины надевали фуражки.

Окруженная женщинами, лежала на земле жена Комелева. Голос ее разносился над тихими могилами, заросшими ромашками, подорожником и анютиными глазками.

— Сте-епу-ушка-а! Ро-о-одимый!

Ветхая старушка с посошком, в платке, повязанном низко, по самые брови, из тех, кто живет прошлым, ходит на кладбище и в родительскую педелю, и помимо нее, остановив выцветший взгляд на Игнате, спросила:

— Кого, милый, хоронят?

— Секретаря райкома, бабушка. Комелева, — ответил Игнат.

— Из начальства, видать. С ружей палили. — Старушка, повернувшись лицом к могиле, перекрестилась. — Прими, господи, душу раба твоего.

Просьба была произнесена скучным голосом, по старушечьей обязанности.

Об умерших говорят хорошо или молчат, но думают о них по-всякому.

Игнат шел от кладбища вместе с Павлом Мансуровым. Оба молчали.

Комелев любил народ, а в районе не много крепких колхозов. В МТС не могут обучить специалистов. Поломаные тракторы нередко по полгода простаивают около полей...

Просто любить — куда легче, чем доказать любовь.

2

Приезжая из своего колхоза в райцентр, Игнат всегда останавливался у Павла Мансурова.

С лоснящейся от пота бритой головой, покачивая полными покатыми плечами, казалось, еще больше раздавшийся в ширину от полуденной жары, Игнат вошел вслед за хозяином и опустился на диван. Старенькие пружины жалобно звякнули и смолкли под его тяжелым телом.

В комнату заглянула Анна, жена Павла, сестра Игната, спросила деловито: «Вернулись? Оба?» — и ушла в кухню, загремела посудой. Скоро оттуда сиплым тенорком запел примус. Живые продолжали жить своим чередом — подходило время обеда.

Павел скинул китель и в одной майке ходил по комнате, заложив руки за спину. Где-то по отцовской линии в нем была примесь татарской крови: широколиц, смугл, скуласт, курчав, мужественно красив. В эту минуту походка у него была нервная и в то же время мягкая, расчетливая — ни разу не задел ногой расставленных в беспорядке стульев, — сутулился слегка, серые небольшие глаза потемнели, в них пропал блеск.

Игнат, вытирая мягкое распаренное лицо, понимающе смотрел: опять какой-то бес на мужика напал...

— Что мечешься? — наконец спросил он. — Смерть так задела? Комелева жалко...

— Не Комелева — себя жалко. — Павел остановился, пружинисто повернулся и заговорил, приближаясь из угла комнаты шагком за шагком: — Я в судьбе Комелева свою судьбу вижу! Работал человек как вол, не знал покоя. Командировки, ночевки на столах, иссушающие мозг заседания, вечный страх за урожаи, за лесозаготовки, за выполнение поставок.

— Эге! Работа тебя пугать стала. Это, брат, стариковская немощь. Рановато в тридцать-то пять лет.

— Пугает не это! Готов на любую работу, пусть впятеро тяжелей комелевской! Но лишь бы толк видеть. Толк, Игнат! А у Комелева во всех его командировках, заседаниях, беспокойствах была какая-то бессмысленность. Ломил, тянул воз через силу, сгорел на работе, а для чего? Чем можно вспомнить его?..» «Любил», «был честным» — дежурные слова во время похорон. Освободи меня бог от таких похвал при жизни и после смерти. Каждый человек должен оставить, кроме детей и кучки земли на кладбище, что-то полезное. Дело, Игнат! Дело какое-то! А что доброго сделал Комелев? Чем его вспомнить? Неужели у меня впереди такая же бессмысленная жизнь? Вот что пугает!

— Ты сам себе хозяин. Делай свою жизнь не бессмысленной.

— Хозяин?.. Эх! Слово — кляп! Чуть что выйдет из нормы, затыкают им, как пробкой пивную бутылку. Сколько раз я пробовал быть себе хозяином, с семнадцати лет пытаю судьбу, ищу чего-то большого, хочу расправить плечи, а кидало все время из стороны в сторону. Ушел из глухой деревни, полтора года раскачивал канцелярские стулья молодым задом, верил, что найду, вырвусь. И вот новый институт. Впереди диплом инженера-геофизика, экспедиции, палатки среди дикой природы, диссертация в кабинетной тишине... Красиво! Учился, вгрызался в науку, часто хлебом да водопроводной водичкой питался. Хлоп — война! С третьего курса маршевой ротой с песней: «Шел, шел герой на разведку, боевой!..» По тылам не окопачивался, до майора взлетел за четыре года. По строевой командиры полка замещал. Что скрывать, мерещились мне будущие бои за мировую революцию, победы под командованием генерала Мансурова... Война кончилась, спросили: «Не кадровый офицер?» — «Нет». — «Пожалуйста в запас». Доучиваться в институте поздно, да и вкус к наукам пропал. Сел вот в райкоме на заведование пропагандой и агитацией. В другом месте я бы, может, смог быть хозяином своей жизни. А здесь сыплют инструкции, со всех сторон указывают, со всех сторон подталкивают: делай так-то, делай то-то, не иначе. Кто эти инструкции пишет? Кто указывает? Такие, как Комелев. Попробуй докажи им свою самостоятельность.

На смуглых скулах Павла проступил сухой кирпичный румянец, из-под приспущенных век диковато блуждали до густой синевы потемневшие глаза. Игнат сидел развалясь, сложив на заметно выступавшем животе свои громоздкие сильные руки, и следил за каждым движением Павла.

— Комелев был доволен своей судьбой,— продолжал с той же горячностью Павел.— Для него место районного секретаря — потолок. Я силы чувствую, расти хочется, а вот застыл, как гриб, прихваченный заморозками. Мой рост, мое движение не зависят от меня. Захотят — продвигнут, не захотят — оставят киснуть на той же должности.

Игнат с недоверчивой улыбкой покачал головой.

— А ты, брат, ой, честолюбив. Сидит где-то в тебе чертик, не дает покоя. Ты плюнь на него — просто живи, работай, чтоб польза была.

— Живи, работай, чтоб польза была?.. Где?.. На заведовании агитацией и пропагандой? Ты, Игнат, не младенец, знаешь — ой, как хорошо знаешь! — велика ли польза от моей работы... Делай доклады колхозникам о построении социализма, о коммунистическом обществе, а колхозников больше беспокоит хлеб. Они получают на трудодень столько, что за год работы штаны к празднику не огорюешь... Хочу, чтоб польза была! Хочу! Да как это делать? Силы есть и голова на плечах, а беспомощен...

Мансуров опустил на стул, уперся локтями в колени, сторбил спину, коричневые, потные веки закрыли глаза. С минуту он, казалось, отрешившись от всего, просто слушает ровное шипение примуса в кухне.

Игнат, продолжавший смотреть со стороны, сказал с легкой досадой:

— Что ты бесишься? Не любо — перейди на другое место.

Шипение примуса оборвалось, загремели в тишине тарелки. Мансуров поднял на Игната затуманенный взгляд.

Перейди... Ведь я не юноша, пора уж кончить метания из стороны в сторону. Куда мне идти? Профессии нет, новую приобретать — поздно... Привязан к своему завотдельскому стулу.

Вошла Анна, деловито сообщила:

— На стол собираю.

Была она прямая, тонкая и угловатая, не в пример широкому, раздобревшему брату. Блекло-миловидное лицо,

окруженное пышно взбитыми сухими волосами. Сейчас, перехваченная по талии чистошским фартучком, Анна двигалась по комнате плавно, острые локти прижаты к бокам, кисти рук выставлены вперед, точно она их только что вымыла, держит на весу, чтоб вытереть.

— Павел заведется — до поздней ночи его не оставишь. Что хочет — не поймешь. Тебе, Игнат, с ним спорить — время терять. Завтра у тебя экзамен. Тебя это не пугает, обо мне подумай — мне же краснеть придется.

Игнат поднялся.

— Верно, Аннушка! — Он повернулся к Павлу. — Я на свою судьбу смотрю просто: не попаду вот в институт, придется мне в деда записаться, на завалинке с ребяташками свистульки лепить. Сдам завтра с сынишкой Комелева экзамен — буду счастлив.

Павел сердито хмыкнул в сторону.

3

Еще в годы молодости, в школе крестьянской молодежи, Игнат кончил восемь классов. Как-никак образование — знал не только дроби, но имел понятие об алгебре и геометрии. И, как многие деревенские парни, решил: не след торчать в деревне, пахать землю и «прятать» навоз. Сначала поступил продавцом в лавку Остановского сельцо, отвешивал соль и леденцы, разливал по бутылкам керосин. В том же селе Останове поставили большую мельницу-вальцовку, Игната назначили заведующим. С мельницы перевели заведующим райпищепромом, оттуда — на сыпной пункт, тоже заведующим, потом — заведующим в райзаготзерно... Он стал руководящим работником, мелким завом и человеком без профессии. В каждом райцентре встречаются такие люди, которые почему-то, всем кажется, имеют особые способности к заведению.

И Гмызин заведовал. На окраине районного села Коршунова он поставил дом — перевез сруб из деревни, — завел огород, корову, пяток ульев. По утрам выходил в контору, ездил время от времени в командировки, в свободное время копался на огороде. Свой дом, своя корова, своя картошка с огорода, свой мед с пасеки.

Война встряхнула, но не изменила этой жизни.

Игнат был на фронте, вернулся с погонами старшины, с двумя медалями «За отвагу», с нашивками за легкие ранения. Но едва только он появился, как в райисполкоме вспомнили: ведь это Игнат Гмызин, надо его снова поставить заведующим в «Заготзерно».

Началось укрупнение. Вместо мелких, в одну-две деревеньки, колхозов в районе стали создаваться колхозы по семи, по десяти деревень. Райком партии направил в колхозы районных работников. Среди них оказался и Игнат Гмызин.

Мирона Сухотина, такого же, как и Игнат, районного работника, через полгода сами колхозники попросили убраться подобру. Бригадиры у него пьянствовали, у свинарок дохли поросята, весенний сев закончили в июне. Пришлось поставить Сухотина обратно в контору «Заготскот».

Работая продавцом сельповской лавки или заведующим «Заготзерном», Игнат болел душой, если в покосы день за днем начинал сыпать дождь, радовался, если выдавалось ведро; когда в МТС прибывали новые тракторы, бежал смотреть на них. Отец, дед, прадед — все у него были крестьянами, и Игнат в душе оставался им, хотя в анкете против графы «соцположение» писал: «Служащий».

Первые дни, когда в колхозе его выбрали председателем, он действовал так, как в любом новом месте заведующим. Антип Кошкарев, его заместитель, пил — снял его. Степан Ложкин три раза ездил в город за движком к силосорезке, тратил на командировки по две тысячи, жаловался и божился, что нигде нет таких движков. Игнат сам поехал, купил, потратил на все только полторы тысячи с копейками, а Степана Ложкина отдал под суд за воровство.

Честность, которой Игнат отличался в молодости, развешивая леденцы и разливая керосин в сельповской лавке, да здравый ум — вот и все, что имел он, став председателем самого большого по району колхоза «Труженик». И этого было мало...

В колхозе — более четырех тысяч гектаров пахотной земли, урожай на них низкие. Почему? Надо знать.

В колхозе — девятьсот гектаров заливных лугов, а трава год от году на них хуже. Почему? Надо знать.

В колхозе — сто коров, это мало, плохой прирост. Почему? Надо знать. Всюду — надо знать!

В соседний колхоз, где чуть ли не с начала коллективизации председателем был старик Федосий Мургин, прислали молодого агронома Алешина. Он стал заместителем Федосия. Мургин, как и прежде, невозмутимо важный, с сознанием своего десятилетиями завоеванного авторитета, ездил по полям на пролетке, указывал, распоряжался. Алешин бегал пешочком по горячему следу председательской пролетки и поправлял: «Верно сказал Федосий Савельич, только сделать лучше так-то». Сначала колхозники удивленно качали головами: «Гляди-тко, Савельича поправляет, бедовая головушка...» Но так как старый председатель был покладист, не возражал молодому агроному, то все стали принимать это как должное.

Игнат, наблюдая со стороны, понял, что год-другой, ну, пять лет от силы, он еще будет нужен колхозу, но придет время, и все почувствуют — у него за душой только честность, здравый ум да обрывочные, схваченные походя, знания. Пробьет час — и волей-неволей придется уступить место такой вот «бедовой головушке». Надо учиться.

Можно настоять, чтоб послали в областную школу колхозных кадров; можно поступить заочно в сельхозтехникум. Но в областной школе и в техникуме надо учиться четыре года. Четыре года тут да пять лет в институте, а Игнату за сорок и семья на шее.

В вечерней школе для взрослых в селе Коршунове было всего восемь классов. Игнат решил подготовиться и сдать экстерном за десятилетку.

4

Огромный букет полевых цветов, поставленный на красный стол еще в первый день экзаменов, давно завял и осыпался. Билеты, веером разложенные на кумачовой скатерти, подчеркнута серьезные лица членов комиссии, стук мела по доске среди напряженной тишины — все это уже повторялось много раз. Даже волнение стало привычкой.

Десятиклассники сдавали последний экзамен на аттестат зрелости.

Сегодня сдавал Саша Комелев. Смерть отца, похороны — более уважительных причин не существует, но от экзаменов они не освобождают. Директор предложил перенести экзамены на будущий год — Саша отказался.

Все, притаившись, следили, как Саша выводит формулы. Никто из учеников в эти минуты не гадал про себя: какой из билетов уже взят и отложен в сторону, какой из лежащих на столе может выпасть на его долю. На время каждый забыл о своей судьбе. В глазах, следивших за Сашей, вместе с участливым страхом — а вдруг да срежется? — светилось чисто ребячье любопытство: как будет он вести себя?

Но это любопытство мало-помалу исчезло. Саша вел себя, как всегда, только голос его был немного тише обычного. Он споткнулся два или три раза -- ничего удивительного, по геометрии никогда не был отличником.

Анна Егоровна, сестра Игната Гмызина, принимавшая экзамен, слушая Сашу, все время без причины поправляла свои сухие волосы, заполненные падавшим из окна солнцем.

— Не торопись, Саша... Не спеши, подумай.— В ее голосе слышалась просьба.

Игнат сидел в классе и, как все, с напряжением и сочувствием следил за ответом паренька. Странно было видеть Игната среди учеников: белый бритый череп, грубоватое мясистое лицо, кисти рук тяжело лежат на крышке школьной парты.

— Будут дополнительные вопросы? — обратилась Анна к членам комиссии.

Те закачали головами: нет, нет...

По классу разнесся облегченный шумок — Саша сдал. Поскрипывая новыми — недавно с колодки — сапогами, пряча на лице неожиданно вспыхнувший румянец, он вышел из класса.

— Гмызин.

Неуклюже выпростав ноги из-под тесной парты, Игнат поднялся над девичьими расчесанными проборами, над спутанными шевелюрами ребят, большой, грузный, чуточку сутуловатый, сам подавленный своим несоответствием со всем окружающим. Но когда он остановился у стола, протянул руку к билетам, затаенное ученическое волнение застыло в его крупных морщинах. На лбу и на широком носу выступила испарина. Но только на секунду — билет был взят, морщины разгладились.

Он подошел к доске и, кроша мел, принялся неумело и старательно рисовать нечто похожее на большой гладкий, с ровными срезами пень. Анна, слушая ответ очеред-

ного ученика, время от времени косилась на рисунок, который мало-помалу покрывался линиями, кругами, латинскими буквами и, теряя схожесть с пнем, приобретал достойный для геометрической фигуры замысловатый вид.

— Слушаем.— Она наконец всем телом повернулась к рисунку.

Как не особенно искусственные ораторы на собрании, Игнат глуховато кашлянул в кулак — вот-вот обронит привычное: «Товарищи!..» — и заговорил неожиданно виноватой скороговоркой:

— Боковая поверхность усеченного конуса равна произведению полусуммы длин окружностей...

У дверей класса Игната Гмызина встретил директор школы и долго тряс руку.

— Поздравляю вас с аттестатом зрелости. От всего сердца...

— Спасибо, спасибо,— добродушно улыбался Игнат.— Вроде позднечко я созрел, да, видать, каждому овощу — свое время.

Здесь, в коридоре, он перестал быть учеником и держал себя с директором привычно, как равный с равным.

Говорить им было не о чем, но директору не хотелось так быстро расставаться с этим большим, сильным бритоголовым человеком в вылинявшей гимнастерке. От осанистой фигуры, казалось, как от нагретого солнцем камня, несло теплом и тянуло запахом вянущей травы — луга.

— Может, вы будете до конца последовательны — останетесь на выпускной вечер? Вместе с молодежью отпразднуете?

— Не с руки... Я уж по-своему...— Игнат весело подмигнул, щелкнул по горлу.

Директор рассмеялся, но в то же время не забыл и оглянуться по сторонам — не заметил ли кто из учеников этот слишком вольный для стен школы жест.

Наконец они расстались, и под тяжелыми шагами Игната закрипела лестница.

Внизу, привалившись к перилам, стоял Саша Комелев. Он повернул навстречу Игнату лицо.

— Игнат Егорович, на минутку... Поговорить надо.

— Поговорить?..— удивился Игнат.— Слушаю, брат.

С бледного заострившегося лица серьезно и требовательно смотрели на Игната зеленоватые прозрачные глаза, над выпуклым, чистым мальчишеским лбом коротко подстриженные волосы торчали упрямым «коровьим залом».

«Эк тебя за эти дни перевернуло», — отметил про себя Игнат.

— Игнат Егорович, — отводя взгляд, произнес Саша напряженным баском, — примите меня к себе в колхоз.

— В колхоз?..

— Да, работать.

— Ты ж, слышал я, в институт собирался.

Растерянно, на этот раз влажно заблестели глаза Саши.

— Потом, может, и в институт... Мать теперь одна, сестренки.

Игнат поспешил перебить его:

— Добро. Об этом еще потолкуем. Ты свободен?.. Хочешь — едем сейчас. Меня лошадь ждет.

5

Выехали из села.

Игнат неподвижно возвышался в пролетке. Саша, притиснутый им, косился, тайком разглядывал председателя: мягкую кепку, натянутую на объемистый череп, багровую складку шеи, налегающую на воротник гимнастерки.

Несколько раз Игнат оглянулся по сторонам, озабоченно качнул головой, вздохнул...

— Ну и ну, не ко времени...

Без того низко опущенные ветки придорожных ив теперь вовсе сникли — каждый листочек устало глядит вниз. Над белой кашкой, что растет у самой обочины, не трудятся пчелы. Не слышно птичьих голосов. Ничего живого кругом. Над землей, обремененной зеленью, настороженная тишина и запустение. Сам воздух чист и неподвижен. На небе вянет несколько безобидных облачков, но будет дождь, непременно.

— Так говоришь — матери помочь надо? — оборвал молчание Игнат.

— Кто ж ей теперь поможет, кроме меня?

— А почему в колхоз решился? Почему не в учреждение? В культпросвете работника ищут...

— В колхоз хочу.— В голосе Саши слышалось сердитое упрямство.

Игнат с пристальным любопытством взглянул через плечо, отвернулся и вдруг забасил над притихшей дорогой:

— Эй, ты! Счастье ленивое! Идет — копытом о копыто задевает!.. Я вот тебя!..

Конь бодро заиграл по булыжнику подковами, пролетку залихорадило...

Давным-давно в одной книжке Саша прочитал такие слова: «Когда горит дом, часы в нем все равно продолжают идти». Прочитал и забыл. Затерялись они в памяти, как сорвавшаяся блесна в пенистом омуте.

В день похорон отца Саша неожиданно вспомнил их.

В тот день он понял, что не было никого для него ближе и дороже на свете, чем отец. Ближе матери... Раньше не замечал этого, не ценил нечастых откровенных разговоров с отцом.

Издалека, из раннего детства стали всплывать полузабытые воспоминания.

Саше шесть лет. Отец ведет его за руку через распаханное поле. Саша часто спотыкается, ему тяжело идти по отвалам. Последние разгулявшиеся ласточки бесшумно вверх-вниз перечеркивают красный закат, тонущий за лесами. По полю ползает трактор, ровно стучит мотором, покашливая, выбрасывает из трубы мутновато-лиловый дымок. Время от времени слышен скрежет подвернувшегося под лемех булыжника. Из-под растопыренной железной пятерни плуга тяжелыми, густыми ручьями течет земля. Отвалы ее тускло лоснятся на закате.

Отец остановился, нагнулся и полвгой пригоршней забрал землю, поднес к лицу. Трактор, с деловитостью втянувшегося в работу труженика, почихивая, удалялся.

— Чуешь, пахнет?..— произнес отец.

Саша тоже схватил горсть, поднес к носу. Но земля пахла землей.

— Не поймешь ты — мал. Я в твои годы мог понять. Чистый хлебушко только в праздники ел, в будни-то на мякинке... Нужно бы так, чтоб хлеб как воздух был, чтоб о нем люди не думали.

Не через слова — они и на самом деле были не совсем понятны, — через подобревший голос, через непривычно мягкое лицо отца шестилетний Саша почувствовал тогда смутную благодарность к земле. Как драгоценность, держал ее, горсть влажных крошек, по-отцовски бережливо мял, нюхал. Земля пахла землей.

И еще воспоминание... Саша в тесноватом пиджаке, в чистой рубашке, отглаженном пионерском галстуке сидит в пролетке на сене, прислонившись к теплому боку отца. Отец едет в командировку, по пути везет Сашу в пионерлагерь, в село Каемково, захлестнутое петлей реки Шоры.

От реки через кусты на мокрую косовицу, как перебродившее тесто через край квашни, набухая, сочился туман. Под косыми лучами только что поднявшегося солнца, в молочной глубине тумана стояла размытая радуга. Чайка вырвалась из тумана, пошла свечой вверх, прежде чем скрыться из глаз, долго мерцала белой точкой на небе.

Даже отец, в последнее время приходивший домой всегда за полночь, хмурый, с ввалившимися глазами, повеселел, оглянулся, выдохнул одно слово:

— Красота.

Въехали в деревню. Голосили петухи, по-коростельи скрипел несмазанный ворот колодца. Под окнами одной избы на усадьбе стояли суслоны совсем зеленого ячменя. Саша показал на них отцу:

— Гляди! Вот чудачки — зеленым жнут.

Отец оборвал его сердитым взглядом и негромко произнес:

— Над бедой не смеются, Сашка.

Под смачное прищлепывание лошадиных копыт о жирную утреннюю пыль отец суровым голосом сообщил, что зеленым жнут потому, что в этих домах давно уже не ели хлеба.

Хорошее долго живет, плохое быстро забывается. В Коршуновском районе с неохотой вспоминают о тяжелом сорок шестом годе, свалившемся сразу после войны.

Отец рассказывал, а вокруг миновавшей деревню пролетки набирало силу радостное утро. Упрямый ветерок бережно очищал берег реки от тумана, загоняя его в сумрачную чашу елей. Луг, расписанный извилистыми тропинками, местами был морозно-матовый от росы, местами сияюще-зеленый. В этот раз отец впервые сказал Саше слова:

— Красива наша земля. А на такой вот красивой земле надо сделать красивую жизнь. Споткнусь, не удастся мне — ты ее сделаешь. Вырастешь, смотри, Сашка, не гонись за длинным рублем.

Жил рядом близкий человек, глядел на мир озабоченными глазами, в минуты откровенности говорил о самом большом своем желании — о красивой жизни на красивой земле, вечерами устало и неохотно ужинал, любил качать на колене самую младшую, Ленку, напевая чуточку сипловатым баском одну и ту же песенку:

Среди леса, среди гор
Едет дядюшка Егор —
Лапотки кленовые,
Онучки новые...

И заботы его близки.

И привычки его знакомы.

И мечты его стали уже Сашиними мечтами.

Близкий, самый близкий из всех на свете.

И вот прохладный запах влажного песка, свежая, не затянутая дерновиной могила...

По накаленному солнцем булыжнику Саша вел домой мать. Она, выкричавшая еще на кладбище свое горе, не плакала, время от времени болезненно вздрагивала на его плече. Саша, поддерживая мать, шагал непослушными ногами и озирался. Исчезла боль, исчезло и горе, осталось недоумение, тяжелое и тупое. Нет его! Ни в командировке, ни в отъезде — совсем нет. Не придет, не вернется, ждать некого... Непонятно, нелепо!

Озираясь, в эту минуту он с какой-то особенной, резкой отчетливостью замечал все, что творилось кругом. Каждая мелочь вызывала болезненное удивление.

С визгом, захлебываясь от восторга, выскочил из подворотни щенок-коротышка с победоносно закрученным хвостом и накинулся на поросенка. Тот с досадливым равнодушием повернулся к щенку задом.

Знакомый Саше киномеханик Славка Калачев ремонтировал плетень у своего дома, насвистывая тихонько и беспечно «Любушку».

За спиной каким-то свежим, беспечным смехом засмеялась Катя Зеленцова. С похорон идет...

Щенок радуется, визжит. Славка высвистывает: «Люба, Любушка...» Катя смеется... Все как было, все по-старому.

А отца нет. Да как же это? Неужели надо смириться? Неужели надо забыть? Нет! Невозможно! Как жить дальше?

А дома Сашу удивила мать.

Он бережно усадил ее на кровать. С опухшим лицом, бессильная, размякшая, она с минуту смотрела бессмысленными глазами в грудь сыну, потом подняла их, взглянула прсяще и слабым голосом произнесла тот же вопрос, который мучил и Сашу:

— Сашенька, как нам жить дальше? — Помолчала, всхлипнула и закончила: — Велика ли пенсия. Машеньке вот пальто купить надо.

Как «Любушка» Славки, как счастливый смех Кати, слова матери резанули по сердцу: «Пенсия, пальто... Отца же нет! До пальто ли теперь?» Материно «как жить дальше» не походило на Сашино.

Целый день удивляла и угнетала окружавшая его жизнь, будничные разговоры: «Хлеб не куплен... Обед не сварен...» В это время ему и вспомнились слова: «Когда горит дом, часы в нем все равно продолжают идти...» Страшны и значительны они показались. В душе у него пожар, уничтожение, мир перевернулся, — казалось, живое не имеет права жить. А живое жило, жизнь шла своим порядком, обычная жизнь, ни чуточки не изменившаяся. Дом горел — часы шли.

Но так было всего один день.

Утром он встал рано. Вышел на крыльцо. Мокрые доски холодили босые ноги. Двор, знакомый до каждой щепки, до последнего сучка в темной щербатой ограде, в это тихое утро неожиданно показался обновленным. Половина его была покрыта тенью соседнего дома. Молодое солнышко ласково умыло своими нежаркими лучами вторую половину двора. И эти лучи, бившие в лицо, были приятны. Приятно было слышать и неистовую суетню воробьев в мокрой листве лип. Саша стоял, жмурился, думал об отце...

Перед завтраком он деловито обсуждал с матерью, как жить дальше. Он пока не станет поступать в институт, пойдет работать, но не в контору, не в учреждение — в колхоз... Только в колхоз. Незачем и считать, какой оклад у помощника бухгалтера в маслопроме. Отец ведь говорил: «Не гонись за длинным рублем».

Мать во время обеда еще нет-нет и заливалась слезами — не могла привыкнуть к пустовавшему стулу отца. Саша привык быстрее ее.

Но каждое слово, когда-то сказанное отцом, стало для него святым законом.

Сейчас вот Игнат Егорович расспрашивал: зачем в колхоз, почему не в институт? А как ему объяснишь? Разве поймет?

Свернули с шоссе. Задевая свесившейся из пролетки ногой за придорожные кусты, Саша сидел притихший около Игната, боялся, что тот снова начнет разговор. Но председатель молчал, погонял лошадь и с опаской поглядывал на небо.

А на небо из-за леса выползала, лениво разворачивалась туча. Вечернее солнце освещало ее снизу, туча местами казалась медно-красной, от этого еще более грозной. Далекий черный лес с одного конца начал исчезать, словно таял, растворялся в мутно-белесом воздухе.

— Эх! Не успели до дождя,— досадливо крикнул Игнат.

— Может, успеем...

— Нет уж...— Игнат опустил вожжи.

Откуда-то из-за полуприкрытого дождем леса выкатился глухой гром. Лошадь, сторожко поводя ушами, пошла шагом. Беспечно и весело заговорила трава. Листья на кустах сначала лишь встряхивались поодиночке, но вот ветер налетел на кусты, обнял их, рванул, перемешал.

Спина лошади потемнела. Минута-две — и уж не веселый ропот, а сплошной, ровный, деловито сосредоточенный шум, все разрастаясь и разрастаясь, стоял над лугом. Дождь переходил в ливень.

Игнат с озабоченным видом стал ощупывать на груди свою гимнастерку. Вдруг он стащил с головы кепку, прижал к сердцу и так остался сидеть, придерживая одной рукой вожжи, другой — кепку на груди, досадливо поглядывая на темное низкое небо. Ливень хлестал по его блестящему черепу.

— Что с вами? — беспокойно спросил Саша. — Сердцу плохо?

— Нет, сердце у меня бычьё... В гимнастерке выехал, а в кармане — партбилет. Боюсь, размокнет. Уж пусть лучше макушку прополощет.

Рука Саши невольно потянулась к карману пиджака — там тоже лежал комсомольский билет. И почему-то в эту минуту он почувствовал к этому человеку близость и теплую благодарность: чем-то Игнат напомнил отца.

Дождь лил. Лошадь, пошевеливая глянцеви́тым крупом, бодро шла. Игнат и Саша сидели в мокрой, прилипшей к телу одежде, прижимая к груди один измятую кепку, другой — ладонь.

6

Жена Игната, под стать мужу, полная, высокая, с широким румяным лицом, смутила Сашу.

— Какой гостюшко у нас молодой! — весело всплеснула она руками. — Игнат-то все приводил себе в ровню — и лысых и усатых, как есть подержанных. Да ты женихом, гляди, будешь. Вон сколько у нас невест. Выбирай любую, пока не поздно.

Саша, краснея, неловко усаживался за стол, косился на дочерей Игната. До невест им далековато — старшей лет тринадцать, помогает матери, мелькая длинными загорелыми ногами, бегают, стрельнула глазами, скрылась в погребе; средняя, верно, первый год ходила в школу, стесняется, прячется в углу, а за спиной, должно быть, кукла; младшей и вовсе года четыре, исподлобья, серьезно изучает «жениха». За столом раньше гостя уселся — подбородок на столешнице — сын, толстый, румяный, лобастый, ни дать ни взять — второй Игнат Егорович, только раз в шесть помельче.

— Угощайся, — пригласил Игнат, шумно влезая за стол, — и прислушивайся. О деле поговорим.

Придвинув Саше миску с картошкой, соленые огурцы, он начал внушительно:

— Ты для меня такой, какой есть сейчас — невелика паходка. Пара рук, да и руки у тебя еще жиденские, неумелые. Не так руки мне твои нужны, как голова. Зря, что ли, тебя десять лет в школе учили? Ешь... Есть да слушать — и в одно время можно... В колхоз я тебя возьму с радостью, но поставлю условие. В этом году ты должен поступить в институт. Мы теперь с тобой одного поля ягоды. Ты кончил десятилетку, и я тоже. Вот давай вместе подавать на заочное, будем сообща к науке пробиваться. Идет?..

Саша, распрямившись над тарелкой, смотрел на Игната остановившимися глазами. Ну, конечно! Он этого и хотел, только думал иначе — институт не сразу, поработает с годик, освоится, а уже потом и на заочное... Тут вот как!

Плохо ли — с ходу, не задерживаясь... В ответ он лишь молча кивнул головой.

Но Игнат Егорович, видимо, понял все, мягко усмехнулся.

— Ешь, картошка остынет... Завтра поговорю с членами правления, определим тебя на место. Нам надо толкового агронома-луговода. Привыкли про траву думать, что это добро даровое, господь сам ее растит. Без труда да рыбку из пруда...

— Сразу и на такое место?

— Не сразу. Оплачивать пока будем не как специалисту — поменьше. Много требовать не станем. Первое время приглядывайся, книжки по этой науке почитывай, в институт готовься. А бригадир пошлет — сходишь, поработаешь... Да не смущайся, не из милости тебя устраиваю, свою выгоду провожу. Будешь работать, будешь учиться — через четыре года или там через пять полный специалист, и книжник, и практик, — то, что нужно, — под нашим доглядом вырастет. Может, в чем и прогадаем на первых порах, зато в будущем наверстается. Согласен?

— Да.

— А теперь ешь... Как там, мать, самовар не готов?

Спать Сашу устроили за занавеской, на маленькой, не по росту, тесной кровати. Саша не мог заснуть. Лежал, закинув руки за голову, прислушивался к тому, как затихала жизнь в новом, незнакомом для него доме.

Где-то в маленьком углу старшая дочь Игната Егоровича пела тоненьким голосом, укачивая братишку:

...Прилетели гулюшки,
Стали гули ворковать...

Попела и затихла.

Скрипя половицами, ходила по комнате мать, осторожно гремела мисками и ложками. Спросила вполголоса мужа:

— Прихватило дождем сено-то?

— Немного.

— Долго-то не засиживайся. И так каждую ночь не высыпаясь.

Зевнула, ушла, и где-то в той стороне, откуда четверть часа назад доносилась песня дочери, застонала кровать.

Наступила тишина, только через одинаковые промежутки времени слышался шелест переворачиваемых страниц — Игнат Егорович читал.

Когда-то в детстве Саша мечтал стать военным, носить ремень через плечо, пистолет на боку, ордена на груди. Чуть позднее, когда начитался книг о приключениях, решил стать капитаном дальнего плавания: стоять по утрам на мостике, глядеть на пустынное море, ждать незнакомого берега — удивительные города, чужой народ, незнакомая речь...

Решал дома задачки по математике, сидел на уроках, бегал сломя голову по школьным коридорам, играл в лапту — жил, как и все ребята, как и все, от жизни ждал решения только одного вопроса: «Кем буду?»

Эти два коротеньких слова имели волшебную силу. Ведь все его восемнадцать лет прошли только ради них.

Кем буду?.. Неужели сегодня, сейчас, тут вот вечером, так просто решился этот вопрос? Не военный, увешанный орденами, не капитан, обожженный тропическим солнцем, а простой агроном.

«Пусть... Отец был бы доволен».

Саша не успел заснуть — в окно раздался негромкий стук. Заскрипели половицы под тяжелыми шагами, Игнат Егорович вышел за дверь. В сенях слышались приглушенные голоса.

— Тихо, тихо, не буди... Что-нибудь подкинь на лавку. Переночую — утром в село...

Голос позднего гостя, вошедшего в избу, был знаком Саше.

— Ты откуда, Павел? — спросил Игнат.

Саша догадался, что это Мансуров, из райкома, он иногда заходил к ним при отце.

— Откуда?.. Да все оттуда же. По поручению бюро пришлось прокатиться в Сташинский сельсовет. Проверять готовность к сеноуборке. Под дождь попал, промок до нитки и высохнуть уже успел... — Гость стукнул снятыми сапогами, не переставая недовольно ворчать: — Старика бухгалтера Фомичева из госбанка в толкачи записали. Коммелевские порядочки никак не выдохнутся...

Саша насторожился. Тон, которым были произнесены последние слова, не обещал ничего хорошего. Саша ждал, что Игнат Егорович возразит, обидится за отца — он честный человек, должен возразить, — но он не возразил.

— А что ж ты хотел от Баева? — произнес Игнат Егорович тихо. — Одна выучка. Комелев-то хоть с крепким характером был мужик. Сравнить с ним — такие Баевы жидко замешаны.

— По-старому рассылаем толкачей. Только для стеснительности вывески меняем. До Комелева звали — уполномоченные, при Комелеве скромненько — представители, нынче, еще красивее — политинформаторы. Худые штаны как ни выворачивай — дыры останутся. Над каждым председателем, почитай, по толкачу сидит. Погоняют. Ты куда думаешь меня положить?

— Возьми лампу, посвети мне. В сенях постель достану.

Свет за занавеской исчез. Саша лежал, боясь пошевелиться. Где-то под печкой боязливо заскреблась мышь. У порога в бадью из рукомойника капала вода, каждая капля — легкое всхлипывание.

И раньше от отца приходилось слышать, что в районе трудная жизнь, полно непорядков, но Саша и подумать не мог, что в этих непорядках повинен он, отец!

Пригоршня земли, взятая из-под плуга; непривычно мягкое, чуточку торжественное лицо. Разве это можно забыть?

Суровый взгляд, дрогнувший голос: «Над бедой не смеются...»

А его «на красивой земле красивая жизнь»!

Вот он каков, отец! Как они смеют? Разве они лучше знают его? Со стороны глядели. Раз-два рассудили, просто и быстро.

Саша сжимал кулаки и всем телом каменел от ненависти.

Робко скреблась мышь, размеренно всхлипывали падающие капли. Спал дом, кругом — полный покой... Да не приснилось ли все это? Один голос слегка раздраженный, голос уставшего человека, другой — спокойный, деловитый. Не могло этого быть, не могли так говорить!

Толчок в дверь снаружи показался оглушительным. Разом смолкла мышь, в шуме входивших людей затерялся звук падающих капель.

По занавеске проползли тени. Зашуршала раскинутая на лавке постель.

Саша, задохнувшись от волнения, приготовился слушать.

На этот раз, продолжая разговор, проходивший в сенях, заговорил вполголоса Игнат Егорович, и, кажется, он защищал отца.

— Человеческие качества?.. Да в них ли дело? Комелев, слава тебе господи, имел эти качества, не пожалуешься. Честный, прямой... За то, чтоб хорошее людям сделать, на все готов, хоть с любого обрыва в воду... Плохо, если руководитель не имеет этих человеческих качеств, но этого, брат, мало.

— Общие слова.

— Вот послушай... Спускают из министерства, из самой Москвы, план. Ну, скажем, посеять столько-то озимой пшеницы. В области прикидывают по районам. В районе — по колхозам. Попадет этот план наконец к нам, то есть к тем людям, которые эту пшеницу сеять должны. А мы видим — климат не тот, земля неподходящая, такая пшеница у нас никак не может расти. Что я должен сделать? Быстро сообщить: так и так, разрешите поправку в план. Хороший руководитель эту поправку быстро поймет, подхватит, дальше передаст, чтоб путаницы не было. Плохой — упрется, начальству-де не возражают. Хороший руководитель на две стороны слышит. Плохой туг на одно ухо: что сверху прикажут — на лету схватит, что снизу посоветуют — не доходит. Вот оно, качество-то... Тем и плох Комелев, что, как ручей по весне, все в одну сторону нес — сверху вниз. Людей любил, добра им желал, а не доверял. Часто случается — кого любят, тому не доверяют.

Зашуршала постель — должно быть, гость укладывался спать.

— А скажи, — подал голос Мансуров. — Вот если бы тебя спросили, что мешает подняться району? Вопрос огромный, даже слишком общий... Ты бы сумел хоть что-нибудь посоветовать? А?..

С мигу молчали. На другой половине избы заворочался, всплакнул во сне ребенок.

— Да, — произнес Игнат Егорович, — что-нибудь сказать смог бы. И это что-нибудь, как умею, пробую делать у себя в колхозе.

— Интересно. — Шуршание постели затихло, гость прислушался.

— Я бы перетряс планы, которые к нам приходят из области.

— А точнее...

— Наши места созданы для того, чтоб молоко рекой от нас текло. Заливные луга какие! А суходолы!.. Да наши суходолы стоят южных заливных лугов. На траве — молочный скот, на картошке свиноводство да еще лен. Вот наш талант! А район наш считают зерновым, долбят планами: сейте хлеб, сейте хлеб! Он не растет, гибнет осенью от дождей... Уж и так скота-то держим — надо бы меньше, да некуда, но и его прокормить не в силах. А отава — какое богатство! — гниет, попадает под снег. Да при желании мы бы вдвое, втрое скота кормить могли! Талантами земли не пользуемся. Верим не своему глазу, не совету колхозника, а бумажке, пришедшей сверху. Планы перетряхнуть — вот бы что я подсказал нашим руководителям. Да и подсказывал Комелеву. Он слушал, иногда молчал, иногда возражал: «Так-то, мол, так, да план корезить нельзя».

— Драться за это надо, — задумчиво проговорил Павел Мансуров.

— Да, надо... Только вот бить не знаешь кого. Иногда на собрании размахнешься — хлоп! Глянь — в воздух попал. Нет противника. Никто не виноват.

— Надо драться...

На этом разговор кончился.

Поскрипывая половицами, Игнат ушел на свою половину. Второй раз застонала кровать — лег к жене.

Саша, расслабленный, разбитый, глядел в темный потолок.

«Как ручей по весне, все в одну сторону нес... Людям не доверял... Подсказывали ему... Неужели все это правда?.. Ложь! Не может быть!.. А какой смысл им лгать? А вдруг обидел их чем отец? Обиды-то не слышалось в их голосе... Драться надо... С кем? Если б жил отец, то с отцом? Да что же это такое?!»

Боясь пошевелиться, холодея от одной мысли, что его могут услышать и догадаться, что он не спал, Саша заплакал. К ушам, щекоча их, потекли слезы. Чтоб не всхлипнуть, не застонать, он до хруста сжимал зубы. Кровь размеренно била в виски: «Отец! Отец! Отец!..»

Даже когда хоронили отца, не было так тяжело Саше. Отец умер, исчез, но осталось после него самое хорошее — память о нем. Теперь нужно хоронить последнее — эту хорошую память. Ничего не осталось! Жил и нету, нечем

вспомнить. Невозможно это! Нельзя согласиться! Страшно! Быть ничего не может страшнее!

Тупо стучала кровь. Саша глотал слезы.

А за занавеской шуршал на тюфяке, набитом сеном, Павел Мансуров. Несколько раз чиркал спичкой, закуривал, освещал занавеску. Ему тоже не спалось, он тоже был чем-то обеспокоен.

Только из другой половины доносилось негромкое размеренное похрапывание хозяина. Он сразу уснул, он спокоен.

Это похрапывание вызывало у Саши неприязнь, почти ненависть. «Спит... Что ему... Не буду у него работать... Уйду...»

7

Первый намек старости не в седых волосах, не в лишней морщине на лбу, не в одышке после крутой лестницы, а в том, что человек начинает оглядываться на свое прошлое, иной с огорчением и тоской — потеряно время, другой с равнодушием — жил как все, ни за что не стыдно, третий с удовлетворением — не попусту топтал землю, оставил след.

Павлу Мансурову тридцать пять лет, в черных кудрях еще не пробился первый серебряный волос, и неизвестно, скоро ли гробьется; правда, смуглый лоб тронули морщины, но легко, да и что за беда — лишняя морщина на мужском лице. Мансуров вынослив, крепок, его сильное тело порой начинает тосковать за канцелярским столом... Далеко до старости!

Но последнее время Павел все чаще, все тревожнее оглядывался на свое прошлое. Тридцать пять! Половина жизни, если не больше. А что он сделал, что оставил людям?..

Случайный ночной разговор с Игнатом растревожил Павла.

Этот разговор напомнил ему другой.

Как-то недавно он с главным агрономом МТС Трофимом Чистотеловым ходил по бригадам одного колхоза, разбросанным по лесам и перелесочкам.

День был серый — низкое небо, влажный воздух. Но по кустам и деревьям суетливо прыгали птицы. Птицы не затаились — значит, дождя не будет.

Чистотелов, могучий старик с дубленным морщинистым лицом, коротко остриженной седой головой, был довольно тяжелым спутником. Высокий, прямой, шагает, как машина. Павел не из слабеньких, в армии привык к переходам, а приходилось поспевать по-мальчишечьи, вприпрыжку. Старик отмеривает шажище за шажищем, сурово посапывает и молчит, только изредка оглянется, двинет сверху вниз жесткими бровями (считай — улыбнулся) и спросит, нажимая на «о»:

— Уморился, милушко?.. То-то, с непривычки. Что для агронома самое важное? Голова, думаешь?.. Нет, но-оги.

И снова надолго замолчит, снова поспевай за ним.

Пробежали километров пятнадцать, исколесили поля, обделали все дела, до вечера еще далеко, а уж возвращались обратно.

Лесная дорожка с чуть приметным колесным следом вынырнула из сосняка, закружилась среди кустов дикой малины. Вот упавшая ель — ржавые высохшие ветви опутала трава, вот широкий пенёк — в выгнившей сердцевине, как в чашке, темная вода, не высохшая после вчерашнего дождя. А там будет спуск, поле, от него километров пять и деревня — можно отдохнуть.

Они вышли к спуску и остановились... Павел удивленно оглянулся на агронома.

— Та ли дорога? Не заблудились ли, Трофим Саввич?

Остановился и Чистотелов, гмыкнул неопределенно, уставился вперед: озеро!

Они утром проходили здесь — никакого озера не было и даже ни речки, ни лужицы. Теперь же впереди тускло-голубоватая вода покойно лежала под облачным небом.

— Отмахали!.. Где же мы? — Павел с усталости почувствовал раздражение.

Но Чистотелов дернул бровями и уверенно зашагал к озеру.

Странное озеро... Павел шел и пристально вглядывался. Берега у него плоские, ровные и прямые, невысокий кустик, торчащий в дальнем углу, не отражается в воде...

И, только подойдя ближе, Павел не удержался и негромко ахнул. Какое там озеро! Нет его! Нет воды. Это лен... Обычное поле льна, они и утром проходили мимо него.

Лен уже начинал отцветать. Его цветочки потеряли свою голубизну, были слегка блеклыми. Потому-то издале-

ка они и походили на воду, разлившуюся под низким облачным небом.

— Черт возьми! — удивился Павел. — Один я, пожалуй бы, оглобли назад повернул. Озеро и озеро — полное впечатление.

— Леночка! — Чистотелов ласково вырвал несколько мягких стебельков. — Густо он у них здесь поднялся, да низковат...

И молчаливый старик вдруг разговорился.

— Откуда у нас хорошему льну быть? — забубнил он. — Удивляться приходится, как он еще до сих пор не выродился. Вот пшеница, на что она у нас плохо приживается, а сеем и знаем, что за сорт, какие качества. Таблички даже по полям расставляем — тут, мол, такая-то и такая-то. А лен у нас без имени, без отчества. Одно знаем — долгунец. А долгунца-то около десяти сортов насчитывается. Спроси меня, что это за сорт. Не скажу. Так какой-то, безродный. И не долгунец... Прежде начнешь вешать лен на изгородь, до земли головками достает. Коршуновские холсты славились, из Москвы к нам купцы наезжали. Нас за лен государство озолотить может. За лен нам и пшеницу дадут и деньги. А мы ко льну задом. От счастья своего отворачиваемся...

Павел, поспевая за стариком, удивлялся горечи и обиде, которые слышались в словах агронома.

— Что ж молчишь? Ставь вопрос.

— Молчу?.. Да я кричал, кричал, охрип от крика. Видать, стенку горохом не прошибешь. Вот у меня в столе лежат рядышком два документа: один благодарность райисполкома колхозу имени Первого мая за перевыполнение плана по сдаче льнотресты, другой — решением того же райисполкома, где этот колхоз вместе с председателем Костей Зайцевым разносится в пух и прах за нарушение плана сева — не досеял ячменя и пшеницы, пересеял лишка льна. Одной рукой тянут ко льну, другой — отталкивают. Вот как у нас, а ты говоришь — не кричал.

Вспоминая этот разговор, Павел долго ворочался на жестком матраце в доме Игната.

Дело не во льне — в большем.

В моторе машины можно иногда слушать глуховатый стук. Неопытному человеку этот стук ничего не говорит. У механика он вызовет тревогу: стучат подшипники колес-

чатого вала! Если вовремя не остановить мотор, не подтянуть подшипники, мотор выйдет из строя, ставь тогда машину на капитальный ремонт. Глуховатый стук — сигнал надвигающейся беды.

Хиреющий лен в исконно льноводческих местах — такой же сигнал беды: жизнь Коршуновского района идет неправильно.

К этому сигналу не прислушиваются, его не замечают, молчат. Почему?

Министерство спускает планы области, область — районам, район — колхозам, крутится колесо, работает налаженная машина, попробуй поправить ее движение — опасно, вдруг да обломает руки!..

Встал Павел вместе с Игнатом. Ушел, отказавшись от завтрака. На пути к дому сделал крюк, заглянул в МТС, встретился с Чистотеловым, попросил у него те два документа, о которых рассказывал ему агроном. Документы, оба подписанные одним лицом — председателем райисполкома Сутолоковым, действительно противоречили, били один другой.

Щекастый парень Петя Силин, секретарь-машинистка МТС, снял для Павла копии.

Дома Павел взял первую подвернувшуюся под руку пустую папку. Это была обычная папка — такие сотнями выпускала местная артель инвалидов, — на лицевой корке казенная надпись. «Дело №...», уже старая, потертая, завязки чернильного цвета вылиняли и почти не пачкали рук. В эту-то папку и положил Павел копии.

8

Саша забылся утром, спал всего несколько часов, и они унесли его домой. Снился живой и здоровый отец, качающий на коленке Лену, но распеваящий почему-то не о привычном дядюшке Егоре в онучках новых, лапотках кленовых, а громко, как репродуктор, что висит в углу комнаты: «Теперь я турок, не казак...»

Проснулся — действительно поет радио. С удивлением огляделся — куда попал? Желтый дощатый потолок, ситцевая, прозрачная от старости занавесочка, тесная, пе по росту, кровать: не дома! И в ту же секунду вспомнил: ночь, два голоса, негромкие, спокойные... Саша вскочил, затрав-

ленно озираясь, стал одеваться: «Уйду! Уйду! Сейчас же! Ни минуты лишней...»

Изба пуста — ни гостя, ни хозяина, только за перегородкой одна из дочерей Игната Егоровича выговаривает братишке:

— Ну, чего кошку слюнями мажешь? Она сама умется.

У окна, на маленьком столике, — дешевый приемник. Он и поет... Хозяева вышли на минутку, — должно быть, скоро вернутся.

Боясь с кем-либо встретиться, Саша выскочил на крыльцо.

Солнце стояло уже высоко, припекало не по-утреннему, разморенные куры лежали в пыли на дороге. У соседей в хлеву жалобно мычала корова.

А в деревне — ни человека. Дорога, уходящая в поле, пуста. Сейчас по этой дороге до шоссе — пешком, там он остановит машину, попросит шофера довезти и... не вернется. Все! Кончено!

Но одна мысль заставила Сашу остановиться: «Так и уйти, не сказаться?.. Сбежать?.. Нет, надо поговорить с Игнатом Егоровичем. Скажу открыто: слышал, знаю, работать с вами не могу, помощи вашей не надо... Честно и прямо. Пусть тогда упрекнет, что сбежал, как трус».

Саша уселся на ступеньки крыльца — Игнат Егорович мимо своего дома не пройдет, рано или поздно появится.

Из соседнего двора вышла рыжая корова, медлительная, важная, — не поверишь, что минуту назад она мычала жалобно и просяще. За ней, держа на весу хворостину, появилась старуха. Она невольно ворчала:

— Самим небось заботушки нету... Назаволили животин... Куды, клешнятая! Вот ужо-тко опояшу!

Заметив сидящего на крыльце Сашу, подставила козырьком ладонь к глазам, бесцеремонно оглядела, равнодушно отвернулась и забубнила свое:

— Себе-то мясы нарóстила, а чуть что: свекровушка, свекровушка... А свекровушка ворочай. Нет чтоб самой раненько подняться да позаботиться, кобыла необъезженная...

Загребая пыль жилистыми, черными от застаревшего загара ногами, старуха медленно удалялась.

Казалось бы, ничего не случилось: прошла мимо, погоняя корову, незнакомая старуха, взглянула, отвернулась,

пробрюзжала свою старушечью беду, а Саше от всего этого вдруг сделалось тяжело до удушья.

Вот он сидит на чужом крыльце, у чужого дома, мимо проходят чужие люди, жалуются на что-то свое... Какое дело этой старухе до того, живет на свете он, Саша Комелев, или не живет, случилось у него горе или нет... Вот крыши деревни с мшистой прозеленью по темному тесу, под каждой — люди, у всех свои радости, свои обиды... За этой деревней — другие деревни, села, где-то далеко стоят города. Велик свет, всюду живут люди, и на всем свете нет никого, кто бы мог помочь Саше. Мать? Сестры? Да они сами ждут от него помощи. Велик свет, а ты один! Как хочешь, сам устраивайся.

— Долго спишь. Не по-нашему!

Саша вздрогнул.

Откинув калитку ногой, шагнул во двор Игнат в белой, просторной, еще не обмятой после глаженья рубахе, широкий, краснолицый, радостный. С жестким хрустом вдавливая сапогами песок дорожки, подошел, протянул руку:

— Пойдем чай пить да на луга... Все углы мы с тобой сегодня облазаем.

И Саша, отвернувшись, против желания пожал твердую ладонь.

— Хочу поговорить я...

— За чаем все обсудим.

— Нет, здесь... Не буду я у вас работать. Уйду.

Игнат уставился с добродушным интересом.

— Откуда такая резвость — вчера напросился, а сегодня — уйду? Круто прыгаешь, парень.

— Я все слышал... ночью... как вы говорили... про отца...

Веки Игната с короткими, редкими остинками ресниц разом смахнули добродушие; без того крошечные зрачки сузились еще сильнее — острые, твердые, серьезные, с иголочный прокол. У Саши навернулись на глаза слезы — так не хотелось отводить взгляд и так трудно выстоять против этих зрачков.

— Значит, не спал... — произнес задумчиво Игнат. — Что ж, знал бы, пригласил бы и тебя. Разговор-то мужской был. — Он положил широкую теплую ладонь на узкое плечо Саши. — Обижаться тут нечего...

Но Саша сердито отвел плечо.

— Уйдешь — силой не держу. Иди! Только запомни: первый шаг в жизни делаешь, самый первый — и уж от правды бегаешь. Поостерегись! Не получится настоящего человека. Иди, коли так. Пожалее да руками разведу, что мне остается делать?

Его не держали, ему сказали — иди. И надо бы повернуться, кинуть через плечо: «Прощайте...» Но Саша не двигался, склонив голову, уставившись в сапоги Игната.

«От правды бегаешь...» Невозможно молча уйти от таких слов. Надо возразить! А как?..

Остаться надо. Не всегда — на время. Приглядеться, доказать, тогда уйти...

Высокий, грузный Игнат шагал размашисто, легко, вольно. День председателя колхоза большей частью проходит на ногах. Сейчас день только начинался, вся усталость еще впереди, идти пока что наслаждение. Саша «попал в ногу», и ему невольно передалась упругость председательского шага.

Перед полуднем хотя и не на шутку припекает солнце, но воздух хранит остатки утренней свежести — жара не утомительная. Ветерок слаб, но чувствуется. В тихое, как глубокие вздохи спящего, шелестящее качание еще не налившихся колосьев вплетается суетливое, вороватое шуршание — то в гуще хлебов снуют перепела. Низко над придорожной примятой травкой летают тяжелые шмели. Гудят недовольно, патужно, обрывают полет на самой сердитой ноте, впиваются в цветок по-хозяйски грубо, свирепо. Похоже — добывать себе пропитание они считают проклятием и за это вымещают свою злобу на цветах.

И гудение шмелей, и шелест задевающих друг друга колосьев, и вороватая жизнь певидимок-перепелов при быстрой ходьбе не замечаются по отдельности. Но все вместе создает ощущение налаженности жизни, какой-то добротности окружающего мира.

Если ты просто спокоен, у тебя в такие минуты рождается неясная, тихая радость. Ей нет другого объяснения, как: хорошо жить на свете! — и только.

Если же душу разъедает беспокойство, то безотчетное любопытство к окружающему затушит его, вызовет покой.

Саша шагал, и с каждым шагом все легче становилось на душе, все меньше мучила обида за отца. С каждым

шагом, казалось, он уходил дальше и дальше от страшного ночного разговора.

Игнат обернулся, распаренный, радостный, оживленно кивнул на высокую гору, снизу обросшую темными елями, выше — осинником, задичавшей черемухой, еще выше — курчавым кустарником. А над всем этим — плоское, лысое темя.

— Хочешь — взберемся? Оглядишь для начала колхоз сверху. Поймешь, что к чему. А там спустимся прямо на Ржавинские луга.

Гора называлась Городище. О пей ходят по деревням поверья. Когда-то (точно никто не знает, когда, все уверяют лишь — очень давно) на лесные земли села Коршунова налетели враги. Были ли то татары или разгулялась воинственная чужь — опять никому не известно. Мужики из окрестных деревень выбрали самое высокое место, обнесли его бревенчатым частоколом и встретили пришельцев камнями, смолой, горящими бревнами. Рассказывают: доходило дело и до рогатин. Враги ушли, а на том месте, где они были отбиты, построили сторожевой городок.

Теперь здесь пни, кустарники да рыжая, выгоревшая на солнце трава. От самого городка не осталось никаких следов. Гора приняла его название и его славу.

Направо с нее видно ныряющее в зелень перелесков шоссе — самая бойкая дорога в районе. Она соединяет Коршуново со станцией, она ведет к лесокомбинату, она уходит в глубь соседнего Шумаковского района. И пыльные наезженные проселки, и луговые, поросшие одуванчиками и желтыми ноготками тропинки — все они, как речки и ручейки к большой реке, изгибаясь и виляя, тянутся к ней, к дороге, уставленной столбами электролиний. Там ночью и днем не затихает грохот моторов. Идут трехтонные ЗИСы, тащат на себе бревна лесовозы, сверкая стеклом и лаком, визгливо покрикивая на нерасторопные грузовики, мчатся «победы».

Шоссе — одна из границ колхоза «Труженик».

Налево, за начинающими белеть полями ржи, за сермяжно-коричневыми парами, за крышами деревень Старое и Новое Раменье, виден лес. Среди него в темной хвое с трудом можно различить плешинку. Там тоже поля и тоже стоит деревня. Она так и называется — Большой Лес. А еще дальше за этой деревней — лесные покосы. «Сахалин» — прозваны они за свою удаленность. Среди моховых

кочек, близ мочажин, поросших осокой, стоят там окопанные столбики...

И это граница колхоза...

Велики земли «Труженика». С одной стороны столбы электролиний, круглые сутки грохот машин, с другой... Были случаи, когда выпущенную на отаву корову находили в чаще, забросанную дерновиной и мхом. Ее задирали медведь и оставлял, чтобы наведаться на недельке, когда мясо будет уже «с душком».

Игнат в своей белой, трепещущей на ветру рубахе стоял, прочно вдавив в сухую траву широко расставленные толстые ноги, выставив грудь и живот, курил, а ветер срывал с его губ слова и затяжки дыма. Он не спеша объяснял Саше свое раскинувшееся хозяйство.

Выщипанные перелесочки, по полям песенные березки-одиночки, сбившиеся в тесные кучи черные ели и просторы, просторы — синие, туманные, неясные... Для них даже этот прозрачный воздух слишком густ, глаз с трудом пробивает его необъятную толщу.

Высота всегда опьяняет, бесконечность всегда тревожит, и не понять себя — хочется или покорно, тихо заплакать, или взбунтоваться, прокричать так, чтоб встряхнуть дремотный покой...

Игнат Егорович, должно быть, привык к этому. Он вдавил каблук в землю окурок и закончил буднично:

— Вот хозяйство. Здесь и будешь работать.

9

Когда-то село Коршуново славилось как «купеческая крепость». Нынче только старики помнят пять всегильдейших фамилий — Шубиных, Ряповых, Бахваловых, Безносовых и Костюковых. Эти пять семей торговали лесом, холстами, кожей, дегтем, и каждый хозяин, разбухая мощной, следовал раз навсегда установленному порядку. Сперва выстраивал тяжелые, как одноэтажные остроги, лабазы, потом — двухэтажный кирпичный особняк, украшенный по фасаду подслеповатыми оконцами, каменными кренделями и завитушками во вкусе хозяина, и, наконец, приносил благодарность богу. Но и тут хозяин оставался самим собой. «Молиться? Где? В церкви, что Митька Ряпов построил? Аль мы, Бахваловы, рылом не вышли? Аль

мы богом обижены? Свою заворотим почище Митькиной!» Вот потому-то в небольшом селе Коршунове имелась одна приходская школа и пять церквей.

Давным-давно Коршуново потеряло свою прежнюю славу и как-то не приобрело новой. Такое же волостное село Шумаково за это время выросло, стало хоть и маленьким, но городом. Около него выстроен лесокombинат. А вовсе не приметная прежде деревня Пташинки (в сторону от Шумакова) стала узловой железнодорожной станцией. Коршуново же осталось всего-навсего центром сельскохозяйственного района, самого не приметного среди всех районов области.

По утрам в Коршунове с первым грузовиком, поднимающим пыль на шоссе, голосили петухи. Кривой на один глаз пастух дед Емельян, покрикивая на коров и хозяек, собирал стадо. Днем около районного Дома культуры козы объедали афиши, извещавшие коршуновское население о новой кинокартине. По вечерам на дощатой площадке в роще играл доброволец баянист, молодежь танцевала или же парочками искала темные закоулки. Жители же более почтенного возраста — бухгалтеры, делопроизводители, заведующие райторгами, райтопами, райфо и прочие — засучив рукава нательных рубах, трудились в поте лица — окучивали картошку.

Незнакомых в селе не было. Каждый из жителей знал всех, все знали его. Если у Марьи Филипповны, что живет на южном конце села, коза «от неумного характера» ломала себе ногу или же поросенок разрывал грядки с морковью, то эти события сразу становились известными на северном конце Авдотье Поликарповне.

Вообще жили тихо, мирно, по-соседски, слушали последние известия, любили поговорить друг с другом о чем-нибудь далеком, например, о водородной бомбе или же об отставке Мосаддыка.

Павел Мансуров жизнь свою прожил беспокойно. Офицером поколесил по Европе — был в Будапеште, Праге, Вене. Случалось, как говорится, смотреть и смерти в глаза. Впрочем, этим в наше время никого не удивишь.

Коршуновский район был родиной его жены. Он приехал с ней сюда после демобилизации.

В райкоме никто лучше его не мог провести семинар о прибавочной стоимости. Даже покойный Комелев немного побаивался начитанного заведомом пропаганды.

Коршуновская жизнь была для Мансурова тяжела: тихо, сонно, даже чрезвычайные происшествия, вызывающие бесконечные разговоры и пересуды, как-то очень обыденны — в райпотребсоюзе раскрыли растрату, пять человек попало под суд; на перестройку Дома культуры отпущено около ста тысяч, будет пристроено крыло — новый кинозал с буфетом.

И работа Павла не радовала. Кажется, агитация и пропаганда — лекции, политическая учеба, выступление самодеятельности — дело живое, но вокруг этого был какой-то бумажный круговорот: тематические планы, инструкции по культурно-массовым мероприятиям, инструкции по семинарам — от одних названий мозг сохнет. А пособия? Что может быть скучнее «Блокнота агитатора», этой универсальной шпаргалки всех районных пропагандистов.

Сидя в своем кабинете перед дешевым плексигласовым чернильным прибором, Павел часто думал: «Где-то люди строят каналы, электростанции на миллионы киловатт... Живут! А тут в прошлом месяце — отчет о работе семинаров, в этом — отчет о работе лекторской группы. Никуда не уйдешь».

Павел был твердо убежден, что только одно может изменить его жизнь: оставить Коршуново, уехать — в Заполярье, на целинные земли, куда-нибудь подальше.

И вот случилось неожиданное. Павел Мансуров продолжал жить в селе, работал на прежнем месте, но уже не испытывал тягостной скуки. Тишина и безмятежный покой села перестали его удручать.

За три года работы в Коршуновском районе он много видел разных оплошностей, подчас грубых ошибок. Почему-то казалось, что не он, а кто-то другой, всемогущий, должен заметить эти беспорядки, исправить, наладить, перетряхнуть жизнь коршуновцев. Он ждал этого, иногда ворчал: «И чего только смотрят там?..» Словно там сидели не обычные люди, а прозорливцы, наделенные могущественными способностями видеть через сотни километров недостатки и росчерком пера исправлять их.

И вот в ту ночь Игнат сказал ему: я вижу больше, что делается вокруг меня, чем те, кто наверху, я хочу подсказать им, помочь, научить, хочу сам исправить и пробую это делать, только силы маловато, только голос слаб, не могу крикнуть так, чтобы услышали.

И Павел Мансуров решился: «Я крикну, чтоб услышали! Смогу! Хватит сил!»

Игнат Гмызин признался: бить — не знаю кого, размахнешься — хлоп! — глядь, в воздух попал.

Павел найдет виновных.

Он будет бросать правду в глаза! Бороться за правду — значит бороться за счастье! Тут не может быть ошибки. Правды, приносящей людям несчастье, не существует.

Он, как и прежде, ездил по колхозам, заглядывал в МТС, разговаривал, но теперь в каждом разговоре ловил все, что казалось ему нужным. А потом рылся в отчетах, наводил справки, записывал...

Иногда он сам поражался своим открытиям.

Однажды он увидел обычную на коршуновских дорогах картину. В овражке, вдавив в болотистое дно жидкий пастил мостика, печально мок под дождем комбайн. Земля вокруг него была взрыта, из-под колес торчали невынутые следи: видно, долго возились комбайнеры, но крепко села тяжелая машина. И комбайнеры разошлись — пришлют тягач, вытянет.

После этого случая Павел стал узнавать в МТС, во что обходятся простои по вине дорог, текущий и капитальный ремонт машин, такие мелочи, как подброска тягачей, перерасход горючего... По самому грубому подсчету, во всех трех МТС только за три последних года убытки из-за бездорожья составили миллионы рублей. Не сотни тысяч — миллионы! А один километр жердевки, считай только работу (материал бесплатный, растет всюду), обходится около двух тысяч. На эти миллионы можно отремонтировать все дороги района, расширить поля, дать простор комбайнам. Не только три года мучатся МТС от бездорожья и, если не взяться за ум, будут мучиться еще бог знает сколько. Тут уже сотни миллионов государственных рублей могут вылететь на ветер. Неувязка в планировании. Молчать о ней — вредительство!

Но Павел Мансуров не спешил кричать. В свое время он выложит на стол перед секретарем райкома все цифры, все факты, все документы. Пусть попробуют не ответить на них, пусть попробуют отмолчаться, спрятать под сукно. Он, Павел Мансуров, — член партии и будет иметь дело с такими же партийцами. В случае нужды он напомним им партийный устав: «Зажим критики является тяжким злом». На его стороне — закон, на его стороне — сила!

Он не Игнат Гмызин, он станет бить не в воздух, а на-верняка.

Потертая папка с вылинявшими лиловыми завязками, лежавшая в столе Павла Мансурова, постепенно заполнялась. Впереди борьба! Там, где есть борьба, жизнь становится интересной.

10

Саша целую неделю не показывался дома. За два дня он научился управлять пароконной косилкой; голый по пояс, в кепке, натянутой на самый нос, разъезжал по лугам. Обгорел на солнце, руки покрылись черными ссадинами (косилка была старенькая, частенько приходилось возиться с ней), перестал краснеть, когда раменские девчата, устраиваясь обедать, кричали ему:

— Сашенька! Солнышко! Иди к нам в копешки. Охотка поиграть со свеженьким!

Саша жил и столовался у Игната Егоровича. Галина Анисимовна, жена председателя, поила Сашу парным молоком, кормила запеченными в пироги лещами. Спал он в сарае, рядом с копной свежего сена, прямо на полу раскинув твердый тюфячок. По утрам его будили куры. Всегда казалось, что лег минуту назад, не выспался. Вскakiвал, накидывал на голые плечи пиджак, бежал по обжигающей босые ноги росяной траве за деревню, к речке.

Желтый обрыв берега весь источен ласточкиными гнездами. Под ним узкая речонка вливается в широкий бочаг. Быстрая, суетливая, шевелящая беспокойно хвостец и осоку, сдвигающая с места на место песчаные наносы, вода здесь, в бочаге, отдыхает, отсыпается, чтобы снова неутомимо бежать дальше. Это Лешачий омут. Днем, даже под бьющим в упор солнцем, вода тут черная, без просвета. Под самым бергом двухсаженные шесты не достают дна.

По утрам весь омут покрыт туманом. Туман настолько плотен, что сверху кажется — в широкую чашу Лешачьего омута до половины палито снятое синее молоко. С разбегу бросаешься вниз. Сначала головой пробиваешь туман и только потом попадаешь в воду. Вынырнешь — и, словно в сказке, другой мир: не видно берегов, не видно неба, только льются сверху рассеянные солнечные лучи, таинственные, нездешние. А вода теплая, за ночь не успевает

остынуть. Зато когда вылезешь, пачкая колени о глинистый берег, грудь сдавливает от холода, мокрое тело дымит.

За столом, у самовара, Сашу ждет Игнат Егорович. Чай обжигает горло, а Игнат Егорович не торопясь рассуждает с Сашей, почему на залильном клине Овчинниковского луга в этом году из рук вон плохая трава.

— Я так думаю: водичка вымывает питательные вещества. Навозом бы надо подкармливать.

После чая Саша бежит через деревню к конюшне. Там его вместе с конюхом Лукой, стариком с темной и тусклой, как прокаленный бок печного горшка, лысиной, ждут две лошади — вислогубая, только в упряжке сбрасывающая сонливость Люська и большой сластена, ласковый за сахар, гнедой низкорослый меринок со странной кличкой «Пятак».

Хорошо так жить. Работай, уставай, высыпайся, знай — будет выдача на трудодни и тебя не обделят, отвезешь кое-что матери.

Но эту жизнь оборвал Игнат Егорович.

— Пора, парень, в институт готовиться. Съезди домой, побудь там денек-другой, захвати учебники — да обратно. Днем работать, вечерами вместе сидеть будем. С непривычки, знаю, трудненько, да что ж поделаешь. Ребячье житье кончилось, взрослая пора начинается.

И Саша поехал домой...

Ленка бросилась с порога на шею: «Саша приехал!» Мать, прикрикнув: «Не висни! Не дадут человеку опомниться...», сморкаясь в платок, сдерживая вздохи, сразу же загремела посудой. Старшая сестренка, Верка, побежала к соседям занимать дрожжи. Даже отца так не встречали из командировок: его приезды и отъезды были привычны. А тут новый хозяин, глава семьи, приезжает первый раз.

И Саша вел себя достойно — потрепал Ленку по волосам, умываясь, с суровой лаской бросил матери: «Особо-то не хлопочи», спокойно выслушал от нее жалобы — подстинок переборку раскачал, соседи сложили поленницу, она развалилась, сломала изгородь, а исправить не думают... «Нет отца-то, обижай всяк, кому не лень...»

Саша достал топор, пилу, молоток и вышел во двор.

Укрепил переборку в хлевушке, поправил изгородь, переклад наново соседскую поленницу, начал перекладывать свою... При этом сурово хмурился, делал вид, что не замечает, как на крыльцо их дома заворачивают знакомые женщины. Мать выходит к ним, слушает с размякшим лицом, кивает радостно. Уж известно, что шепчут: «Удачливая... Не обижена сынком... Хозяйственный...» Стоит ли обращать на них внимание?

Вечером к Саше пришла гостья.

— Здравствуй, Саша! Давно тебя я не видела.

Прямо через низенький заборчик, едва коснувшись его руками, перемахнула Катя Зеленцова и, упруго ступая высокими каблуками туфель по замусоренному щепками двору, приблизилась, протянула руку.

— Поговорить нам нужно.

Саша не торопясь вытер о штаны свои испачканные смолой руки, поздоровался.

Они присели на скамеечку у крыльца.

За много лет до революции в село Коршуново был сослан на поселение один человек — то ли грек, то ли армянин. Одни говорили: возил сукно из Турции, на том и попался, другие уверяли — не сукно, а запретные книжки... Но так или иначе, новый коршуновский житель ни политикой, ни чем-либо другим запретным больше не занимался. Он поставил бревенчатую избу, где в мороз углы обрастали инеем, взял себе в жены девку из ближайшей деревни, работающую и бедную (кто ж из дома с достатком пойдет за пицего поселенца), пахал землю, наловчился под конец жизни катать валенки, любые, на заказ, — хоть чесанки по ноге чулочком, хоть грубые, на три года без подшива, — наплодил детей и был мирно похоронен на старом коршуновском погосте. Катя по матери шла от этого поселенца. Еще в школе среди шевелюр цвета ржаной соломы, серых глаз, курносых лиц, всего обычного, что вырастает под скупым северным солнышком, она выделялась нездешней броской красотой — элинка среди коршуновцев.

Густые черные волосы зачесаны назад, открывают небольшой чистый лоб, брови ровные, жесткие, иссиня лоснятся, темный пушок пробегает над переносицей, соединяет их, глаза из-под ресниц влажно блестят, нос с горбинкой, с резко вырезанными поздырями. Она последнее время темного пугала Сашу.

— Мы в райкоме комсомола посоветовались и решили предложить тебе — работай у нас. Пока будешь заведовать учетом, потом на пионерские дела перебросим...

Катя покровительственно взглянула на Сашу, но тот был равнодушен, даже чуть-чуть нахмурился.

В эту минуту Саша представил себе: что, если бы Игнат Егорович слышал их разговор? Уж сказал бы непременно: «Вылупиться не успел, а уж бросился на заведение».

— Подумай, какие у тебя впереди перспективы, — продолжала не торопясь Катя. — От комсомольской работы прямой путь на партийную. Помнишь Женю Волошину? Она мне комсомольский билет вручала, а теперь в обкоме партии ведущим отделом заведует... Не понимаю, чего ты молчишь. Ведь нет же более благородного, более высокого дела, как служить партии.

— Высокое дело? Это верно... — неохотно заговорил Саша. — Только ты сама портишь его.

— Я тебя не понимаю.

Катя была старше Саши только на год, но считала себя намного взрослее всех своих сверстников. В школе — бессменный секретарь комсомольской организации. Если нужно было от молодежи выступить на торжественном заседании, назначали всегда ее. Сразу же после школы пригласили работать в райкоме комсомола, и не каким-нибудь заведующим учетом, а инструктором. Наверняка ей быть одним из комсомольских секретарей. Не каждому-то так доверяют... А Саша — вчерашний школьник. Вот он сидит, упрямо опустив голову, видна ложбинка на шее, в ней светлая косица волос.

— Не понимаю тебя... — В голосе Кати слышался добрый, снисходительный упрек, словно хочет сказать: «А ну, ну, скажи — почему упрямисься?»

— Что тут не понимать? Говоришь — высокое дело, а предлагаешь его мне, непроверенному человеку.

Катя рассыпалась веселым мелким смехом.

— Милый ты мой Сашенька! Да какой же ты непроверенный! У тебя и проверять нечего. Вот ты весь как на ладони: за границей не бывал, связей — даже с девочками — не имел. Не-про-ве-рен-ный!

Саша фыркнул осуждающе.

— Ответила!.. Привыкла мерять анкетой: был ли за границей, имел ли связи?.. Я пять дней назад узнал толь-

ко, как в косилку лошадей запрягают. Где уж там проверенный! И такого сразу заведовать чем-то.

— Да ты с занозой. Вот не ожидала, — с прежней снисходительностью протянула Катя, но блестящие глаза с любопытством, скрытым интересом разглядывали Сашу. У него из распахнутого ворота мятой рубашки виднелась ключица, мальчишечья, трогательная, но тонкие губы твердо сжаты, взгляд больших светлых глаз открыто прям, смущает... Вот и не заметила, как изменился, — серьезный растет мужчина.

Снисходительный тон и пристальное разглядывание задела Сашу. Он заговорил резко:

— Ты вот станешь секретарем райкома комсомола пойдешь на курсы — поставят заведующим отделом в райкоме партии, может, до партийного секретаря дорастешь... А такой, как Игнат Егорович Гмызин, есть председатель и останется им. Он-то свой колхоз уж будет знать. Тебе придется ему советы разные давать, учить его, а что ты ему посоветуешь, если даже лошадь толком запрячь не умеешь?..

— Не хочешь так не хочешь, — решительно произнесла она. — Твоя добрая воля. Давай об этом говорить не будем.

— Верно, не будем, — согласился Саша.

Но говорить им было больше не о чем.

Чистый, как мед, закат потускнел. Куча тесу днем среди поленниц, бочек для поливки огорода, половиков, развешанных на изгороди, была незаметна. Сейчас, в вечернем прохладном воздухе, она объявила о себе всему двору — смолисто запахла.

Исподтишка разглядывая Катю, Саша вспомнил один случай.

Как-то возле школы играли в лапту. Звонок на урок оборвал игру. Все бросились к школьному крыльцу самым близким путем — через выбитую дыру в ограде, ребята впереди, девчата, смеясь и тараторя, сзади. Саша, последний из ребят, уселся в лазе, закрыл собой проход.

— Не пуцу! Кругом обежите.

Девчата толкнули его раз-другой в спину, потоптались, кинули без обиды «дурак!» и побежали в обход. Вдруг затылком, всей спиной Саша почувствовал — к нему подходит Катя. Остановилась, помолчала, приказала:

— Пропусти!

Саша через плечо взглянул: острый подбородок вскинут, ресницы надменно опущены, в тени под ними, тронутые таинственной влагой, глаза. Уступить — позорно и сидеть, не двигаясь, — трудно!

— Пропусти!

— Не пущу.

— Пропусти!

И Саша не выдержал... Она прошла, а он покорно, в отдалении, поплелся за ней. Плечи приподняты, походка небрежная, чувствует, конечно, что он смотрит ей в спину.

Катя пошевелила плечами:

— Холодно. Я пойду.

Саша распрямился, приготовился прощаться. Но Катя не двинулась с места.

Еще с минуту сидели молча, вдыхая свежий запах досок.

— Мне пора...

И опять не двинулась.

— Если можно, я провожу...

В сумерках лукаво, таинственно блеснули глаза Кати.

— Наконец-то! Тяжел на догадку.

— Обожди минутку — переоденусь, руки вымою.

Он бросился в дом... Переодеваясь, прятал смущенное лицо от матери.

Луна уперлась подбородком в верхушку старой липы. В тени по земле были разбросаны лунные зайчики. С лугов время от времени тянул сырой ветерок, и тогда лунная россыпь начинала ленивый хоровод. Один из крупных зайчиков лежал на белой кофточке Кати, как голубая ладошка.

Катя притихла, задумалась.

— Скажи, — она подняла голову, — тебе не кажется иногда, что эта жизнь пока не настоящая?

— В детстве казалось одно время, — ответил Саша не сразу. — Бегал с ребятами, купался, за нагими под коряги лазал, а ночью оставался один и думал: а что, если есть еще какая-то жизнь, непохожая, спрятана в этой? Знаешь, игрушечные матрешки — одну отроешь, в ней другая сидит... Я все ждал: проснусь, а кругом иначе. Река Шора, налимы, грибы в Прислоновском лесу — все было ненастоящее, просто снилось мне. Даже страшно

иногда делалось. Говорят, учение такое было, идеалистическое, — ты живешь, а все кругом как сон или что-то в этом роде.

Но Катя покачала головой.

— Я не о том...

— О чем же?

— Вот ты ушел в колхоз, работаешь... Ты думаешь, это и есть начало настоящей жизни?

— А как же? Теперь я в матрешек не верю. Раз кончил школу — значит, жить начал.

— А я вот все жду чего-то большого, задания какого-то особенного или выдумываю — пошлют куда-нибудь. И знаю — обманываю себя, а жду...

— Какое задание?

Катя приблизила к Саше лицо: строгие в одну линию брови, глаза в темноте не видно, но чувствуется — они блестят под ресницами, блестят решительно, с вызовом.

Ты не смейся, но мне хочется чего-то головокружительного. Приказала бы партия — умри! Умерла бы!.. Тебе смешно? Наивная девчонка мечтает о подвиге, детство не выдохлось.

— Не смешно, только...

— ...только — пустое все, фантазия. Надо жить, а не мечтать попусту. Верно, Саша, тысячу раз верно! Но это я уже слышала... — Катя неожиданно остыла, вздохнула. — Как мне на целину хотелось уехать...

— Почему же не уехала?

— Думала, думала, и руки опустились. Ну что я умею делать? Я не тракторист, не механик, не комбайнер, даже не прицепщик...

А комсомольский работник. Там, наверно, они тоже нужны.

— Таких ли комсorghов туда посылают — со стажем, из городов, а я и года еще не работала. Да и ехать за тысячу километров, чтоб опять стать тем же, — какой смысл?

— Тогда надо было выучиться на трактористку.

Домà, уткнувшись окнами в растрепанные палисаднички, дремали вокруг. Их крыши щедро поливала своим светом луна. Телеграфный столб от безделья и одиночества унылым баском пел про себя тягучую песню.

— Я вот тебе позавидовала, — начала Катя после молчания. — Решил уйти в колхоз и пошел, стал учиться

запрягать лошадей в косилку. Как подумаю — трактор, выхлопы разные, грязный мазут... Обычное, небольшое... Наверно, нет характера. Честное слово, завидую тебе... Я даже удивилась сегодня про себя: гляди ты какой!

Вдруг, оборвав себя, Катя поспешно сунула руку:

— До свидания. Поздно.

Лунный зайчик сорвался с ее груди и затерялся в выводке таких же, как он, разбросанных по траве...

Проскрипела калитка, простучали по сухой тропинке каблук. Уже из темноты, от дома, она насмешливо крикнула:

— Не загордись смотри! Я, может, все наврала.

Звякнула щеколда, хлопнула дверь.

Саша стоял, окруженный щедро разбросанными лунными пятнами, смотрел в темноту... Он протянул руку вперед, поводил ею в темноте, пока лунный зайчик не упал на ладонь.

«Наврала?.. Ой, нет. Слово не воробей...» Шевельнулись ветви деревьев, по влажным уже от выступившей росы листьям пробежал тихий шорох, словно очнулось от сна дерево и опять задремало. Зайчик соскользнул с ладони. Саша сконфуженно спрятал руку в карман.

На пустынном шоссе поблескивали отшлифованные автомобильными шинами затылки булыжника. Посреди дороги валялся ржавый железный обод от бочки.

Не с ним ли возился днем напротив их двора Вовка, сынишка райисполкомовской уборщицы Клавдии? Он упрямо сопел, прилаживался, наконец наловчился — обод со звоном и грохотом покатился по булыжнику. Замелькали черные пятки, раздался победный, полный восторга клич.

Саша вспомнил этот клич, взлетающие пятки, черные, как обугленные в костре картошины, и тихо засмеялся.

В промкомбинате, вспугнув галок, простуженно прокричал гудок.

На усадьбе МТС девять раз ударили в подвешенный к столбу лемех плуга.

С крыльца почты сошел, привычно сутулясь под набитой газетами сумкой, почтальон Кузьмич.

В магазине райпотребсоюза раскрылись двери, и степенная чета: дед, борода клинышком лисьего цвета, старуха с вьедливым взглядом, прибывшие спозаранок из деревни Прислон или Сухаревка, с пристрастием стали ощупывать выброшенную на прилавок штуку грубого драпа.

В парикмахерской артели «Красный быт» парикмахер Сударцев, прозванный злыми языками «Тупая Бритва», принимаясь за подбородок заезжего председателя колхоза, начал решать с ним вопрос: какое еще коленце выкинет в Вашингтоне сенатор Маккарти.

Как всегда, в девять утра в селе Коршунове начинался обычный трудовой день.

Павел Мансуров в свежей сорочке, в отутюженных брюках, заметно праздничный, шагал к райкому, придерживая локтем папку с документами. Почтальон Кузьмич встретил его обычным: «Газетку прихватите». Учитель Аркадий Максимович Зеленцов, мерявший дощатый тротуар лоснящейся от старости палкой, приподнял над головой соломенную шляпу: «Доброе утро». Вышедший из парикмахерской с отливающей синевой подбородком знакомый председатель из глубинного колхоза остановил его, поговорили о погоде, о пальцевой шестерне, которую никак не выпросишь у МТС.

Привычное до мелочей утро! Люди здороваются с ним, разговаривают о каких-то пальцевых шестернях и не догадываются, что через десять минут он, Павел Мансуров, положит на стол секретаря райкома свою папку. А это ж событие и в их жизни! Здесь, в папке, лежат документы. Они указывают на причины многих недостатков. Раз причины известны, ошибки вскрыты, ничего другого не останется, как исправлять их.

Грохочут расхлябанными бортами грузовики по шоссе. Из открытых окон учреждений слышатся уже стук машинок и громкие голоса, вызывающие по телефону отдаленные сельсоветы:

— Верхнешорье! Верхнешорье!.. Какого рожна Сташино суется? Девушка, скажите, чтоб не мешали!

С недавних пор Павлу Мансурову стал нравиться этот деловитый шум начинающегося дня в Коршунове. Он вдруг почувствовал себя опекуном коршуновцев, и от рожденного скукой недоброжелательства не осталось и следа.

С неделю назад Павел принес свою папку Игнату Гмызину. Тот, уединившись в углу комнаты, принялся читать, время от времени качая головой.

Павел ушел бродить по колхозу. Вернулся через час.

Игнат сидел на прежнем месте, курил, озабоченными глазами встретил Павла. Папка была закрыта.

Павел сел, с тревожным вниманием поглядывая на лицо Игната. А тот, словно нарочно, долго молчал. Открыв снова папку, навесив над ней свою крупную, блестящую голову, листал задумчиво.

Вот Игнат перевернул один за другим три желтых шершавых листка, скрепленных канцелярской скрепкой. Внимательно в них вглядывался. Павел знает — это списки заросших покосов. Внизу третьего листка его, Павла, рукой приписано: «Из этих данных видно, что, если в ближайшие пять лет не будет начата борьба с кустарником, животноводство района окажется в катастрофическом положении».

Из-под руки Игната выскользнула, упала на пол голубая — кусок обложки от ученической тетради — бумажка. Это справка о скоте, который из-за бескормицы нынешней зимой вынуждены были прирезать в некоторых колхозах. Игнат нагнулся, с налившимся кровью лицом поднял справку, бережно положил на прежнее место.

Дальше идут материалы о сокращении удоиности за последние десять лет...

Листок за листком — большая, невеселая повесть связанных друг с другом неудач, обидных фактов. Исправь одно, начнет подниматься другое... Ни жена, ни работа, ни собственное благополучие — ничто не интересовало последнее время Павла. Он жил в эти дни только для того, чтоб по строчке, по цифре, по факту собирать повесть, которая бы смогла растревожить равнодушные руководителей... И вот работа кончена, материала достаточно. Что-то скажет сейчас Игнат? Нужно рядом чье-то плечо, а у Игната оно не слабенькое. Что-то скажет?..

— Да-а,— протянул Игнат.— Просто, никакой хитрости. Собрал, что известно, в одно место, и — на тебе! — получилась бомба.

— Ты — за?

— А то нет?.. Только что ж ты, брат, в одиночку копаешься?

— Как так «в одиночку»? Тут и Чистотелов положил мзду, и покойный Комелев, и Сутолоков, и директор МТС, а твоего разве мало? Я всего-навсего кладовщик — принимал да сортировал.

— Скорей старьевщик. Что сам увидел, то поднял. Знали бы — понесли бы тебе.

— Кто-то понес бы, а кто-то, верно, попробовал бы за руку схватить.

— Заступились бы...

— Не поздно. Пусть теперь заступятся.

— А как?

— Начнем обсуждать, встанут на мою сторону. Дело простое.

— А Баев у Комелева второй рукой был. Он, возможно, не захочет обсуждать.

— Можно заставить.

— Кто заставит, спроси? Ты? Он скажет тебе, что все это ерунда, не твоего ума дело, положит под сукно твою папку, и что ты тогда сделаешь? Кулаками над его головой трести будешь? Не запугаешь. На собраниях начнешь теревить, бросишь обвинение, что замазывает ошибки? А кого твой крик тронет? Максима Пятерского? Федосия Мургина? Костю Зайцева? Так ведь они и слыхом не слыхали об этих документах. Как же они будут поддерживать то, чего не знают? Раз взялся, надо быть уверенным, что все не останется под канцелярским замком!..

Глядя на Игната, навалившегося пухлой грудью на стол, Павел невольно подумал: «А ты, брат, не так прост. Не выровняв горку, воз не спустишь...»

Всех колхозных председателей папка обойти не могла, да и не было в том нужды. Кроме Игната, она побывала у троих: у Максима Пятерского из колхоза имени Калинина, человека молчаливого, осторожного, у Кости Зайцева, молодого председателя из «Первого мая», и у самого старого председателя в районе, Федосия Мургина.

За два дня до того, как Павел взял к себе обратно папку, к Игнату Гмызину заскочил Никита Прохоров, председатель «Первой пятилетки». Он уже где-то успел услышать о ходивших по рукам документах и специально завернул полюбопытствовать. С полчаса, не больше, сидел, мусолил бумаги, наконец встал из-за стола и, сказав: «Одначе...», уехал. А на следующий день встретивший Павла Баев спросил:

— Рассказывают кругом о какой-то папке. Что там выкопал? Почему это делается за спиной райкома?

Павел объяснил, что за спиной райкома он ничего не собирается делать, не сегодня-завтра все выложит ему, Баеву, на стол.

Пора действовать!

...И вот принаряженный, чуточку торжественный Павел Мансуров шагал к райкому, нес папку.

12

В кабинете Баева, на столе под стеклом, лежал отпечатанный на машинке список членов бюро Коршуновского райкома партии.

Верхняя фамилия — Комелев Степан Петрович — была зачеркнута.

Вторым в списке стоял он, Баев.

Дальше — Зыбина Агния Павловна, секретарь райкома по зоне Коршуновской МТС, она же теперь второй секретарь. Эта каждое выступление на собраниях начинает с того, что нещадно бичует себя: «Я принимаю львиную долю вины на свой счет. Я не намерена прикрывать недостатки своей работы... Я смотрю объективно и вижу позорно слабое вмешательство со своей стороны...» В таких случаях даже у Баева, старшего по работе, почему-то появлялось зудящее ощущение своей вины, невольно хотелось выступить, покаяться в каких-то неизвестных себе ошибках, взять какое-нибудь обязательство. Зыбина, понятно, покаявшись, ополчится на Мансурова.

Следом за ней — фамилия Сутолокова, председателя райисполкома. В работе между секретарем райкома и председателем райисполкома нет резкой границы. По крайней мере ее не видел Комелев. Он выполнял и свои обязанности, и обязанности Сутолокова. Только на мелочи — настоять, чтоб доставили школе дрова, дать указание, чтоб отремонтировали крышу Дома культуры, замостили новым тесом тротуар, — решался Сутолоков без согласия секретаря райкома. Что Баев ни скажет — Сутолоков поддержит.

Пятым в списке — Павел Мансуров. Его мнение в этом деле известно.

Редактор районной газеты — Первачев. Парень молодой, никогда особой решительности на заседаниях бюро не проявлял, ссориться с райкомовским начальством не любит.

Чистотелов — старый член партии, недавно получивший орден Трудового Красного Знамени за выслугу лет, человек авторитетный. Он, пожалуй, встанет на сторону Павла Мансурова. Мансуров отстаивает лен, а одного этого достаточно, чтоб Чистотелов поднялся в защиту.

Последним в список был вписан от руки Пугачев Осип Осипович — райвоенком, дежурная личность, вечный кандидат в бюро. Год назад вывели из состава бюро директора МТС Семякина — временно стал членом бюро Пугачев. Умер Комелев. Кого ввести вместо него? Опять кандидата Пугачева. Баев сам переставил его фамилию из кандидатов в члены, разумеется на время, до первой конференции. Этот — «как большинство».

Семь действующих членов бюро. Только двое будут за то, чтоб обнародовать материалы, собранные Мансуровым. Двое против пятерых. Баев считал вопрос уже решенным.

Как всегда, перед заседанием разговаривали, и под внешней непринужденностью ощущалось старательное желание не коснуться ненароком вопросов, которые через несколько минут придется обсуждать. Председатель райисполкома Сутолоков, седоголовый, с обветренным, добрым, широким лицом, страстный лошадиник, говорил о том, каких коней он видел в прошлом году в известном по области совхозе «Шамаринский коммунар».

— Распахнули ворота, и вылетает этакое языческое божество — глаза горят, грива растрепана, двоих здоровенных парней несет на поводьях...

Даже Баев слушал с интересом.

Этот человек до того, как стал работником райкома, имел в жизни две далеких друг от друга специальности: до войны преподавал ботанику, в войну командовал взводом пешей разведки. И, казалось, в наружности его эти занятия отпечатались каждое по-своему. Лицо рыхловатое, с покатым подбородком и вдумчивым складом рта — верхняя губа нависает над нижней. С таким лицом только и рассказывать проникновенно о тычинках и пестиках. Но короткая, прокаленная солнцем шея мужественна, руки длинные, подернутые темным волосом, кисти лопатами, пальцы полусогнуты — можно верить, что с железной хваткой они

ломали зазевавшихся часовых где-нибудь ночью на берегу Днестра или Прута.

Перед ним на столе лежала папка Мансурова, ее картонный верх был еще более потерт и захватан — она походила по рукам членов бюро.

Павел сидел с подчеркнутым безразличием — излишне прям, нога закинута за ногу, над белым, только что из-под утюга воротом рубашки бронзовая, красивая голова вскинута чуточку выше обычного. И только когда Сутолоков пускался в особенно выразительные описания, Павел досадливо опускал веки — пора уже кончить лясы точить...

Появился майор Пугачев, чья фамилия стояла в списке членов бюро последней.

— Прошу прощения, товарищи, за задержку, — с достоинством произнес он, молодежато поскрипывая начищенными сапогами, прошел к дивану, уселся, выставив грудь, откинув голову, невозмутимый, снисходительно добродушный, с красным от завидного здоровья и тесного воротника лицом.

Баев решительно передвинул папку на столе.

— Начнем, товарищи. Вопрос, собственно, всем известен. Вот... — Баев так же решительно сдвинул папку на прежнее место. — Вот материалы о недостатках нашего района, выражающиеся главным образом... э-э... в планировании, кстати сказать, от нас не зависящем. Мансуров требует широкого обсуждения их.

Второй секретарь Зыбина — в глубоком кресле, как птица в гнездышке, плечи подняты, руки уютно лежат на животе — произнесла вкрадчиво:

— Я думаю, первое слово дадим Мансурову, так сказать, виновнику сегодняшнего события.

Баев склонил голову: «Не возражаю».

Павел ждал этого, поднялся, стройный, напружиненный, молча переводил с лица на лицо потемневшие глаза.

— Я свое слово сказал. Вот оно! — Голос его, сочный и сильный, заполнил кабинет. — Остается добавить очень немного. Если критика и самокритика не будут действовать, если снизу народ не станет замечать ошибок, то обязательно наше планирование пойдет велепую, обязательно оно станет ошибаться. Я, как коммунист, требую обсудить это, — Павел выбросил руку в сторону папки, — не только на бюро, в тесном кругу, а среди рядовых коммунистов!

Павел сел, по-прежнему напряженный, вытянувшийся.

Попросил слова агроном Чистотелов. Костистый, громоздкий, он пеловко чувствовал себя за столом на скрипящем легком стуле — ненадежной продукции местного промкомбината.

— Говорить тут много нечего, дорогие товарищи, — выдавил он своим густым басом. — Мансуров вывернул все наши грехи. Прятать их от людей нельзя. Кто, как не люди, будет их исправлять?.. — и, видя, что все ждут от него еще чего-то, обрезал: — Все!

С места вскочил редактор районной газеты «Колхозная трибуна» Первачев. Коренастый, большеголовый, как молодой бычок, налитый здоровьем, он резко, обращившись направо-налево своей лобастой головой, заговорил:

— Я тоже целиком согласен с Мансуровым!..

Баев внимательно и долгим взглядом посмотрел на Первачева.

— Взять нашу газету. С чем она борется? Доярку Петухову за перьяшливость продернули, бригадира Ловчукова за пьянство раскатали, ну, там навоз не вывезен, горючее вовремя не подброшено. По-цыплячьи клюем жизнь, а крупное взять за загринок не решаемся. Можем ли мы так исправить наши недостатки? Нет, не можем! Пора пользоваться критикой и самокритикой не в шутку, всерьез, решительно!

— Мне нравится такой запал... Простите, вы уже, кажется, кончили? — Зыбина не поднялась, а еще уютнее устроилась в кресле; склонив набок голову, с мягкой улыбкой она обвела всех открытым, чистосердечным взглядом своих ясных глаз. — Вы меня знаете. Я всегда говорю прямо. В тех недостатках, что занес в эту папку Павел Сергеевич, есть и моя вина. И великая! Но мне непонятно, товарищи, кого хотят Первачев с Мансуровым взять за загринок? — Снова светлые, чистосердечные глаза обежали лица присутствующих. — Обком партии? Облисполком? Может, Министерство сельского хозяйства? Ведь планы-то идут к нам в район от них. Дорогие товарищи, прежде чем искать чей-то высокий (простите, с ваших слов говорю) загринок, надо прощупать себя со всем пристрастием. Я, например, не скрываю, что наш райком и я лично... Да, я!.. (Не собираюсь прятаться за чужую спину.)

Я лично повинна и в том, что на корма для скота, на силос в частности, как и многие районные руководители, обращала чрез-вы-чайно мало внимания. Я решительно беру вину на себя и в том...

Зыбина это говорила с такой мягкой улыбкой, глядела такими невинными глазами, с такой простотой принимала на себя вину за все тяжкие грехи района, что Баеву, да и всем остальным, стало легче на душе — ей-богу, не так страшен черт, как его размалевал Павел Мансуров. Ну, виноват райком, виноваты товарищи из области, даже из министерства, но ведь кто без греха, стоит ли так горячо принимать к сердцу?..

— К тому же надо помнить, — веско произнес Баев, — тебе в особенности, товарищ Мансуров, о партийной и государственной дисциплине. Твои замечания интересны и смелы, но они могут расшатать налаженный порядок, внести дезорганизацию в работу партийных и советских органов, нарушить дисциплину.

— Верно, совершенно верно! — поспешно согласился Сутолоков.

Павел снова вскочил на ноги.

— Нет, не верно!

Разгорелся спор. Забасил Чистотелов. Первачев шумно заговорил с соседом, разъясняя разницу между армейской и государственной дисциплиной. Павел Мансуров бросил упрек Зыбиной:

— Твоя критика — не критика, а своеобразный зажим. Масло елейное на болячку!

Покойное доброжелательство как-то сразу свернулось на лице Зыбиной, ушло вглубь: ясные глаза, глядевшие с таким чистосердечием, обиженно прикрылись веками.

Баев опустил на стол тяжелую руку.

— Хватит, товарищи. Такие высокотеоретические дебаты можно продолжать до бесконечности.

Из семи членов бюро, чьи фамилии лежали перед ним под стеклом, высказались шесть. Голоса разделились: три за Мансурова, три против. Один райвоенком Пугачев, выходясь на диване в своем наглухо застегнутом кителе, хранил глубокомысленное молчание.

— Как твое мнение, Осип Осипович? — спросил его Баев.

Осип Осипович двинул вставленной в тугий воротник головой и не спеша, с достоинством ответил:

— Дисциплина есть дисциплина... Я присоединяюсь к вашему мнению, товарищ Баев...

Бюро кончилось. Молодцевато поскрипывая начищенными сапогами, райвоенком Пугачев первым покинул кабинет секретаря райкома.

13

На самой окраине Коршунова, неподалеку от шоссе, на песчаном взлобке стоит сосна. Выросшая на приволье, она когда-то поражала своей мощью. И теперь еще нельзя не заметить остатков ее былой силы. Толстенный — вдвоем только охватишь — ствол весь в чудовищных узлах и сплетениях: ни дать ни взять окаменевшие в сверхъестественном напряжении мускулы гиганта. Нижние ветки, сами толщиной в ствол молодой сосенки, раскинулись с удалой свободой, висят над всем взлобком. Но это остатки... Толстая, бугристая кора, напоминающая шероховатый бок выветренной скалы, трухлява, местами обвалилась, обнажив темное, изъеденное короедами тело сосны. Ветви высохли, торчат в стороны, как гигантские костлявые руки, сведенные намертво в какой-то загадочной страстной мольбе. Дереву уже не в радость приволье, солнце, дожди. Только на самой верхушке клочок жесткой старческой хвои — единственный признак тлеющей жизни. Костистые мертвые сучья охраняют это жалкое счастье, последнюю надежду. Но и с этого клочка еще сыплются крошечными пергаментными мотыльками семечки, падают шишки; почти мертвое дерево — по привычке ли, по упрямству ли — цветет, плодоносит, настойчиво выполняет обязанность, возложенную на него природой, — продолжать свой род.

Говорят, у каких-то народов были свои священные деревья, к их подножию приносились дары. Для Саши таким деревом стала эта древняя сосна, стоящая на окраине села Коршунова.

Жизнь Саши, казалось, внешне шла однообразно: утром — дымящийся туманом Лешачий омут, днем — работа на лугах, вечером вместе с Игнатом сидел за учебниками — время уже ехать в институт сдавать экзамены. Проходил день за днем — и у всех одинаковый порядок.

Но внутри каждого дня были свои едва уловимые, никому со стороны не заметные радости и неожиданности.

Шел Саша по полю ржи, сорвал колосок, стал его разглядывать — почти налившийся, зеленый, жестко щекочущий ладонь. Тысячу раз он видел такой колосок, тысячу раз держал в руке, а сегодня вдруг удивился ему. Вот он — простое создание природы, хлеб! От него шли по свету бок о бок человеческая беда и человеческое счастье. Не ради ль такого колоска кострами вспыхивали барские гнезда? Не ради ль такого колоска умирали под плетями бунтующие мужики, звенели кандалами по Владимировке, целые деревни снимались с родных мест, скрипя немазаными телегами, оставляя у дорог могилы, тащились на чужбину. Не ради ль такого колоска надорвал свое здоровье его, Саши Комелева, отец? Вот он, неласково жесткий ржаной колос, испокон веков политый потом, слезами, кровью. Он и милость, он и горе, он и кормилец, он и убийца — ржаной жесткий колосок! Пронесся ветер, ровно и грозно зашумело поле... Шуми, шуми, рожь! Привычен и дорог твой шум, кормилица! Что бы ни напомнил твой колос, но шум его под ветром все равно успокаивает и радует...

В другое время такое удивление перед простым колоском быстро забылось бы — мало ли чего ни придет в голову... Но теперь Саша запоминал его, бережно прятал где-то в глубине души: «Ужо расскажу потом...»

Прошел ли он с косою-литовкой свой первый в жизни загон, устал, облился потом; ночевал ли он на «Сахалине» за деревней Большой Лес среди комаров, приткнувшись у костра; наловчился ли под доглядом плотника Фунтикова «вынимать череп» вдоль по бревну — все эти маленькие радости и маленькие победы он заботливо хранил про себя, давал себе обещание: «Ужо расскажу потом...»

Каждый вечер, около одиннадцати часов, Игнат Егорович вытягивал за цепочку тяжелые, тусклого серебра часы и, прощелкнув крышкой, объявлял:

— На сегодня — шабаш.

Поскрипывая половицами, шел за перегородку к жене, кряхтя стаскивал сапоги.

Он был уверен, что Саша после команды «шабаш» задвинет, как наказано, в сенях засов, поднимется на поветь, нырнет до утра под одеяло.

Но часто случалось иначе... Саша задвигал засов, поднимался на поветь, хватал пиджак и... стараясь не скрип-

нуть воротами, ведущими на съезд, выскакивал во двор. Пиджак, путаясь в рукавах, он надевал уже на улице.

На шоссе, у поворота, он, запыхавшись, останавливался, ждал попутную машину. Иногда Саша поднимал руку и садился в кузов на добрых началах с шофером, иногда — зачем по пустякам тревожить рабочего человека — без особых приглашений на ходу перекидывал тело за борт. На крутом подъеме перед селом Коршуновом спрыгивал, не желая ни прощаться с шофером, ни благодарить его: шоферы — народ не слишком воспитанный, как правило, к словам благодарности требуют добавить пятерку за проезд.

Ночью при луне старческое безобразие сосны почти незаметно. Голые, перепуганные ветви кажутся живыми. Их неистовая страсть, застывшая в темном небе, невольно вызывает благоговейный ужас. Подчеркнутые резкими тенями складки, морщины, неровности на широком стволе поражают какой-то вековой мудростью. Ночью при луне старое дерево красиво...

К подножию сосны в ночной час Саша и приносил свое единственное богатство — светлые события прошедших дней, все то, что составляло его негромкое счастье.

Катя сидела на земле, опутанной бугристыми корневищами, раскинув по ним легкий подол платья, и слушала...

Кричал дергач на соседнем болотце, на небе, закрывая луну и звезды, властвовала сосна. Одни на всем свете. Одни! В этом и счастье.

Саша заново переживал с Катей и удивление перед простым колоском, и усталость после косьбы, и гордость собой, что постиг мудреное плотницкое искусство — «вынуть череп»...

Даже Лешачий омут, даже солнце, что грело его, даже ветер, что охлаждал его мокрую спину, — все обычные радости хотелось передать ей, вызвать этим и у нее радость. Но слаб язык, мало нужных слов — сотой доли не в силах рассказать!..

И хоть все рассказать не под силу, а ночи всегда не хватает...

Между ветвей старой сосны небо начинает бледнеть, слабый свет открывает для глаз старческую немощь древнего дерева. С шоссе слышится шум первой машины. В неясном пепельном свете Катино лицо кажется усталым и от этого каким-то домашним, привычным, но странно —

на усталом лице возбужденно, горячо блестят черные глаза.

Она поднимается, тонкими пальцами заправляет за уши выбившиеся волосы, чуть приметным движением ресниц сообщает: «Пора...»

Даже не приласкает, не скажет ничего особенного, а только двинет ресницами, и за это движение, если бы было можно, Саша готов упасть ей под ноги — пусть светает, пусть наступает день, пусть идет время! Все забыть, лечь бы так у ее ног, не уходить. Сил нет расстаться!

...А часа через три Игнат Егорович уже тряс Сашу за плечо, всякий раз удивляясь:

— Ну и спишь, хоть трактором тащи... Раскачивайся, братец, раскачивайся — самовар на столе. Не пристало нам с тобою выходить на работу позже колхозников.

Убедившись, что Саша раскачался и больше не спрячет голову под одеяло, Игнат Егорович поворачивался и, уходя, сообщал:

— Свежий воздух, оттого и сон крепок. — Спускаясь по шатким приступкам, углублял свою догадку: — Свежий воздух и молодость...

Они не виделись три дня.

Саша сидел в правлении вместе с бригадирами, принимал, стоя на зароде, с деревянных вил Лешки Ляпунова охапки сена, обсуждал вечерами с Игнатом Егоровичем особенности щелочных соединений — и все время он чувствовал, что впереди его ждет счастливая минута. С ним разговаривали; если зазеваается, сердито кричали на него, советовались, просто сидели рядом — и никто не догадывался, что он не такой, как все, особенный, счастливый. У него впереди радость, у него впереди подарок! От этого Саша и с людьми был добрее. Лешке-крикуну подарил выкованный в кузнице наконечник остроги в пять зубьев, к Игнату Егоровичу, упрямо заставлявшему торчать над учебниками, минутами испытывал нежность. Все Саше казались по сравнению с ним обиженными — нельзя не быть добрым...

Он считал: осталось два дня — вечность, остался один — значит, завтра. И вот — утро! Пережить, перетер-

петь каких-нибудь двенадцать часов. Сегодня уже не придется, как вчера, укладываться спать с безнадежностью — чуда ждать нечего, впереди ночь, глухое время!

Утро!.. За окном на солнце горит ствол березки, она, молодая, легкая, выкинула к неназревшему, блеклому небу макушку, перебирает на ветерке листья, сушит их от ночной росы, прихорашивается.

Игнат Егорович отодвинул от себя порожнюю чашку с блюдечком, невидящими, бессмысленными глазами уставился через окно на березку, озабоченно потер ладонью бритое темя и, вздохнув, сообщил:

— На складе в райпотребсоюзе гвозди драночные обещали. Придется тебе, братец, съездить в Коршуново... Ну, что ты глаза таращишь, словно у меня на лбу рубль серебром припечатан?.. Кого, кроме тебя, пошлю? Мать навестишь и дело сделаешь.

И Саша опустил глаза в стакан с недопитым чаем, чтоб Игнат Егорович не разглядел удивления, растерянности и радости. Он едет в Коршуново, а там — Катя. Не надо ждать, не надо считать, поедет, получит эти гвозди, встретит... А уж вечером встретятся своим чередом. Эх, знал бы Игнат Егорович, какой подарок поднес...

А Игнат Егорович достал из кармана большой рыжий, потертый бумажник, обстоятельно, одну за другой выложил на столешницу шесть мятых десятков.

— Вот. Заплатишь и счет не забудь захватить. Завскладом там Егорка Ключев, любит, паршивец, чтоб за дефицитные товары нагретый кусочек в ладошку положили. Будет намекать, обложи покрепче. Законное берем, не по благу...

До обеда Саша успел получить гвозди, погрузить их и с Егоркой Ключевым, парнем с бесхитростной круглой рожей и продувными глазками, наскоро выпить с ним по кружке пива. Лошадь завел во двор к матери, распряг, подкинул сена, обедать наотрез отказался, надел свежую рубашку, вышел на улицу...

День был знойным. От пыльного раскаленного булыжника на дороге тянуло запахом бензина, машинного масла. В узкой тени под заборами валялись разомлевшие собаки. Одни козы в своих украшенных репьями шубах с

неутомимым упрямством слонялись вдоль изгородей в надежде ущипнуть что-нибудь съедобное.

Старуха с темным от утомления лицом, с корзиной, прикрытой вылинявшим платком, остановилась под открытым окном, певуче спросила:

— Хозяева-а! Ай, хозяева-а! Величать-то не знаю как... Земляники свеженькой не купите?

Из открытого окна никто не подал голоса. Старуха пождала, пождала ответа, пошла дальше, поглядывая на окна.

Саша, засунув руки в карманы, не спеша шел, встревоженно уставившись вперед. Не может же случиться такая несправедливость — приехать в Коршуново и не встретить ее. Должен встретить!

Должен, а не верилось... Козы, собаки, страдающие от жары под заборами, пыль, скука... Вон на общипанной, вытоптанной травке напротив райкома расселись трое колхозников. Они разложили на газете хлеб, яйца, соленые сморщенные огурцы, равнодушно, без аппетита жуют; как по команде, скучно скосили в сторону Саши глаза. У райкомовского крыльца — на самом солнцепеке — две женщины о чем-то болтают, помахивают сумочками. Одна в цветном сарафане, на загорелых ногах стоптанные белые босоножки, другая, круглая, приземистая, упрятала себя в шерстяной костюм — то-то преет, мученица.

Последнее время Саша видел Катю только ночью, под сосной, при луне: лицо бледное, строгое, на нем тревожно и смутно блестят глаза, на воздушный подол платья брошена тонкая, обнаженная по локоть рука... Ну, как можно представить сейчас среди всей этой жаркой скукоты ее, не похожую на обычных людей. Казалось, если появится, то на жующих колхозников непременно должен найти столбняк...

Но ведь не где-нибудь, здесь живет, ходит по улицам, никого не удивляет... Где же она, как встретить?..

Один из колхозников поднялся, продолжая жевать, подошел к Саше:

— Ты, парень, здешний?

— А что?

— Может, мясо кому тут нужно?.. Корова ногу сломала, прирезать пришлось. До базарного дня тянуть — при такой жарыне мясо протухнет.

— Мне не надо.

Колхозник потер потную щетину на щеке, без особой охоты подумал вслух:

— Дамочкам, что ли, предложить? — лениво направился в сторону женщин.

Саша проследил за ним взглядом и... вздрогнул, — на голос колхозника обернулась Катя. Она тоже заметила Сашу, шагнула навстречу.

Давно он не видел ее при дневном свете. По этой ли причине, а может, потому, что слишком туго зачесаны волосы, лицо Кати выглядело простовато круглым, грубовато загорелым. На крыльях носа, под глазами кожа лоснится от пота, выгоревший ситцевый сарафанчик, на босу ногу старенькие босоножки, и в глазах нет прежней глубины и таинственности. Не такая, какую ждал, а все-таки Катя.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

Оба помолчали, неуверенно улыбаясь, разглядывая друг друга, словно расстались не три дня назад, а давным-давно.

— У тебя нос облупился, я и не замечала, — сообщила она весело.

И эти простые слова заставили прийти в себя Сашу. Он-то ждал встречи, какие случались под сосной, где каждое слово звучит по-особому, с какой-то недосказанной, значительной тайной. А сейчас и Катя другая, да и вместо сосны, поднявшей к луне могучие высохшие ветви, — пыльная улица, булыжник, пахнувший бензином перегаром, слоняющиеся козы. Где уж тут недосказанная тайна...

— Ты по делам сюда? — спросила Катя.

— По делам. Сейчас же обратно...

— Что нового?

Новое, как всегда, было, но не здесь, посреди улицы, второпях выкладывать его. И Саша ответил:

— Ничего особого. А здесь у вас как?..

— Помнишь, ты рассказывал о папке Мансурова?..

Как же не помнить. Пока эта папка лежала у Игната, Саша успел заглянуть в нее и среди других новостей, как о великом таинстве, поведал Кате. Сейчас же эта папка звучала несколько не значительней, чем слова колхозника о продаже мяса.

— Ну, помню...

— Мы вот только что сейчас говорили о ней с Зыбиной. Ты, верно, не знаешь, что вчера было бюро райкома, ту папку обсуждали.

— Слышал. Игнат Егорович сказал мне. По-казенному обсудили.

— По-казенному?.. Твой Игнат Егорович, Сашенька, узко смотрит. Ему хочется, чтоб только у него под боком тепло было.

— Катя, ты не знаешь его.

— Знаю, что обсуждение папки ему для чего-то своего выгодно.

— Не ему выгодно — всем. И Федосию Мургину, и Максиму Пятерскому... Всем председателям, всем колхозникам, всему району.

— Значит, райком партии против выгоды района? Смешно. Кто поверит этому?

— Так получается...

— Са-ша! — лицо Кати, чуточку утомленное жарой, сделалось вдруг замкнутым, глаза недоверчиво округлились, голос упал до настороженного шепота. — Ты не веришь райкому? Как ты смеешь? Да ты дай себе отчет, что сказал!

— Ведь факт — ошибся.

— Райком?!

— Разве этого быть не может?

Катя, распрямившись, стояла перед Сашей, губы ее, плотно собранные в оборочку, болезненно вздрагивали.

— Ты знаешь, что для меня самое святое? — спросила она тихо. — Вера в партию! Для меня счастье, если б я сумела доказать эту веру. Хоть ценой жизни!.. Тот, кто не верит, — мне враг! Личный враг! Смертельный!

— Я не меньше тебя верю в партию.

— Бюро райкома — партийное руководство района — решило так, ты не согласен. «Ошиблись, по-казенному подошли...» Да где твоя вера? Нет ее! Своему Игнату Егоровичу веришь только!

— Бюро райкома еще не вся партия. Партия, сама знаешь, миллионы, а в ней и Игнат Гмызин...

— А что будет, если они перестанут верить бюро?.. Руки должны слушать голову. Что получится, если каждый Игнат Гмызин станет возражать? Дисциплина развалится, ослабеет партия.

— Если прислушаются к Игнату Гмызину, только умнее станут. От лишнего ума слабее не делаются.

— Ну, как мне с тобой быть! — с отчаянием и досадой гопнула Катя, отвернувшись с расстроенным лицом, долго смотрела на колхозников, укладывавших в старую кожаную сумку остатки еды.

Катю уже в третьем классе выбрали старостой, она была пионервожатой, была секретарем комитета комсомола. От нее требовали: следи за дисциплиной, поднимай авторитет учителя. И Катя следила... Авторитет, дисциплина с детского возраста для нее — столбы, на которых держится жизнь. И кто?.. Саша подкапывает их!

— Саша, — произнесла она холодно, — ты не обижайся, но я тебе скажу... Если бы слышал тебя твой отец, разве бы его не обидело — его сын против райкома.

— Я не против райкома! — вспыхнул Саша.

— Как же не против? Игнат Егорович взрослый и опытный человек, ему нетрудно подмять под себя такого, как ты... Поддался. Стыдно! Память отца, выходит, предал.

Саша ответил не сразу; красный, растерянный, стоял некоторое время молча, глядел на Катю, наконец выдавил с хрипотцой:

— Как ты смеешь?

— Не хочу тебя обидеть, но так получается...

— Уже обидела! Нечестно это... Я, может...

— Пойми...

Но Саша резко повернулся: длинная спина как-то болезненно вытянута, кепка на затылке торчит с жалобным недоумением... Он неровными шагами, словно кто-то легонько подталкивал в спину, двинулся прочь.

— Саша-а! — окликнула слабо Катя.

Саша не оглянулся.

Весь остаток дня Саша чувствовал себя несчастным. Было у него свое солнышко, грело его, манило — живи, жди, радуйся, впереди счастье. Чего теперь ждать, куда идти? А люди работают, разговаривают, спорят, живут, как жили. Какое им дело, что пусто стало кругом для Саши?..

И все-таки вечером он не выдержал.

...Вот и сосна, в путанице сухих ветвей застрял узкий серп месяца. Задыхаясь от волнения, по сохраняя на лице

суровую замкнутость — пусть не подумает, что забыл обиду, — Саша стал подниматься. Здесь ли? Пришла ли?.. Как-то встретит?.. Должно быть, закуталась в платок, притаилась под деревом. Тогда он подойдет и скажет: «Давай отбросим обиды, поговорим, как взрослые люди...»

Но под сосной было пусто, толстые, напряженные, как окаменевшие змеи, стелились на темной земле корневища. Саша опустился на них, прислонился спиной к бугристому стволу.

А вдруг да просто опоздала... Спешит, наверное, сейчас по ночному селу, стучат по сухой земле каблучки туфель...

Как и в прошлые встречи, из болотца доносился скрип коростеля, так же над головой величественно раскидала свои костлявые ветви сосна, более крупные звезды прокалывали насквозь эту толщу ветвей. Все кругом по-старому, ничего не изменилось. А Кати нет.

В прошлый раз она, подтянув к подбородку колени, вся сжавшаяся от ночной сырости, сидела перед ним тихая, покойная, ни выражения лица, ни даже глаз и бровей не различить, но так и тянет от нее вниманием.

Сказала: предал отца, его память!.. Предал?.. Жизнь сложна, один о ней думает так, другой иначе, а правда всякий раз — одна. Ее надо искать и найти одну правду, одну истину, один путь, как сделать жизнь красивой. Отец и Игнат Егорович не из разных лагерей — свои! Она не понимает... Объяснить ей надо, без горячки.

Саша сидел, вслушивался. Рядом с ним растопорщенные, широкие, как слоновьи уши, лопухи так же напряженно вслушивались в ночную тишину. Но лишь уныло скрипел коростель на болотце.

Время шло, и Саше мало-помалу становилось ясно — Катя не придет. И все-таки он продолжал сидеть, продолжал надеяться на что-то...

И в эти часы ожидания Саша понял одну простую истину, которая до сих пор ни разу не приходила в голову. Он понял, что у него с Катей будут впереди не только вечера под сосной, разговоры взглядами под крики коростеля, а будут и споры, и непонимание, возможно, обиды и даже оскорбления. Он понял тоже, что следующие их встречи будут уже иные. Какими бы они ни были, но Катя есть Катя, просто так от нее не отвернешься.

А сосна висела над Сашей, молчаливая, бесстрастная,

много пережившая на своем веку. Ее не удивишь маленьким горем.

Утром следующего дня Игнат Егорович сообщил, что заочное отделение института объявило о приеме, пора собираться в дорогу.

Баев считал, что о папке Мансурова, как и о всяком событии, он обязан сообщить в обком партии. Кроме того, об этой папке уже ходят из колхоза в колхоз слухи. Не без того, в них что-то и преувеличивается, раздувается, искажается. На собраниях, возможно, станут требовать ответа от Баева: почему да как? В таких случаях ответ должен быть один — папка отправлена в обком.

Баев вызвал к себе инструктора Сурепкина.

Если в весеннюю распутицу в самом удаленном от села Коршунова Верхне-Шорском сельсовете надо было проверить готовность колхозов к севу или выступить там на партсобрании, посылали самого безответного — Серафима Мироновича Сурепкина. Этот не станет отговариваться болезнями или семейными причинами, не остановят его ни непролазная грязь, ни большие расстояния. Облазает колхозные конюшни, ощупает семенной материал, оглядит инвентарь, пожурит председателей, пристрашает: доложу! И, возвратившись (опять же с оказией, где на случайных машинах, где на подводе, а где и пешком), обязательно все в точности сообщит: то-то подготовлено, того-то не хватает, распоряжения переданы.

Если его спросят:

— Вот в областной газете писалось об инициативе колхозников Пальчихинского района... Вы это разъяснили колхозникам?

Он ответит:

— Не было наказано. А то долго ли...

Серафим Миронович делает только то, что ему наказано, но не больше. Однако, если рассерженному начальству вздумается тут же, с ходу, повернуть его: «Идите, сделайте! Наперед будете догадливей», Серафим Миронович, не обронив ни слова, сразу же направится обратно пешком, на оказиях, в грязь и обязательно исправит оплошность.

Бывший батрак, в партию он вступил, когда Баев, ныне секретарь райкома, был мальчишкой. За все эти годы

Сурепкин не получил ни одного партийного взыскания, но и особых заслуг за ним не числилось. Так как ничего другого не имел, Серафим Миронович находил должным гордиться и этим. «Я перед партией чист как стеклышко», — частенько говаривал он со скромным достоинством.

С годами у Сурепкина появилась лишь одна слабость, да и та безобидная, — очень любил выступать на собраниях.

В привычном для всех порыжевшем пиджачке, надетом поверх армейской гимнастерки, длинные, по-крестьянски широкие руки вылезают из рукавов, лицо, как и пиджак, тоже порыжевшее, вылинявшее на солнце — под кустиками бровей какого-то мыльного цвета покойные глазки, крепкий, как проволока, ежик волос над морщинистым лбом... В редкие минуты, когда Серафиму Мироновичу приходилось задумываться, ежик начинал «гулять» взад-вперед.

Сурепкин предстал перед Баевым.

— Вы звали меня, Николай Георгиевич?

— Поедешь в обком, отвезешь это дело, — Баев вынул из стола папку, — дождешься ответа, узнаешь мнение областного комитета. Поручение важное, поэтому и посылаем, иначе просто переслали бы по почте.

— Когда ехать?

— Собирайся сейчас.

— Поезд завтра в шесть утра отходит.

— Вот с этим поездом.

— Хорошо.

— Ты знаешь, что в этой папке?

— А как же, слышал.

— Будут беседовать с тобой, можешь передать мнение членов бюро. Впрочем, решение бюро здесь прилагается. Я лично считаю, что такие нападки переходят грань необходимой критики, вносят дезорганизацию в работу. Словом, вот!..

Сурепкин бережно принял папку.

Общежитие института было переполнено заочниками. Игнат сумел отвоевать только одну койку для Саши, самому пришлось устроиться в гостинице.

Проснувшись утром, натягивая сапоги, Игнат вдруг заметил через койку рыжеватый жесткий ежик волос, оторвавшийся от подушки.

— Эге! Серафим Миронич! Какими путями?

— Здравствуй, Игнат Егорович, — обрадованно отозвался Сурепкин. — От райкома командирован.

Через полчаса они вместе вышли из гостиницы. Игнат в просторном пиджаке, в галифе, мягких хромовых сапогах, все выглаженное, свежее, начищенное до блеска, как и подобает у колхозного председателя, не часто попадающего в областной город. Серафим Миронович в черном праздничном костюме, режущем под мышками, с узенькими короткими брючками, под локтем — затертый разбухший портфель.

— Так, значит, ты идешь передавать пашумевшие бумаги в обком? — спросил Игнат, косясь на портфель.

— Самому первому в руки.

— Баев надеется, что за него похоронит собранные Мансуровым материалы обком?

— Ничего не знаю. Мое дело передать, выслушать замечания.

— А ежели спросят и твое мнение?..

Вышагивая по нагретому асфальтовому тротуару медлительной, журавлиной походочкой, Серафим Миронович помолчал с минутку, затем ответил с достоинством:

— Мое личное мнение такое: нападки на планы, какие делает Павел Сергеевич, переходят грань критики, вносят дезорганизацию... — Замолчав, он скромно вздохнул.

— Оно верно, мнение свежее. По пословице: «Чье кушаю, того и слушаю».

Но природное добродушие Сурепкина трудно было прошибить чем-либо — он не заметил ухмылки Игната.

Недалеко от здания обкома Игнат остановился у парикмахерской, попросил Сурепкина подождать и вышел с гладкой, отливающей синевой головой, посуровевший, подобранный, словно оставил за стеклянными дверями парикмахерской прежнее добродушие.

Таким он и вошел в обком. Нагнув лоснящийся крупный череп, распространяя вокруг себя запах дешевого одеколona, тяжелый, громоздкий, — казалось, случись нужда, прошибет любую дверь, — решительным шагом поднялся по широкой лестнице прохладного вестибюля. Сурепкин отмеривал за ним ступеньки журавлиной поступью...

Есть гордые слова, — мужественные и сильные сами по себе, они, брошенные вовремя, вызывают отвагу и дерзость. Эти слова — семена, из них вырастают человеческие подвиги.

Но есть и другие слова. В них не чувствуется ни красоты, ни гордости, ни силы. Они незаметны, серы, будничны. Их не бросают с трибун, они произносятся без пафоса. Тот, кто употребляет их, обращается с этими словами без особого почтения, бросает их на ходу виноватым ли, сухим ли, брюзжащим, вежливым или же вовсе бесцветным голосом. И тем не менее такие слова по-своему могущественны. Страстные желания, кипучую напористость, волевое упрямство, молодой азарт — все способно потушить подобное слово.

Не последнее из числа этих слов — безобидный на первый взгляд глагол «ждать», он действует сам, к тому же наплодил себе подобных.

В обкоме партии как Игнату Гмызину, так и Сурепкину ответили просто:

— Подождите, разберемся.

И они стали ждать.

Игнат сдавал экзамены, умудрялся выкраивать время на улаживание колхозных дел в торговых и строительных организациях, часто навещался в обком, но там наткнулся на одно:

— Подождите.

Серафим Сурепкин под действием этого слова день ото дня тускнел, у него кончились командировочные деньги, и Игнат Гмызин водил его обедать в студенческую столовую, даже для поддержания духа поил пивом.

А в Коршунове с нетерпением ждал решения Павел Мансуров...

Областной город К *** ничем не знаменит — асфальтовые улицы и булыжные мостовые в переулках, многоэтажные дома и потасканные домишки в четыре оконца, оперный театр, три института, музеи, кинотеатры, стадион, водная станция, троллейбусы, автобусы и солидная история — в старое время сюда ссылались видные писатели и общественные деятели...

Для самого города и для его жителей вовсе не событие, что на улицах появился долговязый паренек с густым деревенским загаром на лице, в кепке, надвинутой на возбужденные светлые глаза, в шевитовом, с короткими рукавами пиджаке и добротных, старательно начищенных яловых сапогах. Он один из тысяч прохожих, он крохотная песчинка, принесенная со стороны.

Но город для этого паренька — величайшее событие в его короткой еще жизни.

Саша до сих пор один-единственный раз выезжал из села Коршунова. То было давно, еще до войны, когда ездили в гости к тетке, живущей под Ленинградом. Из этой поездки запомнилось только — мозаичный пол в одном из вокзалов да строгий швейцар с седыми усами и баками.

Только по книгам и кинокартинам знал Саша лежащий за лесами сахалинской поскотины великий и шумный мир. Только из книг он знал, что существуют реки больше, чем их Шора, что в городах среди домов можно заблудиться, как в лесу, что и самые дома там необычные — в каждый из них войдет все население такого села, как Коршуново, да еще пришлось бы подзанимать людей из соседних деревень. Есть на свете пустыни, есть моря, есть высокие (что там Городище!) горы. Когда узнаешь обо всем этом в тихом селе Коршунове, где знаком каждый камень на дороге, каждый куст на берегу, то мир кажется таким же невероятным, как и сказки из детских книжек. Подвиг Иванушки, пролезшего в ухо Сивки-Бурки, и море, вода без конца и краю, причем не обычная, а соленая, которую нельзя пить, разве не одинаковое по невероятности чудо?..

И вот Саша перешагнул через порог в большой мир. Пусть этот город один из самых заурядных в стране, местами пыльный, местами грязный, местами в глухих переулочках просто похож на село Коршуново, но это город! И Саша не замечал в нем недостатков, всему удивлялся — высоким этажам, витринам магазинов, асфальту, обилию машин, даже воздуху, пахнущему перегаром бензина.

Этот город не только ворота в широкий мир, он еще и дверь в его, Сашину, новую жизнь. Недалеко от центра напирает на улицу бесчисленными окнами громадный серый дом с черной вывеской у высоких дверей: «Областной сельскохозяйственный институт». Этот дом — его судьба, его надежды, его будущее счастье. Пять лет из этого дома будут следить за ним, Сашей Комелевым, кол-

хозяйником колхоза «Труженик», следить за тем, как он набирает ума и опыта. Этот дом — новый опекун, непонятный и пока еще немного пугающий учитель. И когда этот дом отпустит от себя Сашу, тогда только и начнется по-настоящему взрослая жизнь.

Первые экзамены Саша сдал лучше Игната Егоровича. Тот позавидовал:

— Что значит мозги свежие. Моя вот коробка лишним набита, не сразу нужное вытащишь.

Здесь, в городе, Саша почувствовал новые силы и какое-то новое, неизвестное прежде, уважение к себе. У него серьезное дело, он здесь завоеватель. Не тот завоеватель, о которых приходилось читать в книгах, не мир, не славу приехал он завоевывать, а свое будущее.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Молодое весеннее солнце, пробив туманные стекла двойных рам, перегородив кабинет золотистыми полотнищами пыли, спокойно лежало на плане района, прибитом к стене. На широком листе желтой кальки красной тушью обведены границы. Если взглядеться, контур Коршуновского района напоминает разлапистый след сказочного медведя. В восточной части, где граница идет по извилистой речонке Парасковьюшке, выдающийся мысок смахивает на коготь...

Синие прожилки рек, речек, речушек, рябинки озер, косая штриховка пахотных полей, кружочки с надписями — села и деревни, и просто не тронутая тушью бумага — леса, «белые пятна» на плане. Они теснят со всех сторон, напирают на поля, сгоняют деревни и села к берегам рек...

Солнце освещает план.

«Вот и перезимовали...» Павел Мансуров курил, и дым от папиросы растворялся в солнечной пыли. Он нетерпеливо поглядывал в окно на унавоженный, мокро-глянцевитый булыжник шоссе, ждал машину.

В эту зиму случилось неожиданное...

Кончили сеять, озимые, поспели хлеба, началась уборка — все шло по-старому. Павел Мансуров по-прежнему работал в отделе пропаганды, созывал семинары, отсылал отчеты о проведенных докладах и лекциях, ездил в командировки, подгонял председателей. Время от времени заглядывал к Игнату Гмызину. Тот хлопотливо, как муравей, налаживал хозяйство своего колхоза: рыл силосные ямы, цементировал их, умудрялся отрывать во время уборки людей на косьбу отавы... В разговорах он сердито качал своей бритой головой:

— Опять, брат, похоже, мы по воздуху с тобой ударили, некого бить!

Из обкома на все запросы о папке приходил один ответ: — Ждите.

В конце концов не только Баев и занятый по горло Игнат, но и сам Павел перестал вспоминать свою папку. Он, насколько мог, добросовестно делал, что от него требовали, и, тоскуя, мечтал, как бы вырваться из Коршунова.

А в Коршунове по утрам дед Емельян встречал выходящих из ворот коров. На огородах копали картошку. По воскресеньям делопроизводители, бухгалтеры, заведующие конторами, вооружив всех членов своих семейств корзинами и кухонными ножами, отправлялись в лес по грибы, чтобы поразмяться после недельного сидения на канцелярских стульях. Все знакомо. Все надоело. Павел Мансуров чувствовал себя одиноким, заброшенным, несчастным. Как бы вырваться из Коршунова?

Прошло затяжное бабье лето с седой паутиной на сухой стерне, с прозрачным застойным воздухом, с шепотом опадавших листьев, с ищем на тесовых крышах по утрам. Ударили первые заморозки...

И только тут из обкома пришел официальный коротенький ответ: документы, собранные товарищем Мансуровым, пересланы в ЦК партии.

Павел Мансуров, узнав об этом, промолчал. Игнат насмешливо бросил.

— Долго же они решались на такой подвиг!

А Баев неожиданно стал с большим уважением относиться к Павлу — не отмахнулись, в ЦК переслали. Дело, выходит, не шуточное.

Еще до того, как в газетах появилось новое постановление ЦК о планировании в сельском хозяйстве, Павла

срочно вызвали в обком; к его удивлению, вспомнили папку, попросили выступить со статьей в областной газете...

И с этого момента все перевернулось в жизни Мансурова. Незаметный районный работник, фамилия которого мельком упоминалась в отчетах, неожиданно стал знаменит в партийных кругах.

Областная газета печатала его статьи о недостатках планирования.

Первый секретарь обкома Курганов в своих докладах брал примеры из его папки.

Обком партии предложил Коршуновскому району пересмотреть состав бюро.

На внеочередном пленуме в бюро был введен Игнат Гмызин. Баев, ошеломленный и подавленный, выступил с просьбой освободить его от партийной работы, выразил желание уйти снова в школу педагогом-биологом.

Павла Мансурова избрали первым секретарем.

Помнится первое утро его новой работы. За окнами мелкий сухой снежок нехотя падал на крыши коршуновских домов, на шоссе, на прохожих, в кузова проезжающих грузовиков. Покойным рассеянным светом, отраженным от снега, был залит кабинет: стол под зеленым сукном, громоздкий мраморный прибор на нем, стул, на котором четыре с лишним года сидел Комелев и несколько месяцев — Баев.

Павел опустился на этот стул. Его охватило радостное предчувствие больших дел, которые предстоит начать ему с этого места. Пусть пока еще не совсем ясно — что надо ломать и как действовать. Главное — он теперь первый человек в районе: ни Комелев, ни Баевы не висят над головой. До сих пор он лишь трезво подмечал — там плохо, это нехорошо, подмечал и не отворачивался с равнодушием...

Равнодушие — самое страшное из человеческих пороков.

Равнодушие — не зло, как принято считать. Сырость сама по себе еще не есть гниение, она лишь способствует размножению гнилостных бактерий. Потому-то, где сыро, там и гниет.

Равнодушие размножает зло, оно его почва, его питательная среда. При равнодушии неизбежно растут бедствия, при равнодушии загнивает жизнь!

Он, Павел Мансуров, не станет терпеть около себя равнодушных, он начнет с ними войну. Безжалостность к себе

во имя счастья тех, кто сейчас ходит за окнами райкома под падающим сухим снежком, — это должно стать его лозунгом!

В то утро Павел надеялся, что так же, как прежде он по цифре, по факту собирал папку, он будет стежок за стежком, кусочек за кусочком обновлять жизнь коршуновцев.

Но с первых же дней своей новой работы почувствовал — прямым путем идти трудно.

В том месте, где граница Коршуновского района идет по реке Парасковьюшке, там, где выдающийся мысок смахивает на коготь в разлапистом следе медведя, расположен дальний колхоз «Сознание». По соседству с этим колхозом, рукой подать, стоят лесоучастки. Но они в чужой области (Парасковьюшка — не только граница районов, но и граница областей), и поэтому колхоз «Сознание» должен направлять людей и лошадей на лесозаготовки за сто с лишним километров через весь Коршуновский район в леспромхоз, расположенный у станции Великой. А это ложилось на колхоз тяжелой обузой. Простая арифметика... Колхоз «Сознание» каждому, кто ехал на лесозаготовки, давал на дорогу: день пути — один рубль, чтоб в придорожной деревне можно было пристроить лошадей во двор, попросить у хозяев кипяточку, переспать ночь в тепле. Рубль в сутки за все эти милости — деньги невеликие, ни одна организация так не оплачивает командировки. Но за зиму колхоз в разное время снаряжает шесть-семь обозов в лес, подвод по двадцать в каждом. Эти обозы от «Сознания» до станции Великой тащатся по заметенным дорогам, в морозы, по неделе, порой дней по десять. Подсчитать эти рубли, и то выходит кругленькая сумма — тысяча. А что говорить уже о том, сколько средств уходит на прокорм лошадей, на пропитание людей в пути... А прикинуть, как выматываются лошади на таких перегонах, после плохо работают в лесу, весной еле таскают борону... Огромные неудобства терпит колхоз «Сознание». И все это легко избежать. За рекой Парасковьюшкой стоят лесоучастки, и что за беда, если они принадлежат другой области. В них идет заготовка леса не для чужого государства, для своей страны...

Узнав об этом, Павел Мансуров загорелся: неразумная трата сил и средств, бессмысленное бремя на колхоз, уродливый формализм!.. Он написал в область, пришел офи-

циальный отказ: «Не можем отдать свою рабочую силу в распоряжение другой области». Мансуров позвонил первому секретарю обкома Курганову. Тот ответил примерно так же: «Мы сами планы не выполняем, а чужого дядю рвемся рабочими облагодетельствовать». Но и на этом Павел не успокоился, сам поехал в обком, встретился лично с Кургановым, продолжал доказывать: люди около дома лучше будут работать, больше дадут стране леса, с государственной точки зрения — прямая польза.

И Курганов неожиданно для Павла согласился:

— Хорошо. Раз считаешь, что для государства выгодней — отдавай народ на сторону. План же лесозаготовок мы тебе ни на один кубометр не скинем. Отдавай рабочую силу, если справишься. А не справишься — полетишь сам с работы. За срыв лесозаготовок миловать не будем.

И Павел осекся, — с лесозаготовками в районе дела шли неважно, зачем навязывать на себя лишние заботы, что за радость облегчить работу какого-то, совсем незнакомого секретаря райкома из соседней области, а самому терпеть неприятности, кто знает, оставить работу, быть может, отказаться от планов, которые вымечтал, по которым чешутся руки. Даже колхозу «Сознание» будет невыгодно, если вместо него, Павла Мансурова, снова посадят на руководство нового Баева или нового Комелева. Лучше не рисковать по мелочам.

С берегов Парасковьюшки по-прежнему через весь район по заметенным дорогам тянулись обозы...

Перед самой же весной Павел вместе с Чистотеловым, с Игнатом Гмызиным, с другими председателями разработал план сева, где видное место отвели льну. Рассчитывали — сразу поднимется трудовень, загремят в карманах у колхозников денежки. Но опять же в области ответили просто:

— Приветствуем ваше желание увеличивать посевы льна, но только снижать посевные площади зерновых категорически запрещаем.

— Как же быть? Не облака же льном засеивать?..

— Сами смотрите, но зерновых не троньте.

Снова скрепя сердце пришлось уступить.

Хотя Павел Мансуров ничего особенного еще не добился в районе, но в области о нем продолжала держаться добрая слава: напорист, самостоятелен, есть все задатки — поднимет район из отстающих.

Но Павел Мансуров знает цену этим похвалам, он не возгордится, не надуется спесью. Пусть хвалят: вырастет авторитет среди людей, да и, чувствуя доброжелательное отношение, как-то крепче сидишь на новом месте.

Все эти неудачи — временные. Сразу, не оглядевшись, в яблочко попасть трудно. Есть порох в пороховнице, хватит сил. Только бы по мелочам их не растратить, сберечь на большие дела...

За окном весна. Не столько радостно от этого кусочка синего неба в форточке, от солнца, от искрящейся капли, сколько от ожидания новых побед. А они будут! Павел в это свято верит.

Вот и перезимовали... Хорошо!

С крыши с шумом сорвалась подтаявшая туша снега, на миг закрыла солнечный свет в окне, где-то внизу тяжело упала, и звук такой, словно облегченно вздохнула при этом. Черт возьми! Даже это радует!

В дверь просунулась голова Ивана Самсоновича, помощника Павла, над морщинистым клинышком лба юношески игриво висит жиденькая челка седых волос.

— Павел Сергеевич, машина у крыльца.

— Хорошо, — ответил Павел и упруго вскочил на ноги, готовый ездить, ходить, не спать ночей, работать и работать, жить и жить без усталости.

2

Двери скотного распахнуты на обе створки. Яркий солнечный день. Сияют подсохшие бревна стен, а провал дверей настолько черен, что, кажется, сама ночь, съжившись, уплотнившись, спряталась от света под крышу коровника, и воздух там, не в пример наружному, легкому, сдобренному свежей сыростью, должно быть, тяжел, густ и вязок, как смола.

Из черной глубины на солнце одна за другой выходили коровы. Вместе с отощавшими, покрытыми клочковатой бурой шерстью (самая пора линьки) телами они выносили застойный запах навоза и парного молока.

Кончилось многодневное заточение. Тесные стойла, мятая солома под ногами, низкий, серой побелки потолок вверху, днем сумеречный свет через мутные оконца, ночью лампочки тусклого накала, слежавшееся, дурно пах-

нущее пылью сено — все это позади. Впереди — сочная, смоченная росой трава, тень в густом ельнике, речки с теплой водой, где можно стоять по брюхо и лениво отмахиваться от слепней...

Только самые первые шаги выходивших коров были одинаковы. Шлепая клешнятыми ногами по талой земле, они делали шаг, другой и останавливались, ослепленные сверканием луж, ярким небом, оглушенные запахами, склонив головы, тупо глядели перед собой. Но через секунду каждая из коров по-своему выказывала свой характер. Одна так и стояла до тех пор, пока следующая корова не наталкивалась на нее, после чего делала два-три неуверенно пьяных шага и снова застывала в недоумении. Другая, подняв голову, раздражалась прерывистым, рыдающим мычанием — и не понять, радуется она горячему солнцу, весеннему дню, свободе или это ее тревожит. В третьей вдруг сказывалась непокорная кровь диких предков — хвост на спину и неуклюжим, взлягивающим галопом вперед, подальше от темных дверей скотного. Вслед ей слышались крики скотниц:

— У-у, очумелая! Сдурела!

Только старая корова Барыня с загнутым на лоб рогом, виляя тощим выменем, прошла без задержки, остановилась у кучи снега и сразу же дремотно смежила седые жесткие веки. Ее не тронул ни пьянящий запах талого снега, ни обмытый льющимися с неба лучами сверкающий мир — тепло, и ладно... К ней на спину сразу же спустилась галка, повертела хвастливо головой, прыгнула раз, другой, принялась выклевывать линялую шерсть. Барыня не повела калеченым рогом.

Игнат Гмызин лишь молча протянул подошедшему Павлу руку и отвернулся, продолжая наблюдать. Ярмарочно-праздничный шум у скотного и славный день не трогали его, жиденские — золотистый цыплячий пушок — брови насуплены, нижняя толстая губа презрительно выпячена, подбородок спрятан в расстегнутый ворот ватника.

Павел спросил:

— Что сердит? Этаким пугалом стоишь.

— Веселиться нечего. Иль тебе картина эта нравится? — Игнат указал глазами на толкущееся стадо.

— Ну и что? Коровы коровами, как и всегда после зимы, шелудивые немного.

— Что шелудивые — не беда. Мне на них не парадные выезды делать. А ты укажи хоть одно хорошее вымя.

Павел окинул взглядом коров — мелковаты, брюхасты, узкокопцны в крестцах. У ближайшей вымя сжато в кулачок.

— Не породистый у нас скот. Верно.

— Я людей измучил на силосе. Не хвалясь скажу — сокровища накопил. А для кого старался? Для этих кошек. Они — племя прожорливое, мастера добро на навоз переводить... Куд-ды, тварь слепая?! Хмель в дурную башку стукнул!

Одна из «прожорливого племени», молодая пестрая коровенка, пронеслась мимо; если бы Игнат не отскочил, чего доброго, сбила бы с ног.

— Не знаешь, скоро кончат нас обещаниями угощать? — спросил Игнат, наблюдая, как неутихающим наметом удаляется корова. — Иль обещанного три года ждут?

— На неделе в области должно собраться совещание по животноводству. Скажут... Ты тоже там должен быть.

Игнат только хмыкнул неопределенно, оборвал разговор:

— Что ж, едем в Кудрявино?

Они направились в деревню.

Перед самой деревней — широкий пустырь. В позапрошлом году здесь росли крапива и репейник, кое-где торчали кусты можжевельника да березовые пни, обливавшиеся весной пузырящейся розовой пеной. Теперь среди нестаявших, обдутых сугробов поднимаются дощатые шатры, укрытые толем, сам пустырь походит на мрачный, покинутый цыганский табор. Под каждым шатром — яма. В них хранится силос разных сортов, разных качеств. Каждый сорт среди колхозников имел уже свое прозвище: силос из гороховой зелени — «медок», то есть сладкий; силос из подсолнуха — «солomat», то есть вкусен и сытен; силос из крапивы и веток был груб и звался «тюрька».

Игнат обернулся к Павлу.

— Вот ежели не разведу вместо теперешних навозных скотинок добрых коров, то со всем этим хозяйством, — Игнат обвел рукой ямы, — буду смахивать на голодную мышь, которая уместилась на банке свиной тушенки: под ней целое богатство, а попользоваться нельзя. На кой черт

невесте наряды, коль рыло корчагой... А вот и Сашка, — перебил себя Игнат, вглядываясь в конец улицы. — Эгей! Сю-юда!.. Вьюн парень. Увернется — потом ищи днем с огнем по углам.

Павел почти всю зиму не встречался с Сашей Комелевым. Бросалось в глаза не то, что тот раздался вширь, что старенький пиджачок (хотя и было по-весеннему холодновато) тесен в плечах — удивляли непонятные, неуловимые перемены в лице: черты его стали как-то тверже, — может быть, потому, что четче вырисовывались брови, иными стали и глаза — раньше чистые, прозрачные, они словно бы потемнели.

— Лошадей я уже запряг, — произнес Саша неожиданным для Павла баском.

Он, верно, не в силах был просто спокойно идти рядом: нагнулся, схватил горсть снега, стиснул его в комок, швырнул в столб оградки, по лицу пробежала досада — не попал, поддел носком сапога старую колесную втулку, отшвырнул, потянулся, сорвал с нависающего дерева голую веточку, размял в пальцах почку, понюхал... Чувствовалось, что для его тела самое тяжелое наказание — перестать двигаться.

— Эким ты молодцом вымахал, — не удержался Павел.

Саша лишь смущенно отвернулся, походя потряс рукой кол изгороди — крепко ли держится. Зато расцвело до сих пор кислое и надутое лицо Игната.

— А чего ж, мужаем... — ответил он за Сашу не без самодовольства.

3

На плане, что висит в кабинете Павла Мансурова, там, где не тронутая тушью калька означает леса, кое-где можно увидеть кружок с надписью, вокруг него — штриховка полей; все это соединено с остальным миром извиистой, тонкой, как ниточка, линией. Это починки, те деревни, о которых обычно говорят: «Кругом лес да дыра в небо». Ниточка, связывающая их с миром, — убогая проселочная дорога, доступная лишь ноге пешехода, колесу телеги да гусенице трактора.

Каждый такой починок для районных руководителей — незаживающая болячка. Живут четыре десятка людей на отшибе, попробуй им доставить из МТС комбайны и трак-

торы, ломай голову над тем, как их укрупнить, к какому колхозу их присоединить.

Починок Кудрявино лежит как раз посередине между колхозами «Труженик» и «Светлый путь». От обоих он далек. В тот год, когда началось укрупнение, Кудрявино присоединили к «Светлому пути», колхозу крепкому, со старым опытным председателем Федосием Мургиным.

Кудрявинцы были бесшабашный народ: весной не особенно торопились с севом, осенью — с уборкой, просили у государства кредиты, расходовали и не думали выплачивать. Оказавшись под крылышком Федосия Мургина, начали надоедать ему: «Федосий Савельич, хлебец вышел... Федосий Савельич, нельзя ли авансик...», за что степенный и рассудительный Федосий Мургин возненавидел их тайной и лютой ненавистью и эту отброшенную в леса бригаду называл не иначе, как «автономная республика Кудрявино», тем самым намекая районному начальству, что он не имеет сил подчинить кудрявинцев своей воле.

В деревнях Погребное, Сутолоково, Ивашкин Бор — оплот и ядро разросшегося ныне колхоза «Светлый путь» — не было обиднее клички, чем «кудрявый». «Кудрявый ты, брат, не иначе...» Тот, кому бросали такие слова, знал, что они отнюдь не похвала наружности, а просто его считают и бессовестным попрошайкой, и последним на свете бездельником, и вообще ни к чему не пригодным человеком.

Павел Мансуров предложил передать Кудрявино колхозу «Труженик».

— Федосий стар и живет по старинке, ему теперь дай бог управиться со своим колхозом без этого довеска. Ты ж воп как разворачиваешься. Хватит сил, выгнешь кудрявинцев, — говорил он Игнату.

От деревни Новое Раменье до починка через поскотины считалось километров пятнадцать. Но кто мерил эти километры лесных дорог?

Лошадь уже два часа старательно тащила розвальни по лесу. Полозья то скользили по грязи, то скрежетали по жесткому снегу, то погружались в мутные лужи. Спасение, что санный полоз — не колесо: всюду пройдет, нигде не застрянет

Дорога становилась все уже и уже, лес — выше, гуще, глуше. В одном месте обогнули бурелом — толстые стволы сосен лежали крест-накрест друг на друге, вскинув чер-

ные от сырости корневища. Ничто в лесу не может вызвать с такой силой впечатление дикости, как бурелом — хаос, хранящий на себе следы неистовой силы. После него казалось странным, что они едут по проложенной людьми дороге. Невольно ждешь — вот-вот оборвется она, лошадь потащит розвальни через пни, кочки, трухлявые стволы упавших деревьев, по бездорожью и... кончится путь.

Но вот среди плотного леса показался голубой просвет, скрылся, показался другой, более широкий... Розвальни выехали на колею, заполненную вязкой грязью, кое-где, как щитом, покрытую толстой коркой унавоженного льда. Дорога пересекала поле озими. За полем — обычные деревенские крыши с выкинутой к небу неизменной березкой. Вот оно, Кудрявино!

Саше еще ни разу не случалось бывать в лесных починках; подъезжая, он с любопытством вглядывался — должна же на чем-то лежать печать глухомани. Но дорога вела к привычной деревенской околице: осевшая за зиму изгородь, такие же осевшие ворота из жердей, распахнутые гостеприимно настежь, бревенчатые избы...

— Да у них электричество! — удивленно воскликнул Саша.

В глубь просторной деревенской улицы уходили желтые столбы.

— Федосий Мургин локомобиль завез, — пояснил Игнат. — Одну зиму свет был, потом случилась какая-то неисправность. Федосий к тому времени махнул рукой на кудрявинцев, кудрявинцы — на его локомобиль... Столбы-то стоят, да и в избах лампочки есть...

Сам Игнат, хоть и не раз бывал здесь, сейчас глядел вокруг быстро бегающими глазами, на переносье легла напряженная морщинка, — как-никак все, что ни увидит, станет его хозяйством.

— Эх-хе-хе! — вздохнул он. — Косилка-то где перезимовала.

Председатель «Светлого пути» Федосий Мургин еще не появлялся, но его ждали с минуты на минуту.

В бригадной избе, до укрупнения служившей колхозной конторой, приезжих встретил бригадир Савватий Копачев, более известный по прозвищу «Саввушка Вязунчик», маленький человечек с большой лобастой головой, сморщенным бритым лицом, прыгающими вверх-вниз бровями и живыми, беспокойными глазками. Павел не был

знаком с ним, Игнату же частенько приходилось видеть Саввушку у себя. Не скрывая своего удивления, Игнат прямо спросил:

— Как же так случилось? Ты — и бригадир.

— Сам не пойму, — безунынным, по-детски тонким голоском ответил Саввушка. — Народ за меня горой стоит.

Игнат с сомнением покачал головой:

— Ишь ты... деятель.

Саввушка Вязунчик, от рождения слабосильный, не приспособленный к крестьянской работе, сам сознающий это, был одним из тех, кого обычно называют в деревне «зряшный мужик». Не только в колхозе, но и к своему хозяйству он не прикладывал рук. Приходила пора пахать усадьбу, садить картошку, а Саввушка ходит от соседа к соседу, просит сначала табачку на сигарку, а затем...

— Дощечек у тебя, брат ты мой, не завалилось ли?.. На что? Да, чай, весна. Скворцы, слышь, прилетели, скворечник надо приладить.

И он целый день самозабвенно сколачивал скворечник, не обращая внимания на то, что старуха с высоты крыльца честит его на всю деревню:

— Полюбуйтесь, люди добрые! В доме луковицы заваливающей не отыщешь! Век-вековечный мучаюсь с непутевым!.. Господи! Когда ты его приберешь?

У Саввушки был сын, бравый офицер, красавец парень, изредка приезжавший на побывку домой, сводивший с ума девчат щегольским, с золотом нашивок, мундиром. Саввушка им гордился, многозначительно напоминал встречным и поперечным: «мое семя». На деньги, высылаемые сыном, и кормился он со старухой.

Никто в округе не знал больше Саввушки смешных побасенок и страшных историй. В любом месте, где только сходились два-три человека, Саввушка начинал своим детским голоском рассказ.

И сейчас, ожидая приезда Федосия Мургина, он начал не без хвастовства:

— Нелегко, видать, к нам добратся. Вы, Павел Сергеевич, примечаю, машинку-то свою оставили, на простых дровнях к нам подкатили. Лесные мы люди... Не слышали, какое лихо сюда загнало? Нет. То-то и оно. Мы, кудрявинцы, одного с тобой корня, Игнат Егорыч. Ты родом из Останова, мы — тоже. Лет так сто пятьдесят назад в Оста-

нове жила Фекла, по уличному-то — «Лешачиха». А почему Лешачиха — разговор особый. Здоровая была, страсть. Мужички-то наши на медведя один на один хаживали, она и их кулаком сшибала. Муженек у нее был хлипкий. Она его понуждала бабьи работы делать: корову доить, тесто ставить, бельишко там простирать, а сама пахала, косила, новины жгла. Характеру угрюмого, живет не по людски, все наыворот. Ну, народ-то по темноте своей коситься стал: не иначе ведьма, не иначе лешачиха, пакости ей, ребята! И пакостили: на клин коров напустят, бычку там ногу перешибут, дошло дело — колом лошаденку ейную пришибли. Тут Фекла-то и не стерпела, дозналась, кто... А пришиб лошаденку парень один, по селу первый ухарь... Так что вы, братцы мои, думаете! Среди бела дня Фекла этого парня смяла, голову его промеж колен вставила да при всем народе, при девках-то штаны спустила, по голому заду и всыпала... Извелся потом от этого парень-то. А Фекла покидала на телегу свое добришко, на добришко мужика посадила, сама в оглобли впряглась, да и в лес... Вслед плевались: «Лешачихе — лешачье место, живи где хошь, сатанинское семя». Выбрала Фекла местечко поглуше да поприглядней, с одного боку соснячок, с другого — березки, одна одной кудрявее...

Саша слушал с интересом, Павел — скучающе, Игнат боялся задержаться до вечера; нет-нет да и поглядывал в окно. Он первый и перебил Саввушку:

— Наконец-то! Прибыл Федосий.

Тучным животом вперед, расставляя раскорячкой короткие ноги, на каждом шагу шумно отдуваясь, вошел в избу председатель «Светлого пути» Мургин, протянул пухлую ладонь Павлу, затем Игнату, помедлив, протянул Саше, на Саввушку не повел и бровью.

— Овраг за Коростельскими лужками залило, еле перебрались. В мои-то годы с кочки на кочку прыгать... — Он снял с головы кожаный картуз, вытер платком лоб и круглое лицо.

До укрупнения колхоз Мургина вызывал зависть у окружающих колхозников. В те годы не только коршуновские покупатели, но и на базаре областного города спрашивали хозяйки: «Из «Светлого пути» свинину не привезли?»

После укрупнения «Светлый путь» заметно осел. Прошло три года, а до прежнего уровня не дотянулись.

Сейчас Мургин, выставив живот, сидел с суровой важностью, только умные рыжеватые глазки сквозь узкие щелки припухших век настороженно бегали по лицам. Ведь как бы там ни было, а он не сумел сладить с кудрявинцами, приходится передавать их Гмызину. А кто этот Гмызин? В колхозных председателях всего четвертый год. Федосий Савельич боялся, что секретарь райкома Мансуров намекнет с ехидцей: «С твоей шеи груз... Благодарю человека, что освобождает». Легко ли такое выслушивать на старости лет?..

Но Павел лишь сказал:

— Пойдем по хозяйству посмотрим. Ты, Савельич, все расскажешь без утайки.

— Обрадовать не обрадую, а расскажу начистоту.— Мургин поднялся, кивнул небрежно Савватию.— Сбегай пока к Марфе Карповне, накажи, чтоб погода самовар сообразила. Люди целый день тут будут.

— Дело невеликое, порекомендовать могу,— с важностью заметил Савватий.— А при осмотре-то хозяйства и мое слово не лишнее.

— Иди, иди, куда посылают. Сам покажу твоё хозяйство.

Савватий с явным сожалением расстался с гостями: народ они свежий, можно бы побеседовать.

— Не удивились вы, случаем, что на бригадирстве Саввушка Вязунчик сидит? — отдуваясь после каждого шага, заговорил Мургин.— Ставил я, ставил своих бригадиров... Никиту Обозникова посадил сначала. Тот с месяц промучился, потом пришел, шапку об пол брякнул: «Что хошь, мол, делай, сбегу от кудрявинцев. Самая уборка, а они все в лес по ягоды. С собаками ищи каждого!» Ведь подумать только, мужик с утра раннего под окнами сторожил, чтоб в лес не отпустить,— хитростью уходили... С Иваном Мишиным такая же штука. А на собраниях кудрявинцы кричат: «Не надо чужого! Из своих бригадира выберем...» Вот и выбрали этого шута горохового. Очень удобный для них человек... Здешний народ лесом попорчен... Не земля их кормит — лес! Ягоды собирают, продавать носят. Малинка-то рубль стаканчик, а этой малины возами вози отсюда. Дичину бьют, рыбу в озере ловят. При нужде и лося освежают... Закон далеко... Весь закон и вся власть тут — бригадир. Потому чужие и не приживаются... Потому и Саввушку выбрали: самый без-

обидный человек... Он и лошадей не откажет усадьбу вспахать, и малиной заниматься не запретит, и на работу не погонит — сам ее не любит. Живут у этого Христа-Савушки за пазушкой, а тот по своей глупости рад почету. Должно, и вам хвалился: «Народ-де мне доверяет...» Вот, Игнат, слушай... Не для острастки говорю — для науки.

Земля задубенела от вечернего морозца, и лошади тяжелей было тащить сани. Приходилось больше идти пешком. Молчали. Наконец Павел спросил:

— Не жалеешь, что согласился?

Игнат нехотя ухмыльнулся.

— Иль, думаешь, оглобли поверну?

— Пока-то еще не поздно... Я, прямо скажу, хоть и посоветовал, да теперь сомневаться стал. Колхоз твой, как на дрожжах, растет. Он, может, знаменем всего района будет, и вдруг такую гирию повесили...

— Не мне гирию, так Федосию; как ни кинь, кому-то вешать придется...

— Только это и заставляет. Но невыгодны тебе кудрявинцы... Ой, намучаешься...

— Не из-за выгоды их беру. Людей жаль. Утонули в лесах, одичали, сами не вылезут. На Федосия — сам толковал — невелика надежда. Непрочно на ногах стоит, потянет кудрявинцев, сам того гляди в болото сползет. Попробуем мы... Больше некому.

— Если так — святое дело. Спасибо скажем.

— Не на чем. Межой свой колхоз от других отделять не собираюсь.

— Ну и все ж, как думаешь своротить лесовиков?

— Как? — переспросил Игнат. — Да очень просто. Хлеб с их полей — долой! Невыгодно. Часть полей отведу под луга, часть буду засеивать корнеплодами. Поставлю хороший скотный двор, силосных ям нарою, маслобойку оборудую и буду вывозить из Кудрявина масло. Выпасы у них большие, травы сколько угодно, силосу хоть на весь район заготовляй... — Игнат помолчал и добавил: — Это — дело дальнего прицела, и пока придется просто тянуть их... Мне скот для развода нужен, племенной, породистый! — закончил он упрямо.

Павел рассмеялся.

— У тебя на каждую болячку одна и та же припарка. Даешь скот — и шабаш!

Игнат не ответил, двумя широкими шагами он нагнал сани, завалился на них.

— Садись! Здесь уклон — лошади полегче...

Мансуров и Саша привалились к нему.

Скрипели оглобли, шуршали полозья, молчал затапущенный сумерками лес.

4

Саша времяами смутно чувствовал, что жизнь напористо наступает на него, не дает опомниться. Каждый день приносил новое.

Недавно казалось, что нет скучнее на свете случайно прочитанной в газете фразы: «Такой-то колхоз перевыполнил план силосования...» Бесцветные, серые слова, они не оставляли следа в душе.

Но проходили дни, и он с ревностью, со страстью искал в газете: засилосовали? А как? Почему мало сказано? Три строчки написали, словно огрызнулись...

Новое приходило вместе с беспокойством, вместе с заботами.

Колхоз косит, колхоз запасает сено. В эти дни каждый с опаской смотрит на небо: а вдруг да грянет дождь, погниет трава, чем кормить скот зимой? Хорошо, если будет солома, а как и той не хватит? Прирезай тогда коров, пока сами не сдохли. Под богом ходим.

К осени на скошенных лугах подрастет густая отава — добрая трава, коси по второму разу. Плохо ли снять сена вдвойне! Скосить-то можно, но как высушить? Осеннее солнце не горячее, дожди перепадают часто. Коси не коси, все равно сгниет — пропадет добро, что ж делать? Под богом ходим!

На Роговском болоте вокруг ляг и бочажков несчитанные гектары осоки. Не ходит туда скот, не ест ее — жесткая, края листьев, что бритва, режут в кровь язык, десны, губы. Никчемная трава. А велика ли польза в дремучих зарослях крапивы за рампским полем? Многие считают — возмущаться нечем, мало ли растет и плодится бесполезного на свете, на то божья воля.

Но все это так кажется до времени, пока не узнаешь, пока не раскроют тебе глаза.

Скоси отаву, засыпь в яму, притопчи поплотней, закупори покрепче — немудреное дело. Не надо высматривать да выжидать солнца; дожди, сырость, утренние заморозки — ничто не помеха. А в конце зимы вынимай эту перебродившую, пахнущую хлебным квасом отаву, разноси по кормушкам — будут есть коровы да облизываться. Осока, крапива — даже их можно перегнать на молоко и мясо...

Тридцать семь ям силосу заложил Игнат Егорович. В каждой яме от тридцати до сорока тонн. Подсчитай, лежат в земле сокровища, копилка колхозного богатства на пустыре!

Сотни тысяч рублей в банке, новые подвесные дороги на скотном, чтобы не на руках таскать навоз, велосипеды у ребят, шелковые платья у девчат, крыши, крытые железом, музыка из радиоприемников — вот что такое силос! На красивой земле — красивая жизнь, отцовская мечта! Саше ли быть к этому равнодушным...

По-прежнему Игнат Егорович считал законом каждый свободный вечер вместе с Сашей проводить над учебниками. Книжную премудрость Саша схватывал быстрее Игната. Но если Саша просто запоминал, верил всему, что ни прочитает, без оговорок, то Игнат часто ворчливо спорил с учебниками:

— Что пишут? Башня для силоса дешевле ямы. А утеплять башню, а ремонтировать ее?.. Клепка каждый год будет расползаться по швам. Такие ремонты встанут в копейку...

И он сразу выкладывал кучу житейских примеров, после чего и у Саши пропадало доверие к прочитанному.

Заботы и беспокойства были у них общими, мечтали они вместе, вместе учились, вместе работали, и новое для Саши открывалось через Игната Егоровича.

С Катей Саша помирился вскоре же после возвращения из города.

Проведенная в одиночестве часть ночи после размолвки была для Саши прощанием со старой сосной. И не только наступившие осенние дожди, не только зима с ее морозами помешала им встречаться на прежнем месте — другое. Их отношения изменились, стали более обыденными, но от этого вовсе не более холодными, наоборот — появилась простая дружественная близость. И эту дружбу

незачем было скрывать от людей, прятаться с ней в темноту ночи под сень сосны, стоящей в стороне от дороги.

Старая сосна отслужила им свое и стала не нужна.

Катя начала приглашать Сашу в гости. Вместе с дедом, бывшим Сашиним учителем Аркадием Максимовичем, пили чай. Катя, сменив костюм на фланелевый халатик, с гладко забранными волосами, румяная, довольная новой для нее ролью гостеприимной хозяйки, угощала напористо:

— Саша! Ты что, как красна девица, сидишь? Вот варенье, вот слойки! Не заставляй кланяться.

После чая Аркадий Максимович любил посумерничать и пофилософствовать на какие-нибудь высокие темы — о вселенной, о человеческом уме, о будущем...

— Бесконечность окружающего мира меня не гнетет. Напротив! В этой бесконечности я вижу бесконечные возможности для применения человеческих сил. Да, да, друзья! В мироздании есть только один бог — человек!

На столе смутно поблескивали неприбранные чашки... Глуховатый голос старика будил какую-то приятную щемящую мечту о чем-то огромном, недоступном. Катя, забравшись с ногами на громоздкий старый диван, гладила задумчиво кота Фомку, лежебоку, упрятого в густую шубу, с презрительно-недоверчивыми круглыми глазами. Саша, не поворачивая головы, ощущал взгляд Кати. Уютно и покойно чувствовал он себя в этой маленькой семье.

Такие посещения дали повод считать всем Сашу и Катю посватанными. Свою мать Саша нет-нет да и заставлял в слезах. «Я так, родненький, так... Только ты не бросай мать-то, легко ль без твоей-то помощи нам будет...» — невнятно объясняла она. Последнее время она усидчиво вязала пуховую шаль — уж не подарок ли будущей невестке?

В колхозе же подарила Сашу своим вниманием одна из развеселых раменских девчат, Настя Баклушина.

Среди своих подруг, отличавшихся дородностью и здоровьем, она, невысокая, худенькая, с бледным, не загорающим на солнце лицом, казалась на первый взгляд неприметной. Но все знали, что Петр Демин, нынче флотский офицер, завидный кавалер (фуражка с белым верхом, китель в обтяжку, морской кортик у пояса), шлет сердитые письма Насте, обещает жениться. Знали, что Настя не особенно-то сохнет по нем, крутит голову и секретарю сельсовета Мите Голикову, и Перхуну Федору, агроному МТС,

и шоферу Никите Шуренкову. Из леспромхоза к ней на разговоры ездит за двадцать километров какой-то десятник, уже в годах, кто знает, может, и семейный. За все это дородные, пышнотелые раменские девчата тайпо нецвели Настю.

При всей почти детской нескладности Настинной фигуры бросались в глаза налитые зрелой тяжестью груди и на худощавом лице — сочные, яркие губы с каким-то мягким и жадным выступом на верхней.

Настя с самых первых дней стала дразнить Сашу. Это она кричала ему на сенокосе:

— Иди к нам в копешки! Охотка поиграть со свеженьким!

Потом Саша привык к таким окликам, научился даже отвечать на них. Настя на время оставила его в покое.

И вот теперь какой-то черт снова толкнул ее к Саше. Увидит в конторе — не стесняясь, проталкивается к нему:

— Куда спешишь? Поглядеть на себя не даешь. Поди сюда, миленький, посидим рядком, поговорим ладком.

Какой-нибудь бородатый правленец при этом советовал Саше:

— Мотри, парень... Подальше от нее — укусит. Девка с бесинкой.

5

В области малый прирост скота, в области низкие удои, в пяти районах из-за летних дождей бескормица, зимой пришлось прирезывать скот. В области тяжелое положение с животноводством.

В городском театре по этому вопросу собиралось совещание передовиков.

Нарядное фойе с высокими потолками, с переливающимися люстрами в этот вечер выглядит менее празднично. Будничны лица гардеробщиц, не мелькают распорядители с пачками программ, буднична и публика. Яркий электрический свет с потолка освещает косоворотки, гимнастерки, яловые сапоги рядом с выутюженными костюмами. Много мужчин и мало женщин. Люди большей частью собираются кучками, курят, разговаривают, а не ходят попарно.

На стенах под самым потолком висят портреты великих композиторов: Лист, Бетховен, Моцарт, Глинка, Чайков-

ский... И странно под сенью этих корифеев искусства слышать озабоченные житейские слова: выпасы, надои, молодняк, силос, концентраты...

За последнее время Павел Мансуров полюбил такие совещания в области. В безукоризненном костюме, курчавая голова вскинута, на широком смуглом лице готовность любого встретить открытой, дружеской улыбкой, он мягкой, неспешной походкой ходил по фойе, кивал знакомым, заводил разговоры. На него оглядывались, за его спиной шептались:

— Из Коршунова?

— Тот самый.

— На вид молод...

Обкомовские работники, обычно в такие дни все до единого занятые по горло, озабоченно снующие через фойе и зрительный зал на сцену, находили минутку, останавливались, чтобы переброситься парой слов с Мансуровым.

Секретари райкомов из больших промышленных районов, таких как Сумковский, Ключаевский, Глазновский, люди пожилые, знающие себе цену, еще недавно не ведавшие о существовании Павла Мансурова, встречали его сейчас дружески — равные равному.

Секретари из районов более удаленных, менее заметных отыскивали Павла в толпе, осторожно придерживая за рукав, отводили в уголок, советовались, жаловались. Для них он был уже старшим.

Коршуновцы собрались отдельной кучкой: Игнат Гмызин; Федосий Мургин, недавно вышедший из буфета, где до краев налился пивом, отчего широкое лицо его расцвело влажным свекольным румянцем; Огарышев — зоотехник колхоза «Первая пятилетка»; председатель этого колхоза Пятерский, сухощавый человек с аскетическим лицом, к которому вовсе не подходил нерешительный и мягкий взгляд голубых глаз; доярка Распопова, со старым, еще довоенным орденом Ленина.

Только что выступил с докладом председатель облисполкома Чернышев. Он сообщил: в область прибывают большие партии племенного скота. Раньше такой скот приходил лишь маленькими партиями и распределялся механически. В областном отделе сельского хозяйства раскидывали по районам: столько-то голов туда, столько-то сюда, хотите или нет принимать, раз назначено — получите, никаких возражений, никаких отговорок на бескормицу!

В этом году, брать или не брать, должны решать районные руководители, они сами обязаны рассчитывать силы своих колхозов.

Федосий Мургин, собрав под подбородком толстую складку, рассматривая на своем обширном животе пуговицы, говорил с привычным ему недовольством:

— Знаем мы этот скот. В позапрошлом году прислали мне трех холмогорок. Коровы — без всяких бумаг видно — породистые из породистых, спины что полати, вымя у каждой мешком висит. Только я наплакался с ними. Подавай им, видишь ли, заливные выпасы. Плохую траву жрать не желают, рыла воротят. А где у меня заливные, когда кругом в суходолах сижу, как свиной ошкварок на сковородке... А ведь скот-то этот даром не дают, денежки за него плати, и немалые...

Зоотехник Огарышев обиженно возражал:

— Рано или поздно, все равно нам придется менять своих дохлых коровенок на продуктивных. Тут такой случай — бери! Отворачиваться прикажешь?

— Дохлые коровенки, это верно, — не смущаясь, соглашался Мургин. — Только почему они дохлые?.. Кормим плохо! С такими кормами наши еще выдюжат, а племенные загнутся, не жди от них ни молока, ни приплоду настоящего. Забываешь, милоч, поговорочку: у коровы-то молоко на языке.

Игнат Гмызин молчал, но по тому, как с сосредоточенным видом поглаживал бритую голову, было видно — он уже прикидывает в уме, сколько голов взять, где разместить. Его-то меньше всего трогали сомнения Мургина.

Павел Мансуров понимающе поглядывал на Игната: «Хозяйская башка... Вот как попал в точку! Не зря копил запасы силоса... Этот, не боясь, отхватит себе племенных коров, этот создаст стадо!»

— Павел Сергеевич! Здравствуйте, голубчик... — Перед Павлом остановился секретарь райкома из соседнего Шумаковского района, невысокий живчик, с квадратной, в ладошку, лысиной на макушке. Он подхватил Павла, потащил в сторону, сразу на ходу выговаривая:

— Слышали, о чем Курганов собирается выступить?

Шумаковский секретарь имел одну удивительную способность: какими-то неизвестными путями на пять минут раньше других узнавать во всех подробностях обкомовские новости. И уж эти новости он не держал при себе.

— Он скажет (тут подразумевался первый секретарь обкома Курганов), что работа районных руководителей будет измеряться тем, сколько район возьмет на свои плечи племенного скота. Много возьмешь — хороший работник, значит, у тебя в районе есть корм, есть где скот поставить. Мало возьмешь — так на тебя и будут глядеть. Областным-то хочется как можно больше в свою область упрятать сейчас этого скота. Шутка ли — сразу поднимется поголовье. И не рассчитывай на мясопоставки, особо-то не дадут списывать старых коров. Цифра, цифра нужна! А эти цифры вот кому на шею сядут — нам! — Шумаковский секретарь похлопал себя по короткому загривку. — Я лезть наобум не буду, не-ет. Пусть как хотят, так и смотрят, хоть косо, хоть прямо в лоб смотрите. У меня сейчас в редком колхозе клок сена отыщешь. Ждем не дождемся, когда зеленая травка, спасительница наша, выглянет. А за падеж племенного скота ой как спросят! Ну, извините, бегу к своим. Потолковать надо. В таких вопросах решать одному боязно. А решать надо, торопят...

Шумаковский секретарь отбежал от Павла, по дороге столкнулся с высоким седым мужчиной в полувоенной форме, подхватил его под руку и начал ему горячо рассказывать, должно быть, то же самое. Мужчина с терпеливым снисхождением слушал шумаковца.

Павел знал этого седого человека с простоватым лицом рабочего, с прямыми широкими плечами, со щеголеватой подобранностью офицера запаса. Он секретарь Ключаевского райкома партии, Звонцов. Видя, как шумаковец, суетясь, выкладывает ему, Павел усмехнулся: «Тоже мне, чижик соколу на беду сетует. Звонцову ли беспокоиться?.. Да у него в районе целое созвездие колхозов первой величины — украшение всей области. Не только в кормах, но и в самом племенном скоте особо не нуждаются. Его-то не тронут слова Курганова...»

Высокий Звонцов с мягкой настойчивостью освободился от прилипшего к нему шумаковца, кивнул головой и зашагал прочь. Павел Мансуров с уважением и завистью проводил взглядом прямую, широкую спину, обтянутую зеленым кителем: «Ничего, поживем — увидим: кто над кем поднимется. Не боги горшки обжигают...»

Павел вернулся к своим.

— Хватит споров,— произнес он.— Скоро начнутся прения. Мне выступать. Надо сейчас обо всем договориться...

Их небольшое совещание оборвал звонок.

Плохо ли отхватить богатый куш, одним разом выправить положение с животноводством,— соблазн велик, но в районе не везде хорошо с кормами, скотные дворы не подготовлены к приему племенных коров, да и кадры животноводческие слабы. Нет, больших обещаний давать нельзя.

Павел уселся на свое место с твердым решением — не зарываться.

Выступал шумаковский секретарь. Он говорил, что прибывающий в таком количестве скот — событие в области, оно, возможно, сделает революцию в экономике, но тем не менее к приему скота надо подходить осторожно, вдумчиво...

Из президиума секретарь обкома Курганов бросил короткую, сухую реплику:

— Не потому ли за вдумчивость ратуете, что в прошлом году сено погноили?

— И это приходится учитывать, Алексей Владимирович,— отозвался шумаковец.

— Учитывать, чтобы впредь сено гноить?

Шумаковский секретарь замялся, а зал зашелестел недоброжелательным к нему смешком. Вместе со всеми осуждающе смеялся и Павел Мансуров. Шишковатый лоб шумаковца под ярким электрическим светом блестит от пота, сам он весь как-то съежился на трибуне, спешит, комкает фразы:

— ...Перебросить в нашу область тысячи голов племенного скота! Такие решительные меры говорят о мощи нашего социалистического хозяйства!..

— Конкретно о районе! — подкидывает опять Курганов.

— Наш район,— с готовностью подхватывает шумаковец,— не может не откликнуться... Мы приложим все силы...

— Конкретно!

— Должны признаться, что мы еще в недостаточной степени... — галопом продолжает шумаковский секретарь, обливаясь потом.

Докладчик кончил, суетливо сгреб бумаги, сбежал с трибуны и исчез, растворился...

Председательствующий объявил:

— Слово предоставляется секретарю Коршуновского райкома партии товарищу Мансурову!

Павел поднялся и по узкому проходу, устланному мягкой ковровой дорожкой, пошел своим легким напористым шагом к трибуне. В одном из рядов крайний к проходу человек в овчинной душегрейке, с костистым волевым лицом, то ли колхозный председатель, то ли низовой зоотехник, повернувшись к соседу, произнес:

— А ну-ка, ну-ка, на что этот решится?

Павел слышал эти слова.

Из-за стола президиума встречал Павла подбадривающей улыбкой Курганов. Весь вид его — вскинутая голова, прямой приветливый взгляд — выражал уверенное ожидание: этот скажет, не подведет, еще и удивить может.

И Павел почувствовал, что твердое решение — не зарываться, не обещать ничего — он не сумел донести целиком до трибуны. На секунду он растерялся, молчал, собираясь с мыслями, глядел в зал. А из освещенной глубины зала, мельчась, утопая в ней, уставились сотни лиц, напряженно глядевших в упор.

Тишина своей настороженностью властно требовала: говори, слушаем, чем удивишь? И в этой тишине, в терпении людей чувствуется уважение. Сами того не желая, люди как бы приказывают ему говорить то, против чего минуту назад Павла предостерегал здравый смысл. Нет сил им не подчиниться, вызвать разочарование — невозможно!

Павел со спокойным достоинством бросил привычное:
— Товарищи!

Не спеша заговорил о том же, что и шумаковский секретарь: сегодняшнее совещание обязано разрешить один из самых больных вопросов — племенной скот облагородит местные породы, подымет продуктивность...

Он заговорил и со страхом отмечал про себя: напряжение в зале падает, тишина, вначале чистая, прозрачная, словно замутилась сейчас. Слышалось шевеление в рядах, осторожное покашливание. И казалось, что вот-вот из-за стола президиума, от секретаря обкома, донесется требовательное: «А конкретно!»

Павел вдруг почувствовал отвращение к своему бесцветному, вялому голосу. Нет, он не шумаковский секретарь, он Мансуров!

Резко, как от удара, он распрямился, вскинул голову, облитый светом театральных рефлекторов, юношески подобранный, смуглое, широкоскулое лицо как бы вспыхнуло решительностью, голос стал звучным, упругим, властным:

— Мы сидим в болоте и мечтаем, как бы взобраться на гору! Нам пришли на помощь, нам спустили лестницу, а мы мнемся, раздумываем — ступить на нее или не ступить? Мы боимся, что сорвемся. Из-за этой боязни чуть ли не готовы отказаться от своего спасения!

Зал снова зашумел, но как отличен был этот новый шум от прежнего равнодушного шороха и покашливания. Бесконечные ряды утопающих в полутьме лиц, кажется, приближались, стягивались на горячие слова Павла Мансурова.

А Павел, чем больше говорил, тем отчетливее понимал — произнести незначительные цифры ему нельзя.

Он назвал цифру — пятьсот голов, и зал доброжелательно прошумел аплодисментами.

После заседания около театрального гардероба нет чинного порядка — толкучка, все торопятся. Многих ждут машины, на ночь глядя надо ехать километров пятьдесят — шестьдесят в свои районы. Рослый мужчина в барашьей душегрейке набрал целую охапку пальто и плащей, протискивался в угол:

— Налетай! Могу продать вместе с хозяевами!

В этой толкучке к Павлу, уже надевшему свой плащ, подошел Курганов. Был он невысок, держался прямо, движения живые и резкие. Он крепко пожал Павлу руку, заговорил:

— Хватил — не постеснялся. Смело действуешь. Что ж, на широкие плечи и тяжелый куль. Но будем требовать, чтоб весь скот прижился. Ни одной твоей жалобы, ни единой слезинки не примем во внимание. Помни!

Тон был полушутливый, голос бодрый, но Павел уловил в словах секретаря обкома жестковатое предупреждение и понял, что отступить от своих слов ему не дадут.

Он ответил также полушутливо и бодро:

— Не обещаю, Алексей Владимирович, может, и придется в чем-нибудь поплакать в жилетку.

Федосий Мургин слышал этот разговор и, после того как Курганов отошел, проворчал, пряча недружелюбный взгляд от Павла:

— Кому плакать, так это нашему брату...

Павел оборвал его холодно, едва сдерживая раздражение:

— Только уволь, раньше времени не плачь... Почему Гмызин не собирается плакать, а ведь у тебя стаж колхозного руководителя побольше, чем у него!

Стоявший в стороне, уже одетый, Игнат Егорович промолчал.

6

Выписывая петли по лугам, течет речка Шора. Летом она вся, как в шубный рукав, упрятана в густые кусты ивняка.

На протяжении всего года тиха. Редко-редко ее ленивая темная вода своевольно звенит на каменистых перекатах, больше отдыхает в затянутых кувшиночными листьями сонных омутах. И только весной неожиданно свирепеет скромница. В узких берегах, утыканых лозняком, тесно, ей нужен размах. Луга — вот где раздолье! Дороги, кусты, пни после вырубki — все остается под водой. Дня три несет Шора на своей мутной спине вперемешку с заматерелым, не желающим таять льдом коряжистые выворотни, прокопченные бревна, сорванные с какой-то черной баньки, иной раз часть сруба — два-три намертво сбитых венца.

Дня три, от силы пять, разгула, и... спадает вода. Незаметно уходит Шора в свои прежние берега. Только разбросанные по кустам грязные глыбы льда да какой-нибудь ствол соосны с перекалеченными ветвями, с истерванной корой, выпирающий из ивняка, напоминают о былой удали.

Снова Шора, как благонравная дочь на выданье, тиха и скромна, снова ленива ее вода.

После разлива остаются на лугах бесчисленные озерца, глубокие и мелкие, широкие и длинные, лишь по цвету одинаковые, синие-синие, словно само небо, разбив-

шись на осколки, раскидано по земле, убого покрытой вымокшими остатками прошлогодней травы.

Солнце быстро прогревает эти озерца, и в них сразу начинается жизнь. Длинноногие водомерки бестолково, лишь бы быстрее, бегают по гладкому зеркалу воды, юркими зигзагами плавают лакированные черные плавунцы. А у берега уже выставила пучеглазую морду оттаявшая лягушка.

Поражают своей смышленостью большие пауки. Они выпускают в воздух длинную нить паутины, ветер подхватывает ее. И, как под парусом, из одного конца озерца в другой несется паук на растопыренных лапах. Вода, словно от крошечного глиссера, расходится игрушечной волной по сторонам.

С берега паутина совсем не заметна, окоченевший в неподвижности и в то же время скользящий по воде паук кажется чудом.

Катя долго недоумевала, пока Саша не поймал такого паука и не обнаружил паутинку.

Густая синева неба, всасывающая в себя плавающих вровень с солнцем птиц, яростный блеск воды, стеклянный трепет нагретого воздуха, запах прели, запах земли, чего-то тинисто-лягушечьего, живого, мокрого, весеннего — все это опьянило Катю.

Они сидели на выдутом, сухом пригорке. Катя, подобрала ноги, в светлом платье, облитая режущим глаза солнцем, чуточку расслабленная: плечи безвольно опущены, наклон шеи переходит в ленивый изгиб спины, но глаза, глядящие в землю, нетерпеливо бегают, тревожат веки. Вся она в одно время и млеющая и беспокойно ждущая чего-то...

Саша последнее время стал замечать — оставаясь с глазу на глаз с Катей, чувствует неловкость, между ними исчезает простота, появляется натянутость.

Вот и сейчас сидит она перед ним, необычно красивая, взволнованная, ждет от него необыкновенных слов. И он ведь знает эти слова, он собирается их давно сказать, но трудно начать!.. Если б Катя не волновалась, легче решиться...

— С тобой никогда не случалось такого?.. — начинает Саша издалека.

Катя поднимает ресницы, глядит с немым вопросом: «Чего — такого?..»

— ...Вот вроде ничего особенного нет, а чувствуешь, что западает на всю жизнь в память минута... Заранее чувствуешь...

Немой вопрос не исчезает с лица Кати: «Не понимаю...»

— Я вот сижу сейчас и точно знаю — этот день запомню: и пауков этих, и вон ту березку... Гляди — воздух поднимается от земли, сквозь него березка видна, поеживается словно... Ничего особенного, не событие, а, пока буду жив, не забуду этой березки. Что-то сейчас есть кругом. Ты не чувствуешь?

Саша видит: Катя начала понимать, но хитра, делает вид — ничего не ждет, обычный разговор, глядит в сторону, глаза скучноватые, только на щеках под прозрачной кожей легкий, мягкий румянец.

— И сейчас, в эту минуту, нравишься ты мне по-особому... Нравится, как ты оперлась рукой о землю, как плечо твое поднялось, лицо твое, руки твои, колени... (Катя поспешно прикрыла высунувшееся из-под платья крепкое колено.) Как глядишь на меня, как слушаешь — все нравится. Захлестнет вот такое — солнце темнеет... Фу! Кажется, глупостей наговорил...

Саша отвернулся, насупился. Катя легко поднялась, под села ближе, взяла его руку и, стараясь заглянуть в опущенное лицо, сказала тихо и удивленно:

— Какой ты, однако... То о силосе толкуешь... И вдруг черт проснется.

— Катя!.. Я давно хочу сказать, и ты знаешь о чем..

— О чем?

— Знаешь! Хочу, чтоб была моей женой! Пора говорить об этом!

Он сказал резко, сердито, почти грубо. Катя не вздрогнула, не удивилась, а снова задумалась, глядя остановившимся взглядом на воду озерца. Гладь воды пересекла наискось крутой хребтиной щука. Она пленница, сотни метров нагретого солнцем луга отделяют ее теперь от родной реки. День ото дня, час от часу будет сохнуть озерцо, пока не превратится в тесную лужу. Прибегут из села ребятишки, взмутят и без того застойную воду... Долго будет бороться щука, ловкая, быстрая, сильная, станет метаться между ребячьих голых ног, между жадно протянутых рук, а выхода нет, конец один... С торжеством внесут ее в село на ивовом пруту, продетом сквозь

жабры, и выпученные тусклые глаза со слепым равнодушием будут глядеть на солнце.

От долгого молчания в душе у Саши родилась подозрительность: Катя не отвечает, не хочет, почему?.. Так ли уж он нравится ей, как думал до сих пор?.. Полез с предложением, нужно ей оно...

Саша, бледный, стараясь все же не выдать волнения, глядел на Катю, ждал, слышал, как стучит в груди сердце.

Катя наконец подняла глаза и внимательно, долго разглядывала Сашу — выгоревшие волосы, чистый лоб, упрямые губы, тонкую шею, торчащую из помятого воротника рубашки...

— Муж... — произнесла она удивленно. — Неужели ты — судьба моя?.. Каждая девчонка много думает о муже. Что скрывать, и я думала... И как глупо... Представлялся — высокий, красивый, плечистый, сильный, печальный, непонятный и главное — таинственный. Сказка перед сном! Где он живет, какие подвиги совершает, где пересекутся наши пути?.. И вот не Иван-царевич, а просто Саша Комелев... Муж... Александр Степанович...

— Что разглядываешь?.. Иль раньше не нагладелась?

— Раньше Сашку видела, теперь — другое.

Саша вскочил:

— Да ну тебя!

Он потоптался, пряча лицо. Катя, чувствуя свою силу и свое превосходство, следила теплыми, улыбающимися глазами, уверенная, что не обидится, никуда не уйдет от нее.

— Пошли!

Не дожидаясь, когда она поднимется, Саша повернулся, неровной походкой, словно кто толкал в спину, зашагал. Катя, не сводя улыбающихся глаз с его спины, гибко поднялась, распрямилась во весь рост, с разгоревшимся лицом, солнечная, светлая, постояла и сорвалась, легкими, летящими шажочками нагнала Сашу, обняла за шею...

Как дети, взявшись за руки, они шли по рыжему весеннему лугу, застенчиво прятали друг от друга лица...

Разнеженная теплом, пахнувшая влагой, украшенная синими озерами, тяжелыми темными ельниками, обкуреными зеленой дымкой воздушными березовыми лесами, отдыхала земля под нарядным, ярким небом.

Разбросав на солнцепеке темные домишки, сушилось после благодатной весенней сырости село Коршуново. Оно на этой земле, под этим небом занимает неприметное место, но и в нем, как и всюду, бывает простое и необычное, негромкое и великое человеческое счастье!

Саша поздно вернулся из Коршунова в колхоз.

Весной улицы деревни Новое Раменье долго не просыхают от грязи. Пройти от дома к дому можно только по узкой обочине, цепляясь руками за плетень. И вот на такой обочине, когда обе руки заняты, а ноги не могут найти устойчивую опору, Саша столкнулся со встречным.

— Кто тут? Кому из нас давать задний ход? — весело окликнул Саша и узнал Настю Баклушину.

Она, плотно прижимаясь узким гибким телом к плетню, сделала шаг-другой вперед, выдвинулась из тени, наискось покрывавшей улицу с круто размешанной грязью; ее продолговатое, с нежным овалом маленького подбородка лицо оказалось рядом. Саше был ясно виден пухлый, жадный выступ на верхней губе.

— Вот и встретился, миленочек, па темной дорожке. Давно такой встречи ждала, — вполшепота произнесла Настя, приваливаясь грудью к плетню, не собираясь ни отступить, ни идти дальше. — Что же смотришь по сторонам? Все еще меня пугаешься?.. Беги, не держу, беги! Не бойсь, собачкой догнать не стану.

Сегодня у Саши был счастливый день, мир казался красивым, люди добрыми, к каждому, кто попадался на глаза, хотелось подойти, сказать приятное, поблагодарить за то, что он, такой славный, живет на свете... Невольную, необъяснимую вину почувствовал он сейчас перед Настей.

— Обижаясь за что-то. Зря, Настя, — сказал он мягко. — Я о тебе плохо не думаю и худого тебе не хочу...

— Худого не хочешь?.. Мало мне этого, Сашенька. Ты мне хорошего пожелай... Ты взглядишь в меня. — не урод, не порченная... — Она придвинулась еще ближе, уперлась в него плечом. — Чего отворачиваешься? Иль я зарок возьму, иль свяжу тебя?..

От обжигающего дыхания, от близости ее губ начали путаться мысли.

— Настя, — произнес он хрипловато, — не приставай... Зря это...

— Знаю, коршуновская цыганочка тебя привязала. Да и то... Я девка колхозная, она образованная, с докладами выступает, ручки только чернилами пачкает...

— Пусти-ка лучше.

— Нет, ты пусти. Сдай, сдай! Не бойся ножки промочить.

И Саша отступил, пропустил Настю.

Она, уже скрывшись в темноте, крикнула в спину:

— Все одно покою не дам! Я упрямая! Дождусь своего!

Саша только сердито передернул плечами.

7

Катя изредка навещала жену Павла Мансурова, свою бывшую учительницу, Анну Егоровну, теперь просто подругу.

Разбросав по коленям сиреневый шелк, Анна орудовала иглой, подняв на вошедшую Катю глаза, перекусила нитку, поздоровалась, сообщила:

— Вот вчера платье купила — подюняю.

Катя подсела, стала разбираться.

— Плечи японкой... Юбка трехклинка — простовата...

— По мне и это хорошо. Отошло мое время модничать... Живем, а зеркала хорошего приобрести не можем. Не знаю, как и сидит... Катя, надень ты, посмотрю со стороны.

— Да оно мне будет узковато...

Однако Катя взяла платье, стала расправлять. Анна разглядывала ее с внимательной грустью — от подернутых загаром ног в босоножках до густых волос, выбившихся темным мягким пухом у маленьких ушей.

— Узковато будет... Сейчас, Аннушка, я в другую комнату выскочу.

Но Анна остановила:

— Не надо.

— Почему?

— Не хочу... Платье разонравится.

— Да почему же?

Анна с улыбкой вздохнула.

— Недогадлива ты... Ведь мы все завистливы на красоту. Ты красавица, а я и в молодости-то не была такой, а теперь и подавно.

Катя разругалась от удовольствия.

— Ничего ты так не увидишь. На мне все же видней...

Анна с неохотой выпустила платье из рук.

Катя, несмотря на свой возраст, в плечах и в спине была шире Анны. Платье действительно казалось узковатым, только в талии не морщилось, гладко облегало, подчеркивая упругость бедер.

Анна с горечью опустила руки.

— Так и знала... Хоть не снимай. Мне теперь на себя в этом платье взглянуть тошно.

Она, угловатая, с тонкими руками, излишне длинной шеей, узкоплечая и узкогрудая, с печальной завистью смотрела, как поворачивается перед ней, косясь одним глазом на зеркало, Катя: высокая, стройная, сиреневый шелк оттеняет нежную смуглоту тонкой кожи на руках, с лица не сходит счастливый румянец — кому не лестно чувствовать себя красивой.

— Аннушка... — Катя ласково обняла Анну, усадила ее на диван, осторожно, чтоб не смять юбку, опустилась сама. — Замуж я выхожу...

— За Комелева?.. За Сашу?

Катя смущенно кивнула головой.

— Он моложе тебя?

— Всего на год. Разве это — препятствие?

— Он мальчик. Ты не по годам взрослой выглядишь.

— Аннушка, не надо, молчи. Ничего слышать не хочу.

— Нет, что ты! Не отговариваю тебя... Только помни об одном: в таком деле самая мелкая, самая незаметная ошибка вырастает в бесконечные мучения... Впрочем всех нас предупреждали опытные люди, и никто их не слушал. Бесполезное я говорю, забудь все. Полюбился — выходи.

Катя, слушая Анну, притихла, наблюдала за ней; когда та замолчала, спросила осторожно:

— Что случилось, Аннушка?

Анна опустила голову, пожала плечами:

— Кто знает... Приходит с работы, если слово скажет, то по крайней нужде: «Поесть дай. Готов ли чай?..» Что случилось? Неизвестно. То и страшно, Катя...

Катя слушала и испытывала обычную неловкость, когда счастливому человеку приходится сочувствовать горю. Надо что-то сказать, как-то подбодрить, а слов нет.

В это самое время во дворе хлопнула калитка, на крыльце раздались шаги.

— Павел... Легок на помине.— Анна со вздохом поднялась с дивана.

Он вошел со своей обычной напористостью — волосы спутаны, ворот на красивой шее распахнут, глаза сухо блестят. Узнал Катю, и суровое лицо подобрело.

— Эге! У нас гости... Здравствуйте.

Катю пугал этот непонятный для нее стремительный человек. Она сразу же вспомнила, что на ней чужое платье, в плечах и груди стянутое нелепыми складками, засмушалась. Скрываясь за перегородку в соседнюю комнату, чувствовала всей спиной пристальный взгляд Павла Сергеевича.

Вернулась она в своем скромненьком светлом платье, с выбившимися около ушей волосами, смущенно-румяная, с нерешительно вздрагивающими ресницами.

— Катя, не уходи, останься... — попросила Анна.

— Похоже — меня испугалась? — улыбнулся Павел.

Он собирался умываться, был без пиджака, в сорочке с засученными рукавами, плечистый, улыбающийся, вовсе не похожий на того замкнутого, сурового мужа, о котором только что рассказывала Анна.

Катя ушла. Что-то мешало ей остаться. С приходом Павла Сергеевича без причины чувствовала себя связанной.

Шла к дому медленно. Вспомнила: широкоскулое, крепко вычеканенное лицо, перепутанные жесткие волосы, обнаженные до локтей руки играют мускулами, мнут толстое полотенце, взгляд прямой, дружеский, открыто веселый, но где-то в глубине за веселостью тлеет тревожная искорка.

Не в первый раз Катя замечает эту искорку. При случайных разговорах в кабинете, при встречах на собраниях всегда кажется, что Павел Сергеевич смотрит на нее не так, как на всех, по-особенному... Нелепая фантазия. Кому не лестно вообразить, что такой человек, как Мансуров, отличает тебя от других. А в том, что он человек необычный, на голову выше всех, Катя не сомневалась. Тем больше перед ним робости.

Павел веровал, что только беспокойные люди двигают жизнью.

Тот первобытный человек, который привязал к длинной палке острый камень, наверняка имел тревожную, ищущую душу. Его угнетала слабость своих рук, он хотел быть сильнее других охотников, и это не давало ему покоя, заставило думать и додуматься — он сделал копье! Он быстрее всех на охоте сваливал пещерного медведя, он стал сильным. Беспокойство — признак силы!

Тревожные натуры изобрели машины, опутали материки железными дорогами, заставили по морям плавать корабли-города, а по воздуху — летать корабли-птицы. Люди спокойные, уравновешенные лишь подчинялись неистовой силе беспокойных. Они, обливаясь потом, по указанию выцпавляли из руды металл, по указанию вытачивали детали машин, по указанию укладывали шпалы, рыли туннели, вбивали сваи, перекрывали реки плотинами... Сила спокойных натур целиком принадлежала беспокойным, была в их власти...

Так думал Павел Мансуров.

Всю жизнь ему не давало покоя одно смутное беспокойство. Это беспокойство можно выразить двумя словами: «Не то!»

Он вырос в глухой уральской деревне. Учителя в школе, книги из сельской библиотеки, изредка наезжавшие кинопередвижки с забытыми ныне картинами «Абрек Заур» и «Красные дьяволята» открыли перед Павлом заманчивый мир. Вместе с этим открытием пришло желание вырваться из деревни. Кругом него все *не то*; настоящее, красивое, загадочное *то* — в будущем.

После школы он работал делопроизводителем в контроле леспромхозовского орсa, томился и тревожился — *не то*, не настоящее.

Уехал в город, перепробовал специальности слесаря, монтера, был даже с неделю администратором кинотеатра, но все это — *не то*, рвался к другому, пока неясному.

Удалось поступить в институт. Лекции, зачетные сессии, поездки на практику в Красноярский край... *То* или *не то*? Нашел бы он свое место в жизни или нет? Неизвестно. Началась война...

Фронт и покой несовместимы. Нечего бояться, что жизнь застоится, начнет надоедать однообразие. Что ни день, то новое, пока жив — оглянуться некогда. Даже смерть там приходила на ходу, ее не ждали, ее не готовились встретить. Два дня на передовой Павел был командиром взвода. На третий убили лейтенанта Яценко. Павел принял командование ротой, а через четыре месяца стал командиром батальона, через год был взят в штаб полка... Но вот демобилизация, от армии остались только погоны майора, спрятанные за ненадобностью на дно чемодана, да офицерский китель со щегольскими бриджами, которые приходилось донашивать в будни. И снова тревожное беспокойство: куда идти, к чему приложить руки? Опять *не то*.

Теперь — хватит гоняться за загадочной синей птицей: руководи, действуй, покажи свои силы, есть где развернуться. Не подопечный Комелева или Баева, сам себе хозяин и другим голова.

После областного совещания Павел сначала почувствовал себя растерянным. Дал слово обеспечить полтыщи голов племенного скота. Одуматься — не маленькая ответственность, не лучше ли вовремя спохватиться, пойти к секретарю обкома, признаться начистоту — пасую!

Этого хочет Федосий Мургин, хотя многие председатели. Даже Игнат Гмызин (уж как ждал в свой колхоз племенной скот) и тот настороженно отмалчивается, по всему видно — ошарашен словом Павла.

Но беспокойство тогда становится силой, когда оно смело. Если бы тот первобытный человек был трусом, он не изобрел бы копьё. Трусу и копьё не в помощь. Беспокойство без смелости становится беспомощной суетливостью.

Федосий Мургин давным-давно утратил способность беспокоиться, и винить его за это нельзя: ему за шестой десяток, в такие годы тревоги и беспокойства — тяжкое бремя.

Игнат — мужик умный, сильный и в решительности ему не откажешь, но, как матерый медведь, он тяжел на раскачку. Порой, прежде чем ногу поднять, постоит, подумает, куда поставить.

Так кого слушать: Федосия, Игната? Или самого себя?

Риск есть, но когда большое дело удавалось без риска? А здесь дело великое! Пятьсот голов племенного скота, разбросанных по колхозам района, через год дадут потомство. Увеличится животноводство, окрепнут колхозы. Это ли не показательно! Заговорят в области, зашумят газеты,

до самой Москвы дойдет слава о Коршуновском районе. Стоит идти на риск.

Нет, он, Павел Мансуров, дал слово и не пойдет на попятную. Он будет бороться: «Или грудь в крестах, или голова в кустах».

То ли виновато его неумное беспокойство, то ли еще какая причина, но Павел чувствовал — ему день ото дня труднее становится жить с женой.

С Анной он познакомился, когда служил последние дни в армии. Полк стоял в маленьком городке Владимирской области. Многие офицеры, кто с нетерпением, кто скрывая растерянность перед будущим, ждали со дня на день отчисления в запас, занятия проводили лениво, скучали. Женатые ходили друг к другу играть в преферанс, «холостяжник» по вечерам, наведя блеск на пуговицы и сапоги, отправлялся в жиденький городской сквер. Его посещали студентки лесотехникума и учительницы двух имеющихся в городе десятилеток.

В этом скверике и встретились они. Чистенькая, сдержанная, любящая стихи, сухие воздушные волосы лежат на белом строгом воротничке глухого темного платья, с нежным и прозрачным лицом, Анна показалась Павлу, только что вырвавшемуся из окопной грязи, фронтовых землянок, олицетворением семейного уюта. Опрятность, подчеркнутая безупречность девичьих воротничков сразу вызвала в воображении гардины на окнах, коврики у постели, ряды книг на полках, настольный покойный свет — все, о чем стосковалась душа в фронтовой бивачной жизни.

Все это было. Было даже и большее, чем семейный уют. После командировок, где приходилось расстраиваться из-за каких-то телег, задерживающих вывозку семенного материала, после совещаний, где приходилось слышать обидные упреки, что пропагандист Коробков плохо провел семинары агитаторов, Павел знал, что дома его ждет предупредительная жена, что она сможет посочувствовать не просто для виду, а умно, от души, что у нее наверняка подготовлена интересная книга, которая заставит забыть и телеги без колес, и пропагандиста Коробкова.

Все это было хорошо, пока деятельность не захватывала всей его жизни. В своей аккуратной, чистой, со вкусом, насколько можно это в Коршунове, обставленной квартирке Анна всегда умела спрятать Павла от неприятностей.

Но вот вся жизнь его изменилась, а Анна осталась прежней. Как и раньше, он первое время ей жаловался:

— Черт его знает что такое! Проехал от Сорокина до Верхних Дворков — ни одного хорошего моста. Уборочная на посу, по этим мостам комбайны пропускать. Сутолоков, пока в шею не толкнешь, не пошевелится.

Анна отвечала ему, как отвечала в те дни, когда он жаловался на разбитые телеги:

— Стоит ли портить кровь?

Прежде она была права: неудачи обрушивались на его голову неожиданно, вина в том, что телеги не подготовлены, была не его, а отвечать приходилось ему. Теперь он всюду хозяин, даже мосты, даже телеги касаются его. Стоит волноваться, стоит портить себе кровь! А она этого не понимала, не хотела понять, успокаивала по-прежнему. Павел вдруг увидел, что они жили и живут разной жизнью. Ей не интересно, как он работает, ему не приходило и голову поинтересоваться, что делает Анна и школе. Жалобы ее, вроде тех: «Никита Петрович, завуч наш, составил нелепое расписание. У меня четыре окна и неделю», или: «Наталья Ивановна требует с учеников в ответах книжной точности, прививает систему зубрежки...» — Павел всегда пропускал мимо ушей.

Их, оказывается, объединяло немного: комната с ковриками, общий стол... Одна крыша — и только.

Встречаются разложившиеся семьи, где муж и жена живут каждый по отдельности; у мужа на стороне свои любовницы, у жены — любовники. Это вызывает у людей чувство брезгливости. Но бывает иначе: муж и жена внешне живут порядочной жизнью, но взгляды у них разные, интересы разные, друг друга не понимают, чужды, а и то же время нужно встречаться день изю дня за столом, исполнять супружеские обязанности, дни, месяцы, долгие годы быть привязанными один к другому. И это никого не удивляет, не возмущает, это считают нормальным.

Павел неожиданно стал замечать, как постарела Анна, что лицо ее, прежде нежное, прозрачное, потускнело, что локти ее рук слишком остры, что веки безнадежно смяты морщинками...

Особенно ярко все это бросилось в глаза, когда Анна надела то платье, и котором он недавно видел Катю Зеленцову. Ну, какое между ними может быть сравнение!

В прошлое лето в Демьяновском лесу, что подпирает поскотину «Сахалин», в самом глухом месте, сметали стожок сена. Зимой его вывезти не смогли: велик был снег, срывавшаяся с пробитой дороги лошадь тонула в сугробах по уши... Никто не пытался вывезти сено и весной, в распутицу. Теперь в лесу повыветрило, Игнат Егорович вспомнил о демьяновском стожке — не пропадать же добру, наказал Саше: вывези.

Саша хотел захватить с собой Лешку Ляпунова. Парень — крикун, а на работу зол, с ним не застрянешь. Но Лешка перешел в плотницкую бригаду Фунтикова, заворачивал бревна на сруб, лаялся при этом со всеми.

Евламий Ногин, бригадир первой полеводческой, пощипывая густую бородку, долго соображал, кого бы выделить, и вдруг ухмыльнулся:

— Ладно, парень, найду тебе горяченького напарника, с таким не замерзнешь... Когда отправляешься-то? После обеда... На конюшне ждать будет. Мое слово верно, не обману.

Саша не обратил внимания на ухмылку, вспомнил о ней, когда пришел к конюшне и увидел этого напарника.

Лошади были выведены, запряжены, в телегах лежат сляги, деревянные вилы, веревки — все как нужно, ничего не забыто, даже узелок с едой — платочек с игривыми цветочками — брошен на грядку. Рядом с лошадьми стояла Настя, в старых сапогах, в длинном, не по росту, мужском пиджаке, туго стянутом потрескавшимся ремнем. Она с веселым вызовом взглянула на Сашу.

— Тронемся помаленьку, Степаныч?

— Ты едешь?

— Иль и тут не по нраву?

— Я бороду просил: парня дай.

— То и беда, что по нынешнему времени в парнях не достача.

— А, черт! Разговаривать! Иди домой лучше... Один поеду.

— Кто тебе, родненький, сразу двух лошадей доверит? У Островского оврага головы им свернешь один-то.

Саша понял, что хочешь не хочешь, а Настю взять придется. Бежать сейчас к бригадиру, заявить, а он, пря-

ча в бороду знакомую ухмылочку, начнет возражать: «Чем же плоха? Работяща, хоть с лошадьми, хоть с вилами парня за пояс заткнет». Только для пересмешек и разговоров лишний повод.

Лесные дороги разнообразны. Есть проселки с пылью в жару, с лужами после дождей, с грязными глубокими колеями, с колдобинами, с ухабами. Это дороги бойкие, они бегут от деревни к деревне, по ним ездят на дню несколько раз, случается видеть на них даже следы автомобильных скатов.

Есть дороги к вырубкам и покотинам: колесные колеи отчетливы, они не заросли травой, а трава между ними притоптана копытами лошадей и скота... По таким не каждый день проходит колесо, но на неделе обязательно раз или два кто-нибудь проедет.

Есть дороги, ведущие к лугам: колеи еле заметны, поросли мягкой, нежной травкой. Их тревожат только во время сенокосов.

Но и еще есть дороги... Как иногда в чистом небе бывает трудно различить, расплывшееся ли это облачко или просто марево, так не поймешь, дорога ли тут или же редкий лес. Колей нет, бархатная, чистая, необмятая травка; часто там, где по расчету должна проходить самая середина дороги, безмятежно растут юные елочки... Раза три в год, пригнув их верхушки, проскрипит по какой-то лесной оказии телега или же, приминая снег, протянутся сани. В остальное время все живое здесь радуется солнцу и дождям в полном покое.

У такой дороги известно начало, но никто не знает конца. Незаметно для человеческого глаза она превращается в обычный лес.

С такой дороги легко «сорваться», потерять ее, заблудиться вместе с лошастью.

Порой эта дорога удивляет каким-нибудь лесным сюрпризом: рухнула древняя сосна, да еще в самую чащу, ни объехать ее, ни перескочить, и в сторону не отбросишь -- тяжела, кончившая свой век, матушка, хоть поворачивай обратно. Есть и заведомо опасные места...

На одной из этих безыменных, неезженных дорог Демьяновского леса таким опасным местом был Островский овраг. Ничего дикого, необычного в нем не было, овраг как овраг, без обрывов, весь зарос кустарником, но попробуй-ка в этом кустарнике продраться с возом...

Порожняком проехали его легко. Настя, на удивление, всю дорогу была молчалива, шагала возле задней подводы, только изредка окликала Сашу:

— Правей держись! Собьемся — не вылезем!

Будь она, по своему обыкновению, назойливой и веселой, Саша легче бы переносил ее общество.

На полянке — с одной стороны угрюмый частый ельник, с другой прозрачный, ясный осинничек — стоит стожок, потемневший, скособочившийся, похожий на старушку горемыку, греющуюся на солнышке. Единственный во всем лесу стог — все остальные давно вывезены.

Лошади сами вплотную подошли к нему, с ходу зарылись в сено мордами.

— Не терпится! — прикрикнул Саша. Задирая лошадям головы, освободил от удил, сам надергал из глубины несопременное сено, бросил лошадям под ноги.

— Глянь-ко, сова! — негромко воскликнула Настя.

На верхушке стога, у самого шеста, притаилась бурорыжая птица, тревожно пучит слепые глаза, сердито растопорщила перья. Саша, схватив с телеги деревянные вилы, потянулся к ней. Сова сорвалась, раскинув широкие, короткие, с грязно-желтой изнанкой крылья, полетела бесшумно через полянку, ткнулась в чащу ельника. Было слышно, как она забилась в нем.

— Ведьмачиха лесная! Спугнул, видно, кто-то ее, — оживленно заговорила Настя, пытливо и вопросительно заглядывая Саше в глаза, ожидая ответа.

Но Саша отвернулся, полез наверх раскрывать стог. И Настя снова притихла. Пока навивались воза, она не произнесла ни слова.

...С возами сквозь кусты пробираться было труднее. Время от времени то один воз, то другой угрожающе крепился, вот-вот опрокинется. Саша и Настя, придерживая их плечами, кричали на лошадей. Несколько раз руки их сталкивались, Саша поспешно отдергивал свою, отворачивался от Насти...

Перед спуском в Островский овраг остановились. Из сухого валежника Саша выбрал толстый кол, просунул в задние колеса меж спиц — для тормоза, взял лошадей за поводья.

— Давай помаленьку, — приказал Насте. — Иди следом, поглядывай. Кричи в случае чего.

Неустойчивый, колеблющийся воз с медлительной нерешительностью пополз вниз меж кустов.

— Тихо, тихо, милая... Тяни помаленьку, не рви,— уговаривал Саша лошадь.

На самой середине спуска воз остановился. Саша сердито хлестнул лошадь, она дернулась, забилась, ломая копытами ветви кустов, и затихла, поводя боками.

— Тут под кустом яма выпрела — колесо провалилось. Что и делать, ума не приложу,— сообщила из-за воза Настя.

Саша оставил лошадь, обошел вокруг накренившегося воза, хмуро приказал:

— Я сдам назад, ты слегу выдерни. Без тормоза спустимся.

— Спуск-то крутенок. Лошадь можем покалечить.

— Не сваливать же нам воз...

Напирая на морду лошади, Саша звонко, на весь лес, закричал:

— Н-но! Сдай! Сдай!

Хомут съехал на уши лошади. Несколько раз Саша чувствовал, что кованое копыто едва-едва не задевает его колена,— припечатает так с размаху, и останешься калекой.

— Сдай! Н-но, милая!.. Да скоро ты там?!

Настя суетилась у задних колес.

Вдруг воз дрогнул, что-то смачно хряснуло, Саша едва успел отскочить, его задело концом оглобли в плечо, отбросило в сторону. Храп лошади, треск кустов, плачущий крик Насти... Лежащий на земле Саша увидел, как падающий высокий воз заслонил полнеба и обрушился, вдавил его в кусты, вплотную к влажной земле, своей мягкой, удушливой тяжестью.

Все стихло.

Саша, обдирая о кусты пиджак, вылез из-под воза. Над ним нависло бледное, без кровинки, со вздрагивающими губами лицо Насти.

— Слава богу, жив. Думала, насмерть придавило... Говорила же...— Она, как ребенок после сильного плача, глубоко, прерывисто вздохнула, бережно помогла подняться.— Зашибся, поди?

В глазах ее еще не исчез недавний испуг, но уже мягкая, нежная, какая-то родственная радость вместе с выступившей влагой заблестела под короткими желтыми ресницами.

— Цел, — смущенно и неуверенно ответил Саша.

Лошадь задыхалась в вывернутом хомуте. Ее распрягли, подняли на ноги, ощупали со всех сторон. Лошадь была невредима, зато от заднего колеса телеги осталась одна втулка с торчащими спицами. Веревка, стягивавшая воз, лопнула, сено развалилось по кустам.

Покалеченную телегу лошадь вытянула наверх. Второй воз — с сердитыми понуканиями, с лошадиным придуренным храпением — осторожно спустили вниз и так же осторожно, тормозя колеса колом, с передышками, вытянули из оврага, поставили рядом с разбитой телегой.

— Ты таскай наверх сено, я пойду березку подсматрю, слегу вырублю, вместо колеса пристроим, — сказал Саша, выпрастывая из-под веревки топор.

От земли вместе с прохладной сыростью к сдержанно шумящим верхушкам поднимались синие сумерки. С каждой минутой лес становился мрачней, суровей, неуютней. Стук топора о дерево звучал в тишине вызывающе громко.

Со стволом молодой березки на плече Саша вернулся к возам. Сено из оврага было сложено кучей возле порожней телеги.

— Настя! — окликнул Саша.

В ответ из сена слышались сдавленные рыдания.

— Настя, что с тобой?

Из кучи сена торчали старенькие, со сбитыми набок каблуками сапоги Насти.

— Вот еще... Да что случилось? С чего ты?

Настя села — к платку, к выбившимся волосам пристало сено, лицо, осунувшееся, усталое, весь вид ее, в мятом пиджаке, в грубых сапогах, какой-то обездоленный, горестный.

— Делай все, да едем, — произнесла она тихо.

— Обидел тебя чем?

— Коль сам знаешь, что обидел, нечего и распытывать. Она снова закрыла лицо руками.

— Настя...

— Что — Настя? — резко откинула она руки. — На вот, радуйся! Слезы лью! Лестно небось... Сама любого парня присушить могу, ты меня присушил... Чем только? Мало ли кругом меня увивалось...

— Настя, пойми...

Саша осторожно дотронулся до ее руки. Рука Насти, худенькая, с нежной кожей на тыльной стороне, была груба и шершава на ладони. Она схватила Сашину руку, притянула его к себе.

— По ночам свился. Покою нет... Ты уж думаешь, что бесстыдная я, бессовестная... Пристаю... А что сделаю, коль тянет? Ни к кому так не тянуло. Упал нынче под воз — сердце остановилось. Подмяла бы тебя лошадь, рядом бы легла, кажись, умирать... Заплачешь тут, коль видишь — ты в тягость, ни взгляда ласкового, ни слова человеческого...

Саша чувствовал теплоту и крепкий запах сена от Настиной одежды. К его щеке прижалась мокрая горячая щека.

— Настя, сумасшедшая!..

— Верно, сумасшедшая... Ум помутился, не могу без тебя. Хоть на время, да мой... Ледышка ты, людской радости в тебе ни на капельку...

Она прижималась, горячие губы искали его губы, сухой туман окутал мозг, цветные пятна, как оранжевые совы, поплыли в глазах... Словно издалека слышался шепот:

— Иной раз думаю: рвал бы, кости ломал, не от боли, от счастья плакала бы...

Настя замолчала, только вздрагивающие губы обжигали лицо, без слов просили, умоляли...

Распряг лошадей, не стреножив, пустил по деревне, неразвитые возы оставил у конюшни, сам, как вор, крадучись, направился к дому Игната Егоровича...

Избы сердито уставились ночными, черными, влажно поблескивающими окнами. Казалось, не спит народ, из каждого окна глядят любопытные.

Случилось позорное. Какими глазами взглянуть теперь на Катю? Какой ценой искупить вину? Не говорить, затаить, спрятать позор? Разговоры пойдут, не спрячешься... Да что там разговоры, от своей совести нет прощения!

На следующий день он столкнулся с Настей у конторы. В белой пышной кофточке, в тесно обтягивающей узкие бедра черной юбке, Настя брезгливо, как чистоплотная домашняя кошечка, перебирала модными туфельками по грязному правленческому двору.

Старик пастух из деревни Большой Лес, дед Незадача, как всегда навеселе, увидев Настю, с пьяненьким изумлением развел руками:

— Буточник мой сладенький! Пра слово, буточник...

Настя проплыла мимо восхищенного старика, бросила Саше улыбку, горделивую, победную, ласковую...

А Саша вздрогнул от стыда, горя и ненависти к ней.

Станция Великая — бревенчатый вокзальчик с дощатой платформой — наверняка со времени своего основания не видала такого нашествия.

Вдоль дороги борт к борту стоят грузовые машины: истрепанные по дорогам полуторки, озанистые трехтонки, даже пятитонный дизель с высоко поднятым кузовом — предмет вечной зависти каждого колхозного председателя. У грузовиков к бортам из толстых вершковых досок приделаны клетки... Тут же — густо пропыленные от скатов до брезентовых тентов легковые «газики», та же пыль придает нарядным «победам» утомленный вид. Лошади, запряженные в легкие ходки, плетушки, старомодные, начавшие, быть может, свой век до коллективизации, тарантасы. Лошади просто оседланные. К ним уже из леспромхозовского поселка набежали на даровое сено козы. Повозочные хлещут их кнутами, гонят прочь. Из того же поселка появилась партия мальчишек, жадных до развлечений и пронырливых не менее коз.

Колхозные председатели стоят озабоченными кучками. Те из них, кто повидней, чей колхоз пользуется уважением, — в сторонке, на особи: рослый, с опущенными плечами Игнат Гмызин; с багровой шеей, наплывшей на ворот рубахи, Федосий Мургин; костистый, хищно вскинувший голову Максим Пятерский; молодой, в галифе, в рубахе на выпуск — ни дать ни взять красавец со старинной картинки — Костя Зайцев...

Из-под всех стационарных кустов торчат головы, и в фуражках и простоволосые, рядом с ними — сапоги, а то и просто босые ноги — перематывал хозяин портянки да решил понежить на ветерке пятки.

Две большие группы женщин. Одни сидят на солнце-пеке, распаренные, поскидавшие с голов на плечи платки,

едва-едва перекидываются словом, другим. Вторая группа тоже на солнцепеке, но эти стоят и так громко и бойко разговаривают, что со стороны кажется — всем десятком враз торгуются о чем-то.

Молодежь из колхозов, девчата и парни, похохатывает в тени вокзала. Среди них Катя Зеленцова.

Под развесистой березой — стол. Около стола — в белых халатах зоотехник Дядькин и главный ветеринарный врач района Пермяков. Дядькина каждая хозяйка знает в Коршунове — он мастерски удаляет перерастающие зубы поросятам. Пермяков, рыжеватый, веснушчатый, нетерпелив — все время ищет в своих карманах что-то, цедит сквозь зубы:

— Экие увальни. В тартарары провалился их эшелон, что ли?

Дядькин сидит на стуле, косо стоящем на земле, спокоен, сосредоточенно, со вкусом курит, пропуская каждую затяжку сквозь заросшие волосом широкие ноздри.

Из станционных дверей вышло, сопровождая начальника в красной фуражке, районное руководство: Мансуров, Сутолоков, Зыбина...

Начальник станции, повертев торопливо своей красной фуражкой, оторвался и рысцой бросился куда-то к складам. Со всех сторон вслед ему полетели вопросы:

— Эй, хозяин! Долго нам сторожить твой порог?

— В болоте увяз их самовар.

— Свистни только — конями вытащим.

— Верно, быки сами паровоз тянут.

Начальник не отвечал, только передергивал плечами. По потному лицу видно: районное руководство довело, сердит.

— Идет, идет, ребята! — громко сказал Павел Мансуров, проходя к председателям. — Через пять минут покажется. Готовьтесь принимать.

Все зашевелились, из-под кустов стали подниматься люди. Те, что, прохлаждаясь, лежали босиком, торопливо начали обуваться.

Ни одну знаменитость не встречали так многолюдно на Великой, как встречали сегодня первую партию племенного скота.

Эшелон обещали рано утром, да вот где-то застрял... Прошли уже три товарных и один пассажирский поезд.

Из последнего выскакивали люди, подбегали к ожидающим колхозникам, спрашивали:

— Молочком не торгуете?

Им отвечали:

— Обождите, вот приедет — надоим.

Провожали густым смехом.

Наконец-то...

Вслед за отдувающимся паровозом потянулись длинные пульмановские вагоны. От головы к хвосту по телу эшелона прошла крупная дрожь, залязгали буфера. Эшелон остановился. Из приотодвинутых дверей каждого вагона выглядывали люди — больше женщины.

Неизвестно откуда, похоже вынырнул из-под колес, появился юркий чернявый человечек в картузе небеленого полотна и в такой же гимнастерке, изрядно затертой в дороге. Он перебросился несколькими словами с Мансуровым и Сутолоковым, затем, прижимая под мышкой полевую сумку, дрыгающей походочкой пошел к столу под березой.

Колхозники, председатели толпились у вагонов, заглядывали в пахнущую навозом, сеном, молоком темноту дверей, заводили разговоры с сопровождающими.

— Издалеча к нам?

— Из Коми...

— Вот те раз, с севера коров везут.

— Что ж, коль вы своими обеднели.

— Там колхозы так скотом богаты, что ли?

— Нет, тут все из совхозов да пригородных хозяйств.

— Жаль расставаться, поди?

— Чего там жаль... Нам кормить не легко, всё больше на привозном, у вас здесь сено свое...

— Свое-то свое, да не густо его. Чай, привередлива ваша скотинка, абы чего не жрет?

— Что там привередлива... Рацион обычный.

— Наш рацион: летом по травке моцион, а зимой соломка под нос, добро бы овсяной, а то и ржаная идет.

— Для таких заставят завести рационы — не простая порода.

— То-то и оно...

Открыли первый вагон, установили настил. Коровы, измученные долгим переездом в качающихся вагонах, ошеломленные ярким солнцем, многолюдием, покорно выходили на свет, сразу же останавливались, пьяно поша-

тываясь. В их больших, тоскливых и покорных глазах лихорадочными тенями отражалась обступившая беспокойная толпа людей.

Игнат Гмызин пробил плечом тесную стену народа, встал впереди, широко расставив ноги, засунув руки в карманы. Лицо его было насупленным и холодным, маленькие глаза сузились, взгляд их стал острым, щупающим.

— Так, так, — бормотал он, — широкая кость, много мяса нарастет... Похудали в дороге...

Его толкали в бока женщины, громко переговаривались, оценивали коров уже по-своему.

— Матушки мои, родимушки! Вот это вымечко! Что твоя торба.

— Пустое теперь, а как нальется... Ведро, коль не больше.

— Вы на животы гляньте — на последях словно бы...

— В этакне пучины сколь корма войдет. Съедят они пас живьем, голубчики!

— Тебя съешь — подавишься.

— У-у, ирод! Нашел время зубы скалить.

На лицах женщин, потных, серьезных и в то же время возбужденных, чувствовалась растерянность и потаенный страх. Какая крестьянская душа, тем более бабья, останется спокойной при виде коров? Еще каких коров — широкие спины чуть-чуть прогнуты, бока раздуты вширь, меж угловатыми крестцами и животом у каждой впалое место — дорога еще сказывалась. У всех вымя висит мягкими тяжелыми складками — недавно доены. Да кто понимает не разумом — душой, в кровь от прабабок и прадедов ввевшейся любовью к скотине, сразу увидит: это — богатство! Но оно-то и пугает... Местную пеструху можно выгнать с утра па выпас, вспомнить к вечеру и подоить. Сама себе найдет, чем набить брюхо. Этаких ли барынь держать на пеструхиных харчах?..

— К ветеринарам ведите! Чего задерживаете? Еще пасмотритесь, — раздались голоса.

— И то... За простой вагонов, верно, платить придется...

Люди зашевелились, большинство бросилось к вагопам, часть пошла отводить в сторону коров.

Через два часа у тихой станции Великой шевелилось, мычало тесное стадо — вскидывались рогатые головы; уже деловито, по-хозяйски раздавались женские голоса:

— Марья! Марья! Эту сивую заверни! Ишь домой захотелось...

— Далекое дом, голубушка, далеко! Иди-ко, иди!

Разгружали последние вагоны.

В маленьком станционном буфете были выпиты все запасы воды, на полках остались только коробки дорогих папирос — «Северная Пальмира», «Герцеговина флор» — да шоколадные плитки.

К неудовольствию начальника станции, неподалеку от приземистой водокачки был разложен костер, варилось артельное ведро картошки.

С восторженным визгом носились ребятишки, козы ныряли в гущу коровьего стада...

Мычание коров, гул людских голосов, путающийся в ветвях пристанционных деревьев дым костра, легкий запах гари, резкий — навоза и пота животных... Казалось, на станции Великой задержалось великое становище кочевников, здесь оно собирает свою силу, чтобы двинуться дальше.

Павел Мансуров не мог усидеть на месте. От ветеринаров бежал к вагонам, сам хватал коров за рога, осторожно сводил по шатким доскам, от вагонов срывался и бежал искать Игната, весело спрашивал:

Ну, как? Прицелился?.. Присматривайся, присматривайся, лучших коров тебе...

Но Игнат Гмызин не мог оторваться от огромного белого быка, похлопывал его по бокам, оглаживал, ногтем отколупывал грязь и навоз, приставший к шерсти. У быка, где вагонная грязь и железнодорожная сажа не тронули тело, под белой шерстью просвечивала розовая кожа, на шее, груди, коротких ногах перекачивались толстые каменные мышцы. Этот бык должен был попасть в колхоз «Труженик», и с Игнатом в эти минуты разговаривать не стоило, он отвечал лишь «да» или «нет». Бык, выворачивая кровавый белок, косил глазом на будущего хозяина, зло рыл копытом землю, гнул неподатливую толстую шею, собирал кожу в мелкие складки. В его розовом, нежнее детской кожицы, носу висело массивное железное кольцо; от кольца, обвивая ствол дерева, тянулась цепь.

Картошку на костре варила молодежь. Верховодила Катя Зеленцова. Мутный кипяток слили, ведро было опрокинуто на траву, картошка рассыпалась дымящейся

кучей. Девчата расстелили два платка, разложили крупно нарезанные ломти хлеба, соль на бумажке.

С пыхтением прошагал мимо Федосий Мургин, пажима тугой шеей на воротник, оглянулся, позавидовал:

— Одначе неплохо...

— Верно, неплохо... Примите в компанию! — Павел Мансуров быстрым шагом подошел, скинул пиджак, запачканный в вагонах известью или мучной пылью, отбросил в сторону.

Фаня Горохова, доярка из колхоза «Первое мая», безбровая, солидная, щеки вздрагивают от каждого движения, подобрала юбку, освободила рядом с собой место:

— Милости просим, не побрезгуйте...

И величаво, с достоинством, как хорошая хозяйка на именинах, поджала губы.

Катя вдруг поймала себя на том, что позавидовала Фане.

Павел Сергеевич перебрасывал с ладони на ладонь горячую картошку, смеялся глазами, рот напряженно приоткрыт, дышит часто, видны ровные блестящие зубы. «Боже мой, на мальчишку похож!» Он, видно, почувствовал на себе взгляд Кати, поднял голову, и по его смуглым скулам разлился неяркий кирпичный румянец. Катя поспешно отвернулась.

В это время со стороны раздался женский пронзительный крик:

— Бабоньки! Родимые!

Послышалась крепкая мужская ругань, легкий перезвон, треск, утробное — короткими, частыми выдохами — мычание.

Огромный белый бык, который недавно был крепко привязан цепью к дереву, своротив стол ветеринаров, круто согнув короткую шею, выставив лоб, слепо шел вперед, волоча по траве цепь.

— За цепь его хватай! За цепь!.. Успокойся!

— Серега! Куда прешь?

— Не с того конца, дуrolом! Смерти хочешь?

— Господи! Миленькие! Да сзади, сзади, родные, подходи!

Игнат Гмызин — без фуражки, бритая голова блестит на солнце, — отталкивая в стороны попадавших на его пути людей, бросился сзади к быку, с несвойственной резвостью нагнулся к тянущемуся по траве концу цепи...

Но бык словно почувал, круто повернулся, плечом сбил Игната на землю.

— А-а-а! Милушки! Затопчет!..

Тяжелый, рослый Игнат по-мальчишески весело, с боку на бок, покатился от копыт в сторону. Он, видно, успел схватить цепь, дернуть ее. Бык с силой яростью взревел от боли. Не обращая внимания на Игната, не успевшего вскочить на ноги, он медлительной рысцой, от которой, казалось, вздрагивала земля, ринулся на сбившийся в кучу народ. Сталкиваясь, падая, снова вскакивая, люди кинулись врассыпную перед многопудовой тушей, тараном несущей впереди себя короткую, словно обрубленную голову. Из-под твердых, крутых надлобий бешеной злобой горели налитые кровью глаза.

Платок сорван, волосы растрепаны, в группу девчат и ребят, окруживших потухший костер и разбросанные на земле платки, врезалась женщина.

— Смертынька моя! Спасайте, люди добрые!

Катя видела, как одеревенели крутые скулы на лице Павла Мансурова, он весь вытянулся, словно вырос, на своих чуть выгнутых, туго облитых галифе и мягкими сапогами ногах, упруго шагнул вперед, навстречу крикам и воплям.

Перед мордой быка оказался один человек, зоотехник Дядькин. Широкозадый, неуклюжий, в мятом халатике, он растерянно выплясывал, подаваясь назад, боясь повернуться спиной к быку. В руках у него была какая-то папка, он отмахивался ею, а оборвавший свою рысь и перешедший на скупые шажочки бык напирал головой. Дядькину кричали:

— Не махайся! Зря гневишь!

— В сторону прыгай, в сторону!

— Да беги ты, черт!

— Ой! Пропал человек!

Наконец Дядькин, задев за короткие рога распахнувшимися нолами халата, повернулся и заячьими прыжками бросился прочь. Бык качнулся, от тяжести не сразу набрав быстроту, ринулся следом.

Навалившись животом на стационарную оградку, Дядькин перевалился и упал... Легонькая оградка, сколоченная из тонких планок, разлетелась в щепки, пропустила быка.

— О-ох! — Общий, как один, вздох пронесся по народу.

Дядькин не успел подняться. Сбитый тупой головой, он снова упал на землю и вяло, мешком, перекатился. Бык с разгону уперся в бревенчатую стену станционного здания, очумело, непонимающе стоял секунду, другую, повернулся, по-прежнему взбешенный; по тяжелому кольцу, выпущенному из розовых ноздрей, текла тягучая слюна. Безумные глаза искали новую жертву.

И тут только все заметили, что около быка близко, очень близко стоит один Павел Мансуров. Его заметил и бык, качнулся к нему, громадный, белый, лоспящийся от пота, бока с натугой раздвигаются и опадают — вот-вот ринется, смешает со щепой...

Павел шагнул навстречу. Бык резко вздернул голову, но промахнулся — рога не задели Павла — и вдруг дико взревел... Но в этом хриплом реве слышались боль и жалоба. Павел держал рукой кольцо, вправленное в розовые ноздри.

Покорно вытянув голову, бык двинулся за Мансуровым. Лишь размашисто ходившие бока выдавали с трудом остывающий гнев.

Около разбитой оградки лежал ничком, в халате, задранном на лопатки, Дядькин. Вокруг него на траве белели листы бумаги, разлетевшиеся из папки. Он с трудом поднял голову, с натугой застонал — то ли невнятно выругался, то ли позвал... О нем вспомнили, к нему бросились...

Игнат Гмызин сконфуженно ощупывал синяки на бритом черепе.

Катя как вскочила на ноги, так и не двинулась с места. Она вытягивала шею, старалась разглядеть в обступившей быка толпе Павла Сергеевича.

Скот увозили и угоняли партиями. Станция быстро пустела. Начальник в красной фуражке ходил взад-вперед, грустно глядел на оставленные коровами лепешки, на разбитую оградку. Будь на то его воля — прогнал бы эшелон с таким грузом подальше, к черту на кулички. Да станция крошечная, разъездные пути только напротив вокзала...

У Кати от райкома комсомола была своя лошадь, тихая и покорная кобылка Погожая. Ездить на ней, держать в руках вожжи, покрикивать ласково: «Н-но! Родненькая! Шевелись!..» — доставляло Кате почти детскую радость.

За складами, где шоссе уходит прямо в лес, она вдруг увидела задумчиво стоящего на самой дороге Павла Сергеевича, пиджак накинут на плечи, под мышкой папка Дядькина. Он быстрым, решительным шагом двинулся ей навстречу.

— Екатерина Николаевна, подберите подкидыша.— Он положил на передок пролетки руку, глядя ей в лицо, улыбнулся виновато.— Отправил на своей машине помятого Дядькина в леспромхозовскую амбулаторию. Пока во-зился, все поразъехались...

— Да, да, пожалуйста.— Катя торопливо задвигалась в набитой соломой пролетке, освобождая рядом с собой место.

Дорогой они говорили не о племенном скоте, не о колхозах, вообще ни о чем серьезном. Павел Сергеевич, забрав вожжи в свои руки, выкинув из пролетки одну ногу в хромовом сапоге, рассказывал о том, что встреча с таким взбесившимся быком вторая у него в жизни. В детстве он рубил дрова с отцом. Выскочил такой же бык. Отец бросил топор (чтоб сгоряча не садануть — отвечать придется) и скатился в овраг. Он, Павел, не помня себя, взлетел на дерево, и это дерево, молодую березку, бык стал раскачивать рогами.

— Думал, стряхнет меня или с корнем дерево выворотит. Лес да земля вместе с небом перемешались...

Путь не короток до села Коршунова. Павел Сергеевич успел рассказать о диких зарослях малинника в лесных чащах Северного Урала: «Продираешься, бывало, верхом, а лошадь у нас белая была; приедешь домой — живот и ноги у нее красные, а сапоги от сока промокли». Рассказал о дикой реке Чусовой, о донских степях с прыгающими перекати-поле, где пришлось воевать.

Кате почему-то казалось всегда, что он замкнутый, — нет, оказывается, очень простой, разговорчивый. Как ошибаешься иногда в людях...

Поздно вечером большое здание райкома и райисполкома пустеет. В коридорах, где днем постоянно толчется народ, — тишина. В общем отделе на столах — покрытые чехлами машинки. В кабинетах торчат окурки в пепель-

ницах (все, что осталось от делового дня), безмолвствуют телефоны... Как красят люди помещение! Ушли все, и вот уже из углов неуютно пахнет канцелярией — пыльной, залежавшейся бумагой, химическими чернилами и еще чем-то официальным, нежилым.

Из всего здания только в одном месте теплится жизнь. В маленькой прихожей, перед кабинетом первого секретаря, до самой поздней ночи горит свет. Здесь по вечерам сидит дежурный. Дежурят по очереди все работники райкома и даже просто члены партии, проживающие в райцентре.

Дежурить — дело не мудреное. Возьми с собой книгу, хочешь — сиди читай, хочешь — дремли над ней. Позвонят — расспроси, кто, по какому вопросу, и звони на квартиру к первому секретарю. Впрочем, ночные звонки стали редкостью...

В два часа ночи появляется ночная сторожиха Ксения Ивановна. Пока дежурный собирает свои книги, надевает плащ, она чинно сидит на краешке стула. Дежурный уходит. Ксения Ивановна, расшустив платок, позевывая, щупает рукой замки на шкафах, затем уходит в кабинет первого секретаря — там мягкий диван. Свет в дежурной комнате не тушит — пусть видят его с улицы, дверь в кабинете оставляет открытой — позвонят, слышно.

Кате приходилось дежурить не в первый раз.

Она раскрыла заложенную конфетной оберткой книгу, принялась читать:

Ты услышишь все то, что не слышно врагу.
Под защитным крылом этой ночи вороньей...

Подняла глаза и засмотрелась, как по матовому абажуру настольной лампы ползает серая, клинышком, ночная бабочка.

Что-то непонятное творилось в ее жизни. Более полугода она встречалась с Сашей... Старая сосна за селом, размолвка, примирение, наконец слова: «Хочу, чтоб стала женой...» Этих слов она ждала, давно ждала. Отмахивалась про себя: «Пустое... Встречаемся, и только...» Но какая девушка с первой встречи, если парень понравится, хотя бы мельком не подумает об этом. Подумает, а там уж одно из двух — или разочарование, или ожи-

дание от встречи к встрече, от вечера к вечеру. Это ожидание особое, оно не тягостное, не трудное, с ним легко жить, каждую минуту ждешь какую-то великую новость.

И вот свершилось, слово сказано Сашей, ожидание кончилось. После этого должно случиться что-то огромное, после этого Катина жизнь должна измениться совсем, стать новой... Прошло уже около недели, а все по-старому. Саша не показывается... Но слово-то сказано!

Однако самое страшное и удивительное не то, что исчез неожиданно Саша. Пугает другое... Она сама спокойна. А должна бы волноваться, не находить себе места, негодовать, если позволит гордость, искать его... Что с ним? Как теперь думает? Неужели раскаялся в своих словах?..

Не ищет, не волнуется — спокойна. А обрадуется ли она, если Саша появится и снова будет настаивать на том, что сказал? Даже сейчас при одной мысли об этом чувствует какую-то растерянность.

Что-то непонятное творится в жизни. Лучше не думать...

Ты услышишь все то, что не слышно врагу.
Под защитным крылом этой ночи вороньей...

Серая бабочка ползает по абажуру, как будто внимательно, сантиметр за сантиметром, изучает его.

Тихо... И отчего быть шуму, когда на обоих этажах, в длинных коридорах, многочисленных комнатах — ни души. Тихо, а стоит прислушаться и — на лестнице таинственный скрип, над потолком что-то легонько погромыхивает. Дом-то старый, строен еще купцом Ряповым для себя, для семьи, для конторы и разных служб, после этого десятки раз перестраивался, ремонтировался, но все-таки старый. А в старом доме всегда что-нибудь трещит, осыпается...

Катю не оставляет одно навязчивое ощущение: вот-вот должен кто-то прийти, и потому она не может читать, все прислушивается... И кому приходится, когда идет двенадцатый час ночи? Давно уже кончилось кино, переговариваясь, прощаясь на ходу, прошел мимо народ. Ксении Ивановне еще рано... Нет, надо читать.

Ты услышишь все то, что не слышно врагу...

А все-таки который час? Катя тянется к телефону, но рука ее еще не успела коснуться трубки, как телефон сам, громко, казалось на весь опустевший дом, зазвонил. Катя вздрогнула: «Экий голосистый...»

— Дежурный слушает...

Незнакомый усталый басок:

— Мансуров случайно не засиделся?

— Это кто звонит? Откуда?

— Из леспромхоза... Так нет его?.. Ну что ж, на нет и суда нет.

— Если срочное дело, я могу позвонить к нему на дом. Позвонить? А?..— Катя едва сдерживает нетерпеливость голоса.

Но усталый басок возражает:

— Звонил уже, нет его дома.

Далеко, за тридцать с лишним километров, в конторе леспромхоза кладут трубку. С неохотой кладет трубку и Катя. Связь ее с миром оборвалась. Телефон снова безмолвный, бесстрастный, мертвая вещь на столе.

«Ты услышишь...» Нет, она совсем не может читать, она волнуется, ждет... Почему так взволновал ее телефонный звонок, что ей такое сказали из леспромхоза?.. Ага! Нет Павла Сергеевича дома... Но где же он тогда? Ведь уже полночь. Смешно подумать, чтобы он в такое позднее время мог подняться сюда... «Вот оно что! Ведь это его ты ждешь, прислушиваешься — не его ли шаги раздадутся по лестнице?»

Серой бабочке стало горячо на абажуре, она сорвалась, принялась выплясывать над лампой. Катя склонилась над книгой.

Дорогие мои, я хочу вам помочь!

Я готова.

Я выдержу все.

Прикажете.

Внизу глухо хлопнула дверь. У Кати упало сердце: слышалось или нет? На лестнице раздавались размеренные, неторопливые шаги. Как хорошо все слышно в этом пустом старом доме. Но кто же это идет? Выскочить? Спросить? А вдруг и на самом деле?..

Катя торопливо склонилась над книгой:

Тишина, тишина нарастает вокруг...

Шаги раздались по коридору. Сейчас откроется дверь. Неужели он?..

Дверь открылась. Вошел он.

Катя, сгорбившись над книгой, растерянным, жалобным взглядом встретила Павла Мансурова.

— Дежуришь?.. Никто не звонил?

Голос у него холодновато-сдержанный, вид обычный — верно, просто зашел проверить.

— Звонили... Из леспромхоза... Вас спрашивали...

— Угу.

Павел присел к столу. При свете, упавшем из-под абажура на его лицо, Катя заметила, что под устало опущенными веками глаза у него беспокойные, горячие, он сам это чувствует и прячет их. Она со страхом ждала, когда он поднимет глаза.

— В твои годы, — начал Павел спокойно и негромко, — я от института ездил на практику в тайгу... Красивые места...

«К чему это он?»

— Дикие и красивые... Но все портит одна вещь — мелкая мошка, гнус. Вот и в обычной жизни так. Все вроде бы хорошо, а мелочи, мошки заедают, и становится трудно до нестерпимости...

«К чему это он?..»

— Молчишь?..

Катя молчала — ну, что ей ответить?

— Понятно... Что тебе сказать на это? Ты только начинаешь жить.

Павел Сергеевич говорил, но глаз не поднимал, а только поглядывал осторожно, краешком.

— Не понимаю, — растерянно призналась Катя.

И глаза его взметнулись, горячие, с разлившимися до белков зрачками, его рука властно легла на задрожавшую руку Кати, придавила к столу.

— Я перестал любить свою жену... Мне тяжело. Я в растерянности... Ты теперь понимаешь, для чего я все это говорю?

О-о! Это не Саша... Страшно, жутко сейчас, по самую большую радость на свете ни за что не променяешь на этот страх. Сказать ему что-то надо, возразить, отодвинуться... Да что уж там... Бессильна пошевелиться. Вот она, вся перед тобой. Требуй.

Раньше, если в хозяйстве родится теленок, — в доме радость. Соседи поздравляют: «С прибавком вас...»

В Коршуновском районе — «прибавок». В каждый колхоз прибывает племенной скот. И, казалось бы, надо радоваться — впереди богатство! Но вскоре в разных колхозах, разными людьми была замечена одна, на первый взгляд, пустячная вещь: выпущенные на свежую траву (она уже густо поднялась на выпасах и по просекам) племенные коровы уныло стоят, косят по сторонам голодными глазами, мычат жалобно и ни былинки не берут в рот.

Все они пестовались на стойловом кормлении — завозом сене, проращенном зерне, силосе.

Еще задолго до весны во многих колхозах кончилось сено, последние остатки приели в посевную лошади (не держать же их, работающих на полях, на соломе), до травы изворачивались — подкидывали овсяную солому, крошили и запаривали ржаную. Свели концы с концами, дождались травы. Не впервой.

И вот в эти дни, когда уже в колхозах не особенно беспокоятся о корме для скота, скотницы, приставленные ухаживать за племенными коровами, со слезами начали обивать пороги правленческих контор: «Освободите, ради бога. Из рук даем, отворачиваются... Долго ли до греха...»

Из райкома, из райисполкома звонили по разным областным организациям, запрашивали, где купить сена, хоть в кредит, хоть наличными. Но, верно, с наплывом нового поголовья в область такие запросы летели от многих. В МТС и в райисполком пришли лишь бумаги, где во всех подробностях было описано, как ухаживать за прибывшим скотом, приложены во всей точности разработанные рационы: грубых кормов столько-то, сочных столько-то, столько-то красной моркови для введения витаминов в организм. Районные руководители, читая эти разумные наставления, кисло морщились.

Во всем районе не было ни одного председателя колхоза, который не завидовал бы Игнату Гмызину: «Назаквашивал силосу, теперь знай яму за ямой распечатывает — горюшка мало...» Да и как не завидовать... Если обычная коровенка из «павозного племени» падет, за ту таскают, допрашивают с пристрастием, а эти на особом учете, сдохни хоть одна — не миновать суда.

И не дай бог оказаться в беде первым — весь гнев выльется на голову несчастного.

Председатели колхозов изворачивались как могли, выписывали всё — овес так овес, ячмень так ячмень, даже припрятанные на всякий случай остатки яровой пшеницы отпускались из амбаров для племенных коров.

Но миновать беду трудно. Первое известие пришло из колхоза Федосия Мургина. Скотница Прасковья Кликушина, получив по наряду овес, накормила два дня голодавшую корову Карамель и по глупой доброте своей или по забывчивости напоила. А ночью к спящему Федосию Мургину с грохотом — вот-вот выскочат из рамы стекла — постучали. Карамель умирала от колик. За ветврачом сразу же послали лошадь. Тот приехал рано утром, сказал: «Поздно», составил акт и уехал...

13

Самое страшное — ждать наказания.

За четыре дня перед бюро Федосий Мургин осунулся, лицо пожелтело.

Никакой вины он за собой не чувствовал. Прасковья опростоволосилась. Вот уж воистину куриная голова у бабы — весь век на крестьянской работе, а такой простой вещи не сообразила. Виноват и Куницын, заведующий молочной фермой, — недоглядел; зоотехник Рубашкин не подсказал вовремя...

Он, Федосий Мургин, не собирается отыгрываться на Прасковье или на Куницыне. Подло свалить все огулом на глупую бабу, когда у той куча ребятишек, муж убит на фронте. Но взять да раскрыть грудь — бейте, все приму! — ни к чему это вовсе.

Мансурову же одно интересно — проучить, чтоб другие задумались. А на примере с Прасковьей не проучишь — мелка. Но уж так повелось, что всегда ответчик за беду — председатель колхоза.

Помнится, в колхозе «Большевик» (нынче влился в «Труженик») жулик кладовщик во время сева подсупил вместо отсортированных подопревшие семена. На ста гектарах не взшло. Кто ответил? Председатель Тимофей Ивашко.

А в Чапаевском колхозе погнила тысяча центнеров овощей. Виновники посторонние — начальники орсов, которые заключили договоры. Ни одной машины, черти дубовые, не прислали, а Алексей Семенович Попрыгунцев перед судом отвечал...

Нет, Федосий Савельич, ты конь старый, выезженный, знаешь, с какого конца палка бьет. За твой загривок возьмутся. Одно может помочь тебе — седые волосы, двадцать с лишним безупречных лет па председательском месте!

Федосий плохо спал по ночам, вспоминал в подробностях всю свою жизнь. Шестьдесят пять лет за плечами, много пережито, всякое случилось... Кажется бы, можно набраться ума, всякую беду на версту вперед видеть, но правду говорят: век живи — век учись...

Мургин ворочался грузно с боку на бок, припоминал, как учила его жизнь. Ох, велик путь, нелегка дорожка...

Отец его был столяр и печник — «золотые руки, да непутевая головушка». Мог бы жить неплохо, но пил. Раз в два месяца спускал все, что имел и что не имел, — пропивал в долг будущую работу, — потом ходил, взяв гармонь за одно ухо, кичливо кричал: «А ну, кто против Савелки Мургина!» Пьяным и был убит в троицу на гулянье.

Он оставил после себя избу с разобранной крышей — собирался наново перекрыть, да тес-то пропил — и крошечный клинышек земли за Приваженским лугом.

Не в отца пошел Федосий. Летом пропадал на поле, пахал на чужой лошади. Зимой ходил по селам и деревням, перекладывал печи, случалось, и зарабатывал, но обнов не покупал — каждую копейчку хоропил на лошадь. Хотел стать хозяином. «Ужо пообзаведусь, легче будет...» Это под старость разнесло — поперек себя толще, а раньше был жиловат, сух, как перекрученная корявая сосенка на песчанике, уему в работе не знал. Редкую ночь спал больше четырех часов, даже в праздники не давал себе отдыху.

И стал хозяином.

Выходил поутру во двор: лошадь бьет о переборку копытом — хоть мелковата, стара, живот бочкой, но своя! Корова вздыхает — своя корова! Овцы шуршат в подклети — свои овцы! Хозяин! Обзавелся! Но легче не стало: «Мало! Больше надоть!»

Себя не жалел, не жалел и жену. Она родила двух погодков, Пашку да Степку, а еще троих — мертвыми.

У нее дети, хозяйство, мужу помощница. «Шевелись, Матрена! Не богатые, чтоб полати пролеживать!» И Матрена шевелилась, так и умерла на ходу — поднимала на шесток полутораведерный чугунок с пойлом и упала... На другой женился.

Подросли сыновья, на сыновей навалился Федосий. И уж не одна брюхатка на дворе, а две лошади холками под потолок да к ним еще стригунок, четыре коровы, овец стадо... Но... «Мало! Больше надоть!»

Сперва случилось одно несчастье — сыновья сбежали от отцовской каторги. Ушли зимой в город на сезон рабочими и не вернулись.

Его считали крепким середняком — не терпел чужих рук при дворе, все вывозил на собственном горбу. Каждая стежка на оброти, каждая лоснившаяся шерстинка на лошадиной спине была пршита, выхолена им самим, не придерешься, не эксплуататор.

В деревне его не любили. Он тоже без особого почтения относился к однодеревенцам. На богатых смотрел косо, голь презирал. Помнил одно: «Велика земля, а жить тесно. Чем дальше от других, тем покойней». И нелепым, глупым, страшным показалось ему то, что не кто-нибудь, а его родные сыновья, вернувшись (оба уже отслужили в армии), начали звать мужиков соединиться в одну жизнь, в одну семью, в колхоз!

С давних пор самым большим врагом Федосия был кулак из Шубино-Погоста Лаврушка Жилин. Федосий как-то прицелился купить мельницу — Лаврушка у него перехватил; Федосий приглядывался к лугам по речке Ржавинке — Лаврушка снимал их первым; вздумал было Федосий заняться шорничеством, закупил кож, пригласил из Ново-Раменья старика Данилку Пестуна в помощники, но Лаврушка и тут подставил ногу — свою шорную наладил, сманил и Данилку. Кулаки грыз от злобы Федосий, когда начали гнить кожи. Жидковат он был против Жилина. Друг на друга не смотрели, друг с другом не здоровались, а как подперли колхозы, сошлись они душа в душу. Не таясь, ругал Федосий перед Лаврушкой своих сыновей.

И как бы повернулось тогда дело — неизвестно, если б в одно утро у крыльца Остановского сельсовета не нашли мертвым старшего сына Федосия — Степана. Сзади, в упор, дробью разнесли ему череп.

С топором под полой искал тогда Федосий Лаврушку, но... сбежал, собака.

В тот день Федосий впервые задал себе вопрос: для чего он живет?

Для чего?

Иные любят жизнь просто. Любят росу поутру, тревожные затишья перед грозой, ливень пополам с солнцем, любят цветистую радугу на обмытом небе... Все это они любят бескорыстно, только за то, что красиво, что это жизнь.

Такой жизни Федосий не знал и не хотел знать.

Для него обильная роса на траве — хорошо, значит, будет погожий день, значит, он, Федосий, успеет выкосить свой загон.

Притихло все, жди грозы — плохо, не дай бог, побьет хлеб градом.

Ливень с солнцем — славно! Сохнут хлеба, давно пора обмочить землю.

А радуга — это пустое, она могла быть, могла и не быть. Пусть висит, никому не мешает.

Федосий корыстно любил жизнь, слова: «Мало! Больше надоть!» — не давали ему покоя.

Он жил для хозяйства.

После смерти Степана он задал себе вопрос: для чего ему оно? Чтоб быть сытым? Нет. Миску щей и кусок хлеба он мог иметь и без большого хозяйства, а к разносолам Федосий всегда относился равнодушно.

Для сыновей? Нет. Из-за этого хозяйства и отказались от него сыновья.

Выходит, что ни для чего! Жизнь показалась впереди пустой, ложись и умирай — ничего другого не оставалось.

Но Федосий не умер, жизнь повернулась по-новому...

Он все, что копил десятилетиями, вытягивая жилы из себя и из родных, отдал в колхоз, все — лошадей, коров, овец. Чего уж жалеть, коли жизнь кончена.

Председателем колхоза тогда стал его Пашка. И хоть не хватай его голыми руками — уже партиец, но как был сопливый мальчишка, так и остался. Постоянно бегал к отцу, спрашивал: «А как здесь, батя, поступить? Что ты тут посоветуешь?..» Выручал его Федосий, подсказывал, втихомолку от людей поругивал: «Власть ваша несуразная, молокососов к такому делу допускает...» Сам же работал простым колхозником. После домашней каторги ра-

бота в колхозе показалась забавой. Легко работалось, но работал не от души, а так — просто без работы жить скучно.

Помнит, первый раз на общем собрании вызвали перед всеми к красному столу и вручили премию. Премия пустяковая — ситчик горошком на рубашку. Но Федосий ходил подавленный. Раньше, чем он больше работал, тем чаще слышал: «Мало ему, прорве, подавился бы! Хапуга!» Шипели от зависти. А вот нынче: «Спасибо тебе, Федосий Савельич. Чем богаты, тем и рады — ситчик горошком прими». Эх! Люди!..

Под отцовским доглядом Пашка уже начал разбираться в хозяйстве, но ударило парню в голову ехать учиться. На собрании нежданно-негаданно выбрали председателем его, Федосия. «Человек ты хозяйственный, непорядку не допустишь, помним, какое хозяйство для себя своротил, теперь для народа потрудись...»

Это было двадцать один год тому назад.

Казалось, что его прошлое отпало, как старая короста... Во время войны с одними бабами давал фронту по две тысячи центнеров хлеба, а масла, а мяса сколько!.. Колхоз-то был — две маленькие деревеньки. Подал заявление в партию, приняли без возражений.

Своими деревнями жили семейно, дружно, а на соседей косились — колхозы кругом были незавидные, любили просить займы, за них приходилось доплачивать то поставки, то в фонд обороны... Недолюбливали в колхозе Мургина тракторы и комбайны — за них приходилось платить натуроплату. То ли дело лошади: что ни сделал на них — все в своем кармане.

Век живи — век учись. Плохо, оказывается, работал, непутево. Все хозяйство держал на своих плечах, раз председатель, значит, маточная балка всему колхозу. Был твой колхоз — две деревеньки, триста га пахотной земли, — ворочал, ума хватало. Запрягли в колхозище, земли уж не триста га, за день на пролетке не объедешь, — стал спотыкаться на ровном месте.

Не только своим умом жить, людей заставлять надо думать. Есть один агроном Алешин — золото парень, остальные ждут, что скажет председатель. Оттого и кормов нехватка, оттого и несчастья...

Дай бог эту беду миновать — животноводов на курсы пошлет, трактористов толковых из своих ребят подберет,

заставлять будет: думайте своей головой, не ждите указки. Лишь бы беда с места не столкнула. Столкнет — конец Федосию Мургину, годы не те, чтоб снова подниматься, ложись тогда и помирай. Не столкнет — покажет еще, на что старики способны. Уж покажет!..

14

Две небольшие комнатки. Окна одной выходят прямо на дощатый тротуар, в них время от времени показываются фуражки и картузы коршуновских прохожих. Единственное окно спальни упирается в высокий куст рябины на огороде. От этого в спальне с ее старомодным комодом, флаконами и флакончиками перед зеркалом, с двухспальной кроватью — подушки под кружевной пакидкой — днем всегда уютный полусумрак, даже теперь, когда лист на рябиновом кусту еще не вошел в силу. Вечерами и ночами за стеклом слышен успокаивающий шорох...

В столовой два стола, один под голубым абажуром, обеденный, всегда накрыт свежей скатертью, другой крошечный письменный со стопками книг. На нем проверяла Анна школьные тетради. Павел же любил читать лежа на диване, поставив рядом на стул пепельницу.

Без малого четыре года прожили в этих стенах, среди этих привычных вещей Анна и Павел. Жили скромно, не вызывая ни любопытства, ни попреков соседей. Жили, как живут учителя, районные работники, вся неприхотливая коршуновская интеллигенция.

Все эти годы Анна была довольна жизнью: чистота, уют — дело своих рук в свободное время, — книги по вечерам, никакой особой нужды, что еще нужно? Жаль, конечно, что нет детей, зато можно больше внимания отдать работе, ученикам... Без учеников бы жизнь в четырех стенах опостылела, а с ними и радости, и мучения, и ежедневная усталость, значит, и ежедневный счастливый отдых дома в чистенькой квартире. Трудись, уставай в меру, отдыхай в покое, почувствуй себя полезной — нет, ничего другого не надо, как только прожить так до глубокой старости. В этом, наверное, и есть незамысловатая, но истинная мудрость жизни.

А Павел лишен этой мудрости. Чем удачнее у него судьба, чем больше он добивался в жизни, тем сильнее в

нем чувствовалась какая-то непонятная тревога, неуживчивое беспокойство.

Прежде это беспокойство проходило мимо Анны, мимо стен их дома, — спорил с заглядывавшим в гости Игнатом, временами был угрюм после работы, но едва скидывал пиджак, влезал в старые галифе и тапочки — оттаивал. В нижней рубахе, с размякшим лицом пил не спеша чай под голубым абажуром, потом ложился на диван, шуршал газетами и журналами, порой прислушивался к ветру за окном, к жестоко хлещущему по стеклам дождю, замечал:

— А погодка-то... того и гляди закрутит...

И в этой брошенной мимоходом фразе чувствовалось душевное равновесие, счастливое безразличие. Закрутит ли погода, пет ли, как случится, так и ладно, все равно вокруг него будет тепло, чисто, сухо, все равно на побеленном потолке останется голубой сумрак от абажура, а в тени под столом котенок будет играть бахромой скатерти. Незыблем покой, незыблем дом, незыблема — пусть небольшая, в два человека — семья!

Но вот Павел стал уходить из дому рано, возвращаться поздно, пил чай в чем приходил с работы — в костюме так в костюме, а то и в ватных брюках после командировки, почужому, словно на часок заскочивший гость. Старые домашние галифе валялись без дела в нижнем ящике шкафа, тапочки пылились под диваном. Прежде аккуратный, он теперь часто забывал вытереть сапоги, оставляя следы по лоснящемуся крашеному полу, шагал в спальню. Некогда уже прислушиваться к непогоде, некогда оценить уют...

Анна понимала — работа! Шутка ли, секретарь райкома, весь район теперь на его плечах. Понимала и даже в мыслях не допускала упреков. И все-таки в пренебрежении к дому чувствовалось отдаленное пренебрежение и к ней, Анне. Ведь это она навела лоск на пол, ее заботами всегда тепло и уютно в комнатах, хотелось, чтоб голубой полусумрак, со вкусом уставленный стол так же доставляли удовольствие, так же радовали его, как и ее. В том, что он равнодушно пользуется маленьким счастьем, которое создапо ее силами, была едва приметная отчужденность. Нерушимость семьи чуть-чуть расстроилась, в чем-то начали жить по отдельности.

Пройдет горячка, войдет в норму работа Павла — все уляжется, все станет по-старому. Мало ли в жизни случа-

ется временных неувязок. Анна верила в это и оставалась спокойной.

Однако дни шли, а Павел все больше и больше отходил от дому, вместе с этим незаметно отходил и от Анны. Сначала у него не хватало времени скинуть костюм, натянуть галифе, с порога просил: «Аннушка, я голоден, чего бы перекусить...» Потом эта фраза стала короче: «Аннушка, перекусить...» Наконец, входя, бросал краткое: «Поесть бы!» Рывком вешал шапку на гвоздь, садился за стол. «Поесть бы!» — не жена, не Аннушка, кто бы ни был, хоть по щучьему веленью, лишь бы поесть.

И опять Анна оправдывала: скрутила работа, все забыл, беда, да и только... Вот пройдет время, все уляжется — станет по-прежнему.

Так она обманывала себя, до одного апрельского воскресного дня.

Обычно Павел не пользовался воскресеньями, — то уезжал в колхозы, то, как в будни, отсиживался в райкоме. Но в это апрельское воскресенье он остался дома.

Весна уж взяла свое. Развезло дороги, дощатый тротуар под окном плавал среди зеленой лужи, приветливо грело солнышко. И встал вроде Павел в хорошем настроении: умывался — радостно фыркал, вышел чистить на крыльцо сапоги — насвистывал. Умылся, одел начищенные сапоги, попил чаю, прочитал газету, сел у окна и долго глядел на прохожих. И вдруг Анна со страхом почувствовала, что им не о чем говорить. Она сказала первое, что пришло в голову — надо бы к весне прикупить картошки на семена, неплохо бы для него, Павла, пошить пальто, так как старое уже истаскалось по командировкам, а в кожанке просто неприлично выезжать в область... Павел отвечал односложно, соглашался, глядел в окно, наконец поднялся:

— Пойду подышу свежим воздухом.

Он ушел, и Анна на минуту почувствовала облегчение — не торчит над душой, но тут же спохватилась: что же это, чужие?.. До сих пор надеялась — со временем все обернется по-старому. Но идет день за днем, а они дальше и дальше друг от друга. Время, единственная надежда, единственный спаситель, предавало — не сближало, а отдаляло их.

Должно быть, на самом деле Павлу было нечего делать, иначе он не вернулся бы так рано домой. И уж лучше бы

не возвращался... Он, как прежде, лег на диван, как прежде, подставил поближе стул с пепельницей, взял в руки книгу... Все было, как прежде,— он лежал и читал, Анна за своим столом проверяла тетради, а уют и покоя не было. Павел молча шелестел страницами, на столике перед Анной с суетливой поспешностью будильник вязал бесконечную ниточку, секунда к секунде. Анна вслушивалась в мягкое потикивание, и ей казалось, что будильник, эта немудреная машина, отсчитывая скрытым колесиком время, зубчик за зубчиком, миллиметр за миллиметром, с неумолимой настойчивостью отодвигает от нее Павла. С каждой секундой труднее заговорить по-простому. А надо что-то сделать, как-то объяснить, пока не поздно... Но как?..

Встать сейчас, подойти, присесть рядом и сказать ему, что думает, чем болеет... Сказать? А он не поймет, пожмет плечами — ведь внешне-то ничего не изменилось. Упрекнуть его, что черств, что забывает о ее существовании... Он ответит, что его съедает работа, что несет нелегкий груз, что некогда ему вглядываться в замысловатые перемены женской души.

После этого долгого и тяжелого воскресного дня Павел стал бывать дома только в обед и ночью. А Анна заметила за собой, что она чаще обычного вглядывается в зеркало, страдает от того, что у глаз легли морщинки. Даже до замужества, когда франтоватый майор Мансуров ухаживал за ней, не было у Анны такого ревнивого и страстного желания нравиться ему. Она стала одеваться тщательней, купила новое платье, две новые кофточки, хотя сама прекрасно понимала, что это глупо, бессмысленно, уловки наивной девчонки. Однажды утром, когда надела новое сиреневое платье, заметила еле приметное брезгливое выражение на лице Павла...

Чем помочь, как спасти?! Бессильна!

Нет ничего страшнее на свете, чем молчаливое презрение. Ни грубая ругань, ни прямое издевательство так не оскорбляют человека. Против них хоть можно возмутиться, поднять бунт. А при молчаливом презрении отнято все. Держи при себе обиды, если не хочешь выглядеть вздорной бабой.

Анна терпела.

Совсем недавно, всего несколько дней тому назад, Павел вернулся домой особенно поздно. Открывая ему дверь,

Анна сразу заметила, что он вошел не так решительно, как входил обычно, кепку повесил не рывком, а, пряча лицо, долго пащупывал на стене гвоздь, затем бочком, словно боясь неосторожно задеть Анну, прошел в комнату, произнес:

— Ложись, ложись, чего стоишь?..— И в голосе его Анна уловила какую-то смесь вины, беспокойства и заискивания.

И догадка ожгла ее. Впрочем, она давно ждала этого — раз так идет, то рано ли, поздно ли должно случиться.

— Чего стоишь? Да ложись же...— это Павел уже произнес с досадой.

— Павел...— негромко произнесла Анна,— ты был у другой женщины?

Свет не зажигали — после часа почти Коршуновская электростанция кончала работу,— и Анна в темноте увидела, как вздрогнул Павел.

— Ты что?.. У тебя помешательство?

— Пусть так. Я ошиблась... Извини... Тогда мне хочется поговорить о другом...

— О чем еще?.. Поздно же. Не время.

— Нет, время! Скажи, что случилось? Почему я для тебя стала чужой? Почему я должна ежечасно, ежеминутно чувствовать на себе молчаливое пренебрежение? Какая причина?

— Ты рехнулась, честное слово. Не понимаю, чего хочешь?

— Не лги! Ты прекрасно понимаешь! Прекрасно!

— Да не кричи же...

— Я долго молчала. Не могу больше! Хватит!.. Я имею свое человеческое достоинство. Об этом ты забыл...

— Я не намерен слушать глупости, тем более в такой час,— возвысил голос Павел.

— Нет, ты выслушаешь! Ты ответишь! Хватит играть в молчанку!..— Анна первая перешла на крик.

Оба кричали, бросали друг другу упреки, Анна плакала, ломала руки. Это был первый в их совместной жизни скандал, один из тех бессмысленных скандалов, после которых чувствуешь отвращение к себе.

Павел лег на диван. Утром, хмурый, невыспавшийся, выпил поспешно стакан чаю, страдая не от угрызений совести, а лишь от того, что стакан чаю приготовлен руками Анны — маленькая, но зависимость, одолжение с ее стороны.

Вечерами особенно тяжело. За окном гремят по шоссе запоздалые машины, громко разговаривая, смеясь, проходит молодежь; к соседям, завучу школы Никите Петровичу, пришли гости — чопорная чета учителей Крупяповских, слышно, как на крыльце вытирают ноги, чинно разговаривают.

— Как здоровье Агнии Федоровны?

— Ничего, спасибо... Как Танечка?

— Коклюшем за это время приболела.

Анна же одна в двух комнатах, тихо вокруг, только в спальне слышно, как шуршит за стеклом рябица. Не жди, никто не придет. Даже Игнат не заглядывает последнее время. Это к лучшему... Появится охота пожаловаться, раскрыть беду, а к чему? В таком деле никто не помощник. Незачем и выносить сор из избы. Бывало, забегала Катя. Той теперь не до нее — замуж выходит... Одна... А Павел в райкоме. В райкоме ли? Может, у другой, чужой, ненавистной... Глупости! Стала без меры мнительна. Он сегодня был озабочен, даже утром обронил несколько слов о какой-то подохшей корове. Но разве такие несчастья в диковинку в районе? Одна корова — то-то важность! Почему он сообщил, ведь обычно молчит? Неспроста!.. Помнится, глаза прятал... Где он? Что делает? С ума сойти можно...

Анна решительно встает, одевает шерстяную кофту, накидывает на голову плажок.

Нет, нет, она не собирается высматривать, где Павел. Бегать, подглядывать — до такой низости еще не опустилась и не опустится! Пусть как хочет живет, пусть что хочет делает. Надо просто подышать воздухом, вечер, кажется, теплый...

Но гулять Анна идет не к реке, не в рощицу, а по центральной улице. Проходя мимо райкома партии, она, даже от самой себя скрытно, бросает взгляд на окна второго этажа. Два угловых окна, которые ее больше всего интересуют, светят спокойно, по-деловому, кажется даже озабоченно. Там заседание. Какие только глупости не придут в голову от одиночества.

У Анны становится легче на душе, она, пройдя еще немного, сворачивает к дому...

А дома ее встречает тишина, дома пусто, снова лезут в голову подозрения...

Два часа продолжалось бюро. Два часа распаренный, осунувшийся Федосий Мургин выслушивал упреки, возражал, оправдывался, признавал свою вину. Ничем другим так быстро не купишь прощения, как тем, что вовремя — пусть скрепя сердце — признаешь вину. Голоса становятся сразу тише, упреки снисходительнее, взгляды мягче.

На прощание Мансуров сказал:

— Возраст тебя спас. Твои седины жалею. С кем другим разговор был бы более короткий. Но гляди — случись еще раз такое, не мы с тобой будем разговаривать, а прокурор!

Мургин спустился к своему коню сумрачный: выговор, да еще строгий, шутка ли на старости лет схватить. Но в глубине души чувствовал облегчение: могло быть и хуже, до крайности не дошло, на председательском месте оставили. Об этом даже страшно подумать... Пусть выговор, пусть строгий... Обидно, но теперь-то он возьмет в оборот своих колхозников, к Игнату Гмызину без стеснения на выучку пойдет. Через год, глядишь, и нет выговора — снимут. Кончились страхи, слава богу!..

Правда, и кроме выговора, есть о чем печалиться. За корову-то платить придется, а она, окающая, не простых кровей — четыре тыщи с гаком стоит. Ну, «гак» покроется, прирезать успели... Четыре тыщи! Их бы по закону должна Прасковья заплатить. А что с нее взять? Придется обмозговать с правленцами...

Покряхтывая, Федосий с трудом влез в плегушку, поерзав, устроился на вянущем клевере. («Вот дожили, даже председательскому коню — ни клок сена».) Лошадь с охоткой тронулась к дому.

Выехал за село, пустил пролетку по обочине, чтобы не трясло на булыжнике, задремал. Пролетка нет-нет да крепилась. Сонный Мургин всей своей пухлой тяжестью заваливался на бок, покрикивал сипловато: «Но-но! Слепота», — и снова засыпал.

Своя деревня встретила его веселенькими огнями, пробивающими густую листву кустов и деревьев перед окнами.

«Э-э, — сразу же встрепенулся председатель, — уж за полночь, почему свет горит?»

Погребное и Сутолоково освещались от маленькой ГЭС, построенной на месте бывшей мельницы. Летом, по указу Федосия Савельича, в одиннадцать часов свет выключали, ГЭС запиралась на замок. Зачем попусту заставлять крутиться генератор, кому нужен свет ночью, да и спать народ будет ложиться раньше, — значит, раньше вставать на работу.

«Гришка Цветушкин, поганец, своевольничает, — решил Федосий. — Ребята с девками, видать, пляску устроили, уговорили посветить. Вот я ему посвечу! Уж коль не втерпеж, выплясывайте при керосине...»

В темноте хлопнула калитка, кто-то выскочил, побежал вперед, слышался женский голос, негромкий, со сдержанным испугом:

— Господи! Господи! Твоя воля! За что только такая напасть?

«Ужель опять что случилось?» — похолодел Федосий, подхлестнул лошадь, позвал:

— Авдотья! Ты это?.. Чего причитаешь?..

— Савельич! Солнышко! Ведь наново беда! Наново! Федосий нагнал Авдотью, придержал лошадь.

— Ты не колготись. Толком рассказывай! Где беда? Какая?

— Ох! Горемычные мы! И твою головушку не помилуют...

— Ты, бестолочь, не тяни жилы!

— У сватьи-то Натальи...

— Опять на скотном?

— Ой, там, родимый, опять там...

Федосий не стал больше расспрашивать; как молодой, легко вскочил на ноги, отчего пролетка застонала, заходила ходуном, и изо всей мочи стал нахлестывать лошадь.

На скотном дворе вместо тусклых лампочек были ввернуты большие, стосвечовые. Яркий свет освещал бревенчатые, в старой побелке стены, затоптанный нескобленный пол. Коровы, возбужденные этим непривычным светом, все до единой поднялись, тревожно оглядывались на сгрудившихся людей, негромко мычали. Заведующий молочной фермой Трифон Куницын свирепо и в то же время трусливо ругался, не стесняясь скотниц, вспоминал и бога и мать. Заметив перешагнувшего через порог Федосия Савельича, сразу же, споткнувшись на полуслове, спик — знал, что старик не выносит матерщины.

Перед председателем расступились. Одна из новых коров, по кличке Влата, лежала на свежей, поверх истоптанной подстилки, соломе, как отдыхающая собака, уронив вытянутую вперед голову. Дышала она порывисто, поводя боками, судорожно вздрагивая кожей спины. Крупный глаз, направленный на людей, влажен, ресницы по-человечьи слиплись мокрыми стрелками, мелкая слезинка медленно пробиралась по жесткой короткой шерсти носа.

Все удивились спокойствию голоса Федосия Савельича. Он спросил коротко:

— Овес?

— Не давали овса, Савельич! Пропади он пропадом, овес этот!..— сыпанула плаксиво скотница Наталья, отнимая от глаз захватанный кончик платка.

Куницын перебил ее:

— Хуже. Сеном накормили, тем, что из Люшнева привезли.

— Так, так, не овес...

Федосий Савельич, жмурясь от яркого света,— без того узкие глаза стали как щелки,— по-чужому, бесчувственно разглядывал больную корову. Он не ругался, не прятал свой гнев. И то, что гнева не было, всем стоящим рядом казалось сейчас страшным.

Куницын, снизив голос, пояснял торопливо:

— Из тех стогов, Савельич, что залило... Помнишь, песок в сено нанесла вода. Песок и ил. Поганое сено. На подстилку привезли. А эта есть, видно, его стала.

— Знатьё, да разве ж я бы...— всхлипнула Наталья.

— Молчи! — цыкнул на нее Куницын.

— Так, так, верно... На подстилку оно гоже...— повторил председатель.

— Что?—уже совсем испуганно переспросил Куницын.

Женщины замерли.

Куницын, не дождавшись ответа, снова, захлебываясь от поспешности, заговорил:

— За врачом сразу же послали... Иван на грузовике поехал... Как ты с ним разминулся?..

— Так, так... Не встретился, нет... Разминулись...

Вдруг Федосий Савельич с какой-то беспомощной убедительностью выдавил:

— Зарезали вы меня... без ножа...

Качнувшись, он отошел, опустился на край навозной тачки, подставив под взгляды широкую, пухлую спину,

обтянутую выгоревшим пиджаком. Все увидели, что эта спина вздрагивает, седая, коротко остриженная голова председателя опускается все ниже и ниже.

Скотница Наталья тоненько, боязливо прикрывая рот концом платка, завывала...

Корму нет. Даже трава па этот раз не спасает. До первого сена еще не близко. Болезни среди племенного скота становятся изо дня в день обычным явлением. Падеж в колхозе Мургина, случай падежа в колхозе «Искра»... Появились недовольные, многие сомневаются: а правильно ли действует он, Павел Мансуров?

То, что он сделал и продолжает делать, нельзя назвать иначе, как атакой. Может, он поспешил, может, слишком горячо рванул, но дело сделано — в атаке на полдороге не останавливаются. К тем, кто хочет залечь на полпути, надо относиться без жалости.

В обкоме пока еще в него верят. Всего несколько дней назад в областной газете упоминалась его фамилия как пример инициативности и решительности. А если случаи падежа будут продолжаться, то в первую очередь обком, затем все, кому не лень, начнут бросать упреки: «Хвастун! Беспочвенный, наглый авантюрист!» Добро бы только упреки... Падеж каждой головы — убыток в несколько тысяч рублей, да, кроме денег, племенной скот — это надежда на зажиточность, это мост к будущему счастью. И если этот мост рухнет по его вине, не жди прощения — отберут партбилет, возможен и суд. Он, Павел Мансуров, заставивший говорить о себе, уважать себя, рухнет в грязь вместе со своими высокими мечтами, с широкими замыслами.

Идет атака, он впереди! Велик риск, но оглядываться и сомневаться поздно. Не место колебаниям!

О том, что в колхозе «Светлый путь» пала вторая корова, Павел Мансуров узнал утром, а в полдень к нему в кабинет явился сам Федосий Мургин.

Держался он прямо, казался выше даже ростом, только лицо стало словно более плоским. Когда он опустился без всякого приглашения на стул, Павел заметил перемены: плечи сразу обвисли, под глазами — потные, тяжелые мешки.

С минуту Мургин молчал — после лестницы не мог отдышаться, — глядел в сторону, наконец начал тихим, но внутренне напряженным голосом:

— Суди, Павел Сергеевич... Вот как случилось.

Усталые глаза из-под нависших век встретились с отчужденно холодным взглядом Мансурова, отбежали в сторону. Мансуров молчал.

— За последние дни вот оглянулся я назад, — продолжал тихо и осторожно Мургин, словно шел по натянутой веревке, — и увидел — глупая у меня была жизнь, длинная и глупая. Одно интересное в ней — колхоз... Из шестидесяти пяти лет — эти двадцать...

— Короче, Федосий Савельич. Разжалобить надеешься? Надежды напрасные.

Мургин вгляделся в Мансурова — вытянутая шея, отвердевшие скулы, губы жестко сжаты, пропуская слова, шевелятся неохотно — и вздохнул.

— О жизни говорить хочу, а коротко-то о жизни нельзя... Так вот, кроме колхоза, у меня ничего. Оставить мне колхоз, не пугая скажу, — смерть. Куда я?.. Просто ворочать рядовым — стар, даже на прополку с бабами ходить не гоже. Для другой какой работы не способен. Одно остается — ложись под образа да выпучи глаза...

— Прямо! Без подходов! Боишься, что с председателями снимут?

— Боюсь, Павел Сергеевич. Боюсь, как смерти.

— А ты думаешь, если председатель смертельно боится слететь со своего места, мы из жалости доверим ему колхоз? Он не может научить скотниц и животноводов уходу за скотом, он не успевает вовремя заготовить корм, он допускает падеж — все это пусть, лишь бы не боялся, сидел прочно на стуле.

— Павел Сергеевич! — Мургин поднялся, грузный, приземистый, с угрюмым взглядом узких глаз. — Коль я боюсь больше смерти уйти с председателей, значит, я врос, значит, я после такого урока костью лягу, а все выправлю, вытащу колхоз, людей подниму. Не жалости прошу — поверить! Как человеку поверить, как коммунисту!

— Как коммунисту?.. Ты делами подмочил свое слово коммуниста! Простить, по головке погладить? Чтоб другие нерадивые глядели на это и радовались — ничего, мол, в райкоме добренькие сидят, всё спишут. Не-ет, защищать

тебя не буду! Буду настаивать, чтоб сняли с председателей, немедленно!.. И это не все. Мы партбилет попросим показать!

Мансуров стоял против Мургина, тонкий, подобранный, красивый, кудри упали на брови, глаза большие, темные. Мургин — рыхлый, вялый — осел на стуле, подставив под взгляд Мансурова седое темя.

— Мне шестьдесят пять лет, — медленно заговорил он в пол, — а после такого... Павел Сергеевич, две коровы, пусть самые породистые, ведь не дороже они человека. Все сломается у меня! Все!

— Не в коровах дело! Прости тебя, другие спустят рукава. Нет, не обессудь, в следственные органы заявим, районную газету заставим кричать о твоём ротозействе... Да как тебе не стыдно, товарищ Мургин, оглянись — пришел милости выпрашивать.

Мургин с усилием поднялся.

— Верно... Стыдно...

Его кожаный картуз упал с колен. Мургин этого не заметил, наступил сапогом.

— Стыдно... — еще раз сипло повторил он, хотел что-то добавить, но, судорожно глотнув воздух, махнул рукой. Сутулый, вялый, шаркая подметками по крашеному полу, пошел к дверям, в дверях ударился о косяк плечом...

У Павла шевельнулась жалость: «На самом деле, ничего не останется у человека...» Но он решительно отвернулся от бережно прикрытой двери. «Нечего раскисать. Тем сильнее другие задумаются, коль такой, с двадцатилетним стажем, скатится».

На полу, примятый сапогом, валялся вытертый кожаный картуз Мургина. Павел поднял его, положил в угол, на сейф: «Вернется — возьмет».

Но Мургин уже не вернулся...

На другой день рано утром в Погребное, прямо к конюшне, без пролетки, в расклевнятом хомуте, с волочащимися вожжами пришла Проточина — старая, смиренная кобыла, возившая председателя. Из Погребного высыпал народ, стали прочесывать лес...

Федосия Мургина нашли лежащим под березой, уткнувшимся лицом в прелую прошлогоднюю листву. Сук березы сломался под грузным телом, но длинная сыромятная супонь, снятая с хомута Проточины, крепко врезалась в толстую шею.

Жил и не замечал, что был до отказа счастлив, не ценил этого, считал — так и должно быть, не иначе. И вот сорвалось... но как — нелепо, глупо!.. Последние события, даже смерть Мургина, не взволновали Сашу — все заполнила своя беда, не оставила места другому.

Встречался ли с Лешкой Ляпуновым на улице, вел с ним разговоры о тесе, о том, что не плохо бы на фундамент для свинарника подвезти с реки камни — там на перекатах лежат валуны «с доброго телка» — и все время думал: «А что, если б он все знал?..» Глядел с тайным страхом в красное, словно ошпаренное кипятком, Лешкино лицо, а самого бросало в жар. И живут они дружно, и обижаться Лешке нет причины, а наверняка поднимет на смех, так, без злобы, просто за будь здоров. «Ха-ха! Девка уломала!.. Го-го-го! Да ведь ты женихом считался!.. Ай да хват! Не теряешься... А невеста твоя коршуновская что же?.. Не жалуется, спосит грех?..»

И каждый раз, доходя в мыслях до этого места, Саша готов был кричать от отчаяния. стыдно не за себя. Если б дело было только в нем одном, смех, сальные словечки, обидные подковырки — все бы перенес, не сморгнув глазом. И поделом: сорвался, запачкал себя — отвечай. Но в том-то и дело — не одного себя запачкал, Катю!

Катю, встречи с которой, бывало, ждал, как самой большой радости в жизни, Катю, по которой столько тосковал, мучился! Катю, которой он должен быть благодарен уж просто за то, что она, такая красивая, такая чистая, живет на свете. Да, чистая! И представить себе нельзя, чтоб она себя чем-нибудь загрязнила.

И вот над ней могут смеяться, о ней говорить сальности, ее пачкать. Из-за кого? Из-за него, Саши Комелева, которого она так любит, которому так верит. Неужели может такое случиться?! Большого ужаса на свете не бывает.

И чтоб никто ничего не узнал, Саша пробовал идти даже на то, о чем прежде бы и не мог подумать. Он стал заискивать перед Настей. Кто знает эту вертихвостку. С обиды или от легкости в голове может при всех раскрыть, сама же первая посмеется — хи-хи да ха-ха, крутит юбкой, к ней грязь не прилипнет, а Катю засмеют. Рви потом на себе волосы, казись, да поздно будет.

Саша старался держаться с Настей ласково, на улыбку пытался отвечать улыбкой. Но Настя была не из тех, кого легко купишь одними улыбками. У крыльца ли правления, вечерком ли на улице, возле ли скотных дворов она улучала минутку встретиться с глазу на глаз. Выставив плечо, поглядывая с игривой прищурочкой, спрашивала:

— Примечаю: вдвойне меня сторонишься. Или никак не подхожу? Иль все не по праву?

Можно было скрепя сердце отшутиться один раз, два, но каждый день да по несколько встреч выдержать не под силу. Саше была ненавистна ее прищурочка, игривый голос, ее губы с жадной припухлостью на верхней, ее тяжелые, беззастенчиво зовущие груди на худощавом, гибком теле. Она виновница его несчастья, и ей надо отвечать шуткой, ей надо улыбаться, да ну к черту такое наказание.

Однажды, когда Саша шел мимо штабелей бревен, привезенных на строительство свинарника, и Настя загородила ему дорогу, он грубо сказал:

— Слышь, не приставай больше. Что было, то конечно.— И, помолчав, добавил с угрозой: — А коль смешки подленькие подпускать будешь — убью, честное слово!

Приготовленная Настей дежурная улыбочка на лице застыла на минуту, губы дрогнули. Она помолчала растерянно.

— Эх ты, дурак зеленый,— наконец ответила она горько, отвернувшись, шагнула раз и остановилась, чуть-чуть повернула голову. Саше была видна ее щека, упавшие из-под платка на лоб волосы.— Боишься, что на посмешище тебя выставлю?.. Не бойсь. Что дорого, того не осмеивают... Живи спокойно.

Подняв плечи, торопливо ушла.

В другой раз Саше было бы стыдно и жалко Настю, но для большого возу лишний узел грузу не прибавит. Без того хватало стыда и боли. Пусть не совсем красиво получилось, зато Настя теперь оставит в покое.

Но и на следующий день Настя снова подошла, поджимая губы, тая в глазах ядовитую насмешку, сообщила:

— Ты что ж коршуновскую цыганочку не наведишь? Иль напрочь от ворот поворот дала?..

Саша не захотел разговаривать, повернулся, пошел от Насти. Но та крикнула ему в спину:

— Зря мучаешься! Ты для нее мелка рыбешка. На магерую щуку крючок точит!

Ушел за деревню, в поля. Стынул красный злой закат — к ветру, должно быть. А на другом конце неба поднялась луна. Она, казалось, весь день пряталась от солнца в реке, выползла сейчас бледная, будто вымоченная. Кусты, пышно взбитые, еще не потеряли дымчатой весенней легкости, издали кажется — улеглись отдохнуть на землю нагулявшиеся по небу облака.

Саша, опустив голову, засунув руки в карманы, шел по оставленному под пары полю, начавшему уже неряшливо зарастать хвощом и осотом. Непросохшая местами земля прилипала к сапогам.

Что хотела сказать Настя?.. «Мелка рыбешка... На матерую щуку крючок точит...» Неужели дошло до Кати?.. Тогда конец. Придется за километр обходить ее. Стыдно показать глаза... Катю обходить?! Конец?! Разве это возможно? Жить без радости — жить без надежды. Ведь даже теперь, когда стыдно, когда пакостно на душе, не пропадает надежда — все обойдется, простит... И откуда Катя могла узнать? В деревне никто — ни слухом ни духом, а уж ежели слушок будет, то первые его понесут новораменцы. Врет Настя! Врет!.. Ничего Катя не знает...

Но может догадываться... Разве это трудно? Сколько дней не показывался к ней, отсиживался в Новом Раменье. Катя горда, от одного, что не показывался, что забыл, может такое натворить...

Прячется, как трус? А выход один — надо идти к Кате, надо встретиться с ней. Пойти — значит рассказать, признаться. Признаться?! Но ведь это же плюнуть ей в душу. На вот подарок, изволь любить грязенького. Разве можно потом надеяться на прощение! Тут уж не оправдаешься. Сам себя презираешь, сам себя ненавидишь, а хочешь, чтобы другие были милостивы...

Уныло, непривлекательно выглядит поле, еще не распаханное под пары. Заплавшая при таянье снегов земля сейчас почти всюду подсохла, кое-где ее верхняя корка потрескалась. По всему корявому, неопрятному телу клочками, как шерсть на опаршивевшей собаке, растет сорняк. И кажется, что поле болеет, ему тяжело лежать под заскорузлой коркой и вместо благородных зеленей, как наказание, терпеть на себе рахитично хилые елочки хвоща, мясистый осот, отбросы, которым нет места на лугах среди обычной травы. Поле томится, поле ждет того дня, когда железные

лемеха расчешут его, сорвут всю нечисть, принесут свободу и здоровье.

Саша шагал, ничего не видя, ничего не замечая, и все-таки тускло-красный закат, сумрачно разлившийся над землей, широкое, выгладевшее заброшенным поле помимо сознания давило на душу. Мысли, без того мрачные, тревожные, мечущиеся, становились более беспокойными. Новый приступ безысходного отчаянья охватывал Сашу.

Он прячется, он боится показаться Кате. А Кате что ни день, то более непонятно, необъяснимо его поведение. Что ни день, то глубже тонешь, труднее встретиться, страшнее взглянуть в глаза. Чего ждать?.. Дождаться того, что отвыкнет Катя, сам смиришься с потерей? Стыдно! Страшно! Невозможно! Но надо!.. Надо идти к Кате. Надо сказать ей все. Надо просить прощения без гордости... Какая уж гордость, не Саше вспоминать о ней. Просить... А там как она хочет...

Саша выбрался на шоссе, стал ждать машину.

18

После ночной встречи с Мансуровым Катя долго мучилась — хорошо или дурно она поступила.

Хорошо или дурно?..

В ночь, когда она ворочалась на своей кровати, ей казалось, что поступила она дурно, очень дурно. Ее грызло раскаянье.

Дед Кати прожил со своей женой двадцать восемь лет, перешагнув через серебряную свадьбу. Катя помнит, как старики до самой смерти бабушки были влюблены друг в друга. «Кешенька, голубчик, — ворчала ласково Софья Кузьминична, — у меня вовсе не мерзнут ноги». — «Мать! — строгим петушком возвышался над ней Аркадий Максимович, — если хочешь, чтоб я жил покойно, ты должна слушаться. Закутай ноги, сядь к печке».

Катины отец и мать жили вместе всего года четыре. Но до Кати дошли рассказы, как отец чуть ли не носил мать на руках, как он трудно переживал ее неожиданную смерть, следили даже, чтоб он не наложил на себя руки.

Дед постоянно повторял: «Не по пословице наша семья — она без уroda. У Зеленцовых перед людьми чиста совесть».

А Катя отвернулась от всех приличий, на Катю — первую из Зеленцовых — люди за спиной станут показывать пальцем. А Саша?.. Все Зеленцовы отличались честностью, верностью, прямоотой. Катя встречалась с Сашей, говорила ему, что любит, наконец обещала стать его женой. Он верил, она обманула. Дурно, очень дурно поступила, нет ей оправдания.

Так она думала первую ночь и первый день.

Но, думая об этом, Катя невольно все время помнила о Мансурове. Ни на минуту он не выходил из головы. Она вспоминала его потемневшие, приказывающие, умоляющие глаза, вспоминала, как его твердое лицо порой становилось нерешительным, робким, его смуглые руки то властно сжимали ее руки, то становились мягкими, предупредительно чуткими. Вспоминала его страстный шепот, с мужской досадой сказанную жалобу, что ему трудно, ему тяжело...

Эти воспоминания вместе с раскаяньем, с сознанием того, что она сделала что-то дурное, вызывали в Кате страх. А страх в свою очередь рождал возмущение. Как он смел так глядеть, так говорить, по какому праву решился на такое, заставил ее мучиться. Он старше, он мудрее, он понимал, что делал! Хоть немного, да хотелось оправдать себя, снять с души частицу вины, свалить на другого. И Катя упрекала Павла Сергеевича.

Если бы он на следующий вечер подошел к ней, она, возможно — пусть в замешательстве и смятении, — отвернулась бы от него. Но Мансуров не подошел. Катя знала — началось горячее время в районе, Павлу Сергеевичу было некогда, до поздней ночи в райкоме горел свет.

Не подошел, занят... А только ли из-за занятости некогда вспомнить о Кате?.. Нет, нет! Зачем же он глядел тогда на нее тем, потемневшим от волнения, взглядом. Не минутное же увлечение вызывало у этого решительного, твердого человека робость на лице, а его руки, его задыхающийся шепот, слова о том, что трудно живется... Разве он не был искренен? Глупо в этом сомневаться. Так играть, так лгать невозможно! Раз искренен, значит, любит... А она его? Неужели она настолько не уважает себя, что пошла бы на сближение, не любя человека? Да нет же! Тысячу раз нет! Она тоже любит! А раз любит, тогда что тут дурного? Зачем мучиться раскаяньем, сгорать от стыда.

Неожиданно окружающая жизнь повернулась для Кати по-новому. Что бы ни случилось, до сих пор Катя принимала без особой тревоги. Ее радовало, что прибыл скот, огорчало, что он плохо приживается, но радовало и огорчало, как всех, как каждого сознательного коршуновца, не больше. А теперь она стала смотреть его глазами, глазами Павла Мансурова, человека, которому поручено руководить районом.

Нет кормов для скота. Что делать? Какие советы дать колхозникам? Ой, нелегко сейчас Павлу!

В колхозе Мургина пала корова. Не начало ли катастрофы? Страшно подумать. А всех страшней, верно, ему...

У того же Мургина пала вторая корова! Да что же за растяпа этот председатель! Павел, миленький, он подведет тебя, образумь старого дурака, покрепче образумь!..

Господи! Десь ото дня хлеще! Мургин повесился! И все ложится на совесть Павла, все на его голову! Как тяжело этому человеку! Как трудно добывать людям счастье...

Эгоистка! Еще упрекала в душе, что не встречается, забыл... До нее ли теперь. Пусть не встречается, пусть порой забывает, она простит, она понимает... Ей выпало счастье любить человека, который переносит все людские беды. Трудное счастье! Но она от него не откажется.

И глупо, нелепо мучиться...

Дед был прав, когда говорил: «Наша семья без уроды».

Катя помнит о своей семье.

Бабка Кати, как и Аркадий Максимович, работала в школе, умерла от приступа грудной жабы, так и не закончив своего последнего в жизни урока.

Мать Кати была врачом. В одно жаркое лето в удаленном Верхнешорском сельсовете вспыхнула эпидемия дизентерии. Мать выехала туда, сама схватила заразу. Сказалась утомительная работа по восемнадцати, по двадцати часов в сутки — не перенесла болезни.

Отец Кати погиб зимой сорок второго года под Сталинградом.

Сам дед проработал в школе около тридцати лет...

Катя всегда гордилась семьей и всегда мечтала, как о величайшем счастье — отдать свою жизнь на что-нибудь необыкновенное, на подвиг!

Но что она могла, девчонка? Ей ли совершать необыкновенные дела? Ждала особого случая... А жизнь была кругом ровна и буднична...

Так вот случай, вот ее подвиг — ее любовь! Она не просто любит мужчину, будущего мужа. Она любит человека, посвятившего жизнь людям. Она не станет требовать особого внимания к себе. Нет! Требовать внимания — значит связывать. Одного хочется — одного, небольшого! — чтоб он знал, что есть она, которая без конца верит ему, любит его, живет для него, только для него! Ведь жить для него — значит жить для людей!

И она, Катя, не урод в семье Зеленцовых. Чисты ее помыслы, чиста ее совесть! Что б ни случилось, дурного не произойдет.

А Саша?.. Что же, Саша... Разве ему объяснишь? Прежняя их любовь кажется только забавой...

19

Невысокий домик, сквозь кусты — свет из окон, расхлябанная калитка в ограде, к ней ведет выбитая неширокая тропинка; отступив в сторону, стоит старая липа... Знакомое место! И раньше было родным, теперь роднее в тысячу раз.

Вот где-то здесь, за кустами, за окном, — Катя. Она живет, она существует на свете. Не легенда, не вымысел — по этой самой тропинке недавно прошли ее ноги, за шершавую ручку у калитки бралась ее рука..

Саша осторожно открыл калитку, шагнул во двор. От неизвестности на какое-то мгновение застыло сердце: «Как-то встретит? Что-то скажет?..»

Между кустами красной смородины и бревенчатой стеной легко пролезть к окну. Приезжая неожиданно из колхоза в село, Саша всегда стучал в крайнее окно — чуть-чуть, два раза. Рядом с этим окном Катин столик...

Окно было задернуто, но между занавеской и косяком щель... Саша припал к стеклу, увидел знакомый кусочек маленького письменного стола: толстая потрепанная книга, на ней — руки, ее руки! С тонкими запястьями, сухими маленькими кистями, они сейчас выражают покой и задумчивость. О чем же задумалась Катя?.. Только оконное стекло да занавесочка отделяют от нее. Катя, Катя... Саша легонько стукнул. Руки на книге дрогнули, замерли, тревожно, но с места не двинулись — прислушивается... А сердце стучит так оглушительно, что, наверное, слышно

в комнате. Катя, Катя!.. Руки слабеют, распускаются, всем своим видом говорят — слышалось.

Саша стукнул еще раз. Руки сорвались с книги. Занавеска откинулась, и, глаза в глаза, через стекло Саша увидел лицо Кати.

— Катя,— позвал он беззвучно.

Занавеска упала, в расширившуюся щель стала видна часть комнаты, стена со знакомой репродукцией «Синопский бой». Стариковской походочкой проплыл мимо картины Катин дед.

Спотыкаясь, цепляясь за кусты, Саша бросился к двери.

Долго, долго не открывалась дверь. Бесстрастная, поблескивающая в свете луны кольцом — никакой жизни за ней. «Где же Катя, да слышала ли? Догадалась ли? Может, просто не хочет выйти?.. Ну, скоро ли? Катя! Катя!..»

Осторожный звук слышался за дверью. Кольцо дрогнуло, повернулось, стукнуло, и дверь вкрадчиво проскрипела: «З-зде-есь...»

Катя вышла, закутанная в белую шаль, — не видно лица, не видно рук. У Саши сжалось горло, с трудом вытолкнул хриплое:

— К-катя!.. — и замолчал, разглядывая ее, высокую, с опущенной головой, длинные кисти с концов шали свисают к коленям.

Катя, не поднимая глаз, заговорила:

— Хорошо, что ты пришел. Я должна тебе сказать...

— Катя! Я сам тебе все скажу! Все!

— Сказать должна я! — возвысила голос Катя. — Прости меня, но теперь понимаю — я просто была увлечена... Я не любила... Ой, да не все ли равно!.. Саша, прошу — не ходи больше.

— Катя, выслушай сначала...

— Зачем мучить друг друга... Я теперь по-настоящему люблю... другого человека. — Катя с облегчением закончила: — Вот все.

Уже из полуоткрытых дверей, из темноты, добавила торопливо:

— Хотелось, чтоб ты понял.

Дверь на этот раз скрипнула резко и испуганно, будто выкрикнула: «Ой!»

Долго качалось кольцо. Ничего не понимая, без мысли, без боли, с какой-то пустотой и в голове и в душе, Саша

смотрел на это кольцо до тех пор, пока оно не замерло в неподвижности.

У калитки он остановился, привалился спиной к столбу — ослабли ноги. Луна, часа два тому назад бледная, вымоченная, теперь светила вовсю, окрепшая, косорожая, довольная...

Вспомнилось, как в первый раз прощались с Катей у этой калитки. Так же были разбросаны по земле лунные зайчики, так же лениво они шевелились при ветерке... Один зайчик — ласковая голубая ладошка — поглаживал белую кофточку Кати. Только луна была круглей и еще ярче...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Кожаный картуз с головы Мургина лежал в углу кабинета, на сейфе. Мансуров даже забыл о нем — последние дни не сидел за столом: выезжал в Погребное, давал справки следователю, лично присутствовал на похоронах, сам проводил общее собрание колхозников, где выбрали новым председателем молодого агронома Алешина.

Мансуров забыл о картузе, но о самом Мургине переставал думать разве только глубокой ночью.

Вспоминалась сгорбленная, сразу же осевшая фигура, вялая, шаркающая походка. Вспоминались слова его: «Все сломается у меня!..» Сиплый голос, обронивший: «Стыдно...» Вспоминалось, как шатнуло его у дверей, ударился о косяк плечом...

Что и говорить, по-человечески жаль мужика. Жаль! Но даже теперь Мансуров не хотел признавать за собой вину. Он не имел права смягчать тон, сглаживать острые углы, удерживаться от упреков, прощать и тем самым давать повод к новой безответственности. Он поступил так, как обязан был поступить!

Но кому эти оправдания нужны? Свершилось недопустимое, будут искать виновника. Непременно заинтересуется обком. Кажется, оголеться эта история... Если признают хоть косвенно виновным, на партийной работе держать не будут. Приклеят ярлычки: «Недостаточно гибок...

Отсутствует глубокое понимание людей». Эх, мало пней да кочек, еще один камень на дорогу!

Мансурову в эти дни вдруг захотелось поговорить с кем-то не просто, а по душам. И он обрадовался, когда к нему вечером заявился Игнат Гмызин. Если кто и друг Павлу, то это он, Игнат. Хотя в последнее время что-то стала стираться их дружба — реже встречались, а если и встречались, то слово, другое — и врозь. Да еще с Анной натянутые отношения, как-никак Игнат ей родной брат, и это безотчетно, против воли, немного стесняло Павла.

— Вижу, свет у тебя... — проговорил привычное Игнат, протягивая через стол руку.

Загорелый, широкоплечий, добротный, голова недавно выбрита, с плавными выступами и округлостями, она лоснится, словно навощенная, так и хочется ее погладить рукой. Кажется, люди такого вот типа по своей природе не могут ни терзаться сомнениями, ни чувствовать растерянность, они постоянно ровны, уверены, покойны. Шажок за шажком, не торопясь и не спотыкаясь, тянет вверх Игнат свой колхоз. Неудачи с освоением племенного скота, чрезвычайные происшествия, вроде смерти Мургина, — все это проходит где-то в пространстве, не задевая бритой гмызинской макушки. Павел с тайной завистью разглядывал Игната.

— Рад, что пришел. Очень рад.

— А у меня дело...

— К черту дела! Давай хоть раз посидим да поговорим, как обычные люди, не о кормовой базе, а так, ни о чем, хоть о вчерашнем дождичке. Ты знаешь, Игнат, — тяжело... Тут еще это с Федосием... Вроде и авторитет у меня, уважение, а ведь приглядеться — один как перст.

— Почему бы это? Уж не потому ли, что в начальство вышел?

— Не знаю. Кажется, не запошусь, спесью не надуваюсь.

Оба помолчали. Не о делах, оказывается, они говорить разучились. Бывало, когда-то Игнат приглашал Павла к себе на рыбалку — под деревней Большой Лес на озере неплохо ловились в мережу караси, — сходились за бутылкой, вспоминали каждый на свой лад фронт. Нынче давно уже, по занятости, не ездили за карасями, не распивали бутылочек...

Павел хотел было произнести со вздохом: «Ну, какое там дело, выкладывай», как Игнат поднялся:

— Что это у тебя?

Он шагнул, снял с сейфа картуз Мургина. Мясистое, мягкое лицо отвердело, какая-то непривычная черствость появилась в нем.

Для самого Павла появление картуза сейчас было неожиданностью. Оба молча минуту-две разглядывали: кожа порыжелела, потерлась — видать, много лет служил картуз своему неприхотливому хозяину, — козырек дряблый, темный, захватанный, — его руками захватан! — внутри околыш засалился от пота, въевшийся запах пота еще сохранился. В этой старенькой вещи Мургин продолжал жить. И обоим, Павлу и Игнату, позавчера только похоронившим его, эти памятки жизни казались странными...

— Оставил... Я прибрал. Отдать потом хотел... И не вышло, — вполголоса пояснил Павел.

— Так, так... Без картуза выскочил, — хмуро обронил Игнат.

— Игнат... ты винишь меня?

— В чем? В этом? Ведь отчитывал ты не с намерением, чтоб он бежал искать веревку.

— Некоторые, должно быть, так и подумают...

— Вряд ли...

Снова неловкое молчание. Игнат продолжал вертеть в руках картуз, разглядывал со всех сторон, а Павлу хотелось остановить с досадой: «Да брось ты! Нашел забаву...»

— Признайся, — Игнат наконец отложил картуз, — Федосия-то хотел пугалом выставить?

— При чем тут пугало? Я одного хотел — чтоб другие серьезнее к своим делам относились.

— Телега не смазана, воз туго идет — не конь виноват...

— Ты без загадок...

— Какие загадки. Перегнул ты, Павел, со скотом.

— Слышал. Обычная перестраховка.

— Мне, брат, страховаться нечего. Свой скот я накормлю, в тепло поставлю, падежа не допущу, весь приплод сохраню.

— Чего тогда и беспокоишься?

— Не за себя. За Никиту Бочкова из «Искры», за Луцильникова из «Красной зари», за все колхозы беспокоюсь. Врасплох их скот застал.

— Уволь. Как-нибудь мы сами об этом побеспокоимся.

— Кто это «мы»?

— Райком.

— Я член бюро райкома. Почему я должен меньше тебя болеть за район?

Мансуров криво усмехнулся:

— Выходит, не меньше, а больше болешь. Ничего не скажешь, похвально, очень похвально.

— Смотри -- молодой осот легче выдернуть, свежую ошибку проще исправить.

...Нет, что-то треснуло в прежней дружбе. Перебросились о сенокосе, об МТС, которые до сих пор не перегнали тракторных косилок (Игнат и заглянул, чтоб сообщить это), простились сдержанно.

Мансуров думал с раздражением: «Идешь на риск, а кругом жмутся, оглядываются... Игнат-то, Игнат! Как он не понимает: скот прибыл, распределен, поверни на попятную — подыметесь страшный шум в области...»

Картуз Мургина лежал на столе. Что с ним делать? Не держать же его у себя. Выбросить? Почему-то не поднимается рука. Отослать старухе Федосия?.. Что тогда подумают в деревне Погребное? От секретаря райкома пришел картуз покойного председателя — чего доброго, насочиняют еще историй. Да и картуз-то гроша ломаного не стоит.

Павел сунул его в самый нижний ящик стола, запер на ключ — с глаз подальше.

2

Как и ожидал Павел Мансуров, его вызвали в обком.

Кем он станет, если его отстранят от работы, куда пойдет? За всю свою беспокойную жизнь он так и не успел получить профессии. Не инженер, не агроном, не учитель, даже офицер такой, что сдан в запас. Где смог бы он устроиться?.. Скорей всего сунут на заведование промтоварной артелью или в сонную контору какого-нибудь пищедрома...

Но в кабинет к Курганову Павел вошел внешне спокойный, голову нес прямо, с достоинством, от дверей к столу четко отстучали по паркетному полу каблучки его ботинок.

Через огромные окна ломилось во всю силу пыльное городское солнце. Курганов сидел без пиджака, ворот свежей сорочки расстегнут на потной шее. Обычно живые, колющие мелкими зрачками глаза секретаря обкома сейчас глядели из-под приспущенных век устало. И утомленное жарой лицо Курганова, его веки, коричневые, тяжелые, прячущие под собой зрачки, и то, что без пиджака он, по-простецки в рубашке,— все это, как ни странно, успокаивало Павла Мансурова. Не верилось, что этот пожилой (только теперь Павел почувствовал возраст Курганова), будничный на вид человек может перетряхнуть его жизнь. Для этого, казалось почему-то, непременно нужна необычная обстановка и не обычный, а официальный вид обкомовского секретаря.

На красном сукне стола для заседаний, как раз напротив того места, где уселся Павел, стоял большой макет какой-то постройки: стены сложены из игрушечных бревнышек, крошечный шифер на крыше не отличишь от настоящего, из распахнутых дверей выбегают рельсы, на них — вагонетка, столбы с электрическими лампочками, само строение — два корпуса, приставленные один к другому в виде буквы «Т». Разглядывая макет, время от времени косясь на Курганова, Павел Мансуров стал рассказывать, просто, не волнуясь, не оправдываясь, словно докладывал не чрезвычайное происшествие, а вводил в курс дела по сеноуборке.

...Кормов мало. Да, это так. Но когда кризис с кормами почти миновал, у Мургина на скотном дворе случился падеж, два раза подряд — несчастье дуплетом. Он, как секретарь райкома, разумеется, не мог смотреть на это сквозь пальцы. Было бюро, он, Павел Мансуров, не скрывает, выступал резко, а как же иначе?.. Словом, та или иная причина, но, как снег на голову, неожидано-негаданно трагическая развязка. Оправдываться он не будет. Если обком и районные коммунисты найдут нужным поставить все это ему в вину — что ж, он примет...

Курганов, слушая, смотрел вниз, и только время от времени веки его медленно поднимались и крошечные зрачки пытливо, ищуще упирались в лицо Павла. У Павла в эти моменты липко потели ладни, но взгляд он выносил, не сбиваясь с ровного тона.

— А что ж ты тогда пугаешься? — неожиданно спросил Курганов. — Иль все-таки вину в чем-то чувствуешь? Павел пожал плечами.

— Человек покончил с собой — испугаешься... А вина, черт его знает, может, и есть.

Веки Курганова снова поднялись. У Павла появилось неприятное ощущение, словно к его переносице крепко прижали холодный пятак.

— Вина есть. Ее не может не быть. — Голос Курганова был так же тверд и суров, как и взгляд. — За смерть человека нет оправданий. Что говорит твоя партийная совесть? Подскажи сам: какого ты достоин наказания?

Павел молчал.

— Ну!

— Готов на любое.

— Событие позорнейшее! Случай чрезвычайный! Но насколько ты виноват — неясно. Выговор за такие дела не записывают. Исключать — нет оснований. Важно, чтоб ты почувствовал тяжесть на своей совести, как человек и как коммунист...

Павел слушал, глядел на макет непонятной постройки и чувствовал, как мало-помалу сваливается с души тяжелый груз. «Пронесло. Признал невиновным. Да и с какой стати... Пусть отчитает, его обязанность...»

— Тяжелый урок, помни! — Курганов поднялся, вышел из-за стола.

Павел хотел уже попрощаться, но секретарь обкома ласково провел рукой по крыше игрушечной постройки, словно погладил, и сказал совершенно другим голосом:

— Вот ведь не любопытный. Глазами мозолит, а не спросит, что такое.

— Не пойму. — Павел с виноватым смущением вглядывался в макет. — Коровник? Нет. И на свиноферму не похоже...

— То-то! Плохо мы знаем, что кругом делается. Второй год такое сооружение в колхозе у Борщагова действует. Мне эту игрушку прислал — то ли просто в подарок, то ли в назидание: учись, мол, да других учи уму-разуму...

Павел насторожился: колхоз Борщагова был знаменит. Сам Борщагов — признанный талант-самородок. Его, человека с трехклассным образованием, не кончившего и церковноприходскую школу, не раз приглашали читать

лекции профессорам в Тимирязевскую академию. Должно быть, опять какое-то нововведение, опять подымут шум газеты. Интересно узнать.

— Это, дорогой мой, не коровник и не свинарник, а фабрика-кухня... Да, да, фабрика! Вот смотри...— Курганов снял шиферную крышу и начал рассказывать о кормозапарниках, о трубах с горячим паром, о машинном отделении.— Словом, в эти ворота въезжает воз, скажем, с соломой, а через час вагонетки развезут корм, на солому не похожий. Борщагов смеется: гвозди железные можно приготовить, коровы будут есть да облизываться. Удои поднялись. Прокорм одной головы обходится вдвое дешевле. Электричество качает воду, электричество мельчит корма, развозит их. Человеку нужно только остановить вагонетку возле кормозапарной ямы да опрокинуть ее.

Курганов, цепко взяв за локоть Павла, усадил рядом с собой и, глядя твердыми, радостными глазами в лицо, продолжал:

— Вот на что надо держать курс! Племенной скот есть, есть старая кормовая база.— сено, силос и прочее, нам остается увеличить ее. В этом деле помогут вот такие кормоцеха. Эшелоны мяса, масла пойдут тогда из нашей области, и дешевого! Твой район идет в числе первых по освоению племенного скота, он должен первый подхватить и почин Борщагова.

— Кормоцеха... Да-а, вещь завидная,— без особого восторга согласился Павел,— только дорогая, нашим колхозам, пожалуй, не по карману.

— Электричество у вас есть. Это основа. Никто не будет требовать — вынь да поставь завтра готовые кормоцеха. Постепенно обстраивайтесь, но обстоятельно, навек. Только не старайтесь ограничиться обещаниями. Если начинать, то сейчас, не сегодня-завтра закладывать...

Поезд, отстукивая на стыках рельсов, уходил от города. Среди пассажиров, ехавших в Сибирь, шла своя налаженная жизнь. Она начиналась до того, как Павел появился в вагоне, и будет продолжаться, когда он сойдет на своей станции Великой. В купе стучали костяшками домино, смеялись над анекдотами, клевали сонно над книгами...

Павел стоял у окна. История с Мургиным могла кончиться иначе. Он, Павел, должен бы чувствовать теперь облегчение, но нет, легче не стало... У многих колхозов развалились скотные дворы, зимой будет мерзнуть племенной скот. Куда там кормоцеха! Не по Сеньке шапка. А Курганову не возразишь... Сразу поставит вопрос ребром: «Сил мало?.. Почему тогда хапнули столько скота, почему не рассчитали свои силы?..» Что ответить?..

Тут еще Игнат... Он, если заговорил, будет теперь настаивать — признайся, что перегнул. Попробуй-ка признаться — грянет гром из обкома, пыль пойдет от секретаря Мансурова. Скот, бескормицу, даже смерть Мургина припомнят. Тугой узел завязывается, как распутать его?

За окном проплывали знакомые картины: лениво кружились широкие луга с тихими, пригревшимися на солнце деревеньками, с рыжими заплатами паров, с пыльными дорогами и неизменным страдальцем-грузовичком на них. Иногда виднелись косилки, цветные платья женщин, загребавших сено, копны, полусметанные стога.

Покойная, мирная жизнь кругом. Жить бы вместе со всеми и радоваться. Нет, не получается.

3

Молча, ревниво пряча от всех, носил Саша первую в жизни тяжелую обиду. Пусть эта обида не свела со щек румянца, пусть не сушила его по почам бессонница и загибистому словечку, брошенному каким-нибудь бригадиром в правлении, он весело смеялся вместе со всеми, но от этого не меньше было горе.

Настя Баклушина торжествовала. Как-то вечерком она подошла к Саше, и тот сам повел ее на берег...

Игнат Гмызин послал Сашу в новую бригаду «Труженника» — в Кудрявино.

С весны до сенокосов — время недолгое. Жизнь в Кудрявине изменилась, но немного. Бригадиром вместо Вязунчика стал Петр Мирошин, длинный, сухой, с тонкими жердистыми ногами, с острым, словно проглотил скелотый камень, кадыком на тонкой шее (за эту шею и за густой, крякающий голос прозвали его за глаза кудрявинцы «Гусаком»). В колхоз он пришел в прошлом

году из армии, был сверхсрочником, но дослужился только до старшины. Носил жиденькие ржавые усики, постоянно подкручивал их, сердиться по-настоящему не сердился, а кудрявинцы побаивались его. Даже в лес бегали реже, может быть потому, что лесная страда — пора грибов и ягод — еще не настала. Засеяли в эту весну кудрявинцы землю не по-старому: ячменем да пшеницей самую малость, больше подсолнухом, кормовым турнепсом да горохом под зеленую массу. Мирошин каждый день собирал народ рыть силосные ямы. Кудрявинцы ворчали: «Песок ворошим, то-то от этого хлебом разбогатеет...» Но когда в конце каждого месяца из Нового Раменья стали приходить подводы с мукой (смолотой не на ручных «притирушках», а на пищепромовской вальцовке) и Мирошин по списку выдавал на трудодни, замолчали, стали напрашиваться на рытье ям... Игнат не на шутку решил сделать Кудрявино животноводческой бригадой.

Когда-то, в давние времена, среди леса лежали глубокие озера, связанные друг с другом затянутыми осокой ручейками. С годами эти озера повысохли, съежились, превратились в болотистые «ляжины». В одних летом вода цвела вонючей зеленью, в других даже в самый светлый день она стояла черная, дегтярная.

Берега, обсохшие от воды, превратились в небольшие луговинки, по весне заливаемые водой. При единоличном житье каждый хозяин оберегал свой участок, нет-нет да срежет не в меру разогнавшийся куст. При колхозе кудрявинцы запустили эти и без того стесненные лесами луговинки. Косить почти нечего. Так, кой-где трогали одичавшую, соперничающую в росте с кустами траву, плохую, одеревенелую.

Весь день Саша вместе с колхозниками махал косой, выбирал прогалинки. В деревню решили не идти, переночевать тут же, в лесу, завтра добрать, что можно, и уходить совсем. Те жалкие охапки травы, которые удавалось выцарапать из-под кустов, не стоили труда.

На сухом месте разожгли большой костер, над ним повесили ведра — в одном варился суп из солонины, в другом — на всю ораву чай. Огонь костра то разгорался, закрывая рвущимся пламенем ведра, то спадал. Ночь то теснилась в стороны, выдвигая вперед розовые при свете

костра стволы березок, то сдвигалась, ревниво прятала их. Тени женщин, хлопотавших около ведер, при разгоравшемся огне были могучими, срывались в темноту с верхушек деревьев. Они, шевелясь, казалось, перемещивали тускло-красный лес.

Саша лежал в стороне на охапке свежей травы вместе с бригадиром Мирошиным. Мирошин, откинувшись на спину, уставив в неясно мерцающее звездами небо острые колени, говорил сипловато:

— Просмотрел я все их бумаги... Лугов сто десять га числится. Сто десять! Да! А скашивают их здесь — ей-ей, не соврать — от силы гектар пятьдесят. Те, что лежат под самой деревней. Да! Планы-то им спускают из какого расчета? Само собой, из расчета ста десяти.

— Сколько сумеем скосить, столько и скажем...

— Скажем?.. Эх ты, молодой да горячий. Вот возьмут тебя за загривок и начнут трясти: почему планы не выполняешь, почему не все скосил? Сто десять гектар по плану, а у тебя сколько?.. Что скажешь?

— Что есть, то и скажу.

— Ну, ну, говори. Ты ведь правлением поставлен руководить здесь покосами. Да! Мое дело — ямы силосные, уход за полями.

А у костра, угнездившись среди женщин, бывший кудрявинский бригадир, теперь просто рядовой колхозник, Саввушка Вязунчик детским голоском задумчиво (верный признак — побывальщину хочет рассказать) рассыпался:

— Нашу травку, братцы мои, надо умеючи брать, сноровки одной мало... Вот слышали, как кузнец Демка Крюков косил? — Вязунчик победно поворачивал вправо-влево сморщенное, плачущее от дыма лицо. — Ты-то, Дарья, должна помнить Демку-то... Так вот этот Демка одну траву знал. А называется она «тумка»...

— Ну, держи, бабы, подолы, пойдет Саввушка сыпать.

— Как жеребец хороший, только вожжи опусти...

— Да пусть треплется. Все одно ждать.

— Валяй, Савватий, слушаем.

— Так вот, — переждав, пока стихнут голоса, тем же задумчивым родниковым голоском продолжал Саввушка, — есть такая травка, на вид, ну, самая что ни есть не приметная. Ее-то, братцы мои, Демка-то и узнал... А как

узнал? Это, братцы, история... Раз как-то он лежит у своей кузни, должно быть, квасу напился, животом переживает. Вдруг видит, едет по дороге хургон, на передке цыганка старая сидит, трубку курит, вожжами правит; за хургоном гусенятами цыганенки бегут. Приостановила лошадь цыганка и просит: «Подкова отпала, подладь, красавец. Заплачу, не обижу». Долго ли Демке при сноровке-то: лошадь выпряг, копыто промеж ног, тюк-тюк — и готово. «Плати, говорит, ведьма». Цыганка-то хватить с земли пук травы и подает: «Вот, мол, держи». Демка за молоток да на нее: «Смеяться надо мной, растуды тебя, карга старая!» А та его за руку придержала да на ухо — шоп, шоп, и смяк Демка. Так-то, братцы мои... Уехала цыганка с цыганятами, Демка взял ведро, травы той парвал, водой залил и прямо в кузне сварил... И вот, братцы мои, сковал он себе косу... А ковал ее так: накалит, вынет, аж светло в кузне, да в ведро со словами, в навар тот самый... Семь, что ли, раз так-то. Накалит и окунет; накалит и окунет... Пошел он в лес со своей косой. Махнет — будто сквозь воздух, через деревину коса пройдет, куст так куст, береза так береза — все не мешает, не цепляется коса-то, а трава самая маленькая ложится, ну, чисто под бритвой. И не тупилась коса-то. Перед смертью Демка нет чтоб в общество отдать — в реку косу бросил. Сказывают: на том месте три дня вода ключом кипела... Вот дела-то какие...

Саввушка торжествующе оглядывался кругом.

— Ты видел косу-то, что ль?

— Он Демке ковать помогал.

— Демка ковал, он нашептывал...

— Нашептать может не хуже цыганки.

— А с цыганами однова вот какой случай был. Я в ту пору малолетком бегал...

Саша устал от непривычной работы, сейчас в каждой косточке — сладкая ломота, руки свинцовые лежат вдоль тела; великое наслаждение лежать вот так, не двигаясь, вдыхать смешанный с сыростью запах дыма, думать о своем под захлебывающийся от торопливости (чтоб не оборвали) голос Вязунчика.

Катя отодвинулась сейчас далеко-далеко; в прошлом она, в другом мире. Незаметно поднявшаяся за деревьями луна запуталась в черной хвое высокой ели, так и остановилась там. Над лицом ноют невидимые в темноте ко-

мары, десяток — молодых, писклявых, один — басовитый, матерый. Он все время прилаживается сесть на висок Саше — то-то бы наслаждение пришибить надоедливового, но тяжела намахавшаяся за день рука, не поднять ее.

Мысли Саши лениво кружатся около кудрявинских покосов. Строго судить, их нет в этой бригаде, наглухо заросли. Мирошин, чудака, беспокоится: станут спрашивать, почему не скосили. А какой тут спрос, когда косить нельзя... Завтра же отпустит всех косцов в деревню, пусть Мирошин использует их куда нужно. Доложит Игнату Егоровичу...

Тянутся мысли, неторопливые, дремотные, мысли отдыхающего человека. Накинуть бы на себя ватник, поверх ватника плащ, подтянуть колени к подбородку и уснуть... И чего это там долго возятся с ужином?

Наконец рассказ Саввушки оборвался. Сашу и уже успевшего задремать Мирошина позвали к костру.

Саше, сонному, растрепанному, отчаянно жмурящемуся после темноты на огонь костра, подали на колени глубокую миску густого, дымящегося супу. Суп чуточку отдавал болотной тиной.

Костер угас. Косцы носили траву охапками, укладывались спать. Саввушка Вязунчик, устроившись в кустах, ворочался, треща ветвями, шумел:

— Бабоньки! Холодно одному, шли бы ко мне, гуртом спинку погрели.

— Велика ли корысть от тебя, кабы помоложе был.

— А ты иди, Марья, узнаешь, есть ли корысть. Я б тебя погладил, мягонькую.

— Уж спи, старый козел, отгладил свое. Небось молоденькие-то голос не подают.

Сладкие зевки, кашель, ворчание, женский затихающий шепоток.

4

После лесных покосов даже деревня Новое Раменье кажется оживленной. Стучат топоры на стенах нового скотного двора. Там же сгружают с машины кирпич. Бригадир строителей Фунтиков, подсмывая на тощем животе штаны, сердито кричит на девчат:

— Я те брошу! Я те повольничаю! Как ребеночка, кирпичик клади!

Бродят загорелые, испачканные мазутом трактористы, слышится стук мотора за домами... Шумно. Вот что значит центр колхоза, а не дальняя околица Кудрявино.

Саша всего неделю не был здесь, а его уже встретили новостями.

Когда уходил в Кудрявино, все были озабочены — у племенных коров стали гноиться глаза, да и молоко от них нехорошо пахло. Ломали головы — что да как?..

Секрет же оказался прост: плохо прибирали кормушки, новые порции силоса валили в объедки. Теперь кормушки три раза на день моют...

Саша знал, что многие коровы, которые прежде отворачивались от травы, стали охотно есть кошенный клевер. Но до сих пор из-под ног на выпасах траву не брали. Крепка, видать, привычка — жить на том, что подносят. Игнат Егорович установил премию той скотнице, что первая приучит своих коров пастись на воле.

Игната Егоровича Саша застал в его «закутке» — так называли бригады председательский кабинет, угол в одно окно, отгороженный дощатой переборкой.

— Только вспоминал тебя. Ну-ко, с ходу рассказывай, как там, в Кудрявине, разворачиваются?

Саша рассказал: заросло больше половины покосов, что не заросло — выкосили, людей отпустил на другие работы.

Игнат Егорович озадаченно крикнул.

— Так и знал.— Вынул из стола бумаги.— Отчитываться надо, а как? Из-за Кудрявина мы, выходит, не докосили шестьдесят гектаров.

— Сообщить надо, что заросло.

— Кому? Знают. У многих позаросло.

Игнат Егорович взял ручку, задумчиво обмакнул ее в чернила.

— Хошь не хошь, а придется докосить перышком по бумаге.

Саша видел, как на синем шершавом бланке Игнат Егорович поставил число и вывел твердую цифру — 60.

— Игнат Егорович! Ведь это же обман!

— Обман, Саша, обман. Подписываю и чуть ли не фальшивомонетчиком себя чувствую.

— Не пойму... Зачем же тогда?

Игнат Егорович отодвинул в сторону бумаги, положил на стол тяжелые, с набухшими венами руки и, встретив недоуменный взгляд Саши, заговорил:

— Хотелось бы, чтоб ты таких штучек не знал. Очень хотелось! Но жизнь есть жизнь, и не след от нее прятаться. Те люди, которые меня контролируют, цифрами привыкли питаться. Поднеси им не ту цифру, всполошатся, начнут забрасывать к нам в колхоз бумаги, телефонограммы, одну другой грозней. Почему не выполнен план? Подводите район! Подрываете колхоз! Втолковывать, что район мы не подводим, колхоз не подрываем, план в конце концов от этого не страдает, — бесполезное дело. Дай им нужную цифру, иначе не будет видимости, что все благополучно.

— Так лучше обман? Перед собой же стыдно!

— Хорошо, буду совестливым, упрюсь. Меня начнут таскать по заседаниям, по совещаниям, указывать пальцем. Ну, это еще полбеда. Перестанут доверять, пришлют уполномоченных, тех, для кого цифра — бог. Они по пятам начнут ходить, указывать, сдерживать, руки свяжут. И все это из-за маленькой цифры. Не напиши ее или напиши, покриви чуточку иль выдержи правду — все равно от этого кудрявинские покосы не очистятся от кустов, сена с них не прибавится и не убавится. Если б вредило, мешало жить — кровь из носу, а воевали бы. Ни попреки, ни уполномоченные, поверь, не испугали бы. А сейчас — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

Саша сидел растерянный и подавленный — всю жизнь приходилось слышать: будь честным, прямым, не криви душой... Как-то не сходится, непонятно...

Игнат Егорович долго вглядывался в Сашу, с виноватым вздохом обронил:

— Что и говорить, неладно... Цифре больше верят, чем человеку.

Разговор этот Саша скоро забыл. До него ли...

Пастух, по прозвищу «Незадачака», веселый старик, горький пьяница, узнав о премии, каждый вечер приходил из деревни Большой Лес, вваливался в председательский закуток, начинал надоедать Игнату Егоровичу:

— Что там премия! Ты мне косушку поставь да разреши своих породистых пустить в мое стадо, не траву — кур щипать будут. Эко, задачака!

Приставал до тех пор, пока не решились испробовать — чем черт не шутит. И верно, через несколько дней племенные коровы в стаде Незадачаки паслись с таким же усердием, как и местные.

Премии самому Незадачке не отдали, а выписали на имя его старухи. Но Незадачка свое вытянул, два вечера подряд ходил козырем перед правлением, восхищался собой:

— Я слово знаю! Профессоров в коровьем деле забью! Егорыч! Эй, председатель! Ты мне верь! Мы с тобой хозяйство, как балалаечку, настроим. Не жизнь у нас — плясовая будет!

5

Из обкома пришло письмо. Павел Мансуров давно его ждал. Кратко описывались выгоды и достоинства кормоцехов, рассказывалось о том, как у Борщагова в колхозе такой кормоцех повысил доход, говорилось, что почин должен быть подхвачен во всех районах, строительству кормоцехов уделено достойное внимание и т. д. и т. п.

Письмо привычное, но Павел Мансуров, прочитав его, начал ходить по кабинету, раздумывать...

Слов нет, кормоцеха выгодны, кормоцеха полезны. Однако так же были выгодны и полезны торфоперегонные горшочки. Но они-то, кажется, должны были научить...

Вырастить огурцы, помидоры, капусту не так просто, как рожь или ячмень — бросил в землю семена и следи за всходами. Ранней весной в парники закладывают рассаду. С началом теплых дней эту рассаду высаживают — пикируют. При этом надо не повредить тончайшие, как волоски, корешки. Для рук, привыкших к грубому крестьянскому труду, это почти ювелирная работа. Да к тому же после родной парниковой земли сразу непривычная земля поля — резкая перемена, не всякое-то растение ее выдержит. Как правило, многие хиреют, засыхают. Большие потери, нелегкий, кропотливый труд. Торфоперегонные горшочки в этом случае — спасение.

Из навоза и торфа лепится или выдавливается продолговатый квадратный столбик, величиной примерно с граненый стакан. В него кладется зернышко. Такой «заряженный» зернышком огурца, помидора или ранней капусты горшочек ставят в парник рядом с другими... Пусть расползается тончайшей путаной сеткой корни по жирной земле горшочка, пусть тянется вверх росток. Придет вре-

мя — не будут грубые пальцы, обрывая корни-волоски, выковыривать его из земли.

Полезная вещь торфоперегнойные горшочки! Бесспорно, полезная!

Года три тому назад в Коршуновский район пришло похожее на теперешнее письмо о торфоперегнойных горшочках. Коршуновские руководители, желая показать свое умение быстро подхватывать передовое, начали разворачиваться. В колхозы полетели строгие указы: «Наладить массовое производство... С такого-то по такое число надлежит сделать...» — шли цифры с раскатистыми нулями. Председатели колхозов или участковые агрономы, почему-либо не сумевшие организовать производство горшочков во всю силу, вызывались в райком, райисполком, прорабатывались с пристрастием. Лепили горшочки руками, штамповали их на специальных станках, горшочками заваливали склады, жилые дома, колхозные конторы. Они, подмороженные, лежали штабелями прямо на улицах. Район охватила «торфоперегнойная горячка».

Часть горшочков погибла от непогоды, превратилась в кучи земли, часть осталась лежать мертвым грузом — не хватало парников и семян овощей. Часть благополучно высадили. Ранней весной влажные, осевшие горшочки с зелеными ростками можно было видеть не только в парниках, но и на подоконниках председательских кабинетов, по лавкам в избах колхозников.

С началом весны выяснилось: планы посева овощей увеличены, но ненамного. Надо сеять лен, надо сеять зерновые, надо сеять картошку — не хватало земли под огурцы, капусту, помидоры. И снова часть горшочков, уже выбросивших веселенькую рассаду, так и не увидела полей.

А осенью оказалось, что покупать огурцы и капусту некому. Население в Коршунове не велико, каждая семья имеет свой огород. Промышленные предприятия — всего один лесокombинат, да и тот в соседнем районе, возле него не развернешься. Кроме того, председатели ни за что не хотели снижать цены: надо же оправдать те горшочки, что погибли от непогоды, были выброшены за ненадобностью — труд-то на них затрачен.

Многие колхозы бросились на станцию Великую, к леспромхозовским рабочим, скрепя сердце назначили убыточную цену — полтора рубля за килограмм огурцов. Но

по железной дороге привезли такие же огурцы из южных районов, запрашивали всего восемьдесят пять копеек...

Заготовительные организации обходили коршуновцев стороной — на ценах поступиться не могут и доставка не легкая, в стороне от железной дороги. Овощи гнили. Один из председателей, Алексей Попрыгунцев, попал под суд. В большинстве колхозов дорогими овощами стали кормить свиней и коров...

Полезная вещь торфоперегнойные горшочки, но недешево они обошлись коршуновским колхозам.

Кормоцехи — тоже полезная вещь. Можно верить — не малые доходы получает с кормоцеха Борщагов.

Но в колхозе Борщагова ворочают миллионами. Скотные дворы у них давным-давно механизированы, давным-давно построены водонапорные башни, проведены водопроводы, все было в хозяйстве, не хватало только кормоцеха, и его построили. В коршуновских же колхозах часто проблема, как перекрыть крышу на телятнике.

Труд невелик — выбрать место, подвезти лес, закупить материалы, сообщить — кормоцех заложен. А дальше?.. Наверняка эти кормоцехи будут стоять недостроенными, наверняка в старых, дырявых фермах будут болеть зимой племенные коровы. Все б силы на ремонт этих ферм бросить да на постройку новых. Планы, расчеты, всю жизнь коршуновских колхозов могут запутать эти кормоцехи.

Возражать надо, драться за самостоятельность!

Драться?..

Если б покойный Комелев возразил в свое время: «Я против торфоперегнойных горшочков!» — наверняка попал бы в рутинеры. А кому не лестно бросить камень в рутинера, показать себя сторонником передового.

Но вот торфоперегнойная горячка провалилась, и Комелеву никто не поставил это в упрек. За что упрекать? Он все сделал, что требовали. Кому упрекать? Тем, кто хвалил его раньше за решительность и широкий разворот? Они, как и сам Комелев, просто решили: ничего не поделаешь, жизнь — сложная штука.

Возрази он, Павел Мансуров, против кормоцехов... Даже не возрази, а отнесись к ним равнодушно, при первой же неудаче ткнут пальцем: «Ты виноват! Благодаря бездействию, благодаря твоей косности! Несмотря на наши напоминания...» И уж никакими силами не убедишь в обратном.

Разверни строительство скотных дворов, силосных ям и башен, сделай все возможное, чтобы спасти зимой племенной скот — это не поставят в заслугу. Скотные дворы — вещь обычная, ими никого не удивишь. Кормоцехи же — новое, подхвати, и сразу станешь на виду, все заметят, какой ты деятельный. И уж если впереди начнутся неудачи (а они таки начнутся!), в области будут только удивляться: ах, как не везет Коршуновскому району... Району, не Мансурову! В области будут считать — секретарь райкома Мансуров сделал все, что мог, он даже проявил себя при этом инициативным, решительным, энергичным. Покажи себя — и ты, как жена Цезаря, останешься вне подозрений.

Павел ходил из угла в угол нервно, порывисто и в то же время бесшумно, лишь чуть-чуть поскрипывали хромовые сапоги.

«Какой дурак, — думал он, — будет подставлять голову?.. Кормоцеха так кормоцеха. Но уж если наживать на них капитал, так большой, не щепотками — горстями хватать. Все районы переплюнуть, чтоб у самого Борщагова, когда услышит, глаза от удивления и зависти на лоб полезли... Так приходится действовать, не иначе».

Павел Мансуров ходил, а тень от него беспокойно бросалась с одной стены на другую.

6

Горят два окна на втором этаже райкома. Строгий, ясный свет обливает верхушку телеграфного столба с желтыми чашечками изоляторов. То в одном, то в другом окне, через равные промежутки мелькает тень.

Там, за этими окнами, — *он!*

Час назад прошел народ с вечернего сеанса кино, сейчас на улице пустынно, только в роце играет гармошка да во дворе райкома кто-то стучит, перебрасывает доски.

Катя стоит в стороне, прислонившись виском к другому телеграфному столбу, собрату того, что стоит под стеной здания райкома, смотрит на окна, ловит мелькающую тень Павла Мансурова. Столб ровно и грустно гудит, поет без слов о своем, пережитом, о чем никто из проходящих мимо людей не догадывается, да и не хочет знать. Под эту тягучую песню Катя думает.

Знает ли Павел, что она так любит, что она тайком от всех простаивает под окнами? Откуда ему знать... Если б знал... Один-единственный раз держал ее за руки, жег, угрожал, ласкал глазами. Один-единственный раз были близки. Не повторилось счастье... Она тогда не понимала, не противилась, покорилась, но как-то безрадостно, с испугом. Глупый девичий страх уничтожил счастье. Ох, если б это случилось снова!..

Последние дни приходилось встречаться на людях. Перебрасывались взглядами, незначительными словами... Но даже слова о молодежных кормозаготовительных бригадах, произнесенные его голосом, обращенные к ней, были для Кати подарком.

Один раз она принесла ему список комсомольских докладчиков. Павел Сергеевич был один в кабинете. Он долго смотрел список, хмурился, Катя стояла рядом и робела. Наконец он поднял голову, взял Катю за руку и произнес: — Неуютно устроена наша жизнь.

В это время за дверями кабинета послышалось движение, и Катя, оставив на столе Павла Сергеевича список, выскочила, едва не ударив головой входившего Сутолокова.

Она потом долго думала над этой странной фразой. Что он понимал под словом «неуютно»? Наверно, то, что много домов в селе, велики поля вокруг Коршунова, а для них нет места, чтоб встретиться, чтоб перекинуться наедине словом. Не может же Павел Сергеевич прийти в дом к Кате, и сама Катя перестала навещать Анну. Встречаться где-нибудь на берегу или в роще, как коршуновские ребята и девчата, вовсе неудобно. Павел Сергеевич не мальчик, видный человек, да к тому же женатый! Что подумают люди, какие сплетни после этого появятся!

Минуты, когда Катя, прислонившись к столбу, глядела на окна, заменяли ей свидания. Что только не думала, о чем не мечтала она тут! Жила новыми надеждами, чувствовала новые желания.

Она рвалась душой подойти к Павлу, но сделать это нелегко — Павел всегда выходил из райкома с народом. И Катя уходила домой, каждый раз переживая сложное чувство разочарования, облегчения и тревоги. Разочарования потому, что не встретились, облегчения потому, что она до изнеможения мучилась, волновалась, робела, тревоги — оттого, что вечер за вечером проходит попусту, и они все дальше друг от друга...

Каждый день Катя успокаивала себя: обязательно подойду завтра, и каждый раз надежда на завтра рушилась. Однажды у Павла Сергеевича сидел Игнат Гмызин. Катя дождалась, пока он вышел. Гмызин прошел, сердито посапывая, не заметил прижавшуюся к столбу Катю. Через четверть часа потух свет в окнах, на крыльцо вышел чем-то озабоченный Павел. Наклонив голову, он быстро пошел прочь. Надо было нагнать, надо было окликнуть, но горло перехватило, ноги приросли к земле. До сих пор Катя не может простить себе этого.

По всему видно, что Павел сейчас один в кабинете. Выйдет — Катя обязательно подойдет. Сейчас или никогда!.. Но рано волноваться — время не позднее и Павел еще не скоро выйдет из кабинета.

Слышно: ребята идут с гармошкой из рожи, старый конюх райисполкома ругается во дворе с уборщицей из-за лопаты, все обычно, никто не думает о том, что делается за этими окнами, кто там сидит. Он же помнит о них, это его обязанность!

Вот сейчас он ходит по кабинету, размышляет.

Подтянутый, плечистый, голова в густых курчавых волосах всегда горделиво вскинута, легкая, сильная походка, — даже вспоминая, любишься им. Партийный вожак района! И человеческая красота, и величие будущего, все, что с пионерского возраста волнует душу, — все в нем! И он, кажется, любит ее... Любит! Это ее великая гордость, великая радость!

Вдруг у Кати похолодело на сердце. Она почувствовала, что кто-то стоит сзади и пристально смотрит ей в спину. Катя оглянулась. На середине тротуара, шагах в десяти, виднелась невысокая фигура женщины — бледное лицо, кофточка в вырезе черного костюма выделяются в темноте. Женщина заметила, что Катя оглянулась, осторожно двинулась к ней. Катя узнала Анну.

Здравствуй... Катя.

Голос Анны, негромкий, ледяной, споткнулся на слове «Катя». Худощавое лицо в обрамлении пышных волос было непроницаемо, и лишь глаза горячо блеснули, на секунду задержались на Кате, метнулись к освещенному окну, уставились куда-то в ночь, в пространство.

Катя смогла в ответ только кивнуть головой, но Анна к тому времени уже отвернулась и не заметила кивка.

— Ждешь?.. — скупой спросила Анна. — Сторожишь?..

Голос ее был по-прежнему ледяной, но ни злобы, ни раздражения в нем не слышалось. И Катя снова не нашлась что ответить. Она стояла у столба, выставив грудь, словно старалась загородить спиной от Анны что-то дорогое, чему грозит опасность.

Анна медленно повернулась к ней, без стеснения оглядела: напряженное, словно ждущее удара лицо с остановившимися глазами, крепкая грудь, обтянутая платьем, полуобнаженные руки закинута назад.

— Красивая... Молодая... Зачем ты это затеяла?

— Анна... — с усилием выдавила первое слово Катя, запнулась на нем, сама прислушалась к своему голосу, звучащему чуждо и бесцветно, — чего ты хочешь?

Анна вздохнула. Катя подалась на нее:

— Хочешь ругать меня, упрекать?.. Твое дело: презирай, ненавидь — все вынесу и от тебя, и от людей, от всех, всех!

— Зачем ты это затеяла?

— Ты знаешь зачем. Ты знаешь!

— Я-то знаю... Ты — нет... Ты не знаешь его. Пусть мне калечишь жизнь... Да, калечишь. Я не молода, искать нового мужа, устраивать заново семью — для меня уже немислимая сложность. Жить одной как перст — кому в радость... Но ведь ты не только мне калечишь, но и себе, Катя, себе!

— Я ничего не хочу слушать.

— Нет, будешь... Он тебе кажется отзывчивым, тонким, искренним. Да, он отзывчив, но лишь к своей беде, к своей боли. Он тонок, может быть, но в одном — во внимании к своей личности. Есть в нем и искренность... Искренность человека, верящего, что он сам создан для более значительного, чем живущие вокруг люди.

— Вранье, вранье! Как не стыдно!

— Ты в угаре. Когда очнешься, помни — любовь кончится, но будет поздно, сломается жизнь.

— Ругай меня, кляни, но не клевети на него!

— Не кричи. Кричать должна я. Я — не ты, обижена.

— ...оклеветать мужа, чтоб спасти его для себя!..

— Я не клевету!..

— Тогда почему ты не отвернешься от него, почему ты хочешь его вернуть, почему ты следишь по вечерам за мной?..

— Потому, что я его люблю такого, какой он есть.

Я могу ему прощать. Ты любишь Павла выдуманного. А когда узнаешь настоящего, прощать не сможешь... Опомнись, Катя.

— Не хочу слушать! Не хочу!..

Анна не ответила, она через Катино плечо, мимо ее лица глядела вверх на окна райкома. И Катя, прижавшаяся к столбу, с блестящими от слез глазами, с бледным до зеленоватости в густых сумерках лицом, застыла, замолчала. Она не посмела оглянуться, но поняла, что в окнах Мансурова потух свет. Павел должен сейчас выйти.

— Что ж, я и не надеялась, что ты поймешь. А пока, — Анна возвысила голос, — я его законная жена. Я, а не ты, пойду к нему.

Анна неверными шагами направилась к райкомовскому крыльцу. Катя через плечо глядела ей в узкую спину, скрывавшуюся в темноте, улавливала шум шагов, шелест юбки и чувствовала, что Анна боится встречи с мужем, что нет в ней решительности.

Чтоб не слышать голосов мужа и жены, чтоб не заметил ее Павел, Катя сорвалась, бегом бросилась к дому.

До глубокой ночи она тайком от деда плакала в подушку от унижения, от любви к Павлу, от беспричинной, непонятной к нему жалости. Как бы ни думали о ней, каких бы слов ни говорили о Павле, она все равно его любит, любит, любит!

7

На красный стол с обеих сторон положено несколько десятков пар рук. Впереди, друг против друга, лежат тяжелые, большие, простодушные руки Игната Гмызина и костистые, цепкие руки Максима Пятерского. Руки Кости Зайцева, председателя «Первого мая», широкие, красивые, сильные, переплелись пальцами, нетерпеливо мнут одна другую, воют. По ним видно — не нравится хозяину то, что он слышит сейчас. Белые, мягкие, ничего не выражающие ладошки председателя из «Нивы» Дудыринцева чинно сложены одна на другой, как у примерного первоклассника. А рядом, словно нарочно подсунуты на отличку, руки Дарьи Терехиной — не по-бабьи громадные, корявые, короткопалые. Немало переворочали они земли на веку, должно быть, и теперь им легче выметывать на вилах пудовые охапки сена, чем выводить на бумагах председатель-

скую подпись. На дальнем конце стола — руки безликие, выглядывают из обтерханных рукавов.

Павел Мансуров докладывает о необходимости развернуть строительство кормоцехов по колхозам и не глядит на лица... Говорят, что по рукам легко отгадать характер человека. Ой ли! Руки Игната Гмызина самые простодушные из всех, а Игната-то Павел Мансуров и боится сейчас больше всех.

А вдруг да не только Игнат, все хозяева этих разнохарактерных рук поднимутся стеной против кормоцехов...

Не должно этого случиться! Райком партии за строительство, обком — тоже. Кому интересно навязываться на неприятности? Кроме того, еще покойный Комелев крепко-накрепко привил привычку — есть указания сверху, значит, надо подчиняться.

Не должны возражать! Только крупные руки Игната заставляют Павла Мансурова быть настороже.

Он кончил, отложил в сторону бумаги и только теперь поднял глаза от красного стола на лица.

Иссиня-белый череп Игната был низко опущен. Сухое, длинное, с хрящеватым носом и резкими морщинами лицо Максима Пятерского казалось невозмутимо бесстрастным, но только казалось. Когда взгляд Павла Мансурова остановился на нем, веки Пятерского с неуловимой поспешностью прикрыли глаза: «Не выйдет, не дознаешься, о чем я думаю...» Большинство председателей избегало глядеть на секретаря райкома, и только с чистого, розового лица Дудыринцева глаза так и прыгали навстречу, ловили взгляд.

Обсуждения на заседаниях, как правило, начинаются с общей заминки, минуту-две все молчат. И в эту минуту молчания Павла Мансурова охватила смутная тревога — вот он сидит один против всех, чужой этим людям. Склонили головы, взгляды отводят, — что они думают о нем, какие упреки зреют под черепом Игната Гмызина, под гладко зачесанными жидкими волосами Максима Пятерского?.. Может, презрение, может, даже ненависть?..

— Разрешите парочку словечек...

Из угла, за председательскими спинами, поднялся Серафим Сурепкин. Рыжеватый ежик волос повернулся в одну сторону, затем в другую, выцветшие глаза, искренние и детски наивные, обежали присутствующих.

— Товарищи! Мы, как один, должны отдать свои силы на укрепление колхозного строя. Наша задача, товари-

щи,— поднять животноводство. Наш долг — капля по капле отдать свою кровь за дело процветания...

К выступлениям Сурепкина все обычно относились как к повинности,— надо перетерпеть положенное время, выговорится, сядет, никому от этого ни холодно, ни жарко. Павел Мансуров еще при Комелеве недолюбливал безобидного инструктора,— такие ли работники нужны райкому! — позже хотел даже освободить его от работы, взять на его место человека боевого, думающего, но не доходили руки, да и сам-то Сурепкин не давал повода к недовольству — был добросовестен и исполнительен.

Но вот сейчас, когда увидел высокую сутулую фигуру, услышал голос с заученными, то повышающимися, то спадающими интонациями, Павел Мансуров неожиданно почувствовал облегчение — этот не скажет против, наверняка поддержит...

А Сурепкин, словно угадывая его желание, каждым своим словом гладил по сердцу:

— Кормоцеха, товарищи,— великое дело. Их строительство — первейшая задача...

Недалекий человек, он в эту минуту среди угрюмо молчащих председателей, сам того не подозревая, стал другом Мансурову. Павел сдержанно кивал каждому его слову: «Так, так, верно».

Преисполненный скромного достоинства, Сурепкин сел. Поднялся Дудыринцев. Круглый, мягкий, чистенький, с тихим голосом, влезавшим в душу, этот председатель всегда первым откликнулся на кампании, всегда давал высокие обязательства, но не всегда их выполнял, жаловался — того не хватает, этого нет, осторожненько гнул линию — отдать государству поменьше, положить в амбары побольше, задабривал и колхозников, умасливал и районное начальство.

— Правильно сказал Павел Сергеевич, что кормоцеха могут спасти положение с животноводством. Я обеими руками подписываюсь под тем, чтоб приступить к строительству...

И Павел Мансуров снова кивал головой: «Так, так, верно...» Но уж выступление Дудыринцева настораживало. Хитер — так пересластит, что все возмутятся. Будет потом сидеть и пожимать плечами: «Я что? Я придерживаюсь взглядов Павла Сергеевича». А Павел Сергеевич отдувайся...

Так оно и получилось. Дудыринцев, расхваливая кормоцеха, словно мимоходом обронил, что они важнее новых скотных дворов. Это была нелепость. Павел Мансуров не успел возразить, из-за стола поднялся Игнат Гмызин, всем телом повернулся к устраивающемуся на стуле Дудыринцеву и спросил:

— Ты веришь, что теперь строительство кормоцеха принесет твоему колхозу пользу?.. Можешь не отвечать. Знаю — не веришь! А ты сам, Павел Сергеевич?.. — Игнат повернулся к Мансурову.

— Верю! — с поспешностью ответил Павел. — Да, я верю в пользу, не сейчас, а в будущем.

— В будущем польза? Это не тогда ли, когда наш племенной скот померзнет зимой в неотремонтированных дворах?

Рука Игната Гмызина, выглядевшая до сих пор такой простодушной, сжалась в увесистый кулак, угрожающе качалась над столом.

— Никто не верит в такую пользу, ни я, ни Дудыринцев, ни ты сам, товарищ Мансуров! Кроме, может, одного Сурепкина... Не верим, а настаиваем, приводим с серьезным видом доказательства. Только потому, что желательно блеснуть этими кормоцехами перед областью. Что ж это, товарищи, жизнь устраиваем или игру играем? Если это игра, то опасная. Ставка в ней — благополучие всего района. С такой ставкой не шутят.

— По-твоему, выходит, обком игрушками занимается? — не выдержал Павел Мансуров. — С чьего совета мы начинаем?

— Обком плохо знает наш район, передоверился таким, как ты! А ты запутался и стараешься выкрутиться нечестными путями...

— Мы, кажется, здесь разбираем вопросы не личного характера, — бросил Мансуров сдержанно.

— Где уж личное, когда ты, чтоб выигрышней показать себя перед областью, ставишь на кон животноводство всех колхозов.

Мансуров резко встал, прямой, подтянутый, грудь вперед, голова закинута, глаза горят темным, недобрым огнем, голос ледяной:

— Товарищ Гмызин! Не вносите склочный характер в обсуждение. Иначе я вынужден буду лишить вас слова.

— Не стоит лишать, я уже кончил. Еще раз повторяю: в нашем положении сейчас кормоцеха — опасная афера! Игнат Гмызин сел.

Теперь все до единого глядели в лицо Мансурову — одни с испугом, другие с сумрачным торжеством, третьи с любопытством.

— Дайте мне слово, — поднялся Максим Пятерский.

Длинный, узкоплечий, лицо схимника, только седой бородки недостает, он вынул распухшую, захватанную записную книжку, не спеша оседлал хрящеватый нос очками, заговорил не торопясь:

— Вот, товарищи, послушайте цифры...

Павел Мансуров уставился в пряжку брючного ремня на тощем животе Максима Пятерского и слушал... Лесу для кормоцеха нужно столько-то, рабочих рук — столько-то, материал, доставка, рубли, копейки, статьи годового дохода... Не хватит на ремонт крыши телятника... Он, Павел Мансуров, не хочет этого слышать, не хочет понимать! Ему понятно одно: кормоцеха — щит, кормоцеха — занавеска, не будет их, придется предстать перед обкомом голеньким, а после истории с Федосием Мургиным надо быть начеку. Надеялся — не возразят, побоятся. Возразили! Игнат виноват, лезет на рожон. Хорошо же, Игнат Егорович, придется, видать, всерьез схлестнуться. Еще узнаешь Павла Мансурова!

8

Павел знал: Игнат сильнее других убежден, что излишек скота — ошибка, что Мансуров перегнул палку и боится открыть это перед обкомом.

Игнат убежден, что Федосий Мургин не виноват, что его вину раздули.

Наконец, Игнат единственный из всех людей видел в кабинете Мансурова картуз, догадывается о характере разговора, после которого старика нашли мертвым в лесу. Стоит Игнату пожелать, и история с Мургиным снова всплывет. Случись такое, к Павлу Мансурову станут относиться с предельной подозрительностью.

А то, что Игнат постоянно напоминает о нехватке кормов... А рассуждения его о неготовности животноводческих построек к зиме...

Павел до сих пор успокаивал себя — свой человек, старая дружба свое покажет... При встречах против воли заигрывал, трепал по плечу, заводил разговоры о близости:

— Нас же с тобой не базарное знакомство связывает...

Сам не замечал, что жил какой-то заячьей надеждой — авось не тронет, помилует. Тронул, да еще как! Перед всеми вывесил: «Выкрутиться стараешься нечестными путями...»

Теперь, вспоминая Игната, Павел Мансуров наливался ненавистью. Ненавидел все: приглушенный, медлительный басок, щупающий взгляд маленьких серых глаз, до синевы выбритый череп, даже привычку сидеть ненавидел — локти в стороны, кулаки в колени, без того широк, а тут еще растопорщится. Монумент, а не человек.

Совещание председателей ничего не решило. А время не ждет. В областной газете что ни день, то информация: такой-то колхоз в таком-то районе приступил к строительству кормоцеха. Коршуновцы медлят, коршуновцы отстают, тянутся в хвосте. В обкоме, должно быть, создается впечатление — Мансуров работает спустя рукава...

Второе такое же совещание собирать бессмысленно. Снова председатели встанут за широкую спину Игната Гмызина.

Павел Мансуров начал вызывать председателей поодиночке, разговаривал с ними с глазу на глаз.

— Можно?

Приглаживая ладонью волосы, бочком протискивается Максим Пятерский, сутулится, ищет взглядом, куда бы сунуть кепку.

Павел Мансуров встает из-за стола, в вытюженном полотняном кителе, свежевывитый, идет навстречу, протягивает руку:

— Заходи, заходи, Максим. Ну-ка, присядем.

Полуобняв председателя за плечи, тянет к дивану, усаживает, сам садится, закидывает ногу в хромовом сапожке, щелкает портсигаром.

— Закуривай. По какому вопросу тебя вытащил, ты знаешь?

— Догадываюсь, Павел Сергеевич, — вздыхает Пятерский и отводит горбатый нос в сторону.

Он чувствует — сейчас будет поединок, а выиграть его нелегко. Это не на совещании, там и справа и слева сидят

такие же, как он сам. Они и реплику подбросят, и взглядом ободрят, и выступлением поддержат — не робей, действуй. Тут — один. Корешки толстых книг виднеются сквозь стекло шкафа, черным и коричневым лаком блестят два телефона, один местный, звонить по колхозам и районным организациям, другой — прямой провод в область. Все значительно, все напоминает о больших деловых связях, о широком размахе в работе. Павел Сергеевич прост с виду, глядит в глаза без хитрости, но в любое время может подняться и сказать: «Я, как секретарь райкома партии, считаю...» Легко ли возражать?

— Так ты категорически отказываешься от строительства кормоцеха? — спрашивает Павел Мансуров, чуть-чуть нажимая на слово «категорически».

— Павел Сергеевич, сами посудите... — Максим Пятерский поспешно выуживает из кармана свою пухлую записную книжку.

Но Павел Сергеевич не дает ее раскрыть.

— Все понимаю... Ты думаешь, мне неизвестны ваши трудности? Рабочих рук нет, в кредиты и без того залезли... Хорошо! Решим не строить, отстанем от других районов, признаемся перед областью: простите, нет сил преодолеть трудности...

— Объяснить надо, Павел Сергеевич. Такое-то дело поймут...

— Объяснить? Ты человек в годах, коммунист со стажем. Ты понимаешь, слово «не могу» — не наше слово. Через него приходится перешагивать...

Павел Мансуров, стряхивая пепел на ковер, покачивая носком начищенного сапога, говорит спокойно, неуверенные возражения Пятерского опрокидывает без усилий. И мало-помалу Максим Пятерский понимает — поединка не получилось, сопротивляться бессмысленно.

— Игнат Гмызин — толковый хозяин, — продолжает неторопливо Павел Мансуров, словно не замечая подавленности Пятерского, — но для меня, близко с ним знакомого (ты же знаешь, мы даже родня), он как человек до сих пор загадка. Вот тебе факт: сам Гмызин просил племенной скот, получил его, а тем, что другие получили, недоволен. Наверно, не раз от него слышал: «Перегнули палку, не под силу набрали...» Сейчас он возражает против кормоцеха, но, я уверен, будет исподволь готовиться к его строительству. Сам построит, а такие, как ты, будете

глядеть с раскрытым ртом, удивляться: ну и хозяин, вон как вырвался! Не могу утверждать, но мне кажется, честолюбив мужик, хочет быть первым, боится делить славу. Такое честолюбие — позор для коммуниста...

Через час Максим Пятерский уходил от Мансурова, дав слово начать строительство кормоцеха, унося в душе растерянность.

А через пятнадцать минут в кабинет Мансурова снова просовывалась выгоревшая на солнце кепка, слышался вопрос:

— Можно?

И Павел Мансуров шел навстречу.

— А-а, Никита Фомич! Заходи, заходи...

Разговор начинался снова.

Игнат Гмызин думает, что колхозные председатели поднимутся вокруг него частоколом. Павел надеется: хватит сил расшатать такой частокол. И все же он понимал — это еще не победа...

Этот Максим Пятерский начнет строить кормоцех: привезет лес, заложит фундамент, а недостроенный телятник будет стоять без крыши, мучить председательскую совесть... Да к тому же на всяк роток не накинешь платок — члены правления, колхозники непременно станут попрекать: «Неладно поступаешь. Кормоцех нам не к слеху, телятник позарез нужен...» Разве можно быть уверенным, что Максима опять не охватит сомнение? А если охватит, кому он его понесет? Не секретарю райкома, который не поддержит. Только Игнату Гмызину, не иначе...

Все тихо пока. Колхозы берут в банке кредиты, заготавливают лес. Тихо... Но искорка тлеет, ее не затоптал еще Павел Мансуров. Где гарантия, что при первом же удобном случае не разгорится снова сыр-бор?

И все Игнат Гмызин, крапивное семя!..

Пять лет Саша Комелев носил в кармане комсомольский билет. Пять лет — срок немалый, это четверть Сашиней жизни.

Две недели тому назад в колхозе «Труженик» было партийное собрание. Собрались: чисто выбритый, лоснящийся, но без привычного добродушия, суровый Игнат

Егорович, Евлампий Ногин, навесивший бородку над протоколом, скотница Мария Гуляева, по-бабьи встревоженно поглядывающая на Сашу, Петр Мирошин, Федор Гуляев, Иван Пожинков, все трое — фронтовики, «гвардия», как называл их Игнат Егорович.

Саша вместе с ними уселся за стол.

Председательствовал кудрявинский бригадир Петр Мирошин. Встал, крикнул, поглядел грозно на Сашу и объявил:

— На повестке один вопрос: прием в кандидаты партии Александра Комелева. Да!

Попросили Сашу рассказать о себе. В комсомол вступал — терялся, нынче по-прежнему трудно говорить о жизни: кончил школу, теперь в колхозе, и вся недолга.

Выслушали, посочувствовали:

— Ничего, парень, дело наживное. Вырастет еще твоя биография.

Читали рекомендации, спрашивали по Уставу. Приняли единогласно...

Пять лет носил в кармане комсомольский билет, пять лет — четверть жизни! Пришла пора с ним расстаться.

Саша сидел в общем отделе райкома, дожидался, когда вызовут к Мансурову. Тот должен сейчас вручить ему кандидатскую книжку.

Только что в кабинет к Мансурову вошел высокий парень, тракторист-трелевщик из леспромхоза. Он до этого тискал меж колен кепку, два или три раза, наклоняясь, указывая глазами на дверь кабинета, таинственно спрашивал у Саши:

— Не знаешь, друг, там по политике гонять не будут?

Оставшись один, Саша вынул из кармана комсомольский билет, развернул. Билет совсем новенький, словно вчера получил, за пять лет — ни пятнышка, ни потертости. Берег его, на работу с собой не брал, боялся, как бы от пота не пожелтел. Теперь даже обидно — уж очень свеженький, не обжитый. Возраст билета только и сказывается в многочисленных лиловых штампах, да еще в фотокарточке — мальчишка взъерошенный, нос задран, глаза круглые, как у совенка...

Саша вспомнил тот день, когда впервые взял в руки этот билет. Секретарь райкома комсомола Женя Волошина вручила его: «Помни, кто ты теперь!» На улице тогда была осень, мелкий дождичек щекотал лицо, булыжник мок-

ро блестел на шоссе, погода не из праздничных. Вместе с Сашей получил билет Пашка Варцов. Они учились в разных классах, имели разных товарищей, даже в ночное, на рыбалку не ходили вместе. А тут вышли из райкома, оглянулись и поняли: никогда до самой смерти уж не забудут этот серенький день, с дождиком, с мокрым булыжником, со словами, которые еще продолжают звучать в ушах: «Помни, кто ты теперь!» Будут помнить день, будут помнить друг друга. Смущенно улыбаясь, они протянули руки: «Поздравляю...» — «И тебя тоже...»

Мать, увидев билет, сказала свое: «Не хватай грязными руками, живо заводишь, глядеть будет не на что...»

Отец подержал билет в руках: «Вот и вырос, Сашка. Теперь ты нам помощник».

Сам Саша не мог успокоиться много дней. Оставаясь один, вынимал из кармана, разглядывал, не уставая: серая обложка, силуэт Ленина, — развернешь — под длинным номером полностью фамилия, имя, отчество. Никогда еще в жизни не имел документа — этот первый.

И Саша старался себе представить, как будет выглядеть этот билет через много лет. Видел его Саша потертым, покоробившимся, кто знает — забрызганным кровью, его кровью! Будущее связано с этой книжкой. Как тогда хотелось заглянуть в него! Может, придется прятать билет в солдатскую пилотку, чтоб переправиться на вражеский берег, может, вода незнакомой реки размочит лиловую печать райкома комсомола, может, горячий осколок полоснет по груди, вырвет уголок серой обложки...

Через минуту-две получит книжку кандидата партии, комсомольский билет придется сдать. И обидно, что он новенький, только у краев чуть пожелтела бумага.

У Пашки Варцова билет, должно быть, выглядит не так. Он поступил в ремесленное, сейчас, слышно, работает далеко, в Новосибирске, жизнь более шумная...

Парень-трелевщик вышел из кабинета красный, сияющий. Путаюсь в кармане, он с ревнивой суетливостью прятал книжку.

— Спросил, газеты читаю ли, — доверительно и радостно сообщил он. — Регулярно ли их доставляют, перебоев нет ли?.. — И добавил шепотом: — Давай, друг, шевелись, тебя приглашает...

Саша вошел в кабинет, смущенно поздоровался, замаялся у порога.

— Прошу, товарищ Комелев, проходите.

Павел Сергеевич Мансуров поднялся из-за стола, чуть-чуть склонив курчавую голову на правое плечо, протянул руку, крепко, по-мужски пожал.

— Присаживайтесь.

Саша сел на самый кончик стула. Он, как и только что вышедший отсюда тракторист-трелевщик, ждал каких-то особых, мудреных вопросов.

— В институте учишься?

— Да, на заочном,— ответил Саша и похолодел: «А вдруг да спросит, как студента, про эмпириокритицизм, например! Буду плавать...»

— И на каком курсе?

— На втором.

— Когда кончишь, чем думаешь заниматься?

— Как — чем? Буду работать в колхозе.

— А сейчас в колхозе что делаешь?

— Вот на сенокосе работал.

— Кем же ты на сенокосе работал? Простым косцом?

— И простым случается. Правление меня послало в кудрявинскую бригаду...

— Как в этом году кудрявинцы справились?

— Скрывать нечего, заросли у них покосы. Гектаров шестьдесят не пришлось тронуть.

Саша понемногу успокоился — вопросы все были простые, житейские.

— Заросло? А по сводке все скошено,— удивился Мансуров.

— Что поделаешь,— невольно подражая Игнату Егоровичу, сокрушенно развел руками Саша,— приходится кривить душой.

— Приписали?

Это слово было подброшено с поспешностью, взгляд Мансурова из официально приветливого стал пристальным, острым. Саша почувствовал неловкость, словно Мансуров его поймал на лжи.

— Да,— ответил он растерянно.

— По инициативе Игната Егоровича Гмызина?

— Да,— снова обронил Саша, чувствуя что-то недоброе.

К счастью, Мансуров на этом кончил с вопросами. Он поднялся, взял из лежащих на столе бумаг коричневую книжку, лицо его стало торжественным, голос звучным:

— Комелев Александр Степанович! С этой минуты вы считаетесь кандидатом в члены КПСС! Надеюсь, что вы с честью станете носить звание коммуниста. Возьмите вашу книжку!

Саша с волнением взял ее.

— Разрешите поздравить вас, товарищ Комелев, — прозвучало у него над головой.

Оторвав взгляд от книжки, Саша увидел протянутую руку. Он схватил ее, с силой сжал...

На обратной дороге в колхоз Саша не спешил, не гнал лошадь: хотелось побыть одному, подумать.

Встречный грузовик, промчавшийся мимо, как загнанный конь запахом пота, обдал горячим дыханием бензина. Затихая, удалялся шум его мотора за спиной. Лошадь шла ленивым шагом, лениво покачивалась дуга. Саша глядел вперед и не видел ее. Далеки были мысли, покойным ручьем текли они по Сашиной жизни...

...Коршуновский Дом культуры, над сценой всего только две электрические лампочки. В зале из темноты выступают ребячьи лица, лица родителей... Холодно в одном пиджаке и без шапки. Саша стоит, уставился в темноту зала, поднял руку над головой, повторяет вместе с другими ребятами:

— Я юный пионер СССР, перед лицом своих товарищей...

В нестройный хор детских голосов вплетается шум метели, срывающей снег с железной крыши.

Они кончили. Пионервожатая Галя Пекарева должна была каждому повязать галстук. Но вдруг появился на сцене отец Саши, в высоких валенках, в тяжелом полушубке, с воротником, занесенным снегом. Он встал посреди сцены, снял шапку, поднял ее над головой и сообщил громко и радостно:

— Товарищи! Наши войска прорвали блокаду Ленинграда! Большая победа!

Кричали, хлопали в ладоши. Саша под общий шумок, кажется, даже выплясывал на сцене от радости, но никто не остановил, никто не обратил внимания.

— Вас поздравляю, юные пионеры! — обернулся отец к сбившейся шеренге. — Вы наденете красные галстуки в памятный день!

Закричали «ура». Отец схватил подвернувшуюся под руку Машу Журавлеву, поднял, поцеловал.

Вожатая Галя первому повязала галстук отцу Саши. Тот стоял в расстегнутом полушубке, края галстука лежали на мокром мерлушковом воротнике, лицо, как галстук, красное то ли от радости, то ли от смущения, то ли просто от мороза — почетный пионер.

С того дня, наверно, и начался Сашин путь к партии. Ждал: «Вот вырасту большим...» Слова «большой», «взрослый» для него не отделялись от слов «член партии». И вот он взрослый, вот он переступил порог партии. Отец теперь сказал бы: «Ты не помощник. Ты такой, как я».

Истомленная жарой, гнулась к земле почти поспевшая рожь. Парит. Не соберется ли к вечеру дождь?

Саша вспомнил, как в прошлом году он вместе с Игнатом Егоровичем на этой дороге попал под дождь. Помнится, как тот сорвал с головы кепку, прижал к сердцу, чтоб не замочило партбилет. Мелочь, а вот запала в память...

Игнат Егорович сейчас ждет... Вчера вечером, после занятий, они вышли вместе на крыльцо, уселись под звездами. Игнат Егорович курил, хмурился, думал о чем-то своем и, должно, не совсем веселом.

И Саша спросил, о чем он думает.

— О честности, Сашка, — ответил Игнат Егорович.

— Почему это вдруг о честности?

— Не вдруг. Жизнь заставляет.

— И что ж ты думаешь?

— Я думаю, что не тот честный, кто в чужой карман не залез, а тот, кто другого схватил, залезть не дал. Последнее-то труднее. Завтра партийный документ получать едешь, вспомни эти слова.

Вспомнить-то их нетрудно, вот и сейчас вспомнил, но не совсем они понятны для Саши: кого хватать, кто лезет в кармап? Мудрит что-то Игнат Егорович.

Игнат Егорович был занят. В его закутке сидел корреспондент областной газеты, донимал вопросами.

У разъездного корреспондента Ильи Ромадского первый запал юности уже исчез вместе с густой шевелюрой. Последнюю сменила лысинка на макушке, пока еще

довольно удачно прятаясь в остатках черных сухих волос. Ромадский начал уже слегка полнеть, но ни живости движений, ни молодой энергии не утратил. Газетной работой дорожил, но продолжал писать лирические стихи про «синеглазое счастье» и «золото волос». И хотя жена его была ярко выраженная брюнетка, она прощала мужу любовь к синим глазам и золотым волосам, так как твердо верила в его добропорядочность.

Илья Ромадский считал себя зрелым корреспондентом, мастером собирать материал. В этом деле он придерживался теории, которая заключалась в следующем. В нашей жизни важно новое, нарождающееся, а не старое, отмирающее. Новое в нашей жизни лучшее. Значит, в первую очередь надо показывать только лучшие колхозы, лучших людей. Худшие же колхозы, худшие люди суть старое, отмирающее, они недостойны внимания.

Поэтому, выезжая в Коршуновский район, Илья Ромадский еще в городе узнал, что одним из лучших колхозов там считается «Труженик».

Шофер Никита Шуренков, получавший на станции оборудование к автопоилкам, привез корреспондента в Новое Раменье вместе с его плащом, фотоаппаратом и крошечным, выдавшим виды чемоданчиком.

В шляпе, сбитой на затылок, в потертом костюмчике, в галстук с захватанным узлом, Илья Ромадский предстал перед Игнатом Гмызиным.

Еще не видя председателя, зная о нем понаслышке, Ромадский уже заочно любил его. Как же иначе — герой его будущего очерка.

— Придется вам извинить меня — отниму время. Приехал специально побеседовать с вами...

Каждый новый человек всегда немного смущал Игната, а тут еще корреспондент, пишущий в газетах. Игнат виновато улыбнулся:

— Не знаю, сумею ли быть умным беседчиком...

Ромадский с ходу оценивающе приглядывался к будущему герою, мысленно представлял, как напишет его портрет: «Коренастый, крепкий, как выросшее на приволье дерево... Умное, русского склада лицо...»

Усевшись в председательском закутке, Ромадский принялся задавать привычные вопросы:

— Как приживается племенной скот?

— Ничего, не жалуемся.

«Председатель Гмызин не из тех, кто любит хвастать своими успехами. Он скуп на ответы...» — мимоходом отметил про себя Ромадский.

— Как с заготовкой кормов?

— Силосу еще прошлогоднего хватит, ну и в этом году заготовили. А с силосом и о сене не печалимся.

«...Но по скупым ответам можно судить, в каком прекрасном порядке содержится колхозное хозяйство...»

— Надеюсь, что вы в числе первых приступаете к строительству кормоцеха?

Игнат Гмызин пожал плечами:

— Пока не думаю.

— Как так?

— Нам в первую очередь надо сейчас оборудовать новый скотный двор с автопоилками, с электродоильными агрегатами, словом, со всей механизацией. В мечтах есть — свинарник заложить.

— Ну, а кормоцех?

— Преждевременно.

— Отказываться от передового с вашими возможностями! Нет, нет, не укладывается у меня в голове.

Передовое с куста не сорвешь, в карман не положишь. Атомная электростанция — вещь более передовая, чем, скажем, ГЭС. Но сейчас в нашей стране строят пока в широком масштабе гидростанции. Всему свое время, дойдут и у нас руки до кормоцехов.

Игнат Гмызин навалился грудью на стол и принялся терпеливо и подробно рассказывать корреспонденту, почему сейчас колхозу нужней строить механизированные фермы, а не приступать к кормоцеху.

Ромадский вышел от Гмызина в легкой растерянности.

Он любил постоянно повторять слова — «глубокое проникновение в жизнь», верил, что с каждым выездом он совершает такое проникновение. Но проникать в жизнь было просто-напросто некогда, ему не приходилось подолгу задерживаться в одном колхозе. Вместо того чтобы самому заметить, самому выяснить, невольно прислушивался к чужому мнению и высказывал как свое. И это-то соби- рание чужих мнений он искренне считал проникновением в жизнь.

В редакции все были убеждены, что кормоцеха полезны во всех случаях. Убежден в этом был и Ромадский. Теперь Игнат Гмызин, колхозный председатель, пользовав-

шийся уважением в области, заявил обратное. Ромадский стал колебаться.

«А что, если развернуться очерком на подвал и факт за фактом доказать — строительство кормоцехов не всюду можно выставлять как первоочередную задачу?..» И ему уже представлялось — очерк вызывает шум, горячие диспуты. Ответственный секретарь Сорочинцев, разумеется, будет против помещения очерка — перестраховщик. Заведующий отделом Корольков любит боевые выступления

Но одного мнения Игната Гмызина было недостаточно.

Ромадский попросил «подкинуть» его в село Коршуново и часа два спустя сидел уже в кабинете Мансурова, осторожно передавал недавний разговор.

— А вы как думаете, — перебил его Павел Мансуров, — прав Гмызин или нет?

— Я думаю, отчасти прав.

— Отчасти? Гм...

Ромадский поспешил поправиться.

— Пожалуй, даже очень во многом.

— Вы, газетные работники, — начал не торопясь, внушительно Мансуров, — часто глядите на жизнь в увеличительное стекло. Для вас достаточно, чтоб какой-нибудь председатель колхоза пошевелил ногой, как тут же гремеласно извещаете: такой-то товарищ идет твердой поступью к коммунизму!

— Не скрою, не скрою, всякое случается.

— Игнат Гмызин — толковый хозяин, умный мужик. За четыре года колхоз поднял — не узнать...

— Вот-вот, я заметил это. Не правда ли, его замечания о кормоцехах не лишены здравого смысла?

— Но это очень сложная личность...

— А на вид, представьте, простоват...

— Этот человек выступает против всеми признанного ценного начинания только потому, что не хочет иметь соперников...

Павел Мансуров вышел из-за стола, принялся ходить по кабинету от стены к столу, говорил громко, уверенно, словно диктовал корреспонденту его будущий очерк. Тот, поджав губы, следил быстрыми глазами за шагающим секретарем, ловил каждое слово.

— В душе он честный, порядочный, колхозники его уважают за принципиальность, но желание казаться лучше, чем есть на самом деле, желание быть первым во всем за-

ставляет Гмызина совершать довольно-таки некрасивые поступки. Всего несколько часов тому назад один колхозник из «Труженика», получавший кандидатскую книжку, сообщил мне, что Гмызин посылал в район дутые сводки.

— Как так?

— Очень просто. Их покосы кой-где позарастали кустарником. Вместо того чтобы выкосить всю траву между кустов, Гмызин просто вписал цифру. Если строго судить, он обманул райком, партию, обманул государство!..

— Простите, как фамилия того колхозника, который сообщил вам этот факт?

— Комелев. Александр Комелев. Сын покойного секретаря райкома Комелева. Неглупый парень. Работает в колхозе, учится на заочном в сельхозинституте. Сегодня я ему вручил партийный документ.

— Так, так, я слушаю...

В этот же день Ромадский покинул Коршуновский район. Дорогой, в вагоне, он был возбужден, чувствовал в себе творческий зуд.

Он начнет очерк со встречи с председателем колхоза «Труженик», расскажет, какое произвел тот на него впечатление — «коренастый, крепкий, как выросшее на приволье дерево... умное, русского склада лицо...» Он не скроет, что Гмызин толковый хозяин, что пользуется уважением колхозников, вызовет вначале к нему восхищение у читателя, а потом штришок за штришком раскроет сущность: честолюбив, не желает, чтоб остальные колхозы шли в ногу с его колхозом, выступает энергично против передового, падок на темные махинации... Да ведь это же образ, многоплановый, сложный! Удачный подвернулся материал!

Коршуновская МТС помещалась в старой церкви. Внизу — вагранка и кузница. Там, где прежде был алтарь, за царскими воротами, — кабинет директора. На заброшенной колокольне хозяйничают голуби. На паперти, развалиясь, сидят обычно трактористы, шоферы, приехавшие по делам колхозники, передают друг другу кисеты, крутят сигарки.

Саша приехал договориться о переброске кустореза в кудрявинскую бригаду. Директора не было. Обещал к обеду вернуться. Саша сидел вместе с другими на паперти, слушал ленивые разговоры о травах, о горючем, о подгонке подшипников...

К чугунной ограде, где висела газетная витрина, забранная проволочной сеткой, подошла девушка с кипой газет, не спеша сменила старую газету на свежую, крикнула сидевшим на паперти:

— Чем ляды точить, читать идите! О нашем районе пишут.

Старичок из колхоза «Светлый путь» соскочил первым, подпрыгивающей походочкой направился к девушке.

— погоди, красавица. ненужную-то газетку на раскучрочку нам оставь.

Взял газету, принялся свертывать и застыл, пригнувшись к витрине.

— Пойти почитать, что пишут, — лениво поднялся один из трактористов.

А через минуту около газетной витрины уже стояла толпа.

Тракторист, низко пригнувшись, выставив зад с двумя удивленными глазами заплат, читал вслух:

«Вдумчивый, расчетливый хозяин, способный организатор, председатель Гмызин всеми силами противится передовому. В чем причины?..»

— Вот что значит начальство против шерстки гладить.

— Да-а, влили мужику промеж глаз.

— Тише, черти! Слушайте. Читайте дальше, Серега.

— «В чем причины?.. А причины кроются в том, что товарищ Гмызин из сугубо эго... эгоистических расчетов...»

Саша, чувствуя над ухом чье-то горячее дыхание, весь сжавшись, слушал, слушал и не совсем понимал: что случилось? До сих пор ни от кого не слышал даже слова, даже намека, что Игнат Егорович нечестный человек, что он хитрит ради своей выгоды. Все относились к нему только с уважением. И вдруг такие упреки! Без малого враг колхозам. Как все перевернулось! Где правда? Чему верить?

Спотыкающийся голос тракториста Сереги доходил словно издали, недоуменные, путанные мысли, закипевшие в голове, мешали сразу схватывать смысл. Вдруг Саша

вздрагнул — тракторист произнес его имя и фамилию. Произнес и споткнулся, замолчал. Стоявшие вокруг Саши люди зашевелились, он почувствовал на себе настороженные взгляды.

— «...Колхозник Александр Комелев, — продолжал тракторист — получая из рук секретаря райкома партии товарища Мансурова кандидатскую книжку... кандидатскую книжку, сказал, что не может утаить такой факт... факт, когда председатель Гмызин подсовывал райкому и райисполкому фальшивые сводки...» Эх, мать честна! Выходит, жульничал. Не похоже на мужика.

— Какой факт? Не говорил я! Ничего не говорил! — закричал сердито Саша.

— Помолчи-ко, друг. Опосля петушиться станешь, — обрезал его голос сзади.

— «Фальшивые сводки...» Э-э, черти, сбили меня... вот... «Покосы колхоза «Труженик» отчасти заросли кустарником. Вместо того...»

У Саши обмякли ноги — трудно стало стоять, невозможно слушать дальше, отойти бы, сесть в сторонке, опомниться... Но Саша не посмел пошевелиться, прослушал все до конца.

Тракторист кончил. Люди зашевелились, раздвинулись, не спеша потянулись к церковному крыльцу.

— Камешек спустили.

— Пересолили.

— Пересолили не пересолили — тут уж разбираться поздно. Припечатали, и баста.

— Теперь, поди, не усидеть в председателях.

— А то... На всех заборах по области вывесили.

Саша отошел, опустился на траву, под кирпичный фундамент ограды, лег лицом вниз. А со стороны доносился разговор. Говорили просто, не боясь, что он услышит.

— Гляньте — вроде мучается паренек-то.

— Что ему мучиться. Не его стукнули — председателя.

— Да его-то Игнат обхаживал, как добрая корова телка.

— За то, видно, он и свинью ему подложил.

— Молод, молод, а уж знает, как по чужим костям на печку влезть.

Саша вскочил на ноги, зашагал прочь.

То отбегая от берега, то прижимаясь к самой воде, вдоль Ржавинки бежит тропинка. Она, как и шоссе, может привести к деревне Новое Раменье. Но если шоссе через овраги, через угоры и поля проламывает себе прямой путь, то тропинка, как и речка, капризно вертлява. Путь по ней до Нового Раменья вдвое дольше.

Над вздрагивающими от течения камышами задумчиво висят стрекозы. Подергивая узкими хвостиками, прыгают трясогузки по выступившим из воды камням. Солнце обливает кусты и речку со всей ее непо потревоженной живностью.

Ни быстрая ходьба, ни тихий уют суевой Ржавинки не могли успокоить Сашу.

Он был почти сыном Игнату Егоровичу. За спиной сказал, тайком наябедничал — вот благодарность за все заботы! Люди уже говорят: «Свинью подложил... По чужим костям на печь влезть...» По чужим костям! Не по чужим, выходит, по костям Игната Егоровича! Как это получилось? Мансуров! Ведь только он мог сказать, он один!

Посреди речки лежали валуны. Их, ноздреватых, с зеленой слизью, неприступно молчаливых и старчески безобразных, Ржавинка игриво, по-молодому щекотала водой, весело и ласково на что-то уговаривала.

Только бы не встречаться с Игнатом Егоровичем! Стыдно. Страшно. Страшен взгляд его глаз, страшен будет и голос его, а разве не страшно, когда промолчит, не упрекнет ни в чем. Нельзя встречаться, нельзя идти в Новое Раменье. А люди?.. Там-то ведь живут те, кто знает Игната Егоровича. Если посторонние сказали: «Свинью подложил...» — что тогда скажут раменцы? Даже Настя и та должна отвернуться...

Тропинка нырнула в кусты, потянуло от земли запахом прели. С каждым шагом он все ближе и ближе к деревне Новое Раменье. Зачем он идет? Нельзя там показываться!

Нельзя?.. Остановиться, выбрать место поглуше, прилечь в тень на травку... Вода меж камней журчит, стрекозы висят коромыслами, трясогузки прыгают. Глядеть на все это, слушать воду, не думать ни о чем, пролежать до ночи. А ночью — домой, к матери, собрать вещи, взять денег — и утром, с первой машиной, на станцию. Оставить здесь весь стыд и позор.

Тропинка вынырнула из кустов, врезалась в рожь. В этом году рожь вымахала высокой, колосья бьют по глазам... Он продолжает шагать. Он идет. Куда? Зачем? Нельзя идти!

Нельзя?.. Скрыться?.. Вот тогда-то уж Игнат Егорович подумает — от стыда сбежал, вот тогда-то скажет — подлеца вырастил. Прав будет!

Саша прибавил шагу, колосья хлестали по лицу...

Все вышло неожиданно просто. С замирающим сердцем Саша толкнул дверь в председательский закуток. Игнат Егорович встретил его спокойным взглядом, кивнул — «садись», продолжал писать. Крупная, с натруженными венами рука старательно выводила тонкой ученической ручкой букву за буквой. Наконец отодвинул бумагу, закурил, произнес:

— Ну, рассказывай, как там вышло?

Широко раскрытыми глазами, с удивлением и благодарностью Саша уставился на Игната Егоровича. Тот усмехнулся:

— Думал, что возмущаться буду?

— Игнат Егорович! Все не так... Все иначе..

— А ты рассказывай. Знаю, что иначе.

Саша, сбиваясь и спеша, принялся передавать разговор с Мансуровым.

— Подлец!

— Игнат Егорович...

— Не ты подлец, а Мансуров... В нашей жизни, Сашка, есть рамки. Часто в них трудно развернуться — тесны. Надо, скажем, купить партию шифера, и деньги есть в банке, а не дают — не по смете. Надо посеять клеверу — нельзя, не по директивной установке. А эти сводки... В Кудрявине покосы позарастали лет десять тому назад, а в сводках требуют — учитывай их. Кому не приходилось обходить сторонкой эти сметы, директивы, сводки? Я обошел. Суди меня — отвечу, но подними вопрос о том, чтобы ни у меня, ни у других председателей не случилось больше нужды объезжать на кривой, поправь жизнь. Но разве это нужно Мансурову? Для него партийная работа — лишь лесенка, по которой удобно подняться над всеми... Что ж, Павел Сергеевич, пришла пора поговорить в открытую... Вот, Саша, прочитай: в обком пишу...

Саша взял в руки бумагу.

Велика сила слов, напечатанных на шершавом газетном листе.

Все знакомые Игната Гмызина вроде бы не соглашались со статьей, многие даже возмущались ею, многие от чистого сердца высказывали сожаление:

— Поводил какой-то перышком по бумаге, глянь — матерому мужику ноги обломал.

— После такого тумака трудно не захромать.

Игната Гмызина жалели, а тех, кого жалеют, невольно начинают считать слабыми, беспомощными, в них перестают верить.

Сам Игнат продолжал жить, как жил. Утром рано уходил на поля — не пришла ли пора начинать выборочную жатву? Днем всегда его можно было увидеть на стройке нового скотного — там бетонировали дорожки, устанавливали автопоилки. По-прежнему добродушно спокойный, уверенный в себе, нахлобучив на гладкий череп мягкую кепку, увесисто-твердой походкой ходил он по деревне. Те, кто видел его каждый день, мало-помалу начинали забывать о газетной статье. И только Саша помнил, не мог успокоиться.

Между Сашиним домом и школой на пустыре, теперь застроенном сельповским магазином и складами, раньше стояла осина. Каждый день Саша по нескольку раз проходил мимо нее, не замечал, не обращал внимания. И вот однажды в летний день, после дождя, когда от низких тяжелых туч легкий сумрак рассеян в воздухе и тусклые лужи разбросаны по дороге, Саша бросил случайный взгляд на осинку. Бросил и остановился: тонкий ствол отливает металлическим холодком, твердые листья невесомо окружают его, цвет их под стать стволу — неяркий, серебристо-прохладный, — осинка живет, дышит, купается во влажном густом воздухе. В течение многих лет каждый день по нескольку раз пробегал мимо и не замечал, что она красива, стой и смотри хоть час, хоть два — нисколько не надоест. Открытие!

Так иногда поражаешься красоте человека.

Не день, не месяц, больше года знал Саша Игната Егоровича. Кажется, ничем он не мог уже удивить; кажется, наперед известно — что скажет, как поступит. Но вот простой случай: вместо того чтоб осердиться, отвернуться

после газетной статьи, он встретил простыми словами: «Рассказывай, как там вышло». И Сашу поразило — понял, без объяснений. Саша ждал обиды. Как он смел так думать об Игнате Егоровиче? Ведь он знал его, жил вместе...

День ото дня росло негодование — какого человека оклеветали! Где правда? Почему не возмущаются?..

Порой появлялось желание подняться на второй этаж райкома, войти и сказать в лицо, с ненавистью все, что знал, что думал. Глупость, конечно, мальчишество, этим делу не поможешь.

Не это ли желание заставило выложить все перед Катей?

После той ночной встречи, когда Катя ушла, хлопнув дверью, они не перебросились ни единым словом. Саша видел ее только издали.

Сбежала раз с крыльца райкома, легкая, быстрая, чем-то озабоченная. Ветер полоснул подолом светлого платья по загорелым ногам. Резко повернула голову, в открытое окно кому-то бросила слово.

Или же... Шел в кино. Плечи теснит отглаженная рубашка, потная рука в кармане мнет билет. Навстречу девчата. Среди пестрых платьев, наброшенных на плечи шелковых косынок словно ударило по глазам — гладко зачесанные волосы, белый лоб, под ним ровные брови, лицо и знакомое и забытое!.. Блестящие глаза вздрогнули и скользнули в сторону. Прошла мимо...

После таких встреч день, два не оставляло беспокойство — не мог сидеть на месте, бросал одно дело, хватался за другое, чего-то недоставало, что-то искал. Проходили дни — успокаивался.

Дошли до Саши и смутные слухи, что Катя любит не кого-нибудь, а Мансурова, что она вечерами «все глаза проглядела» на его окна, что тот за занятостью даже не замечает ее. Саша против воли прислушивался, верил и не верил, ругал самого себя: «Мне-то что? Не все равно теперь, о чьи окна глаза мозолит».

Саша пришел в райком комсомола, чтобы сдать свой билет. Давно бы пора это сделать.

Попал в обеденный перерыв. В первой комнате ни души. В открытое окно влетает ветер, шевелит на столах бумаги. Заглянул во вторую комнату. Катя с гримасой упрямства и мученичества на лице одним пальцем отпеча-

тывала на машинке какую-то бумагу. Она заметила Сашу, и он вошел, сказал в сторону:

— Здравствуй. Я комсомольский билет хочу сдать.

— Здравствуй.

Притихшая, робкая, виноватая... Сразу же где-то в дальнем уголке души шевельнулась надежда: а вдруг да раскаялась, вдруг да захочет, чтоб было по-прежнему...

— Вот...— Саша выложил на стол свой билет.

Катя взяла его, застенчиво улыбнулась, глядя на фотографию, предложила:

— Хочешь взять ее на память?

— Не надо.

— А если я возьму?

— Тебе-то зачем?

— Саша...— Она подняла глаза, доверчивые, добрые, просящие. И Саша вздрогнул — неужели!.. Но он ошибся. Хоть голос Кати, как и глаза, был доверчивый, просящий, но говорила она совсем не то, что бы хотелось ему услышать.— Саша... Разве мы не можем быть просто хорошими товарищами?

— Чего зря толковать... Билет-то примешь или Клешинцева подождать?

— В партию вступил... Недавно слышала, как о тебе Павел Сергеевич Мансуров говорил Сутолокову. Хвалил тебя...

— А я в похвале Мансурова не нуждаюсь!

— Почему?

И тут Сашу взорвало. Он высказал все, что слышал от Игната Егоровича, что думал сам.

— ...Он карьерист! Занимается не делами — интригами! Не смотри на меня так — не боюсь! В лицо ему скажу! Все! Прямо!

Глаза Кати округлились. Они сначала налились ужасом, потом вспыхнули негодованием, наконец губы ее скривились презрительно, лицо из доброго, мягкого стало сразу сухим, каким-то острым.

— Мелкая душонка, — оборвала она. — Ведь знаю, почему ты так говоришь. Знаю! От злобы! Из-за личных счетов! Наслушался сплетен... Я-то считала порядочным, в товарищи напрашивалась... Уходи! Уходи! Слушать тебя не хочу!..

Изогнув шею черным лебедем, лампа бросает яркий круг на зеленое сукно стола. В стороне от границы света поблескивают телефоны. Во всем кабинете мрак. Освещенный кусочек кабинета — второй дом Павла Мансурова и даже не второй, а единственный.

Только поздними вечерами в кабинете, когда можно не опасаться случайного посетителя, Павел чувствовал себя совершенно свободным.

Сейчас он перебирает бумаги и не спеша думает:

«Теперь тебя в твоём же гнезде легко взять за шиворот. Соберем партийное собрание в «Труженике». Поговорим. Пора... Пусть-ка встанут в защиту! Против общественного мнения? За раскритикованного вдребезги? Кому захочется лбом на обух лезть. Как ты, Игнат Егорович, себя чувствовать будешь?.. Вот тогда и поговорим по душам. Зла-то тебе не хочу, лишь бы под ногами не путался...»

Павел толстым карандашом пометил на листке календаря: «Вызвать из «Труженика» Ногина».

«Может, не доводить до собрания? Встретиться с Игнатом, дать почувствовать, что вожжи в моих руках... — продолжал думать Павел и тут же решительно отмахнулся. — Не поймет — толстокож, упряма, самоуверен. Только лишний шум поднимет — делу во вред».

Где-то был документ — прошлогодняя записка Игната, отданная Павлу, чтоб тот положил ее тогда в свою папку. Помнится, там мимоходом говорится о пользе кормозапарников. Кормозапарники Игнат в прошлом году защищал, а теперь отвергает кормоцефа. Интересный документ, очень может пригодиться...

Павел выдвигал ящики стола, рылся в них. Запустив руку в нижний ящик, он вдруг наткнулся на что-то твердое, вытащил... Свет лампы упал на сплюснутый кожаный картуз Мургина.

За темными окнами спало село. Только по дощатому тротуару простучали шаги запоздавшего прохожего, затихли вдали. Снизу, с первого этажа, доносился непонятный скрип и потрескивание.

Павел положил картуз под лампу. Странно было его видеть среди кабинетных бумаг — грубый, заскорузлый, с жеваным козырьком, у околыша чуть-чуть распоролся

шов, подкладка бурая от пота, он все хранит следы жизни человека, который отходил свое по земле.

Павел забыл даже, что картуз лежит здесь. О многом забыл... Не потому ли, что неприятно оглянуться назад?..

«Не у меня одного неудачи... В Шумакове, у соседей, тоже плохо с кормами! Банникова, секретаря райкома, каждый месяц вызывают в обком на бюро, записали уже выговор. Перхунов из Сумкова — авторитет! — а весной чуть ли не треть колхозов оставил без рабочей силы, ушли люди на строительство целлюлозного комбината, сорвали сев, — теперь освобожден мужик от работы... А недавно в газете раскатали соборянского секретаря райкома за то, что его уполномоченные подменяли колхозных председателей. А разве мало было неприятностей у Комелева?.. Всем трудно работать, но не было ведь случая, чтоб на чьей-то совести висела человеческая жизнь. Не слышно такого... Ты один, Павел Сергеевич, отличился... Один!.. Любуйся теперь картузом...

Хотел быть среди людей лучшим, хотел добыть для района первенство. Думал — заметят, оценят, выдвинут в область. На опыте коршуновцев — победа всей области... Чем черт не шутит. Не боги горшки обжигают. Так, должно быть, и вырастают люди, управляющие государством.

Вот что хотел. Получается иначе...

Что впереди? Долго ли идти такой неверной походкой? Каков будет конец?..»

От упирающихся в тупик мыслей, от ссохшегося картуза, вызывавшего смутные мучения, Павел Мансуров почувствовал себя ненужным, заброшенным. Как крот в норе, сидит сейчас в этих стенах, что-то выкапывает, что-то плетет... Возможно, и удастся столкнуться с дороги Игната, а через неделю не поднимется ли другой Игнат? Не вечно же воевать. Когда-нибудь поднимешь вверх руки, признаешься: «Все! Нет больше сил!» Перебросили бы в другой район, там бы начал по-новому, там бы стал умнее...

Неожиданно Павел услышал, что кто-то открывает дверь. Он нервно вздрогнул, схватил картуз, заслонясь рукой от слепящей глаза лампы, всмотрелся.

В дверях стояла Катя. Увидев, что Павел Мансуров заметил ее, решительно шагнула вперед.

— Не могу больше... — обронила она тихо и опустилась на диван. В полутьме на бледном лице выделялись большие тревожные глаза. — Хочу услышать от вас самого...

— Что с тобой, Катя?

— Павел Сергеевич, про вас говорят нехорошие вещи... Говорят, что вы... Нет, не могу повторить... Скажите: есть хоть маленькие основания упрекать вас? Мне это нужно, мне не безразлично знать...

Павел Мансуров глядел на Катю и удивлялся: как он заездился за последнее время. Забыл... Не минутная прихоть, не вольность женатого человека, но и не настоящее... Для настоящего не хватило его, как не хватает и в других делах. Разве сможет она это понять?.. Сидит, кутается в платок, передергивает плечами, в глазах боль и тревога. За него тревожится — славный человек.

— Павел Сергеевич, что ж вы молчите? — громким шепотом переспросила Катя, подаваясь вперед, вся взвинченная, напряженная — вот-вот сорвется с места.

— Катя... — ласково и грустно произнес Павел, не зная еще, что сказать ей, в чем признаться. В руке он держал картуз Мургина, помедлив, протянул: — Вот!

— Что это? — Легкие руки Кати вынырнули из-под платка.

— Не признаешь?

— Нет.

— Эту вещь забыл в моем кабинете Федосий Мургин за несколько часов до своей смерти.

Катя вздрогнула.

— И я признаюсь в большем: если б я говорил с ним не так жестко, он, возможно, был бы жив.

— Павел Сергеевич...

— Я человек, а не бог. Я могу ошибаться. Я хотел людям хорошего, я знал, что без дерзости, без решительных бросков его не добудешь. Я дерзнул, сделал бросок, а вокруг меня были равнодушные. Я начал с ними воевать, понял, что не обойтись без жестокости. Одному человеку я бросил несколько жестких слов (всего несколько слов!) — и вот... вместо человека в моих руках остается только его картуз... Я не железный, и меня порой охватывает отчаяние. Мне трудно, Катя.

Павлу хотелось жалости, и он ее добился. Катя поднялась с трепетно мерцающими глазами на вытянувшемся, мутно-бледном в комнатных сумерках лице.

— Если б я могла помочь, — дрожащим голосом произнесла она, — я бы считала подвигом в своей жизни. Но что я могу, что могу?

— Спасибо, Катя. Доброе слово — тоже помощь.

— Вы для меня выше всех. Счастьем было бы вечно быть с вами, вечно помогать вам... Никакие сплетни — ничего, ничего! Вы не знаете, кто вы для меня! Вы моя надежда! Может, глупо навязываться... Но пусть! Знайте!.. Долго молчала...

Катя выронила картуз из рук, уткнула лицо в ладони, резко повернулась. От разметнувшегося платка шевельнулись на столе бумаги. Павел не остановил ее. Он долго сидел, не двигаясь, прислушивался, как стучат по лестнице каблуки ее туфель. Ему стало стыдно...

Любит? Да! Но не его — другого! Трудно жить. Может, легче было бы признаться начистоту перед всеми?.. Скажут: запутался, напакостил — каешься. Нет, Москва слезам не верит... Пусть один... Вперед! Отступить поздно!

Уходя, Павел захватил с собой картуз Мургина, на полдороге к дому бросил его за чью-то изгородь в густо разросшуюся крапиву. Лежи здесь, недобрая память, пока не сгниешь от дождей...

А на следующий день в райком партии был вызван Евлампий Ногин, секретарь парторганизации колхоза «Труженик».

Поздно вечером Евлампий Ногин пришел домой к Игнату Гмызину. Нерешительно пощипывая бородку, виновато ворочая выпуклыми желтыми белками, попросил Сашу:

— Ну-ко, милоч, иди спать, мы тут с Егорычем посекретничаем.

Саша вышел, и Евлампий, придвинув бородку к самому лицу Игната, зашептал:

— Плохи твои дела... Не должен бы тебе говорить этого. Мансуров узнает — в муку меня сотрет. На партсобрании тебя обсуждать предложили...

— Так что ж, пусть... Обсуждайте.

— Эко! Пусть... Не Сашка — знаешь, чем пахнет!

— Вы-то что, младенцы? За правду постоять не можете?

— Такой момент, нас и прижать не трудно. Газета тебя долбанула? Долбанула. Против передового ты выступал? Признано и записано — выступал. А история со

сводкой? Ее ой-ой как повернуть можно. Сунемся мы, а нас в один рядок поставят, в пух-прах разнесут.

— Боишься в одном ряду со мной стоять?

— Не побоялся б, коль смог бы доказать. А как тут докажешь, когда даже в газете утверждено, что ты такой, ты сякой... Ты вот что,— боюсь, что Игнат перебьет, заторопился Евлампий,— не лезь на рожон. Если в ошибках признаешься, покаешься, не выкажешь гордыню — все сойдет, верь слову. Полезешь напролом, упреешься — раздуется пожар. Не таким быкам рога обламывают.

Игнат презрительно глядел в виновато бегающие глаза Ногина.

— Одначе заячья же душа у тебя. Мансуров пнем на дороге стал. Не нам теперь этому пню кланяться. Иди да на ус себе намотай.

Они расстались.

14

На бревенчатые стены из низеньких окон падали медные отсветы разбушевавшегося за деревней заката. Упрямо и безнадежно точила стекло залетевшая оса.

Бухгалтеры, кассиры, вся контора кончила рабочий день сегодня раньше, случайных посетителей заворачивали обратно — собиралось закрытое партийное собрание, лишние могли помешать.

Пока явились на собрание трое: Евлампий Ногин, Иван Пожинков и Саша Комелев. Евлампий нет-нет да и прилипал бородкой к стеклу: не пылит ли машина, с минуты на минуту должен подъехать Мансуров.

Евлампий был одет ради собрания в чистую косоворотку, пегая бородка расчесана на две стороны, на коричневом, стянутом сухими морщинами лице застыло выражение брюзгливой измученности, какая бывает у людей, страдающих утомительной зубной болью. Он не мог спокойно сидеть, ерзал на лавке и, обращаясь к Пожинкову, жалобно говорил без умолку:

— Я ведь было лыжи наострил из колхоза. Думаю, бабу оставлю дом стеречь, а сам — на лесокомбинат. Кто меня остановил? Он, Игнат. Теперь живу хоть и не князем, а корова без сена не сохнет, подсвинка, хлебцем подкармливаю, не корыстные, а деньжата водятся. Ловись парню велосипед купил. А купил бы я его без Игната?

Нет. Вот и рассуди — могу ли я его не уважать? Бесценный человек...

Иван Пожинков, подперев простенок широкими плечами, склонил квадратную голову, и не понять, что он слушает — то ли Евлампия, то ли ноющую на окне осу.

— Как родного отца люблю. Он мне жизнь устроил. При нем я помолодел словно... И вот теперь...

Пожинков молчал. Евлампий, не услышав от него ни сочувствия, ни возражения, продолжал:

— Мансуров из рук в руки бумагу передал. Вот, мол, выступи, и принципиально, личные счета отбрось начисто. А в этой бумаге, хуже чем в газетной статье, на Игната каких только собак не навешано...

Пожинков молчал. Евлампий помедлил, покосился, вздохнул:

— Эхма! Как подумаю: буду говорить, а Игнат рядом сидит, в душу смотрит. Что делать?.. Нечего. Красней, рак, коль в кипяток попал! Отмолчатся нельзя. Поперек пойдешь — в райкоме спросят: с газетой споришь, общественному мнению перечишь? А ну-ко, дай пощупаем — какое в курочке яичко сидит!

Пожинков молчал. Саша сидел взъерошенный, сердито, исподлобья поглядывал на беспокойного Евлампия.

— Слышь, Евлампий! — окликнул он. — Мне на собрании разрешается выступать?

— А как же, как же! — восторженно воскликнул Евлампий, обрадованный уж тем, что откликнулась живая душа. — Тебе только голосовать прав не дано. Выступай себе на здоровьице.

— Тогда выступлю, — мрачно пообещал Саша.

— Только, сокол, помни: партийное собрание — не бригадирская сходка. От молодой прыти не напори чего. Каждое словечко в протокол заносится, а протоколы-то наверх идут, их там по буквам прочесывают.

— Вот-вот, пусть прочешут. Я расскажу, как ты до собрания хвалил Игната и как на собрании все наоборот толкуешь. Докажу — партийному собранию лжешь!

Иван Пожинков пошевелился, с интересом поглядел на Сашу, не спеша полез за кисетом. Рачьи с желтыми белками глаза Евлампия растерянно уставились на Сашу. С минуту он молчал, вздрагивая бородкой.

— Типун тебе на язык, — выругался незлобиво. — Пойми ты, цыпленок недосиженный, что я спасти Егорыча

хочу, спасти! Он хоть не молод, но тоже, не дай бог, — все лбом стенку пробить norовит. Не подзуживать его надо, а уломать, чтобы мирно решилось, чтоб в председателях оставили... «Докажу — лжешь!..» Эх, хватил. Я ли лгу-то, газета же выступила, на всю область ославил. Море во круг Игната разлилось, уж не думай — мы с тобой это море ложками не выхлебаем.

— И это скажу.

— Задолбил: скажу да скажу. Думаешь, у нас честности меньше, чем у тебя, сосунка.

— Честный не тот, кто в карман не залез, а тот, кто другому это не дозволил.

— Эх!..

Но в это время застучали сапоги по крыльцу, распахнулась дверь, один за другим вошли люди. Низкий, покойный голос Игната спросил:

— Что сумерничаете, как на посиделках? Зажгли бы огонь.

Свет зажгли, в конторе сразу стало шумно.

— Где Мирошин? Хвастался — кучу новостей привез.

— С лошастью к конюшне не завернул ли?

— Здесь я, здесь. Не сбежал с новостями.

При свете тусклой лампочки, нескладно сгибаясь под низкой притолокой, шагнул через порог Мирошин. Прошел, опустился рядом с Пожинковым, прямой, даже сидя долговязый, с острым кадыком на тощей шее, с проржавленными от табачного дыма усиками.

— Да! Вот так... Не знаю только, хороши ли новости-то.

— Какие есть, за плохие бить не будем.

— Приехал к нам в район самый первый секретарь из области.

— Курганов?

— Он самый. Невысокий такой, полноватый, лицо не улыбочное. Глаз, как и полагается, строгий. Да!

— Вовремя! Не мешает ему погостить у нас.

— Может, распутает петельки.

— А ехал он в одной машине с Мансуровым. Да! Плечико в плечико сидели, как я теперь с Пожинковым.

— Ясно дело, не с тобой же ему ехать.

— Напоет ему Мансуров.

— Мансуров-то машину остановил, за локоток меня взял и в сторонку отвел, говорит: не буду я у вас сегодня...

— Не будет. Нам доверяет? Зря.

— Что жалеть-то, без него вольготней.

Мирошин повернулся к Евлампии:

— И еще велел передать: собрание-де лучше отменить, так как вопрос об Игнате Егоровиче пока будем решать в более высоких... как их?.. инстанциях. Вот как. Да!

— Ого!.. Это новость, братцы.

У Евлампии от такой новости удивленно отвисла губа. Он секунду глядел на Мирошина своими выпученными глазами и вдруг, всегда осторожный, всегда почтительный к начальству, вскипел:

— Да что ж это? Чего он выплясывает? То настаивал, бумаги всучил, то теперь, как норовистую кобылу, в сторону бросило.

— Бросит, когда Курганов приехал.

— Бойтся, как бы осечка не вышла.

Евлампий не успокаивался:

— А что мне с бумагами этими делать? Хранить или свиньям скормить? Глядеть на них не могу!

Общий шум прорезал неожиданно звонкий голос Саши:

— Товарищи! Партсобрание надо проводить! Обсудим эти бумаги! По-своему обсудим!

— Ну, ты! — цыкнул Евлампий. — Судили мыши кота...

— Э-э, Евлампий, не горячись, — возразил Мирошин. — Парень-то, гляди, толковое предлагает. Да!.. Как, ребята?

Молчаливый Пожинков, сидевший невозмутимо во время шума, придавил окурок о ребро скамьи, скупно обронил:

— Верное дело.

На минуту все притихли.

— Как ты, Игнат Егорыч, глядишь? — спросил Мирошин.

Игнат Гмызин стоял у входа в свой председательский закуток, заполняя узенькие двери громоздким телом. Он медленно повернул крупную, тяжелую голову в сторону Саши, посмотрел без улыбки, пытливо, ласково.

— Умно и вовремя, — согласился он.

Евлампий Ногин послушно сел за стол, привычно раздвинул пальцами бородку, произнес:

— Ежели так... Кто протокол вести будет? — и спохватился: — Вы все-таки шутейно или всерьез предлагаете бумаги Мансурова обсуждать?

Непривычно, ново, страшновато было для него начинать собрание, «не согласовав» и «не увязав»...

В четыре часа утра еще спит село Коршуново. Даже шоссе — самый неутомимый и беспокойный труженик — отдыхает. На нем, где пыль лежит густо, остались нетронутыми зубцы от шин последнего грузовика. Их не успели растоптать ноги прохожих, их не смяли колеса утренних машин. Это след вчерашних суток, новый день не стер его.

В половине пятого румянятся стволы берез. С этих берез, что окружены молодыми липками — березам подмышки, — взлетает галчиная стая. Беспорядочно побранившись друг с другом в воздухе, галки опускаются на пустынное шоссе и тут, как одна, становятся важными, переваливаются, деловито перелетают с места на место.

Вспугнув их, нетерпеливо прошагал первый прохожий — долговязый кассир сберкассы Акиндин Митрофанович. В руке — прокопченное ведерко, на сутулом плече — удочки. И так каждое утро. Седина в бороду, бес в ребро...

Ровно в пять, как и во всяком добропорядочном русском селе, кричат петухи, поднимаются хозяйки. Всклокоченные, с пылающими после теплых подушек щеками, хозяйки, позванивая ведрами, тянутся к колодцам.

В шесть, немилосердно гремя расхлябанными бортами, проносится первый грузовик. Пыль после него оседает на влажную листву палисадника.

В умытое небо из печных труб потянулся вялый угарный дымок.

Похоже, дюжина взбесившихся двустволоков загрохотала за калиткой одного дома. То Славка Калачев завел свой мотоцикл. Он его купил месяц тому назад и до сих пор никак не может привыкнуть к своему счастью. Ему мало вечером пролететь лихачом по селу, — день испорчен, если утром, чуть продрав глаза, не послушает мотора. Хлопки, судорожный грохот, чихание милей всякой музыки...

Время отдало людям свой обычный и драгоценный дар — сон. Подарить сон — значит подарить силы.

И чтоб этот подарок принимался радостней, часы пробуждения празднично украшены: трава особенно зелена, воздух особенно свеж, даже железные щеколды дверей, даже бревенчатые стены, даже полустертые булыжины шоссе — тронь рукой — обласкают бодрой росяной прохла-

дой. Вставай, человек, в чистый, обмытый, приготовленный для тебя мир! Вставай с новыми силами!

Мансуров плохо спал ночь, поднялся с головной болью. Куда, к черту, радоваться утру, непросохшей росе на кустах под окном — до того ли? Новый день... Если б перескочить через него...

Прошла целая неделя, с тех пор как Курганов появился в районе. Встретился он тогда с Мансуровым суховато, сообщил о письме Гмызина, пристращал: «Если из того, что написано, хоть одна треть — правда, пеняй на себя». Не ко времени такой гость, но Павла успокаивала одна фраза, брошенная вскользь Кургановым: «Пока весь район не объездим и до косточек не общупаем, ни на один шаг не отпущу от себя...» Ездить-то вместе придется, будет время покаяться, пожаловаться, а там, глядишь, и договориться. Не след пасовать...

Не повезло Павлу...

На следующее утро, выехав с Кургановым из Коршунова, перед въездом в деревню Тароватка Павел увидел Игната Гмызина. Тот, перегнувшись из пролетки, разговаривал с дюжим парнем в рубахе распояской. Парень сидел на длинном сосновом бревне, взваленном на тележный передок. Его неказистая лошаденка дремала в оглоблях, не обращая внимания на беспокойное похрапывание сытого гмызинского жеребца. Рано ли, поздно — Курганов должен был встретиться с Игнатом, и Павел указал:

— Может, поговорить нужно. Вот он, Гмызин-то.

Думал, что Курганов не захочет на ходу разговаривать. Но Курганов остановил машину.

Тут же, на обочине дороги, между Гмызиным и секретарем обкома при молчаливом присутствии Мансурова и дюжего парня, с любопытством поглядывавшего из-под путаного чуба, произошел короткий разговор.

— Товарищ Гмызин, к вашему письму нужны еще конкретные доказательства. Когда я смогу их получить?

— Да кое-что хоть сейчас, товарищ Курганов.

— Так быстро?

— Пяти минут не займет.

— Вот как... Что ж, попробуем выслушать это пятиминутное доказательство.

— Слушать нечего. Идемте смотреть.

Впереди Игнат Гмызин, за ним Курганов, за Кургановым, настороженный смутной догадкой, Павел Мансуров,

на почтительном расстоянии парень, засовывающий на ходу рубаху за брюки, — двинулись в сторону от дороги, к дремотно растянувшемуся под утренним солнцем скотному двору.

Стены скотного угрожающе покосились и были подперты под верхние венцы бревнами.

Гмызин остановился, кивнул головой:

— Вот... Картина для нас не редкая.

— Исправлять такие картины надо, а не любоваться, — сказал Курганов.

— То-то и оно, надо исправлять. Яков! — крикнул Игнат стоявшему в стороне парню. — Скажи: куда ты лес возишь?

Дюжий Яков смущенно склонился, выбивая каблуком сапога ямку в земле, произнес:

— Известно куда... На том конце кормоцех строим, туда и возжу...

Курганов повернулся к Якову, с минуту оглядывал с ног до головы, спросил:

— Как по-твоему, когда этот кормоцех кончите?

Парень замялся.

— В будущем году ежели... Да то, должно, председатель знает.

— В будущем году... А ремонтировать коровник когда?

— Чего тут ремонтировать. Раскатать да наново поставить — дешевле будет.

Курганов простился с Игнатом, дорогой молчал и, только завидев пылящий навстречу грузовик, попросил:

— Павел Сергеевич, задержите эту машину.

И когда недоумевающий Мансуров, выйдя на дорогу, остановил грузовик, Курганов спокойно произнес:

— Садитесь, поезжайте обратно. Я решил один поехать по колхозам.

Так они расстались.

Курганов колесил по району. На перегоне между деревнями Плесо и Дворки он сломал свой «газик», потребовал из МТС другой и продолжал разъезжать — не угадаешь, где был, куда нацелился, что высматривает.

До Павла доходили только обрывочные слухи...

Курганов облазил все хозяйство «Труженика» — многозначительно!

Курганов провел целый день в колхозе покойного Мургина — неспроста.

Курганов всюду интересуется силосованием и подготовкой к зиме скотных дворов...

Наконец, позавчера раздался звонок: «Собирайте районный партактив, готовьте доклад по вопросу зимовки скота».

Все ясно.

Вчера вечером Курганов появился в райкоме: тронутый загаром, посвежевший на коршуновском воздухе, в галифе, в громоздких сапогах.

Сейчас он вместе с коршуновцами встречает утро...

Догадывается ли, что творится в эти минуты на душе у Павла Мансурова? Возможно. Впрочем, вряд ли поймет убойщик овцу. Поговорить с ним надо начистоту, но не по-овечьи...

Павел умылся, сел, чтобы выпить стакан чаю. Анна, уже причесанная, одетая, сидела за столом. Светлое, с голубыми наивными цветочками ситцевое платье молодило ее. Она привыкла ничем не интересоваться, ни о чем не расспрашивать, молчала, как всегда.

Тревога ли, может быть, тоскливое чувство одиночества заставило Павла вдруг понять — пусть она далека от него, а все же ближе никого нет на свете. Никого кругом!

— Анна,— произнес он осторожно,— на меня сегодня обрушатся...

Анна вопросительно взглянула на мужа.

— Все кругом настроены твоим братом...

Она долго молчала, наконец спросила:

— Для чего ты мне это говоришь? — Подождала, не скажет ли он что, и добавила: — Может, это к лучшему.

Павел молча допил свой стакан.

Жену не тревожит его беда, какого же сочувствия ждать от других? Никто, только он сам может защитить себя. Надо поговорить с Кургановым начистоту, другого выхода нет.

Павел шел по улице в своем выутюженном летнем костюме, в начищенных сапогах, как всегда, чуточку щеголеватый и торжественный. Ни резко выступившие скулы, ни усталые круги под глазами не изменили на лице привычного достоинства.

Встречные, как всегда, почтительно здоровались с ним.

Ухабистые проселки, деревни, то разбросанные среди полей, то растянувшиеся по берегам веселых речек, деревни, утопающие в картофельной ботве, бесконечные встречи: старухи, девушки, парни, неторопливые разговоры среди мужчин с неизменными сигарками — день за днем раскрывался Коршуновский район, дальний уголок области, руководителем которой был он, Курганов.

Из всех пестрых собеседников в этой поездке последним оказался агроном МТС Чистотелов. Курганов столкнулся с ним в одном из колхозных правлений и попросил сводить его на поля.

— Боюсь, загоняю вас. Вразвалочку-то ходить не умею. — Чистотелов из-под нависших бровей пристально с ног до головы оглядел секретаря обкома.

— Кто кого загоняет. На мой животик не смотрите. Я, брат, охотник. В горах по козьим тропам лазил, диких козлов бил.

— Коль так, идемте...

Переходя с поля на поле, вели обычные разговоры: о нехватке минеральных удобрений, о клочковатости полей, разбросанных по лесам, о трудной обработке их машинами.

Уже на обратном пути попали под дождь, короткий и сильный, вымокли, но Курганову было жарко — грела ходьба.

Огрузневшее вечернее солнце затонуло в лиловом мареве. Между черной землей и тяжелым плоским облаком, как раскаленная река среди берегов, разлился багровый закат.

Шли полем льна. Лен давно отцвел, сейчас на каждой его зеленой головке висела дождевая капля, тянула к земле. И эти капли, все как одна, украли у растекшегося по небу пламени частички света, мизерные дольки — капля не может украсть больше капли. Раскинулось вокруг темное поле, на нем миллионы льняных головок истекают светом. Куда ни глянь — всюду бережливо висят над землей робко тлеющие огоньки. Они разбиваются о голенища сапог...

Курганова в эти дни ни на минуту не оставляла тревога. Сейчас — то ли от застойной неподвижности в природе, подчеркнутой сияющими дождевыми каплями на головках льна, то ли оттого, что спутник подвернулся не из болтливых, не мешал думать, — тревога выросла, сжала сердце Курганову.

Он считал себя принципиальным руководителем — не жаловал льстецов, не бил с высоты своего положения тех, кто осмеливался возражать. Работал и был покоен: он понимает людей, люди — его.

Но теперь в Коршуновском районе этот покой мало-помалу исчез. Он вдруг почувствовал, что ошибался, не всегда-то хорошо понимал людей.

Оценивал: кто добросовестно исполняет поручения, кто не плачется на трудности, тот истинный руководитель. Мансуров все выполнял, Мансуров не жаловался, больше того, хватал на лету любую идею, рождавшуюся в стенах обкома. В нем ли было сомневаться?..

И вот племенной скот, загнанный в дырявые коровники, близкая зима и... сводки: начато строительство кормоцехов, подвезено столько-то леса, заложен в таких-то колхозах фундамент...

Чистотелов, видно, понял молчание Курганова, он обернулся и произнес:

— Вот оно как... Издалека-то, бывает, и петух на насесте за ястреба сойдет.

— Мне намек? — спросил Курганов.

Тяжелые брови Чистотелова двинулись вверх, открыли спрятанную усмешку в светлых запавших глазках.

— Что там намекать... Раз человека бросает из одного конца района в другой, значит, задело за больное.

— Задело, — признался Курганов. — Что скрывать — обманулся.

— Э-э, мы рядышком с ним жили, каждый день бок о бок отирались и не заметили, как расцвел цветочек. Я сам поначалу за него горой стоял.

— На что же клюнули?

— На лен. Горячо он за лен схватился, документы собирал: мол, по таким-то и таким-то причинам плохо растет... Оказалось, нужен ему не рост льна, а свой рост в райкомовском кресле.

— Что ж вы в обком знать не давали?

Чистотелов хмыкнул в жесткие прокуренные усы, кольнул из-под бровей взглядом.

— Не догадываетесь?..

— Нет, не догадываюсь.

— Просто побаивались: вам же выгодней Мансурову верить, чем, скажем, мне или Игнату Гмызину.

— Это почему?

— Потому что кто, как не обком, Мансурова за веревочку дергал.

Закат потускнел. Лен все еще мокро хлестал по сапогам, но уже сияющих дождевых капель не было видно. Природа побаловала своими маленькими радостями и спрятала их до другого раза.

— Значит, по-вашему, обком виноват? — перебил минутное молчание Курганов, исподтишка, не без досады разглядывая спутника.

Длинный, сухой, кадыкастая шея вытянута. На фоне отливающего бронзой заката четко виден рубленый профиль — из кустистости бровей выгнулся массивный нос с хрящеватым выступом на изгибе, крепкий, шероховатый от щетины подбородок подпирает ровно срезанные усы.

Чистотелов не повернул головы, спокойным голосом ответил куда-то в пространство:

— Вы сами так считаете, иначе бы эти дни возле Мансурова сидели.

Курганов проглотил упрек молча.

Впереди, стиснутое темной зеленью полей, синело шоссе. У обочины маячила неподвижная машина: это шофер Курганова выехал их встречать.

17

С полудня до вечера в Доме культуры будет идти совещание партийного актива. А вечером для участников этого совещания коршуновский кружок самодеятельности даст концерт.

Под сценой в полуподвале — две комнаты. На бревенчатых стенах висят пыльные парики, в конторском шкафу хранятся костюмы, в одном углу стоит большой барабан с медной тарелкой на макушке — его вытаскивают наверх, когда нужно изобразить гром. Есть труба, не находящая применения. Есть старая фисгармония. Есть гримировальный столик с трюмо, крапленным по стеклу ржавыми пятнами.

Перед концертами в этих комнатах воюет кладовщик райпотребсоюза Василий Васильевич Боровсков. Почтенный возраст (Василию Васильевичу за сорок), куча детей, злая жена, даже фронтное увечье — остался без ноги, — ничто не смогло заглушить его любовь к святому искус-

ству. Он со своей лысиной, тощей фигурой, висящей на костылях, все еще продолжает иступленно мечтать, что когда-нибудь да сыграет Гамлета. «Я так ее любил, как сорок тысяч братьев любить не могут!» — частенько читал он кому-нибудь со слезой.

Сейчас он прыгал среди своих доморощенных актеров, всем возмущался, роняя на пол костыли, хватаясь руками за лысину, кричал:

— Разве это фрак? Это кафтан! Чацкий в кафтане! Варвары!

Кате надоела эта репетиционная суета. Сюда, в полуподвал, доносился приглушенный шум из зала — собирались участники совещания.

В последние дни приходилось слышать нехорошие разговоры о Павле Сергеевиче. Не понимают люди, что Павел Сергеевич — человек поиска. Поиски без ошибок невозможны! Сегодня утром издалека видела Сашу, приехал вместе со своим Игнатом Егоровичем на совещание. Искренний, честный парень, а попал в руки Гмызина, поет его голосом. Этот Гмызин — по одному виду можно судить — человек самоуверенный: краснолицый, широкий, идет — раскачивает плечами, сам черт ему не брат. Саша рядом — штаны пузырями на коленках, а кепчонка на затылке — тоже петушок. Перед такими-то Павел Сергеевич сумеет себя отстоять.

Народ собирается на совещание, пора и Кате идти в зал.

По узенькой скрипучей лесенке она поднялась на сцену, заставленную старыми декорациями. Пахло олифой, пылью, чем-то нежилым, неудобным: задворками театра. Шарканье ног, голоса, скрип стульев — весь шум постепенно заполнявшегося народом зала здесь был слышен уже не приглушенно. Эту заднюю часть сцены от того места, где стоял длинный красный стол президиума, отделял лишь занавес.

Из-за косо стоящей фанерной колонны с облупившейся побелкой Катя неожиданно увидела около занавеса двух человек. Коренастый, крепко стоящий на расставленных ногах, секретарь обкома Курганов, заложив за спину руки, выжидательно снизу вверх смотрел на Мансурова. Павел Сергеевич, вытянувшийся, какой-то собранно-решительный, тоже в упор щупающим взглядом уставился на Курганова. По выражению его лица Катя поняла, что идет та-

кой разговор, где свидетели нежелательны, и что ей в эту минуту просто неудобно проходить мимо, лучше переждать.

— Мне очень хотелось сказать вам несколько слов, — негромким, но четким голосом говорил Мансуров, — в последние дни никак не мог улучшить время встретиться наедине.

Кате было видно его похудевшее лицо, остро обозначившиеся скулы, глаза в усталых коричневых глазницах потеряли знакомую твердость, ищущим, щупающим взглядом они блуждали по Курганову. Какая-то пронзительная, нежная жалость залила Катину душу — страдает, никем не понятый, кроме нее, Кати, для всех чужой.

— А почему нам нельзя было говорить на людях? — возразил Курганов. И Катю покорибил его сухой, недружелюбный тон.

— Мне кажется, Алексей Владимирович, есть вещи, которые безрассудно выносить на широкое обсуждение, не поговорив о них заранее.

Курганов лишь поглядел с подчеркнутым вниманием на часы.

— Мне тяжело признаться, — продолжал Мансуров, — но приходится... Со всей откровенностью, с болью, Алексей Владимирович, говорю вам: да, я понял — Гмызин прав... Прав целиком...

«Целиком?.. Зачем же так? Гмызин не может быть прав целиком! — К жалости Кати прибавился страх. — Неужели испугался? Невозможно! Не тот человек!»

— Я перегнул со скотом. Моя вина — не послушал советов, не рассчитал, не спохватился вовремя... А история с кормоцехами, когда отмахнулся от здравых предупреждений...

«Со скотом не прав, с кормоцехами не прав?.. Что он говорит?» — Катя, сжавшись, с испугом следила за Мансуровым, а тот тем же негромким, твердым голосом продолжал:

— Как видите, Алексей Владимирович, я ничего перед вами не скрываю, выворачиваю душу. Если прежде меня можно было упрекнуть в нечестности, если до сих пор я изворачивался, боялся, как бы обо мне плохо не подумали, то теперь хочу говорить открыто...

— Когда говорят открыто, не прячутся за углом, товарищ Мансуров. Душу нужно открывать там! — Курганов кивнул на занавес.

Все было непонятно. Странно поведение Павла Сергеевича, странно и то, почему не удивляется Курганов. Разве можно спокойно слушать такие слова, разве можно не поражаться?

— Сказать там — никогда не поздно... — По усталому лицу Павла Мансурова пробежали досада и раздражение и тут же исчезли, в голосе зазвучало отчаяние. — Алексей Владимирович! Кто не хочет быть честным? Кому не в тягость, оступившись однажды, нести на своих плечах ложь? Помогите очиститься. Не отталкивайте, не топчите... Поверьте, в другом месте, уехав из Коршунова, я очищусь от грязи, с самой решительной, с самой горячей радостью забуду прошлое!

— Значит, должен поставить вопрос о переводе вас в другой район?

— Переведите, помогите сбросить все коршуновское...

— Короче говоря, вы просите: помогите спрятать от людей поганенькие дела.

Катя, окаменев, стояла за бутафорской колонной и слушала.

От последних слов Курганова Павел Мансуров распрямился, глаза потемнели, рот жестко сжался.

— В вашей воле переиначивать мою просьбу, я же прошу — и это мое право — дайте возможность стать мне снова честным коммунистом.

— Честным коммунистом?.. Для коммуниста преступно не то, что он допустил ошибку, вдесятеро преступней скрыть ее! Вы в течение многих месяцев замазывали, прятали ошибки, теперь осмеливаетесь предлагать мне: скройте меня с прошлыми грехами, помогите стать чистеньким. Не выйдет это, товарищ Мансуров!

— Так... Не выйдет... Мои ошибки... Вы хотите, чтоб я о них сказал во всеуслышание, там? — Мансуров кивнул на занавес. — Что ж, скажу. Скажу: я стал таким, пусть судят. Но кто виноват в том, что стал таким? Кто поощрял меня, когда я не по силам решился набрать племенной скот? С чьего молчаливого одобрения я настаивал на строительстве кормоцехов? Я лез по зыбкой дорожке, но кто меня подбадривал и словом, и бумажкой, и добрым сочувствием? Мне придется обо всем говорить, товарищ Курганов!

Курганов, невысокий, прочно упирающийся расставленными ногами в пол, заложив руки за спину, стоял, по-

глядывая на Мансурова исподлобья, и только на его крепкой шее, над воротником, туго перехваченным галстуком, узелками вздулись вены.

— Очень хорошо, — спокойно заговорил он, — хорошо, что скажете. Я свои ошибки прятать не собираюсь. Не только вы, я и сам скажу. Не беспокойтесь, буду требовать для себя жесткого суда! И неужели вы думаете, что сумеете запугать, что я поддамся на шантаж, соглашусь скрывать от народа свои грехи, а вместе с ними и ваши? Ошиблись, не все на ваш манер скроены!.. Да что тут — идемте, нас ждут!

Курганов шагнул к занавесу и задержался, снова повернулся к Мансурову:

— Сейчас ваш доклад. Не забудьте упомянуть в нем о том, какую сделку мне только что предложили.

Он исчез за занавесом.

Расправленные плечи Мансурова обмякли, подобранность исчезла, он стоял, не двигаясь, потом бочком, болезненно приподняв одно плечо, полез за занавес...

Стихли покашливание и шорох. В зале за занавесом, во всем просторном здании районного клуба, наступила внимательная тишина. На столе президиума шелестели бумаги...

А в темном углу сцены, среди свернутых холстов на полу, среди щитов, оконных переплетов, дверей, каких-то брусьев с торчащими гвоздями, сжавшись в комок, пачкая платье о побелку фанерной колонны, давилась в молчаливых рыданиях Катя, маленькая, потерянная в этом пыльном хаосе.

Каждый вечер за окном над крышами коршуновских домов распахиваются закаты, то золотисто-нежные, как пронизанная солнцем вода в ручье с песчаным дном, то густые, непроницаемые, как начавшая темнеть бронза, то свирепо багрянистые, тяжелые, давящие, то бунтующие, с раскаленными вздыбленными тучами.

Что ни вечер, то закат, и каждый раз новый, схожих нет. Но всегда одинаков силуэтный рисунок под этими закатами — две острые крыши, одна повыше, другая пониже, поприземистей, на одной выпирает слуховое окно, на другой торчит короткая труба, меж крышами незатей-

ливое кружево черемуховой листвы да вскинут на высоком шесте скворечник.

И от того что этот рисунок неизменен, словно оправа в переливающемся камне, сами разнохарактерные закаты, кажется, имеют одну неуловимую общую черту — бессилие. Они бунтуют, они давят, они ласкают, но каждый вечер те же крыши с трубой и слуховым окном, та же черемуховая листва, тот же на тонком шесте скворечник.

Таковы и мысли Павла Мансурова, — то бунтующие, негодующие, то подавленно озлобленные, то отчаянно безнадежные, но общее у них — бессилие.

Прошла неделя с того партийного собрания, где все без исключения ополчились на него. Первые дни после собрания шли заседания пленума бюро, где снова сыпались упреки на голову Мансурова, где освобождали его из состава бюро, освобождали от работы... Потом Курганов уехал к себе. Разговоры, поднятые собранием, утихли мало-помалу. Временно в кабинет первого секретаря перебралась Зыбина. Она, больше, чем сам Павел Мансуров, напуганная крутым поворотом, всеми силами старалась руководить так, чтоб ее было как можно меньше видно и слышно. По любому поводу и без повода звонила в колхоз «Труженик», спрашивала совета у Игната Гмызина. Она бы даже с удовольствием, если б только дозволили, предоставила ему право ставить подписи под всеми бумагами.

А Павел Мансуров, всеми забытый, сидел дома и ждал, ждал, изнемогал от ожидания, а чего — не знал сам. На улицу он почти не выходил. Как прежде появиться на улицах села в выгюженном полотняном кителе, с достоинством на лице было уже нельзя, — вслед будут криво усмехаться, шептаться за спиной.

Привык к разъездам, к беспокойной жизни, неделями, случалось, некогда было поесть, а тут сиди — четыре стены, добровольная тюрьма и, что всего страшнее, безделье... Это безделье было страшно тем, что давало разгул мыслям, одна другой мрачней.

Днем валялся на диване, думал до иступления все об одном и том же.

Вечером садился сбоку от окна (чтоб не заметили с улицы излишне любопытные), исподтишка глядел на закаты, на коршуновскую жизнь. Бегали ребятишки по улице, поднимая пыль, проносились грузовики, шагал из

школы прямой, чопорный старик Зеленцов, приподнимая перед встречными шляпу, и никто не замечал притаившегося у оконного косяка Мансурова, никому не было до него дела. Для тех, что жили за окном, Павел Мансуров умер...

А Павел жил, думал, мучился, тысячу раз переживая свое падение.

Все напали! Даже желторотый Сашка Комелев и тот выступал. Краснел, мялся, заикался на трибуне, а тоже, куда конь с копытом, по-гмызински наскакивал... Подыхающего медведя и телок бодает. А Игнат?.. На Игната у Павла большой злобы нет. Дрались. Что ж, оказался сильней, сломал хребет ему, Павлу, в честном бою. Но кого Павел ненавидит, так это Курганова. Ох, как ненавидит!

Курганов чист как стеклышко. Не он, а Мансуров взял лишка скота в район, не он, а Мансуров пачал прижимать председателей колхозов. Не при Курганове, а при Мансурове покончил с собой Федосий Мургин. Не Курганов, а Мансуров зарпортовался со строительством кормоцехов. Кругом виноват он, Павел Мансуров, голько он.

Он, Павел, попытался обвинить Курганова — куда там...

Курганов не скрывал своих недостатков, распахнулся перед людьми: «Передоверился! Упустил из поля зрения. Не обратил вовремя должного внимания...» И странно, чем больше он обвинял себя, тем выше росла куча грехов, ошибок, преступлений не на его плечах, нет, на плечах Павла Мансурова.

Ох, как ненавидит Павел Курганова! Он опозорен, он затравлен, крест на его будущем, трагедия, горе, которым ни с кем не поделишься, которое надо переваривать в себе. Но он бы чувствовал великую радость, если б мог, падая, схватить за полу Курганова. Сейчас он, Мансуров, убит, месть вдохнула бы жизнь, вызвала бы уважение к себе, помогла бы смотреть людям в глаза.

Но что мечтать попусту. Он, Павел Мансуров, — внизу, Курганов вверху, по-прежнему чист, по-прежнему вне подозрений. Письмо в ЦК?.. Там наверняка приглядятся: а от кого оно? Ах, от Мансурова, райкомовского секретаря, которого народ сам снял с руководства. Подкоп! Клевета!.. Каждый замах по Курганову придется по твоей же без того многострадальной голове, товарищ Мансуров. Бессилен ты. Сиди пока в четырех стенах, прячься за оконным косяком от людей, жди, когда вспомнят для дальней-

ших ответов или ничтожной милости. Большой же милости ждать уже нечего...

Сегодня закат разгорался медленно и скучно, — сухой, желтый, вверху лишь ласкала глаз нежная, прозрачная зелень, в которой дремало крошечное, мутновато-грязное облачко. За окном на обочине шоссе играли ребятишки. У них поперек толстого полена была перекинута доска, на один край доски укладывалась горсточка щепочек. По доске ударяли ногой, щепочки разлетались в разные стороны. Один из мальчуганов ползал на четвереньках, искал раскиданные щепочки. Остальные прятались — кто за калитку соседнего дома, кто за угол, кто ложился под забор. Пока все были вместе, стоял шум, крик, прятались — наступала тишина...

Павел Мансуров без интереса, с равнодушием следил за игрой, продолжал мучительно думать.

Как он будет жить теперь? Чем ему заниматься? Никакой нет специальности, никому не нужен. Тупик.

Вернулась Анна из школы, где занималась с учениками, оставшимися на осеннюю переэкзаменовку. Осторожно ступая, прошла к столу, положила книги, скрылась в спальне. Оттуда слышалось шуршание одежды. Через минуту, в ситцевом халатике, так же бесшумно прошла на кухню. Зашумел примус, донесся запах поджаренного лука.

Павел не жаловался Анне, не заводил с ней откровенных разговоров, по-прежнему они больше молчали друг с другом. И все же падение Павла сблизило их. Он сидел дома, не имел возможности никуда выходить, она была рядом с ним. За одно это Павел был уже благодарен ей. Анна не навязывалась с сочувствием, держалась незаметно, всегда была занята своим, что-то читала, что-то шила, что-то делала по хозяйству. Но по сравнению с прошлыми днями у нее появилось чуть приметное внимание и даже некоторая уважительность — не к нему, а, скорее, к его горю, которое она не могла не замечать, которому не могла не сочувствовать.

Вот и сейчас Павел не пошевелился на своем месте, по-прежнему рассеянно глядел на игру детворы, только мысли его чуть-чуть изменились. Но оттого, что изменились, они не стали покойнее...

Ей он нужен... Будет опекать, будет заботиться. Кто знает, придется, может, зависеть от ее внимания, даже от

ее заработка квалифицированного педагога. После дерзких желаний, после высоких надежд законодателя человеческих судеб — приживал при жене, которую недавно в душе презирал...

Павел давно уже приглядывался к мальчугану, самому вертлявому и шумному из всей компании, в вылинявшей майке, просторно висевшей на угловатых загорелых плечах, в каком-то колпаке, сползавшем на глаза.

— А ты меня отыскал? Отыскал?.. Хошь, в нос дам! — доносился его высокий голос через закрытое окно.

Павла почему-то притягивал нелепый колпак на голове парнишки, сваливающийся на нос, заставлявший владельца заносчиво задира́ть вверх подбородок. Трудно было разглядеть его изда́лека в вечерних сумерках, но, как казалось Павлу, колпак был кожаный. С какой стати...

— Васька! Васька! — позвал женский голос. — По всему селу ищу, поганца! Иди козу с луга гони! Ночью, что ль, мне ее доигь!

Паренек прекратил спор, высморкался, деловито вытер о штаны руку, покорно направился на сердитый голос. Когда он проходил мимо окна, Павел почувствовал, как вдоль спины от шеи к пояснице побежал холодок: «Черт возьми! Что за паваждение!» На голове мальчишки он узнал жалкие остатки кожаного картуза Мургина. Козырек сорван, но потертый сплюснутый верх был так знаком, так памятен, что ошибиться невозможно.

— Пакость какую-то напялил, побирущник. Скинь сейчас же! Скинь, тебе говорю!

Не фатализм — что тут особенного, если парнишка нашел брошенный Павлом картуз, — не испуг, что могут опознать, что пойдут толки и перетолки — на это теперь наплевать, — совсем другое встревожило Павла Мансурова. Встревожилась совесть. Она приглушила и острое чувство униженности, и пронзительную обиду, и даже ненависть к Курганову.

Ловчил, пакостил, даже перед собой притворялся, что-де для людской пользы суров и требователен... Блажь! Можно пережить унижение, можно смириться с тем, что вымечтанное будущее не удалось, но постоянно помнить о том, как притворялся, как изворачивался, лгал, лгал, лгал всем, вплоть до себя. Лгал попусту, ничего не добившись, ничего не получив за это! Всю жизнь станешь испы-

тывать неуважение к себе. Всю жизнь. Да будь проклята такая жизнь! Не лучше ли поступить, как Мургин... Снять со стены ружье, вставить патрон, заряженный картечью, и оставить потомству не память о великих делах, а историю о трагической кончине да какой-нибудь сувенир, вроде картуза...

За дверью в кухне послышался чей-то незнакомый ломкий басок. Анна заглянула в комнату, сказала виновато и непривычно мягко, как уж давно не говорила с ним: — Паша, тут пришли... Телефон надо снять.

От всего, что напоминало о прошлых заботах, о беспокойном времени, о власти, осталась одна вещь — телефон, старомодная коробка с ручкой, висящая на стене. Что ж, он уже не районный руководитель, ему некуда звонить, не от кого ждать звонков. Павел неопределенно кивнул головой: «Пусть снимают».

Вошел парень — круглолицый, безусый, в форменной связистской фуражке, с сумкой через плечо. Он, верно, смутно понимал, что бывшему секретарю райкома его появление неприятно, поэтому смущался, от смущения сурово хмурился.

— Аппарат у вас в полной исправности? — спросил он, чтоб показать: я ничего не знаю, меня интересует только техника.

Павел не успел ответить: аппарат, молчавший столько дней, вдруг зазвонил, словно протестовал против того, что его хотят снять с насиженного места.

— Слушаем, — строго ответил связист и тут же протянул трубку Павлу. — Вас просят.

Торопливый, озабоченный голос Зыбиной сообщил:

— Павел Сергеевич, пришла телеграмма за подписью Курганова. Вас вызывают в обком. Срочно...

— Хорошо, — ответил Павел, повесил трубку, кивнул связисту: «Снимай».

В обком так в обком. Теперь бояться нечего.

Он с тупым равнодушием следил, как парень отвинтил розетку, снял аппарат, обнажив свежий, четкий рисунок невыгоревших обоев, обмотал шнур вокруг трубки. Все это, казалось Павлу, делает он вяло, с досадной медлительностью.

Когда связист ушел, Павел старался не оглядываться на то место, где недоуменными тараканьими усиками торчали два откушенных проводка.

Кончилось заточение в четырех стенах: дорога от Коршунова до станции Великой, тряский кузов грузовика, тесно забитый колхозниками и леспромхозовскими рабочими, серый денек с ветром, срывающимся с сырых отавных лугов, с мелким дождичком время от времени, незатейливые разговоры о погоде, о поспевающих хлебах, о подрастающей картошке...

Павел Мансуров сразу же почувствовал себя ожившим. Вчерашние мысли показались не такими уж тягостными, положение — не безвыходным, отчаянье — не оправданным, а решение о самоубийстве — глупым и отвратительным.

На станции перед отправкой поезда ему хотелось ходить, двигаться. Усилившийся дождь показался приятным. Павел шагал взад-вперед по дощатому перрону, вымок и чувствовал от этого наслаждение. Он как бы заново открыл для себя, что не стар, здоров, походка упруга, в каждом мускуле тела играет сила.

В вагоне его окружали незнакомые люди. Ни один из них не знал его прошлого. И то, что можно запросто беседовать, как обычный человек с обычными, вызывало у Павла новое, незнакомое прежде удовольствие.

В городе, на вокзале, он взял такси, проезжая по улицам, поглядывал из окна кабинки с независимым видом. Но такси везло его к зданию обкома, близилась встреча с Кургановым, и Павла начинало уже охватывать беспокойство. Хотелось верить, что не все пропало...

Еще вчера Павел твердо знал, что войдет в кабинет к Курганову с высоко поднятой головой, будет разговаривать с ним независимо, на дерзкий упрек ответит дерзостью. Терять нечего, — значит, нечего и бояться. Единственное утешение — дать почувствовать ту ненависть, которая душил в последние дни.

Но едва Павел открыл двери и шагнул в знакомый кабинет, огромный, как школьный спортивный зал, с высокими до потолка окнами, со столом для заседаний, накрытым красным сукном, длинным и торжественным, как ковровая дорожка царского выхода, увидел в самой глубине человека, по сравнению с масштабами кабинета, стола, высоких окон слишком маленького, как сразу появи-

лась неуверенность, появилась робость. Павлу очень хотелось верить, что не все пропало, а сидящий в противоположном конце кабинета невысокий человек — влиятелен, слишком многое от него зависит. Робость вытеснила ненависть.

Приподняв голову, расправив плечи, упругой походкой, впечатывая каблуки сапог в звонкий паркет, Мансуров подошел к Курганову, с достоинством поздоровался.

— Садитесь, — кивнул Курганов. Он был свежесвыбрит, крепкую шею мягко облегал воротник ослепительно чистой рубашки, коричневые веки непроницаемо прикрывали глаза. Руки Курганова, не по плотному телу небольшие, суховатые, листали бумаги.

— Товарищ Мансуров, — поднял Курганов ничего не выражающий взгляд — ни презрения в нем, ни снисходительной доброты, — я считаю, что вы в достаточной степени прочувствовали тот урок, который по заслугам получили...

Павел опустил глаза, чтобы Курганов не увидел в них радости: снова говорят ему об уроках, значит, снова имеют в виду будущее...

— Или, может быть, вы до сих пор считаете себя обиженным, до сих пор надеетесь свалить вину на обком?

— Я виноват. Кругом виноват. Получил свое. Мне тяжело... Больше ничего не могу добавить, Алексей Владимирович, — негромко ответил Павел.

Веки Курганова опустились, и опять по ним нельзя было понять — понравился ли ответ или просто секретарь обкома прячет досаду, не веря ничему и не сочувствуя.

— Мы могли бы ограничиться обычным: вписать вам выговор, наказать со всей партийной строгостью и отвернуться. Живите как хотите. Могли бы пересадить вас с партийной работы на низовую административную. Но!.. — Курганов возвысил голос и остановился, испытывая терпение Мансурова.

Мансуров с решительно сжатыми губами ждал, что последует за этим «но». Однако с души уже свалился тяжелый груз: решили не засовывать на низовую работу, значит, «но» кое-что обещает...

— Но легче всего наказать, легче всего отвернуться. Мы же не собираемся действовать облегченными методами. Самая святая обязанность руководителя — бережное отношение к кадрам. Наделали ошибок, наломали дров,

хотели вывернуться, свалить свои грехи на обком — пусть-де расхлебывает Курганов... И все-таки мы помним, что вы человек с головой, что вы энергичны, деятельны, надемся, что эту энергию можно повернуть на полезное для страны дело... Так вот, товарищ Мансуров, обком партии решил не ставить на вас точку, а воспитывать. Мы посылаем вас на учебу в Высшую партийную школу. Но помните: никто не сможет сделать вас настоящим, принципиальным руководителем, если вы сам...

Павел Мансуров слушал, покорно склонив голову. Партийная школа... Лучшего выхода он сам бы не мог придумать. Вряд ли он уже попадет обратно в эту область и наверняка навечно распрощается с коршуновцами. Счастливо им оставаться, нисколько не жаль... Все прекрасно, все как нельзя лучше.

Однако при прощании Курганов не протянул руки Павлу, кивнул холодно и отвернулся.

Отпечатывая по паркету шаги, Павел уносил в душе легкое презрение: «Держит марку. Показывает, что принципиален — личное отношение не мешает быть объективным... Испугался, милый, что молчать не стану, тебя вместе с собой вытащу на чистую воду».

В приемной он неожиданно лицом к лицу столкнулся с Игнатом Гмызиным, ожидавшим приема у Курганова. Павел кивнул Игнату так, как с минуту назад кивал ему самому Курганов — холодно, со скрытым презрением. Игнат в ответ тоже едва пошевелил бритой головой.

«А этот зачем тут? Не на мое ли место сватают? Если так, то славный подарочек. Пусть-ка сам повоюет, вместо того чтоб указывать и одергивать... А Курганов-то, Курганов — спасовал. Неожиданность!..»

Возбужденный, несколько оглушенный удачей, Павел пошел по коридорам обкома оформлять направление на учебу, повторяя про себя одно лишь слово: «Спасовал, спасовал...»

Уже вечером в номере гостиницы, покойно лежа на койке, Павел не спеша, трезво взвешивая все, открыл для себя то, что и при безделье, и при лихорадочных постоянных поисках ни разу не приходило в голову.

Нет, он был не прав — Курганов вовсе не спасовал перед ним. Курганов наверняка знал, что сброшенного секретаря райкома бояться нечего. Понимал, что каждый выпад его, Павла Мансурова, легче повернуть против него же

самого. Есть вещи пострашнее, чем гнев какого-то обиженного Мансурова.

Он, Павел Мансуров, был не на последнем счету. Анкеты, отзывы, характеристики — все бумаги, что для отдела кадров рассказывают о секретаре райкома Мансурове, — безупречны. На них нет ни одной буквы, порочащей его, ни одна запятая не бросает тень на деятельность партийного руководителя Мансурова. Напротив, все бумаги — характеристики от политотдела армии, характеристики Комелева, когда он, Павел Мансуров, работал еще заведующим отделом, наконец, рекомендации обкома на первого коршуновского секретаря — все в один голос, в одинаковых выражениях сообщают: инициативен, энергичен, вдумчив, политически зрел... А если приедет комиссия ЦК, станет проверять, наткнется на такие характеристики, узнает о том, что он, Мансуров, снят с работы без каких-либо предупреждений, предварительных взысканий, непременно начнут придирааться: «Это что у вас за отношение к кадрам? Почему не воспитываете? Почему бережно не относитесь? Ошибся, не справился? А где вы раньше были, почему не помогли вовремя?..»

А Курганов во всем этом замешан сам, не на кого указать, не на кого сослаться, самому придется краснеть, самому изворачиваться, терпеть упреки. Единственно верный и покойный выход — без шума, не противореча бумагам, отделаться от Мансурова, удобней всего на учебу.

Глуп ты еще, Павел Сергеевич, не опытен. Стоило мучиться, лезть на стенку, отчаиваться вплоть до мыслей о самоубийстве. Забываешь, что есть великая спасительная сила — бумажка с подписями, подшитая в канцелярскую папку. Она сильнее Курганова, она сильнее тебя самого.

А Курганов не только не сможет загородить перед тобой дорогу, он даже позаботится о том, чтобы и в будущем тебе особо не мешали. Не пошлет же в партийную школу с плохой характеристикой, обязательно впишет доброе слово, хоть не от души, не от чистого сердца, но доброе...

И Павел Мансуров, размышляя, не чувствовал ни особой радости, ни особых угрызений совести. Он считал: что радоваться — он же не победитель, чем тут возмущаться — так положено, так заведено, его спасение законно.

Саша вместе с Игнатом Егоровичем ездил в город, побывал в институте, побегал по разным хозяйственным организациям, прощупывая — нельзя ли достать водопроводные трубы, насосы, электрооборудование. Игнат же все эти дни не выходил из обкома.

Уже ночью, перед тем как сесть на поезд, Саша узнал, что Игната Егоровича обком рекомендует на место первого секретаря. Член бюро, пользуется авторитетом, учится в институте — по всем статьям подходит.

Новость большая, а для колхоза «Труженик» — особенное событие, причем не очень-то радостное. Шутка сказать — остаться без такого председателя.

Саша надеялся, что всю ночь до самой станции Великой будет не до сна, не хватит времени все обсудить, обо всем переговорить. Но Игнат Егорович был молчалив, озабочен, даже сумрачен. Он взобрался на верхнюю полку, бросил Саше, выжидательно следившему за каждым его движением: «Спать, братец, спать. Утро вечера мудренее». Поворочался со вздохами и кряхтением, затих — то ли уснул, то ли задумался под стук колес.

Разговорились они уже по дороге в Куршуново, в кузове трехтонки, груженной плитами подсолнечного жмыха.

Который день без устали сыпал дождь (совсем прекстати — самая пора уборки). Под низким, без просвета серым небом проползали мокрые, зеленеющиеся темной отавой луга, поля с начавшими уже полежать хлебами, кусты с расквашенной от сырости листвой — все кругом выглядело уныло: казалось, устало от дождя.

Саша и Игнат лежали на твердых, как камни, плитах жмыха, накрывшись одним брезентовым плащом. Игнат сообщил:

— Мансурова-то обком на учебу посылает.

— Слышал краем уха. Как же так получается?

— Вот так. Пообчистят, наведут глянец на старый сапог, скажут: шагай дальше. И он с документами школы пойдет шагать смелей. Ему ли будет оглядываться, когда так легко с рук сходит. Считай: из райкомовского стула он теперь вылез, после партшколы повышение ждет.

— Почему так, почему? Курганов же был у нас, сам выступал против Мансурова...

Игнат Егорович не ответил. Он лежал, положив на руки подбородок; натянув на глаза кепку, уставился из-под козырька вдаль, в мутновато-синие леса.

— Не враг же людям Курганов,— повторил Саша.

— Нет, людям не враг, а себе тем более...

Машину бросало на ухабах. Тяжелый Гмызин лежал не шевелясь, словно прирос к твердым, прикрытым брезентом плитам жмыха. Саша же вцепился рукой в борт, морщился от ударов.

— Значит, ты уйдешь из колхоза? — заговорил Саша, когда дорога выправилась, машина пошла ровнее, а ветер с прежним упрямством заполоскал концом брезента.

— Не хотелось бы. Ой, как не хотелось. Невеселое дело ждет. Зима на посу, скотные дворы не отремонтированы — золотое время съела возня с кормоцехами. Кормов по-прежнему не густо, а скота прибавилось, да еще племенного. Мансуров заварил кашу, расхлебывать придется мне. С него-то взятки гладки, будет жить в городе, слушать лекции о диалектическом развитии. Курганов, чтоб положение выправить, каждую мелочь на прицел возьмет. Попробуй тогда ему напомнить, что чужая беда на шее висит, живо обрежет — взялся за гуж...

— А ты откажись, Егорыч. Будем жить в колхозе, разворачивать хозяйство.

— Жить в колхозе?.. А на секретаря посадят Зыбину или пришлют постороннего, которому не жарко и не холодно от коршуновских забот. Нет, брат Саша, это опять робеть за свою шкуру. Не дело.

Машина ворвалась в небольшую придорожную деревеньку: замелькали крыши, окна с белыми наличниками, шатровые калитки, брызнули с дороги куры, выкатилась с лаем собака. Игнат ворочался, никак не мог по-прежнему удобно пристроиться. Деревня осталась позади, потянулись мокрые хлеба, склонившиеся с обеих сторон к булыжной дороге...

— А председателем у нас кто ж теперь будет? — спросил Саша.

— Вот это-то больше всего и расстраивает. Что таиться, мечтал тебя на замену вырастить. Думал: придет пора, будет сидеть дряхлый дед Игнат на завалинке — сыт, на пенсии, душой покоен — не зря парня обхаживал, покруче моего ворочает. А вон как получается... Не успел...

Игнат на минуту задумался, неожиданно, с оживлением повернулся к Саше:

— Не слышал про такую председательницу — Зязица, из Вологодской области?..

— Может, и слышал, да в память не запало.

— Ее выбрали в председатели, когда девке едва девятнадцать лет минуло. Колхоз до нее был аховый, хозяйство на честном слове держалось, институтов она сама не нюхала, а ведь вытянула колхоз, сама в люди вышла, депутат, орденоска, районное начальство перед ней потрухивает... Ладно, поживем — увидим. Что еще люди скажут... Не успел...

Игнат сошел у отворотки на Новое Раменье. Саша поехал дальше, в Коршуново, к матери.

Пусть недолгим было расставанье с родным селом — не годы, всего несколько дней. Но не велика пока и Сашина жизнь, не успел еще привыкнуть к отъездам, всякое возвращение ему — в новинку. Может, в будущем перестанет так радостно и тревожно сжиматься сердце, когда впереди, в конце дороги выползут из-за земли первые крыши коршуновских домов. Может, станет он встречать их скучающим взглядом... Все может быть, но пока не настало то время.

Перед самым въездом в село, словно величественный страж, поднималась на крутом взлобке старая сосна.

Шофер весело гнал машину. Сашу подбрасывало в кузове. Все ближе, все отчетливее видны ее старые ветви, распластавшиеся над пригорком.

Навстречу из Коршунова выкатился грузовик. Обе машины, не доезжая друг до друга, сбавили скорость, поравнялись, остановились кабинка к кабинке.

Меж шоферами своя дружба, свои знакомства и свои новости, которые не терпится выложить. Из одной кабинки в другую пропутешествовала пачка папирос, в сыром воздухе запахло табачным дымком.

Кузов соседней машины был набит пассажирами. Саша, распрямившийся, ощупывая избитое на каменных плитах подсолнечного жмыха тело, неожиданно увидел прямо перед собой Катю. Она сидела возле большого чемодана, бережно держала на коленях авоську, на голове теплый платок, знакомое Саше синее пальто по-дорожно-

му застегнуто на все пуговицы. На лице у нее, чуть изменившемся с последней их встречи, непривычная отчужденность и замкнутость.

Они были рядом; молчать, отвернуться неудобно. Саша спросил:

— Ты куда?

— Уезжаю. Совсем.

— А куда?

— Далеко.

— Куда же?

— В Казахстан.

— Зачем это?

— По путевке райкома комсомола.

Те же сросшиеся чуть приметным темным пушком брови над переносицей, глаза же стали серьезнее, холоднее, в губах нет прежней мягкости, что-то взрослое, бабье, горькое появилось в суховатом складе рта. Саша без этого догадывался — не легко ей жилось последнее время. Бежит. Может, сойти, поговорить не на людях, не наспех...

Но шофер Катиной машины утонул в глубине кабинки, хрустнули шестерни передачи. Катя аккуратно подобрала полы пальто под авоськой, приготовилась к толчку, кивнула Саше головой. И в эту последнюю секунду Саша заметил, как растерянно и жалобно дрогнул ее взгляд, твердо сжатые губы разошлись. Ей тоже хотелось, чтоб шоферы не так быстро расстались.

Машины торопливо разбежались каждая в свою сторону. Саша с опозданием махнул Кате рукой.

Где-то в незнакомом Казахстане начнет она искать свое счастье, устраивать свою жизнь. И в этом счастье, в ее жизни он, Саша, будет таким же далеким, как село Коршуново для Казахстана. Не на месяц, не на год, даже не на многие годы — навсегда расстанутся.

Саша, редко вспоминавший в последние недели о Кате, вдруг почувствовал сейчас, как сдавило горло, заняло в груди. Немедленно соскочить, броситься вслед, кричать, звать, звать с отчаянием!..

Но Катина машина скрылась за поворотом. Проплыла мимо сосна, заломившая в серое небо костистые ветви. Могучая в старости, она продолжала жить своей жизнью, чуть-чуть шевелила мокрой хвоей на верхушке...

Забегущим днём

Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Мое будущее началось до моего рождения. Баррикады на Пресне и неуклюжий самолет братьев Райт, красный флаг на «Потемкине» и открытие Эйнштейна, Ленин, произносящий речь с броневика, орудия «Авроры», уставившиеся в Зимний дворец, декреты на оберточной бумаге: «Мир народам! Земля крестьянам!», чертежи межпланетной ракеты калужского затворника Циолковского — где-то во всем этом появилась не только та жизнь, которой я жил и живу, но и то, что ждет меня впереди, то незнакомое, таинственное манящее — мое будущее.

У каждого человека есть оно свое собственное, личное, неприкосновенное для других.

Будущее — это воздух жизни, движение жизни, это сама жизнь. В старости его еще можно заменить прошлым и покорно существовать. Но существование — не жизнь. Существование только тогда становится жизнью, когда есть мечты и твердые расчеты, как *дальше* жить, что *дальше* делать. Люди, потерявшие будущее, часто кончают жизнь самоубийством.

Мое будущее началось до моего рождения.

В феврале семнадцатого года мой отец поднимал восстание в крепости Свеаборг, был красногвардейцем в Петрограде, в гражданскую войну воевал комиссаром роты.

Мой дядя Андрей Бирюков, старший из отцовских братьев, всего за две недели до моего рождения был схва-

чен кулацкими сыновьями по дороге в свою деревню и зарублен топорами. В память о нем меня назвали Андреем.

Я был первым некрещеным ребенком в округе. За пятьдесят верст приходили старухи поглядеть на меня: как выглядит нехристь, с младенческих лет отступник перед богом.

Я воспитывался не на бабушкиных сказках с Иваном-царевичем, сиротой Аленушкой и шутком Балакиревым, а на рассказах отца о том, как сбросили с чердака офицера-пулеметчика, стрелявшего в солдат, собравшихся на митинг, о том, как ходили агитаторами к колчаковцам и как эти разagitированные колчаковцы арестовали полковника Хрящина.

В раннем детстве помню над своей кроватью плакат, изображавший III Интернационал: русский, китаец и негр, шагающие под красным знаменем. Уже тогда для меня этот плакат стал окном в будущее, вызывал смутные, дерзкие, героические мечты.

Но не только рассказы отца, не только книги, плакаты, кинокартины — часто сама жизнь напоминала о том необыкновенном будущем, какое ждет меня впереди. Помню одну историю...

Мне тогда было лет пять. Как-то со старшими ребятами я сидел у костра на берегу нашей речки, плакал от едкого дыма и терпеливо ждал, когда выделят мне долю картошки, которая пеклась в тлеющих головнях.

Из елового мелколесья, что покрывает большое болото, прозванное Егоркиной пустошью, вышел человек в лохматой зимней шапке, в ватном зипуне, хотя стояла самая жаркая пора лета. Он, оглядываясь, несмело приблизился к костру — запавшие глаза, в жесткой, волчьей седине подбородок, черные, обметанные губы улыбаются льстивой улыбкой, так не подходящей ко всему облику ни дать ни взять вылезшего из леса болотного лешего.

— Огоньком балуетесь, родненькие? Ничего, ничего, не осуждаю... Иду, слышь, на меня от картошечки духом пахнуло. Дай, думаю, передохну возле ребяток...

Он присел возле костра, стал вытаскивать черными от грязи руками недопеченную картошку, перекидывал ее, разламывал, жадно ел, морщась от ожогов и дыма, не переставая сыпать скороговоркой:

— Вот, ребятки, какие времена-то настали. Светопреставление... Отощал начисто, маковой росинки во рту не было... Ужо трубы Гавриила-архангела затрубят, всех антихристов громы небесные побьют. Побьют! А тех, кого не добьют, мы, прости господи, в колья возьмем. Уж возьмем во славу Христа. Уж затрещат черепа на комиссарских плечиках. Кровью улицы обмоем, ни жен ихних, ни детей не помилуем... Свят, свят господь на небесах! Он все видит, он кару нам послал за грехи наши, он и спасет нас. На одного тебя уповаем... Спасибо, господи, накормил мя. Вам, ребятки, спасибо.

Незнакомец черной рукой осенил себя крестом, вздохнул, быстро и цепко оглядел всех запавшими глазами. На секунду эти лихорадочно блестящие из темных впадин глаза остановились на мне, и я сжался от страха.

Под наше испуганное молчание он ушел.

А через несколько дней отец приехал домой из командировки с темным, осунувшимся лицом, с вырванным из плеча рукавом пиджака.

— Убийство случилось в Окуневе. Видать, в меня целил, сучий сын, да промахнулся. Костя Григорьев со мной шел, упал и не крикнул... Жаль парня, тихоня был. Его-то жизнь гаду не нужна. Еле взяли, в бане спрятался, зубами грыз руки, пока связывали. Старый знакомый — Данилка Тягов, средний из Тяговых, тех, что раскулачили.

Без ватного зипуна, в одной грязной рубахе, но в зимней лохматой шапке, нахлобученной на глаза, с руками, стянутыми веревками за спиной, вели два милиционера по улицам городка Тягова. Коричневое, сморщенное маленькое лицо со злыми глазками из-под шапки оборачивалось то направо, то налево, невидящий взгляд рыскал по любопытным, вывалившимся из домов. Отец, по-воскресному выбритый, в чистой после бани рубахе, стоял возле дороги, держал меня за руку. Тягов задержался перед ним, из-под седой щетины оскалил желтые зубы:

— А-а, Васька Бирюков! С отпрыском, видать... — И вдруг, бешено брызгая слюной, мученически оскалившись, закричал: — Не то жалко, что в башку твою промахнулся! Дело божье — отвело пулю!.. Жалко мне, Васька, что щеночка твоего в овражек не стащил. Не смекнул, что твое семя. То ли бы праздничек тебе устроил, сатана комиссарская!..

Милиционеры толкали в спину Тягова, а он, переступая упирающимися ногами, еще долго оборачивался и кричал:

— Не знал! Ох, не знал, прости господи! А то бы порадовал тебя, Васька!..

Отец хмуро глядел вслед и молчал, дрожащей рукой гладил мою голову.

Прошли годы, и образ Данилки Тягова в моей памяти занял место рядом с офицером, который расстреливал из пулемета солдат, рядом с полковником Хряциным, сжигавшим деревни, со всеми, кого в своих рассказах отец рисовал врагами.

Отцу выпало счастье воевать против них. Но я надеялся, что буду счастливее отца. Мир ждет часа, когда начнется борьба за счастье и за справедливость. И эта борьба грянет, сомненья в том нет. И тогда бок о бок с негром, или с французом, или немцем под одним знаменем цвета крови и пламени начну воевать и я. В этом мое будущее. Фантастическое детское будущее, сливающееся с безбрежным будущим всех земель, всех народов.

Я, как заклинание, произносил слова: «Вот вырасту большим!» Но по-настоящему «большим» я не успел вырасти — обрушилась война. 22 июня 1941 года мне не хватало двух недель до семнадцати лет.

2

Помню, ликующая луна освещала искалеченный Сталинград. Черные, выщербленные трубы, как мрачные памятники исчезнувшего в глубине веков безвестного народа, поднимались над пепелищами.

Под обрывистыми берегами жалкой речонки Царицы валялись скованные морозом трупы: изломанные тела, торчащие вверх ноги, скрюченные судорогой кисти рук, и все это переплетено...

Не один этот город разрушен, не одну только речку Царицу завалили трупами. Но не может быть, чтоб за несчастьями следовали несчастья, горе сменялось горем.

Если бы перешагнуть в будущее! Если б знать, что впереди у тебя много, много лет... Но кто может это пообещать?..

Летом 1943 года на Харьковщине, за селом Циркуны, мина, ударившись в дорогу, сбросила меня на землю, раздробила бедро осколком.

Тихон Бабкин, мой друг со времени отступления от Калача, и молоденький солдат из вновь прибывших Рахмайтуллин дотащили меня на плащ-палатке до санроты.

Опираясь на палку, я вернулся домой с вновь приобретенной житейской мудростью, которая заключалась в том, что я умел собрать и разобрать затвор винтовки, выкопать окон, срastить концы перебитого кабеля, дежурить у телефона, выкрикивая: «Резеда! Резеда! Я Одуванчик!»

Теперь ремесло солдата было ненужно. Но чем-то надо все-таки заниматься. Я стал преподавателем физкультуры в той школе, где сам три года назад сидел за партой.

Я выводил учеников в наш низенький и тесный спортзал, заставлял подтягиваться на турнике, лазать по канату, выполнять нехитрые упражнения на брусках. Но такое занятие не могло стать смыслом всей моей жизни.

Кем быть? Этот вопрос превратился в постоянное проклятие. Кем быть, за что взяться? Мучайся, бросайся из стороны в сторону, терзай самого себя, но ищи, ищи и ищи! Будущее уже перестало быть мечтой, его пора было начинать.

4

Я был растерян. Да, растерян.

Вопрос «кем быть?» никогда не волновал ни моих учителей, ни моих родителей, ни меня самого. Всем, в том числе и мне, казалось, что он сам как-то решится, он нечто далекое и туманное, о котором незачем заранее беспокоиться.

Теперь этот вопрос застал меня врасплох. Надо решать, нечего рассчитывать на чью-то поддержку, на выручку со стороны.

В каком деле я принесу больше пользы, что я люблю, чему отдать свои силы?

С пристрастием допрашивая себя, я сделал открытие.

О любом знакомом я мог сказать что-то определенное: наш сосед Сергей Артамонович добр от природы, просто-сердечен, имеет такие-то привычки, а Яков Пермяков, мой одноклассник, отличается тем-то. Хорошо ли, плохо, а я всех мог оценить. Всех, кроме себя. Оказывается, самый непонятный для меня человек — я сам. Кто я таков? Что из себя представляю?

Я люблю читать книги, очень люблю Толстого и меньше Достоевского, но не прочь полакомиться и Конан-Дойлем. Когда-то любил уроки истории, но теперь, убей, не вспомню, в какие годы жил Иван Калита. Что еще сказать о себе? Не очень-то отчетливая характеристика.

Единственное, чем отличался я от других, — если не умением, то желанием рисовать. В школьные годы я всегда украшал стенгазету, расписывал декорации к спектаклям художественной самодеятельности, даже почитался в нашем городке как общепризнанный талант.

После возвращения из армии для районного Дома культуры сделал большой плакат-картину: русский, китаец и негр под красным знаменем. В райисполкоме мне поручили к Первому мая украсить трибуну, возле которой проходили митинги. И я по фотографии с известной мухинской скульптуры вырезал из фанеры и раскрасил рабочего и колхозницу, поднимающих вверх серп и молот.

Наш неказистый городок со своей единственной мощенной булыжником улицей, разнокалиберными домишками, тощими палисадничками и обширными огородами, покрывающимися летом дремучей картофельной ботвой, был окружен заливными лугами, веселыми березовыми перелесками и мрачными словыми чащами.

Весной опушки хвойных лесов кажутся высеченными из темного камня, а березовые рожицы настолько прозрачны, что по ночам низко висящие над землей звезды пронзают насквозь их толщу. Бронзовое сияние сосновых стволов, молочная пена цветущей черемухи — все вызывало могучую своим постоянством радость. Она кочила, она распирала меня, заставляла чувствовать себя чрезмерно богатым.

Такое богатство носить одному было непосильно, хотелось с кем-то поделиться. Тем более что делиться радостью — это не значит отрывать ее от себя.

Кому довериться? С кем поделиться?

Но поделиться, оказывается, почти невозможно. Попробуй-ка рассказать знакомым, что тебя удивил застоявшийся над болотом туман, в котором утонула раскаленная луна. Сообщи, что сырой, пропитанный прелыми, тинистыми запахами туман не зашипел, а мягко и нежно осветился, словно всосал в себя лунный свет. На тебя наверняка поглядят с подозрением: «Не рехнулся ли парень?.. Тоже сказал: туман видел, а кто не видывал такое чудо?»

Я целыми днями просиживал с альбомом и дешевыми акварельными красками.

Глинистый обрыв, тускло горящий на алом вечернем закате... Плотные кусты шиповника, пробитые белым, как выветренная кость, стволом молодой березки... Осевшая от старости черная банька и могучая крапива, нежно укрывающая ее трухлявые углы... Тысячи глаз смотрели на эту баньку, тысячи людей проходили мимо нее — никто не оценил, никто по-настоящему не приметил. А я увидел! Я оценил! Я украд у природы частичку красоты. Это ли не счастье?

Но увлечение живописью все чаще и чаще сменялось тревогой. Не зря ли теряю время? Стать художником — это заманчиво, это дерзко, но мало ли таких, как я, провинциальных «гениев» мечтает прорваться в высокий мир настоящего искусства!

Областной институт сельского хозяйства объявил прием. В училище речного флота с десятилеткой принимают без экзаменов. Есть еще пединститут, есть институт лесного хозяйства. Можно, кажется, выбрать.

В газете я натолкнулся на объявление: «Государственный институт кинематографии объявляет прием студентов...» В числе других факультетов в этом объявлении был указан и художественный факультет.

Я отобрал пять акварелей. Затянутое осокой озерцо с вагонувшей лодкой, опушка леса с березовыми стволами, на крутом холме банька с прогнутой крышей, берег речки, где женщина в красной кофте полощет белье... Долго сомневался в одной работе. Она изображала выгон, куда гоняли коз густоборовские хозяйки. Рыжая, вытопанная трава и развалившаяся изгородь с торчащими жердями — вот и все, если не считать серого неба. Ничего особенного, скучная картина... Но я послал и ее.

Вызов пришел через месяц.

Опустевший трамвай вынес меня на окраину Москвы и, погромыхивая, укатил дальше.

В переполненном, тесном городе есть свои пустыни. В сорок пятом году такой пустыней была площадь Сельскохозяйственной выставки, самая обширная площадь города. За высокими стенами во дворцах-павильонах обитали какие-то немногочисленные хозяйственные организации. Широкие — воплощенное гостеприимство — двери были наглухо закрыты уже много лет.

После городской толкучки я словно попал в спящее царство. Ни одного человека кругом. На асфальтовой глади, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоят лишь фонарные столбы. Прогрел за спиной еще один трамвай. Прижимаясь к краю площадки, словно страшась ее обширной пустоты, проскочил одинокий грузовичок.

А хозяином площади, выше столбов с фонарями, выше далеких стен — крутых берегов асфальтового озера, — выше всего, что есть поблизости, поднимается сверкающий памятник. Гигантский рабочий и гигантская колхозница вскидывают серп и молот в вечернее городское небо.

Старые мои знакомые! Первые из знакомых, кого встретил я в Москве!

Я долго сидел на чемодане, отдыхал, жадно глядел.

Огромная площадь. Безлюдье. Прочно вросший в асфальт каменный постамент. На нем — неистово ринувшиеся вперед два гиганта. Их освещает заходящее солнце. Густыми красными отблесками сверкает измятая сталь. Рвутся с каменного постаamenta великаны, не могут сорваться.

Огромная пустынная площадь, тревожно освещенные великаны — и я, несоразмерно маленький, затерявшийся, беспомощный, жалкий на своем чемодане.

Институт, в который я должен поступить, где-то здесь, близко, я сижу у его подступов. Вот как выглядит дверь в мое будущее — то будущее, что не давало покойно жить, выгнало из дому.

Хватит ли сил, энергии, таланта, не потеряюсь ли я среди того бесконечно обширного, что ждет меня впереди? Страшно, замирает сердце! Но в то же время поднимается с самого дна души отчаянная радость: вот в какой мир вступаю! Пусть он велик, кажется недоступным, но «не боги горшки обжигают». Кто знает, на что способны мои

руки, не поставят ли они на восхищение людям вот такие памятники!..

Я попал в институт, когда совсем стемнело. Вахтерша, словно деревенская бабушка на завалинке, вязала у дверей шерстяной носок. Она недовольно оборвала свое занятие:

— Дня вам мало!

С ее далеко не радушного позволения я улегся в темном углу институтского коридора на деревянном диванчике, положив чемодан под голову.

Я закрыл глаза, и передо мной снова поплыли улицы незнакомого города, человеческие лица, поодиночке, попарно, десятками, женские, мужские, молодые, старые лица с разными характерами, молчаливые, отчужденные.

В огромном, незнакомом мне полутемном здании было так тихо, как бывает тихо в ночные часы в опустевших учреждениях. Лишь где-то за дверями время от времени глухо гудела вода в водопроводном кране.

И мне представился спящий безбрежный город, спящие в нем, этаж над этажом, люди — тысячи, миллионы тех, кого я видел днем, и тех, кого я никогда не видел и никогда не увижу в своей жизни. Спит город, принявший меня без особого гостеприимства.

Спят люди и не подозревают, что в их миллионной семье появился еще один человек. Он лежит сейчас в углу на твердом диване. Никому не известно, какое великое желание привез он с собой в душе.

Мое единственное богатство — моя жизнь, те дни, годы, десятилетия, которые отмерены для меня. Я хочу отдать это вам, люди, незнакомые мне, вам, для вашей пользы, для вашего счастья. Никому не расскажешь об этом желании, а если расскажешь, никого не удивишь: мало ли таких, как я, предлагающих в услугу людям свое будущее? Надо просто уснуть вместе со всеми, дожидаться нового дня. Дня, обещающего начало будущего.

Я не успел заснуть, как от дверей снова донесся голос вахтерши:

— Господи боже, еще один полуночник!

Минут через пять возле меня появился невысокий, крупноголовый, при погонах и портупее офицер.

— Э-э, да тут ночлежка в полной форме. Принимайте в компанию.

Он уверенно снял через голову планшетку, небрежно бросил ее на соседний диванчик.

— На какой факультет? — спросил он.

— На художественный. А вы?

— На режиссерский буду пытаться. Давайте знакомиться. Юрий Стремянник.

5

На окраине станции Лосиноостровская стоит небольшой двухэтажный особнячок. Широкие, санаторного типа окна, сравнительно небольшая вместимость, дачное место — все это выдавало, что его строили как дом отдыха средней руки, а вовсе не общежитие для студентов.

Если постоять в стороне, прислушаться, то казалось — за стенами дома прячется галочий базар: растрепанный, напористый шум голосов доносился из него.

Солдаты и офицеры, недавно снявшие погоны, тихие девушки из провинции, увешанные фотоаппаратами юнцы, сосредоточенные, рабочего вида парни, громогласные студенты, покинувшие другие институты ради святого искусства кино... Озабоченность и беспечность, растерянность и упрямая надежда, наивность и нарочитая многоопытность, доходящая порой до цинизма, и всех объединяет одно: надежда на единое будущее. У всех одна цель, одна страсть — попасть в институт.

Приемные экзамены еще не начались, будущие студенты до поры до времени предоставлены самим себе. Единственное занятие — спор. В крошечных комнатах, плотно забитых койками, в табачном дыму проходили яростные сражения.

В той комнате, куда попал я, выделились два матерых бойца, перед энергией которых ступевались все остальные.

Первый — Григорий Зобач. Он тоже собирался поступать на художественный факультет, но, не в пример мне, был уже стреляный воробей, много лет работал художником-декоратором в одном из областных театров. Он всех старше в комнате, ему за тридцать, возраст несколько перзрелый для кандидата в студенты первого курса. На голове жиденько курчавится рыжеватый, словно подпаленный, пушок — признак былых кудрей, безвозвратно уступающих место лысине. Лицо грубоватое, губастое, со светлыми беспокойными глазками и плоским лбом. Голос у

него был до неприличия мальчишеский, звонкий и запальчивый, взгляды же — умудренного жизнью скептика. Он считал: искусство — в первую очередь передача ощущений; самые большие рутинеры в искусстве — реалисты; они подменяют собственные ощущения неверной копировкой натуры, а следовательно, долой реализм, да здравствует новое искусство субъективных восприятий!

Против него выступал Юрий Стремянник. Этот младший лейтенант был старше меня всего на год, но держал себя куда солиднее Зобача. С лобастой головой на короткой шее, с выпуклой грудью, невысокий, кряжистый, он никогда не поднимал голос до крика, слушая, таил насмешку в глазах, но если начинал говорить, то говорил так напористо, что Зобач, постоянно порывавшийся его оборвать, только беззвучно, как рыба, хватал воздух ртом и не мог вставить ни слова.

Я ровным счетом ничего не понимал в спорах, хотя слушал с религиозным обожанием, мучился тайком: «Как мало знаю! Как глуп по сравнению с теми, кто на днях будет оспаривать у меня место в институте!»

Обычно с наступлением вечера споры прекращались. Из дачных домиков тянуло запахами душистого табака и пресным травянистым настоем, напоминавшим, что сейчас уже разгар августа, что впереди осень, близится увядание. Свежий ветерок врывается в открытые окна нашей комнаты, затянутой после словесных битв табачным дымом. Даже долговязый кандидат в сценаристы, в течение всего дня валявшийся на смятой койке, спрятав нос в книгу и выставив на обозрение внушительные ступни в драных носках, выползал на волю.

Белые девичьи кофточки смутно проступают в темноте. Девичьи голоса пегромко поют. Как поют! Здесь собрались не случайные люди, а завтрашние артисты.

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари...

Нежные, счастливо тоскующие от избытка молодости голоса сливаются в одно ощущение со свежестью глядящего по лицу ветерка, с влажными запахами.

Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог...

Казалось, что может быть проще — откинь на время грызущие тебя заботы. Иди сядь рядом, почувствуй возле себя девичье плечо, подтяни, если даже нет у тебя голоса. Этого требует молодость, этого требует вечер, этого требует счастливая минута, выпавшая тебе в жизни. Слышишь, песня тебя зовет!

Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет...

Но я оставался в стороне. Я сурово приказывал себе: не время наслаждаться, начинается борьба за будущее, главное — попасть в институт, все остальное возьму потом.

Вечное упование на *потом*. В таких случаях не приходит в голову мысль, что *потом* часто не сбывается.

6

Начались вступительные экзамены.

На помост посреди аудитории помогли подняться дряхлой старушке. Она, как курица в жаркий день на пыльную обочину, долго и озабоченно усаживалась на шатком стуле. Уселась, сложила на подоле юбки сухонькие темные руки, уставилась в пространство бездумным взглядом и замерла — покорная, заранее обречшая себя на длительную неподвижность, всем своим видом доверчиво говорившая: «Берите меня, добрые люди, какая есть...»

С разных концов аудитории из-за широких досок на подставках, из-за мольбертов жадно, тревожно, с деловой беззастенчивостью впились в ее лицо десятки пар глаз. Среди них такие же жадные и такие же, как у всех, тревожные мои глаза, ощупывающие каждую морщинку.

Широко расставленные крутые скулы, обтянутые дряхлой кожей, мясистый снизу нос, переходящий в плоскую расплывчатую переносицу, мелкосборчатый, запавший рот — вот он, экзамен, вот первая ступенька к будущему. Это самое заурядное из заурядных старушечье лицо мой карандаш обязан перенести на лист плотной бумаги.

Дома я часто рисовал портреты то соседских ребятшек, то товарищей по работе. Тогда я брался за них смело. Слава мне, если портрет получится похож, если нет —

все равно слава и восхищение. В Густом Бору лучше пикто не нарисует.

Теперь же тонко отточенный карандаш выводил едва приметные глазу линии, оставляя на бумаге реденькую паутинку — след мосей панической робости.

Старушка безучастно помаргивала глазами, плотнее сжимала мятые губы. Она в эти минуты была для меня самым важным человеком на всем свете, я въедался взглядом в каждую складочку ее кожи, ощупывал каждый выступ на щеках, на лбу, на подбородке.

Против моей воли карандаш сделал твердый нажим в углу губ, вне зависимости от моего сознания нанес решительную тушевку падавшей от носа тени... И я увлекся...

Лицо бабушки с расставленными скулами — лист бумаги, заполненный песмелой штриховкой, снова лицо — снова лист бумаги. Все окружающее исчезло для меня.

Через час без малого я оценивающе окинул взглядом свою работу: и скулы торчат в разные стороны, и нос мягкой гулей с исчезающей переносицей, широко расставленные, по-старушечьи бессмысленные, добрые глазки — все как следует. До чего же славная бабушка, до чего милое существо! Сидит себе помаргивает, ведать не ведает, что доставила мне сейчас радость. Впрочем, рано радоваться, какими еще глазами другие взглянут на мою работу!

По правую руку от меня сидела невысокая, немного кургузая девушка, густые волосы рассыпчатой волной закрывали шею и воротник белой кофточки. Небольшие, с короткими энергичными пальцами руки делали решительные, мужские штрихи. Я краем глаза заглянул в ее работу. Сначала ее рисунок показался мне каким-то кричащим, трубным, затем бросились в глаза старушечьи скулы — их так и хотелось пощупать рукой. Моя работа сразу же перестала радовать меня, она со всеми аккуратно растушеванными морщинками показалась ровной, серой, вылинявшей.

Соседка повернулась ко мне:

— Покажи, как у тебя? Я фактуру лба ухватить не могу. Невыразительный лоб нажил за свой век божий одуванчик.

Мне захотелось загородить грудью свою работу. Мучительно были те несколько секунд, когда она, уронив на щеку рассыпающиеся волосы, немигающими глазами уста-

вилась в мой рисунок. Какие мысли рождаются сейчас под ее аккуратным белым лбом, какое презрение прячется за сомкнутыми губами?

— Кто тебя научил так тушевку разводить?

Я ответил не сразу:

— Кто же учил? Никто. Сам себе во князьях сидел.

Она улыбнулась:

— А ты откуда, князь?

— Издалека. Все равно не знаешь.

— А все-таки...

— Город Густой Бор слыхала?

— Это где?

— На севере...

— И большой город?

— Большой. Из конца в конец курица пешком полчаса идет.

Она засмеялась:

— Значит, ты нигде не учился... Зря стараешься каждую морщинку вырисовывать. Засушил работу. Формы добивайся. Видишь, скулы, как кулачки. А они у тебя плоские. А это что? Тень?.. Нет, не тень, а пятно. Намазал, лишь бы черно было. Дай, чтоб чувствовалось — это впадина под скулой. Ну-ка, тронь.

Я послушно взял карандаш, робко начал подтушевывать.

— Эх, таким манером барышни цветочки рисуют! — Она потеснила меня плечом, с решительностью, показавшейся мне варварской, сделала несколько нервных штрихов. — Вот видишь?..

Произошло маленькое, только нам двоим приметное чудо: кусок бабкиного лица ожил, сразу же почувствовалась кожа, обтягивающая тупо выпиравшую скулу. Зато другая половина лица старухи стала казаться еще более плоской. И я ясно видел, в каких местах рисунок просит карандаша.

Во время перерыва, пока наша натурщица, усевшись на кончик помоста, застенчиво мусолила в беззубом рту баранку, все ходили по аудитории, рассматривали друг у друга работы. Около моего рисунка долго не задерживались, едва бросив взгляд, сразу же поворачивались спиной и вполголоса принимались обсуждать работу соседки. При этом как похвала чаще других произносилось слово «лепит».

Мне до жестокой зависти понравился рисунок застен-
вого паренька-татарина. Если у моей соседки штрихи
или резкие, кричащие, то манера этого паренька была ка-
я-то мягкая, светлая, тени прозрачные. Почему-то ста-
вилось жаль нарисованную им старушку, глядящую по-
рх твоей головы подслеповатыми, бездумными глазами.
Может быть, потому что в измятых морщинами губах пря-
лась пугливая улыбка, а может быть, просто откровен-
я старость беззащитна и всегда вызывает жалость.

Григорий Зобач жирной, колючей штриховкой нарисо-
л какую-то сморщенную фурию и громко доказывал, что
у плевать на схожесть, плевать на форму, его портрет —
чатая всей трудной жизни этой пожилой женщины.

И слова «печать жизни» потревожили даже бабушку.
Она сунула в карман обсосанный кусок баранки и бочком
к молодежи двинулась посмотреть, как выглядит эта
«печать».

Я видел, что, возвращаясь к своему месту, она непри-
тно осенила себя мелким крестом.

7

В столицу, на учебу! Мать, как могла, снарядила меня
на будущих подвигов. Праздничный отцовский костюм
надо было перешивать по моим плечам. Строго-настро-
было наказано: костюм не трепать каждый день. На
дни предназначалась солдатская гимнастерка. Плохо
брюками. Офицерские синей диагонали галифе, которые
прочную дружбу с заведующим хозяйством я получил
и выписке из госпиталя, совсем порвались. Знаете ли
трагическую особенность диагонали? Если она начнет
сползаться, ее бесполезно чинить и штопать. Но и изо-
стательности матери, желающей снабдить сына, кото-
рый пробивает себе дорогу в жизнь, нет предела. Галифе
можно обшить кожей — такие брюки носят кавалеристы.
В этот послевоенный год найти хорошей кожи, и не про-
стой, какая идет на обычные русские сапоги, а хрома,
то почти невозможно. Легче купить костюм, проше-
ить новые брюки.

В скромном наследстве отца имелся портфель, доброт-
ный, хромовый портфель работника районного масштаба,
потому часто приходилось разъезжать по командиров-

кам. Вся беда, что портфельная кожа тиснена под крокодиловую. Но другого выхода не было. Мать распоролла его и обшила кожей мои расползавшиеся по всем уязвимым местам брюки.

Эти портфельно-крокодиловые брюки я стал усиленно демонстрировать в институте. И они мне служили верой и правдой, а кроме того, оказали еще одну важную услугу. Однако не стоит забегать вперед...

На экзамене по живописи нам поставили натюрморт: зеленый кувшин, желтые яблоки, красная драпировка. Я дома писал акварелью, пробовал рисовать углем, но мои опыты по использованию масла в живописи были весьма скудными. И как человек неискушенный, по простоте душевной я зеленый кувшин расписал такой зеленой краской, что, наверно, посторонние наблюдатели при одном взгляде на него чувствовали во рту привкус купороса. Яблоки я довел до лимонной яркости, а на бархатную драпировку извел всю киноварь. Каждый, кто останавливался перед моей работой, недвусмысленно покачивал головой.

В этот день я впервые услышал знаменитое выражение художников: «Яичница с луком».

Наконец наступил день, который завершал расписание приемных экзаменов. Он значился под незнакомым мне словом «коллоквиум». Но перед коллоквиумом должен был произойти просмотр всех домашних работ, которые посылались в приемную комиссию.

Просторная аудитория, где мы рисовали бабушку и писали натюрморт, оказалась тесна. Среди будущих студентов шла тайная, выражавшаяся лишь в косых взглядах, в недоуменных пожатиях плечами, в сдержанных репликах война за куски стен, за площадь пола, прилегающую к стенам. Выставлялись широкие холсты — пейзажи со сдобными, румяными облаками, с церковными колоколками, с пестрыми коровами на зеленой траве, портреты, натюрморты, автопортреты...

Около меня опять оказалась девушка, которая помогла мне рисовать старуху. Я уже знал, что ее зовут Эмма Барышева. На этот раз она старательно не замечала меня. Невысокая, полная в плечах, грузноватая в талии, с легкой перевалочкой ступая по паркету короткими крепкими ногами, она деловито расставляла холсты. Отходила в сторону, откидывала со лба на спину рассыпающиеся волосы, сурово и придирчиво вглядывалась в свои работы. В ее

озабоченных движениях чувствовалось скрытое торжество: близится счастливый и решительный момент, когда можно показать себя. До меня ли...

На куске серой оберточной бумаги — рисунок углем. Девушка с перекинутой через плечо косой. Она застенчиво смотрит исподлобья, но твердый подбородочек, капризный изгиб припухших губ выдает своенравный характер. Вот большой, по пояс, портрет маслом — пожилая в темном платье женщина с добротой и усталостью склонилась к плечу седую голову. Эта же женщина и на другом портрете, но в цветном платье. Наверно, мать... Пейзаж сельский, пейзаж городской, рисунки, рисунки, рисунки...

Но почему-то больше всего меня восхищает и заставляет отчаиваться один маленький этюдик: просто пара туфель на паркетном полу под кроватью. Не ваза с цветами, не фрукты с музейными кувшинами, а всего-навсего туфли, которые надевают каждое утро, на толстой каучуковой подошве, с потертыми задниками. У них свой характер: не жмут, не давят, на славу разношены. И эти туфли по своему красивы: смутно блестят металлические застежки в полутьме, на верхнем ранту накопился свет, кожа матовая, чуть-чуть покрытая вчерашней пылью.

Эмма Барышева немного меня боится. Должно быть, думает: я возмущаюсь тем, что она теснит меня к другому соседу. А я не могу отыскать своих несчастных домашних акварелек. Все работы, что были присланы в приемную комиссию, принесены и уже давно разобраны по рукам. Среди них нет моих работ. Где они? Я же посылал их. Я хорошо помню, было пять работ: озерцо с лодкой, опушка леса, банька, берег реки, этот козий выпас... Стоит ли еще показывать козий выпас?

Я хожу по аудитории, перешагиваю через разложенные на полу чужие холсты, как лунатик слоняюсь из угла в угол. Нет работ! Что же делать? Сообщить, что они потерялись? Поднять скандал?.. Мой взгляд упал на кучу старых газет, рваной бумаги — сюда бросали сорванные с холстов упаковки. Я разрыл эту кучу и нашел свои акварельки.

Свернутые в трубку, помятые и... какие они маленькие! Какие бледные! словно я писал их не обычными красками, а цветным мылом. Вот озерцо с лодкой, вот жалкая банька, вот и козий выпас — все целы, ни одной не пропало.

Я долго разглаживал их руками, но бумага упрямо сворачивалась в трубку, пришлось придавить их планкой, отвалившейся от мольберта, кусками гипсового муляжа, пыльной бутылкой из-под масла: достойный орнамент моему жалкому труду.

— У тебя это все? — спросила соседка.

— Все, — признался я с горечью.

— Ты не против, если я к тебе еще немного придвинусь? До чего тесно! Не могли подыскать помещение попросторней.

И вплотную к моим работам, бок о бок с козым выпасом лег этюд — туфли под койкой.

Декан художественного факультета, чернявый, чрезвычайно бойкий человек, ввел в аудиторию наших судей, одно слово которых могло или распахнуть дверь в будущее, или же наглухо ее захлопнуть. Среди них были наши будущие преподаватели по живописи и рисунку и режиссер мультипликационных фильмов. Помню, как они появились в дверях: режиссер в светло-сером костюме, остальные почему-то все по-монашески — в черных. Запомнилось выражение их лиц: деловито-замкнутые, все, как один, избегают встречаться со взглядами, направленными на них со всех сторон.

Они начали свой обход, чем-то отдаленно напоминавший мне обход врачебного консилиума в госпитале. Там часто решалась при таких обходах человеческая жизнь, здесь — человеческое будущее: вещи почти равноценные.

Медленно-медленно продвигалась вперед эта суровая процессия. Я переминался с ноги на ногу у своих работ, обложенных кусками серого гипса.

На какое-то время я вдруг почувствовал острый стыд за свои портфельно-крокодиловые брюки. Все, как могли, приделались, даже паренек-татарин обул новые ярко-апельсинового цвета полуботинки. Один я дикарь дикарем. В таких коробом сидящих штанах только пугать в тайге медведей. Какой бы ни был итог, что бы мне ни сказали, но сегодня торжественный день. Как это я утром, не подумав, по привычке влез в эту проклятую кожу?

Я со страхом ждал, когда приемная комиссия подойдет ко мне. Я забыл даже на время о своих жалких работах, лежавших на полу возле моих ног.

Комиссия остановилась у работ Эммы Барышевой. Я вижу, как они значительно кивают головами, указы-

вают друг другу то на одну, то на другую работу. Вижу, как сияет декан, словно хвалят не Барышеву, а его самого.

Невольно я перевел взгляд на смятые бумажки, разложенные возле моих заскорузлых армейских сапог. И отчаяние, которое я гнал от себя, правда, от которой я отворачивался, безнадежность, которую я не хотел видеть, обрушились на меня.

Чего я жду? Примут же половину, не больше. Мои домашние работы — самые худшие, на экзаменах я тоже отличился... На что же надеяться? На чудо или на милостыню? Чудес на свете не бывает, милостыню здесь не подают. Оглянись на себя — кто ты? В Густом Бору, городишке, заброшенном за пятьдесят километров от железной дороги, где люди живут будничными заботами о выпасах, удоях, приросте молодняка, еще могли баловать тебя похвалами. И ты возомнил! Украшать жизнь произведениями высокого искусства! Куда тебе с суконным рылом в калашный ряд!

— Это ваша работа?

Около меня стоял один из членов комиссии. У него лицо аскета: ввалившиеся щеки, глубокие морщины, туго обтянутый кожей хрящеватый нос. И все же в этом лице чувствуется какая-то мягкость и нерешительность.

— Простите, это ваша работа? — указывает он на этюд с туфлями.

— Нет, — честно выдавил я. — Это ее...

— А-а... — Член комиссии понимающе покачал головой.

Вслед за ним так же понимающе покачали головами все остальные. Они задумчиво смотрели на пять помятых, обложенных кусками гипса листов бумаги, покрытых бледными красками.

Заговорил декан полувиновато, словно оправдываясь:

— Со всех концов страны в этом году съехались. Этот товарищ из медвежьего угла. Учился, если не ошибаюсь, только в десятилетке. Специального образования не имеет.

«Из медвежьего угла...» Я знаю, что некоторые приехали из-под Хабаровска, паренек-татарин тоже из какого-то районного городка Казанской области, но только к одному мне приклеили ярлык «медвежий угол». Виной мой наряд, мои дикарские брюки.

Член комиссии с аскетическим лицом нагнулся и освободил из-под пыльной бутылки мой козий выпас, показал его режиссеру:

— Что-то есть, не правда ли?

Вроде не смеется, никакой улыбки в глазах, но почему же он поднял самую слабую работу?

Режиссер взгляделся, пожал плечами.

Когда просмотр кончился, аудитория зашумела, все принялись собирать свои работы. Я раскидал носком сапога куски гипсового муляжа, сгреб акварели, скомкал и выбросил в ту самую кучу рваной бумаги, откуда недавно их вытащил. Все кончено!

Я поднялся на третий этаж, чтобы забрать свой аттестат об окончании десятилетки. Мне, однако, ответили, что выдать его не могут, нет распоряжения; если же я тороплюсь с отъездом, то пусть не беспокоит меня судьба документов — их вышлют по почте.

Я спускался по институтской лестнице.

В моей жизни не было еще больших неудач. И когда им быть? Школа, армия, госпиталь, работа преподавателем физкультуры — ни особых взлетов, ни особых падений. Это первая в жизни неудача. Мое место в Густом Бору, там ждет меня какая-то будничная работа: преподаватель физкультуры или же делопроизводитель в Маслопроме.

Я спускался по лестнице ступенька за ступенькой. Мимо меня проносились студенты. В голове — пустота, никакого желания, даже нет настоящего огорчения, шевелятся мелкие заботы: надо ехать на вокзал, покупать билет, в кассах дальнего следования, должно быть, огромные очереди, не плохо бы от института получить какую-нибудь справку... Э-э, да ну к черту! Опротивели эти стены, аудитории, запах краски, мольберты, разговоры об искусстве! Скорей отсюда!

— Бирюков! Ты куда это? — Я столкнулся с Эммой Барышевой.

В глазах у нее сияние, и без того розовое лицо счастливо разгорелось. Ей ли не радоваться, она-то проходит первым номером.

— На вокзал и... домой, — ответил я и усмехнулся. — В тот самый большой город.

— В Густой...

— Да, в Густой Бор.

— А ты был на коллоквиуме?

— Зачем? Без этих коллоквиумов ясно.

— Тебе пять минут подождать трудно? Ну-ка, поворачивай! Не подозревала, что такой паникер. Идем, идем...

Она подхватила меня под руку, и я, шурша штанами, покорно пошел за ней: полмесяца потерял, куда ни шло — еще десять минут.

8

Коллоквиум означает собеседование. В данном случае собеседования как такового не было. Просто вызывали одного поступавшего за другим, задавали несколько общих вопросов и сообщали, принят или нет. Если принят, то какие получил отметки на экзаменах.

В полном составе приемная комиссия, которая просматривала работы, восседала за двумя столами. Человек с худощавым лицом взглянул на меня сочувственно и сразу же опустил глаза. Взгляд же декана из-под красивых сросшихся бровей был устремлен мимо моего правого уха.

Чувствуя всю нелепость своей фигуры в этом светлом кабинете, от дверей до столов застланном толстым ковром, я замер в неловкой позе, с обреченностью перебрасывая взгляд с лица на лицо.

— Бирюков Андрей Васильевич?

— Да.

Наступило неловкое молчание. Я прекрасно понимал, что оно означает. Нельзя же сразу оглушить человека роковыми словами: «Вы не приняты». Даже в такой сугубо официальной обстановке приходится выдерживать такт.

— Вы воевали?

— Да.

— Ни живописи, ни рисунку вы до сих пор нигде не учились?

— Нет.

— Откуда вы родом?

Я в двух словах объяснил, где находится Густой Бор.

— Пятьдесят километров от железной дороги, — уточнил декан, по-прежнему не глядя мне в лицо.

Все члены комиссии снова замолчали. Я почувствовал, как их щупающие взгляды остановились на моих кожаных коленях. Какого черта тянут канитель, говорили бы сразу!

— Почему вы решили учиться на художника?

— Потому что люблю это дело.

— Так... А хотя бы по книгам, по репродукциям вы знакомы с работами известных художников?

Я кивнул головой. Я не врал: я читал все, что можно было достать об искусстве в нашей районной библиотеке. Не моя вина, что там удалось разыскать только монографии о Сурикове, Репине, Ярошенко да еще первый том «Всемирной истории искусств», где рассказывалось об искусстве древнего Египта.

— Ну, а кто из известных художников больше всего вам импонирует? Я хочу сказать — нравится.

Я уже успел хлебнуть студенческих споров. Я уже знал по ним, что высказывать любовь к Репину, Сурикову или Левитану — значит расписываться в своих примитивных вкусах. Нет, надо не упустить случай, доказать, что я, этот дикарь в портфельных штанах, тоже не лыком шит.

— Мне нравятся... имперсионисты.

— Вы хотели сказать — импрессионисты?

Кровь ударила мне в лицо, перед глазами поплыли желтые пятна. А члены комиссии с участливым соболезнованием продолжали разглядывать мои штаны.

До сих пор, что скрывать, я боялся этих ученых олимпийцев, боялся их вопросов, их соболезнующих взглядов, боялся безотчетно, несмотря на то что ясно сознавал: терять мне уже нечего. Но теперь мне стало стыдно, а стыд иной раз вызывает отчаяние, перед которым не может устоять никакой страх. Я неожиданно почувствовал озлобление против этих пожилых людей, против их замкнутого выражения на лицах, против их ненужно участливых голосов. Да скоро ли кончат ломать комедию! Не понимают разве, что значит стоять вот так перед ними?!

И они, должно быть, пришли к тому же выводу: пора отпустить меня с миром. Все молча повернули головы в сторону декана. Тот, почувствовав решительную минуту, заерзал на стуле, с холодной твердостью направил взгляд опять куда-то в степу, мимо моего уха, заговорил вежливо и сухо:

— Вы не сдали вступительных экзаменов по живописи. Приемная комиссия считает, что вы недостаточно подготовлены для обучения в нашем институте.

Тут мне, по всей вероятности, надлежало повернуться и выйти в дверь. Но я стоял. Стоял не потому, что был оглушен. Нет, я, разумеется, ждал только такого решения. Но как повернуться и выйти? Какое слово сказать на прощание? До свидания, прощайте? Бросить что-нибудь возмущенное или просто молча отвернуться?

— Вы хотите что-то сказать? Наверное, возразить нам? — спросил член комиссии с аскетическим лицом.

Они ждут возражений. А почему бы и нет? Терять нечего, так пусть хоть послушают.

— Да, хочу сказать, — ответил я и сам удивился своему хриплому голосу. — Я хочу задать один вопрос. Как быть таким, как я?

Декан болезненно сморщился, недоуменно пожал плечами. Член комиссии с аскетическим лицом продолжал разглядывать меня с грустным вниманием. Остальные с покорным терпением склонили головы: что делать, придется выслушать.

— ...Таких, как я, пол-России, на семьдесят процентов страна состоит из деревень и таких городишек, как Густой Бор. В них нет художественных училищ, нет студий... Вы восхищались теми, кто сумел уже научиться. Я сам ими восхищаюсь. Но почему они должны быть счастливее меня? Только потому, что жили в больших городах?

Тревоги последних дней, отчаяние, унижительное ощущение чужеродности в стенах этого института, стыд за свое невежество, злость на этих умных, безусловно вежливых людей — все это прорвалось в бессмысленный и озлобленный бунт. Может быть, я не так складно говорил, как потом припоминал, даже наверняка нескладно, быть может, более решительно упирал на свое «я», на собственное безвыходное положение. Кажется, упомянул об окопах, в которых мне приходилось торчать в то время, как другие сидели в училищах перед мольбертами.

— Что мне делать? Я не меньше, чем другие, люблю рисовать, не меньше других хочу стать художником. И только им! Как мне поступить?..

— Не лучше ли вам подать заявление не в институт, а в художественное училище?

— В училище? Но мне, во-первых, не семнадцать лет. Пять или — сколько там? — четыре года в училище да

пять лет в институте. А кто будет меня кормить в течение этих десяти лет? Вы вправе мне отказать. Вправе, не спорю. Но ведь, трезво судить, после этого у меня один путь: обратно, в свой Густой Бор, где нет ни студий, ни училищ...

Я говорил, меня слушали, не перебивали, несколько не выражали возмущения по поводу моей необычной выходки. Наконец я излил все.

Член комиссии с лицом доброго Мефистофеля обернулся к режиссеру:

— Вы помните, я вам показывал одну из его работ. Там что-то такое чувствовалось. Я говорю об этюде... — Он обратился ко мне, уставшему, угнетенному, желавшему только поскорее уйти. — Там изображен пустырь с изгородью под серым небом.

— Козий выпас, — буркнул я.

— Козий выпас, вот видите...

И все снова почему-то поглядели на мои штаны.

— Да, там что-то было, — после некоторого молчания согласился режиссер.

— Знаете что, товарищи. — Член комиссии сначала в одну, потом в другую сторону повернул свой хрящеватый нос. — У меня есть предложение: в порядке исключения принять... Разумеется, с испытательным сроком, на месяц.

— Положение таланта на глухой периферии незавидное, — осторожно поддакнул другой.

— Медвежий угол, — вставил декан и впервые за все время поглядел мне почти дружески прямо в глаза.

— Как-никак фронтовик.

— Надо учитывать и то, что молодой человек, по всей вероятности, не может рассчитывать на помощь состоятельных родителей.

— Принимаем, — наконец произнес режиссер.

Все в ответ облегченно закивали головами.

— Помните, что принимаем условно. Месяц испытательного срока подскажет, оставить вас или освободить от обучения.

Я опомнился, когда оказался за дверьми.

— Ну, что? — подскочила ко мне Эмма Барышева.

Я недоуменно развел руками:

— С испытательным сроком...

— Приняли?

— Кажется, да.

— А ты еще хотел уезжать!

Из-за дверей раздался громкий голос:

— Исмаилов!

Паренек-татарин вздрогнул и несмелым шагом подался к двери.

— Этого уж должны принять,— сказала ему вслед Эмма Барышева.

— По живописи у него не совсем,— заметил кто-то.

— Зато рисунок крепкий.— Барышева повернулась ко мне.— У тебя ведь по живописи, если честно говорить, хуже.

— Да, да,— искренне согласился я.— Примут, обязательно.

Мне хотелось, чтобы приняли всех, чтоб в такой день ни одного человека не было обиженного.

Исмаилов пробыл в комнате приемной комиссии недолго, каких-нибудь десять минут. Его обступили.

— Как?

— Принят?

— Да что молчишь?

На узком к подбородку и широком ко лбу лице — смятение, потемневшие губы вздрагивают. Он отрицательно покачал стриженной головой.

— Нет, не принят.

— Почему?

Он пожал плечами.

— Но что сказали?

— Молод, сказали. Могу ждать, сказали. Сказали: по живописи плохо...

— Да как же плохо? Разве у тебя хуже Бирюкова?

Черные, полные горестной растерянности глаза татарина скользнули по мне.

— Он фронтовик. Я не фронтовик. Разве можно спорить? Я не спорил...

С минуту возле него сочувственно потоптались, перекинулись несколькими замечаниями по адресу комиссии, разошлись.

Паренек-татарин привалился спиной к побеленной стене, опустил лицо к полу, стал разглядывать свои новые апельсинового цвета полуботинки.

Мне стало не по себе. Горька победа, когда она достается как подачка.

Нас было много, новоиспеченных студентов с разных факультетов: будущие режиссеры, будущие операторы, будущие актеры и художники. Будущие! В этом слове вся великая радость.

Без будущего вообще нет радости. Чего ни коснись: счастливая любовь, удача в работе, творческая находка — все, все связано с одной надеждой, что именно это событие обещает лучшие дни впереди. А уж в этот день мы в своем будущем сомневаться не могли!

Сначала мы ворвались в один из ресторанов. Сдвинули на середину свободные столики, плотно обсели их. заказали грошовую закуску, скудную выпивку, наделали много шума, спели хором не одну студенческую песню, в том числе:

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье...

Поднимали тосты, говорили речи, которые звучали как клятвы.

Затем, вместо чаевых от всей души по-братски похлопав по плечу пожилого и солидного, словно министр, официанта, покинули ресторан...

Над Москвой прошел мимолетный дождь. На маслянисто-мокрое асфальте расплывались городские огни. Мы шли, схватившись за руки, и прохожие теснились к обочинам тротуара, уступали нам дорогу. Я шагал вместе со всеми, вместе со всеми кричал, вместе со всеми смеялся, чувствовал себя счастливым вместе со всеми... Хотя нет, мне казалось, что нет мне равных по радости, не может быть на свете человека счастливее, чем я.

Вот она, Москва! Огни, вскинутые в черное небо, огни, лежащие на мокром асфальте, огни вправо, огни влево — вот она, сияющая столица, по которой полмесяца тому назад пробирался оглушенный, затертый, робеющий гость из тихого городишка Густой Бор. Теперь он идет не пугливым чужаком-одиночкой. Плечом в плечо с ним товарищи, их не два, не три, а десятки, все они веселые, дерзкие, умные — родные ребята. С ними легко и бесстрашно шагать вперед.

Идет будущий хозяин жизни. Эй! Оглянитесь на него! Дайте дорогу! Не топчитесь на пути!

Веселье нас не покидало в электричке, пока в набитом вагоне ехали от Ярославского вокзала до Лосиноостровской. Мы шумели и веселились по дороге от станции, нарушая покой спрятавшихся за кусты темных дач.

Но, подойдя к общежитию, мы притихли...

Белый особнячок безмолвно глядел на нас черными окнами. Внутри — угрюмая тишина. Никто не сидит на ступеньках крылечка, не слышно голосов из распахнутых окон. И мы вспомнили, что здесь, за этими белыми стенами, еще находятся те, кто не попал в институт. В эту ночь они — люди без будущего. Конечно, пройдет время, созреют у них новые надежды, появятся новые планы, но сейчас всем нам немного совестно перед ними за свою удачу. Мы трезвеем, тихо прощаемся.

Тот паренек-татарин тоже где-то здесь. Вряд ли снит: должно быть, слышит наши сдержанные голоса.

Я со Стремянником поднялся в свою комнату. Ни Григорий Зобач, ни долговязый парень, поступавший на сценарный, не подняли с подушек голов. Их тоже не приняли.

А в постели меня охватил страх. Что, если это долгожданное и в то же время неожиданное счастье окажется ненастоящим? Никто не знает, что я из себя представляю, да и я сам за себя не могу поручиться. Сундучок с секретом. Пройдет месяц испытательного срока, этот сундучок откроется и... окажется пустым. Нет! Если мне не будет хватать ума и сообразительности, я стану до изнеможения усидчивым и заставлю себя быть умным. Если мне господом богом отпущено недостаточно таланта, я каторжной работой увеличу его. Пойду наперекор природе, буду без жалости ломать себя. Ничто не сможет устоять против моего желания. Ничто!

Долго не мог уснуть, долго давал себе страшные клятвы, но где-то в самой глубине души все же таилось сомнение в своих силах и страх...

Не слишком продолжительное время учебы на художника кино я разделяю в памяти не на дни или месяцы, а на то, когда и какую натуру ставили для живописи.

Сначала поставили натюрморт: гипсовый слепок головы Аполлона, рулон бумаги, стаканчик с кистями и, разумеется, неизменная бархатная драпировка.

Натюрморт сменил старик с багровым носом и бородой свежего цвета.

Женщина в берете и в пальто с меховой оторочкой.

Потасканного вида девица с крашеными губами, в платье с бирюзовым отливом — мой скромный триумф.

Наконец, снова старик с длинной гривой седых волос, с лошадиной челюстью, с бантом вместо галстука на жилистой шее, по всей вероятности долженствующий изображать отставного художника или музыканта прошлого века.

Наши преподаватели, как я теперь понимаю, сами не были гигантами в области изобразительного искусства. Они не настаивали, чтоб мы вникали во внутреннее содержание, раскрывали характеры. Напротив, с нас требовали: штудируй натуру, выявляй цвет и форму, а что касается характера — дело не ученическое: будете создавать образы с внутренним содержанием, когда постигнете трудное ремесло живописца.

Послушание и добросовестность я считал залогом будущих успехов. И вот я, самый послушный, самый добросовестный из студентов, пачал охоту за цветом и формой.

За первую работу — натюрморт с незрячим Аполлоном — я взялся без особых мудрствований. Есть гипсовый Аполлон, есть бордовая драпировка, есть черный стаканчик. У меня краски: цинковые белила, красный до черноты краплак, английская красная, кобальт, ультрамарин — все цвета под рукой. Я как хозяин, с хозяйской расчетливостью обязан выложить их на матово-белый, туго натянутый, как кожа барабана, холст. Только нельзя забывать предыдущих ошибок. Нельзя, чтоб снова получилась «яичница с луком». Не будь наивным, не делай драпировку огненной, а гипсовую голову откровенно белой.

«Яичницы с луком» на этот раз у меня не получилось. Все цвета приобрели какой-то однообразный мутный оттенок, хотя, казалось бы, все правильно: драпировка точно — бордовая, гипс белый с рефлексами, стаканчик глянцеви́то-черный с отблесками.

Заглядывая в работы своих товарищей, я ужасался: даже самые посредственные выглядели по сравнению с моей как новый, только из магазина, пиджак рядом с пиджаком мятым, вылинявшим, заношенным.

У Эммы Барышевой мало того, что на лице Аполлона алый отблеск драпировки (это-то и я заметил, тронул

щеку языческого бога краплагом), но с одной стороны гипс отликает зеленоватым, с другой — на щеке целый букет, а в общем все-таки белая голова. Кажется, больше над этой головой нечего мудрить, но Эмма что-то ищет, пробует один цвет, скоблит, набрасывается на драпировку.

Все только-только начали свою работу, а моя картина была уже кончена: долго ли покрыть краской кусок холста, размером меньше квадратного метра?

В чем причина? Где секрет? Но секретов от меня не таили. О них мне говорили преподаватели, походя указывали товарищи. Да и я сам, заглядывая в чужие работы, начинал кое-что понимать.

Я глядел на вещи по трафарету: гипс белый, драпировка бордовая. На самом деле как гипс, так и драпировка хранят в себе множество оттенков. А глаз художника тем и отличается от глаза обычного человека, что видит намного больше. Истина, доступная ребенку.

Я начал пристально вглядываться и без особого труда заметил на гипсе еле уловимые оттенки зеленоватого, нежно-коричневого, палевого... Что слова — они грубы! Я был просто слеп!

Я пробовал поправить свою работу. Но мои новые мазки на старый, полусохший слой краски лишь увеличивали грязь. День за днем приходил я в аудиторию, брал палитру и только для виду, для успокоения совести водил кистью, что называется «месил грязь». Я ненавидел свою работу, ждал того дня, когда поставят новую натуру, можно будет взять свежий холст и наброситься на него с новыми знаниями, с новым умением видеть.

Пришел день, и объявили: завтра будет поставлена другая натура.

Все аккуратно снимали свои непросохшие работы, показывали их друг другу, советовались. Я же сорвал свой холст и сунул поглубже, за большой, тяжелый шкаф, где хранились гипсовые муляжи, — ни дна тебе, ни крышки, лежи тут, чтоб никто не узнал, чья рука сотворила это позорище.

Вот долгожданная минута. Передо мной девственно чистый холст, рождающий в душе неясные надежды. Я гляжу на натуру и не могу наглядеться. На одном лишь багровом носу старика сотни переливов: лиловых, синих, светло-лиловых, красных. А щеки! А борода! Борода — целая сокровищница цветов: мутновато-зеленых, желтых,

рыжеватых, с подпалинкой коричневых. Уф, чем дольше гляжу, тем больше вижу, перестаю даже понимать, на самом ли деле существует столько оттенков или же они плодятся в моем воображении — своего рода мираж от иступленного желания все видеть.

Скорей на холст!

К краем уха слышу, что в стороне говорят: с минуты на минуту придет профессор, наш заведующий кафедрой. Это известный художник. Он только что вернулся из заграничной командировки, во время наших вступительных экзаменов его не было в Москве.

Ни до кого нет дела. Придет профессор? Пусть приходит! У меня работа, не могу отвлекаться. Я наслаждаюсь тем, что гляжу на мир глазами художника, утопаю в разнообразии цветов...

Отступаю на несколько шагов, чтоб полюбоваться со стороны на дело своих рук. Отступаю и стою в недоумении. Что за злая шутка? Где же мое богатство цветов? Лицо старика на моем портрете грязно-лиловое, словно я писал его физиономию химическими черпилами, борода же невообразимого цвета студня.

Я набрасываюсь на холст, чтобы все исправить. По всей вероятности, я писал не настоящий цвет, а миражи. Долой самообман!

В сопровождении декапа входит профессор. Он движется подпрыгивающим, пружинящим шагом, ни минуты не может постоять на месте, его полное тело кажется невесомым. Он громогласен и многоречив, любит оглушать слушателей каким-то особенным гигантизмом сравнений. На всю аудиторию гремит его голос:

— Репин — величайшая из величайших фигура в мировом искусстве! Мы недооцениваем своих корифеев! Толстой на тысячу голов выше Бальзака! Однажды во время моего последнего посещения Италии...

Следует сообщение о том, где он побывал, что видел.

Он подходит ко мне и с ходу же заявляет:

— Знаю, знаю, мне докладывали... Ваша фамилия... Нет, нет, не подсказывайте, сейчас припомню... Вы из медвежьего угла!

Тут он бросает взгляд на мою работу, и у него пропадает желание вспоминать мою фамилию. Он искренне, от чистого сердца готов шумно похвалить, превознести студента, вызвать этим всеобщее ликование, но с той же

энергией бросить упрек, уничтожить человека его жизне-радостная натура не способна. Он как-то сразу оседает, становится грузным, оживление на лице сменяется скукой — сразу заметен его почтенный возраст.

— М-да-а-а... Вас, кажется, предупреждали, что вы приняты с месячным испытательным сроком? — говорит он кисло и неожиданно спрашивает: — Вы не дальтоник?

— Нет, — отвечаю я подавленно. — У меня зрение нормальное.

— А то в моей памяти были такие случаи. Один студент зеленую портьеру написал так широко, броско... лиловым цветом. А-а, понимаю... — Он вплотную склонился к моему холсту. — Разве можно так варварски обращаться с цветом? Его надо брать одним куском, чтоб чувствовалось — ваш цвет нечто вещественное, весомое для взгляда. Вы напоминаете столяра, который сначала крошит заготовленные бруски в древесную крошку, а потом пытается из них склеить стул. Величайший из величайших секретов всякого искусства — умение обобщать. Вспомните гениальнейшего, несравненного Чехова. Он умел обобщать, как никто в мире. Вспомните его знаменитое горлышко от бутылки, сверкающее на плотине. Горлышко от бутылки! Два слова, короткая фраза, а настроение дает такое, которое не опишешь на сотнях, тысячах страниц. Вот мазок! Вот рука великого мастера! Вместо того чтобы ковырять эти бирюзовые и оранжевые пятнышки, вам нужно найти один цвет, общий для всех этих точек. Один мазок вместо сорока. Обобщать надо, молодой человек! Обобщать!

Профессор, наградив меня подбадривающим взглядом, понес дальше свое полное тело.

Секретов в искусстве нет. Я скоро узнал все: нужно обобщать цвет, нужно следить за тональностью, на затемненных местах краски следует накладывать жидким, тонким слоем, освещенные лепить густыми мазками... Я добросовестно старался применить все советы, но мои работы от этого не становились лучше.

Быть может, со временем в нашей аудитории все-таки отодвинули от стены тот черный шкаф, подарочный, с

плохо закрывающимися дверками, тяжелый, как каменный монумент.

Человек, который обнаружил за ним три пыльных холста — натюрморт с Аполлоном, старика с лилово-чернильной рожей, замусоленную женщину в берете, вряд ли проявил к ним какое-нибудь любопытство. Мало ли убогой ученической мазни можно отыскать в аудиториях, где работают будущие художники!

Тот, кто равнодушно отбросил в сторону эти холсты, не мог догадываться, какие трагедии с ними были связаны.

Ни дома, ни в школе за партой, ни на фронте — нигде я не считал себя презираемым человеком. А здесь я хуже всех, я последний среди моих товарищей. Если судить по делам, я — ничто. Меня могут терпеть, со мной могут обходиться по-дружески, потому что я никому не сделал плохого, нет причин меня ненавидеть. Безвредный человек, но не больше.

Я стал робким, подавленным, замкнутым. С ожесточением, подчас с озлобленностью я заставлял себя думать только о живописи. В тесном вагоне электрички, разглядывая лица случайных соседей, пытался замечать, как ложатся тени, какие падают рефлексy, как обрисовывается форма щек, лбов, подбородков. Я покрывал один блокнот за другим похожими друг на друга рисунками. В аудитории я не разрешал себе отвлекаться от ненавистных мне холстов ни на одну секунду. Переброситься случайным словом с соседом считал непростительным грехом. С готовностью душевно забитого, не верящего в свои силы существа рабски старался выполнить каждый совет.

А в итоге — брошенная за шкаф еще одна работа.

И все-таки я не терял надежды. Каждая новая натура была для меня маленьким праздником. Всякий раз перед чистым холстом я мечтал: «Вот с этой минуты и начнет у меня получаться, произойдет перелом, полезу в гору, догоню остальных».

В тот день, когда поставили женщину в бирюзовом платье, я то ли проспал, то ли не успел вовремя к поезду, но так или иначе опоздал.

Я долго толкался между мольбертами, пока не решил сесть прямо на пол, пристроив перед собой холст с помощью раскрытого этюдника. Натура возвышалась где-то вверху надо мной, постоянно приходилось задирать голову, да к тому же один из студентов время от времени отхо-

дил от своего мольберта, подставлял под мой взгляд свою долговязую фигуру в заляпанном красками халате.

Но я с обычным упрямством и добросовестностью принялся за работу. То ли оттого, что мне не очень удобно было вглядываться в натуру, быть может, сказалось постоянное отчаяние — как ни пяль глаза, все равно не получается, — на этот раз я сильнее, чем всегда, доверился собственной фантазии. Мазки мои стали решительней, цвет определенней. На меня пашло забвение.

Светлое пятно обтянутого платьем плеча требовало рядом холодноватой с синевой тени. Я положил мазок и увидел, что он мутный, невыразительный, ранее положенные на холст краски вопят против него. Я торопливо его снимал, тщательно смешивал на палитре цвета. Опять получалось не то... Пока наконец с тихой радостью не убеждался: попал! Теплая, прихваченная чуть-чуть загаром рука, матово-белая с голубизной шея, легкая, полупрозрачная ткань платья, покрашенные губы резко выделяются на желтоватом лице... Какое счастье, когда мне ничто не мешало вглядываться досыта в возвышающуюся надо мной некрасивую, несколько вульгарного типа девицу!

По аудитории поднялся шумок: «Здравствуйте! Здравствуйте!» Это снова пришел профессор. Я не отрывался от работы.

— А-а, вот вы куда спрятались, товарищ из медвежьего угла. Посмотрим, посмотрим, как ваши дела, Бирюков... (Профессор уже без труда припомнил мою фамилию.)

Я поднялся с пола. Профессор прищуренными глазами прицелился в мой холст, отступил на шаг, вновь подошел ближе. И вдруг его сильная рука с размаху ударила меня по плечу:

— В вас черт сидит, Бирюков! Прыжок! Честное слово, прыжок!..

Я сам с удивлением глядел на свою работу: небрежными, нервными, несколько растрепанными мазками намечена тонкая фигура в зеленовато-голубом платье. Удивленные неожиданной похвалой студенты толкались за моей спиной.

Этот день был для меня не только праздником — он был еще днем отдыха. Я только тогда почувствовал, что страшно устал от постоянного напряжения. Из минуты

в минуту думать только о том: должен научиться, обязан постигнуть, иначе нет для тебя будущего, нет жизни — в конце концов всему есть предел.

Я лишь боязливо прикоснулся к своей работе. Остальное время ходил по аудитории, смотрел, как у кого получается, заводил разговоры, охотно смеялся и ни на минуту не забывал, что там, загороженный чужими мольбертами, стоит холст — начало всех моих побед. Я достиг того, что еще сегодня утром было для меня лишь болезненной мечтой. Она таки свершилась! Наконец-то!..

Эмма Барышева, лучшая на нашем курсе по живописи, в этот день, как равный у равного, попросила у меня совета:

— Не получается, хоть тресни! Третий раз скоблю руку...

И я постарался не подать виду, что взволнован и тронут ее вниманием, ответил:

— В тени слишком тепло взяла — перекраплачила. Потому и саму руку зажаривать приходится. Загар дала, словно эта дама вчера с курорта приехала.

Барышева помолчала, минуту-другую глядела на свою работу, тряхнула головой:

— А ведь верно. Не зря сказали, что в тебе черт сидит.

А я, чтоб не испортить своего триумфа, поспешно отошел в сторону.

Передо мной стояла баррикада, требующая напряжения всех моих сил. И я сделал первый прорыв. Я одолел эту баррикаду. Мне хорошо известно, что впереди немало завалов, не раз еще я буду ломать себе ноги, но так трудно уже не будет. Первый прорыв — самое важное, дальше как-нибудь проломлюсь.

Так думал я в тот счастливый день, день вершины моих надежд и день начала их краха.

Окрыленный, полный энергии, я занял утром, казалось, трижды благословенное место на полу и начал работать. И у меня получалось неплохо. Правда, что-то я не смог вытянуть, что-то подсушил, вчерашний нашлепок утратил некоторую свежесть, но ведь это в порядке вещей: начипающему всегда трудно удержаться на уровне внезапной удачи.

Ко мне снова подходили, снова хвалили меня, хотя куда сдержанней, чем вчера.

Мне кажется, есть одно великое удовольствие в жизни — усталость.

Но усталость усталости рознь. Есть усталость от безделья, от скуки, иссушающей мозг и мускулы. Есть усталость от суеты, от треплющих нервы мелких забот. Есть еще усталость от непосильного труда по принуждению: ломота в костях, ноющие мышцы, одурманенная голова — ни больше ни меньше как сильное утомление.

Но есть особая усталость от труда, который для тебя кажется очень важным. Если ты много сделал, чувствуешь, что силы израсходованы с пользой, то такая усталость — одно из самых больших удовольствий в жизни, хотя и не из ярких, не из тех, что выражаются бурной радостью.

Именно эту усталость я и испытывал к концу последнего часа, отведенного для живописи. От долгого сидения на полу поламывало спину и ноги, голова была слегка тяжелой. Я с наслаждением встал, до хруста вытянулся, пошел по аудитории, заглядывая в работы своих товарищей. Конечно, я знал, что мой портрет не будет в числе самых лучших, мне достаточно сознания — иду в ногу с курсом.

Я переходил от одного мольберта к другому, вглядывался, сравнивал, и вот тихая радость оттого, что я утомлен приятным, важным для меня делом, стала исчезать.

В прошлый раз похвала немного вскружила мне голову, я не слишком трезво оценивал чужие холсты, про себя же считал, что мне удалось создать если не драгоценность, то по крайней мере работу крепкую, где каждый мазок — щедрая дань великому богу живописи.

Теперь же угар слетел с меня, и я увидел, что только несколько начатых портретов примерно на одном уровне со мной. Я сделал прыжок по сравнению с моими прежними работами, но по сравнению со всем курсом я едва нашел место в самом хвосте.

С кем же я стал вровень?

Был некий Гавриловский, рослый красавец, державшийся всегда с надменностью классной дамы, обладатель длинных белых рук, тонкие пальцы которых, казалось, созданы для прирожденного музыканта или ваятеля. Этими благородными руками он писал одна на другую

похожие картинки — все рыжегато-коричневые, плоские, аккуратные, где была выписана каждая складочка, морщинка, пуговица... Гавриловский никогда не приходил в восторг от чужих работ, никогда не стеснялся показывать свои. Замечания он выслушивал спокойно, признавал свои ошибки с достоинством, честно принимался их исправлять, но не было случая, что его исправления помогли хоть как-то освежить унылый колорит, который один из наших остряков назвал: «Жареная вобла, обросшая плесенью».

Был некий Парачук, грузноватый, на первый взгляд флегматичный, очень умный, выделявшийся среди всех нас начитанностью. Он, как и я, понимал, что пишет плохо, был упрям, как и я, много и ожесточенно работал и день ото дня становился раздражительней. Часто возле него вспыхивал скандал из-за взятого тюбика краски, из-за придвинутого слишком близко мольберта, просто из-за того, что его нечаянно задела локтем.

И еще был Гулюшкин, тихая, незапоминающаяся личность, в уединении писавший свои размыленные холсты.

У всех у них были частичные удачи. Все они время от времени достаивались скромных похвал. А в общем, не всем же хорошо работать, не все должны быть одинаково способными. Рядом с даровитыми как накладной расход для института обязателен какой-то процент бездари. Ничего не поделаешь.

До сих пор меня нельзя было считать бездарностью по той причине, что я совсем не умел работать. Я был ничто. Я сделал прыжок. Всякое движение вперед похвально, и меня похвалили.

Все это я понял, когда бродил среди чужих мольбертов. Был последним и остался им. А у меня большие планы на жизнь. Я не могу согласиться на то, чтобы давать людям меньше других. Снова бей тревогу! Если сумел сегодня сделать шаг вперед, не медли, делай завтра другой. Ты должен стать рядом с лучшими, и только там твое место! Ведь когда институт будет окончен и наш курс выйдет в люди, то даже наши лучшие из лучших, вроде Эммы Барышевой, окажутся где-то в середине. Много художественных институтов, много в стране талантливых людей. Добивайся места рядом с Эммой Барышевой. А как до нее далеко!..

Тяжелые сомнения ложатся на душу.

Я не выпускал из рук карманного блокнота. В электричке, на лекциях, вечерами в комнате, когда мои товарищи ведут будничные разговоры — порвались ботики, день стипендии далек, некоего Соколова с операторского собираются исключить за пьяный дебош, — я рисовал, рисовал, рисовал... Какие-то наброски получались удачными. Один удачный, а сто таких, которые стыдно показывать.

Я писал серые осенние пейзажи сквозь мокрое окно, сам для себя ставил по воскресеньям натюрморты: пустая консервная банка, деревянная ложка, луковица. Под моей койкой скопились вороха пыльных, замазанных краской картонок. Позднее я прочитал у какого-то французского писателя, что талант — это упорство, что гении — это воли, неустанно ворочающие тяжкий груз в течение всей жизни. Эх, если б это было так! Я наверняка стал бы светочем среди живописцев.

Никаких прыжков вперед я больше не делал. Пока стоял у мольберта, орудовал кистью, мои работы мне нравились, я был уверен: теперь-то наверняка меня ждет успех. Но едва сравнивал с другими, сразу понимал: мои работы — какие они старательные, разумные, ничтожные, от них на расстоянии так и прет потом добросовестной бездари.

Блажен, кто верует в себя! Красавец Гавриловский по-прежнему со значительным видом, аккуратно, мазочек к мазочку, расписывал свои кофейные холсты. А на меня все чаще и чаще находили минуты отчаяния...

Во время одного перерыва, когда позировавший нам старик, вяло шагая от стены к стене, разминал затекшие члены, в аудитории появился не кто иной, как всеми забытый Григорий Зобач.

Одет он был щеголевато: в новом темно-синем костюме, при галстукке, отливавшем рыбьей чешуей, на ногах ботинки на толстой каучуковой подошве, губастое лицо лоснится благополучной улыбкой.

— Здорово, старатели! — поприветствовал он нас. — Все творите? А-а, Бирюков! Тебя еще не выставили? Ну-ка, дай взгляну, как ты пачкаешь холст.

Он насмешливо пощелкал языком, потом повернулся ко мне и окинул взглядом сапоги, портфельные брюки, гимнастерку, заляпанную красками.

— Что-то ты, брат, отощал! Физиопомня сипяя, скулы сквозь кожу прут. Оно, высокое-то искусство, жмет, видать, сок. Плюнул бы ты, братец, на все. Ну, вот Эмка Барышева старается или Ковалевич, так они надеются в Левитаны попасть. Да и то им место в кино приготовлено — пятой спицей в колеснице, на побегушках у директора картины. А ты-то и подавно в художниках останешься серой скотинкой. Я вот сказал себе: знай, сверчок, свой шесток. Меня теперь калачом в институт не заманишь. Что с дипломом, что без диплома — цена одна. Вот приняла художником на завод, оклад от выработки, художбно, тыщи полторы, а то и две с половиной в месяц пагуливает. Да перед каждым праздником калым. Недавно на пару с одним старичком за четыре дня четыре тыщонки отхватили. Хочешь, и тебя к делу пристрою? Правда, святому искусству придется прощальный поклон отбить: будешь диаграммы рисовать, доски показателей разукрашивать. Хочешь?

Я сердито огрызнулся.

— Ну и дурак, — спокойно отозвался Зобач. — Лезь из кожи, изводи холсты, а все равно придешь к тому, что я сейчас тебе предлагаю. На заводе или в киностудии, а цена одна — дюжина таких, как ты, на одного мало-мальски толкового мастера.

Он поболтался еще среди холстов и ушел. Едва лишь закрылась за ним дверь, как аудитория зашумела:

— Цветочек!

— На показ явился.

— Во всем новеньком, с иголки, хоть в витрину ставь.

— Дело не хитрое, только в халтуру пырни.

Говорили — одни со сдержанной непавистью, другие с равнодушным отвращением, ни одного слова в защиту. Да иначе и быть не могло: репегат, измепивший, чему мы все поклонялись, кичащийся своей изменой.

Я же молчал и думал о своем. На Зобача мне наплевать. Но в одном-то, пожалуй, он прав: не бывать мне мастером. Не напрасен ли этот каторжный труд?

Вечером я ехал в метро из центра к Ярославскому вокзалу. Стоял, держась за металлическую перекладину, по привычке пялил глаза на лица пассажиров.

В первые дни своей студенческой жизни я всегда пытался прочитать по лицам мелкие секреты чужой жизни.

Этот военный с холодными глазами и твердо вырубленным профилем каждое утро делает физзарядку, гордится своей порядочностью, наверное, скуповат, следит, чтоб жена не истратила лишний рубль, сам покупает ей в комиссионных ночные сорочки. Эта утомленная женщина с мешочками под глазами, должно быть, страдает от материнского любвеобилия, по доброте и бесхарактерности так воспитала сына или дочь, что они долго не слезут с шеи, будут жить на ее грошовый заработок. Этот жирный представительный мужчина не профессор и не важный служащий, он или продавец газированной воды, или швейцар в каком-нибудь ресторане, сейчас, преисполненный достоинства, едет в гости к родне.

Такими невинными развлечениями я занимался давно. Теперь, до мозга костей съеденный одной страстью — постичь тайну искусства, — разглядывая случайные лица, думал лишь о том, что эта челюсть при свете, падающем сверху, очень рельефна, что красноту лица, вызванную, видимо, лишней кружкой пива, нужно писать, чуть-чуть тропув в тени ультрамарном...

Я ехал и разглядывал эти рельефы, рефлексy, тональности... Недалеко от меня сидела девушка. Ссутулив тонкую спину, она склонилась над книгой. Минуту я просто ее разглядывал: благородная линия лба, негустые светлые волосы можно бы наметить одним решительным движением карандаша, сохранив при этом какую-то особую наивность и простоту их волнистости... Затем я представил ее стоящей и отчетливо увидел — выше среднего роста, тонкую, прямую, с чуть обозначенными грудями, с какой-то упругой стрункой внутри. У нее перешителные, мягкие движения, я могу поручиться — она застенчива. Вот волосы упали на лоб, они мешают читать. Она сейчас их поправит. Нет, не откинет резко, а мягко возьмет узкой рукой, отведет в сторону. Ну сделай же это, сделай, докажи, что я прав, они же мешают тебе читать! И девушка, не видя меня, не зная о моем существовании, точно так, как я и представлял, той самой рукой, какую я видел в своем воображении, бережно отодвинула волосы. А теперь она скоро поднимет голову, посмотрит перед собой отсутствующим взглядом. И я дождался... У нее были глаза чистого серого цвета. Не нарядно голубые, не с броской синевой, нет, просто человеческие, задумчивые, опять точно такие, как я представлял.

Я, может быть, был немного влюблен в Эмму Барышеву. Утром, переступая порог института, видя в толпе возле раздевалки ее откинутую за спину непокорную волну волос, ее вздернутое вверх темное крупное, не по фигуре лицо, я всегда испытывал какой-то толчок, дававший начало минутному возбуждению. Но что Эмма?.. Мелькнувшее на секунду воспоминание о ней оставило досадное впечатление чего-то бледного, стертого, заурядного.

Эту девушку я, кажется, когда-то знал, в каком-то другом времени. Похоже, что я провел с ней много-много однообразно счастливых, замкнутых не дней, а десятилетий. Как мне знакомы мягкость ее движений, цвет ее глаз, ее чистый, высокий, какой-то спокойный лоб! Неужели сейчас встанет, пройдет мимо, как чужая? Невозможно! Нельзя допустить! Другой такой встречи не случится.

Около вокзалов тесно набитый вагон опустел. Мне тоже нужно было сходить здесь вместе с владельцем рельефной челюсти, с полным человеком, разогретым кружкой пива до крапачного цвета.

Но девушка не поднялась со своего места, и я тоже не двинулся.

Перед «Красносельской» она зашевелилась, сунула кпижку в дешевый новенький портфель, поднялась такая, какой воображал: с девичьей горделивой осаночкой, с независимо вздернутым маленьким подбородком, тонкая, трогательно хрупкая.

Она прошла совсем близко, даже чуть-чуть задела меня локтем и не обратила никакого внимания.

Двери начали уже закрываться, я выскочил, раздвинув их плечами.

Она шла впереди быстрыми мелкими шажками, словно скупыми стежками вела строчку по глухому камню станции метро.

А на улице мельтешил дождичек — скудная водяная пыльда. В липком воздухе расплывались желтые огни городских фонарей. Редкие прохожие равнодушно переносили мрачную неуютность улицы.

Наверно, я слишком близко подошел к девушке. Она испуганно оглянулась, каблучки ее быстрее застучали по мокрому асфальту, сырая темнота поглотила ее.

Я остановился, мрачно усмехнулся своей выходке. Что это? Мальчишество?.. Оглянись на себя, похож ли ты на того, с кем приятно среди ночи на пустынной площади

завести знакомство? Ветхая, с выдранными крючками солдатская шинелишка, огромные покоробленные сапоги, слава богу, не видны портфельно-крокодиловые брюки... Да и вообще чем ты интересен, что ты из себя представляешь? Студентишка, не по способностям занявший место в институте. Человек без веры в себя, находящий силы лишь без толку бичевать собственную персону. Чем ты можешь гордиться? Каким духовным богатством сможешь удивить?

По темным мокрым улицам я пешком направился обратно к вокзалам. Мои тяжелые сапоги размеренно бухали по тротуару, кровь шумела в висках, голова распухла от черных мыслей. Я не делал попытки остановить их, оправдать себя.

Откровенное презрение к себе! Страшны такие минуты! Жалок тот, кто их испытывает слишком часто. Ничтожен тот, кто ни разу в жизни их не переживал.

Я презирал тех, чья жизнь пуста и бесплодна, я ждал будущего, пусть трижды тяжелого, трижды неустроенного, но заполненного большими делами. Большими! Малых дел, тех, что приносят благополучие, сытые обеды, мягкую постель с теплой женой, уютные вечера под семейной лампой, и только это — я не хотел. Но что ты можешь сделать большого, когда всем ясно, и тебе в том числе (только не обольщайся, только не обманывай себя, не строй расчет на неожиданное чудо!), всем ясно, на что ты способен. Художник без таланта, без искры божьей, будущий поставщик серятины! Ты упрям, у тебя бычье здоровье, ты трудолюбив, но кому нужно твое трудолюбие? Трудолюбие бездарности, что может быть страшнее? Ты ведь не хочешь, чтобы отворачивались от твоего труда, чтоб за него не платили похвалами и звонкой монетой, приносящей хлеб насущный вместе с другими благами. С доступным тебе упрямством и энергией ты будешь доказывать, что именно ты талантлив, ты нужен обществу, а не Эмма Барышева. Если хватит сил, оттеснишь их в сторону, затопчешь их. Нет?! Ты возражаешь? Ты возмущаешься этим? Ты рассчитываешь на свою порядочность, на свою кроткую совесть? Брось мальчишествовать, пора стать взрослым. Талант и бездарность не уживаются. Там, где восторжествовал талант, бездарности делать нечего. Она должна отступить или отстаивать свое существование. Под страхом смерти она должна изворачиваться, клеветать, пускаться на хитрости. И, как знать, нет ли уже теперь на

твоей совести жертв?.. Вспомни паренька-татарина. Не потому ли его не приняли в институт, что ты занял его место? Неплохо же ты, Андрей Бирюков, начинаешь свое будущее!

Сыпал дождь, липли к лицу мелкие холодные капли. Шинель набухла, стала тяжелой, несгибающейся. Сапоги ровно и бесстрастно бухали по тротуару. Торопливо проскользывали мимо меня прохожие. Хотелось остановиться, поднять руку и закричать спешащим прохожим, всему темному осеннему городу: «Что мне делать? Что делать?!»

Я вернулся домой поздно ночью. Все спали. За столом, грея руки о стакан чая, сидел один Юрий Стремянник.

— Врастаешь в жизнь помаленьку? — встретил он меня.— Интрижку успел завести? Э-э, брат, да ты не в настроении. Садись. Сахар есть, а хлеба нету. Никак не привыкну после офицерских харчей к студенческим.

Товарищей-художников я сторонился, как мальчишка-горбун сторонится своих здоровых сверстников. С Юрием Стремянником, который интересовался живописью лишь со стороны, я чувствовал себя проще. Я рад был, что не кто другой, а он сидит сейчас за шатким столиком, ушастый, покойно-веселый, с лицом, с которого давно уже исчезла гладкая округлость.

— Нездоровится тебе, что ли? Не надо по ночам в такую сырость пропадать. Отложи любовные дела до более теплых времен.

— Ты тоже что-то не особенно ждешь тепла. Сам же только с поезда.

— На студии пропадаю. Прицеливался, нельзя ли втереться, чтоб на случайной работенке пополнить свой бюджет. До стипендии еще ноги протянешь, а получишь стипендию — половину вынь да отдай: долги.

— И как? Нашел работу?

— Где там!.. И без меня бездельников хватает. Наш благословенный институт на одного более или менее даровитого выпускает десяток сереньких посредственностей. Все они должны жить, кормить себя и своих чад с домо-чадцами, все, следовательно, должны иметь работу. Не дай бог стать таким, до седых волос кичиться дипломом кино-

режиссера и интриговать против собратьев-неудачников. Если не получится из меня настоящего режиссера, пойду на завод слесарем, но не останусь на студии.

— Если из тебя не получится настоящего режиссера?..— переспросил я.— А как ты это узнаешь? Те, кого ты видел, верно, считают, что именно они вполне пригодны стать настоящими режиссерами, да судьба не тем боком повернулась. Все они, наверно, ждут: не завтра, так послезавтра подвернется случай, их признают, они покажут свои способности. И ты будешь надеяться на удачу, портить печень из зависти, интриговать, верить в чудо из чудес.

— Нет! — Стремянник вскочил из-за стола, встал передо мной — крепыш со вздернутыми плечами, в наглухо застегнутом кителе. Из-под выдвинутого вперед лба в тени блестели глаза. Блеск их показался мне сухим и безжалостным.— Нет! Я достаточно себя уважаю, чтоб схватить вовремя за шиворот и приказать: опомнись, дурак, белый свет не мал, ищи другое, пока не поздно!

— А если от того же уважения к самому себе ты не сделаешь этого?

— Если не сделаю, то туда мне и дорога. Значит, я того и стою — быть навеки приживалкой при кино.

Я отвернулся, пошел к своей койке, стал укладываться.

— С тобой что-то случилось? — спросил Юрий.

— Ничего, — ответил я.— Все по-старому, как шло, так и идет.

Стремянник внимательно ко мне пригляделся, но расспрашивать не стал.

Я долго лежал, закинув руки за голову, глядел в потолок. Стремянник потушил свет.

— Должно быть, — произнес я в темноте, — мне каждую ночь будет сниться мальчонка-татарчонок. Не помнишь его, на наш курс поступал, худенький, стриженный, апельсинового цвета ботинки носил?

Поступая в институт, я, по сути дела, не отличался от тех, кто вообще не занимается живописью. Меня стали учить. Я мог стать художником, но художником в лучшем случае посредственным. В лучшем случае... Из простого,

нормального человека, которого волнуют полотна Левитана, у которого перехватывает дыхание при виде мраморной руки микеланджеловского Моисея, я готовился превратиться в подозрительного «умельца». Как это ни странно звучит, но я учился, чтобы стать бездарностью.

Кажется, не может быть другого решения: брось институт, ищи новый путь. Но это просто лишь в рассуждениях.

Я в глубине души все еще продолжал надеяться, что вдруг да произойдет переворот, перепрыгну всех Парачуков, Гавриловских, Гулюшкиных. Разумом я не верил в чудеса и все-таки ждал их.

Мало того, временами я начинал кривить совестью, ударялся в рассуждения. Я учусь в институте кинематографии, меня готовят не мастером станковой живописи, которому придется воевать за место в Третьяковской галерее на будущих выставках. Художник кино — это костюмы, это декорации, это своего рода прикладное искусство. Даже поговаривают в шутку, что одно из основных достоинств кинохудожника — умение быть хорошим хозяйственником, вовремя доставать фанеру, доски и прочие принадлежности для своих декораций.

Однако такие размышления находили на меня лишь временами. Я очень быстро трезвел. Нечего сказать, художник, не умеющий создать хорошего эскиза, слепо работающий по подсказке, неспособный к творчеству! Кому ты нужен такой? Твой друг режиссер Юрий Стремянник наверняка первым бы отказался от твоих услуг.

Я колебался, искал себе оправдания и продолжал, как все студенты, посещать занятия, по-прежнему торчал у мольберта положенные часы.

И мои колебания сделали свое дело. Мое упрямство ослабело, от прежней настойчивости не осталось и следа. Я перестал заполнять свои блокноты рисунками, по воскресеньям уже не ставил перед собой натюрмортов из консервных банок и луковиц, в свободные минуты переставал думать о живописи: во-первых, эти бесконечные сопоставления тональности, рефлексов, цветов мне опротивели; во-вторых, мне просто некогда было о них думать — голову распирали другие мысли.

Я, обогнавший было Гавриловского и Парачука, снова оказался в самом хвосте своего курса. Преподаватели недвусмысленно мне намекали, что после зимней сессии будет просматриваться список учащихся, возможен отсев.

Я все это выслушивал равнодушно, не испытывая ни малейшей тревоги.

Шел день за днем, кончалась одна неделя, начиналась другая.

И вот наконец случилось неизбежное.

Я стоял за мольбертом и вяло тыкал кисть в холст, пытаясь выписать лошадиную челюсть старика с жилистой шеей. Могучая челюсть получалась у меня ватной, округлой. Кто-то стал у меня за спиной, я не повернул головы, не обратил на него внимания.

— Гляди ты, как все измял. Не лицо, а кисель получился. А вот в этом месте размылил.

Я нехотя взглянул через плечо. Позади меня стоял Гулюшкин, мальчик лет девятнадцати, белобрысый, словно его долго вымачивали в щелоче, с нежным до голубизны бледным лицом, с большими серыми ушами, которые обычно вспыхивали, когда он начинал волноваться. Он мне подсказывает, он меня упрекает, — он, который выводит на своих холстах какую-то зеленую муть!.. Да в нем ли дело? Сколько мне еще придется выслушивать от других таких вот правильных, наперед мне известных и совсем ненужных советов! Сегодня, завтра, послезавтра — без конца. А к чему?..

Верно, я странным взглядом поглядел на Гулюшкина, у него медленно налились кровью серые уши, вымоченные ресницы на голубых, как у недавно прозревшего котенка, глазах растерянно захлопали.

Я спокойно положил грязные кисти в этюдник, осторожно отодвинул плечом озадаченного Гулюшкина и вышел не торопясь из аудитории.

Прежде чем разыскать декана, я спустился вниз, отмыл от краски руки. Мыл их долго, задумчиво, словно тщательно уничтожал следы ненавистной работы, следы своего печального заблуждения.

Ни в деканате, ни в канцелярии не уговаривали меня. Мой уход был оформлен буднично: написали справки, прилепнули печати, заставили расписаться в каких-то книгах за полученные документы.

Жаль, не простился с ребятами, с кем бок о бок работал больше двух месяцев. Я просто забрал свой этюдник и вышел. Для того чтоб проститься, пришлось бы объяснять — почему, что за причины.

Уже несколько раз выпадал снег и таял, оголяя мокрый асфальт. В этот день он лег, кажется, намертво.

Сложный город, нагромождение этажей, крыш, глухих кирпичных стен, стал неожиданно ясен и прост: белые крыши, черные стены, белая площадь и мостовые и черные фигурки людей на них. Черное и белое, белое и черное — никакой путаницы в цветах. Небо тоже под цвет снега белесое.

Простота города покойна и празднична, она очень нравится мне. Я не углубляюсь и не хочу углубляться в оттенки — хватит с меня и тех обычных цветов, которые видит любой прохожий. Я перестал быть художником, я стал таким, как все.

Площадь Курского вокзала. С нее я окидываю прощальным взглядом город, на который недавно глядел как на величественный мир моего будущего. Прощай, быть может, я еще встречу с тобой другим человеком, с иными надеждами, с новыми планами. Билет уже в кармане, пора присоединиться к извечному, суетливому, жаждущему движения, ненавидящему неподвижность вокзальному племени.

Сейчас, наверное, еще вспоминают меня в институте. Бросая из-за мольбертов взгляды на неподвижного старика с жилистой шеей, обсуждают мой неожиданный и непонятный для всех уход. Но пройдет день, другой — и забудут. Был-де такой парень, ходил в штанах, обшитых кожей... Скорей вспомнят мои штаны, чем меня. Неглубокую же борозду оставил я в памяти своих товарищей!

Провожал меня одип Юрий Стремятник. Он не пошел на лекции. Не в пример другим, ему понятна моя беда. Сейчас, пританцовывая на снегу своими стоптанными офицерскими сапожками, старается утешить, говорит с нарочитой бодростью:

— Не вешать нос, Андрюшка. Я, брат, в тебя верю. Найдешь свое место. Это слабодушных белый свет пугает, вцепятся во что-нибудь одно, хоть с души прет, а сидят клещом всю жизнь. Ты оторвал себя, а ведь и на это нужна смелость.

Он-то верил, но у меня самого в эту минуту веры не было. Куда мне теперь идти? Что ждет меня впереди? Билет взял до ближайшей к Густому Бору станции...

— Идем. Скоро начнется посадка,— сказал я, поднимая свой чемодан.

Около вагонов, как и нужно было ожидать, толкучка. У нас обоих были крепкие плечи и фроптовые попятя о порядочности: отстаивай свое право силой.

Перебрасывая чемодан через головы людей, скучившихся у дверей вагона, мы в числе первых ворвались в вагон и заняли багажную полку, под самым потолком — лежащее место всех бесплацкартных.

Обнялись, расцеловались, потом долго стояли у окна: я в вагоне, приплясывающий Юрий на платформе, присыпанной снегом.

Поезд тронулся. Юрий Стремянник в шинели, в шапке-ушанке, махая перчаткой, с застывшей несмелой улыбкой на красном от мороза лице шагов десять пробежал рядом, отстал и исчез. Счастливец, который будет по-прежнему пробивать дорогу к своему завидному будущему!

17

На багажной полке я отоспался за те ночи, от которых я отрывал часы для подвигов во славу изобразительного искусства.

Я спустился со своего трехъярусного Олимпа в гущу мешков, чемоданов и уставших людей. Паренек деревенского вида, в вылинявшей телогрейке охотно согласился занять освободившуюся после меня полку.

Я уселся напротив сухонького интеллигентного человека в высокой шапке и в пальто нараспашку. Выражение его худощавого лица не вызывало желания завести беседу. Но долг путь. Общение начинается с незначащих вопросов: «Что за станция? Сколько минут стоит? Жарковато в вагоне... Вам бы лучше снять пальто...» И в конце концов неизбежное: «Куда едете?»

И когда мой попутчик узнал, что я еду из Москвы, из института домой, он немного расшевелился, склонив на плечо голову, глядя запавшими, холодноватыми глазами, спросил с придиричивой строгостью:

— Как так из института? В самый разгар учебного года? Или дома несчастье?

— Нет, бросил институт.

— Бросили? Почему?

— Долгая история. Да и не очень любопытная.

— А все же, если не секрет...

Потому ли, что передо мной оказался случайный человек, с которым не придется больше встречаться, потому ли, что безделье в набитом вагоне вызывает к откровенности, а скорей всего мне просто нужно было излить душу — я рассказал этому чистенькому, чопорному человеку все.

Стучал, скрипел, стонал старый вагон. Сверху, из-под потолка доносился чей-то невпроворот густой храп. Вокруг нас тесно сидели люди, сонно клевали носами. Два пожилых колхозника рассуждали на вечную тему: как жить? Война съела людей в деревне, бабы не справляются, урожаи низкие, хочешь не хочешь, а приходится подаваться из родного дома на сторону. Молодая женщина кормила грудью ребенка, внимательно слушала их неторопливую беседу.

А я рассказывал и пытливо вглядывался в бесстрастное лицо моего собеседника, все время ждал, что он оборвет меня, скажет что-нибудь такое: «Дурак ты, братец, от добра добра не ищут. Мудришь, гордость заела, посредственным художником не желаешь быть, на великое метишь».

Кто знает, скажи он так в эту минуту, я бы, может, слез на первой же станции, на оставшиеся деньги купил билет в Москву, поехал бы обратно в институт каяться в своей глупости. Но мой собеседник лишь сочувственно покачал головой:

— Что ж, причина уважительная. Сколько вам лет, молодой человек?

— Двадцать два летом будет.

— Есть время, чтобы найти себя. Возможно, это не последняя ваша неудача. Быть может, вы переживете еще одно такое искушение. Если же их будет больше — берегитесь! Есть опасность стать просто неудачником. Что вы теперь думаете делать?

— Если б я знал!

— Вы, кажется, сказали, что работали в школе?

— Да, работал физруком.

— А я — директор школы. Поступайте ко мне в школу, у нас как раз нет сейчас физрука. За зиму вы присмотритесь к школе, я присмотрюсь к вам, а через год дам ответ, получится или не получится из вас настоящий педа-

гог. Если да, то вы устройтесь в педипститут, а после его окончания вернетесь к нам. Кстати сказать, наша школа не из плохих, смею вас уверить в этом.

— Спасибо. Но так сразу не могу сказать...

— Подумайте. Только через три часа мы расстанемся и вряд ли еще встретимся.

— Если можно, я запишу ваш адрес.

— Пожалуйста. Загарьевский район, средняя школа. Хрустову Степану Артемовичу или же просто директору.

Через три часа мы расстались на вокзале. В блокноте, который был наполовину заполнен набросками голов и фигур в разных ракурсах, разных поворотах, был записан адрес этого случайного знакомого. Об этом адресе я скоро забыл, никогда им не воспользовался.

Не думал я тогда, что жизнь еще столкнет меня с этим человеком.

В городе у меня была пересадка. Мой поезд уходил вечером. Сдав в камеру хранения вещи, я пошел бродить.

Не встреча ли с добрым директором заставила меня остановиться перед вывеской у подъезда, выпиравшего на мостовую: «Областной педагогический институт»...

Я стоял долго, вызывая косые взгляды прохожих. Я думал...

Прав этот директор. Впрочем, тут нетрудно быть правым. Еду в Густой Бор. А зачем? Что меня там ждет? Снова работать преподавателем физкультуры? Ни в чужой школе, ни в своей не хочу. Сесть в учреждение, в какой-нибудь маслопром или райпотребсоюз? Нет, нет и нет! Это не будущее, это отказ от него. Все равно придется вернуться сюда, в этот город. А здесь имеются всего три института: лесотехнический, сельскохозяйственный и вот этот — педагогический. В свое время ты отверг все три. Теперь подумай... Почему бы и на самом деле не попытаться стать коллегой этого директора?.. Никогда не испытывал желания работать педагогом? А к чему испытывал призвание? Художник уже не получился. А еще что?.. Пусто. А трудиться все равно надо, все равно придется искать место в жизни. Сделай попытку. Вот дверь, войди в нее...

И я вошел.

У меня были документы студента московского института. Я был фронтовиком, которым делались тогда всяческие снисхождения при приеме. Да и институты, особенно периферийные, в те годы не были перегружены.

Два часа спустя из дверей под черпой вывеской я вышел снова студентом — на этот раз педагогического института.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Наивное детское будущее, расцвеченное всеми цветами всех материков, овеянное жарой неведомых пустынь, холодом арктических льдов, взбудораженное таинственной жизнью капитана Немо и подвигами Чапаева! Надежды детства, мечты детства, помыслы его, подсказанные и суровыми словами «Интернационала», и бесхитростными рассказами отцов! Бескрайное, радужное, туманное море — ветер будничной жизни развеял тебя и обнажил настоящее будущее. Оно теперь совсем рядом, оно отчетливо видно, оно рассчитано, взвешено, учтено, как расписание институтских лекций на завтрашний день.

Я теперь без ошибки знаю, что у меня впереди: село или маленький городок, похожий на Густой Бор, тропинка, в течение многих лет пробитая от крыльца дома к школе, черная доска с куском мела и мокрой тряпкой, детские глаза, обращенные в мою сторону, рассуждения о деепричастных оборотах и сатирической стороне образа Премудрого пескаря. Дома по вечерам уютный свет настольной лампы, стопки ученических тетрадей на столе, ряды книг за спиной на шатких полочках, прилаженных к стене своими руками... Сельский учитель!

Не всем же иметь необыкновенную судьбу, какой щедро награждаются герои романов. Буду жить, буду трудиться, буду приносить скромную пользу людям. Нет причин быть недовольным. Стоит ли печалиться из-за того, что после смерти на тебя не наденут венца славы, что поэты не воспоют твое имя? Вступай в свое будущее и живи достойно, ты — единица из сотен миллионов, человек своей страны, своего народа!

Я вошел в институт с копной густых волос и с растерянностью в душе. Вышел из него, когда волосы чуть поредели, у глаз и на лбу легли первые морщины, плечи стали шире, походка грузнее и тверже, а вместо растерянности — покойная до равнодушия уверенность: все пойдет как нужно.

За эти пять лет я оброс товарищами: и очень близкими, без всяких оговорок, и просто близкими, потому что приходилось вместе жить, койка в койку, вместе учиться. Никогда не приходили сомнения, хуже я или не хуже других. Я твердо знал: я такой, как все, быть может, даже лучше многих.

После того как я открыл дверь подъезда, выпирающего на мостовую, я не сделал ни одного рисунка, если не считать тех случаев, когда приходилось помогать в оформлении факультетской стенгазеты.

Как-то во время летних каникул дома, в Густом Бору, изнывая от скуки, удрученный дождливой погодой, я вышел на козий выпас и увидел мокрую, в рыжих кочках землю, сиротливо торчащие, как в те давние времена, колья поваленной изгороди, извечно серое небо — картину, полную бесконечно родной, не моей, даже не отцовской, а какой-то далекой дедовской печали, переданной в крови от моих забытых крестьянских предков.

Тогда что-то больно и нежно повернулось у меня под сердцем — так, верно, в первый раз ощущает своего ребенка будущая мать. Я бегом бросился к дому, я лихорадочно искал в кладовке свой этюдник, я вернулся с ним на козий выпас, открыл... И увидел, что кисти мои в засохшей коросте от красок, которыми я в тот памятный день покрывал челюсть старика натурщика. Кисти засохли, а палитра покороблена... И у меня опустились руки...

Иногда, лежа где-нибудь на берегу реки под стогом, пахнущим до легкого головокружения нежными луговыми цветами, пронзительно острыми, окутанными тончайшим дурманом тления, болотными травами, я глядел, как сорвавшийся с края грозовой тучи ветер падает на реку и та свинцово темнеет от негодования. Я глядел на ту гневающуюся реку, отчаянно, в панике рвущиеся со своих мест растрепанные березки, и меня охватывала тоска, оттого что кисти мои засохли, палитра покороблена.

В нашем областном городке был неплохой художественный музей. И я часто, стоя перед каким-нибудь неизвестным столице этюдом Остроухова или Рылова, разглядывал тысячу раз виденное, тысячу раз пережитое — ту же реку, лежащую под ударами холодного ветра, злой закат, пролезающий сквозь путаницу еловых лап... Я глядел и едва сдерживал стон от нежности к тем, кто оставил мне эти вещи, от отчаянной зависти к ним, от покорной безнадежности. Что ж поделаешь, когда кисти мои засохли...

За пять институтских лет мелких событий случилось великое множество, крупных — только два. Первое — женился, второе — окончил институт.

2

Примерно на четвертом курсе я начал остро испытывать одиночество. Да, именно одиночество неодинокого человека, который окружен кучей друзей, свободно плавал в разливанном море различных знакомств. Я часто вспоминал ту девушку — в московском метро. Где бы я ни был — на улице, на праздничных вечерах, когда к нам в институт приходили гости, на практике в школах, — я всюду искал ее, вернее — похожую на нее.

Много было в нашем институте девушек, были и красивые. И все же ни одна из них не вызывала во мне того ощущения, которое я испытал в тот памятный вечер в метро, на перегоне между «Охотным рядом» и «Красносельской». Не было той близости, идущей, казалось бы, откуда-то из второй жизни, той непонятной родственности с первого взгляда.

Эх, если бы я ее встретил! На этот раз не отпустил бы так просто. Я пошел бы следом за нею, днями и ночами сторожил бы у дверей ее дома, пренебрег бы обычными человеческими приличиями, пока не столкнулся бы с ней лицом к лицу. Нет, не бросился бы перед ней на колени, не стал бы вымаливать у нее счастья, я бы требовал его, я бы приказывал, я бы нашел слово любви к ней! А если бы не помогло и слово, то помогло бы время. Я бы ждал, не обращая ни на что внимания, откинув всяческие предубеждения. И я бы дождался...

Это были пустые мечты. Мечты изо дня в день, из месяца в месяц. Я начал уставать от них, начал сдаваться.

Я готов был пойти на меньшее счастье: встретить не совсем такую, а чуточку похожую... Только чуточку, даже этого с меня хватит.

Вечерами я часто бродил один по городу. Навстречу мне шли пары. Пары, тесно прижавшись, сидели на скамейках и не глядели на меня, но я чувствовал — ожидали, когда же этот гуляка промарширует мимо них своим ленивым шагом. Мне казалось, что я всем лишний. Бесчисленные светящиеся окна напоминали мне: там, возле каждого окна живет обыкновенное семейное счастье. Нет сил ждать его, надо идти ему навстречу, искать его, добиваться!

Перед сессиями после лекций мы часто занимались в аудиториях, так как в общежитии было тесно и всегда шумно. Как-то раз я сидел один в пустой обширной аудитории. Кажется, штудировал политэкономиию, подгонял запущенные конспекты.

Дверь открылась, вошла Тоня Рубцова, девушка из нашей группы, с безмятежно-круглым лицом, с зеленоватым кошачьим отливом глаз, от горячих щек до упругих икр налитая тем завидным здоровьем, которым может похвастаться только искони деревенская девка, воспитанная на ржаном хлебе и сельском воздухе.

Вошла Тоня Рубцова, знакомая мне, как стена в комнате общежития напротив моей койки, на которую я гляжу каждый божий день.

— Андрюша, — сказала она своим решительным, с небольшой хрипотцой голосом, — не сможешь ли ты убраться отсюда? Нам тут насчет новогоднего праздника надо поговорить с представителем Лесотехнического института.

Я хотел возразить, но не успел: дверь снова открылась, и на пороге выросла новая девушка.

Нет, она совсем не походила на *ту!*

Копна черных в мелких кольцах волос, свежие, капризным сердечком губы, белое лицо, глаза... Глаза были ярко-голубые, широко распахнутые, с наивным удивлением глядящие на все: на меня, на мои разбросанные по столу конспекты, на чернильницу в ржавой накипи чернил, на Тоню Рубцову. Совсем мне незнакомая, ни разу мной не виденная ни в стенах нашего института, ни вне его стен.

Я сразу же прикусил язык, послушно вышел, потоптался у двери, осторожно открыл, влез бочком, пробормотал смущенно:

— Конспекты оставил...

И пока собирал разбросанные конспекты, все время чувствовал на себе взгляд широко раскрытых, удивленных глаз.

Я долго слонялся возле раздевалки, ждал, когда появится она. Прождал десять минут, двадцать, полчаса... И увидел спокойно идущую Тоню Рубцову, одну, без спутницы. Я решительно встал у нее на дороге.

— Где она?

— Кто? — недоуменно вскинула свои светлые глаза Тоня.

— Это ты мне скажешь: кто она, где она, откуда она?

— Ах, вот что — заело... Как наши ребята клюют на голубые глазки! Ты уже второй меня спрашиваешь. А вот не скажу, ничего не скажу! На своих девчат смотрите.

— Тонюшка, дорогая, не отпущу, клещом вопьюсь, каждый день с утра до ночи по пятам ходить буду, пока не скажешь.

— Ходи, я не против.

— Нить буду, проклинать буду...

— Вытерплю.

— Не бери грех на душу, не буди дьявола, готов задушить с отчаяния.

— Попробуй.

— Одно слово — где она? Ведь все равно встречу.

— Не встретишь, ушла.

— Как ушла? Через служебный вход? А пальто? На улице же зима.

Тоня рассмеялась, соболезнующе покачала головой.

— Вот как бывает. Никогда бы не поверила.. Умные ребята теряют голову. В пальто же она была, в пальто! Глазки небось заметил, а пальто — нет. Натянула на голову свой беретик, и — нет ее. Через служебный ход... Беги, ищи по всему городу.

Махнув юбкой, Тоня повернулась и ушла, с неприступной независимостью вскинув вверх голову.

Вечером в общежитии я лежал на своей койке, глядел в потолок и думал.

Я видел ее всего каких-нибудь две минуты. Кроме глаз, широко раскрытых, чистых, голубых, глядящих на все с удивлением, ничего не помню. Нет, помню еще губы — яркие, пухлые, капризные. И все-таки она меня задела за душу. Все-таки я ее ждал, думал о ней, до сих пор думаю.

А она исчезла. Мелькпула — и нет. Никогда больше не встречу, никогда не познакомлюсь, как с той, что вышла на «Красносельской». Может, пройдет месяц, год, и я опять буду вспоминать эту, буду казнить. Лежишь, таращишь глаза на потолок. Встань с койки, действуй!

Она студентка Лесотехнического института, она приходила к нам договариваться о совместном праздновании годового вечера. В городе один Лесотехнический институт, не сто, а одна девушка приходила к нам — не прямая ли нить в руки?

Среди друзей в студенческом общении у всякого был особый друг — друг-избранник. Таким для меня был Павел Столбцов. Год из году койки наши стояли бок о бок, наши деньги лежали в одном кармане, у нас были общими и учебники и конспекты, были общими большие и маленькие тайны.

Павел Столбцов был рослый парень, с красиво твердым лицом, с густой беспорядочной шапкой русых кудрей. Во всем и всегда он был удачливее меня: готовились вместе к экзаменам — отметки он получал лучшие, тренировались к спортивным состязаниям — он выше меня прыгал, вместе подписывались на заем — его облигация выигрывала, моя нет. Он считал себя более опытным в сердечных делах, и я признавал это. Я все рассказал Павлу, и он согласился:

— Под лежащий камень вода не течет... — И тут же сообщил, что в Лесотехническом институте был не раз, многих там знает, разумеется, поможет отыскать таинственную студентку с голубыми глазами.

3

Лесотехнический институт — одно из самых старых учебных заведений в нашей области. До революции в большом двухэтажном здании размещалась просто школа специалистов по лесу. Теперь над двумя этажами надстроены еще два новых; здесь множество аудиторий, узкие коридоры и более трех тысяч студентов.

Они стоят около дверей, идут нам навстречу, обгоняют нас — ребята и девушки, девушки... Даже если я столкнусь со своей незнакомкой, не уверен, что сразу ее признаю.

Я гляжу на Павла — он единственная моя надежда, мой спаситель. Но спаситель, прислонившись плечом к стене, спокойно произносит:

— Ну, ищи, чего топчешься?

Легко сказать — ищи! Я иду по коридору, заглядываю в распахнутые двери аудиторий — в каждой из них полно девушек. Дверь за дверью, дверь за дверью, а это только первый этаж. Я прошел его, поднялся на второй. Снова дверь за дверью. Двери закрытые, двери пастежь распахнутые, двери просто с номерами «20», «21», двери с надписями: «Директор», «Канцелярия»... Стоп! «Комитет комсомола». И я в отчаянии толкаю эту дверь. За ней тоже народ: два паренька и девушка за столом.

Девушка поднимает на меня (нет, не голубые!) обычные с хитришкой глаза.

— Вам что?..

И в самом деле, что мне пужно? Нужна девушка без имени, без отчества, имеющая только внешние признаки: голубые глаза и губы сердечком. Как изложить просьбу?

— У вас какое-то дело?

Я храбро надвигаюсь на стол, говорю голосом неестественно твердым:

— Я из пединститута. К нам вчера приходила от вас... представитель по вопросу... по вопросу проведения новогоднего вечера.

— Пожалуйста, я вам могу все объяснить. Дело в том, что мы решили проводить Новый год только в стенах своего института. Если ваши студенты...

— Нет, мне просто нужно встретить...

— Кого?

— Того товарища...

— Какого товарища? Для чего встретить?

— Кто приходил к нам в институт. Она обещала... Обещала достать работы по педагогике одного забытого педагога. Они очень нужны нам.

— По педагогике? Какое это имеет отношение к нам? Такие работы скорее у вас надо искать.

Я делаю еще один отчаянный нырок:

— У нее же дядя известный педагог.

— Не понимаю. У кого это «у нее»?

— У того товарища, что приходил. Беда в том, что я забыл ее фамилию...

— Странно... А кто от нас ходил по вопросу новогоднего вечера в пединститут? — оборачивается девушка к своим товарищам.

Оба парня невозмутимо секунду-другую думают, и наконец один из них возвещает равнодушно:

— Круглова Ленка.

— Ах, вот оно что!.. Товарищ, у которого дядя педагог... — Хитрые глаза девушки с лукавым любопытством разглядывают меня.

А я стою, озабоченно насупившись, прекрасно чувствую, что в эту минуту моя физиономия представляет собою не что иное, как наглядное пособие для обозрения высшей степени тупости. Я стою и мысленно умоляю девушку: «Ну да, ты угадала, это не трудно. Ну да, сейчас дурак дураком, несусветная дубина. Ну, насладись поскорей моей дуростью и скажи что мне нужно, отпусти с богом...»

— Так вот, этого товарища с удобным дядей вы сможете отыскать в седьмой аудитории на первом этаже. Да торопитесь: скоро кончится перерыв... Больше нет вопросов?

— Спасибо, — выдохнул я с облегчением и, боясь поднять глаза, шагнул к двери.

— Да не забудьте, что ее зовут Лена! Круглова Лена, — раздалось мне вслед. Послышался смех.

Я снова спускаюсь на первый этаж.

В глубине коридора, прислонившись к стене плечом, маячит фигура Павла Столбцова. Я ему делаю вялый знак: «Жди». Считаю номера на дверях: «14», «13», эта открытая аудитория, должно быть, двенадцатая... С каждой дверью — новая порция холода в грудь, от страха начинаю ощущать зуд в коленях. Вот дверь с номером семь. Я не успеваю ее открыть, она сама распахивается, выскакивает какая-то девушка, бежит мимо меня.

— Простите, — пытаюсь остановить ее.

Следом выходит здоровый парнище в клетчатой рубашке, без пиджака, с рукавами, засученными на толстых руках.

— Простите, мне нужно видеть Лену Круглову.

Парень бросает на меня косой взгляд. И этот взгляд, полный презрения и недружелюбия, почему-то бесит меня. Страх мой проходит.

— Мне нужно видеть Лену Круглову. Не сможете ли ее вызвать?

Парень нехотя поворачивает к двери голову:

— Лена. Тут к тебе пришел...— снова свысока взгляд на меня,— один молодой человек.

Я скромно отхожу в сторонку. За моей спиной вырастает Павел. Парень с равнодушным мрачным видом, покачивая плечами, двинулся от нас. В аудитории застучали шаги, и из двери выскочила она, оглянулась, заметила нас.

— Вы ко мне?

Какая она маленькая, по плечо мне. В полутьме коридора большие глаза кажутся темными, лицо бледным и худеньким. Она переводит взгляд с меня на Павла. Павел молчит, запечатлев на своей физиономии дурацкую, загадочную улыбку.

Говорить надо мне. Я церемонно начинаю:

— Простите, пожалуйста, вы, кажется, приходили в пединститут по поводу празднования Нового года?

— Да. Но мы решили, что будем праздновать по отдельности. В вашем конференц-зале тесно.

— Жаль... То есть я хочу сказать... Видите ли, многие из нас считают... Одним словом, нельзя отказываться от общения...

Девушка пожала плечами:

— Я не решаю одна.

— Я понимаю...— Но больше всего я понимаю одну страшную вещь, что мои мизерные запасы красноречия на чисто израсходованы.

И тут бросается на спасение Павел.

— Все эти вечера — ерунда,— говорит он спокойно и авторитетно.— Нужна просто настоящая студенческая дружба.

— Мы живем бирюками,— подхватываю я.

— А что вы понимаете под словом «бирюки»? — недоумевает она.

— Что?.. Ну, это же ясно... Ну, не встречаемся, нет общения... Не интересуемся друг другом... Вы ведь тоже живете в общежитии?

— Нет, я местная, живу дома.

— Вот, а мы в общежитии...

Кто знает, чем бы кончился этот «милый» разговор, если бы не зазвонил звонок, объявляющий конец перерыва. Девушка заторопилась:

— Я еще поговорю со своими и сообщу вам.

— Ему сообщите, — подсказал Павел, указывая на меня. — Он может зайти в любое время, только назначьте день и час.

— Да, да, я зайду, — закивал я.

— Не стоит. Я как-нибудь...

— Девушка, — строго обрезает ее Павел, — «как-нибудь» нас не устраивает. Нам нужно знать точно.

— Хорошо, я пошлю письмо на ваш институт.

— На его фамилию.

— Хорошо, хорошо, на его фамилию.

— Андрей, не задерживай девушку, напиши свои данные. В старых романах в таких случаях обменивались визитными карточками.

Я торопливо достал записную книжку, написал, вырвал листок.

— Хорошо, хорошо, я все сделаю, — пообещала девушка и исчезла в дверях.

— Экий ты дурак, — поучал меня Павел по дороге в общежитие. — И чего жевал жвачку? Надо было заговорить о празднике, выразить желание прийти к ним в гости. Пришел бы, а у тебя, кроме нее, в институте нет никого, одно это обязывало бы ее к вниманию. Теперь письмо, стрельба глупыми бумажками...

4

Но я не дождался ее письма.

После этой встречи у меня осталось ощущение какой-то нечистоплотности. Я имел самые чистые намерения, и в то же время я лгал, хитрил, притворялся, с дурацким видом плел чудовищную околесицу.

Что я хочу от Лены Кругловой? Пока только одного: быть ее знакомым, а там будет видно ей, будет видно и мне, во что это выльется. Почему так глупо устроена жизнь? Вокруг каждого человека какая-то невидимая броня приличия. Ее нельзя пробивать прямо, ее нужно обходить, обязательно скрывать свои вовсе не порочные желания, скрывать, лгать, изворачиваться?

К черту броню, к черту ложь и неуклюжие хитрости!

Я, не дожидаясь ее письма, сам сел за письмо и написал все.

«Вы меня не знаете, я Вас тоже, и тем не менее я открыто говорю Вам: хотите знакомство? Не правда ли, выглядит неприлично, не правда ли, шокирует Вас? А почему? Потому, что это навязывание самого себя. Но ведь навязывание тогда становится бременем, когда это можно почувствовать. Ни я, ни Вы не знаем, бремя ли мы друг для друга или же нечто противоположное. Давайте узнаем. Разве это не любопытно — узнать нового человека?..»

Письмо мое было длинным, негодующим и заумным. Я не получил на него никакого ответа.

И возможно, на этом и кончились бы мои настойчивые посягательства, а любовь испарилась. Но в Новый год, когда я скучал в этот праздничный день один в пустой комнате общежития, ввалился Павел. Он был в гостях у каких-то своих далеких городских родственников, по случаю праздника навеселе, и еще от дверей я заметил его многообещающую загадочную ухмылку.

— Вот от меня новогодний подарочек тебе, — заявил он, помахивая перед моим носом бумажкой.

— Письмо?

— Какое письмо! Вот слушай... — Он прямо в пальто сел ко мне на койку и стал рассказывать: — Встретился я с одной старой знакомой. Тары-бары на три пары. Оказывается, она учится в Лесотехническом, знает твою Прекрасную Елену и, конечно, сообщила ее адрес. Вот он! — Сложенная бумажка коснулась моего носа. — Но это, брат, не все. На адресе значится: переулок Дубинский. Век не слышал. Сижу в гостях, пробую настоечку, и ударило в голову спросить, что это за Дубинский переулок, на каких он материках? А оказывается, рядом, в десяти шагах от дверей, в которые я вошел. Обед кончился, я вежливо удалился, а выходя, решил: дай-ка загляну в чертог Елены Прекрасной. Один этаж, второй, третий, на третьем дверь, на ней царских времен по медной дощечке надпись с твердым знаком: «Д-ръ С. Н. Кругловъ». Нажал звонок, слышу: «топ, топ, топ». Дверь распахивается...

— Ну?

— Видение, брат! Наверно, только что от плиты: щеки горят, глаза сияют, увидела детину — приросла к полу. Глазищи вот-вот выскочат. Говорит испуганно: «У меня гости».

— Черт-те что, даже мне неудобно.

— От твоего имени поздравляю с праздником и заявляю: так-то и так-то, моему лучшему другу нужно вам сказать два слова, завтра в шесть часов вечера, подъезд драмтеатра, крайняя колонна от здания краеведческого музея.

— Ну?

— Она любое обещание была готова дать, лишь бы я ушел. А тут еще, должно быть, мамаша показалась. Такая почтенная особа с седым начесом.

— Фу! В неудобное положение ты меня ставишь.

— Неблагодарная свинья! Неудобное положение? Тебе, может, удобнее сейчас здесь лапти вдоль койки тянуть, чем сидеть у нее в гостях? Жребий брошен! Запомни: завтра в шесть, подъезд драмтеатра...

Костюм у меня был достаточно приличный, драповое пальто с накладными карманами (не в затаस्कанный же шинелишке идти на свидание) я одолжил у однокурсника Бахвалова, кашпе, бьющее в пос яркой клеткой, — у студента из пашей комнаты, славившегося своим щегольством, он же дал напрокат перчатки желтой кожи.

Как никогда нарядный, с высоко поднятой головой, но с тревогой и неуверенностью в душе я ждал под огромной колонной у входа в областной театр.

Падал крупный мягкий снег. Откуда-то со стороны доносились голоса идущих прохожих, нетерпеливые гудки автомашин. Вокруг меня было тихо и покойно, на широкие ступеньки ложился снег. Квадратные часы на одной из колонн показали ровно шесть, четверть седьмого, полседьмого, семь. Мимо меня пошел в театр народ, тишина исчезла. Давно уже опустилась темнота, а я стоял, переступал с ноги на ногу.

Сколько за это время пришло в голову высоких слов, сколько было придумано красивых, полных благородства и скромности фраз, которые бы смогли растопить любой лед! Мощные душевные силы чувствовал я в те минуты. И все напрасно. Нет, незачем обманывать самого себя, это не опоздание, не случайная задержка, не просто желание испытать терпение. Она не придет.

Как черствы порой бывают люди. С какой легкостью они отказывают друг другу в мизерном внимании! Слово «чужой», — великий звериный закон выражается им. Раз ты чужой, неведомый, незнакомый, значит, ты достоин только одного — равнодушия, ты не существуешь, тебя

нет на свете. А это страшнее вражды, страшнее ненависти. Она сейчас не испытывает ни угрызения совести, ни малейшего смущения. Она просто не думает о том, что выходит за границы узкого круга семьи: есть друзья, есть знакомые — и этого достаточно. Я из большого мира стучусь, подаю голос, но вызываю вместо любопытства равнодушие, а возможно, испуг.

И во мне начала назревать решимость: пойти в самый центр ее круга, пойти к ней домой и сказать все это, потребовать ответа, видеть ее при этом.

Я покинул свой пост, отыскал Дубинский переулок, поднялся по скудно освещенной лестнице, на секунду замер перед дверью с потемневшей медной дощечкой «Д-рЪ С. Н. Кругловъ», нажал кнопку звонка.

Мне долго не открывали. Наконец раздались мягкие грузные шаги, щелкнул замок.

— Кто там?

Я требовательно потянул дверь на себя, шагнул за порог.

— Мне нужна Лена.

Полная женщина с добрым, рыхлым лицом, которое облагораживали седые волосы, с недоумением и не без испуга разглядывала меня, чужого человека в приличном пальто, с ярким кашне на шее, мокрого от снега.

— Лены нет дома. Она на два дня ушла с товарищами в лыжный поход.

Я постоял молча, вздохнул:

— Что ж, нет так нет. Простите.

И полное желтое лицо мало бывающей на свежем воздухе пожилой женщины немного подобрело. Бледные губы чуть-чуть дрогнули в уголках:

— Откуда это вы все появляетесь?

Я сердито ответил:

— Из хаоса.

Повернулся и пошел прочь.

Я стал замечать, что меня без причины недолюбливает Тоня Рубцова. Если заговариваю, отвечает холодно. Если в компании я позволяю отпустить по чьему-либо адресу шутку, она непременно заметит: «Оглянись на себя».

Как-то раз мне понадобились лекции профессора Никшаева. Они были отпечаганы на машинке всего в десяти экземплярах. Я узнал, что один сейчас у Тони, и пошел к ней.

— Тоня, лекции Никшаева у тебя? Дай мне на денек.

В комнате никого не было. Тоня лежала на своей койке, поджав под себя ноги, из-под юбки выглядывало ее крупное, крепкое колено. При моем вопросе она опустила лицо к подушке.

— Не дам.

— Всего на день.

— На час не дам.

— Не проконспектировала? Так и скажи. Когда кончишь?

— И когда кончу, не дам.

— Это почему?

— Так, не хочу.

Она подняла лицо: глаза круглые, злые, губы плотно сжаты, ноздри вздрагивают. Я вспомнил сразу же ее холодные ответы, ее постоянное сердитое фырканье. Чем же я мог ее обидеть?

Я прочно уселся на стул, решил все выяснить.

— Что с тобой? Откуда у тебя злость? Женихов у тебя не отбиваю, родню твою не ноносил: в чем причина?

— Много хочешь знать.

— Только то, что касается меня. Ну-ка, раскрой начистоту, что лежит на сердце.

— Вот еще — на сердце! Ты сердечные-то разговоры оставь для той.

— Для какой это той?

— От которой голову потерял. Тоже тайна... Весь институт знает, охотничек неудачливый.

И я только тут понял, что она жестоко ревнует. Скрывать нечего, я был немного польщен этим. Разве не приятно узнать, что кто-то неравнодушен к твоей особе, неравнодушен не просто до легкого кокетства, а до ревности, до ненависти.

Для того чтобы установить мир, я купил билеты в театр. На этот раз я не одалживал пальто с накладными карманами и яркое кашне. В своей старой шинелишке я провел Тонию мимо памятной колонны прямо в широкие театральные двери.

Ярко освещенное фойе заполняла парадная публика. Все кружили парами в одну сторону, словно выполняли какую-то торжественную и в то же время скучную церемонию.

Мне все было ново в этот вечер: и счастливо сияющие глаза Тони, в глубокой зелени которых отражались рассыпанные искорками горящие люстры, и взволнованно пылающие щеки ее, и ощущение крепкого, сбитого плеча под тонким шелком кофточки.

Тоня остановилась, чтобы без нужды поправить свою прическу. И в высоком, на полстены, зеркале я с ног до головы увидел пару — оба рослые, оба цветущие, с разгоревшимися лицами, оба смущенные. Пара несколько не хуже других пар.

Во время спектакля моя рука натыкалась на руку Тони. Тоня сначала неохотно отнимала ее, но только сначала...

У дверей нашего общежития, прежде чем переступить порог, мы остановились. У Тони заиндевели ресницы, под ними в темноте глаз был страх ожидания. Я притянул ее за локоть и поцеловал, а уж потом только воровато стрельнул взглядом по пустынной улице.

После этого мы каждый вечер проводили вместе. И когда Павел Столбцов несколько месяцев спустя с виноватым видом исповедовался мне, как он нечаянно встретился с Леной Кругловой, как разговорился с ней, хвалил меня, но... «Сам понимаешь, неисповедимы пути твои, господи... Словом, мы теперь встречаемся...» — я выслушал это сообщение довольно равнодушно. Я верил, что получилось случайно, верил, что Павел хвалил меня, что всю старался, расписывая высокие душевные качества своего близкого друга. Но ведь в таких случаях всегда подразумевается, что качества друзей в не меньшей степени присущи и тем, чья скромность не позволяет распространяться о себе.

На пятом курсе мы с Тоней расписались. Когда веселым мартовским полднем я шел из загса под руку с новоявленной Антониной Александровной Бирюковой, почему-то мелькнула нелепая мысль: «А что, если б сейчас встретил ту, нет, не Прекрасную Елену, а ту, Легендарную, исчезнувшую ночью на Красносельской площади?..»

Подумал и тут же вознегодовал на себя: «Дурак! Пора бросить мальчишеские мечтания. Ты теперь женатый человек, семьянин».

Павел Столбцов при распределении один из всего курса попал на работу в городскую школу, поселился в Дубинском переулке у своей молодой жены. Все мы разлетелись по области в сельские школы.

Меня и Тонию направили в распоряжение Загарьевского роно.

В первый же день я был принят директором десятилетки. Навстречу из-за стола поднялся маленький, поджарый, со стройной фигурой подростка человек, протянул мне руку.

Я с удивлением глядел на него: высоко подстриженная мальчишеская прическа, при комплекции подростка — квадратное, сухое лицо властного мужчины на шестом десятке, голос с хрипотцой, очень тихий, заставляющий вслушиваться с усиленным вниманием в каждое слово, глаза же мелкие, серые, немигающие, с тем давящим холодком, который присущ начальникам, сознающим свою непрерываемую власть. Ведь я же его видел раньше, мы с ним были немного знакомы. Ну да, пять лет назад мы встретились в переполненном вагоне. Я тогда ехал из Москвы, оставив институт кинематографии и честолюбивые надежды стать художником, ехал растерянный и подавленный.

— Милости прошу, присаживайтесь.

— Вы меня не узнаете, Степан Артемович?

Он строго и вопросительно уставился, потом в его серых глазах задрожала искорка, но сразу же потухла. Степан Артемович проворчал не слишком доброжелательно:

— Что-то не припомню. Не встречались ли мы с вами на совещаниях в облоно?

— Нет.— И я напомнил ему нашу встречу: — Вы еще адрес свой мне дали.

— Ах, да, да. Вот как! — Суровые морщины обмякли на квадратном лице Степана Артемовича.— Тот самый молодой человек, который сбежал из какого-то художественного института. Значит, вы все-таки решили стать педагогом. Нравится? Не броситесь опять куда-нибудь в музыканты?

— Во всяком случае, институт на этот раз окончил благополучно.

— Что ж, рад с вами встретиться. Преподаватель русского языка и литературы? Так... Будете вести у нас пятые — седьмые классы. Как быть с вашей женой? Она тоже по русскому и литературе? В старших классах по этому предмету учителя уже есть. Пусть пока поработает в начальной школе. Впрочем, мы с нею еще потолкуем. Теперь слушайте... — Степан Артемович прочно сел за свой стол, направил на меня холодный, начальнический взгляд. — Я очень требователен к своим учителям. Я устраиваю им быт, на какой в условиях районного центра не может пожаловаться ни один работник, и уже после этого я не слушаю претензий, что трудно работать, велика нагрузка. Имейте в виду, мой молодой друг, наша Загарьевская десятилетка в области среди самых лучших. Я потребую, чтобы ваши ученики имели прочные знания. Никаких отговорок! Никаких жалоб!

Он тут же, не выходя из кабинета, в течение одного часа устроил все необходимое, чтобы я и Тоня могли долгие годы жить и работать в Загарье.

Село Загарье... Голая река Курчавка, редкие кустики по берегам, серые глинистые обрывы и сизые песчаные косы. С одного берега на другой уставились дома с потемневшими крышами и белыми наличниками. На правом берегу в самой середине рассыпавшихся узкой полосой крыш возвышаются добротные двухэтажные дома. Здесь центр села, здесь мощеная улица, здесь мост, соединяющий оба берега.

Когда-то Загарье делилось на два села: само Загарье, где теперь все учреждения — двухэтажные дома, крытые железом, и левобережное село Дворцы.

В давние времена между тем и другим берегом существовала из поколения в поколение передававшаяся вражда. Загарьевцы прозывались свистунами, жители Дворцов — дворянами или мякинниками. Зимой в рождество или на масленицу оба берега высыпали на скованную льдом Курчавку «стукнуться стенка на стенку». Сколько черепов было проломлено, сколько крови, прожигая снег, вытекло на лед, сколько мертвых поднимали с Курчавки на тот и на другой берег!

Давно уже не раздаются воипственные крики: «Бей свистунов! Лупи мякинников!» Столетняя война между бе-

регами окончилась навсегда. Вне зависимости от этой войны победил правый берег. Село называется Загарье, район Загарьевский, на картах если и можно отыскать на изгибе тонкой, как волосок, речки-безымянки точку с мушиную крапинку, то и она подписана одним лишь словом — Загарье. Название Дворцы доживает свой век в обиходе.

— Куда направился?

— Да в Дворцы крайняя нужда сходить.

В Загарье одна полная средняя школа, две неполные и вдобавок к ним на самой окраине Дворцов стоит еще начальная.

В этой единственной средней школе, самом высшем учебном заведении Загарьевского района, возглавляемом Степаном Артемовичем Хрустовым, я и стал работать.

Степана Артемовича знали все — от последнего мальчишки до первого секретаря райкома партии. Он с пунктуальностью автомата два раза в день в одно и то же время перед обедом и вечером на сон грядущий совершал прогулки по берегу реки от школы до моста и обратно. Когда он шагал своими скуными, расчетливыми шажочками, прямой, с неприступно вскинутой головой, в высокой меховой шапке, то ни один человек не проходил мимо, чтобы почтительно издали первым не поздороваться со старым школьным директором. И каждому Степан Артемович отвечал благосклонным кивком.

Когда-то он преподавал историю, но это было очень давно. Уже не одно десятилетие Степан Артемович работал только директором Загарьевской средней. Те заботы, что другие директора улаживали с затратой всех своих сил, отчаянным расходом энергии, с убийственной трепкой нервов, Степан Артемович обходил одним словом, телефонным звонком, росчерком пера на коротеньком заявлении. Неблагополучно с учительскими кадрами — Степан Артемович обращается в облоно, и все улаживается. Необходим капитальный ремонт школы, нет ни кровельного железа, ни гвоздей, ни олифы, ни краски — Степан Артемович, не выходя из своего кабинета, действуя только одним оружием — своим именем, находит все, что требуется, даже, больше того, помогает роно.

Работники роно его побаивались. Учителя всех школ, как молодые так и старые, относились к нему как обычно относятся ученики к своему не в меру строгому, но спра-

ведливому наставнику. «Степан Артемыч сказал!» То, что сказал Степан Артемович, было железным законом, требующим только беспрекословного выполнения.

Все это я узнал позднее, когда с готовностью выполнял одно требование директора за другим, завоеывая в его глазах авторитет и уважение.

7

По простому житейскому расчету, что мы оба молодые, что рано или поздно наша маленькая семья непременно должна увеличиться, нам отвели не комнату — временное жилье, а полдома — две комнаты, кухню.

Во второй половине жила тоже семья учителя: Акинди́н Акиндинович Поярков, преподаватель географии, со своею супругою Альбертиной Михайловной, учительницей начальных классов, кучей детей и солидным хозяйством. Весь обширный двор перед домом был застроен сараюшками, клетями, подклетями, дощатыми курятниками, в недрах которых обитали одна черная с белым корова, свинья, подсвинок, два петуха — вороной и бронзовый, — неизвестное мне количество несушек. Для полноты хозяйства имелся пес с бесцветным собачьим именем Шарик, рослое, флегматичное существо, целыми днями валяющееся на крыльце, выкусывающее блох из неопрятной шерсти.

Сам Акинди́н Акиндинович обладал младенчески розовой лысиной, к которой с висков и со лба тянулись склеротические вены, длинным, тяжелым, словно клюв матерого ворона, носом и лучистыми, безмятежно голубыми глазами. Он был трудолюбив как муравей. С самого раннего утра, еще до восхода солнца, его уже можно видеть во дворе. В серой с жеваным козырьком кепке, оберегавшей нежную лысину от утренников, он что-то подколачивал, что-то обтесывал топором, что-то разрушал, чтоб на следующее утро создать более монументальное.

Под стать ему была и жена, моложавая, румяная, полная и застенчивая, как заневестившаяся девушка. Пока Акинди́н Акиндинович строил и разрушал, Альбертина Михайловна ныряла по сложным загромождениям сараюшек и клетей, давая знать о своей деятельности то возбужденным переполохом среди кур, то лениво выходящей

на свет божий коровой с выменем, освобожденным от молока.

Когда солнце поднималось над коньком нашей крыши, Акиндин Акиндинович и Альбертина Михайловна исчезали со двора, чтоб через некоторое время появиться на крыльце уже совсем в другой роли. Вместо жеваной кепки лысину Акиндина Акиндиновича прикрывала новенькая с твердой тульей фуражка, под козырьком которой таили благодушную улыбочку кроткие глаза. Умытые, принаряженные, преисполненные тихого счастья, они примерной парочкой, локоть об локоть, шагали в школу.

Тоня быстро сошлась с соседями: в углу на кухне появился ушат, припесенный Акиндином Акиндиновичем, во дворе на веревках рядом с почными сорочками Альбертины Михайловны затрспыхались па ветру мои рубашки. Тоня, высоко засучив рукава, чистила, мыла, скребла, и ее потноелицо было озабоченно-властным. Житейское безмятежное счастье, каким была богата жизнь наших соседей, охватило и ее. Да я и сам чувствовал какой-то особенный покой в душе.

Маленькая комнатка с окном на огород, к которому зимой подступает девственно чистый сугроб, а летом, разумеется, все та же картофельная ботва, — мой кабинет. В нем крохотный столик, настольная лампа с матерчатым абажуром и по стене, как я и мечтал, полки, на которых что ни день, то меньше пустоты.

В свободное от школьных тетрадей время — а его у меня не так и много — я отдаюсь семейным хлопотам. Акиндин Акиндинович советует весной купить подсвинка. Тоня решает: надо теперь думать, где поставить хлевушку. И к сооружениям Акиндина Акиндиновича прибавляется бревенчатая лачужка, крытая толем.

Иногда я коротаю досуг с моими новыми друзьями.

К преподавателю математики Олегу Владимировичу Свешникову я хожу играть в шахматы. Он меня немилосердно обыгрывает, при этом держится с корректной вежливостью.

Но еще больше я люблю навещать нашего деда, нашего патриарха школы Ивана Поликарповича Ведерникова. Он стал учителем, когда ни меня, ни Тони еще не было на свете. Он заслуженный, он орденосец, перед его седой головой склоняется сам Степан Артемович. Сухопарый,

высокий, на коричневом, в крупных морщинах лице красуются седые усы — даже по своему внешнему виду Иван Поликарпович образец старого сельского учителя. Он живет в маленьком собственном домишке, стоящем в глубине усадьбы. В нем всегда полновесная, до звона в ушах тишина. Мне кажется, она имеет целебную силу. Стоит в этой тишине пробыть час-другой, как дневная усталость сменяется покойной ленью, иссушенный заботами мозг свежеет. Хорошо зимними вечерами пить чай на выскобленном до желтизны, простом дощатом столе и вместе с мудрым стариком проникать в величайшие секреты вселенной, секреты, ничего не имеющие общего с нашей суетливой жизнью.

У меня имелись и недруги, немного, всего один — учитель физики Василий Тихонович Горбылев. У него даже в наружности было что-то жесткое, угловатое: сухощавый, с острыми прямыми плечами и талией, как у девушки, лицо смуглое, с хищным горбатым носом, брови срослись над переносицей, ресницы длинные, но далеко не женственные — прямые, колючие, под ними таят мрачный огонек цыганские глаза. Даже как-то не верилось, что он родился не где-то под горячим солнцем Кавказа, а среди флегматичных северян.

Жизнь будто ничем не обидела этого человека. Со второго курса физико-математического факультета он добровольцем ушел на фронт. Но ему не пришлось, как мне, таскать по окопам солдатскую винтовку: был направлен в авиационное училище. Штурман на бомбардировщике дальнего действия, ни разу не сбитый, чудом не раненный, увешанный орденами по всей груди, после демобилизации с расплывшимися объятиями принятый обратно на свой физико-математический факультет... И в школе он пользовался общим уважением, за какой-нибудь год или два ему удалось создать кабинет физики, который прославился по области. Сам Степан Артемович прощает ему слишком вольные, граничащие с дерзостью выражения по своему адресу. Что еще нужно этому человеку?

А он был недоволен всем: школой, в которой работал, директором, который снисходительно относился к нему, недоволен учителями, с кем бок о бок приходилось трудиться. Кажется, больше других он недолюбливал меня — по той причине, что ко мне благоволил Степан Артемович. Горбылев как-то в разговоре бросил обо мне

вскользь: «Новый выкормыш...» Я отвечал ему такой же неприязнью, старался не заговаривать с ним, едва-едва обменивался по утрам в учительской холодным кивком.

Но один Горбылев не мог испортить мне жизнь.

Меньше чем через год, после того как я вступил на благословенную землю села Загарья, у меня родилась дочь. Приходя с работы, я садился перед кроваткой, улюлюкал, косноязычил, как все счастливые отцы в мире. Чем сильнее я уставал в школе, тем охотнее я проводил время возле дочери. Глядя на чистое личико с бессмысленными, как две пуговицы, глазенками, я думал о том, что уже устаю, становлюсь порой раздражительным, пройдет время — буду уставать больше, начнет, верно, мучить меня бессонница, беспокоить печень или пошаливать сердце — стану дряхлеть. Но вот лежит здесь обновленная моя плоть, моя кровь, с которой начисто смыты все намеки на дряхлость. Я уйду через нее в будущее поколение, в следующий век, в нем станет продолжаться моя жизнь даже тогда, когда мои собственные кости начнут тлеть в могиле.

В нашем доме появилась новая особа — долговязая, костлявая и плечистая, как хороший мужик, бабка Настасья. Она же нянька, она же помощница по хозяйству. Настасья говорила утробным голосом, была без меры добросовестна; с ее приходом наша маленькая квартирка наполнилась треском, грохотом и басовитой, словно отдаленные перекаты грома, воркотней. Настасья ни во что не ставила мой авторитет и признавала только мою жену.

А Тоня расцвела. Фигура ее стала чуть полней, кожа белей, походка медлительней.

Все было для счастья.

8

Ничего особенного не случилось.

Утром в половине девятого я выходил из дому со стопкой книг под мышкой. В девять в школе давали звонок. Ровно через две минуты после звонка я появлялся в классе. Грохоча крышками парт, поднимались ученики. С моей стороны кивок головой, означающий одновременно «здравствуйте» и разрешение садиться на свои места.

— В прошлый раз мы проходили... — начинал я свой урок.

И так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год с перерывами на зимние, весенние, летние каникулы. Крыльцо дома, тропинка вдоль больничного забора, зимой протоптанная среди сугробов, поздней осенью скользкая от грязи, весной мягко податливая под каблуками сапог. Наверно, не споткнувшись, я мог бы без труда пройти с завязанными глазами: крыльцо дома, калитка, длинный больничный забор, поворот, задворки огородов, новый поворот, школа и... «В прошлый раз мы проходили...» Изо дня в день, из месяца в месяц, так идет уже пятый год, так пойдут десятилетия до глубокой старости.

Хоть бы что-нибудь случилось, любой перемене был бы рад, любой встряске, даже самой жестокой. Я стал уставать от уроков; в самом начале учебного года уже начинал мечтать о каникулах. Порой мне казалось, что я похожу на лошадь, которую заставили крутить жернова — круг за кругом, передышка, и снова круг за кругом — до тех пор, пока не сдадут силы.

Я стал как-то болезненно ощущать время. Каждый прожитый день мне казался потерей. Неужели я только для того и родился на свет, чтобы терпеливо, скучно прожить огромное количество дней, прожить и... свалиться в могилу? Только для этого? Но ведь это бессмыслица! Я не хочу такой жизни. Не хочу!..

Но я поднимался по утрам, завтракал, брал книги, покорно шагал в школу...

Ничего особенного не случилось в тот день.

До тошноты знакомая тропинка привела меня к школьному крыльцу. В положенное время раздался звонок, я вошел в класс.

Начался урок, один из многих сотен, какие я провел за время своей работы в Загарьевской десятилетке.

Как всегда, я долго ползал взглядом по раскрытому журналу с фамилии на фамилию: Аникин, Бабин, Белов... Класс привычно притих, класс ждал, на кого падет сейчас жребий?

— Галя Субботина, к доске! — вызываю я и поворачиваюсь к окну, где за пыльными двойными рамами раскинулись заснеженные крыши села Загарья.

Ответ Гали Субботиной спотыкающийся и неуверенный.

Эта невысокая девчушка, с пухлым, очень беленьким лицом и апатично отвисшей розовой губкой, числится в отстающих. Она явно не знает материала. Придется поставить ей двойку.

Галя испуганно таращит свои черные влажные птичьи глаза на мой каменно-невозмутимый педагогический профиль. Она не догадывается, что я, этот суровый учитель с каменным профилем, испытываю сейчас перед ней чувство беспомощности и вины. Галя Субботина не очень способная, не очень сообразительная, но и не отъявленная тулица.

Есть же учителя, обладающие таким педагогическим мастерством, что могут заставить не слишком одаренных детей, вроде этой Гали, понимать, запоминать, увлекаться материалом. Есть такие. Не может не быть! Я не сумел этого сделать. Галя Субботина ничего не вынесла с прошлого моего урока. Сейчас стоит и беспомощно таращит влажные глаза — живой мне упрек, олицетворение моего педагогического бессилия.

Да, я во многом чувствую себя бессильным...

Каждый день проверяю знания учеников. Но на это уходит добрая четверть, а то и половина времени. А могу ли я уверенно сказать, как любой из моих учеников знает материал вчерашний, позавчерашний, третьего дня? Нет, не могу. В моем классе тридцать два человека, каждого из них я успеваю вызвать к доске и более или менее подробно опросить два, три, в виде исключения четыре раза за четверть. Два-три раза за два месяца! Чуть ли не половина учебного года уходит только на то, чтобы туманно, в высшей степени приблизительно догадываться о знаниях своих учеников. Разве это не расточительство времени, разве это не признак моего педагогического бессилия?

Я отрываюсь от окна. Галя опустила глаза, молчит — все, что было у нее за душой, израсходовано.

Поворачиваюсь к классу, и сразу же натываюсь взглядом на Аникина. Белобрысый и по-мальчишески солидный, за низенькой партой ему тесновато, из коротких рукавов затасканного пиджака вылезают ширококостные руки с плоскими ладонями. На его обветренном с желтым пушком бровей лице — терпеливая скука и полнейшее равнодушие к неудаче Гали Субботиной. У него уже три отметки — две четверки и одна пятерка. Он спокоен: его не спро-

сят. Почти половина класса имеет всего по одной отметке, а конец четверти не за горами.

Но вот взгляды наши встречаются, и глаза Аникина стрельнули направо, налево, смиренно опустились к парте, голова чуть подалась в плечи. Как хорошо я понимаю, что он сейчас испытывает в душе! С какой страстью он ждет, что мой взгляд задержавшись на мгновение, скользнет дальше: «Неужели догадался?.. Неужели вызовет?..»

Догадаться-то не трудно. Но ты, Аникин, не подозреваешь, что мне, твоему учителю, в таких случаях невыгодно быть особо догадливым. Ты в эту четверть кандидат в хорошие ученики. Новая двойка к твоим хорошим отметкам сразу сбросит тебя в посредственные. Я же заинтересован, чтоб по моему предмету было больше хороших учеников. В этом заинтересован завуч, заинтересован и директор. Просматривая классный журнал, они, конечно, заметят: ученик Аникин сначала получил три хорошие отметки и вдруг скатился на двойку. Непременно услышу упреки, что я плохо поработал с тобой, не добился лучших показателей. Великое дело показатели! Ты, Аникин, еще не сталкивался с ними в своей мальчишеской жизни. Вот потому-то тебе и невдомек, что мне в равной степени неохота ставить тебе двойку, как и тебе ее получать. Мне приходится быть твоим союзником, осмотрительный лентяй!

— Скворцов, помоги Субботиной.

Аникин облегченно распускает свои плечи.

Я спросил положенное количество учеников, взглянул на часы и решил, что пора начинать вторую часть урока — изложение нового материала.

— Тема сегодняшнего урока — причастия. Причастием называется форма глагола, которая имеет свойства глагола и прилагательного...

Я рассказываю, привожу примеры, слежу за лицами учеников: понимают они или нет? Тридцать два лица — все разные.

Остренькое, с какими-то миловидно лисьими чертами лицо Сережи Скворцова, лучшего ученика. Оно подвижно, оно отзывчиво на слова. Стоит только повысить голос, привести неожиданный пример, как и без того его острые черты еще больше обостряются, в беспокойно бегаю-

щих глазах появляется любопытство. Он равнодушен к любой новости; даже если этой новостью будет сообщение, что причастие есть не что иное, как форма глагола...

Лицо Сони Юрченко — широкое, веснушчатое, суровое, преисполненное какого-то внутреннего достоинства. Она учится почти так же, как Сережа Скворцов, тоже считается штатной отличницей. На уроках она слушает с усилием. К ней невольно проникаешься уважением — постоянное напряжение, ежесекундно собранная в комок воля, железный контроль над собой: надо слушать, не отвлекаться, сосредоточить внимание на словах учителя! Не это ли чрезмерное напряжение наложило на ее веснушчатое лицо печать суровости? Я знаю, Соня Юрченко сидит над своими домашними заданиями все свое свободное время. Крепкое от природы здоровье спасает ее от переутомления. Это достойный уважения, но не очень способный человек.

Аникин Паша и его дружок сосед по парте Федя Кочкин относятся к той обширной группе, которая называется «средние ученики». Аникин расчетливее, собраннее Кочкина, редко попадает впросак; если есть точные приметы, что его спросят на следующий день, то он добросовестно все выучит, все выполнит. Если же узнает, что учитель ограничится одной только проверкой упражнений, он не станет себя особенно затруднять, а просто спишет на перемене у товарища задание. Кочкин Федя не любит заглядывать вперед: завтра его могут спросить, но то будет завтра, а сегодня надо жить — кататься на «снегурках», ставить в лесу петли на зайцев, просто шататься по улице. Кочкин наверняка способнее Аникина: если слушает, всегда быстрее схватывает. Но вся беда в том, что Федя не любит слушать. Сейчас при объяснении на его крепком, угловатом лице тоска, как от нудной зубной боли. Но, помнится, я рассказал подробности дуэли Пушкина, и Федя, всем телом подавшись вперед, со страстью ел меня глазами. Федя Кочкин по успеваемости стоит на самой нижней ступеньке среди тех, кого называют «средними учениками», тогда как его друг Аникин почти рядом с «хорошими».

А вот и Леня Бабин, личность своего рода так же заметная в классе, как и Скворцов. Маленький, круглый, стриженный под машинку, на бесцветном, невыразитель-

ном лице — ангельское блаженство отдыха, глаза тусклы, толстые губы распущены. Он кроток, равнодушен ко всему на свете, доверчив и наивен. Несмотря на то что из-за оставаний на второй год он старше всех в классе, в это трудно поверить. Этот человек остановился в своем развитии где-то в начальных классах. С ним учителя возятся больше, чем с кем-либо, оставляют после уроков, чуть ли не каждый день дополнительно занимаются, придирчиво проверяют его домашние работы. Но успех не велик: Леня учится хуже всех.

Передо мной тридцать два человека, совершенно непохожих друг на друга. Я им втолковываю грамматическую премудрость.

Сережа Скворцов давно уже все понял. Он завертелся на месте, потом притих, склонился, изредка бросая на меня пыливый, со скрытым лукавством взгляд. Что это он там делает?.. Ах, вон что! Развязывает ленту в косе Гали Субботиной.

— Скворцов! — останавливаю я его.

Он вздрагивает, выпрямляется, принимает вид прилежного ученика.

Вижу, как смягчилась суровость на лице Сони Юрченко, но Аникин сонно хлопает белобрысыми ресницами, Федя Кочкин с тоской разглядывает потолок.

Я кончил рассказывать.

— Кому что непонятно?

Все молчат.

До звонка две минуты. Они тягостны и для учеников и для меня самого.

— Значит, можно не сомневаться, что завтра будете отвечать на «отлично»? А ну, проверим. Аникин, скажи нам, что называется причастием?

Аникин подавленно поднимается со своего места, с тоской шарит по классу глазами.

— Причастием называется... Называется форма... — тянет он, надеясь на спасительный звонок.

Сережа Скворцов ерзает на своем месте, наконец не выдерживает и подсказывает скороговоркой:

— Глагола и прилагательного свойства...

Я бросаю на него грозный взгляд.

Половина класса, если не больше, не знает. Но помочь беде я не могу. У меня план. Если на следующем уроке снова рассказывать то же самое, то к концу года у меня

останется «хвост по материалу», класс не успеет закончить программу.

Большинство из тех, кто не понял сейчас, поймут дома. Кое-кого я заставлю понять на дополнительных занятиях. Для кого-то наверняка «что такое причастие» так и останется тайной. Им, не понявшим этого урока, будет трудно понять следующие. Так созревают второгодники.

Звонка что-то долго нет. Аникин бормочет про себя: — Причастие — это форма... форма прилагательная...

А меня снова охватывает чувство беспомощности, а вместе с ним появляется и страх. Не многого же я добился этим уроком. И так изо дня в день, из года в год. Никаких побед, никаких взлетов, а значит, никаких радостей от дела, которому отдасшь жизнь. Бездарное существование! В то время когда учился живописи, мне было не трудно разобраться, бездарен я или даровит. Там каждый день перед глазами работы свои собственные и работы товарищей. Можно в любое время сравнить и оценить каждый мазок, не спрячешь свое бессилие, свое духовное убожество. Работа же учителя не так наглядна, можно десятки лет бесславно трудиться и не оценить себя по достоинству.

Никаких взлетов, никаких побед, никаких творческих радостей — не удивительно, что жизнь кажется тусклой, утомительно однообразной. И никто в этом не виноват. Никто, кроме меня самого!

Звонок оборвал мои размышления и мучения Аникина. Ребята с радостным шумом сорвались с парт.

Десять минут перерыва — и новый урок. Оп будет такой же точно, как и этот. Не могу! Снова долбить то, что долбил двадцать минут назад, вчера, позавчера, третьего дня! Не могу!..

Этот ничем не примечательный урок был в субботу. А поздним утром воскресного дня, я, праздный, плотно позавтракавший, вышел на улицу в своем новом пальто — предмете долгих обсуждений и расчетов с Тоней.

Укатанная санями дорога глянцевито блестела, занесенные снегом кусты и деревья за дощатыми заборчика-

ми разукрасили село морозным кружевом, из труб тянулся вверх пепельно-теплый дымок. Сейчас только-только начинает проявлять свою силу зима.

А я уже жду тех дней, когда с веселым упорством станут рыть землю ручьи, покажутся углисто-черные, упившиеся влагой горбатые грядки на огородах.

Быть может, во мне сказывается та древняя крестьянская любовь к весне, когда считалось, что зима страшна, пережить ее — подвиг, что тепло, очищающее землю от снега, ее, землю-кормилицу, — спасение, счастье, жизнь! Для меня кажется дикостью, что кто-то может больше весны любить, скажем, осень. Ту осень, которая предвещает зиму с ее уничтожающими все живое холодами. Даже Пушкин, воспевающий «унылую пору, очей очарованье», в этих случаях чужд мне.

Но теперь весну я люблю еще и потому, что она обещает мне летние каникулы — законный отдых, когда имеешь право по жгучей росе спешить с удочками на реку, бродить по лесу с корзинкой, читать книги, какие подвернутся под руку, быть свободным от ежедневных уроков, от опостылевших ученических тетрадей.

Я неторопливо шел по зимней улице, со стороны поглядеть — благополучный, довольный собой. А мне в этот момент припоминалась другая прогулка...

Городской вечер поздней осени, мелкий липкий дождь, маслянистые отсветы фонарей на мокром асфальте. Я, съездившийся в своей солдатской шинелишке, бухая по асфальту тяжелыми сапогами, спешу к вокзалу. Только что видел девушку, она, испуганно постукивая по мокрому асфальту каблуками туфель, скрылась в темноте. Я иду один среди равнодушного и по-осеннему неуютного города, едва сдерживаю себя, чтобы не кричать от отчаяния: «Я неудачник!» Черно мое будущее, как это вечернее небо, сеющее противный дождь на каменный город. Художник без таланта, гражданин, которому отказано в самом важном — быть полезным людям. Неприглядное существование ждет впереди. Ломай жизнь, пока не поздно, ломай без жалости!..

Теперь я неторопливо вышагиваю — не студентиска в обтрепанной солдатской шинелишке, не одинокий, затерянный среди безбрежного города прохожий, — я солидно

выгляжу, меня все знают, здороваются со мной с должным уважением. И утро сегодня славное: легкий морозец, вялое солнышко просачивается сквозь тонкие облака. Но забытое отчаяние, панический страх перед будущим вновь накипают в душе.

Тогда я пошел в себе силы, без жалости, круто переломил жизнь. Случайно подвернувшийся подъезд пединститута направил меня по новой дороге.

Я с ужасом бежал от того, чтоб не стать бездарностью, надеялся, что наконец-то отыскал себе место, пусть скромное, без славы, без почестей, но место, где смогу быть полезным людям. И вот теперь я снова убеждаюсь: нет, не убежал от собственной бездарности. Нельзя закрывать глаза!

Простая и жуткая арифметика приходит в голову. Урок — сорок пять минут. По десять, по пятнадцать учеников не уносят никаких знаний с моих уроков. Если сложить все потери вместе, то на каждом моем сорокапятиминутном уроке для людей, для общества, которому я служу верой и правдой, пропадает от семи до одиннадцати часов. За мой рабочий день потери нужно считать сутками. За всю мою непродолжительную работу в Загарьевской десятилетке пущены на ветер годы и годы. И если я дальше стану работать так, как работаю сейчас, то целые человеко-столетия по моей вине будут украдены у детей. Столетия!.. Страшна деятельность учителя-поденщика. Войнствующая бездарь в искусстве, пожалуй, не принесет столько вреда людям.

Рослый, массивный в своем новом добротном пальто, с независимо поднятой головой, уверенной поступью я двигаюсь по селу — воплощенная уравновешенность, паглядное благополучие. И никто из встречных, с которыми я здоровался как подобает доброму знакомому, не догадывается, что происходит у меня в душе.

Неужели кисти мои засохли?.. Неужели мне снова придется ломать жизнь? Невозможно это! Искать новое место, снова учиться и переучиваться — мне не двадцать два года, я уже обременен семьей, я врос в школу. Не так-то просто начинать жизнь сначала. И разве можно ручаться, что снова не произойдет такой же ошибки? Бросить школу, заняться чем-либо другим — верная гарантия стать законченным неудачником.

Доступный способ узнать себя — трезво, честно, без снисхождений сравнить с другими. Люди, невнимательно приглядывающиеся к окружающим, не понимают не только других, но и себя в первую очередь.

Если на художественном факультете я сравнивал свои работы с работами своих товарищей, то теперь решил с пристальным вниманием присмотреться к урокам учителей нашей школы.

Во всем районе самым старым, а значит, и самым уважаемым учителем считался Иван Поликарпович Ведерников. Он больше сорока лет преподавал в школе.

Олег Владимирович Свешников, преподаватель математики в старших классах, выступал с докладами на семинарах учителей в области.

Учительница химии Евдокия Алексеевна Панчук славилась своим запальчивым вдохновением на уроках.

Много говорили об уроках физики, которые проводил Горбылев Василий Тихонович.

И вот в свободные часы я стал кочевать из класса в класс, с ревнивым вниманием слушал, как преподают другие.

Уроки Ивана Поликарповича, нашего школьного патриарха, были бесхитростно просты. Внешне все как в инструкциях, как в методических письмах, которые щедро нам присылались из облово. Я тоже добросовестно придерживался инструкции, и тем не менее ученики слушали Ивана Поликарповича гораздо внимательнее, чем меня. Он преподавал историю. А походы Александра Македонского или восстание Спартака всегда воспринимаются с большим интересом, чем рассуждения о деепричастных оборотах. Сказывалась и многолетняя практика. С добродушно-хитроватой улыбкой в нужный момент Иван Поликарпович бросал какой-нибудь исторический анекдот: «А вот у Александра Македонского был конь...» И все до единого в классе настораживались: «А ну, что за конь?..» Кому не любопытно! Самый вид Ивана Поликарповича, внушительно высокого, насмешливо спокойного, украшенного благородной сединой, заставлял уважительно относиться к тому, что он говорит.

У Олега Владимировича строго рассчитана каждая минута, точные, выверенные, суховатые изложения и основа основ — непреложный закон: не усвоив вчерашнего материала, ни в коем случае нельзя слушать сегодняшней урок. Для повторения не жалеть времени. Серьезность и терпение, еще раз терпение — ничем другим, а только этим брал Олег Владимирович.

Евдокия Алексеевна, полная, низкорослая, с подвыщипанными бровями, очень заурядная на вид женщина в темно-синем костюме, который стал чуть ли не униформой для сельских учительниц, со страстью и запальчивостью любила свой предмет. У нее ни особых подходов, ни точно разработанных планов, ни расчетов во времени, а просто страсть — буйная, напористая, ошеломляющая ребят. В школе с улыбкой передавали, что как-то, рассказывая о таблице Менделеева, Евдокия Алексеевна в горячах вскочила ногами на стул и, возвышаясь над изумленным классом, громкоподобно ораторствовала. Тут уж волей-неволей будешь слушать даже тогда, когда речь учительницы не последовательна, растрепанна, хаотична.

Но больше всех меня поразило урок Василия Тихоновича...

Степан Артемович и его правая рука, наш завуч Тамара Константиновна, рослая, полнотелая, с тяжелым пучком волос на твердой шее и горделивой выправкой римской матроны, в один голос заявляли на педсоветах, что я достойный подражания учитель. У меня при проверках оказывались самые добросовестные планы, без напоминаний, в нужный срок я представлял обстоятельные отчеты, никогда не жалел своего времени, занимался после уроков с отстающими, и количество «двоечников» по моим предметам не превышало допущенной нормы. Василий же Тихонович отчеты подавал с запозданием, планы уроков подсовывал такие, от которых Тамара Константиновна морщила свое белое лицо:

— Что вы тут понаписали? Вы читали методическое письмо, которое мы недавно получили?

— Прошу прощения, не мог осилить, — дерзко отвечал физик.

Ему прощали дерзости, но не выражали к нему и особого расположения. Я был на виду, Василий Тихонович

ходил в непризнанных. Мы не испытывали друг к другу особых симпатий.

Василий Тихонович не произнес обычных слов: «В прошлый раз мы проходили...» Он никого не вызвал к доске, молча расставил на столе спиртовку, металлическую подставку, стаканчик, поднял голову и начал урок как-то в лоб, с неожиданного вопроса:

— Шофёр оставил на морозе свою машину, ушел спать и не слил воду из радиатора. Кто скажет, что может случиться с машиной?

Несколько рук поднялось над партами.

Вместо обычного преподавания, когда учитель рассказывает, а ученики чинно слушают, между ними и учителем начался разговор. Никаких изложений, только вопросы, простые, житейские. Кто из ребят не интересовался машиной, кто из них не крутился вокруг шофёров! Замерзающая вода разрывает чугунную рубашку мотора — это так понятно, что не надо заставлять себя слушать. Идет беседа.

Василий Тихонович, высокий, узкоплечий, со смуглой кадыкастой шеей, направляя свой горбатый нос то в одну, то в другую сторону, неистощим на неожиданные вопросы:

— А что, если вместо воды налить в радиатор парафин, из которого делают обычные свечи? Разорвет он или не разорвет радиатор на морозе? Кто скажет?

Я бы сам не сумел ответить, что случится, если в радиатор машины налить расплавленный парафин и дать ему замерзнуть.

— Васильева, к столу! Расплавь парафин и остуди. Может, твой опыт поможет нам решить этот вопрос. Занимайся, а мы тем временем вспомним, что проходили на прошлых уроках.

Васильева возится у стола, в классе начинает пахнуть оплывшей свечкой. Василий Тихонович продолжает бросать вопросы.

Я сидел и испытывал чувство, похожее на то, какое появлялось у меня, художника-неудачника, перед развешенными по стенам музеев закатами Рылова, сумрачными этюдами Остроухова. Все просто, все понятно, но почему сам я не могу этого сделать? И досада, и горькая зависть, и страх за самого себя: кисти мои засохли...

Я бросился спасать самого себя. Те дни, когда я писал патиорморты, составленные из консервных банок и луковиц, не научили меня живописи, но, должно быть, приучили к усидчивости. Через межбиблиотечный абонемент я выписывал книги: Ян Коменский, Гельвеций, Ушинский. Я ворошил педагогические журналы, исписывал толстые тетради выкладками, конспектами, собственными соображениями.

До сих пор я считал себя знающим педагогом: как-никак окончил институт. Теперь же моим институтским профессорам, некоему Никшаеву и его вечному оппоненту Краковскому, наверно, частенько икалось. Какого черта эти два эрудита в течение нескольких лет переливали передо мной свои собственные пустопорожние идейки! Почему они не ознакомили меня с тем немногим, что делается у нас сейчас в педагогике? Мне теперь приходится перерывать целые кипы журнальных статей, чтобы натолкнуться на что-либо полезное. И я рылся с упрямством человека, видящего в этом свое спасение.

Все можно узнать. Секретов нет. Но не существует ли в педагогике, как и в живописи, особого таинства, недоступного мне?

На затаившихся педсоветах, по дороге из школы к дому, ночью в постели я постоянно обдумывал: с какой стороны подступиться к объяснению каких-нибудь прилагательных, пишущихся через два «н», как рассказать о них, чтоб все до последнего ученика в классе не отвлекались, а с жадностью слушали меня? Каким неожиданным приемом, чем привлечь их внимание?

И вот однажды ученики шестого класса «А» были несколько озадачены началом урока. Вместо того чтобы приняться за обычное скучное объяснение, я, ни слова не говоря, росчерком мела разделил доску на две части. На одной стороне написал громадное «А», на другой вывел «О», по размерам не уступающее велосипедному колесу. И даже вялый, ко всему равнодушный Леня Бабин поднял свои сонные веки, склонив стриженую голову на плечо, раскрыв рот, уставился на доску. А я с самым невозмутимым видом уселся за стол, произнес:

— Сережа Скворцов, выйди к доске.

В тесной форменной гимнастерке, надо лбом торчит белобрысый вихор коровьего зализа, Сережа, всеми признанный отличник, неуверенно вылез из-за парты. На его подвижной остроносой физиономии можно прочесть целую гамму переживаний: любопытство — что все это значит, пастороженность — нет ли со стороны учителя какого подвоха, затаенное самодовольство — вызывают-то его, лучшего ученика, — значит, сложное дело.

— Напиши, Сережа, внизу под буквой «А» такие слова: *издавна, издалека, досуха, докрасна, слева, сначала...*

Застучал мел. Напряженно склонив тонкую шею с трогательной косицей волос в ложбинке, Сережа торопливо выводит слова.

— А сейчас внизу под «О» — *вправо, влево, наново, набело, насухо...*

Сережа пишет, а класс молча ждет. Федя Кочкин, окаменевший в тоскливой неподвижности в те минуты уроков русского языка, пока не приходилось самому братья ва ручку, сейчас навалился грудью на парту, сдержанно поблескивает глазами.

Слова написаны, Сережа вопросительно повернулся ко мне: что дальше?

— Теперь все присмотритесь к словам и скажите, почему одни слова написаны под буквой «А», другие под буквой «О»?

Класс смотрит на доску, класс молчит. Мне даже кажется, что я слышу, как вразнобой дышат эти тридцать с лишним человек. Широкое, веснушчатое, с суровой сосредоточенностью лицо Сони Юрченко, наивно недоуменное — Гали Субботиной, выжидающее — Паши Лникина, осоловело помаргивающее ресницами — Лени Бабина. Все решают несложную задачу. Если мне просто, без обиняков сказать — потому-то и потому-то, то ученикам ничего не останется, как только поверить на слово и постараться запомнить. Но если своими усилиями открыть загадку, то после не нужно убеждать: что, как, почему. Проявляется активность, приложены пусть небольшие, но свои усилия, знания сразу становятся как бы своей собственностью.

А в конце урока диктант, похожий на игру. Я читаю маленькое описание утра в горах: «Слева поднимаются темные скалы, кажется, они наглухо закрывают путь бешеной речушке...» Я читаю довольно быстро, а каждый

должен записывать только наречия с окончанием на *о* и *а*. Будь пачеку, не пропусти, не ошибись, не впиши неподходящее слово только потому, что на конце его стоит *о*; из десятка слов, как крупицу золотоносного песка, выуди драгоценное наречие.

Я сам увлекся, звонок застал меня врасплох. Ученики поднимались со своих мест с оживленными лицами, перекидывались вопросами:

— У меня десять слов. У тебя сколько?

— Я сначала в *сослену* «*а*» в конце написал...

— А как писать — *с маху* или *с маха*?

Началась перемена, а ребята еще продолжали жить уроком.

Всю эту десятиминутную перемену я ходил по учительской, поспешно затягивался папиросой. Точно такой же урок я должен провести сейчас в другом шестом классе, зуд нетерпения охватил меня.

Именно во время этой перемены я впервые почувствовал, что есть, оказывается, особое наслаждение в том, что ты сообщаешь новость. Пусть эта новость будет всего-навсего правилом правописания наречий, лишь бы она вызывала интерес. Поделиться любопытной новостью — все равно что поделиться маленькой радостью. Разве не радость чем-то обогатить человека?

Весь день после этих уроков я испытывал праздничное настроение. То, что я сделал сегодня, не открытие неизвестного, не новый шаг к педагогике, нет, этим приемом давно-давно пользуются учителя, он даже имеет ученое название — *эвристический прием*. Я по своему невежеству раньше не знал о нем, теперь воспользовался чужой находкой, и все-таки у меня маленькая, никем не замеченная победа. Для моих учеников сегодня случайно выдался нескучный урок; они, наверное, не надеются, что все уроки станут такими же. Я тоже не слишком обольщаю себя надеждами. Даже в живописи у меня случались удачи. Помню портрет девушки в бирюзовом платье, помню похвалу профессора: «В вас черт сидит, Бирюков!» Но я помню и катастрофу после этой похвалы. Не следует излишне радоваться, но и опускать руки не стоит: «Не боги горшки обжигают». Сделал маленькое дело, завтра попробуем сделать что-то более значительное.

Без особых событий прошел год.

Сереза Скворцов, Соня Юрченко, Федя Кочкин, Папа Аникин перешли из шестого класса в седьмой. Удалось перетащить сквозь весенние экзамены и осенние переэкзаменовки даже Леню Бабина. Я их классный руководитель. Наступила шестая зима моей работы в Загарьевской десятилетке.

Проводил уроки, среди учителей в учительской поддерживал разговоры об успеваемости, о погоде, о новой кинокартине, гулял, обедал, обсуждал с женой хозяйственные заботы, а в то же время где-то между этими будничными делами не переставал обдумывать свое сокровенное.

Если б посторонний человек смог проникнуть в это сокровенное, он, наверное, с недоумением бы пожал плечами: экая скука, обсасывает материал о каких-то там второстепенных членах предложения! Профессиональное помешательство, не иначе.

Смутные мысли, догадки, соображения, копившиеся в течение дня, я собирал для вечера. А вечером садился за стол, зажигал лампу, и тут начиналась работа, которую я не могу назвать другим словом, как лабораторная. Вытаскивались справочники, книги, учебники, детские сочинения, старые записи, начиналось сопоставление, сравнение — начинались поиски. Смутные догадки приобретали какую-то зримость, соображения превращались в строго рассчитанные планы будущих уроков. Настольная лампа под абажуром из вылинявшего голубого шелка освещала заваленный книгами и бумагами стол, в щербатом блюде, служившем мне пепельницей, росла куча окурков, за черным запотевшим окном, небрежно задернутым занавеской, слышался смех девчат, возвращающихся с танцульки из Дома культуры, приглушенный лай собак, громыханье грузовика, поторапливаемого спешащим к ночлегу шофером. А я наедине с собой сочиняю самую увлекательную повесть — повесть о том, как мне прожить свое завтра.

Момент, когда я переступил порог пединститута (случайно переступил!), не сделал меня педагогом. Не стал им я после пяти лет учебы в институте. Больше четырех лет я преподавал детям, называл себя учителем, писал в анкетах *педагог*, думал, что я люблю свою профессию, но нет,

я не был еще настоящим педагогом. Я теперь начинаю постепенно становиться им.

У меня появился свой стиль, своя манера в работе. Я и класс — две стороны в разговоре. Темой такого разговора могут быть и причастия, и характеристика Троекурова из повести Пушкина «Дубровский», все что угодно. Я запевала, я собеседник, я направляю разговор... Вопрос за вопросом, от простых к более сложным. Подталкиваю на догадки, заставляю соображать, расширяю эти догадки, углубляю размышления, и незаметно класс приобретает новые знания.

Прежде я не чувствовал себя одиноким: знакомых — полсела, почти со всеми учителями в приятельских отношениях, с Тоней жил в добром согласии, как и полагается хорошему семьянину. Но в последнее время я все сильнее и сильнее стал ощущать: не хватает друга. С кем поделиться? Иван Поликарпович может лишь снисходительно выслушать, похвалить, посетовать, что время его прошло. Мне у него учиться нечему, а ему у меня позновато, да и, пожалуй, ззорно. Не получалось разговора и с Олегом Владимировичем. Он слишком был уверен в том, что работает как надо. Единственно, кто мог бы стать моим товарищем, был Василий Тихонович. Но он держал себя заносчиво, а я не привык набиваться на дружбу.

Казалось, кому еще интересоваться моей работой, как не Тоне? Она — самый близкий мне человек, она тоже преподает в школе. Но, может быть, сказывалось влияние Акиндина Акиндиновича или же натура выросшей в крестьянской семье девчонки давала себя знать, так или иначе Тоня была слишком увлечена бесконечными заботами об устройстве нашего маленького хозяйства. Должен быть запас дров во дворе, погреб набит картошкой, в сарае ухоженный поросенок, в комнатах чистота — тут Тоня и энергична и осмотрительна, по-своему умна и даже талантлива. Возле Тони удобно жить, но как требовать интереса к моим делам, когда она и свои-то школьные обязанности выполняет в промежутках между хлопотами по дому. Присядет над книгами, перебросает из одной стопки в другую тетрадки и снова сорвется на кухню или во двор.

Я учитель, мое призвание учить, передавать то, что знаю, а тут я не могу высказать, чем живу, что волнует... Ни высказать, ни посоветоваться, ни поспорить.

До сих пор завуч Тамара Константиновна была довольна мною. Но вот я стал преподносить ей вместо обычных планов те записи, над которыми трудился по вечерам, — каждый раз несколько страниц, убористо исписанных вдоль и поперек, со сносками, со вставками, с ссылками на те книги, какие не читала и не собиралась читать Тамара Константиновна. Она листала мои тетради, морщила свой белый, по-девичьи гладкий лоб, спрашивала:

— Это что же такое?

— То, что вы требуете, — план урока.

— Одного?

— Одного урока.

Тамара Константиновна снова вглядывалась в мои тетради, снова морщила лоб.

— Гм... Дурную манеру Горбылева переняли. Нельзя ли как-нибудь попроще составлять планы?

— Проще не получается.

— Мудрите, Андрей Васильевич. В прошлом году вы всегда отличались аккуратностью, я вас постоянно ставила в пример. Мудрите...

Она перестала ставить меня в пример.

Я уже не обращал внимания на внушительное слово *показатели*, но меня вызвал для конфиденциального разговора Степан Артемович.

Он сидел за своим директорским столом, маленький, прямой, в меховой душегрейке (чтоб не продувало от окна спину), на лице знакомая непроницаемость, костлявый кулачок лежит на моих тетрадях, которые передала ему Тамара Константиновна.

— Андрей Васильевич, — начал он, как всегда, тихим голосом, заставляющим уважительно вслушиваться в каждое слово, — я ознакомился с тем, как вы готовитесь к урокам. Похвально... Да, похвально, что вы стараетесь оживить свое преподавание. Но... Вы хмуритесь, вы не ожидали этого *но?*.. Так вот, *но*, уважаемый Андрей Васильевич, чрезмерное оригинальничанье в преподавании может дать нежелательные результаты. Я старый педагог и, поверьте, знаю, что часто в угоду живости и образности при обучении приходится поступаться обычными трудностями. А учеба, как бы вы ни старались ее разукрасить, была, есть и останется не чем иным, как трудом, причем не лег-

ким трудом. Те, кто говорят, что знания — сладкий плод, благородно лгут. Знания — горький корень. Подслащайте этот корень сколько вам угодно, старайтесь вести уроки по возможности живо, но не в ущерб знаниям, не пугайтесь, что детям будет трудно.

— Стараюсь преподносить те же знания, но иными путями, более доходчивыми. Это ничего не имеет общего с подслащением горького корня, — возразил я.

Степан Артемович выдвинул ящик стола, выпул оттуда бумагу, по-стариковски отвел ее от глаз на вытянутую руку:

— Судя по отметкам, успеваемость по вашим предметам несколько снизилась. Это не тревожит вас?

— Я теперь подхожу к ученикам с более высокими требованиями.

— Вы знаете, что я всегда был сторонником требовательности. Ваша прежняя требовательность меня удовлетворяла. А сейчас... сейчас я, глядя на отметки, выставленные вашей рукой, начинаю терять ориентировку: верить ли вам на слово, что вы не подведете школу, или же сомневаться?

— Я могу уверить вас только в одном, что теперь даю знания глубже, шире, разностороннее, чем давал до сих пор. Посетите мои уроки, может, они убедят вас.

И Степан Артемович поднялся со стула:

— На уроках у вас непременно побываю. Впрочем, по этим записям, — он похлопал ладонью по моим тетрадям, — я уже представляю ваши уроки. До поры до времени я постараюсь во всем добросовестно верить вам. До поры до времени... Точнее — до экзаменов. Они покажут... — Он протянул мне свою сухую руку.

Меня встревожил этот разговор: экзамены покажут... Правда, до экзаменов еще очень далеко, началась только вторая четверть, впереди вся зима, весна. Сколько воды еще утечет до середины мая! Но я знаю Степана Артемовича, он никогда и ничего не забывает. Так ли уж уверен я в своих учениках? Уверен! Но мало ли что может случиться! Бросил вызов Степану Артемовичу, — значит, учитывай теперь все до последней мелочи.

Я по-прежнему засиживался по вечерам за полночь, только стал более придирчив к мелочам, больше задавал на дом, оставлял после уроков. Впрочем, этим в стенах нашей школы никого не удивишь,

Акинди́н Акинди́нович Поярко́в, мой сосед по дому, — добрейший от природы человек. Но что делать, если его уроки географии скучны, а Степан Артемович и Тамара Константиновна требуют высокой успеваемости, постоянно напоминают о том, что наша школа одна из лучших в области, что нужно дорожить ее честью? И добрейший Акинди́н Акинди́нович становится безжалостным: он старается задавать побольше на дом, строже спрашивать, того, кто не сумел выучить, оставляет после уроков. Уж этого нерадивого, не жалея ни труда, ни времени, Акинди́н Акинди́нович прощупывает со всех сторон, заставит выполнить задание, задаст дополнительно. Не хотел быть добросовестным, получай — шесть часов в школе, два часа после того, как остальные отправятся по домам, да не забудь выполнить и то, что задано на следующий день, если не хочешь снова и снова оставаться под особым наблюдением.

Почему я должен отставать от Акиндина Акиндиновича, выслушивать за это нарекания директора?

В седьмом классе «А», где я был классным руководителем, училась Аня Ващенко́ва. Как все болезненные и не по возрасту высокие девочки, она была застенчива. Чувствовалось, что постоянно помнит о своей долговязости, об остроте локтей, о худобе ног — ходит сутулясь, на переменках держится подальше от шумной возни.

В прошлом году Аня тяжело переболела ревмокардитом, пропустила несколько месяцев, была переведена без экзаменов, весь сентябрь, начало учебы, провела с матерью на курорте.

Этого уже достаточно, чтоб оказаться под железным законом Загарьевской десятилетки: послеурочные занятия, домашние задания и еще раз домашние задания. Кроме того, она дочь секретаря райкома партии. Степан Артемович щепетилен в вопросах чести: ее отец обязан почувствовать, что район, которым он руководит, по праву гордится своей десятилеткой. Разумеется, никаких поблажек. Только трудом Аня Ващенко́ва обязана занять место среди успевающих учеников.

На Аню набросились учителя. Она уже начала получать четверки и пятерки. Все шло хорошо, и вдруг...

Это случилось на моих дополнительных занятиях. Аня, сидевшая на первой парте, записывавшая под мою диктовку упражнения, уронила ручку, выпрямилась и схва-

тилась за грудь. Лицо ее посерело, глаза выкатились, открытый рот с усилием хватал воздух. Прозвенел топечный жалобный стон, прозвенел и оборвался...

Я бросился к ней:

— Что с тобой?

Она мяла кофточку на груди, глядела страдающими глазами...

Срочно вызвали по телефону врача. Через час Аню унесли из школы домой на носилках.

14

На другой день к Степану Артемовичу пришла мать Ани. Я совершенно случайно появился у директора, когда разговор был уже в разгаре. Степан Артемович за своим большим темным старинным столом был, как всегда, непроницаемо спокоен, только вздернутая вверх правая бровь выдавала сдерживаемое раздражение.

Мать Ани, в белом пуховом платке, оттенявшем свежее, очень миловидное лицо, стояла перед директором выпрямившись, говорила чистым, звонким, с нотками негодования голосом:

— Я на протяжении полугода следила за тем, как вы учите детей. Нравится вам или нет, а выслушайте мое мнение. Не говоря уже о том, что вы требуете от учеников каторжной трудоспособности, у вас учеба заслоняет для детей всю жизнь, всю без остатка!..

— Надеюсь, вы не возражаете, что главное в жизни детей школьного возраста — это учеба, почти так же, как главное в жизни новорожденного — сосать грудь матери, прибавлять в весе и чувствовать себя здоровым.

— Но ведь вы же сами своей учебой уничтожаете любовь к учению. Учеба с надрывом сил, учеба, притупляющая все интересы! Если пользоваться вашими же сравнениями, то вы напоминаете ту мать, которая в своей чрезмерной любвеобильности перекармливает младенца, портит его пищеварение, вместо здоровья награждает опасными недугами.

Бровь Степана Артемовича упала, глаза сумрачно уставились на молодую женщину.

— Сколько вам лет, простите за нескромный вопрос? — спросил он.

— Лет? При чем тут мой возраст? Но раз это вас интересует, могу удовлетворить любопытство: тридцать четыре.

— А мне пятьдесят девять, уважаемая... э-э... Валентина Павловна. Из этих пятидесяти девяти я тридцать пять работаю в школе. Я начал заниматься воспитанием детей, когда вы еще не появились на свет. Через ваши руки прошел всего-навсего один ребенок, через мои — затрудняюсь подсчитать — что-то порядка нескольких тысяч. Так вот, уважаемая... э-э... Валентина Павловна, разрешите мне в моем деле доверяться своему, да, своему, а не вашему опыту.

Степан Артемович поднялся, маленький, с коротко подстриженной седой головой, с утомленным, непроницаемым лицом.

Щеки женщины вспыхнули, она торопливо принялась натягивать перчатки, с еще большей дерзостью ответила:

— Мне кажется, тридцать пять лет назад вы, к сожалению, сделали первый шаг не по той дороге. Разумеется, вам после такого долгого пути трудно сворачивать куда-то в сторону, искать новый путь.

— Не тот путь? — Степан Артемович выпрямился, его лицо залила желтизна, жесткие морщины проступили стчетливее, сдерживаемый давно гнев прорвался наружу.— Мой путь неправильный?.. Потрудитесь оглянуться, товарищ Ващенко! Потрудитесь взглянуть на эти стены...

Кабинет Степана Артемовича был своего рода школьным музеем, хранилищем реликвий Загарьевской десятилетки. На стенах висели фотографии, письма в застекленных рамках, обширная карта Советского Союза.

— Взгляните сюда! Видите эту фотографию? Не кажется ли вам, что у этого молодого человека честное, открытое, волевое лицо? Это Петя Добрынин, мой ученик, Герой Советского Союза. Убит под Курском... А этот подполковник, ныне здравствующий... Взгляните на его ордена. Я думаю, что они приросли к его груди не так просто, как прирастает иней к вашей шубке. Это тоже мой ученик — Вася Сиволапов. Нет, нет, вы смотрите, смотрите внимательней! Вот еще скромный портрет — Толя Зубцов, химик-экспериментатор, профессор, лауреат, он тоже учился в нашей школе, под моим наблюдением. Не затруднит ли вас на-

днуться и прочитать это письмо? Его написал некий Костя Шорохов, ныне инженер-горняк. Прочитайте все благодарности, которые он здесь написал, прочитайте о том, как он отзывается о вашем непочтительном собеседнике. Он, по всей вероятности, другого мнения о моем пути. А карта?.. Вы видите на ней красные точки? Вы видите, что они разбросаны по всей стране от Черного моря до Чукотки. Киев — это Сережа Горшенин, Чита — Женя Курдюкова. Это еще не все ученики, а только те, с которыми удалось связаться. А сколько потерявшихся из нашего поля зрения?.. Полюбуйтесь на моих учеников, разбросанных по разным концам земли, — врачей, педагогов, строителей, изыскателей! Учтите: они работают, не бездельничают, приносят народу пользу. Видите, сколько их! Вот мой путь! Если вы его называете не тем, каким должен быть путь честного человека, то уж, простите, я другого пути себе представить не могу.

Я наблюдал за Ващенкоковой со стороны. Она сосредоточенно из-под платка разглядывала фотографии, пожелтевшие от времени письма, карту, потом перевела взгляд на Степана Артемовича и произнесла с прежней дерзостью:

— А не могло ли случиться так, что все эти ученики вышли в люди вопреки вашему желанию?

— То есть?..

— То есть из тех тысяч детей, что кончили школу, наверняка несколько десятков окажутся с особым складом характера, которых не задавишь никаким насилием. Кого-то наверняка поправила сама жизнь. А если полюбостраивать: сколько из вашей школы вышло тех, кто проклинает свою скучную работу, несет на горбу унылую судьбу, заполненную лишь мелкой заботой о существовании? Даже из тех, кто отмечен на карте. Все это, — Ващенкокова обвела перчаткой стену, — вызывает уважение, но легче всего выкопать единичные примеры, вывесить их на всеобщее обозрение и умиляться от всей души.

Ее дерзость обидела и меня. Не имеет права так говорить! Я, может быть, сам не во всем согласен со Степаном Артемовичем. Но я не осмеливаюсь упрекать этого человека, всю жизнь отдавшего школе. А я днями и ночами думаю о том, как лучше учить ребят, меня-то беспокоит их судьба. Судить со стороны, бросать упреки! Эти упреки не пережиты, не выстраданы; перешагнув за порог кабинета, она забудет их с легким сердцем.

Я ждал, что Степан Артемович обрушит на нее всю силу своего негодования, со свойственной ему жестокостью осадит эту фатоватую бездельницу. Но Степан Артемович поступил умнее. Он просто не стал спорить, сказал с уничтожающей вежливостью:

— Я очень сожалею, товарищ Ващенкова, о том печальном событии, которое произошло в стенах нашей школы с вашей дочерью. Примите, если сможете, мое глубокое сочувствие, и давайте кончим наш разговор. До свидания.

Со стариковской церемонностью Степан Артемович склонил голову. Ващенкова несколько опешила, потом ответила ему таким же холодным кивком, с надменным видом вышла из кабинета.

Степан Артемович сел за стол лицом к стенам, увешанным реликвиями, так наглядно доказывавшими заслуги школы, которой он руководит много лет.

— Андрей Васильевич, — обратился он ко мне, — вам, как классному руководителю, ни в коей мере нельзя забывать Аню Ващенкова. Ходите на дом, справляйтесь о здоровье, советуйтесь с врачами. Как только врачи найдут, что ей можно понемногу заниматься в постели, организуйте занятия на дому. Будет нужно — привлечите учителей. Хотите или нет, а вам придется наладить контакт с этой критически настроенной дамочкой.

Разговор нашего директора с женой секретаря райкома стал скоро известен всем учителям. Грешным делом, я, как свидетель, не без удовольствия освещал его подробности. Все были на стороне Степана Артемовича, сожалеюще посмеивались над Ващенковой: тоже схватился «черт» с «младенцем»! Кто-кто, а наш Степан Артемович не таких осаживал, в областном отделе побаиваются ему сказать поперек слово.

Один только Горбылев, щуря цыганские глаза, говорил:

— Девчонку-то замордовали. Мы признаем только два пути к науке: или через чахотку, или через мозоли на заднем месте. Других нет.

Наверняка эти слова дошли до Степана Артемовича (все, что ни говорилось в учительской, в самый короткий срок просачивалось в кабинет директора). Но Степан Артемович даже не удостоил Горбылева словесным замечанием.

Я бы и сам по долгу учителя навестил свою больную ученицу, но был еще дан и наказ от Степана Артемовича — не оставлять без внимания. И я, сменив свой потертый пиджак, в каком обычно появлялся в школе, на более нарядный, придав своему лицу выражение официального соболезнования, направился к дому Ващенконых. «Дамочка», паверное, не весь свой запал истратила на Степана Артемовича. Надо полагать, что она возобновит нападение, придется держаться с ней вежливо, корректно, не роняя достоинства и в то же время осмотрительно.

Не одно поколение загарьевских секретарей райкома прожило в небольшом домике, отделенном от пыльной центральной улицы толщей сосен районного парка. Ващенко, появившийся в Загарье года три тому назад, отказался от этого обжитого семьями предыдущих секретарей уютного уголка (там разместили детские ясли) и поселился в большом двухэтажном доме, где квартировали служащие, начиная от кассира сберкассы старика Мурогина, кончая заведующей роно Коковиной, нашей всеобщей школьной начальницей. Дом этот выходил своими казенными широкими окнами прямо на булыжную улицу, большой двор сбоку у дома был забаррикадирован разнокалиберными поленицами, среди которых с утра до вечера кричали дети.

Широкая и, как следовало ожидать для такого многолюдного дома, не слишком чистая лестница привела меня к двери, обитой новым дерматином.

— Да-да, войдите.

В тесной прихожей, где одна стена отягощена висящими шубами и пальто, на узком деревянном диванчике лежит ворох чистого белья, еще ломкого, угловатого, распространяющего вкусный морозный запах. Хозяйка тоже только что с улицы, круглое лицо разрумянено, на волосы наброшен платок, на ногах валенки, невысокая, в меру плотная, с легким намеком на полноту, да при этом еще запах выстиранного белья, — так и просится на язык простодушное слово *молодуха*, вот-вот кажется, засовестится, по-деревенски прикроет рот концом платка, опустит веки. Совсем не похожа на ту франтоватую, что дерзко стояла перед Степаном Артемовичем в его кабинете.

Но только секунду держалось это обманчивое впечатление. Легким движением она сбросила платок на плечи, свободный, уверенный поворот головы, спокойный взгляд серых в синеву глаз — нет места простодушию, передо мной человек, сознающий свое достоинство.

— Здравствуйте, Андрей Васильевич.— И голос ее, чистый, с надменным холодком воспитанной женщины, указывает мне, нежданному гостю, в каких рамках следует держать себя, как разговаривать.

Мы до сих пор были знакомы как мать одной из самых нешумливых учениц в классе и классный руководитель. Встречались большей частью на родительских собраниях, домой к ней я пришел впервые.

— Прошу извинить. Хочу узнать, как здоровье Ани.

— По-прежнему.

Мы помолчали, и я почувствовал тягостную неловкость. Пришел навестить больную ученицу, а так ли уж рада она будет со мной встретиться? Никогда Аня не испытывала ко мне привязанности, я же видел в ней только отстающую, которую любым путем нужно подогнать под уровень всего класса. Аня устала от меня, а я сейчас должен изображать озабоченность и беспокойство, играть роль заботливого учителя.

— Если разрешите, я хотел бы поговорить с Аней.

— Что ж... Пожалуйста.

Сняв пальто, потирая застывшие руки, я шагнул следом за ней в комнату. У нее была решительная, несколько нервная походка, грудью вперед.

Над круглым обеденным столом висел большой желтый абажур, по стенам книжные полки, второй стол — письменный — приткнут к окну. На стене рядом с книгами — картина в простой черной раме. И я задержался перед нею. Ничего особенного: поросшая тощим ельничком низинка в бугристых кочках, сырой массив хвойного леса на заднем плане, приглушенный влажной толщей воздуха, и безотрадное, серое, низкое небо. Я задержался, потому что эта картина чем-то напоминала мой козий выпас. Только, не в пример мне, талантливая рука перенесла на холст и это небо, и расквашенные кочки, и тесные семейки жалких елочек. Ни смелых щегольских мазков, ни подчеркнутой небрежности, которая всегда нравится в работах художников, лишь старательно передана знакомая мне прадедовская грусть.

Я задержался только на секунду, под испытующим взглядом обернувшейся хозяйки прошел в следующую комнату.

От недавно побеленных стен маленькая комнатка казалась ослепительно светлой. Первое, что мне бросилось в глаза, не сама больная — рядом с куклой в кудельных кудряшках стоял на столике у кровати микроскоп. Не игрушка, самый настоящий микроскоп на тяжелой подставке с двумя, как тупые рожки, торчащими объективами — дорогая и редкая по нашим местам вещь, лучше тех, что хранятся в шкафах нашей школы.

На меня смотрели глаза девочки, некогда было оглядываться по сторонам.

Аня, похудевшая, более взрослая, чем та, которую я каждый день видел в своем классе, застенчиво зарылась подбородком в одеяло.

— Здравствуй, — сказал я, опускаясь на стул. — Как себя чувствуешь?

— Хорошо.

— Не скучаешь по школе?

— Нет.

— Вот как...

С обострившегося лица внимательно уставились на меня серые, как у матери, глаза. В их взгляде было что-то покойное, тихое, углубленное, довольное. Когда я говорил о школе (а о чем я с ней еще мог говорить?), ее прямой взгляд становился каким-то пустым. Нет, она не скучает по школе. Да, ей хорошо одной. Она теперь выполняла не особенно приятную для нее обязанность — принимала своего учителя. Я потревожил ее покой, но ведь я скоро уйду, оставлю ее снова одну среди белых стен, широкого окна, куклы на столике и солидного микроскопа. Она отдыхает от школы.

Я поднялся со стула смущенный.

Снова прошел мимо картины, бросив напоследок косою взгляд. Мать Ани провожала меня.

Пока натягивал на себя пальто, она молча стояла передо мной, придерживая рукой у подбородка кофту. У нее было полнощекое лицо со свежей, прозрачной кожей, с маленьким подбородком, украшенным милой ямочкой, от светлых волос, чуть намеченных бровей до розовых губ — все в ясных, мягких, блеклых тонах, присущих только блондинкам. И с такого лица, чем-то напоминаю-

щего лица фарфоровых кукол, глядели большие серые глаза, напряженные, вопрошающие, смущающие своей прямоотой и серьезностью. Испытав на себе такой взгляд, сразу же начинаешь замечать и духовную подвижность в чертах, и твердый рисунок рта, и своенравие в подбородке с кокетливой ямкой.

От равнодушия или от умственной лени мы часто торопимся с оценкой встретившегося на пути человека, с маху накладываем на него готовую печать: простоват, добродушен, глуп, легкомыслен, рубаха-парень... Одна черта, одно слово, и мы спокойны: оценка дана, человек ясен, на этом и надо строить свое отношение к нему.

Полчаса назад эта женщина не представляла для меня загадки: жена при руководящем муже, бездельница, нечто противоположное мне самому, зарабатывающему хлеб насущный честным трудом. Ждал бесцеремонных упреков, а их нет. А картина на стене?.. Случайно ли она висит? Быть может, эти кочки и ели под серым небом так же волнуют ее, как и меня? А микроскоп возле кровати дочери? Как его объяснить?.. Нет, не понятно, не могу судить.

Я уже застегнул пальто, собирался раскланяться, как Валентина Павловна спросила:

— Скажите, через сколько минут вы забудете такое посещение больной ученицы?

Я, кажется, довольно тупо глядел на нее с высоты своего роста.

— Почему вы так спрашиваете?

— Потому, что в вашем поступке проглядывает физиономия вашей школы. Простите за вульгарное слово, замордовать ученика, а потом посочувствовать.

«Ага! Начала-таки...»

— Валентина Павловна,— заговорил я, напуская на себя ледяную, академическую вежливость Степана Артемовича,— за пять лет моей работы такой случай единственный. Не слышал, чтоб и до меня случалось что-нибудь подобное. Я видел во дворе вашего дома здоровых, весело смеющихся ребяташек. Они тоже ученики нашей школы, но не выглядят замордованными.

— Неужели думаете, что влияние вашей школы так сильно, что может совсем заглушить здоровую человеческую природу? Как бы вы ни усердствовали, все равно будет смех, веселье, детская жизнь.

— Так в чем же дело? За что вы на нас нападаете? За это несчастье? Мы теперь ничем не можем помочь, кроме как высказать ненужные вам соболезнования.

— За что?.. Не кажется ли вам, что такой вопрос слишком сложный, чтоб решать его походя, стоя на пороге в застегнутом на все пуговицы пальто?

— Я готов вас выслушать.

— Тогда еще раз снимите пальто и войдите в комнату.

Она положила на стол свои руки, полные у запястья, с тонкими и узкими кистями, где проступала каждая косточка. И почему-то я невольно сравнил эти по-женски слабые кисти рук со своими — тяжелыми, толстопалыми, с крепкими раковинами ногтей. Теперь, когда мы уселись и оказались близко друг от друга, я почувствовал себя несоразмерно огромным, каким-то шероховатым рядом с нею.

— Я обратила внимание, что вы во время разговора с Аней удивленно поглядывали на микроскоп...

— Я подумал, что вы когда-то были микробиологом по специальности или кем-то в этом роде.

— У меня нет специальности, — сухо сообщила она, — и это тоже можно бы отнести к теме нашего разговора... Просто Аня любит биологию. Ко дню рождения, когда она стала выздоравливать, я купила ей этот микроскоп, с ним было связано столько радужных планов, но тут ваша школа... Словом, микроскоп вытащили из футляра после того, как она слегла в постель. Пусть хоть со стороны полюбуется на него. Вы украли у своих учеников свободное время. Им некогда прочитать книгу о приключениях, нет времени копаться в радиоприемниках, смотреть амеб в микроскоп, возиться с цветами, фотографировать, то есть делать то, к чему тянется душа.

— Вы преувеличиваете. Кто захочет, тот все-таки найдет время и для книги и для фотоаппаратов...

— Не с помощью школы, вопреки ей.

— Беда в другом, Валентина Павловна. Большею частью ученики предпочитают всяким благородным занятиям убогие уличные развлечения: гонять собак или стрелять из рогатки по воробьям.

— Тоже не случайно. Не стихийный ли протест с их стороны? Ваша школа, как строгий пастух стаду, не дает ученикам ни на шаг отлучиться с тропы, predetermined учебной программой. Иди только по ней, ни на пядь в сторону. А дети жизнелюбивы, им больше, чем нам с вами, хочется разнообразия. И в тот момент, когда школьное око ослабляет надзор, бросаются на первое попавшееся развлечение, хотя бы гонять собак. Глядишь, это становится привычкой, превращается в убогое увлечение. А увлечение — великая сила. Тот не человек, кто живет без увлечения!

— Уж так-таки не человек?..

— Вы, наверное, любите повторять красивые слова о творчестве масс. Но разве можно говорить о творчестве, забывая, что его не может быть без увлечения? Равнодушные, холодные люди не творят. Вы не согласны?

— Согласен, с оговорками. Порой бывает, что увлечения уводят человека в другую сторону. Я сам в детстве увлекался рисованием. Но, как видите, из меня получился не художник, а преподаватель русского языка и литературы.

— А вы думаете, я настолько наивна, что рассчитываю: ребенок, занимающийся постройкой авиамоделей, непременно должен быть новым Туполевым? Пусть увлекается, пусть заблуждается. Легче переносить заблуждения в ранней юности, чем в зрелые годы.

Валентина Павловна сидела передо мной, выбросив на стол свои полные с маленькими кистями руки, закутавшая плечи в шерстяной платок; прядь прямых светлых волос падала на твердую щеку, глаза остановились на одной точке. Она приподняла руку, должно быть, хотела поправить волосы, приподняла и снова безвольно уронила, продолжая глядеть в стол и думать о чем-то своем, какая-то обмякшая, с сутуло выдвинутыми вперед плечами. И от этого движения руки, начавшегося и сразу же забытого, оборвавшегося на половине, я вдруг почувствовал, что она мне многого недоговаривает. Дело не только в ее дочери. Не только в ее личных наблюдениях за нашей школой. У нее со школой какие-то свои собственные, причем давние, счеты. Что за счеты? Расспрашивать неудобно. Зачем лезть насильно в чужую душу? Нужно — скажет сама.

— Вы часто вспоминаете свою школу, в которой учились? — спросила она после минутного молчания.

— Часто ли? Не знаю. Но вспоминаю.

— С благодарностью?

— Да, как вспоминаю детство. А на свое детство я не могу пожаловаться.

— А я вот теперь жалуясь на детство, — у нее странно потемнели глаза. — Жалуясь... И не подумайте, что оно у меня было мрачным, что были плохие родители. Мой отец и мать жили между собой в добром согласии, любили меня без памяти, как любят единственную дочь. Уж чем-чем, а родительской лаской я не была обделена. По всем статьям у меня было, что называется, золотое детство. А я на него жалуясь...

— Почему же?

— Да потому, что по какой-то причине все уверовали: я непременно должна быть круглой отличницей, каждый год приносить домой похвальные грамоты.

— Разве это плохо?

— О нет, считалось доблестью. Мои родители таяли от восторга, учителя называли «жемчужиной школы», а я, видя кругом такое почитание, все отдавала учебе — все силы, все время. Разве можно не оправдать надежд, разве можно опозорить себя невысокой отметкой? Ох, эта обязанность быть круглой отличницей! Одинаково хорошо ты должна знать и алгебраические уравнения, и характеристику однодомных растений, и причины возникновения буржуазной революции во Франции. Отличники в большинстве случаев — это дети без увлечений, без заскоков, сплошная добросовестность, гладкие, без шероховатостей и задоринки души. Должно быть, моя душа напоминала математически точную окружность, все точки которой одинаково равноудалены от центра. Такой я перешагнула за порог школы. Что мне желать? К чему влечет? Какому делу отдать себя? Подвернулся стоматологический институт. Но когда первый же пациент открыл рот перед нами, группой студентов, когда я поняла, что мне всю жизнь придется ковыряться в гнилых зубах... А мне ведь казалось, что я исключение из всех, я особая, я выдающаяся. Об этом твердили мне учителя, это как должное принимали мои подруги, мною гордились родители. Нет, я ждала исключительную судьбу. Что за радость всю жизнь видеть перед собой распахнутые чужие пасти! Я с легкостью бросила институт, пошла работать на завод нормировщицей. Шла война, я рвалась на

фронт — не отпускали. Ждала, судьба сама придет ко мне. Как-то написала несколько корреспонденций в областную газету. А так как во время войны все сотрудники газеты были взяты на фронт, меня перетащили в редакцию, посадили в один из отделов. А я не обладала ни ловкостью репортера, ни особыми способностями очеркиста... Где-то есть то дело, к которому я способна! Есть! Не может не быть!.. Но где оно? Я не знаю. Никто не знает. Причесывать статьи, сокращать под размер колонок очерки, ворошить с холодным сердцем писанину, которой суждено прожить всего один день, — нет, не хочу! И слава богу, что одна история помогла мне оставить работу. Эта же история свела меня с Петром Ващенковым. И вот я не врач-стоматолог, не слесарь, не журналист, а просто жена секретаря райкома товарища Ващенкова, которому, как видите, вчера стирала белье, а сейчас жду: придет с заседания, должна подогреть ужин... Может быть, виновата я сама, виновата моя плохая натура, виноваты родители, но наверняка виновата и школа!.. Андрей Васильевич, вы педагог, вы в жизни ребенка — первый представитель общества. Никогда не рассчитывайте, что кто-то лучше вас позаботится о воспитании. На вас страшная ответственность!

Щеки ее побледнели, а глаза были темные. Я не перебивал ее, не возражал, я не без душевного содрогания разглядывал ее.

Трижды в моей жизни я испытывал тревогу: как жить дальше? Первый раз я почувствовал ее после армии, в своем родном городке Густой Бор, когда пришла пора обдумывать, кем быть, где учиться. Второй раз — моя катастрофа на художественном факультете. Третий — памятное воскресенье, когда показалось, что снова кисти мои засохли. Я знаю, как это страшно — оказаться без будущего, искать и не находить ответа, для чего живешь, кому нужны твои силы. Только три раза, три сравнительно коротких мгновения в моей жизни! А Валентина Павловна живет в этой тревоге всю жизнь! Всю!.. Без будущего, без ответа, кто она такая, для чего появилась на земле. Сейчас она мне приоткрыла только маленький кусочек своей биографии, а ведь после этого были годы и годы: варила обеды, стирала белье, прибирала комнату, ждала мужа с работы. Если б она смирилась, приняла бы это как должное...

Живут же люди, не заглядывая далеко, живут и бывают довольны жизнью. Но она-то не смирилась. Утеряны уже все надежды, а желания живут. По-своему страшная жизнь. Не хотел бы я оказаться на месте этой женщины...

Мне не суждено было закончить день в покойном одиночестве.

Я поднимался на свое крыльцо. Из глубины темного двора меня окликнул женский голос:

— Андрей Васильевич!

Это была Альбертина Михайловна, жена Акиндина Акиндиновича.

— Ваша Тонечка у нас. И вас ждем. Толя приехал.

По неписаным законам добрососедства отказаться было нельзя. Я направился за Альбертиной Михайловной.

В большой комнате с дедовским буфетом, заставленным фарфоровыми пастухами и пастушками, сидела за столом вся многочисленная семья во главе со своим лысым патриархом. Акиндин Акиндинович улыбался застенчивой улыбкой непьющего человека, который вопреки привычке совершил-таки грех и в душе доволен им, как подвигом.

Меня встретили с подобающим для такого случая преувеличенным восторгом, усадили рядом с женой, пододвинули стакан со смородиновой настойкой.

Виновником торжества был старший сын Акиндина Акиндиновича Анатолий, приехавший изредка к родителям из удаленного села Лисовицы. Он чокнулся со мной и продолжал прерванный разговор:

— Так вот, я и говорю, что самое важное для нашей педагогической работы — это характер. Без характера нельзя быть учителем. Дети это чувствуют лучше взрослых...

Анатолий Акиндинович, как и отец, тоже учительствовал. Он работал директором семилетки. И то, что его школа находилась в удаленном сельсовете, давало ему право постоянно повторять: «Ближе нас из интеллигенции никого нет к народу».

Акиндин Акиндинович, как и всех своих чад, награждал Анатолия своим тяжелым поярковским носом, но не

сумел передать сыну глаза — веселые, наивные, лучащиеся добротой. У Анатолия взгляд был твердый, холодный, преисполненный собственного достоинства. Свой поярковский нос он поднимал с величавостью, говорил уверенно, с теми раз навсегда заученными учительскими интонациями, которые не допускают никаких пререканий.

При наших нечастых встречах я неоднократно замечал, что Анатолий Акиндинович больше любит говорить и почти не умеет слушать. Можно было догадываться, что и сейчас до моего прихода он говорил только один.

— Основное мерило характера — требовательность и еще раз требовательность. Только в этом проявляется сила учителя, только это по-настоящему дисциплинирует учеников. Боже упаси ослабить требовательность и допустить детей до порочной свободы, которая чаще всего выражается в том, что, вместо того чтобы сидеть за домашними заданиями, школьники гоняют по улицам собак!..

Если б он не произнес последних слов — «гонять собак», тех самых, какие я недавно произносил перед Валентиной Павловной, я, возможно бы, смолчал, не стал лезть в спор. Но этими словами он словно приравнял мои возражения к своим нотациям. И я не выдержал.

— Анатолий Акиндинович, — прервал я его нравоучительные излияния, — послушать вас, так невольно создается впечатление, что характер учителя не что иное, как палка для учеников.

Анатолий Акиндинович со спокойным удивлением взглянул на меня.

— Вольному воля, при прыткой фантазии можно и деревенскую коровенку принять за уссурийского тигра.

Акиндин Акиндинович радостно заулыбался, Альбертина Михайловна скромно потупилась. Они оба верили в высокое будущее старшего сына не только как любящие родители, но и как люди, которые, однажды завоевав положение в жизни, уже не сдвинулись с него ни на пядь. Шутка ли, отец и мать около двух десятков лет работают в школе и до сих пор рядовые учителя, а их сын, едва только начав свой педагогический путь, уже стал директором. Можно верить в него, можно им восхищаться. И сейчас они были в восторге, как им казалось, от чрезвычайно остроумного ответа сына.

Тоня повернулась ко мне и выразила на своем лице постную, укоризненную гримасу, означавшую: «Андрей, забываешь, что ты в гостях».

Все это вызвало во мне раздражение.

— Если принять корову за тигра, то она от этого не превратится в хищника и не наделает вреда. А вот принимать палку за оружие воспитания, насилие за педагогический прием — опасно.

Анатолий Акиндинович еще выше поднял свой нос.

— Насилие? При чем тут это слово? Но пусть даже так. Дело не в словах. Если то, что вы называете насилием, благородно; если оно ничего, кроме пользы, не прикосит, громадной пользы, почему бы отказаться от него?

— Насилие никогда не приносило пользы. Хотите того или нет, но вы просто-напросто проповедуете диктаторские идейки. Насилие приносит людям только вред.

— Позвольте! Не будем вдаваться в высокие материи. Нет, нет, позвольте мне говорить. Я вас не перебивал!.. Вернемся к нашей будничной жизни. У вас есть дочь, она скоро подрастет. Вы что же, ей дадите полную свободу? Делай, мол, родная, что взбредет в голову. Захочется учиться — учись, не захочется — лодырничай, пропускай уроки, гоняй кошек по двору. А она — ребенок, ее ум и ее самоконтроль находятся в недоразвитом состоянии. Она увидит, что гонять кошек по улице куда легче, чем сидеть на уроках, корпеть над домашними заданиями. Разумеется, она выберет не школу, а улицу. Что вы тогда сделаете? Будете проповедовать теорию: мол, вольному воля? Нет, вы примените определенное насилие. Я не говорю о насилии палки. Вы примените насилие своего характера над характером дочери. Вы силой характера заставите ее ходить в школу, силой готовить уроки, силой читать полезные книги. Именно силой характера. И если только окажется недостаточно этой силы в вашем характере, вы будете вынуждены, к стыду вашему, применить грубую силу отцовского ремня, что достойно всяческого осуждения.

— Мне наверняка придется прибегать к тому, что вы называете силой характера. Быть может, не исключено, что я при каких-нибудь обстоятельствах применю даже грубую силу ремня...

— Ага!

— Но я никогда, понимаете, никогда не допущу, чтоб сила моего отцовского характера стала основным и единственным методом воспитания.

— Позвольте...

— Моя дочь должна учиться, моя дочь должна быть честной, правдивой, лишенной пороков эгоизма и прочих дурных качеств! И грош мне цена, если я буду добиваться этого через страх перед своим характером, с помощью моральной палки, потенциального отцовского ремня! Учись, не то обидится отец, не лги, иначе характер твоего отца выйдет из равновесия, попробуй украсть или выказать жадность, как опять будешь иметь дело со всемогущим и грозным отцовским характером.

— Помилуйте...

— Страх перед силой неизбежно приучит лгать, вызовет чувство недоверия к окружающим, сделает из нее эгоистку, наконец учеба по принуждению, а не по сознательной необходимости превратится для моей дочери в наказание...

— Позвольте же в конце концов... Могу ли я вставить свое слово? Вы противоречите сами себе. То вы откровенно признаетесь, что будете применять не только силу характера, но и отцовский ремешок, то с яростью доказываете совершенно обратное! Как вас понять?

— Понять просто. Силу характера, силу голого авторитета я не отрицаю начисто. Она есть, она всегда будет иметь какое-то место как в жизни, так и в школьном воспитании. Но она должна проявляться изредка, в виде исключения, а ни в коем случае не быть постоянно действующим методом. Основной же силой я считаю убеждение и разъяснение. Я попытаюсь сделать так, чтоб моя дочь училась не из-за того, что я или мать принудили ее к этому, а потому, что она поняла: это необходимо, это нужно, а быть может, добьемся даже того, что — интересно. Понятно вам?

Проповедник сильного характера, тщедушный, узкогрудый, с крупной отцовской головой, с независимо поднятым отцовским носом, сидел возле своего стакана со смородиновой настойкой и всем своим непроницаемым видом говорил: «Обожди, обожди, я храню про себя такое, которое сразу же прихлопнет все твои доводы». Он пошевелился на стуле, выше поднял свой нос, и я понял: именно сейчас пойдет он своим козырным тузом.

— Андрей Васильевич, дорогой мой,— заговорил он торжественно,— вы учитель, но даже вам, учителю, сознайтесь, очень и очень трудно будет воспитывать свою единственную дочь с помощью одних только разъяснений и убеждений.

— Да, это куда труднее, чем применять силу характера.

— Прекрасно! Но вспомните, наш спор начался со школы. Вы возражали, что сила характера не метод школьного воспитания. Не так ли?

— Именно.

— Прекрасно! Но если до невозможного трудно воспитывать одного ребенка, если вы признаетесь, что иногда придется отступить от принципа убеждений и разъяснений, подменять его даже ремнем, то как быть в школе, где приходится воспитывать не одного, а десятки, сотни детей? Там даже нельзя применять ремень, ибо это по праву считается преступлением. Как быть? Убеждать и разъяснять?.. Если вы скажете *да*, я вам возражу: это благородно, это красиво, но невыполнимо! Это пустая, звонкая фраза. И вы это прекрасно знаете. Вы работаете в школе, где все подчинено характеру одного человека, перед которым я преклоняюсь, характеру Степана Артемовича Хрустова. Оттого-то ваша школа считается одной из самых лучших во всей области. Вы же не возьмете за пример Валуйскую школу, где в прошлом году оказалась чуть ли не треть второгодников в каждом классе?

— Почему вы думаете, что есть только два пути — путь Хрустова и путь Валуйской школы?

— Тогда скажите, какой бы вы могли предложить путь?

Я молчал. Голубые глазки Анатолия Акиндиновича со скрытым торжеством буравили меня крошечными зрачками.

— Увы, я пока не могу взять на себя смелость заявить, что твердо знаю новые пути,— ответил я,— но они, верю, существуют.

— Пока?.. Но будете знать эти пути?

— Непременно, даже в том случае, если на это уйдет вся моя жизнь.

— И может, сами откроете этот третий путь?

— Если никто не подскажет, буду пытаться открыть его сам.

— Уж, простите, это весьма сомнительно.

Анатолий Акиндинович с облегчением откинулся на спинку стула. Торжество собственной правоты было написано на его узком, худощавом лице.

— Хватит вам,— подал наконец свой голос Акиндин Акиндинович.— Таких разговоров и в школе достаточно. Что не люблю, то не люблю — говорить дома о работе. Скажите лучше вы, оба молодые да ученые, правда это или нет, будто десять взрывов водородной бомбы могут испакостить всю атмосферу?

— Ох, что делается на белом свете! — огорченно вздохнула Альбертина Михайловна.

Я залпом допил свой стакан настойки и поднялся с места. Тоня, боясь, как бы не приняли это за неучтивость, сделала вид, что и ей некогда.

— Утром вставать рано. Спасибо за хлеб-соль. К нам просим.

18

Зажгли свет в комнате. Тоня привычно поправила на столе скатерть, стала перед зеркалом, закинув обнаженные руки, выставив обтянутые тонкой кофточкой груди, стала вынимать из волос шпильки. Я глядел на нее.

Сильная, гибкая спина, белая, расширяющаяся к плечам, сужающаяся к голове шея — в высокой, крепкой фигуре привычное домашнее спокойствие, знакомый уют, как и во всем, что ее окружает. Утонув в чистых простынях, спит Наташка, — неощутимо ее дыхание. Нет-нет да из кухни донесется натужное всхрапывание намотавшейся за день-деньской суетливой бабки Настасьи. На стене, отщелкивая секунду за секундой жизнь нашего безмятежного мирка, трудятся ходики. А Тоня — центр всего. Она стоит перед зеркалом, трудолюбивая владычица своего крошечного, крепкого, как сама жизнь, царства.

А у меня тревожно на душе, мне последнее время почему-то трудно жить, меня беспокоит будущее. И кому, как не Тоне, раскрыть душу, от кого, как не от нее, услышать мне слово успокоения! И не только потому, что она самая близкая, но и потому еще, что в ней я постоянно ощущаю завидную, бесхитростную мудрость: уверенно, просто, без лишних размышлений глядеть в завтрашний день.

— Тоня,— окликнул я ее,— ты довольна своей работой?

— А что? — отозвалась она, не поворачивая головы.

— Как что? Нельзя же жить так, как живет Акипдин Акиндинович. Отстучал уроки — и с плеч долой. Ты об этом когда-нибудь думала?

— А что думать? — Она, так и не вынув всех шпилек, обернулась ко мне.— Тысячи учителей так учат, и все довольны, только мой дурачок почему-то взбесился.— Она с ласковым укором поглядела на меня и закончила с покорным вздохом: — Что делать...

Я молчал. Она сказала: «Что делать...» И для нее это был не вопрос, а простой и ясный ответ «Что делать, когда жизнь такова, не мы ее создавали, не нам ее изменять».

Я осторожно прошелся по комнате, с непонятым для себя вниманием косясь на Тоню. Она перебирала пальцами волосы, искала затерявшуюся в них шпильку. И тут я заметил, что ее широкие белые красивые руки слишком велики по сравнению с головой. Странно, я, проживший с ней бок о бок почти семь лет, впервые сейчас обратил внимание на то, что ее голова не по телу мала. Широкий разворот плеч, горделивая, не снисходящая до девической стыдливости грудь, тонкая упругая талия, широкие, плотные, с каким-то мягким и в то же время смелым изгибом бедра, крепкие точеные икры... Я чужими глазами глядел сейчас на то, что мне давным-давно уже примелькалось, чем я втайне по-мужски гордился.

Сейчас я подумал о том, что человек с таким телом хорошо приспособлен к жизни: ни тяжкий труд, ни ежедневные переутомления не скоро-то высосут силы. Такой человек в конце концов добьется для своего щедро одаренного тела всего: и тепла, и чистоты, и мягкой постели, и сытной пищи, и душевного покоя, чтоб не будоражить понапрасну нервы, и физической работы, чтоб от безделья не сохли мускулы,— всего, что в обыденности зовется уютом.

Абажур рассеивал по комнате сухой оранжевый полусумрак. Со старческим стоном ворочалась за перегородкой бабка Настасья. На стене над детской кроваткой ходики отстукивали все новые и новые мгновения в недавно начавшейся жизни моей дочери.

Тоня, вскинув свою маленькую голову, бережно неся брошенные за спину длинные волосы, проплыла к крова-

ти, стала раздеваться, привычно обнажая передо мной знакомые богатства своего тела. Наконец взглянула с томной усталостью через плечо:

— Ты что, до утра от стены к стене шататься будешь? Туши свет да ложись скорее.

Я стал покорно раздеваться.

О чем чаще всего думает человек?

Странный вопрос, не правда ли?

Более двух миллиардов людей живут на земле. Что бы человек, то свои расчеты, свои заботы, свои мысли. Попробуй сказать, о чем чаще всего думают эти не поддающиеся точному подсчету миллиарды людских голов, в разной степени одаренные природой способностью к мышлению.

И все-таки человек чаще всего, упрямей всего думает о будущем! Для одних — это мысли о судьбе всего человечества или о судьбе своей страны. Они забегают мечтой на сотни лет вперед. Для других же — просто заботы о том, как самому прожить завтрашний день, ближайшую неделю. Будущее людей разнообразно, как сами люди. Оно может быть и беспредельно великим, и обидно куцом.

Мне в руки попал журнал, где была напечатана статья о Швеции. В недавнем прошлом нищий крестьянин этой страны хлебал свою жидкую похлебку из выщербленной деревянной миски. Сейчас внуки этого крестьянина живут в коттеджах, моются в ваннах, пользуются личным телефоном, готовят обеды в кухнях, напоминающих по своей белизне врачебные кабинеты благоустроенных поликлиник. Деревянные миски хранятся как реликвии рядом с фарфоровой посудой. Почти исполнилась мечта о молочных реках и кисельных берегах.

Казалось бы, народ при такой жизни должен быть счастлив. Но счастья нет. Швеция после такой же благоустроенной Дании — вторая страна в мире по количеству самоубийств. В Швеции угрожающее падение нравов...

Матери, укладывая своих детей в чистые постели, выходят по вечерам из благоустроенных квартир на панель. Не нужда, не желание приобрести кусок хлеба заставляют их заниматься проституцией...

Юноша, не успев еще переступить в свое совершеннолетие, уже разочарован. Чем его может обрадовать будущее? Любовными связями? Но он уже успел их вкусить, успел пресытиться ими. Учебой? Есть же особое наслаждение в том, что постигаешь накопленные человечеством знания! Но учеба ради учебы — бессмыслица. Сидеть над книгами, вгрызаться в формулы, чтобы получить учешую степень, когда и без нее можно так же легко прожить, получив при наименьших усилиях профессию парикмахера или коммивояжера. Бросить силы на какие-либо дерзновенные дела, на благо людей? Но кому нужны дерзания? Комфортабельно живущие люди не нуждаются в помощи. А жизнь отмерена, впереди часы, дни, годы, десятилетия, которые пужно чем-то заполнить. Заполняй их всем, что ни подвернется: плотские утехи со скукой пополам, ухаживание за собственной бородой, которая придаст скучающей физиономии оригинальный вид.

Возможно, что снизойдет счастливая удача, свалится настоящая любовь. И вот жизнь полна скромно потупленными ресницами, мягким изгибом плеча, чистой линией свежего рта и голосом, от которого падает сердце. А ей прискучит пресная любовь, вместе с ресницами, покатыми плечами и своим неповторимым голосом бросится в объятия к другому или к двум, трем сразу. Снова пустота и бесцельность, а может, петля, прикрепленная рядом с люстрой, или пистолет, направленный в потный висок.

Дед этого юноши, тот, кто хлебал похлебку из деревянной миски, иступленно мечтал: *для себя* добыть кусок хлеба, *для себя* построить дом, *себя* обеспечить, *своих* близких. В этом была цель жизни, смысл жизни, хоть не великое, но определенное будущее. И вот его внуком эта цель достигнута. А дальше что? Оказывается, *для себя* не так уж много и нужно. Нет никакой цели, жизнь теряет смысл, исчезло будущее.

И что из того, что в общей жизни много нерешенных проблем и недостигнутых целей? Есть въевшаяся привычка жить *для себя*, вглядываться только в *свое* будущее, даже если оно и представляет собой бесплодную пустыню.

Не стоит презирать такого человека, он достоин скорей жалости, как больной, который из-за недугов не может познать настоящей жизни.

На уроках, глядя на своих учеников, я теперь стал задумываться.

Скачущие, блестящие глаза Сережи Скворцова, гладко прилизанный пробор Гали Субботиной, сосредоточенно тяжелый взгляд на широком замкнутом лице Сони Юрченко, скучающая, с развалочкой поза Феда Кочкина... Они уже сейчас все разные, совершенно непохожие друг на друга. А их жизнь только еще началась. Какими же разными они станут потом, когда вырастут?

Все учителя нашей школы пророчат в один голос первому ученику Сереже Скворцову блестящее будущее: он, мол, на редкость способен, все дастся ему с завидной легкостью... И не об одном Сереже судят с безоговорочной уверенностью. Если прислушаться, то будущее каждого ученика наперед известно, их судьбы в головах наших педагогов аккуратно разложены, как рассортированные товары на полках магазинов. У Сережи Скворцова блестящая перспектива: Соня Юрченко, вне всякого сомнения, тоже своего добьется, а Федя Кочкин, увы, нет: он ленив, не желает учиться, не в ладах с дисциплиной; в будущее же Лени Бабина незачем даже и заглядывать...

Но на меня теперь находят сомнения.

Так ли верно, что Сережа Скворцов с той же легкостью, с какой учится, будет добиваться успехов в жизни? Он уже начинает привыкать к тому, что все его маленькое существование состоит пока из непрерывных крохотных побед. В настоящей же жизни не бывает таких счастливых, которые бы совсем не испытывали поражений. И чаще всего эти поражения случаются в самом начале самостоятельного пути. Что, если жизнь сразу оглушит удачливого Сережу? Не желая того, учителя ему внушают, что он особенный среди всех, лучший из лучших. Я частенько замечал, как довольно поблескивают глаза Сережи, когда Федя Кочкин получает двойку. Федя верховодит на переменах, он капитан футбольной команды, крепкие кулаки в потасовке; тщедушный Сережа обязан ему подчиняться. Поэтому при каждом поражении Кочкина Сережа даже не умеет скрыть своего торжества. Не тревожный ли это признак?

Мне очень нравится волевое, добротное упрямство Сони Юрченко. Нравится, но это не значит, что я с полным благодушием смотрю на ее будущее. Здесь, в школе, ее упрямство, ее воля направлены только на то, чтоб ей *самой* усвоить знания, *себе* получить высокую отметку. Все главные качества только *для себя*. А что, если она и даль-

ше будет продолжать жить для себя? С доступным ей упрямством начнет добиваться своей карьеры, силой воли заставит себя стать равнодушной или даже жестокой к другим. Все превозносят ее добросовестность, но забывают, что часто такая добросовестность сочетается с ограниченностью, неспособностью самостоятельно думать. Соня Юрченко все свои силы отдает тому, чтобы запоминать, заучивать, ей просто некогда подумать над тем, что она учит. А разве это не опасно: упрямый, волевой, недумаящий человек! Нет, не могу не тревожиться за будущее Сони.

Многие из учителей невысокого мнения о Феде Кочкине. Но я наблюдал, как он гоняет мяч, как увлекает ребят на футбольном поле: старшеклассники покорно слушаются его властного окрика. Теперь он часто загорается на моих уроках: шея напряженно вытягивается, глаза блещут, рот сжимается в упрямую линию. Интересному он отдает всего себя, скучному не может уделить крохотную частичку внимания. Но ведь большей частью уроки в нашей школе скучны и тягучи. Один ли Федор Кочкин окажется виноватым в том, что выйдет из стен школы недоучкой, набросится на первую попавшуюся профессию? А люди с такими характерами, если не найдут себе всепоглощающего интереса в жизни, часто начинают искать развлечения в водке, в шумных компаниях.

Я всеми силами стараюсь, чтобы мои уроки были интересными, и, кажется, мне удастся это. Мои ученики не просто получают знания. Получать знания — какие скучные слова! Знания не паек, который сколько нужно, столько и вручил по твердой норме на голову. Я хочу, чтоб ученики *жили* знаниями во время уроков. Но могу ли я похвалиться, что всем доволен, ни в чем не упрекаю себя?

Нет, не всем!

Я возмущаюсь про себя, что Сережа Скворцов торжествует при неудачах Феде Кочкина, мне не нравится, что упрямство Сони Юрченко направлено только *для себя*. Но ведь я из урока в урок твержу: выполняй *сам* домашние задания, отвечай только *за себя*, не давай заглядывать в свою тетрадку! А это не проходило бесследно. Не желая того, я постоянно воспитываю людей *для себя*. Что может быть страшнее — проповедовать принципы коллективизма и в то же время пестовать индивидуалистов!

Федя Кочкин не выполнил домашнего задания. На этот раз я был строг, без всякого снисхождения против его фамилии поставил в журнал жирную двойку, объявил:

— Придется остаться после уроков.

Но вместе с Кочкиным я решил оставить и Сережу Скворцова.

— Надо помочь. Кто лучше тебя сможет толково рассказать?

Оставаться после уроков — своего рода наказание. Сережа хмурился, отводил глаза в сторону, теребил рукой пуговицу на гимнастерке. Оставаться! Из-за чего? Из-за того, что Федор Кочкин получает двойки по русскому!

Но я вглядываюсь в его худенькое, остроносое, лукавое лицо и улавливаю некоторую наигранность: уж слишком подчеркнуто его недовольство, что-то очень старательно прячет от меня глаза. И по этому ускользающему взгляду я понимаю: во-первых, он польщен, что я сказал о его толковости; во-вторых, Федя Кочкин, вечный командир на переменах, окажется под его, Сережи Скворцова, опекой. Суетная натура у мальчишки!

Заставить сильного ученика заниматься с отстающими — в любой школе любой учитель пробует таким способом подтянуть успеваемость. У меня же расчет иной: если Сережа станет учить Федю, то Фебина двойка будет вызывать у Сережи не торжество, а огорчение.

К встрече Сережи и Феде я решил подготовиться с такой же тщательностью, как и к своему уроку. Поздно вечером, отложив в сторону все дела, склонившись у выцветшего абажура настольной лампы, я принялся писать пьесу. Да, пьесу с двумя действующими лицами, с двумя героями. Один герой спрашивает, другой отвечает. Автор, создающий обычную пьесу, спокоен: актеры, пожелавшие принять облик его героев, будут послушны его воле. Они станут спрашивать, как он, автор, того захочет, и отвечать на эти вопросы так, как он считает нужным. Действующие лица моей пьесы не так послушны, они могут отвечать на вопросы иногда правильно, иногда сбивчиво и туманно, могут и вовсе не отвечать. А я должен предусмотреть, какие нужны дополнительные вопросы, как обязан поступать тот, кто спрашивает. Я писал необычную пьесу, состоящую сразу из многочисленных вариантов. Все воз-

возможное и невозможное в будущем разговоре Сережи и Феди я старался предусмотреть.

А на следующий день я репетировал с Сережей Скворцовым. Вопрос. Я отвечаю. Что ты после этого спросишь? А если я отвечу иначе? Как быть?..

Это походило на игру в охоту. Красный зверь бросится туда — стоп! Тут его можно так-то встретить. Если он вздумает бежать в другую сторону — тоже стоп! И здесь предусмотрена засада. Куда ни кинься, все рассчитано. У Сережи горели от возбуждения уши, когда он получал от меня листки с вопросами.

Пришло время встречи. Смолк постепенно шум на нижнем этаже возле раздевалки. Мимо дверей класса кто-то прошел, его шаги гулко прозвучали в пустом коридоре. Федя Кочкин с покорной скукой на скуластом лице уселся перед Сережей Скворцовым. А у Сережи вид сурово-сосредоточенный, он деловито раскладывает перед собой бумаги. Маленький, степенный, он напоминает мне сейчас Степана Артемовича, готовящегося открыть очередное заседание педсовета.

Я сижу в стороне от них на своем учительском месте, делаю вид, что углубился в тетради. Я — автор и режиссер, жду начала своей премьеры. И хотя есть только актеры, нет зрителей, которые могли бы освистать нас, я все-таки испытываю легкий холодок в груди: получится моя затея или нет?

Сережа приступил к своим обязанностям.

— Напиши,— приказывает он,— такое предложение: «Было то время года, перевал лета, когда урожай нынешнего года уже определился, когда начинаются заботы о посеве будущего года и подошли покосы, когда рожь вся выколосилась...»

Федя добросовестно записывал длинное, как школьное сочинение, предложение Толстого.

— Записал?.. Теперь напиши короткое предложение: «После того как письмо Петру было написано, он повеселел...» Записал? А теперь скажи: похожи эти предложения друг на друга? Нет? Давай разберемся, может, в чем-то похожи. Что самое главное сказано в коротеньком предложении? Ага, «он повеселел»...

Пункт за пунктом Сережа стал допрашивать Федю; тот, вдумываясь, хмурился и отвечал. Сергей набрасывался с новыми вопросами. Спотыкаясь, оступаясь, Федор

Кочкин двигался ощупью к нужной цели — к правилу о придаточных предложениях времени.

Час спустя Федор Кочкин поднялся со своего места. Он уважительно и смущенно поглядывает на Сережу. Сережа, чувствуя на себе этот взгляд, такой непривычный для самоуверенного Федора, розовеет от гордости и смущения, возбужденно кусает ноготь на пальце, косится в мою сторону, ждет похвал. А я не торопясь складываю в стопку тетради, спрашиваю с нарочитым равнодушием:

— Кончили? Что ж, идите по домам.

Из окна учительской я видел, как рядышком, оживленно о чем-то беседуя, они прошли по заснеженному двору школы.

На следующий раз я репетицию с Сережей не проводил, а только дал новые вопросы, короткие указания да предупредил:

— Смотри, ответит плохо Кочкин, тебя уважать перестану.

Через несколько дней Кочкин получил пятерку. Всегда горделиво сдержанная, невозмутимая, физиономия Федора лишь чуть обмякла, когда, задевая карманами пиджака за углы парт, он торопливо возвращался на свое место. Сережа Скворцов был более откровенен: он возбужденно вертелся, гримасничал, несколько раз показал Федору торчком поднятый большой палец: «Во как ответил!» В ту минуту был доволен и я, но только в ту минуту...

Я заставил Скворцова радоваться удаче Кочкина, но этот же Скворцов совершенно равнодушен к тому, как будет отвечать Паша Аникин или Галя Субботина. Закон «один — за всех, все — за одного» для моих учеников не существует. Как и прежде, я вынужден постоянно твердить: выполняй сам домашние задания, отвечай сам за себя, не давай заглядывать в свою тетрадку, прикрывай ее рукой от соседа — всюду сам, и только сам! Иначе и невозможно, разреши действовать сообща — начнутся списывания, подсказки, пышным цветом расцветут в классе трутни.

Если б мои ученики, как колонисты Макаренко, совместно жили, совместно работали, сообща добывали себе хлеб насущный, то не стоило бы и волноваться, что они учатся в одиночку, чувство локтя они приобрели бы вне стен класса. Но наши школьники живут каждый в своей семье, единственное, что их объединяет, — учеба. А вся

учеба построена на одном — заботиться о самом себе! Неужели тут ничем не поможешь, неужели нельзя найти выход?..

Вот уж воистину как в сказке о многоголовом змее: срубишь одну голову, вырастет другая... Будет ли конец, придет ли время, когда с легким сердцем сможешь сказать себе: сделано все, что хотел, добился того, чего добивался?

Вряд ли. Чем дальше в лес, тем больше дров.

21

Я часто навещал больную Аню Ващенко.

Каждый раз меня встречала Валентина Павловна, энергично пожимала руку, ждала, глядя снизу вверх, пока я снимал пальто, потом, двигаясь своей решительной мелкой походкой — голова откинута чуть назад, грудь вперед, — вела в комнату дочери. Я присаживался возле постели и говорил обо всем, что придет в голову... По ночам в школьный садик повадился бродить заяц, каждое утро видят его следы на сугробах. Наш завхоз Афанасий Кузьмич сторожит с ружьем у открытой форточки... Первый человек, который увидел микробов в микроскоп, был не ученый, а купец — торговал мануфактурой... Нет, в простой микроскоп ни молекулу, ни атом нельзя разглядеть... Да, людям известно, сколько весит самый легчайший атом и сколько весит вся Земля...

Аня перестала чуждаться. Услышав из-за стены мой голос, приподняв голову с подушки, она ждала меня, серые глаза выжидательно глядели с бледного узкого лица, худенькая рука лежала уже поверх одеяла, готовая протянуться ко мне. На свою мать она походила только глазами, во всем остальном — лицом, несколько нескладной, долговязой фигурой — на отца.

Я познакомился с ее отцом. До сих пор первого секретаря райкома партии Петра Петровича Ващенко я видел только на партконференциях, расширенных семинарах лекторов и случайно на улице. Высокий, чуть сутуловатый, медлительный в движениях, лицо с крупным, несколько мясистым носом постоянно сохраняет добродушно-хитроватое выражение. Про него говорили: «не занозист», «можно ладить», «редко повышает голос», «мастер припечь насмешливым словечком».

Покашливая в кулак, ощупывая меня оживленными, глубоко запавшими глазами, он входил в комнату, каждый раз весело удивлялся:

— Эге! У нас гость. Здравствуйте, Андрей Васильевич!

Он присаживался со мной у кровати и с не меньшим, чем дочь, интересом и удовольствием слушал разговор, иногда возражал:

— А позвольте, вот вы говорите, как распадается ядро...

И мы с шутливой беседы сворачивали на серьезную, пересыпая свою речь словами: «цепная реакция», «радиоактивный распад», «идеализм», «материализм». Тогда Валентина Павловна поднималась:

— Пойдемте пить чай.

За столом почти каждый раз заводился спор о школе, о воспитании. Спорили обычно Ващенко и Валентина Павловна, я слушал.

— Ты рассматриваешь воспитание как какой-то толчок,— говорил он.— По-твоему, стоит в детстве правильно подтолкнуть ребенка, и вся его жизнь покатится по гладкой дорожке к нужной цели, без заскоков, без крутых поворотов.

— Но нельзя отрицать — такой толчок нужен!

— Как нужен первый толчок паровозу, трогаящему с места состав. На одном толчке он далеко не уедет. Жизнь — это сплошное воспитание, так же как движение поезда — сплошные толчки вперед.

Иногда вечерами являлся райкомовский работник Кучин.

Васю Кучина я знал хорошо. Плечистый, с красной крепкой шеей, с простовато-открытым лицом, с которого никогда не сходило выражение откровенной жизнерадостности, какого-то счастливого избытка здоровья и беспокойных сил, он был из тех, кого, раз увидев, перекинувшись однажды словом, начинаешь считать добрым приятелем. Мы с ним встречались и по деловым вопросам, и в тесном кругу за стопкой водки, ездили даже как-то в компании на рыбалку. Помнится, на берегу, после того как вытащили невод, оба мокрые, продрогшие, мы схватились бороться. К великой моей досаде, Вася Кучин довольно легко положил меня на лопатки.

При Ващенкове он был непривычно сдержан, но в спорах упрямо придерживался своей точки зрения.

— Воспитание, — говорил он, — звучит, конечно, благородно. Но ведь вы не даете ответа, за что его взять, как ущипнуть. Мне думается, что мы с вами, Петр Петрович, делаем то, что нужно. Все остальное от лукавого. Пять лет назад у нас колхозник получал на трудодень граммы, денег совсем не давали. Теперь хлеб есть, и денег подкидываем. А будет хлеб, будет мясо, масло, будут нарядные костюмы к празднику да еще свободное от работы время, тогда люди сами начнут воспитываться, к книгам потянутся, от икон отвернутся...

Чуть ли не доставая буйной шевелюрой до края широкого абажура, с массивными плечами, облитыми суконной гимнастеркой, Кучин возвышался над столом со скромно и в то же время самоуверенно-победоносным видом. Валентина Павловна с пристальным любопытством разглядывала этого человека, который, не в пример ей, бодро смотрит вперед.

Но часто я проводил вечера один на один с Валентиной Павловной. Что-то было в наружности этой женщины изменчивое, ненадоедающее, каждый раз неуловимо новое. Выцветший ситцевый халатик выглядел на ней как нарядное платье, плотно облекая ее ладную, крепкую, с легкой полнотой фигуру. Движения ее были временами порывисты, временами вялы, словно заморожены. Глядя, как она бесшумно и легко двигается по комнате, я порой думал: не так уж она страдает от бесцельной жизни, разговоры о месте человека — просто умственная гимнастика, возбуждение нервов ради разнообразия, в общем, свыклась, чувствует себя превосходно. Но когда, запустив свою узкую руку в волосы, облокотившись на стол, она упиралась неподвижным взглядом в одну точку, когда на лице застывало тоскливое равнодушие, а одно плечо устало опало вниз, я начинал верить — нет, не свыклась, безнадежно ждет поворота судьбы. И в эти минуты мне становилось ее жаль.

Однажды я прямо спросил ее, почему она не найдет работу. Она холодно ответила коротким вопросом:

— Какую?

— Любую. Все лучше, чем безделье.

— Любая не подойдет. Если б мне работа была нужна для того, чтобы обеспечить жизнь себе, дочери, мужу, тогда я бы работала на любой работе. Тогда был бы какой-то определенный смысл. Но сейчас и этот смысл у меня

отнят. Я особенно не нуждаюсь. Каждый месяц муж вынимает из кармана деньги, их хватает. Поэтому хочу работать только на такой работе, когда чувствую, что не могу не заниматься ею. Обманывать себя, прятаться от скуки этой жизни за другую скуку неприятной работы бессмысленно. Как говорят: баш на баш менять...

Она говорила на этот раз спокойно, как о вопросе давным-давно решенном, по которому она уже в свое время выслушала достаточно досадных возражений.

Ее спокойствие меня возмутило:

— Вы, как бог Саваоф, собираетесь воскликнуть: «Да будет свет!» — не утруждая себя созданием светил, приносящих этот свет...

Она подняла брови, словно говоря: «Что же, послушаем еще одного».

— ...Можете вы полюбить, скажем, некоего Павла Столбцова? Живет такой на свете, могу дать подробнейшую рекомендацию. Нет, не можете. Заочно лишь экспансивные девицы в тепоров влюбляются. Тем не менее вы ждете сначала любви к делу, чтобы приняться за него. Чем не заочная любовь? Не зная, не прощупав толком, в чем заключается соль работы, вы жаждете ее полюбить. Не бывает этого!

— У кого-то бывает.

— У кого-то! У тех счастливцев, у кого способности к чему-нибудь одному ярко выражены. У людей с талантом к математике ли, к живописи ли, к музыке эта любовь в самой природе. Ее даже не назовешь заочной. Большинство же людей на земле не имеют ярко выраженных склонностей. Я, например, их не имел. Может, вы ждете, что они у вас вдруг появятся?.. Сложись у меня жизнь иначе, я бы, наверное, мог быть и агрономом и инженером-строителем не хуже, чем педагогом. Я случайно стал педагогом, не сразу — ой, нет! — через несколько лет по-настоящему почувствовал, что люблю свою работу. Теперь уж не представляю себя другим. Для таких, как мы с вами, один путь: сначала дело, проникновение в него, потом уже любовь к делу. Потом! А вы ждете, что на вас снизойдет благодать господня, озарит любовью. Не ждите — не озарит!..

Я говорил, не выбирая выражений, почти грубо, ждал — она или будет сердито возражать, или обидчиво замкнется в себе, отвернется от моих слов. Быть несчаст-

дивым по причинам, не зависящим от самого себя, все же легче, чем чувствовать себя виновником несчастий. Я же говорил: «Ты виновата, от тебя самой зависит устроить свою жизнь».

Но ни упреков, ни обид не последовало. Прежнее выражение обреченного спокойствия с ее лица смылось, как смывается дорожная пыль. И я понял: она услышала надежду в моих словах, запоздалую, далекую, неверную, обманчивую, но все же надежду. Не все кончено, еще можно что-то предпринять, приложить к чему-то усилия.

Отвернув порозовевшее лицо, она неуверенно возразила:

— Вы проповедуете ни больше ни меньше как привычку к делу. А что, если предположить, что такому заурядному человеку, как я, скажем, может всерьез не понравиться дело? Или же заурядные люди настолько всеядны, что не имеют определенного вкуса, не могут выбирать?

— Я не против того, чтобы выбирать, я даже за то, чтоб ошибаться. Ошибки — тот же опыт. Я против, чтоб выбирать вслепую.

Валентина Павловна задумалась.

— Вы сказали, что попали в педагоги случайно? — заговорила она.

— Был неприятный момент — не знал, куда идти, что делать. Подвернулся подъезд пединститута. С таким же успехом мог подвернуться подъезд сельскохозяйственного или строительного института...

— Вам первое время не нравилось учить детей?

— Нет, этого не было. В общем, нравилось, но только в общем.

— Расскажите о себе поподробнее.

Я принялся рассказывать о своих потугах в живописи, о пединституте, о годах бездумья, покойных, ровных, по-своему счастливых годах. Рассказал о памятной воскресной прогулке, когда понял, что жить дальше, как я жил, нельзя, рассказал о первом удачном уроке.

Я рассказывал и впервые осознавал свое прошлое: оказывается, я уже не молод, часть жизни прожита, были заблуждения, много лет утеряно без особой пользы. Часть жизни прожита, но она вряд ли была моей лучшей частью. Я теперь вступил в зрелость, тут-то, наверное, и развер-

нужно, насколько хватит сил. Тридцать три года за спиной, впереди лет двадцать — тридцать, а возможно, и все сорок — беспомощная старость не в счет. Это и много и мало. Много, потому что предстоит прожить больше половины сознательной жизни. Мало, потому что эти тридцать три года пролетели как-то незаметно, потому что до обидного куцей срок отмерен человеку на земле.

Валентина Павловна слушала, и ее внимание возвышалось меня в своих глазах. Она слабей меня, она ищет в моих словах помощи — приятно сознавать себя сильным и уверенным. Если б я постоянно жил рядом с ней, то, пожалуй, мое плечо оказалось бы достаточно крепким, чтобы поддержать, чтоб вывести на путь этого запутавшегося человека.

— У вас есть товарищи? — неожиданно спросила она.

И я замялся:

— Товарищи-то есть... но больше для времяпрепровождения.

Я вспомнил Василия Тихоновича Горбылева и добавил:

— В нашей школе все учителя по-своему одиноки.

— Вы ни с кем не переписываетесь?

— По работе? Нет.

Пока я рассказывал, начались ранние сумерки: посилили окна, из щели под дверью, ведущей в комнату Ани, просачивался слабый свет. Валентина Павловна поднялась, щелкнула выключателем, пошла задергивать занавеси. Белая скатерть под абажуром ослепила меня.

— У меня есть друг, — сказала она от окна, — тоже учитель, только, наверное, много старше вас. Я его ни разу не видела в жизни. Как-то сделала ему одну услугу, и после этого мы вот уже четырнадцать лет переписываемся. Хотела бы я иметь рядом такого товарища...

Она подошла к столу, присела.

— Я ему о вас напишу...

Пора было идти домой.

Мы вместе зашли к Ане.

— До свидания, Аня. Выздоровливай, — сказал я.

Девочка при свете лампы, поставленной на стул, вышивала на маленьких пальцах. Она положила на грудь пальцы, подняла светлые ресницы, ответила ясным, отчетливым, покойным голосом:

— До свидания, Андрей Васильевич. Приходите, пожалуйста!

Сумерки еще не успели перейти в ночь. Сугробы, крыши, деревья, убранные в снег, — все было насыщенного, густого синего цвета, в котором кое-где покойно теплилось желтое освещенное окно. Морозный воздух ворвался мне в легкие, я расправил плечи, зашагал, с наслаждением слушая вкусное похрустывание снега под валенками.

Вспомнилось лицо Валентины Павловны — по-детски приоткрытый рот, доверчивый взгляд, — и меня снова охватило ощущение радостной силы, уверенности в себе. Она напоминает ребенка, а я — рядом с ней — взрослый, опытный, возмужалый! Я могу поддержать словом и советом.

Драгоценная способность зажигаться от порыва другого человека. Тоня, например, такой способностью не обладала: сколько ни говори, слова попадают словно в вату. А тут мое слово выбивало искру, вызывало волнение.

Черт возьми, я сегодня без причины очень правлюсь себе и меня это нисколько не смущает! Она хотела бы иметь рядом с собой хорошего товарища. Я могу быть таким товарищем — верным, крепким и небеспомощным!

С реки на крутой берег по обледенелой дороге поднимались сани, груженые мерзлыми кряжами дров. Повозочный, мальчишка-подросток, упрятанный в просторный, по росту полушубок, неуклюже суетился возле саней, свирепым голосом, в котором слышалось отчаяние, кричал на лошадь:

— Н-но! Дьявол!.. Н-но! Стерва ползучая!

А лошадь рвалась в оглоблях, оскальзывалась и падала на колени.

— Что мне с тобой делать, проклятая?!

— Не кричи зря.

Я соскочил вниз, нащупав валенками твердое место, уперся плечом в концы кряжей:

— Подымай лошадь!.. Не спеши, не спеши... Так... Теперь давай!.. Давай! Да-авай!!

Лошадь вырвалась на гребень берега, вынесла тяжелые сани, а я, стряхнув с плеча приставший снег, двинулся дальше, от избытка сил подпрыгивая на каждом шагу, ощущая в теле волнующую игру мускулов, радуясь тому, что сумел помочь в маленькой беде неизвестному человеку, который не успел даже сказать спасибо.

Я стал ловить себя на том, что часто думаю о Валентине Павловне. В этом не было ничего необычного, ничего предосудительного. Так же я, наверное, думал о Феде Кочкине или Сереже Скворцове. Я увидел, что она нуждается в помощи, я сочувствовал ей, даже жалел, а жалость — первая ступенька к близости.

Я собирался снова навестить Валентину Павловну, просидеть с ней до сумерек, заглянуть к Ане, услышать на прощание ясный, отчетливый голос девочки: «Приходите, пожалуйста, Андрей Васильевич». Я не успел этого сделать.

В тот день я рано кончил свою работу в школе, ждал, когда Тоня кликнет с улицы Наташку и наша маленькая семья усядется за стол.

На пороге появился Акиндин Акиндинович. Его доброе носатое лицо было красным, расстроенным. Он сокрушенно высморкался в платок, спрятал его в карман и только после этого подавленно сообщил:

— Неприятная новость, Андрей Васильевич...

— Что такое?

— Аня-то Ващенкова... Не слышали?

— Ну?!

— Приказала долго жить.

Тоня охнула, выпавший из ее рук нож зазвенел на полу. Я поднялся.

— Только сейчас Анфису Колодкину встретил, сестру из больницы... Час назад приступ... Вот оно...

...Как всегда, во дворе дома Ващенковых весело галдели ребятишки, прыгали по очереди с крыши сараюшки в измятый сугроб. Даже смерть не могла нарушить этого бездумного детского веселья, как не нарушали его и строгие законы нашей школы.

В знакомой мне комнате с желтым абажуром и пасмурным пейзажем на стене пахло медикаментами, всюду следы суеты и тревоги: на стул в самом проходе брошено ватное полупальто Ващенкова, на ковровой дорожке мокрые следы ног, на диване какие-то скомканные простыни и резиновая кислородная подушка, а на обеденном столе микроскоп, детские пальцы с неоконченной незамысловатой вышивкой, старая кукла в кудельных буклях — вещи, до которых каких-нибудь два часа назад касались руки

Лиц Ващенконой. Только один угол комнаты, письменный стол у окна, продолжал сохранять размеренный порядок жизни: аккуратной стопкой сложены книги, крышка чернильницы открыта, лежит наполовину исписанный лист бумаги, на нем костяная ручка. Наверное, последний приступ Ани оторвал мать от письма.

Никого, а в Аниной комнате слышатся приглушенные до щепота мужские голоса.

Я прислонился к дверному косяку, продолжая разглядывать микроскоп, куклу и пяльцы на обеденном столе под сенью желтого абажура. Только тут я как-то по-особому близко и болезненно ощутил, что из жизни ушел человек. Маленький человек со своим маленьким прошлым и неизведанным, неосмысленным будущим. Старая кукла, раскинувшая на столе свои тряпичные руки, — ее прошлое. Сложный микроскоп — будущее этой девочки. Все теперь ни к чему. Заботы, учеба, мечты — ничего нет, пустота. Нет ни прошлого, ни будущего, нет человека! Аня Ващенкова, долговязая, нескладная девочка, неприметная ученица из моего класса, никогда больше не появится за партой. Никогда мой взгляд не остановится на ней, никогда не придется задумываться над тем, какой она станет через десять — двадцать лет. Из многих судеб, которые я теперь все ближе и ближе принимаю к сердцу, вычеркнута одна.

Дверь из Аниной комнаты приоткрылась, из нее бочком вылез известный всем в районе доктор Трещинов. Он заметил меня, нахмурился, вздернул голову, выразил на бритом, в крупных складках лице величаво-оскорбленное выражение, словно заранее хотел решительно возразить на мои упреки: «Нечего глядеть так, я не бог. Я все сделал, что в моих силах».

В эту минуту за моей спиной раздалось шарканье валенок, появились две старушки, обе туго обмотаны в платки, обе кургузые, неповоротливые в своих многочисленных одеждах. Они загородили дорогу доктору; одна с вкрадчивой певучестью спросила:

— Хозяева-то где? Мы уговориться пришли: покойную-то обряжать нужно.

Врач Трещинов секунду-другую молча, непонимающе глядел на двух помощниц смерти, ничего не ответил, отстранил их рукой, быстрым шагом прошел мимо меня в переднюю и там, сосредоточенно посапывая, стал натягивать пальто.

Старушки потоптались на ковровой дорожке своими громоздкими валенками, повернулись ко мне, уставились вопросительно — обе ясноглазые, с румяными скулами:

— Оно кого же спросить? Ведь обряжать нужно...

Я уже за свой страх и риск собирался осторожно выпроводить старух, как тут шумно вошел Вася Кучин. Сразу стало как-то легче при виде этого краснолицего, рослого человека в добротном дубленом полушубке, внесшего с собой бодрый запах мороза и овчины.

— Уже здесь, слуги кладбищенские? — рокочущим шепотом спросил он старух. — Идите, красавицы, идите. Позовем, когда нужно.

— Мы что?.. Мы ведь только уговориться...

— Сговоримся, придет время, сговоримся.

Он легонько вытолкнул старух, повернулся ко мне, сдвинул на затылок шапку: «Вот дела-то какие...»

Дверь комнаты Ани распахнулась, преувеличенно решительной походкой, вытянув шею, незряче уставившись вперед, вышел Ващенко. Он шел на Кучина, но, заметив меня, круто повернулся. Веки его были красны, виски впали, набухший нос на осунувшемся лице выражал покорность и потерянность.

— Андрей Васильевич... — произнес он высоким голосом и сорвался, поспешно отвернулся от меня.

Кучин бережно обнял его за плечи, отвел в сторону, стал нашептывать:

— Сделано... Заказано... Порядок...

Из-за дубленого рукава полушубка, лежащего на плечах Ващенко, лысеющая голова покорно кивала каждому слову.

А я в это время в раскрытых дверях увидел неподвижно сидящую Валентину Павловну. Сидела она напряженно, глядела в мою сторону, но, должно быть, ничего не видела. У нее странно изменилось лицо: оно стало каким-то асимметричным — один глаз устало полуприкрыт, другой, округло-напряженный, глядит мимо меня, глядит и ничего не выражает. И мне стало не по себе, я шагнул к ней, шагнул и остановился... До меня ли ей? Что я смогу сказать, чем утешить?

— Андрей Васильевич, — обернулся ко мне Кучин, — попробуйте Валентину Павловну увести сюда. Оторвать бы ее на время надо...

Я вошел в Анину комнату. На смятой подушке, среди смятых простынь поднималось остроносое лицо девочки, еще не приобретшее восковой мертвенной бледности. Я наклонился к Валентине Павловне. Вблизи она еще сильнее испугала меня: казалось, чья-то грубая рука варварски измяла прежде красивые черты.

— Валентина Павловна... — наклонился я к ней. — Валентина Павловна...

Она вздрогнула, повернулась ко мне, и из глаз — полу-прикрытого и круглого — потекли слезы. Я беспомощно оглянулся на Ващенкова. Тот освободился из-под руки Кучина, все той же преувеличенно решительной походкой направился ко мне. Я ждал, что он что-то мне скажет, чем-то поможет, но он подошел, остановился, словно споткнувшись, замер, с дрожанием губ глядя в лицо дочери, медленно-медленно опустился на стул, низко склонил голову, обхватил ее руками.

— Их надо оставить в покое, — подавленно сказал я Кучину. — Выйдем отсюда.

В маленькой прихожей, где одна стена была увешана шубами и пальто, я вздохнул всей грудью. Мы с Кучиным опустились на деревянный диванчик возле узкого окна, на тот самый, на котором во время моего первого визита лежало чистое белье, принесенное с мороза Валентиной Павловной.

Молча закурили. Я испытывал гнетущее бессилие.

— Ничего, переживут. Все переживают, — вздохнул Кучин.

В это время раздался громкий стук в дверь.

— Должно быть, плотник, — произнес Кучин. — Входи! Но вошел не плотник, а девушка с почты.

— Бандероль заказная, — объяснила она, протягивая широкий пакет.

— В райком не смогла снести, курносая? — спросил Кучин.

— Так по адресу же...

— По адресу, по адресу... Ващенкова теперь не до чтения. Давай распишусь... Где тут?

Кучин расчеркнулся в книге, ворча под нос:

— Только бандероли теперь и читать Ващенкова. — Сорвал обертку, удивленно повертел перед собой замусоленную канцелярскую папку, открыл ее. — Что такое? — Выругался смущенно: — Ах, черт! Это же не Ващенкова,

а Ващенконой! Валентине Павловне бандероль. Я-то думал: почему служебный пакет на дом?.. Спеси, Андрей, положи куда-нибудь...

Я взял папку, бросая взгляд на открытую дверь Аниной комнаты, на склоненную спину Ващенкова, прошел к письменному столу, единственному месту, хранившему прежний домашний уют, положил рядом с недописанным письмом.

Я вернулся к Кучину и забыл о папке.

23

В день похорон Ани Степан Артемович освободил от учебы всю школу. Класс за классом неровными, но чинными колоннами с венками из свежей хвои шли ученики через село. Венки нес наш класс. Вместе с нами шагал и Степан Артемович. Как всегда, он с чопорным достоинством держал свою голову в высокой котиковой шапке.

Низкое белесое небо висело над пухлыми, отягощенными снегом крышами. Шум сотен ног, обутых в валенки, среди мягких сугробов, обложивших стены домов, казался глухим, каким-то вороватым.

Я глядел в узкую, прямую спину Степана Артемовича, глядел и думал. Ведь он снял школу с занятий, торжественно повел ее на похороны не из жалости, не из-за мучений совести, не потому, что в нем зашевелилось какое-то ощущение собственной неправоты. Прямой, с высоко поднятой головой человека, которому нечего стыдиться и не перед кем прятать лицо, он вышагивает сейчас — глава парада, организованного им.

Вся коротенькая гражданская панихида на дальнем углу утопающего в снегу кладбища показалась мне неестественной, постыдно лживой. О девочке, прожившей каких-то тринадцать лет, ничего не сделавшей, не успевшей еще принести пользу людям, говорить в высокопарных выражениях! Почему бы просто, по-человечески ее не пожалеть? Почему бы прямо не сказать о том, что из миллионов человеческих жизней вычеркнута для будущего одна. Это само по себе тягостно. Не стало человека, у которого могла быть своя судьба. Смерть в детстве — слепая, вопиющая несправедливость! У любого и каждого она неизбежно вызовет в душе ответную боль. И нет нужды

выдумывать достоинства, каких не было у Ани. Зачем оскорблять память девочки ложью?

А Степан Артемович?.. Когда Аня ходила в школу, он и не замечал ее, для него она была всего-навсего досадной единицей, снижающей успеваемость. Степан Артемович не сталкивался с Аней вплотную, как сталкивались с ней рядовые учителя, он ничего не знал о ее характере, о ее привычках. Но сейчас этот Степан Артемович стоит на насыпи перед всеми — седая голова обнажена, на лице суровая, мужественная печаль, а голос его скорбно приглушен. И этим скорбным голосом он извещает всех о том, что школа потеряла прекрасного товарища, что школа вместе с родителями глубоко переживает утрату, что память об Ане Ващенко будет долго жить в стенах школы...

А молчаливые люди, столпившиеся у могилы, просто-душно верят каждому слову. Две женщины неподалеку от меня сокрушенно сморкаются в платки, смахивают варежками слезы со щек. Чем не трогательная картина — седой педагог прощается с прахом любимой ученицы?

От нашего класса выступала Соня Юрченко. Нахмурившись от смущения, она развернула заранее приготовленную бумажку и начала читать. И каждое слово, произнесенное ею, словно обдавало меня кипятком. Я упрекал Степана Артемовича, а сам... Ведь это я, классный руководитель, выбрал для выступления Соню Юрченко, я для Сони написал речь на бумажке, мои слова сейчас она громко читает:

— ...Будем вечно помнить нашу подругу. Спи спокойно, дорогая Аня!..

Степан Артемович был сдержаннее, он хоть сказал: «долго помнить», а я не пожалел вечности. Какое там — «вечно помнить»! Ребята жизнелюбивы, их жизнелюбие по-своему эгоистично, смерть Ани не изменит их жизни. Мне и в голову не приходило, что совершаю ложь!..

На себе я почувствовал чей-то косой пытливый взгляд. Рядом стоял учитель физики Василий Тихонович Горбылев. Встретившись со мной взглядом, он отвернулся, его горбоносый, нервный профиль таил какую-то скрытую загадку. Он, наверное, понял мои терзания. До конца панихиды мы, стоя бок о бок, не обмолвились ни словом, даже не взглянули больше друг на друга.

Заснеженный пустырь, отделявший кладбище от окраины села, чернел спинами расходящегося народа.

— Прошу прощения, Андрей Васильевич. Не найдется ли у вас спички? — Горбылев стоял передо мной, протягивая пачку папирос, глядел из-под жестких, колючих ресниц. — Курите...

— Спасибо.

Прошествовал Степан Артемович с водруженной на голову высокой шапкой. Мы проводили взглядами его узкую прямую спину, переглянулись. В темных, до мнительности пытливых глазах Василия Тихоновича было нескрываемое любопытство.

— Вам сегодня что-то не нравится этот человек?

— Я сам себе сегодня не нравлюсь.

— Вы домой? Что, если нам пройтись вместе?

— Идемте.

И мы пошли к селу, косясь исподтишка, не находя темы для разговора, до сих пор лишь знакомые со стороны, чуждые и даже враждебные друг другу. Но в теперешнем молчании я чувствовал — между нами появилась обоюдная симпатия. У меня были в жизни друзья и знакомые, у Василия Тихоновича — тоже, хотя, наверное, меньше моего. Но я ни с кем из знакомых, если не считать последнего разговора с Валентиной Павловной, не мог поделиться своим сокровенным — своими сомнениями, своими поисками в одиночку, своими скромными успехами на уроках, не мог, должно быть, ни с кем поделиться и Василий Тихонович. Мы молчали, но, без сомнения, оба одинаково чувствовали значение этой минуты. Возможно, я для себя сейчас открою нового, неизвестного мне доселе Василия Горбылева, а Василий Горбылев — нового Андрея Бирюкова.

Я, по-видимому, был по своей натуре более общителен, чем мой спутник, поэтому заговорил первым:

— Вы угадали, когда спрашивали про Степана Артемовича. Но что там Степан Артемович... Я сам хорош... Степан Артемович фальшиво выступил, Соня Юрченко фальшиво прочитала по написанной мною бумажке. Стыдно и за себя и за Степана Артемовича. И странно, никто не замечал лжи, все принимали ее как самое естественное. Что это? Привычка верить и не задумываться?

— Нет, не привычка, просто бездумно живем. Часто по своему бездумью не понимаем опасности. Вот уж воистину: блаженны нищие духом, не ведают они, чего творят...

Василий Тихонович шагнул, вытянув шею из просторного воротника пальто, подавшись всем телом вперед. Я глядел на него сбоку и вспоминал слова доброго, со всеми уживающегося учителя математики Олега Владимировича: «Василий Тихонович не имеет трех измерений — это сплошной профиль, и тот весь из углов». Его словно прорвало, он говорил поспешно, многословно, как человек, долго размышлявший наедине и только сейчас дорвавшийся до собеседника.

— ...Мы в Загарье едим, спим, занимаемся обычными делами, мимоходом рассуждаем об атомных и водородных бомбах, о новых открытиях в науке. Иногда поражаемся, что человеческая мысль выросла до устрашающих размеров. Но задумываемся ли мы? Да нет, мы просто отмечаем для себя: то-то случилось, то-то изобретено... Не имеем права жить бездумно! Сейчас, как никогда, бездумье грозит катастрофой! Неизвестно, к чему приведет всеислие человеческой мысли. Быть может, научимся летать со скоростью света к звездам, строить искусственные планеты во вселенной. А может случиться, что человечество, открывшее тайну атома, уничтожит само себя, как некогда монах Шварц убил себя им же изобретенным порохом. Вы, наверное, помните слова Энгельса: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит...» За великие же победы возможна великая месть!

Он говорил, а вокруг нас дремотно раскинулась придавленная снегами окраина села. По сжатой сугробами улочке трусила запряженная в розвальни лохматая лошаденка. Из прокопченных труб успокаивающе тянулся дымок. На заборах, нахохлившись, сидели вороны. Не верилось в трагедию среди этого прочно обжитого, с печатью извечного покоя уголка земли.

Я возразил:

— Вы уноситесь куда-то очень высоко — в космос, а меня, признаться, волнуют только сугубо земные дела.

— Космос, земные дела... Между ними уже нет пропасти. Последние работы Жолио-Кюри или Ландау и дела нашей Загарьевской десятилетки связаны между собой. Физик Ландау делает сегодня свои открытия, а пользоваться-то ими станут они, наши ученики — Кости Коробовы, Сени Кузнецовы, Сони Юрченки. Они должны знать не только секреты науки от закона Архимеда до новейших

формул Ландау, но обладать еще сверхвысокими человеческими качествами: будь то честность, доверие друг к другу, способность к творчеству. Во имя процветания жизни на нашей планете будущие люди должны иметь чистую совесть и светлые головы. И в этом ответственны я, вы, Степан Артемович. Я знаю, что вы чего-то ищете, как-то хотите отойти от канонов Степана Артемовича. Я тоже который уже год ворочаюсь в одиночку. Это кустарщина! Надо сообща бить тревогу! Сообща поднять бунт против благодушного бездумья! И в первую очередь в школе, где готовятся люди, которые завтра станут хозяевами жизни.

— Что вы предлагаете? — спросил я.

— Что?.. — Василий Тихонович вдруг усмехнулся. — Кроме своего личного возмущения, ничего пока не могу предложить. — Он протянул руку. — Я рад, что мы разговорились...

Ладонь его была твердая, сухая и горячая. Это было наше первое рукопожатие за все годы сотрудничества в загарьевской десятилетке.

Тоня тоже присутствовала на похоронах, даже всплакнула там. Сейчас она озабоченно накрывала на стол. В нашей чистенькой комнате, заполненной через полузамерзшие окна снежным мягким светом, пело и воодушевленно ораторствовало радио.

Усевшись за стол, сложив руки на скатерти, я невольно слушал бодрый голос из репродуктора:

Строю я теперь плотину
Над великою рекой.
Рою землю я машиной,
А не старую киркой...

Я слушал и думал о Горбылеве. Меня не слишком-то волнуют предсказания катастрофы на нашей планете. Я не верю в это уже только потому, что люди догадываются об опасности. Раз догадываются, пусть тяжелой ценой, но сумеют ее предотвратить. Меня волнует вообще жизнь людей, обычная, повседневная, с будничными интересами.

Мы теперь не ищем кладов
По оврагам и горам,
А работаем, как надо,
Как велит отчизна нам...

И в словах и в беззаботном голосе я чувствую сплошное бездумье: все трын-трава, о чем задумываться — жизнь ясна, жить просто!

А разве так уж просто жить мне или тому же Горбылеву? Любая человеческая жизнь сложна, тем более жизнь тех, кто впереди других нащупывает дорогу. А все мы идем не по проторенному пути.

Тот, кто кричит о ясности и простоте, обманывает людей, усыпляет их разум. Старая истина, не мной первым сказана.

24

В сорок третьем году у речонки Разумной, про которую солдаты говорили: «Переплюнуть можно, а перейти нельзя», — мы шли в атаку за атакой с болотистого берега на высокий, известковый. Нас расстреливали в упор с прямой наводки. Живые лежали вповалку с мертвыми, по ночам хриплые стоны тяжелораненых ни на минуту не прекращались на нашем болотистом плацдарме. Наши трупы завалили худосочную речонку, и она вышла из берегов. А какой-нибудь месяц спустя грузовик эвакогоспиталя вместе с другими ранеными спустил меня по высокому берегу к речке Разумной. Шофер остановился у моста и выскочил с ведром, чтоб долить воды в радиатор. Мне помогли приподняться, и через борт кузова я смог разглядеть памятное и страшное место. Страшное... Тут полегло много сотен людей, тут были убиты мои товарищи: Сеня Горохов, Женька Смирнов, Рубен Оганян. А я увидел идиллию: новенький, сияющий свежей желтизной добротных перил мост; на нем, спустив к воде ноги, сидят ребятишки с удочками; больно рябит солнце в речке; спокойно лежат кувшиночные листья в камышовых заводях — никаких следов кровавой трагедии, даже воронки от снарядов, затянула болотистая почва левого берега. Помню, меня это потрясло. Жизнь прячет следы несчастий, и если память о них свежа, это кажется обидным, почти недопустимым.

В комнате с желтым абажуром и пасмурным пейзажем на стене все приняло прежний вид: обеденный стол накрыт свежей скатертью, исчезли куда-то микроскоп, кукла и пальцы, пол чисто вымыт, каждый стул стоит на своем месте. Все выглядит по-прежнему, но сам я чувствую себя

здесь по-новому, никак не могу забыть, что соседняя комната пуста. Ващенко это чувствует, должно быть, намного острее меня. Он, чисто выбритый, в отглаженной сорочке, с запавшими сильнее обычного глазами ходит с сосредоточенным видом от стены к стене и, проходя мимо двери Аниной комнаты, трогает ручку, словно старается плотней прикрыть дверь.

Сама хозяйка изменилась. Черты вновь правильного, но бледного, похудевшего лица стали четче, определенней и холодней. Она даже кажется тоньше и выше в темно-синем, строгом платье. Я застал ее в тот момент, когда она собиралась выйти из дому, уже держала в руках шарф и перчатки. Между ней и мужем происходил какой-то разговор, прервавшийся с моим приходом.

— Вы были правы, Андрей Васильевич,— объявила Валентина Павловна,— под лежач камень вода не течет. Я не должна сидеть сложа руки и ждать, как вы тогда выразились, когда осенит любовь свыше. Нужно идти навстречу делу, въедаться в работу.

Голос Валентины Павловны, как и ее вид, был подчеркнуто холодный и в то же время напряженно решительный.

— Но в какую работу? — перебил ее Ващенко.

— Ту, которая мне всего знакомей. Я, Андрей Васильевич, оформляюсь ответственным секретарем в редакцию районной газеты.

— К Клешневу,— многозначительно добавил Ващенко, проходя мимо двери, опять сосредоточенно потрогав ручку.

— Да, Клешнев скучен! Да, у него бесцветная газета! Да, он убил все живое! Да, работать с ним будет не весело! Я все это знаю и тем не менее иду! — Валентина Павловна с вызовом посмотрела на нас обоих.— Что мне еще делать? Подскажите другое, готова за все схватиться.

Я молчал. Ващенко пожал плечами.

— Очередная вскидка, Валя,— сказал он мягко.— Тебе не понравилась работа в областной газете, а ведь там поживей люди действовали, чем этот Клешнев. Опять кончится ничем.

— Там я была неприметным работником. И что требовать от девчонки? Теперь я зрелый человек, еще посмотрим, кто кого — Клешнев меня или я Клешнева. Вдруг да

вопреки клешневской инертности сумею сделать газету интересной...

Ващенко с сомнением покачал головой.

— Я секретарь райкома, Клешнев на меня смотрит как па бога, но даже я бессилён перед ним. Легче сдвинуть с места тяжёлый камень, чем ком теста. Ему говоришь, чтоб нашел живой материал о жизни рабочих на лесопунктах. Он обещает, он никогда не возразит, не скажет «нет». Материал появляется: «В борьбе за производственные показатели...» Перечисляются фамилии, ни одного свежего факта, ни слова живого. Нельзя винить горбатого, что не имеет стройной осанки, нельзя спрашивать с Клешнева больше того, на что он способен...

— А я спрашивать с него не буду. Я стану действовать, как смогу. Думается, что смогу больше, чем Клешнев.

— Не ты, а он тебе станет указывать, его утвердили во всех инстанциях ответственным редактором, он отвечает за газету. Поэтому он тебе шагу не даст ступить самостоятельно.

— Поживем — увидим.

Я молчу, не вступаю в спор. Я целиком на стороне Валентины Павловны: надо же ей в конце концов выбираться, надо действовать, в самом деле — под лежащим камнем вода не течет. Но мне почему-то грустно видеть у нее решительное настроение. Она не нуждается в моем сочувствии, нет повода ее жалеть, а именно жалость-то меня и сближала с ней.

Она подходит к письменному столу, вынимает из-под книг уже знакомую мне потертую папку, протягивает:

— Кстати, Андрей Васильевич, чтоб не забыть... Помните, я говорила вам о моем друге-учителе? Я написала ему о вас, и он ответил не только письмом — прислал эту работу.

Я взял папку.

— Это его работа? — спросил я.

— Нет. Автор живет в Москве. Кандидат педагогических наук, некий Ткаченко. Моему знакомому эта рукопись попала через третьи руки. Он отзывается о ней как-то осторожно... Я ее тоже просмотрела... Впрочем, прочтаете. Для педагога, мне кажется, будет небезынтересно...

Последние слова она произнесла торопливо. Она словно хотела сказать мне: «Есть ваши интересы, Андрей»

Васильевич, но есть и мои. Рада вам помочь, но мое собственное мне дороже, поэтому разбирайтесь сами, а я уйду, я спешу».

Валентина Павловна быстро и ловко натянула на волосы вязаную шапочку с пушистым помпоном, кивнула мне на прощание. И пушистый помпон, когда она своей напористой походкой — голова приподнята, грудь вперед — шла к двери, торчал вызывающе, почти воинственно.

Она ушла, я вертел в руках папку...

Ващенко последний раз приоткрыл дверь в Анину комнату, снова ее старательно захлопнул, принялся натягивать пиджак.

— Мне тоже надо идти. Нам вроде по дороге, Андрей Васильевич?

25

В коротком полупальто, выступая негнушима, журавлиным шагом, ссутулив спину, глубоко засунув руки в карманы, Ващенко сосредоточенно молчал, углубленный в свои мысли.

Я спросил:

— Петр Петрович, почему вы отговариваете Валентину Павловну? Сейчас ей просто нельзя оставаться наедине с собой, и то, что она решила устраиваться на работу, мне кажется, лучший выход.

Не поворачивая головы, по-прежнему уставясь под ноги, Ващенко не сразу заговорил:

— Если бы такой порыв у нее случился впервые, то я всей бы душой его приветствовал. Но вся беда, что я уже научен горьким опытом.

— Она пробовала устраиваться на работу?

— В том-то и дело — неоднократно. Вскинется, загорится, бросится на первое, что подвернется под руку, а потом... Потом ей кажется, что она совершенно уже ни к чему не пригодна, что все кончено, жизнь несносна, она окончательно погибший человек. Тогда еще Аня была... А теперь... Чем все это кончится?..

Ващенко еще больше ссутулился.

— Но что-то надо делать? Ей нельзя жить, как жила, — возразил я.

— Ах, Андрей Васильевич, я четырнадцать лет живу рядом с ней и все четырнадцать лет решаю этот проклятый вопрос... Слишком высокие требования...

— Но вся жизнь может пройти в неудачах. Пора уравновесить свои требования и свои способности.

— А вы их уравновесили? — живо откликнулся Ващенко. — Вы всем довольны, всего достигли? Вам уже нечего желать больше?

Я замялся: доволен ли? Нет, и неизвестно, буду ли доволен. Чем дальше в лес, тем больше дров, — я давно уже понял это.

— Вы правы, но...

— Хотите сказать, что вы что-то сделали, чего-то добились, недовольны совершенным, но стремитесь совершить больше, а се недовольство пустопорожнее. Не так ли?.. Но и на ее счету имеются свои человеческие заслуги. Папку, которую вы держите сейчас в руках, прислал ей человек, который вот уже много лет сохраняет к ней чувство благодарности.

— Петр Петрович, я не сомневаюсь в высоких человеческих качествах Валентины Павловны.

— Одно дело — качество, другое — заслуги. Некий Лещев попал на страницы областной газеты. Крошечный фельетончик, такой, что можно прикрыть ладонью, крест-накрест перечеркивал жизнь человека, уже пожилого, обремененного семьей. Лещев написал письмо, где доказывал свою невиновность. По счастливой случайности оно попало в руки молоденькой сотрудницы Вали Валуге. Она бросилась к главному редактору. Тот должен был или признаться публично в грубой ошибке газеты, или же сделать вид, что ничего не случилось. Признаться в ошибке — значит запятнать авторитет. Кислая гримаса, легкое движение руки, отодвигающее на край стола бумагу, — все это так легко, намного легче, чем нажать спусковой крючок у винтовки...

Засунув руки в карманы, глядя себе под ноги, Ващенко некоторое время молча вышагивал.

— Она, размахивая письмом, стала стучаться во все двери, — продолжал он, не поднимая головы. — Я работал тогда в обкоме. В один из прекрасных дней она предстала передо мной. До сих пор не пойму, какой силой эта девочка мне доказала, что равнодушие — самое позорное преступление. Я почувствовал, что я честен по своей нату-

ре, что я добр... Да, и добр!.. Доброта... Мы как-то забыли это слово в своем первоначальном значении. Оно нам кажется сентиментальным, филистерски ограниченным. Добрый, добренький — в наших устах стало почти ругательством. Суровая эпоха не должна быть оправданием черствости. Все лучшее, что сделано в истории человечества, сделано из любви к людям, настоящим и будущим!.. Ну, это уж философия...

Ващенко вдруг круто повернулся ко мне, бросил взгляд из-под надвинутой шапки:

— Вы слышали, чтобы обо мне плохо отзывались в райкоме?

— Нет, — ответил я.

— Если я по возможности отстаиваю правду, если я от районных партработников постоянно требую: доверяйте людям, не отмахивайтесь от самых малейших просьб, вникайте не только официально, но и по совести, — в этом, честное слово, есть какая-то заслуга Валентины.

Мы остановились перед райкомом. Ващенко пожал мне руку — сутуловатый, в шапке, надвинутой на глаза, длинными негнувшимися ногами зашагал к подъезду. Уже в дверях он обернулся и громко сказал:

— Не обвиняйте меня в беспомощности. Любой на моем месте не сумел бы сделать больше.

А ведь он угадал. Я до сих пор в душе упрекал Ващенко, как это он, так крепко стоящий в жизни, не может помочь самому близкому человеку?

Вечером, после чая я улегся в своей комнате, раскрыл папку, взял рукопись и стал читать.

Представьте себе, что вы идете по городской улице, безразлично глядите на прохожих и вдруг замечаете кого-то очень знакомого и в то же время чем-то чудного, непривычного для вас. На долю секунды вы чувствуете легкое недоумение, замешательство, и только после этого догадываетесь, что среди толпы, среди равнодушных прохожих видите свое отражение в зеркальной витрине. Знакомый и в то же время непривычный человек оказывается вашей собственной персоной.

Нечто подобное испытал я, когда проглотил первые страницы рукописи.

Нисколько не заботясь о красочности и образности своего изложения, сухо и деловито, как и подобает автору сугубо научной работы, неизвестный мне Ткаченко начал издавека: бич учебы — пассивность ученика, урок в одинаковой мере должен служить и для обучения, и для воспитания ценных человеческих качеств.

Все верно, но я учитель-практик, и практические советы для меня дороже высокопарных теоретических рассуждений, как лесорубу нужней удобная электропила, чем лекция о пользе электричества в лесоработках.

Ткаченко заговорил о приемах. Среди педагогических приемов существует один, который можно условно назвать «организованным диалогом». Учитель как бы ведет разговор с классом.

Ага, Ткаченко придумал не слишком ласкающий слух ученый термин — «организованный диалог», я же называл это как придется, чаще простым словом — беседа.

Дальше... Что, если учитель организует такой диалог между учениками? Скажем, два ученика получают разработанные вопросы...

Я на минуту оторвался от рукописи. Все-таки странно: в тот вечер, когда я сидел у себя за столом и сочинял пьесу с двумя действующими лицами на тему о придаточных предложениях времени, сочинял для того, чтобы после уроков мои ученики Сережа Скворцов и Федя Кочкин разыгрывали ее, я самонадеянно считал: моя находка, мое открытие, никто до меня еще не писал таких странных пьес. Пожалуй, это уже не зеркало витрины, отражающее мои мысли, мои сомнения, это похоже на встречу с двойником.

Я снова принялся за рукопись и -- стоп! — чуть не подпрыгнул от удивления. Что же предлагает Ткаченко?! Оставив одну, две пары специально подобранных учеников после уроков, заниматься, как это делал я?.. Нет! Он советует перенести свой «оргдиалог» *прямо на урок, и все ученики без исключений должны им заниматься!*

Я сразу же представил себе свой класс: выражение бессмысленной младенческой наивности на лице Лени Бабина, бесстрастное равнодушие, скрывающее настороженную хитрость, Паши Аникина, Галю Субботину с апатично

отвисшей розовой губкой, Сережу Скворцова, Федю Кочкина, Сою Юрченко...

Да, все разные лица, разные характеры, разные способности!

Ткаченко говорит: можно сделать так, что весь класс будет учить одного ученика и один всех.

Ой ли?.. Утопия.

В классе пятнадцать — двадцать пар. Каждая пара беседует между собой, все они работают над одним и тем же материалом. Одна пара кончила работу, в это время где-то в противоположном конце класса другая пара также пришла к решению — вроде все, говорить больше не о чем. Что, если заставить учеников пересесть: из первой пары один — во вторую, из второй — в первую? Создаются две новые пары, с новыми знаниями, с желанием прощупать: а как подготовлен новый сосед?

Разные характеры в классе, разные по способностям ученики по-разному воспринимают материал; у одних более живое воображение, они все представляют в образах; у других сильнее развита механическая память, быстрее запоминают формулировки и выводы; третьи обладают врожденной способностью к анализу и обобщениям... Разные характеры, разные способности приходят в общение друг с другом. В течение урока один ученик может встретиться с двумя, с тремя или, смотря по обстоятельствам, с большим числом товарищей. Неизвестно, с кем столкнет судьба, скажем, Пашу Аникина, — может, с Сережей Скворцовым, а может, с Леной Бабиным. Сережа Скворцов более развит, быстрее схватывает, чем Паша. Аникину волей-неволей придется у него учиться. На какое-то время Сережа становится как бы учителем, а Паша его учеником. Но вот после этого Паша сходится с Леной Бабиным. Тут уж по быстроте сообразительности Лене Бабиной не сравниться с Аникиным. Паша учитель, Леня учится у него! И то, что Паша Аникин, сам по себе ученик со средними способностями, со средним запасом знаний, должен втолковывать туповатому Бабиной, шевелить его вялую натуру, полезно самому Павлу, быть может, даже больше, чем Лене. Недаром говорит русская пословица: «Учи других — сам поймешь».

Разные характеры, разные способности!.. Любой из твоих товарищей по классу может стать и твоим учителем и твоим учеником. Все ребята учат одного, один — всех.

Ткаченко предлагает целую систему проверки: оценки, которые должны ставить ученики друг другу, «ассистенты-контролеры» при учителе из лучших учеников — все к тому, чтобы с любого и каждого можно было спросить: «Ты отвечаешь не только за свои знания, но и за знания своих товарищей!»

Активность...

Самостоятельность...

Коллективизм...

Я отложил в сторону рукопись.

Была поздняя ночь. Наш дом спал. За полузамерзшим окном, небрежно задернутым легкой занавеской, спало село. Только возле почтового гаража с сердитым усердием рычал грузовик. Кто-то из шоферов уже поднялся с теплой постели, чтоб по раскатанной зимней дороге ехать к пятичасовому поезду. Приглушенное двойными зимними рамами рычание грузовика, разогревающего свой мотор, — первая весточка наступающего дня.

Я взял в руки рукопись: подслеповатый шрифт третьего или четвертого экземпляра с машинки, поправки химическими чернилами... Чья рука делала эти поправки? Рука самого Ткаченко, рука Лещева или еще чья-нибудь?.. Почему такая работа не напечатана? Не знаменательно ли это?.. Я теперь читаю почти все педагогические журналы, проглядываю методические письма, роюсь в брошюрах. Я не мог пропустить, не мог не заметить. Ни отзвука в печати, ни намека, что такая работа существует на свете. Хотя можно, пожалуй, объяснить, почему эта рукопись не появилась в печати. Я практик, я часто не удовлетворен тем, как учу детей и как их воспитываю, в последние годы я все время искал, я даже без помощи Ткаченко пришел к тому, что он называет «оргдиалогом», но даже меня сейчас пугает его работа. А те люди, что сидят в журналах, не так прочно связаны со школой, как я, им не приходится каждый день проводить уроки, их обязанность, их профессия — печатать статьи. Вполне возможно, что при виде такой необычной рукописи они отмахиваются обеими руками. Мне ли не знать, что нынешняя педагогическая литература не отличается особой дерзостью.

Я сел за стол, положил перед собой рукопись, закурил, снова стал листать, проглядывая уже знакомые мне страницы.

Когда я говорю об образе Тараса Бульбы, мне не так уж важно, чтоб мои ученики запомнили казенное определение из учебника: «В образе Тараса Бульбы Гоголь хотел выразить то-то и то-то». Для меня куда важней заставить полюбить произведение. Ткаченко предлагает дать ученикам самостоятельность. Но разве может неопытный детский ум самостоятельно проникнуть в сущность материала? Они обязательно пойдут по линии наименьшего сопротивления — заучат готовую формулировку и отрапортуют ее во время ответа. Ткаченко грабит мое творчество, через меня грабит учеников.

Да, но я забываю о своих возможностях. Если б я предоставил Сереже Скворцову учить правилам грамматики Федю Кочкина так, как он хочет, как умеет, то можно не сомневаться — скучна и неинтересна была бы такая учеба. Но ведь я не допустил этого, я заставил Сережу подойти к материалу, как я бы сам подходил. Я передал Сереже частицу своего педагогического творчества. Смог передать одному Сереже, то почему бы не попытаться передать и многим? Трудно?.. Да! Но я и не стремился никогда легко зарабатывать себе хлеб насущный. Во всяком случае, не имею права говорить, что Ткаченко грабит мое творчество. Он предлагает новый путь, никем не исхоженный, не проверенный, весьма сомнительный. Кто-то должен решиться, кому-то нужно проверить...

Я отодвинул рукопись, встал из-за стола, распахнул во всю ширь форточки в обеих рамах. Морозный, свежий до едкости, как запах настоявшейся браги, воздух ворвался в накуренную комнату. Вместе с этим воздухом влетело отчетливое, напористое рычание разогреваемого мотора на почтовом грузовике. И это был единственный звук в сплошной тишине.

Пока еще ночь, пока спит село. За спиной у меня, за дощатой перегородкой, спят Наташка и Тоня, храпит в кухне бабка Настасья. За бревенчатой стеной спит Акинди Акиндинович со своей Альбертиной Михайловной. Но скоро, должно быть, завозится, застучит. Хлопотливый, как пчела, он всегда встает затемно. На соседней улице в небольшом, утонувшем в заснеженных кустах домишке почивает Степан Артемович. Чуток ли его сон или не по-

стариковски крепок — не знаю. Для нас, учителей, личная жизнь директора покрыта мраком. На другом конце села спит и, почему-то мне думается, беспокойно ворочается во сне Василий Тихонович, с которым только-только завязывается у меня узелок дружбы. В разных концах по всему селу спят безмятежным детским сном мои ученики.

Спит и Валентина Павловна. И, кажется, утром у все начнется первый трудовой день. Да будет счастливо это начало!

Надо и мне прилечь, заснуть хотя бы часа на два, на три, вместе со всеми проснуться, вместе со всеми начать свое завтра. Каким оно будет — скучно-привычным или загадочно-новым? Что оно принесет — огорчения или радости? Каким бы ни было, мне сейчас хочется скорей попасть прямо в утро. Обидно терять время на сон, на бездеятельность. Я, наверно, оптимист по натуре — всегда жду лучшего от будущего, и оно меня тянет к себе.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Природа не оделила меня особым талантом. Я, самый заурядный из заурядных, увы, не сотворю своими руками ничего такого, что умилило бы потомков. Но надеюсь, что руками моих учеников будут совершаться великие дела на земле. В их всемогущем господстве будет и моя скромная доля. Я уже сейчас по мере сил и возможностей пытаюсь внести ее авансом.

Сережа Скворцов, Федя Кочкин, Соня Юрченко — мои ученики! Не хочу, чтоб вы подвели меня! Не хочу, чтоб вашими руками творилось на свете зло.

На уроках я старался выглядеть беспристрастным, делал вид, что все ученики без исключения для меня одинаковы, ни к кому не чувствую ни особых симпатий, ни антипатий. Но в глубине души я к ним относился по-разному: кого-то уважал, кого-то порицал, кого-то по-настоящему любил, снисходительно прощал недостатки.

Одним из тех, к кому я испытывал такое тайное расположение, был Федя Кочкин.

Помнится, в первый же день, как только Кочкин появился в нашей школе, сразу же обратил на себя внимание.

Шла большая перемена. Стоял солнечный день первого сентября. Ученики высыпали во двор к спортивному городку, как раз напротив окон учительской. При каждой школе стоит такой городок — высоко поднятое над землей бревно-перекладина, к которому подвешены кольца, шесты и канат для лазанья. Неожиданно все учителя с возгласами возмущения и испуга бросились к окну. По бревну-перекладине, вознесенному выше второго этажа, шел мальчуган в выгоревшей рубахе, один из новеньких, что принят в пятый класс из начальной школы. Стоило ему оступиться, и он грохнулся бы на утопанную землю, а это если не смерть, то тяжелое увечье. Мы, учителя, стояли у окна — мужчины качали головами, женщины вскрикивали. А мальчуган спокойно прошел до конца, повернулся, осторожно, расчетливо ступая, двинулся обратно, благополучно добрался до лестницы, спустился вниз. Ребята во дворе восторженно кричали. Из своего кабинета появился Степан Артемович.

— Видели героя? Ну-ка, вызовите его ко мне.

Так Федя Кочкин заявил о себе.

А через несколько дней он снова отличился, на этот раз в драке. Восьмиклассник Всеволод Пшенков, из великовозрастных, из тех, у кого уже начинает пробиваться пушок на верхней губе, прибежал однажды к двери учительской с окровавленной головой. Кто ударил? Кочкин. Как? Он же на голову ниже...

Федю вызвали в учительскую, стали допрашивать: за что ударил? Оказывается, за дело. Из печной трубы Пшенков вынул закопченную заслонку (взбрело же такое в голову!), ради развлечения хватал малышей и заставлял их прикладываться к ней, от души веселясь на измазанные сажей физиономии. Того, кто упирался, Пшенков хватал за шиворот и прикладывал силой. Под руку подвернулся Федя Кочкин. Он безропотно взял заслонку, привстал на цыпочки, и... через минуту незадачливый шутник бежал по коридору, держась за пробитую голову. Я, признаться, заступился перед Степаном Артемовичем за Федю, хотя и осуждал слишком вольное обращение с тяжелым предметом — заслонка была чугунная.

Федя ходил с легкой раскачкой, ворот рубахи на груди постоянно распахнут, на скуластом лице спокойно-власт-

ное выражение, говорит скупо. Что-то было взрослое в этом мальчишке, сдержанное не по возрасту. Он никогда не нарушал на уроках тишины, не устраивал безобидных шалостей — стрельнуть жеваной бумагой в соседа, повесить на спину товарища записку с надписью «Я дурак» — или что-нибудь в этом роде. Скучные уроки Федя переносил мужественно, как бы застывал в неподвижности, глядя перед собой невидящим взглядом. Большинство учителей отзывалось о нем кратко и нелестно: «Лентяй». У меня же в последнее время Федя учился не плохо, на уроках не мечтал, а слушал, сдружился с Сережей Скворцовым. И Сереже льстила такая дружба с уважаемым в ребячьей среде заводилой.

И вот я начал проводить уроки по-новому.

Требования к ученику на обычном уроке просты до примитива, их преподносят школьнику в первый час первого дня учебы. Руки положите на парту, сидите не сутулясь, если что непонятно или хотите ответить, поднимите руку, а главное — слушайте внимательно, старайтесь не пропустить ни одного слова учителя.

Новый же способ учебы имел свои особые правила, свои законы, которым нужно было обучить, как обучают начинающих правилам игры в шахматы.

Класс, стоящие рядами парты, на каждой парте — два ученика. Кажется, не трудно усвоить: беседуйте с соседом, спрашивайте, отвечайте, поставьте друг другу отметку, потом поднимите руку, чтобы все видели — вы кончили, пора меняться местами. Вроде все просто, но сколько на первых порах недоразумений.

— Андрей Васильевич, Субботина отвечать не хочет!

— Андрей Васильевич, а какую отметку ставить?

— Андрей Васильевич, я не хочу с Аникиным садиться, он драться будет...

Со всех сторон только и слышно: «Андрей Васильевич! Андрей Васильевич!» Я выясняю вопросы, налаживаю порядок, терпеливо жду, что кто-то наконец вызовется отвечать, и я пойму: провалилась ли моя новая затея или же есть надежды на успех. Кто же будет отвечать первым? Разумеется, кто-то из отличников, скорей всего самый сообразительный — Сережа Скворцов. Но ответ Сережи не показателен, надо самому вызвать наугад кого-то из средних.

Еще один голос окликнет меня:

— Андрей Васильевич!

— Что тебе, Кочкин?

— Хочу отвечать.— Он поднялся за партой с темной челкой на насупленном лбу, с угрюмовато-спокойным взглядом исподлобья.

Я как-то среди общей суматохи не заметил: Федя Кочкин не терял, как многие, без толку время, он сразу же понял, что требуется от него, какие правила в этой новой игре.

— Три встречи сделал: с Аникиным, с Хлебниковым Васей и вот с Капустиной...

Шум в классе стих, все головы повернулись в его сторону, а он, как всегда, спокоен, уверен в себе, со скуластого лица открыто, безбоязненно, требовательно глядят на меня рыжеватые глаза. Наверное, не один он из класса подготовился, но выжидают в нерешительности. Федя Кочкин самый решительный.

— Иди ко мне,— произнес я.— А все остальные продолжайте работу. Юрченко, проследи, чтоб работали, пока я буду занят.

И то, что кто-то уже вызвался отвечать, то, что я занят, меня теперь неудобно отрывать по каждому пустяку, повлияло на класс: бестолковые вопросы прекратились, беспорядочный шум стал каким-то организованным, ребята деловито поднимались со своих мест, шли пересаживаться — установилась рабочая атмосфера.

А Федя Кочкин, склонившись к моему столу, вполголоса отвечал. Когда он кончил, я поднялся и провозгласил:

— Минуточку внимания!.. Кочкин ответил весь материал правильно. Ставлю ему «пять»!..

— Я хочу отвечать! Я! — Со всех сторон потянулись руки.

— Кочкина назначаю своим ассистентом. Прежде чем ответить мне, надо ответить ему. Ты, кажется, хочешь отвечать, Скворцов? Кочкин, займись им.

Я опустил на стул, сделал вид, что не случилось ничего особенного, все идет как нужно.

Сережа Скворцов с настороженно бегающими глазами поднялся из-за парты, неуверенно подошел к Феде. Тот приподнимает плечи, подбирается, ест глазами Сережу, глуховато приказывает:

— Ну!

Сереза начинает отвечать, но Кочкин покровительственно и властно перебивает:

— Не кричи так. Не классу же отвечаешь...

Сереза снизил голос до шепота.

Не поднимая головы, я слушаю шум класса. Он, этот шум, теперь какой-то kloкочущий, сдержанный — бурлит класс, переваривает знания... Недоставало лишь маленького толчка, чтоб все наладилось. Этот толчок сделал Федя Кочкин, я благодарен ему.

Какого труда стоила мне эта минута!..

Если авиационному заводу нужно освоить новый тип самолета, то, прежде чем рабочие станут к станкам и начнут вытачивать деталь за деталью, ведется напряженная подготовительная работа: заново рассчитывается технология, преобразуются цехи, меняется оборудование. Новый самолет существует только в чертежах и схемах, с бумаги его необходимо воплотить в дюраль, из мысли превратить в нечто материальное.

Рукопись Ткаченко для меня была ни больше ни меньше как схемой, к тому же весьма мало разработанной.

Сколько вечеров и даже бессонных ночей провел я в расчетах и разработке! Сколько было исписано бумаги! Как только я не перекраивал материал, какие проекты карточек с вопросами не составлял! Составлял и отвергал, снова составлял... Сколько сил положено на то, чтоб ребята не просто набрасывались на зубрежку параграфов из учебника, а задавали бы друг другу неожиданные загадки, ломали сообща головы над ответами!

Класс заполнен приглушенными голосами, голоса переплетаются, сливаются, создают впечатление напряженного kloкотания. Этот kloкочущий шум — мой труд, мои вечера, мои бессонные ночи в накуренной комнате. Карточки — кусочки ватмана с вопросами — заставляют думать, спорить, сомневаться, выяснять, рыться в учебниках, обращаться к соседу за помощью. Это поиски, это родственно творчеству! А я — творец такого творчества, как мне не быть гордым!

Но это лишь начало. Мой самолет из чертежей стал машиной, он поднялся в воздух, но еще неизвестно, хорошо ли он будет слушаться руля, не развалится ли на кусочки от вибрации? Наверняка не все учтено, что-то придется менять, что-то уточнять, отвергать, что-то придумать заново. Дело только начато.

Помнится, как-то однажды я вышел из дому с ружьем, скромно намереваясь пошататься только в мелколесье Дворцовской поскотины, не увлекаясь, чтоб к обеду вернуться обратно, — авось наскочу на шального зайчишку. Вечером ждали неотложные дела — никак нельзя было долго околачиваться в лесу.

Но, перелезая через овраг, пересекающий поскотину, я увидел разлапистый волчий след. Волки в наших местах не в диковинку. И обычно я любовался бы таким следом да прошел мимо. Но след был какой-то рваный, расхлябанный: одни отпечатки лап неглубоки, другие пробивают наст. Волк прыгал. Меня словно ошпарило: да ведь волк трехног, оттого и след рваный! Волк — калека, он не может быстро бежать, а след свежий, зверь здесь прошел на рассвете. В патронташе у меня оказалось три патрона, заряженных крупной картечью.

И все здравые расчеты — обед, вечерние дела — были мгновенно забыты. Я бросился по следу, через овраги, через поскотину, через поля, мимо деревни Крестовка, в лес, в чащобы. Я петлял за следом до глухой темноты, заблудился, выбрался на знакомую дорогу поздним вечером, домой вернулся только в полночь.

Неровный след сломал мне рассчитанный наперед день, увлек меня, заполнил совершенно неожиданными желаниями, новыми страстями. Я, конечно, не догнал хромого волка, но не жалел, что пропал день.

Год назад таким вот следом в моей жизни был урок Василия Тихоновича. После него надежды, непохожие на прежние страсти и увлечения, охватили меня. Вся жизнь пошла по-иному.

Я в долгу перед Василием Тихоновичем. Но теперь, похоже, и для меня пришло время показать самого себя.

Я пригласил его на урок.

С Акиндином Акиндиновичем я обменялся часами, решил проводить подряд два урока русского языка. Мне теперь тесно в рамках сорока пяти минут. Не успеют ребята вникнуть в дело, не успеют по-настоящему войти во вкус, как раздастся звонок. Два урока один за другим с перерывом на перемену.

Василий Тихонович сел спиной к окну — лицо в тени. Я никак не могу разглядеть его выражение, вижу лишь

настороженно торчащие уши возле высоко подстриженных висков да загадочный блеск темных глаз. Пристальнее всего эти глаза следят за одной партой.

Меня Бабин, безобидный и бестолковый увалень, сидит с Верочкой Капустиной. Белокурая, с таким свеженьким личиком, словно всего минуто назад умывалась родниковой водой, с ямочками на розовых щеках, с большими светлыми глазами — воплощенная наивность и легкомыслие, — Верочка, собрав какое-то подобие морщинок на безмятежно-чистом лбу, держит перед собой карточку с вопросами и втолковывает Бабину.

Эти карточки, старательно исписанные моей рукой кусочки ватмана, — мое творчество. В них вложен весь опыт, вся изобретательность, на которую я способен. Они потайная пружина,двигающая мои уроки.

На прошлом уроке Верочка получила карточку, где среди других вопросов был, например, такой: «Расскажите о том, как в первый раз дед выпорол Алешу Пешкова». Вопрос бесхитростный. Прямого ответа в учебнике на него нет. Верочка, как смогла, ответила соседу по парте, пересказала своими словами эпизоды из повести. А у соседа в карточке под тем же номером вопрос другой: «Передайте своими словами рассказ деда Каширина у постели больного Алеша». Верочка менялась местами, встречалась с новыми товарищами, сталкивалась с новыми вопросами, схожими и в то же время отличающимися друг от друга, и мало-помалу совместными усилиями создавался образ деда Каширина — хитрого, жадного, жестокого, но не лишённого порой какого-то человеческого обаяния. Он более близок и понятен ребятам, чем тот, которого расписал бы я. Он — их творчество.

В карточке есть вопросы, которые требуют прямого заучивания (например, даты), есть же вовсе эмоциональные, на них всякий может отвечать, как ему подсказывает совесть. «Оправдываешь ли ты жестокость, жадность, хищничество деда Каширина?» — «Как! Его оправдывать?..» — возмущается тот, кому попал в руки вопрос. Товарищи согласны с ним: «Тогда падо всякого подлеца прощать». Но находится такой, который не соглашается: «Тебя бы так с самого детства дубасили, думаешь, лучше был бы?» — «А Цыганок, а бабушка — у них разве другая жизнь, тоже не при коммунизме воспитывались. Почему они не такие, как дед?» И за партами разгорается спор. Отстаиваются

мнения, у меня появляется новая возможность пристальнее взглянуть в ребячьи характеры. Не беда даже, если на подобные вопросы, в конце концов, не будет точного и ясного ответа, что кто-то не откажется от своих взглядов, не всем думать по трафарету.

Василий Тихонович не спускает взгляда с парты, где сидит Верочка Капустина. Ей сейчас выпала нелегкая доля. Леня Бабин, опустив коротко остриженную крупную голову, таращит глаза на свою наставницу, добросовестно слушает.

Если б то же самое, что говорит сейчас Верочка, объяснял учитель перед классом, Бабин давно бы уже клевал носом. Но сейчас ему нельзя не слушать, Верочка говорит специально для него. Попробуй отвлечься, когда в упор наведены требовательные светлые глаза, не отвернешься, не размечтаешься — сразу же одернет: «Куда глядишь? Тебе же рассказываю». И Леня, раскрыв рот, старательно таращит глаза. Он слушает и волей-неволей что-то понимает.

— Повтори.

Бабин заворочался, пригнулся к парте, заплетающимся языком принялся объяснять. Верочка смотрит мимо него, чуть кивает в такт его словам головой, загибает палец за пальцем. Бабин косится на ее руку, на ее сжимающиеся в кулачок пальцы, рассказывает.

— Ну, вот видишь, — доносится до меня голос Верочки. — Все рассказал.

На пухлом лице Лени Бабина облегчение, словно он переполз через страшную пропасть, донельзя рад, что теперь в безопасности.

— Ты только не торопись. Когда торопишься, у тебя язык заплетается. Ну-ка, давай сначала. Я поправлять буду.

И снова голова Бабина склоняется над партой. Но в нем теперь уже заметны перемены: наклон головы выражает упрямство, на мягком широком лице появляется выражение чего-то определенного, чего-то непривычно крепкого, и даже глаза таращит при заминках иначе: в них, напряженно округлившись, уже нет прежней бессмысленности. Он сделал какой-то успех, воспринял это как значительную победу. А Верочка, сама того не ведая, подливает масла в огонь:

— Почти на четверку ответил. Все запомнил...

И от этого в вялой, невосприимчивой к укорам совести душе Лени Бабина появилось что-то отдаленно напоминающее страсть. Он, наверное, почувствовал себя не хуже других, он, оказывается, может получать четверки! Упрямо склонена ушастая стриженная голова к парте. Какие мысли сейчас шевелятся в ней? Они, верно, не лишены честолюбия. Он, Леня Бабин, ответил почти на четверку — мало! Ответит и на «пять»! Ответит Верочке, ответит ассистенту Сереже Скворцову, ответит учителю, и весь класс станет удивляться: «Вот так Леня Бабин!» Может, его самого назначат ассистентом, ему станут отвечать такие, как Сережа Скворцов и Федя Кочкин. Морщится лоб у Лени, краснеют уши, крылья носа лоснятся от выступившего пота.

С затененного лица, загадочно поблескивая, глядят на него глаза Василия Тихоновича. Как бы мне хотелось заглянуть в глубину этих глаз!..

Стриженная тяжелая голова Лени Бабина и маленькая, с кокетливым зачесом льяных волос голова Верочки поднимаются разом. Звонок!

На лице Лени досада в той степени, в какой вообще он может выразить это чувство. Пятерка была так близка, вот-вот, казалось, ее ухватит! Быть может, первая пятерка в жизни. Леня не двигается с места, он не прочь бы сидеть за партой всю перемену. А Верочка резво вскакивает, ей уже изрядно надоело вбивать несложную премудрость в неподатливую голову своего ученика. Неуклюже поднимается и Леня — все равно дежурный выгонит из класса. Но впереди еще один такой же урок, надо только перетерпеть этот десятиминутный перерыв.

Василий Тихонович встает; теперь я вижу его лицо, удлиненное, с крепким костистым носом, с плотно сжатым тонкогубым ртом. Оно сосредоточенно, собранно, замкнуто, с тем особым непередаваемым выражением, какое бывает у человека, бережно несущего переполненную чашку, откуда нельзя выплеснуть хотя бы каплю. Мягко ступая, он прошел мимо меня.

Он остался в коридоре. Мне тоже не хочется уходить в учительскую. Кажется, удалось! Василий Тихонович, мой первый судья, удивлен. И то, что он ничего не говорит, не расточает похвал, а молчит, как молчу я, не пугает меня. Самое важное я уже знаю — он удивлен.

Во мне появляется чувство, близкое к нежности к этому высокому угловато-костистому человеку.

Верочка бежит к девочкам и через минуту, встряхивая волосами, носится по коридору, играет в салки. Леня Бабин, углубленный в самого себя, вертится около нее. Он не смотрит в ее сторону, он делает вид, что случайно оказывается рядом с Верочкой. Но он неуклюж, он мешает играющим, терпеливо выносит от них толчки.

Бабин не выпускает из виду Верочку. Василий Тихонович, прислонившись острыми лопатками к стене, следит за Бабиным. Я, бесцельно прохаживаясь в стороне, приглядываюсь к Василию Тихоновичу. А вокруг нас ребячий шум, возня, топот ног.

При первом же дребезжании звонка Леня Бабин решительно хватает за подол свою «учительницу» и тащит в класс. Мы с Василием Тихоновичем переглядываемся, улыбаемся и, пропуская шумный ребячий поток в дверь класса, входим вместе.

3

Уроки окончились, мы с Василием Тихоновичем остались одни в пустом классе.

Василий Тихонович деловито, скупно задает вопросы: как готовить карточки, какой объем материала можно использовать на уроке? Я отвечаю, слежу за его руками. Кисти рук у Василия Тихоновича широкие, костистые, с внешней стороны поросли темным волосом, но пальцы его гибки, беспокойны, нервны. Они сворачивают чистый лист бумаги в гармошку.

— Так, понятно...

Василий Тихонович комкает бумагу, отбрасывает в сторону, поднимается — высокий, поджарый, с острыми прямыми плечами, с длинным сухощавым лицом на тонкой кадыкастой шее. Он шагает размашистыми и в то же время мягкими шагами, несмотря на угловатость, весь напряженный, гибкий, сильный. Почему-то сейчас мне припоминается, как этот Василий Тихонович летом играл в волейбол. В майке и трусах, с оголенными тощими руками и ногами, густо поросшими черным курчавым волосом, на горбоносом, лоснящемся от пота лице выражение ястребиной стремительности, он то выгибается, доставая длинной рукой рискованный мяч, то, узкий, вытянутый, легко

возносится над землей. Те же гибкость и сила чувствуются в нем и теперь, то же мятущееся беспокойство — переплел пальцы, хрустнул ими, круто повернулся и вдруг разразился горячим, негодующим потоком слов:

— Черт возьми! Как это нужно — то, что ты делаешь! (Он впервые обратился ко мне на «ты» и не заметил этого.) Человечество захлебывается в своих знаниях. Что ни день, то новые открытия, что ни день, то больше багаж. А система учебы в своей основе почти такая же, какая была при Яне Коменском — триста лет назад. Триста лет! Тогда химия и астрономия были шарлатанством. А физика, а математика! Что это были тогда за науки! В те годы только-только появился на свет Ньютон. Не было Ломоносова, Лапласа, Эйнштейна. Не было Бальзака, Толстого, Пушкина. Если б ученик Яна Коменского увидел, сколько нужно знать заурядному ученику середины двадцатого века, то, наверное бы, не поверил, что все это можно выучить за обыкновенную человеческую жизнь. А ведь жизнь-то человека осталась прежней, господь бог не прибавил веку людям нашего времени. Мы учим самыми варварскими способами. Наш учитель вооружен так же, как учителя сто, двести лет назад, — куском мела и вот этой самой доской! — Василий Тихонович тряхнул за край стоящую в классе доску. — У рабочего появились новые станки, крестьянину помогают трактор и комбайн, а учителю — кусок мела и традиционная указка. Кино, телевидение вошли в быт, но не в школу. Плохо ли заменить эту дедовскую классную доску экраном! Нельзя разве переложить учебники на узкую пленку? Нельзя заставить мультипликаторов объяснять диффузию материалов или битву под Бородином? Так ли уж дорого обошлись бы портативные кинопроекторы на каждый класс? Да можем ли мы мечтать об этом, когда у наших школ порой не хватает денег на покупку чернил и тетрадей! Наша школа неблагоустроена и в то же время дорого обходится государству. А почему? Да потому, что кустарщина всегда дорога. Государству приходится держать целые армии Иванов Кузьмичей, Акиндинов Акиндиновичей, учителей полуобразованных, нетворческих, с грехом пополам знающих свой предмет. Ивановы Кузьмичи и Акиндины Акиндиновичи непроизводительно теряют время, программам приходится под них подстраиваться, то, что можно преподавать в четыре года, преподается в шесть лет, то, что в восемь, преподается в десять лет!..

Василий Тихонович снова сел за стол, положил передо мной свои руки с крепко сцепленными пальцами.

— Усовершенствовать учебный процесс — великое дело, — сказал он, глядя на меня своими черными горячими глазами. — Но ты думаешь, это все, что нужно сейчас школе?

— Наверное, нужно многое, — ответил я. — Но нельзя же хвататься сразу за все.

— Нет, не многое. Перед школой стоят две огромнейшие проблемы. Только две!

— Какие же?

— Первое — усовершенствовать процесс обучения, то, что ты делаешь...

— Второе?..

— Второе — труд! Все остальные проблемы, какие возникают и могут возникнуть, — составные части той или иной половины.

— Труд?.. — повторил я.

В газетных статьях, в журналах — всюду, где разговор заходил о школе, я постоянно сталкивался с обсуждением трудового воспитания. Каждую осень все классы нашей школы во главе с учителями выходили помогать колхозам: месили грязь на раскисших полях, стынущими на холодном ветру руками выбирали из мокрой, липкой земли грязный картофель, сваливали его в кучи, насыпали в мешки, взваливали эти мешки на подводы — и это называлось трудовым воспитанием. Вместе со всеми я смотрел на такое воспитание как на неприятную обязанность, своего рода обузу, отнимающую от учебы дорогое время. Ее нужно скорей выполнить, упомянуть в отчетах и забыть. Степан Артемович собирался организовать при школе столярную мастерскую, где бы можно было и зимой ученикам заниматься трудом. Но на мастерскую не отпускали денег, да и Степан Артемович почему-то не был особенно настойчив. Ну а если Степан Артемович сумеет выхлопотать средства на такую мастерскую, будет ли после этого решен вопрос о трудовом воспитании? Ученики научатся делать плохие табуретки, ненужные рамки для портретов, получают ссорку весьма посредственных столяров — ну и что же? Я не знал, как решить этот вопрос, старался о нем не думать, тем более что и без него хватало разных вопросов.

Сейчас я в упор спросил Василия Тихоновича:

— Может, ты мне скажешь, в чем, собственно, заключается это трудовое воспитание, о котором мы так много говорим?

— В чем? В старых, как мир, назидательных словах: надо любить труд! — ответил он.

— Как это сделать? Сунуть лопату в руки школьнику и приказать: копай и проникайся любовью?.. В этих назидательных словах мне всегда слышится ханжество.

— Ты прав,— согласился Василий Тихонович, стараясь спрятать беспокойный, тревожный блеск в глазах.— Прав! Толкать на труд неосмысленный, принуждать к труду и говорить при этом: «Люби!» — ханжество! Но скажи, ты сам испытывал наслаждение от труда?

Я задумался.

— Наверно, испытывал. Иногда мне приятно колоть дрова. Приятен сам процесс этого занятия, когда под моими ударами кругляки разлетаются на плахи.

— А еще?

— Еще знаю, что художник порой испытывает удовольствие оттого, что мазок к мазку накладывает на холст краску, ищет созвучие цветовых пятен.

— А когда ты писал те карточки, которые я сегодня видел в руках твоих учеников, скажи — доставляло это тебе удовольствие? А? — Василий Тихонович подался ко мне всем телом, из-под жестких ресниц глядел мне в глазки.

— Писать карточки?..— повторил я нерешительно.— Иногда какие-то находки при этом радуют, но только иногда. А так — кропотливый, нудный, неблагодарный труд. Составить карточки, потом их переписывать — нет, в конце концов, не приятная работа. Я бы с удовольствием отказался от нее, если б не нужно.

— Ага! Если б не нужно!.. Но раз нужно, ты ее делал, не обращая внимания, что трудно, кропотливо, утомительно. И вдохновение художника вызывается не наслаждением от самой работы, не накладыванием красочек, а тем, что его работа, это накладывание красок нужны (понимаешь, нужны) для выражения чувств, мыслей, идей. Если б человек делал только то, что приятно, не насиловал себя ради каких-то больших и малых целей, то он до сих пор бегал бы на четвереньках. По-настоящему полюбить труд можно только тогда, когда полюбишь то, для чего этот

труд нужен. Неприятно тебе писать карточки, а попробуй запретить тебе их писать, ты вой подынешь, будешь отстаивать свое право делать эту скучную работу. Подынешь вой?

— Наверно, подыму.

— Нельзя просто сунуть ученику в руки лопату, приказать: копай и проникайся любовью. Надо ему прежде объяснить, для чего он берет в руки эту лопату, какую цель достигнет, если вскопает землю. Мало того, надо заставить полюбить эту цель. Если полюбит, то сам схватится за лопату.

— Красиво...

— Красиво? Это слово, с той интонацией, с какой ты произнес сейчас,— слово-убийца. Когда Циолковский в купеческой Калуге мечтал о полетах на Луну, наверняка какие-то просвещенные деятели пожимали насмешливо плечами: «Красиво». Попробуй возразить, попробуй опровергнуть это слово. Как погребальной доской, им замуровывали все живое, дерзкое, все, что пугало куций ум обывательской башки. И Макаренко в свое время слышал это слово. Но тогда дело Макаренко было каким-то откровением, скептицизму и недоверию можно было найти оправдание. А вот ты, знающий труды Макаренко, уважающий этого педагога, ты, человек беспокойный, пытающийся искать новое, как ты можешь бросаться этим словом?

— А что я мог еще сказать, когда ты, кроме общих фраз, ничего не сообщил, во что можно бы поверить.

— Я не сообщил, так другие это сделали задолго до меня. Опыт Макаренко для тебя разве пустой звук? Ты учишь ребят правилам грамматики, учишь понимать образ деда Каширина. Учишь и приговариваешь: «Надо знать, пригодится в жизни». *Пригодится*, а не *как жить*. А ведь это не одно и то же. Макаренко учил, как жить. Его колонисты копали бураки. Грязная, неприятная работа. Но каждый из колонистов видел за этими бураками новые здания с паркетными полами, корпуса заводов со сложными станками, видел новую, красивую жизнь. И это было той заманчивой целью, ради которой нужно рыть бураки, набивать на руках мозоли, покрываться потом. Не то важно, что колонисты научились выращивать бураки: быть может, ни один из них не стал в будущем свекловодом,— важно, что на этих бураках они учились сообща

думать, сообща трудиться, учились, как жить. Ведь самое важное в человеческой жизни — коллективный труд!

— Все верно, только у Макаренко были другие условия, да и время было непохожее. У нас...

Василий Тихонович не дал мне договорить:

— Другое время! Другие условия! Дай, видишь ли, подходящие условия — ты согласишься действовать. Переместите, мол, в более благоприятное время — добьюсь того, чего добивался Макаренко. А ты попробуй при тех условиях, какие есть, при том времени, какое наступило сейчас на планете, действовать и добиваться. И никто не предложит тебе повторить тютелька в тютельку Макаренко, копировать его. Это и невозможно и не нужно. Надо на его опыте искать свое собственное, которое бы укладывалось в рамки нашего времени, наших условий.

— Хорошо,— сказал я, сердясь на обличительный тон Василия Тихоновича.— Ты прав. Но сам по себе напрашивается вопрос. Как? Как сделать все это? У Макаренко была какая-то база, на которой его колонисты могли развернуться, в конце концов дойти до завода со сложным оборудованием. У нас — ничего. Как нам быть? Ты знаешь?

— Вот это другой разговор. Если ты ждешь от меня точного ответа, разработанного во всех подробностях плана действий, то должен огорчить — нет пока этого. Надо искать, нащупывать, как сейчас ты ищешь и нащупываешь новые способы ведения уроков. Вокруг нас колхозы, у них есть земли, есть машины, есть скот — к ним надо идти за помощью.

— За помощью?.. Вокруг нет колхозов-миллионеров, которые бы без особого ущерба для себя могли бы нас облагодетельствовать.

— А мы и не будем вымаливать благодеяний. Колхозы сами нуждаются в помощи, у них не хватает рабочих рук. У нас в школе есть эти руки, двести человек учатся только в старших классах. Не филантропия, а союз на обоюдных выгодах. А вот какими должны быть условия этого союза, об этом нам придется поразмышлять...

Я задумался: трудовая школа по типу колоний Макаренко — советы командиров, обсуждения, работы в поле и учеба в классах. Черт возьми! Я мечтал с помощью одних только уроков сделать своих учеников коллективистами, а тут совместное планирование, совместный труд — нет, об этом я мечтать не осмеливался.

Василий Тихонович вглядывался в меня с прищуром, ждал, что скажу.

— Мы с тобой судим как хозяева школы,— договорил я,— а как еще поглядит Степан Артемович. Не в наших руках, а в его находятся вожжи, управляющие школой.

— Степан Артемович нас не поддержит, на него рассчитывать нечего,— жестко отрезал Василий Тихонович.

— Тогда на что рассчитывать? Выходит, что наш разговор — пустопорожняя болтовня.

— Я рассчитываю на войну со Степаном Артемовичем, которую открыл ты.

— Я?.. Со Степаном Артемовичем?.. Войну?!

— Да, ты.— Глаза Василия Тихоновича, темные и горячие, не дрогнули при этом.

— Ну, знаешь... Я предпочитаю не связываться с ним.

— Степан Артемович верит, что он безупречный педагог, что его путь самый правильный. Вряд ли он будет терпеть, что у него под боком какие-то малоопытные, на его взгляд, учителя ломают его порядок. Тот урок, который ты мне сейчас показал, хочешь или нет, объявление Степану Артемовичу войны.

— Рановато воевать. Дело только начинается, много непроверенного...

— Не рано. Вряд ли эта война будет скоропалительной. Не завтра же мы пойдем просить у колхоза: даешь землю, даешь фермы! Такой поворот в школе не делается с маху, в несколько дней. Кто знает, быть может, эти Лени Бабины и Верочки Капустины уже к тому времени успеют окончить школу, но их место займут другие, и эти другие станут у нас воспитываться по-новому.

Мы вынули папиросы и в нарушение всех правил внутреннего распорядка закурили прямо в классе, молчаливо, оценивающе поглядывая друг на друга.

Говорят, что людей крепко роднит прошлое, годы, проведенные под одной ли крышей, в одном ли окопе, на этот счет есть даже пословица: «Старый друг лучше новых двух». Что верно, то верно — прошлое роднит, но еще крепче роднит людей будущее, общие устремления, общие надежды. Как я, так и Василий Тихонович чувствовали эту зарождающуюся родственность, но она была нова, неожиданна, непривычна для нас, потому-то мы и приглядывались друг к другу, старались оценить...

— То-оварищи! Андрей Васильевич! Василий Тихонович! Что за безобразие?

В дверях стояла Тамара Константиновна и негодуяще глядела на наши дымящиеся папиросы. Даже в глазах Василия Тихоновича, обычно самоуверенно-дерзких, промелькнула откровенная мальчишеская растерянность.

Мы только что говорили о войне со Степаном Артемовичем — и вот вам, появляется Тамара Константиновна, правая рука его, самая ревнивая охранительница его прав. Мы невольно почувствовали себя виноватыми не в одном лишь ребячливом грехе — курении.

— Взрослые люди! Педагоги! Хорош пример для учеников. Как вам не стыдно? Одно' остается — чтоб вы еще и на уроках дымить начали.

Тамара Константиновна шагнула в класс — с величественной осанкой, тяжелый пучок волос на затылке оттягивает голову, заставляет надменно поднимать подбородок. Она готовилась стать матерью, свое монументальное тело в просторной кофте носила с бережной важностью. И сейчас она медлительно, обходя стороной парты, подошла к нам.

— Просим прощения, забылись, — сказал Василий Тихонович, гася папиросу.

Тамара Константиновна повернулась на каблуках ко мне.

— Хорошо, что я вас застала, Андрей Васильевич. У меня к вам особый разговор.

— Слушаю.

— Я просматривала только что журналы... Страшная вещь, Андрей Васильевич: в седьмом «А» по вашим предметам за последнее время каждый ученик получил огромное количество отметок. У меня сейчас под рукой, к сожалению, нет журнала, но помню, что у некоторых учеников выставлено астрономическое число оценок. Когда вы успеваете спрашивать всех? Ведь если считать, что вы обязаны преподносить на уроках новый материал, то, по здравому расчету, вам просто не должно хватать времени на такое количество опросов. Соответствуют ли ваши оценки знаниям?

Белое полное лицо Тамары Константиновны, как всегда, величественно, взгляд строгий, но неуловимо в уголках губ, в глубине зрачков таится тревога и страх передо мной. Для нее действительно этот поток отметок, хлынувший по моей вине на страницы классного журнала, необъясним, противоречит здравому смыслу. До поры до времени я не открывал своих секретов, боялся вмешательства, лишнего шума, ненужных сомнений со стороны хотя бы той же Тамары Константиновны. Теперь прятаться незачем, нужно сказать. И я ответил.

— Все дело в том, Тамара Константиновна, что я теперь свои уроки веду несколько иначе. Если хотите, мы можем сейчас сесть, и я подробно вам изложу все.

— Вот как! — Под глазами на белых щеках Тамары Константиновны проступили вишневые пятна. — Разрешите спросить, почему вы заранее не поставили меня в известность? Почему заведующая учебной частью должна сама догадываться, что вы там творите на уроках?

— Для того чтобы поставить вас в известность, я сам должен твердо верить, что у меня получается. Даже теперь полной уверенности нет в успехе, но тем не менее я готов рассказать.

Василий Тихонович стоял в стороне и с тем же любопытством, с тем же загадочным блеском под ресницами, с каким он наблюдал за Леней Бабиным и Верочкой Капустиной, глядел сейчас на Тамару Константиновну.

— Нет, вы понимаете, что это такое? Это партизанщина! Что получится, если каждый педагог станет действовать, как ему заблагорассудится! Вы обязаны рассказать мне свои замыслы, еще не приступая к их осуществлению.

— А если б вам мои замыслы не понравились?

— Если б мне не понравились, то я, как лицо в какой-то мере отвечающее за школу, имею право потребовать от вас такого преподавания, какое нужно.

Василий Тихонович подал свой голос:

— Тамара Константиновна, а вы не допускаете такой мысли, что сами можете ошибиться насчет интересов школы?

— Василий Тихонович! — вскинула подбородок Тамара Константиновна. — Мне кажется, Бирюков сам за себя может ответить. Если я помешала вашим разговорам, то могу удалиться, и вы продолжайте свою беседу. Только без папирос. Если же вы кончили свои обсуждения, то я

бы попросила об одолжении, Василий Тихонович, оставить нас вдвоем.

— Да, мы уже переговорили. Я ухожу. Но прежде должен сказать: понравится или нет вам мое мнение, Бирюков добивается того, что должно преобразить всю школу. Имейте это в виду. До свидания, не буду вам мешать.

Василий Тихонович бросил на меня выразительный взгляд, словно говоря: «Разве я был не прав? Вот оно, начало». Мягко ступая, прошел к двери, бесшумно прикрыл ее за собой. Тамара Константиновна и я остались с глазу на глаз.

— Андрей Васильевич,— торжественным и властным тоном начала она,— я не противник нового, но я не могу допускать хаоса в работе. Я уже давно замечаю в вас желание уйти из-под моего контроля. В прошлом году вы занимались какими-то экспериментами, в этом году у вас новые фокусы. Ответьте сами, как мне относиться к вам: молчать, не замечать, глядеть сквозь пальцы? Тогда зачем же меня назначили заведующей учебной частью?

— Вот я и собираюсь поговорить с вами как с завучем. Хочу не только рассказать, но даже просить у вас помощи.

— Какой помощи?

— В первую очередь — выслушать и понять. Во вторую — если найдете полезным, привлечь к этому делу других учителей. Тут мне без вашей помощи не обойтись.

— Выслушать? Я готова. Но имейте в виду, я не считаю, что наша школа находится в таком уж бедственном положении, чтобы требовалось ее спасти какими-то срочными нововведениями. Впрочем, я сажусь, рассказывайте...

Она села, поджала губы, выставила вперед подбородок. Ее вид не очень-то располагал к душевной беседе. Но я сел напротив и стал рассказывать...

Я рассказывал, а величественное выражение на лице Тамары Константиновны сменялось растерянностью, холодные, выпуклые, со стеклянными блеском глаза бегали беспокойно, беспомощно, белые руки нервно били пальцами по столу. Эта женщина была в свое время добросовестной учительницей истории. За свою исполнительность она и была выдвинута Степаном Артемовичем заведующей учебной частью. Она с энергией и перенятой от директора властью выполняла поручения, не вдумываясь в них, свято веря в правоту каждого слова, каждого приказа Сте-

пана Артемовича. Нужно — выполнено. В этом был весь нехитрый кодекс ее жизни — и работать просто, и сама жизнь ясна. И вдруг эти простота и ясность рушатся. Надо, оказывается, что-то искать, нужно подвергать сомнениям то, чему она безоговорочно верила. Сначала какой-то Бирюков. Попробуй-ка проверь, укажи, прочитай наставление, когда в его замыслах черт ногу сломит. Потом по его примеру начнут мудрить и другие учителя. Как работать? Чем поддерживать авторитет?..

Тамара Константиновна слушала и нетерпеливо стучала ногтями по столу.

— Так, — сказала она. — Вы не согласны, Андрей Васильевич, с тем порядком, какой установлен в нашей школе? Прекрасно! Никто вас не держит. Ищите более подходящий к вашей беспокойной натуре объект. Вносить сумятицу в работу не дадим!

— Тамара Константиновна! Вы же знаете мои дела только по тому рассказу, какой я вам бегло изложил в течение пятнадцати минут. Вы не побывали на уроках, не проверили, не вникли, не вдумались, и все-таки готовы уже гнать меня из школы. Чем вызвано такое недоброжелательство? За то, что у меня по некоторым вопросам не сходятся взгляды с вами, с работы не снимают.

Тамара Константиновна поднялась, рослая, широкая, вновь обретшая свою величавую осанку. Глядя мимо меня, как обычно умел глядеть Степан Артемович, она произнесла:

— Вы правы. Но я и не думала предпринимать что-либо без проверки. Мы взглядемся, мы вникнем. Я завтра же побываю у вас на уроках.

— Хорошо. Но я хочу, чтоб в проверке участвовали и другие учителя. Назначьте комиссию.

— Предоставьте нам самим решить все организационные вопросы. — Тамара Константиновна кивнула подбородком. — До завтра... Соберите, пожалуйста, свои окурки, когда будете уходить.

С прежней бережной важностью, обходя углы парт, она вынесла из класса свое тело, облаченное в просторную кофту.

Я же, провожая ее взглядом, думал: «Будет ли война продолжительной — не знаю. Но началась она, сверх всякого ожидания, быстро — в этом Василий Тихонович оказался прямо-таки прозорливцем...»

Я вышел из школы. Ранний зимний вечер был тих и морозен. За крышами села тлел жиденький закат. Пухлые, массивные, девственно чистые сугробы придавили ветхие загарьевские заборчики. За заборчиками — снежное кружево, все деревья в снегу, каждая, самая мельчайшая, веточка изнемогает от снежной ноши. На старой примелькавшейся ели, что стоит при дороге, — многопудовый снежный тулуп; тяжело ей, но крепится, держит. Снег выпирает с крыш козырьками, в снежной шапке каждый телеграфный столб, каждый колышек у заборов — снег, снег, снег... Изобилие снега, давнего, заматерелого. Я словно проснулся в эту минуту. Были оттепели, были метели, я надевал на валенки калоши, поднимая воротник от резкого ветра, жил и не замечал, как идет время.

Идет время — вечера за письменным столом в облаках табачного дыма, вороха исписанной бумаги, уроки, короткий путь из школы домой, когда голова занята опять мыслями о тех же уроках, о карточках-вопросниках, когда не замечаешь ни размытых зимних закатов над крышами, ни изобилия снега, ни оттепелей, ни морозов.

Гаснет сейчас вылинявший, холодный закат. Кончается еще один день, чтобы уступить место другому. И завтра пойдет то же самое: опять заваленный бумагами узкий стол, растущая куча окурков в пепельнице, опять расчеты, плапировка, уроки, к этому прибавятся еще столкновения с Тamarой Константиновной, со Степаном Артемовичем, новые разговоры с Василием Тихоновичем; быть может, поближе сойдуся с какими-то учителями, передам им свои сомнения и надежды.

Идет время. Я давно уже не снимал со стены ружье, давно не выходил в лес, даже в кино нет времени выбраться, даже не заглядываю больше к Олегу Владимировичу, чтоб сыграть партию в шахматы. Я как-то забыл о самом себе, забыл, что существуют простые житейские радости, что иногда можно, не растравляя себя заботами, глядеть на мерцающий под луной снег, что есть застольные дружеские беседы, сумбурные, бесцельные, подогретые, быть может, стопкой водки, заставляющей распахивать душу наизнанку, есть музыка, есть книги, не педагогические, толкующие о проблемах школьного обучения, а просто

повествующие о чужих страстях, чужих радостях, о красоте и многообразии жизни.

Я такой же человек, как и все, у меня не десять жизней, а одна. Я иногда должен подумать и о себе, о том, чтоб моя жизнь была приятна и разнообразна.

Книги, кино, музыка, живопись много говорят об одной из самых прекрасных сторон в человеческой жизни — о любви. Любил ли я? Любили ли меня? Если оглянуться назад, если спросить себя: богата ли моя жизнь любовью к женщине?..

Моя юность, самые светлые годы, те, что больше всего любят воспевать поэты, с семнадцати до двадцати лет, прошла в окопах. Тут уж не до любви.

В госпитале я тайно, по-мальчишески влюбился в операционную сестру. Что о ней сказать? У нее был свежий цвет лица — только это теперь и помню. Когда старый лысый хирург с басовитым командирским голосом делал мне операцию, она подавала инструменты. Операция проходила под местным наркозом, сшивали перебитый осколком нерв, стягивали его концы, и свирепая боль — словно все тело от макушки до пят заполнено беснующимися электрическими разрядами — не подчинялась наркозу. Но я не позволил себе издать стона, так как рядом со мной стояла она. Я не стонал и тогда, когда наркоз уже потерял силу и хирург по живому воспаленному телу сшивал шелком распоротую рану. Она рядом! Я был мужчиной, чтоб, стиснув зубы, без звука вынести боль. Но подойти к сестре и сказать, что она мне нравится, что я люблю ее, — в этом я был еще мальчиком, тут у меня не хватало мужества.

Помню душистый запах табаков из дачных садиков, помню песню: «Выткался над озером алый цвет зари...» Как пели будущие актрисы!..

Эмма Барышева... Помню ее походку с мягкой развальной морщинкой между бровей во время работы. Но разве это любовь? Нет, даже не увлечение.

А незнакомка в метро?.. Мокрая городская площадь, затихающий стук каблучков... Может, это любовь? Нет! Желание любви, надежда на нее — и только.

Леночка Круглова. Первое и единственное любовное письмо. Настойчивые и грубоватые преследования... Поиски любви — да! Тоска по любви, бунт против того, что она не приходит!

А женитьба на Тоне?.. Была гордость за себя и за нее, было чувство успокоения — наконец-то нашел, наконец-то заполнил пустоту.

Живу с Тоней уже седьмой год и не задумываюсь, что я испытываю к ней: любовь или привычку?..

У меня всегда чистые носки, свежие сорочки. Вот и теперь, несмотря на поздний час, меня ждет дома горячий обед. Удобно жить рядом с Тоней.

В этом году в мою жизнь вошла еще одна женщина — Валентина Павловна. Как-то она мне сказала: «Хотела бы я иметь рядом такого товарища». Она говорила, кажется, о другом человеке, но я это принял на свой счет.

С того дня, как она мне вручила папку с рукописью Ткаченко, с той минуты, когда она, натянув на голову вязаную шапочку с воинственно торчащим пушистым помпоном, вышла из комнаты, наши встречи прекратились. Раньше она была одинока, она металась в какой-то пустоте, не знала, куда бросить себя, тогда я был нужен ей как человек, который ее понимает. Мои посещения были для нее хотя маленькими, но событиями. Теперь она работает, засиживается в редакции, и уж мое появление для нее больше не событие.

Однажды я пошел к ней, чтоб возвратить рукопись Ткаченко. Хотел поблагодарить за помощь, хотел поделиться тем, как эта рукопись изменила мою жизнь. Разве это не интересно? Она же может понять, она отзывчивый человек.

Я поднялся на второй этаж, не успел постучать в дверь, как она сама открылась, и на пороге выросла Валентина Павловна в застегнутой наглухо шубке, в надвинутой на темно-серые глаза меховой шапочке. Потому ли, что я с ней долго не встречался, потому ли, что она для меня стала более недоступной, какой-то запретной, она мне в этот момент показалась неестественно красивой: темный мех цигейки оттенял нежный с ямочкой подбородок, вздрагивающие в знакомой улыбке губы, светлые ресницы доверчиво вскинуты, чуть уловимый запах духов смешивается с каким-то теплым, комнатным запахом, идущим от шубы. Она взяла папку, попросила зайти в комнату, а потом сообщила:

— Андрей Васильевич, я рада вас видеть. Только я, к сожалению, тороплюсь.— Сама над собой иронически усмехнулась: — Занятой человек, как видите.

Мы вместе вышли на улицу. Она о чем-то говорила, я молчал. Я вдруг стал робеть перед нею.

— Заходите, обязательно заходите. Вы все мне расскажете,— прощалась она со мной.

Но я не зашел больше. Я сам себе не признавался в том, что боялся с ней встречаться. Между нами пропасть, зачем обманывать себя неосуществимыми надеждами, строить через эту пропасть маниловский мост? Будут ненужные мучения, осложнится жизнь, а уж моя-то жизнь и без того сложна, нет времени по-настоящему выспаться. Трезво рассудить — зачем я теперь ей? Пусть себе живет спокойно.

Не велико село Загарье, все жители в нем в общем знают друг друга, но в нем можно годами не сталкиваться с человеком. Я даже на улице не встречался с Валентиной Павловной.

И вот сейчас я, словно проснувшись, увидел вокруг себя разгар зимы во всем ее снежном величии, вспомнил про уходящее время, про однообразие своей жизни, идущей по кругу от письменного стола до школьных классов и обратно: вместе с пронзительной жалостью к самому себе я вспомнил и о Валентине Павловне. Ее лицо с нежной, прозрачной кожей, на первый взгляд такое простое, наивное,— ох, эта простота!.. Ее губы, маленькие, крепкие, даже в горькие минуты не умеющие скрыть какого-то жизнелюбия — о нет, самого беспорочного жизнелюбия! Ее руки, массивные у запястья, тонкие, с хрупко выступающими косточками в кистях. Ее напористая походка, мелкие, решительные шажки крепких ног, а голова при этом чуть вскинута. Есть что-то задорное, девичье, воинственное в ее походке...

Почему я прячусь от этого человека? Мне приятно ее видеть, мне приятно говорить с ней, чувствовать себя возле нее сильным и мужественным, приятно удивлять ее — а мне есть чем удивить, есть о чем рассказать! Почему же лишаю себя этого, накладываю запрет, как когда-то запрещал себе петь песни со студентками в тот пахучий летний вечер московского пригорода! Может быть, я желал бы от нее большего, чем простая дружба, но хорошо и только это.

Я повернул к знакомому мне дому.

— Ага! Андрей Васильевич! Заходите, заходите! Давно что-то вас не видно.— Без пиджака, в подтяжках поверх

сорочки, меня встретил Ващенко.— Валя вас частенько вспоминает. Жаль, ее нет сейчас.— Ващенко развел руками.— Работает, ночью домой приходит. А я, как видите, сам хозяйничаю, обеды себе разогреваю. Не хотите ли со мной за компанию?

Я отказался от обеда. Ващенко, извинившись, сел за стол. Мы разговаривали о Валентине Павловне, о ее занятости, о неудобствах быта, когда жена с излишним рвением отдается работе. Поговорили о погоде, о больших снегах, вместе выразили желание, чтоб весна была дружной: «Тогда уж можно надеяться на урожай...»

После обеда Ващенко сосредоточенно ковырял в зубах, вид его был покойный и веселый. И вся знакомая мне квартира с висящим над столом желтым абажуром хранила на себе следы покоя и довольства.

Дверь в комнату, где когда-то лежала Аня, распахнута, там теперь стоял письменный стол, перекочевавший отсюда. Корешки книг как-то успокоительно поблескивали при лимонном свете, просачивающемся сквозь абажур. Даже пейзаж — болотце с ельничком и пасмурным небом, — казалось, уже больше не тревожил прадедовской печалью, а занимал свое место в общем уюте.

Побыв ровно столько времени, сколько нужно для приличия, я стал прощаться. Чужие тревоги, чужие беды еще могут вызывать и сочувствие, и интерес, и даже ответную тревогу, а чужое счастье всегда выглядит скучно. Не зря же романисты обрывают свои истории на том месте, когда после неудач и страданий герои обретают покой и благополучие.

Задевая за черные трубы, над голубыми пухлыми крышами плыла луна. Она освещала снежные богатства, затопившие село Загарье.

Хорошо бы утром встать пораньше, взять ружье — да в лес, встряхнуться, выветрить из себя накопившуюся за последнее время муть! Завтра утром не выйдет. Завтра с девяти, как всегда, начнутся уроки. Да еще Тамара Константиновна обещала нагрянуть с визитом. Надо быть готовым. Придется снова сидеть часов до двух, курить, ломать голову, рыться в бумагах...

Завтра не выйдет, но в первый же выходной я вырвусь. Непременно!

На следующий день Тамара Константиновна оказалась слишком занятой, не сумела посетить мои уроки. Не собралась она и на третий день и на четвертый. Я догадывался, что тут не обошлось без Степана Артемовича. Он, верно, не хотел поднимать лишнего шума. Всякий шум мог бы вызвать любопытство, споры, обостренный интерес, а если я стану по-прежнему копать в одиночку, то привычный ритм школьной работы не будет потревожен. Другое дело, когда я споткнусь, потерплю неудачу, тогда можно и спросить, осудить, запретить. Степан Артемович не любил поступать неосмотрительно и без нужды торопить события.

Во время одной перемены в учительской подошел ко мне Олег Владимирович Свешников и открыто обратился:

— Разрешите попристутствовать у вас на уроках?

Олег Владимирович, этот краснолицый, грузноватый мужчина, с густыми бровями (он имел привычку подкручивать их, как усы), несмотря на свое грозное обличье, был застенчив и покладист, один из немногих находился в близких отношениях с колючим и задиристым учителем физики. Василий Тихонович, верно, постарался расписать ему мои уроки.

— У меня сейчас свободное время, а я так много слышал о ваших делах... Нельзя ли сейчас... — со своей угрюмоватой и застенчивой улыбкой, выкручивая толстыми пальцами брови, говорил Олег Владимирович.

— Конечно, конечно, в любое время, — поспешно согласился я.

— Пригласите-ка, дружок, и меня! — весело откликнулся от стола Иван Поликарпович. — Весьма любопытно, что вы там творите.

Оба авторитетные педагоги, оба доброжелательные, искренние люди, никогда не случалось, чтоб они проявляли к кому-нибудь чувство профессиональной зависти. Если и заручаться чьей-то поддержкой, то только их.

Тамара Константиновна, сидевшая в это время на другом конце стола, со скрытым смутением уставилась на нас. Запретить посещение моих уроков она не могла, но интерес к ним ее тревожил. И она, должно быть, решила — лучше пойти вместе со всеми, чем пустить на самотек.

— Андрей Васильевич, — произнесла она, — сейчас и я, кстати, могу попристутствовать на уроке.

— Очень рад. Идемте вместе.

— И я с вами! — вызвался еще один из молодых учителей.

Только в этом году он появился в нашей школе. Сразу же из пединститута, круглолицый, румяный, с большим ртом и мальчишеской беспорядочной шевелюрой, он всеми силами старался прикрыть свою молодость — курил вонючую трубку для солидности, держался степенно, старался говорить воркующим басом, знакомясь с новыми людьми, нарочито крепко жал руку, веско произносил: «Локотков, Егор Филиппович», — и не мог скрыть самолюбивой обиды, если его называли не Егором Филипповичем, а просто Жорой. Он испытывал трепетное уважение к Степану Артемовичу, с горячим почтением относился к Ивану Поликарповичу за возраст, за внушительную седину, за то, что любого из учителей тот может называть попросту: «другок мой». И сейчас Жора Локотков вызвался идти ко мне на урок только потому, что подал голос Иван Поликарпович.

После звонка, когда шум перемены улегся в коридорах, стихийно возникшая комиссия направилась к дверям седьмого «А»: Тамара Константиновна со своей медлительной, бережной походкой, Олег Владимирович, выступающий вперевалочку, Иван Поликарпович, как всегда высоко державший свою седую голову, поминутно расправляющий крючковатым пальцем усы, Жора, он же Егор Филиппович Локотков, едва сдерживающий мальчишескую прыть в ногах.

Обсуждение урока началось еще в коридоре, как только дверь класса захлопнулась за нашими спинами.

Олег Владимирович, забежав вперед, склонив на плечо свою крупную, с дремучими бровями голову, с первого же слова выразил опасение:

— Простите, Андрей Васильевич, не выльется ли в конце концов такое коллективное заучивание в сухую зубрежку?

— Да, если пустить на самотек, если не принять мер, непременно выльется. Это самая большая опасность.

Если не принять мер? А какие меры вы принимаете?

Но в эту минуту мы подошли к дверям учительской, и я не успел ответить Олегу Владимировичу.

Собравшиеся здесь учителя прекратили разговоры, уставились на нас с любопытством. Тамара Константиновна, почувствовав общее внимание, повернулась ко мне, широкая, монументальная, со взглядом, направленным прямо в переносицу.

— Фокусы! — заявила она громко. — Никому не нужные фокусы! Такое у меня впечатление, Андрей Васильевич.

Я развел руками.

— Могу только возразить, что не согласен с вами.

— Разумеется, — презрительно дернула углом сочного рта Тамара Константиновна.

— Минуточку, — перебил ее Иван Поликарпович. — Хочется беспристрастно разобраться... Олег Владимирович тут задал интересный вопрос: какие меры принимаете вы, Андрей Васильевич, чтобы избежать опасности зазубривания? Весьма любопытно, как вы ответите.

Учителя повставали со своих мест, один за другим направились от стола в нашу сторону. Олег Владимирович придвинулся вплотную, на красном широком лице — обостренное внимание. Иван Поликарпович возвышался передо мной, чуть закинув назад седую голову, бережно трогая согнутым костлявым пальцем усы, — невозмутимый, строгий, беспристрастный судья, — ждал ответа.

Я вынул из тетради одну из карточек-вопросников.

— Пока только такие меры.

Иван Поликарпович не спеша взял карточку, не спеша достал из кармана очки, не спеша оседлал свой нос, нахмурясь, стал вчитываться.

— М-да... Я не специалист по русской грамматике, но вопросы в этой карточке мне кажутся не совсем обычными.

— Если они будут обычные, трафаретные, то на них легко будет готовить и трафаретные ответы. Все спасение от зубрежки, что вопросы необычны. Ученики не должны заучивать готовые ответы из учебников, а искать их самостоятельно.

— Любопытно. — Иван Поликарпович вертел в руках карточку. — Ну, а если и такие карточки не окажутся надежным средством?

— Попробую найти что-то другое.

— Что?

— Не знаю.

— А не получится так, что вы примиритесь с забыванием?

— Не получится. Я тогда прекращу эти занятия и признаю во всеуслышанье свое поражение.

Учителя плотно обступили нас. Тамара Константиновна протянула руку к карточке.

— Фокусы! И не только ненужные, но и небезопасные. — Она небрежно проглядела карточку и сунула ее стоявшему рядом с ней Акиндину Акиндиновичу.

Тот пугливо взглянул и передал дальше. Карточка пошла по рукам.

— Все-таки мне не совсем ясно, как вы думаете добиться успеха, — задумчиво, даже с ноткой какого-то соболезнавания в голосе произнес Иван Поликарпович.

Учителя, тесно окружившие меня, глядели одни с отчужденным любопытством, другие, вроде Акиндина Акиндиновича, с опаской. Но как у тех, так и у других я читал в глазах откровенное недоверие. И это недоверие, и соболезнавание в голосе Ивана Поликарповича, и враждебность Тамары Константиновны заставили меня с какой-то болезненной остротой почувствовать значительность минуты. Если сейчас не сумею ответить, не смогу убедить в своей правоте, все от меня отвернутся. Работать среди подозрительной настороженности, искать, не рассчитывая на чье-либо дружеское участие, знать наперед, что и сегодня, и завтра, и послезавтра будешь одиноким. Нет! Это верное поражение, надо устоять сейчас, надо ответить! Искренне, не прикидываясь всемогущим. Только искренность может вызвать доверие.

И, глядя прямо в выцветшие стариковские глаза Ивана Поликарповича, я заговорил:

— Вы ждете от меня точных ответов, Иван Поликарпович? Я больше вас хотел бы их знать. Пока я твердо знаю только одно: те уроки, какие я проводил раньше, меня не устраивают! Хочется, чтоб мои уроки были увлекательными, хочется за те же сорок пять минут давать больше знаний. Мало того, хочется, чтоб мой урок не только давал знания, но и воспитывал учеников. Плохо, если кто-нибудь из класса не запомнит особенности языка «Песни про купца Калашникова», но с этим еще как-нибудь можно мириться. А вот если я не научу элементарной человеческой

честности, самостоятельно думать, не привью чувства товарищества, то это уже преступление перед обществом. Я точно знаю, чего хочу. А как это сделать?.. Я ищу! Я надеюсь найти! Я пока в самом начале поисков! Мне многое неясно, наверняка будут ошибки. И все-таки я буду искать!..

Я говорил и видел перед собой только Ивана Поликарповича — дубленые, крупные морщины, чуть тронутые табачной желтизной седые усы, ясные, доверчивые глаза, глядящие поверх очков. Я говорил, а его лицо, казалось, продолжало оставаться бесстрастным; только взгляд с каждым моим словом становился мягче, теплей и в то же время неуловимо тревожней. И я уже чувствовал: он понимает меня, он верит мне чем дальше, тем сильнее. Это подхлестывало меня.

— Многие из нас из рук вон плохо используют свои уроки. И почему-то это не слишком тревожит, зато желание искать сразу же вызывает недоверие. Фокусы?.. Ненужные?.. Вредные?.. А не больше ли вреда сидеть сложа руки? Я не семи пядей во лбу, один не открою Америки. Не сегодня, так завтра мне понадобится помощь всех, кто работает со мной бок о бок. И самое страшное, если вы все отвернетесь или постараетесь подставить ножку при первых, наверняка беспомощных, шагах, какие я сейчас пытаюсь сделать.

Я замолчал, рукой вытер выступивший на лбу пот. Учителя, внимательные и молчаливые, стояли вокруг. Олег Владимирович, стиснутый с боков, поднял высоко на лоб свои густые брови, и его обычно спрятанные за бровями глаза были открыты — на удивление наивные, бесхитростно добрые, с уютной домашней рыжевatinкой.

— Безответственные фразы, — первая подала голос Тамара Константиновна, но в тоне, каким были произнесены эти слова, не чувствовалось уверенности.

Все зашевелились, под ногами закрипели крашенные половицы.

Иван Поликарпович, закинув назад голову, продолжал разглядывать меня. Но вот пошевелился и он, чуточку смущенный, старающийся скрыть смущение за показной стариковской торжественностью.

— Андрей Васильевич, — произнес он размеренно, — я слушал вас и... знаете, завидовал вам. Да, да, завидовал, что вам только тридцать три года, завидовал вашей дер-

зости. У вас есть чистые помыслы, есть впереди несколько десятилетий и, наконец, эта дерзинка. Вот вам моя рука.— Он протянул свою широкую, костлявую, со вздувшимися суставами руку.— И если что — рад буду вам всегда помочь.

7

Степан Артемович вызвал меня в конце дня.

Его кабинет ничем не изменился: та же карта на стене, усеянная красными кружочками, показывавшими, в каком месте страны живут и работают бывшие ученики нашей школы, те же фотографии молодых и славных ребят в военной форме и в штатских костюмах, так же, как всегда, за массивным столом, спиной к окну восседал маленький, крупноголовый, остроплечий Степан Артемович.

Сбоку от него, сложив на выступающем животе руки, сидела Тамара Константиновна. Она отворачивала от меня лицо, в ее облике уже не было прежней монументальности и подтянутости, она как-то огрузнела сейчас, раздалась вширь, не вздергивала с независимой высокомерностью свой подбородок.

— Присаживайтесь, Андрей Васильевич,— без тени недовольства, буднично пригласил меня Степан Артемович.— Присаживайтесь и рассказывайте, что вы там замышляете?

— Пусть он объяснит, Степан Артемович, почему никого из нас не поставил в известность,— произнесла в сторону Тамара Константиновна.

Степан Артемович не повел и бровью, ждал, когда я начну говорить.

Я уселся на стул и принялся подробно излагать все, что в свое время рассказывал Тамаре Константиновне. Степан Артемович слушал со своим обычным бесстрастным и вежливым выражением.

Он умный человек, кроме того, он не лишен какого-то тщеславия. Он хочет, чтобы школа, возглавляемая им, была передовой, чтоб о ее успехах трубили по всей области. Так в чем же дело? Пусть поможет, пусть поддержит. Мы общими усилиями изменим преподавание, станем примером для всех школ области. Василий Тихонович ошибался, наговаривая на Степана Артемовича. Степану Артемовичу нет расчета быть нашим противником, он должен

поддержать нас. Он же не Тамара Константиновна, которой действительно есть основания бояться за свою судьбу. Она, как завуч, не сможет ни помочь, ни подсказать. Но что значит Тамара Константиновна, если Степан Артемович станет на нашу сторону!

Степан Артемович, склонив на плечо голову, внимательно слушал, и его внимание подхлестывало мое красноречие.

— Одно замечание, — вежливо перебил он меня. — Поиски нового, как правило, начинаются тогда, когда не удовлетворяет старое. Без ломки старого появление нового невозможно. Так, если не ошибаюсь, гласит диалектика?

— Да, Степан Артемович, что-то ломать придется, — ответил я, в упор глядя в его холодные, не выражающие ни сочувствия, ни упрека глаза.

— Прекрасно. Тогда вопрос: вы целиком уверены в успехе того дела, за которое взялись с такой энергией?

Ради того, чтобы выгодно показать себя, я должен кратко и твердо ответить сейчас Степану Артемовичу: «Да». Но имею ли я право отвечать так? Авиаконструктор не может полностью быть уверенным в летных качествах своего самолета до тех пор, пока этот самолет не поднимется в воздух, пока его досконально не проверят летчики-испытатели. Микробиолог в самом начале своих опытов никогда не ответит точно, будет ли его вакцина способствовать выздоровлению. Моя работа только начата, я во всем сомневаюсь. Разве могу я ручаться, что впереди не откроются передо мной неожиданные пропасти и неприступные хребты и что не придется длительно искать окольных путей? Все, чем я могу похвастаться, есть скромное, не очень совершенное руководство к действию, но рецепта, гарантирующего полный успех, у меня не существует.

Степан Артемович смотрит на меня спокойно и холодно, ему дела нет до тех сомнений, которые переполняют меня. Он терпеливо ждет прямого и точного ответа. Он понимает, что даже солгать я не имею права. Солгу, скажу бодрое «да» — при первом же затруднении он спросит: «Где же успех? Вы обещали его».

И я ответил уклончиво:

— Много неясного. Мне одному все выяснить не под силу. Давайте выяснять, откройте дверь поискам, будем искать коллективом.

— Значит, вы в каких-то частностях не можете ручаться за правильность поисков? Не так ли?..

— В частностях? Конечно, не могу.

— А нужно ли говорить, что нередко неприметные на первый взгляд частности решают судьбу дела? Вспомним историю... — Степан Артемович когда-то преподавал историю и любил иногда прибегать к историческим сравнениям. — Многие считают, что Наполеон, возможно, выиграл бы решающее сражение под Ватерлоо, если б некий генерал Груши не заблудился со своими отрядами и сумел вовремя подойти с подкреплениями. Вот что значит частность! А вы мне сейчас говорите, что не можете ручаться за частности. Могу ли после этого я доверять вам, могу ли вместе с вами рисковать школой?

— Но если бояться частных ошибок, то остается только топтаться на месте. Тем более что ваш опыт, Степан Артемович, ваш трезвый расчет поможет заранее подсказать сомнительные частности, — не без умысла польстил я.

— Дорогой Андрей Васильевич, мой трезвый расчет подсказывает, что главная наша задача, ради которой государство содержит нас, — это учить детей. А вы мне вместо полезной деятельности предлагаете экспериментировать. Я не исследователь, а директор нормальной школы, эксперименты в моем положении просто опасны, они могут отвлечь, запутать, разрушить дело, которое я налаживал много лет.

Мои надежды сговориться, найти общий язык со Степаном Артемовичем окончательно улетучились. Напротив меня за массивным столом в окружении портретов, пожелтевших документов, обширной карты Советского Союза, прославляющих деятельность школы, сидел человек с железным характером. Он доволен собой, доволен делом своих рук, и его дело признано, а какой-то рядовой, никому не известный учитель пытается поправлять все то, что создано его многолетним трудом. Нет, Степан Артемович ни за что не пойдет на уступки. Я понял это и почувствовал себя свободнее: что ж, война так война!

— Степан Артемович, — заговорил я с вызовом, — вы боитесь экспериментов, вас пугают частности, а почему вас не пугают такие наболевшие вопросы, как, например, недопустимая перегрузка наших учеников занятиями?

Вы же знаете, сколько средний ученик отдает времени учебе, вы знаете, что его рабочий день равен десяти — одиннадцати часам!..

— Молодой человек! — властно перебил меня директор. — Я все знаю, нет необходимости открывать мне глаза на недостатки, я немного поосведомленней вас. Перегружен? Да, перегружен! Я это открыто признаю. У нас два выхода: или освободить от перегрузки учеников и не дать им прочных знаний, или дать эти знания и перегрузить. Я придерживаюсь последнего. Я перегружаю учеников и учителей и не терзаюсь совестью. Так надо!

— А я считаю: можно и нужно найти третий выход.

— Вы будете считать по-своему, когда сядете на мое место и не головой какого-нибудь Степана Артемовича или Тамары Константиновны, а своей собственной будете отвечать за успехи школы.

— А до тех пор я обязан вам слепо повиноваться?

— Степан Артемович! — возмущенно и жалобно воскликнула Тамара Константиновна. — Каким тоном он позволяет себе разговаривать с вами!

Степан Артемович не обратил внимания на ее восклицание. Он перегнулся ко мне через стол и жестко отрезал:

— Да, повиноваться! Этого требует элементарная рабочая дисциплина

— Слепо?

— Зависит от индивидуальности. Не можете иначе, повинуйтесь слепо. Все-таки это менее опасно для дела, чем замешивание утопических заквасок в коллективе.

— Ну, а если я все же буду отстаивать свои взгляды?

— Если так... — Степан Артемович сделал сухонькой рукой широкий жест над столом. — Отстаивайте, но потом пеняйте на себя. Вы же знаете, я шутить не люблю.

— Вот так же меня стращала и Тамара Константиновна.

— О нет, я не стращаю, я предупреждаю.

— Что я могу оказаться за стенами школы. Не так ли?

— Если будете настойчиво мешать, ничего другого мне не останется сделать.

— Я удивлялся Тамаре Константиновне, удивляюсь теперь и вам, Степан Артемович. Вы как-то уж слишком быстро решаетесь на крайние меры, практически не ознакомившись с тем, что я делаю.

— Вы ошибаетесь, Тамара Константиновна ознакомилась сегодня с вашим уроком и подробнейшим образом доложила мне. Почему вы считаете, что я не должен доверять своему завучу?

— Степан Артемович, — я поднялся со стула, — вы влиятельный человек, вы сильнее меня, верю — можете сломать, выкинуть из школы, какими-нибудь другими способами призвать к повиновению. Но по мере моих сил я буду сопротивляться. Что мне сказать еще? Прощайте.

— Я вас еще не отпустил. Рано прощаетесь... Слушайте мое последнее слово, Андрей Васильевич. Я надеялся уладить недоразумение. К несчастью, не уладил. Мне придется вынести вопрос на обсуждение коллектива. Пусть сами педагоги беспристрастно обсудят, кто из нас прав и кто виноват. И чтоб вы или кто другой не посчитали, что я бесконтрольно пользуюсь своей властью, силой авторитета заставляю учителей склоняться на свою сторону, на педсовете при обсуждении вашего вопроса будет присутствовать представитель роно. Я попрошу, чтобы пришла сама Коковина. В ее ведении не одна наша, а все школы района, думаю, что можно рассчитывать на ее полную беспристрастность. Теперь все. Можете идти.

Я вышел из кабинета, провожаемый уничтожающим взглядом Тамары Константиновны.

За все время моей работы в школе я не припомню, чтобы кто-либо осмеливался противиться Степану Артемовичу. А тут вопрос стал: кто — кого. Конечно же, скорей всего он меня. Ну, мы так просто руки не опустим. Но кто мы? Я да Василий Тихонович. Нельзя же всерьез рассчитывать на Ивана Поликарповича, на Олега Владимировича или на этого Жору Локоткова. Они знают мою работу только по одному сегодняшнему уроку, каждый из них привык прислушиваться к мнению Степана Артемовича. На педсовете будет присутствовать заведующая роно Коковина. Может, она встанет на мою сторону? Ой, нет, мне уже известно, что это за человек. Она будет на стороне того, чей голос громче. А мой голос — мышинный писк по сравнению с авторитетным голосом Степана Артемовича. Положение не из завидных.

Впрочем, поживем — увидим! Будем ждать педсовета.

К черту все! Я устал от недосыпаний, отравил себя папиросами, устал от постоянного напряжения: получится или нет, удастся урок или не удастся? А впереди еще стычки со Степаном Артемовичем, обсуждение на педсовете. Устал! Надо встряхнуться.

Утром в воскресенье я снял со стены пыльное ружье. Ружье у меня было самое обыкновенное — берданка шестнадцатого калибра, купленная в магазине сельпо четыре года назад. Моей гордостью были лыжи. Не узкие, не тонкие, не легкие на ходу, не из тех, что всей своей стремительной формой приспособлены для игривого бега по накатанной лыжне, лыжи ради развлечения, ради приятного отдыха. Мои лыжи были широки, тяжелы, неуклюжи на вид, у них непривлекательно рабочий вид, на них не помчишься птицей, наслаждаясь визгом плотного снега. Зато мои лыжи хорошо держат на самом хрупком насте, ими легко пробивать путь в наметанных сугробах, они не запутываются в кустах, а давят их, вминая в снег, наконец, на них очень легко взбираться на горы, так как в конце каждой лыжни врезана шкурка. Она снята с ноги лося повыше косматых бабок, где щетинистая крепкая шерсть стекает в одну сторону. Лыжи эти я купил у старика Фаддея Рюхина из деревни Петрово Осичье. Когда-то Фаддей был одним из лучших медвежатников в округе, теперь дряхл, чинит в колхозе сани, бондарничает, но при нужде может сделать и лыжи, такие вот топорные, не особо легкие на ходу, лыжи настоящего лесовика.

Сколько они мне доставили наслаждения! Сколько измял я ими снежной нетронутой целины, сколько рубашек и свитеров промочил я на них своим потом, сколько раз я, сминая кусты, слетал по крутому склону на дно дремучего, отгороженного от всего мира сугробами оврага! Случалось головой, плечами, всем телом зарываться в мягкий и жгучий снег, а потом, проваливаясь по пояс, искать убежавшие в сторону лыжи.

Лес, засыпанный снегом, красив, но чем-то и страшен. Ветер обычно бьет только опушку, только с крайних деревьев он сметает снег. Они стоят перед полями темные, голые, начисто обмытые метелями. В глубину же леса ветер не проникает, и там день за днем, ночь за ночью нарастает снег. Только часть его достигает земли, добрая

половина остается висеть в воздухе на ветвях. Ели больше других деревьев заметены: многие так укутаны в снежные шубы, что только кончики ветвей, словно черные пальцы, кое-где прорывают тяжелое пушистое покрывало. Ели спокойно выносят снежную тяжесть. Для березок же, особенно молодых, гибких, у которых нет матерой закваски, снег — наказание. Они летом тянутся к солнцу, стараются пробиваться вверх из еловой сумрачной тени — и пробиваются. Но вот приходит зима, пушинка за пушинкой, невесомый кристаллик за кристалликом падает на них снег, застревает в ветвях, растет груз, гнется под ним березка ниже и ниже в упругую дугу, пока не упрется макушкой в ноги какой-нибудь беспечно стоящей ели, тепло укутанной тем же снегом.

Возьмешь такую березку за вершину, тряхнешь ее, как кошку за хвост, — рухнет беззвучно снег, обдаст слепящей пылью, вырвет из рук свою вершину березка, со вздохом распрямится, но не совсем. Так и останется она наполовину сгорбленная. Раз уже поддалась, раз уже оказалась согнутой — жить ей и дальше смиренной калекой всю жизнь. В следующую зиму еще больше согнет ее снег, еще ниже придавит к земле — не тянуться вверх, не воевать за солнце.

Красив лес в снегу! Жалкий кустик, в своем обычном виде похожий на растрепанный веник, напоминает теперь с силой вырвавшийся из-под запорошенной земли взрыв, казалось бы с незапамятных времен и навечно застывший в своем отчаянном взлете. Куча полусгнившего хвороста, загромоздившая крошечную полянку, похожа на перепутанное кружево, сплетенное рукою великана. Пень выглядывает из-под тучной чалмы. Еловые лапы — если приглядеться, каждая имеет свою физиономию — прямо в глаза строят немые снежные рожи. Все необычно, с роскошью до безрассудства, с излишеством через край, со щедростью до иступления. Где-то высоко вверху шумит ветер, а здесь, в лесу, не дрогнет ни одна веточка, не шелхнутся в своих объемистых снеговых рукавицах еловые лапы. Ни движения, ни звука, все кругом нетронуто, все мертво — исчезла жизнь, вместо нее холодная декорация.

И минутами тебе, живому, способному двигаться, глядеть, чувствовать красоту, ощущать холод осыпавшегося за воротник снега, становится не по себе. Невольно охватывает пронзительное чувство одиночества. Порой нава-

ливаются щекочущие сомнения: а не перевернулось ли время, не попал ли ты из двадцатого шумного века куда-то в неразгаданно далекий век, где еще не появилось ни единого живого существа, тело которого заполнено горячей кровью, где стоят только не умеющие ни думать, ни чувствовать окаменелые деревья, родичи мертвых скал? Где города с людскими толпами, бешеными потоками автомашин? Где села с чадным запахом дыма из труб? Где книги с высокими мыслями, газеты, кинематографы, самолеты? Где взвинчивающие нервы разговоры об атомных и водородных бомбах? Где школа, распри со Степаном Артемовичем, неразгаданные проблемы, вечера за письменным столом в клубах табачного дыма? Нет этого, не верится в их существование. Все, что осталось за спиной, несовместимо с этой устрашающе красивой первобытностью.

Красив лес в снегу!..

Я не убил ни одного зайца, только раз потревожил тетерева. Перед самыми моими лыжами раздался взрыв, лицо обдало колючей снежной пылью, и сквозь снежную чащу с шумом крупного артиллерийского снаряда полетела тяжелая птица. А ружье у меня было перекинуто за спину, его нужно снимать через голову. Я даже не попытался этого сделать.

9

Презирая санные дороги, торные тропинки и укатанные лыжни, я уже в сумерках выбрался на задворки МТС. В стороне маячили темные цистерны с горючим, впереди горели редкие огоньки мастерских.

Я попал в самое глухое место усадьбы, не посещаемое ни трактористами, ни жителями маленького энтээсовского поселка.

Более двадцати пяти лет тому назад была организована эта МТС. За четверть века через нее прошло немало машин: тракторов, комбайнов, сортировок, косилок. Машины старели, на смену им приходили новые, тоже старели, израбатывались, списывались, отвозились подальше от парка, в этот угол. Отсюда, наверное, не раз увозили металлолом — ржавые массивные колеса, рамы, износившиеся моторы, погнутую, искалеченную арматуру. Но немало осталось здесь еще рухляди. На полусгнивших остовах комбайнов лежал толстым слоем снег, из сугробов то тут,

то там высывались лопасти хедеров, на железных ржавых сиденьях косилок, как в лесу на пнях, покоились нетронутые снежные шапки. Здесь остатки битвы, продолжавшейся двадцать пять лет на полях ближайших колхозов, здесь погост железных тружеников, почтенная и бесславная свалка.

Спотыкаясь, проваливаясь, царапая лыжи, я прошел мимо всего этого, пронося чувство некоторой подавленности, какое испытываешь обычно на любом кладбище.

Из дверей приземистой, похожей на рабочий барак мастерской вылетал на измятый снег ослепительно-голубой, нервный свет сварки. В этом слепящем, то вспыхивающем, то гаснущем свете в распахнутых дверях стоял, расставив ноги, долговязый человек. Я узнал его.

— Василий Тихонович! — окликнул я его. — Ты чего здесь?

Он оглянулся, шагнул ко мне. При вспышках сварки резкие тени плясали на его сухом горбоносом лице, пытались сорваться и не могли, — казалось, какая-то птица машет крыльями перед его глазами.

— Это ты?.. С охоты? Кого убил?

— Время убил, — ответил я обычной шуточкой всех незадачливых охотников.

— Время... Я тоже вот убиваю время. Безделку делаю. Ребята, кончайте без меня. Они мне деталь варят...

— Что за безделка? Какая деталь?

— Да вот ударила дурь в голову, приспособление для дверей сделать. Мальчишество!.. С фотоэлементом. Чтобы подошел к двери, а она перед тобой сама распахивалась. Сейчас стою и думаю: «Зачем мне все это?» — И неожиданно он приказал: — Сними-ка лыжи, сходим в одно место.

— Куда? Я, брат, с ног валюсь.

— Не бойся, недалеко здесь, за углом. Пока тут околавивался, пришла мне идея...

Мне пришлось снять лыжи и отправиться за Василием Тихоновичем. Он завернул за угол мастерской, стал прокладывать путь по колено в снегу.

— Вот видишь машину? — указал мне Василий Тихонович, останавливаясь.

— Какая же это машина? Такой рухляди там, — я кивнул головой в сторону, откуда пришел, — обозами не вывезешь.

Утонув в сугробе, темнел в сумерках трактор — на капоте до половины кабины снег, снег на крыше кабины, в самой кабине.

— Не экспонат для выставки показываю. Но я уже ощупал — оживить можно.

— Зачем? Вместо экипажа, чтоб в школу из дома по утрам ездить?

Василий Тихонович ответил не сразу, стоял перед заметенным снегом трактором по колесо в снегу, задумчиво его разглядывал.

— Хочу, чтоб у ребят было интересное занятие.

— Этот покойник?

— А почему бы и нет для начала?

— Что значит — для начала?

— Для начала того, о чем мы с тобой говорили.

— Труда?..

— Именно. Вот трактор — он отжил свой век, его на днях списали. Через месяц или два свезут как хлам. Почему бы его не прибрать к рукам? Соберем группу учеников и скажем: хотите научиться управлять трактором, хотите иметь свою собственную машину — засучивайте рукава, добивайтесь у МТС помощи, учитесь организации. Все, о чем мы с тобой толковали, в миниатюре будет присутствовать здесь. С этой изъезженной энтээсовской клячей хватит возни по горло. Тем лучше. Она заставит ребят сообща ломать голову, коллективно действовать.

Мне стало обидно за Василия Тихоновича. Мы мечтали о труде, который бы приносил доход, о хозяйстве, которое бы росло, тень Макаренко, казалось, вырастает за нашими спинами, а тут какой-то кружок юных трактористов, копание в железном ломе, который не успели выбросить на свалку. Что-то быстро мельчают у Василия Тихоновича замыслы.

— Не нравится. Я себя чувствую так, словно собирался на медвежью охоту, и вдруг вместо этого предлагают ловить блох. Мол, не все ли равно, за чем охотиться, лишь бы охотиться.

— Если ты такой любитель бить крупного зверя с ходу, то выйди завтра, объяви всем учителям: «Ломай старое! Да здравствуют новые способы обучения!»

— Ну, знаешь...

— То-то и опо! Сам-то делаешь опыты, тщательно выверяешь, высчитываешь, не бросаешься сломя голову на авось, а передо мной корчишь кислую мину — ловля блох! Прежде чем строить машину, надо сделать модель. Эта возня с трактором и будет для нас такой моделью. Мы не знаем, на что способны наши ученики. Могут ли они увлекаться? Могут ли ради этого увлечения переносить ковыряния в грязном моторе, неудачи в организации? Даже если этот трактор не удастся поставить на колеса, мы все-таки кое-что сумеем для себя открыть. И то польза.

— А кто будет заниматься этим с ребятами?

— Я. Ты действуй в своем направлении.

— А Степан Артемович? Его тоже надо принимать в расчет, как еще посмотрит.

— Если ему мало войны с тобой, пусть воюет на два фронта. Я придерживаюсь такого правила: чем труднее ему, тем нам легче.

Серые сугробы снега через несколько шагов от меня сливались с черным небом. Отсюда не было видно ни одного огонька — сплошная мрачная тьма, бездонная, засывающая взгляд. Наверно, таким себе и представляли первозданный хаос люди, творившие библейские легенды, — ни света, ни времени, ни пространства, все перемешано. Среди пепельных сугробов маячила длинная, несколько нескладная фигура моего товарища, да в тишине звучал его упрямый, с жесткими интонациями голос. Мне пришлось начинать с урока, где я применил известный всем эвристический прием. Восстановить разбитый трактор тоже не новое дело, но, может, отсюда и станет трещать сколоченный Степаном Артемовичем порядок.

Пусть будет трактор, начнем с малого.

— Ну, пойдём. Нам тут больше торчать нужды нет, — произнес Василий Тихонович.

Мы выбрались из сугроба, вернулись к мастерской, двери которой были уже закрыты. Я подобрал свои лыжи, взвалил на плечо.

— А все-таки ты веришь, что эту развалину можно поставить на колеса?

— Можно. Ходовая часть вроде в порядке. Мотор нужен новый.

— Где ты достанешь новый мотор?

— Я ничего не буду доставать. Пусть ребята сами бе-

рут за горло директора МТС, главного инженера. Выпрашивать, брать за горло — тоже труд, пусть и этому учатся.

С этими разговорами мы подошли к конторе МТС. Несмотря на воскресный день, там, видно, проходило какое-то собрание. На крыльцо высыпал народ: попыхи-вали папиросами, перекидывались прощальными словами, запахивая на ходу пальто, повизгивая валенками, расходились.

Впереди нас мелкими четкими шажками шла женщина, прятая лицо в воротник шубы. По папористой, с резкими толчками походке я узнал Валентину Павловну.

Василий Тихонович двигался лениво, обстоятельно мне доказывал, что надо поторапливаться, пока трактористы не растащили по частям этот списанный трактор, а Валентина Павловна шла быстро. Сразу же за конторой МТС началось большое поле, летом обычно засаженное картошкой энтээсовских работников. Сейчас, заметая дорогу, по нему стлался ветер. Если я не окликну Валентину Павловну, то через минуту-другую она скроется в темноте, исчезнет за легкой поземкой.

И я окликнул:

— Валентина Павловна!

Она остановилась, обернулась, стараясь сквозь сгустившуюся темноту взглянуться — кто зовет? Узнала, торопливыми шажками двинулась навстречу.

— Андрей Васильевич!

Придерживая воротник варежкой, стараясь закрыть щеку от ветра, она глядела на меня снизу вверх, и глаза ее возбужденно и как-то растерянно блестели в темноте.

— Что за вид! И ружье и лыжи! Здравствуйте, целую вечность вас не видела. Как вы сюда попали?

— Я с охоты... А вот... Вы, кажется, знакомы?

Василий Тихонович протянул руку:

— Горбылев. Встречались.

— Да, да, встречались... В МТС, совещание было. На них теперь со всех сторон жмут с ремонтом, по воскресеньям заседают. Из областного управления приехали к ним... Вы домой? Так идемте вместе. Что за ветер! Насквозь продувает...

Она была со мной нервно разговорлива, и по ее словоохотливости, как и по возбужденно блестящим глазам, я понял: она рада этой неожиданной встрече. Стало горячо и тревожно в груди, сразу же исчезла усталость.

Валентина Павловна спросила, что у меня нового. Я ответил:

— Очень много. Василий Тихонович, — обратился я к нему, молчаливо вышагивающему рядом, — я тебе не говорил, а ведь это Валентина Павловна достала рукопись Ткаченко. Она, можно сказать, крестная нашего дела...

И чтоб как-то приглушить неловкость первых минут встречи при отчужденно молчавшем Василии Тихоновиче, я заговорил о школе, о своем недавнем разговоре со Степаном Артемовичем, о том, что предлагал Василий Тихонович. Сказал и пожалел: Валентина Павловна сразу же набросилась на Василия Тихоновича:

— Копать картошку, пахать землю, выращивать свиней! Такую уж пользу принесет это, как вы рассчитываете?

— Копать картошку, выращивать свиней — именно! — с холодной вежливостью отвечал Василий Тихонович. — Именно пользу, а не вред.

— Что ж, теперь это модная точка зрения. Труд, мозоли на руках с самого детства. Но не получится ли так, что у ребенка этим отнимут его детство? Труд слишком значительная и серьезная вещь, чтоб к нему можно было относиться легкомысленно.

— Как вы понимаете детство? Зубрежка учебников да невинные развлечения вроде сломя голову гонять лапту или без цели торчать в подворотнях, перемывая косточки старшим?

— Сделайте так, чтоб эти развлечения были полезны, обогащали детей: устраивайте походы, заставляйте строить модели, знакомьте с природой. Когда человек еще может почувствовать красоту жизни, как не в детстве! После того как он вырастет, ему волей-неволей придется познакомиться и с картошкой, и с подоюниками, и с бухгалтерскими книгами — со всем тем, что называется прозой жизни.

— А если эту прозу мы сумеем опоэтизировать?

— Труд есть труд, выгребание навоза из скотного двора ни больше ни меньше как грязная работа. Опоэтизировать это?.. Бросьте убаюкивать себя красивыми словами. Научить лепить торфоперегнойные горшочки или сажать картошку легче, чем привить культуру, широту взглядов, любовь к природе.

— Я тоже хочу, чтоб мой ученик обладал широтой

взглядов, культурой и всем прочим, что обычно высказывается в общих, звонких, внешне благородных фразеах. Хочу, поверьте, не меньше вас. Но между мной и вами, Валентина Павловна, есть существенная разница. Вам не придется задумываться над тем, как это сделать. Я же постоянно только об этом и думаю: как, какими приемами?

— И вы считаете, что таким приемом может быть копка картошки?

— Я в этом уверен.

— Тогда заранее могу сказать, что вы будете выпускать в жизнь духовно ограниченных людей. Вы хотите, чтоб человек с ранних лет рос в атмосфере практицизма. Может, вы считаете, что для машинного века нужны не живые люди, а просто дополнения к машинам? Тогда я пасую, тогда возражений с моей стороны нет!

Мы вошли в село. Василий Тихонович жил на этом конце. Он остановился, и я услышал в его голосе то знакомое, холодное, горбылевское раздражение, какое обычно прорывалось в нем, когда он говорил о Степане Артемовиче или о тупой ограниченности какого-нибудь учителя.

— Валентина Павловна! — покачиваясь с носков на пятки, глубоко засунув руки в карманы, произнес он, отчеканивая каждый слог. — Простите за откровенность, но трудно спорить с несведущим человеком.

— Вы хотите сказать, невежественным, — храбро поправила Валентина Павловна.

Я же невольно поморщился, предчувствуя ссору.

— Вот именно, — хладнокровно подтвердил Василий Тихонович. — Астроном не докажет верующей старухе, что среди небесных тел нет места для господ бога. Я тоже бессилен раскрыть перед вами, что копка картошки или что-то в этом духе при определенных обстоятельствах не отнимет у детей детства, а обогатит его. Считайте, что спасовал перед вами. Ваш добрый знакомый Андрей Васильевич понял меня, согласился со мной. Буду рад, если он вам сумеет объяснить на досуге. До свидания. Мне сюда.

Он кивнул головой Валентине Павловне, повернулся ко мне.

— Мы с тобой завтра обсудим поподробнее то дело, о котором говорили. Всего!

Размашистым шагом он двинулся прочь.

— Похоже, что я получила пощечину, — произнесла Валентина Павловна. — А вы на его стороне?

— Да, на его,

— Что ж, вы, помнится, когда-то были даже на стороне Степана Артемовича.

— Был. Теперь, как Белинский, могу сказать: «Кланяюсь вашему философскому колпаку и иду дальше».

— Буду надеяться, что вы не остановитесь и на Горбылеве, тоже раскланяетесь с ним в свое время.

— Валентина Павловна, вы спорили, руководствуясь только своим наитием. Почему ваше наитие должно быть ближе к истине, чем убеждения Василия Тихоновича?

— Знаете что, не будем совсем спорить! — Легкая рука Валентины Павловны просунулась под мою руку, с приблизившегося лица, на котором темнота сгладила черты, по-прежнему возбужденно и доверчиво блестели глаза. — Андрей Васильевич! Я давно ждала этой встречи с вами, не хочу отравлять ее спором. Хорошо, я признаю, что не права, я даже ради вас была бы готова принести свои извинения этому фанатику модной идеи, если б он не сбежал. Идемте к нам..,

— Как?.. С ружьем, с лыжами?..

— Разве ружье и лыжи помешают?

— Ладно, идемте, но только одно условие...

— Не спорить! Согласна. Я уже вам сказала...

— Нет, покормить меня. Я не ел с утра и сейчас готов съесть живьем волка.

— О, и на это условие согласна, — рассмеялась Валентина Павловна. — Идемте...

Придерживая одной рукой лыжи на плече, другой стараясь не отпустить невесомо легкую руку Валентины Павловны, я покорно зашагал рядом с ней.

Спор, так неожиданно случившийся на моих глазах, открыл мне, что эта женщина, которая идет сейчас бок о бок со мной, очень далека от того, чем я живу. Случайно она помогла мне иначе взглянуть на Степана Артемовича, случайно передала мне в руки рукопись Ткаченко. Я понимаю Василия Тихоновича. Легкомысленны и наивны возражения Валентины Павловны. Если б их произнес другой человек, я бы к нему проникся снисходительным презрением. Но ее не могу осудить. Я рад, что ее встретил, рад, что иду с ней рядом, что буду разговаривать, видеть ее. Ощущаю сейчас на своей руке ее руку. Легкая, воздушная рука, но ее нести труднее, чем тяжелые лыжи, локоть просто немеет от напряжения.

Скинув ватник, с пылающим после мороза, после колючего ветра лицом, в вылинявшем, заштопанном на локтях свитере, размякший от комнатного тепла, от еды, от горячего чая, я сидел за столом.

На меня завистливо глядел Ващенко, расспрашивал: — За Дворцовскую поскотину ходили?.. Как, до Гумнищенских полей дошли? Так ведь это добрых пятнадцать километров отсюда через поскотину-то. Без дорог, целиной, лесами! Здорово! Это, я понимаю, отдых! А я вот не умею отдыхать. Сегодня воскресенье, дел вроде никаких, отказался на совещание в МТС идти, а как отдохнул?.. Посидел дома, полистал книги, а потом... Потом все-таки от нечего делать потащился в райком, разбирал в одипочестве ненужные бумаги. Вот уж четырнадцать лет в лесных районах работаю, а ружья в руки не брал...

На столе блестела чайная посуда, углы комнаты залиты лимонным полумраком, сияет желтый абажур над головой, со всех сторон обступают толстые корешки книг.

Ващенко явно доволен моим приходом. Ему, должно быть, нравится мое одичавшее после целого дня шатаний по зимнему лесу обличье, правится пылающий цвет моего лица, мои натруженные лыжными палками руки, которые сейчас, налитые тяжестью, неподвижно покоятся на скатерти. Его глубоко упрятанные под лоб глаза доброжелательны и улыбчивы. А я почему-то смущаюсь перед ним, нет, не за свой вид, не за цвет лица — меня смущает его взгляд, его доброжелательность.

Я давно не видел Валентины Павловны (дорогой в темпоте не мог разглядеть). Она не то чтобы изменилась, она вообще всякий раз для меня новая, всякий раз не та, что была прежде, — лучше. И сейчас, скинув свою шубу, оставшись в темно-синем свитере — не таком, какой на мне, застиранном, обвисшем, а новеньком, плотно обтягивающем довольно полные плечи, небольшие груди, талию, — она кажется мне моложе, чем была в последнюю нашу встречу. Может быть, потому, что тогда я видел ее вскоре после смерти дочери. На меня она старается не глядеть, деловито хозяйничает за столом, но за опущенными веками, за ресницами таится беспокойство.

Ноющие мускулы, ломота в плечах, блаженное тепло, разливающееся по всему телу, смущающий своей доброже-

лательностью взгляд хозяина и беспокойство Валентины Павловны, волнующее меня,— все это выливается в необычайное ощущение полноты жизни.

Суетился, досадовал, утомлялся, давал себя разъедать волнениям и не понимал, что в моей власти отбросить все это в сторону. Стоило только вырваться в лес — какая там суета, какие там волнения! — снежные рожи на еловых лапах, согнутые стволы березок, закуржавевшие кусты...

Красив лес в снегу! Обмыл душу, устал, и как устал!.. Руки и ноги сейчас словно свинцовые. И прямо из лесу, из его первобытности попасть сюда, в этот мир, где чинно стоят книги на полках, уютно звенит чайная посуда, льется яркий свет на чистую скатерть, рядом красивая женщина, втайне, кажется, взволнованная моим присутствием, жепщина, о встрече с которой я мечтал. И даже то, что рядом ее муж, придает особую остроту. Полна жизнь, ничего больше не надо. Ничего! Мне теперь даже неловко от счастья.

Я сижу не двигаясь (и неподвижность — наслаждение!). Я молчу. Я так погружен в себя, что пропускаю мимо ушей разговор. Рокочет баском Ващенко, в него ручейком вливается голос Валентины Павловны. От моей охоты они переходят к тому, что надо уметь отдыхать, от отдыха к беспорядочности работы, которая без нужды загружена бесполезной возней, от этой возни к Клешневу, редактору районной газеты, у которого сейчас работает Валентина Павловна.

Мало-помалу я начинаю наконец замечать, что Ващенко тускнеет, в его взгляде исчезает веселость и доброта, а лицо Валентины Павловны становится замкнутым, складка рта выражает горечь и презрение.

— Нет, ты мне прямо объясни,— говорит она,— как Клешнев, этот ограниченный человек, этот черствый сухарь, попал в редакторы?

— Очень просто,— хмурится Ващенко.— Было свободное место, был в это время свободным Клешнев, анкеты подходящие, спросили — согласен ли, послали в область на утверждение. Словом, когда я появился здесь, уже все было утверждено, подписано. Клешнев работал в газете.

— И вместо того чтобы поставить вопрос о снятии его с работы, ты помогаешь подыскивать для него умного секретаря: мол, хоть секретарь сгладит клешневскую тупость. Была Глазкова — ушла, был Демин — ушел, теперь я играю в этой роли.

— Если помнишь, я как раз отговаривал тебя играть эту роль.

— Я не о себе говорю. Не меня, так кого-нибудь другого подыскали бы, а Клешнева все равно бы не тронули.

— Редактора газеты утверждает область. А там спросят: за что снимаете, какие у Клешнева ошибки? А он из тех, кто ходит только по истоптанным дорожкам. Какие же могут быть у него ошибки?

— А скука, а тупость, а бесцветность газеты? Разве это не достаточные поводы, чтобы снять?

— Скуки да бесцветности и в областных газетах хватает. К чему, к чему, а к этому привыкли. Дай явную ошибку, только тогда посмотрят — снять или оставить. Теперь я и вовсе безоружен перед Клешневым. Выступи против него, сразу же заговорят: а не для жены ли Ващенко старается, не для нее ли он собирается очистить место редактора?.. Я был против, чтоб ты к Клешневу устраивалась, но раз ты меня не послушалась, то тяни лямку, как ты назвала, умного секретаря.

— Умного... Разве можно быть умным при клешневской подозрительности, при его постоянной оглядке: «Как бы чего не вышло?» — Валентина Павловна повернулась ко мне: — Вот какие дела у меня, Андрей Васильевич. Что мне делать? Снова отступить?

Я слушал ее, и у меня в эти минуты, счастливого, уверенного в себе, накипала за нее обида. Опять неудача, опять несчастье, опять готова отступить! Сколько можно? Что за беспомощный человек!

— А что мне делать, Валентина Павловна? — спросил я ее. — Меня на днях вызвал к себе Степац Артемович и категорически запретил заниматься опытами. У него, видите ли, на этот счет свои опасения. Он зачеркивает все, чем я теперь живу. Все начисто! Что мне делать? Опускать руки, хвататься за голову, как вы сейчас мысленно хватаетесь? Я верю, что Клешнев и ограничен и черств, что он не дает вам развернуться, мешает вложить душу в работу. Верю! Но почему вы надеетесь на чью-то помощь? Почему вы ждете, что кто-то свыше, добрый, мудрый, всесильный, расчистит вам путь? Ищете няньку? Мечтаете о том, чтобы наша жизнь стала богаче, интересней, чище, и в то же время надеетесь на всесильного, доброго, всепонимающего дядю. Это значит рассчитывать, что жизнь устроится как-то без

нашей с вами помощи, это добровольно выкинуть себя из жизни!

Валентина Павловна глядела на меня округлившимися глазами. А я чувствовал: надо быть жестоким. Некуда ей отступать, половина жизни прожита! Еще немного, и сдадут силы, исчезнет энергия, появится апатия, начнется угасание — кухня, магазины, обеды. Она мне не безразлична, не вижу другого выхода спасти ее, как только ударить жестокой правдой.

И я говорил ей прямо во взволнованно порозовевшее лицо, в округлившиеся, потемневшие глаза, говорил, что она сейчас выглядит жалко, что ее поступки ничтожны, а жалобы на беспомощность не могут вызвать ничего, кроме презрения.

Я все высказал, откинулся на стуле. В комнате наступила тишина. Ващенко смотрел в стол, Валентина Павловна не спускала с меня застывшего взгляда.

Сейчас решится, сейчас она скажет слово, которое или начисто отрубит наше знакомство, или сделает нас ближе. Но Валентина Павловна не успела ничего сказать, мне на помощь пришел Ващенко. По-прежнему уставившись в стол, он глуховато произнес:

— Валя... Андрей Васильевич прав... Я тебе не говорил этого. Что скрывать, оберегал тебя... А, наверно, нужно было говорить... Андрей Васильевич, вы сейчас себя показали решительным и порядочным человеком.

И тут Валентина Павловна опустила глаза — под ресницами проступила синева, лицо сразу стало каким-то утомленным, помятым.

Снова молчание, и наконец она подняла глаза, они влажно блестели:

— Я благодарна за то, что вы сказали. Поможет ли мне это?.. Не знаю. Но я благодарна...

Я отвел взгляд в сторону.

Ощущение счастливого уюта сменилось неловкостью, разговор уже не мог продолжаться — все сказано, не стоило повторяться.

Ващенко крепко пожал мне руку на прощание. Валентина Павловна, провожая, вышла за дверь.

На лестничной площадке неуютно и тускло горела в мохнатом от пыли проволочном чехле лампочка. Валентина Павловна куталась в накинутый на плечи платок, невысокая, беззащитная, ищуще вглядывалась мне в лицо.

Я возвышался перед нею, держа в одной руке ружье, другой обнимая лыжи.

— Я совсем не такая по характеру, как вы, Андрей Васильевич, — тихо заговорила она. — Другой человек... Мне всегда была нужна поддержка, без опоры, видно, не умею жить... С опорой же, наверно, смогу быть даже сильной по-своему. Наверно... Ведь я так до сих пор и не знаю, что из себя представляю... Сейчас мне, больше чем когда-либо, нужна опора... Андрей Васильевич, из всего, что вы мне только что сказали, я поняла одно: рядом со мной у меня единственный товарищ — вы. Я бы хотела, чтоб вы помнили об этом... Заходите... Не часто... Часто даже не нужно, но заходите. Это моя единственная к вам просьба. Ничем другим досаждать не буду. Поверьте.

— Буду заходить. Обещаю.

— До свидания. — Она протянула сухую ладонь.

— До свидания. Идите скорей в комнату. Здесь холодно.

Перекинув через плечо ружье, придерживая лыжи, я стал спускаться по лестнице. Валентина Павловна стояла возле перил и смотрела вниз. Я молча кивнул ей головой.

Наброшенный на плечи платок, упавшие на лоб волосы, руки, прижатые под платком к груди, — какая-то обездоленная. Всю дорогу к дому я не мог отогнать ее от себя, шел и видел, как она смотрит на меня сверху.

А утром Василий Тихонович, встретив меня в школе, сказал:

— Ты что-то вчера был подозрительно покладист при этой Ващенко. Уж не подбородок ли с ямочкой виноват? Смотри: разные там, пусть даже певинные, увлечения — непозволительная роскошь в такой обстановке, в какой ты окажешься, да и она-то... интеллектуальная щеголиха, за душой, кроме звона, ничего...

Я молча отвернулся от него.

Сам перед собой и перед другими я храбрился: не так уж и страшен Степан Артемович. Как он может со мной расправиться? Самая высшая мера административного воздействия с его стороны — снять с работы, убрать из школы. Но это не просто сделать. За то, что не сходятся взгляды

на методы обучения, за поиски нового с работы не снимают. И кто-кто, а Степан Артемович это понимает лучше меня. Кроме того, я так просто, с покорно опущенной головой из школы не уйду, буду сопротивляться, бунтовать, требовать справедливости. Вряд ли решится директор на свой страх и риск выставить меня из школы.

Ну, а что он может сделать мне помимо этого? Запретить проводить уроки так, как я хочу? Не станут же он и Тамара Константиновна на каждом уроке постоянно держать меня за рукав. Что бы они ни делали, а на своем-то уроке я всегда буду полновластным хозяином. Конечно, у Степана Артемовича есть много способов отравить существование, испортить нервы. Но еще посмотрим, чьи нервы крепче: мои или Степана Артемовича.

Я без особого трепета ждал педсовета.

Но вот за покрытым зеленым сукном столом, растянувшимся во всю длину учительской, расселись учителя. Я тоже занял среди них свое излюбленное место, в углу под матерым фикусом, свешивающим жесткие лакированные листья.

Сколько раз мне приходилось ждать начала педсовета! И сегодня все выглядит обычным. Учителя переговариваются друг с другом, курят, кое-кто, не обращая внимания на шум, пользуется моментом, проглядывает ученические тетради. Но сейчас я с особым вниманием, с придиричьим пристрастием вглядываюсь в знакомые лица.

Преподавательница химии Евдокия Алексеевна Панчук, пизенькая, полная, молодящаяся женщина, с подвыщипанными бровями, с тугой курчавостью шестимесячной завивки на голове, с нитью искусственного жемчуга под двойным подбородком. Рядом с нею кроткая, тихая старушка Агния Никитична — учительница немецкого языка, Анисим Петрович, степенный, флегматичный, молчаливый, лацканы пиджака постоянно осыпаны табачным пеплом. Он много лет преподает зоологию, анатомию и основы дарвинизма, строг, педантичен, дружен с Акиндином Акиндиновичем, чья лысина сейчас скромно выглядывает из-за его плеча. На другом конце стола бойко о чем-то тараторит Любовь Анисимовна, его дочь, она тоже преподает естественные науки — ботанику и зоологию. Ее терпеливо слушает Горшакова Мария Ивановна, преподавательница математики в пятых — седьмых классах. Она отличается сво-

ей неприметностью и робостью, ходит во время перемен по школьным коридорам бочком, постоянно получает выговоры от Тамары Константиновны за шум на уроках. Независимо держится учитель рисования и черчения, мой тезка, тоже Андрей и тоже Васильевич — аккуратист, щеголь. Я никогда не видел его без туго затянутого галстука. За длинным столом почти нет свободных мест. Со всеми учителями я в самых добрых, товарищеских отношениях. Никто из них не желает мне зла, но если станет выбор, кого поддержать — меня или Степана Артемовича, то каждый, без сомнения, поддержит директора.

Много друзей, много товарищей, но только четверо из всех сидящих, наверно, понимают меня сейчас. Выставив острые локти, поводя из стороны в сторону горбатым носом, как и я, оценивая учителей, дымит закушенной папиросой Василий Тихонович. Сидящая рядом с ним Мария Ивановна отворачивается от дыма, морщится, но не осмеливается попросить его отодвинуться подальше. Олег Владимирович сосредоточенно накручивает правую бровь. Иван Поликарпович с удобством расположился в своем кресле. Жора Локотков бросает в мою сторону доверительные взгляды. Эти четверо на моей стороне. Но из них я полностью могу положиться на одного Василия Тихоновича. Олег Владимирович покладист, не любит разногласий, если и выступит, то для того, чтобы помирить меня со Степаном Артемовичем. Иван Поликарпович может и поддержать, ему при его независимости это не трудно, но будет ли портить он из-за меня многолетние добрые отношения со Степаном Артемовичем? А Жора Локотков — кто к его слову станет всерьез прислушиваться?

Только сейчас я по-настоящему начинаю ощущать силу Степана Артемовича. Он сам не станет накладывать запрет, за него сделают учителя. И уж если я после этого ослушаюсь, стану противиться общему мнению, то надо мной повиснет сразу же страшный упрек — выступил против коллектива. Такие вещи не прощаются.

Я гляжу на учителей, курю папиросу за папиросой.

Степан Артемович занял свое место в конце стола, рядом с ним Тамара Константиновна со строгой важностью окидывает взглядом переговаривающихся учителей, и под ее взглядом учителя виновато притихают. Степан Артемович отвернул рукав, взглянул на часы на тощем запястье, поднял седой ежик волос.

— Должна, товарищи, подойти Коковина. Я думаю, нам надо начинать без нее, чтоб не терять зря времени.

Я и Василий Тихонович обмениваемся быстрым взглядом. «Держись», — говорят его глаза из-под жестких ресниц. «Постараюсь», — отвечаю я.

Едва Степац Артемович открыл рот, чтобы начать педсовет, как ворвалась Коковина.

— Прошу прощения! Виновата! Виновата! Каюсь... Задержал телефонный разговор, весьма срочный... Здравствуйте, здравствуйте! Продолжайте, продолжайте, Степан Артемович... Ах, стул... Спасибо. Продолжайте, я не произнесу больше ни слова.

Она водрузила перед собой на стол портфель и застыла со строгим выражением на энергичном, морщинистом, остроносом лице.

Раиса Порфирьевна Коковина — старая дева, но в отличие от заурядных старых дев не была мужененавистницей, напротив, она никогда не упускала случая, чтобы с негодованием обрушиться на непростительные слабости прекрасного пола.

— Что мы, женщины! — частенько можно было услышать ее патетическое восклицание. — Что мы практически значим для общества?! Выполняем одну только функцию деторождения. Даже для воспитания этих детей я считаю мужчин более пригодными. К нам приходят из институтов молодые учительницы, и ни на одну я не могу понадеяться. Почти каждая поровит выскочить замуж, обложиться собственными детьми, бросить работу. Мне чужды предрассудки, я, как сугубо деловой человек, отдаю приоритет мужчинам.

И хотя Коковина, обрушиваясь на женщин, употребляла местоимения «мы», «нас», но, по всей вероятности, себя к ним не причисляла. В меру высокая, без меры худая, с тощим узелком волос, пронзенным с разных сторон торчащими шпильками, она носила внушительных размеров мужскую пыжиковую шапку, курила дешевые крепкие сигареты, не смущалась своих желтых, обкуренных пальцев.

Я ни разу еще не видел ее без туго набитого портфеля. Этот портфель среди учителей вошел в поговорку. Если какая вещь не ладилась, говорили: «Строптивая, как коковинский портфель». Портфель действительно обладал несносным характером. Если на каком-нибудь совещании требовалось из него вынуть нужную бумагу, хозяйка, крас-

ея от напряжения, теребила, рвала замок, трясла портфель и в конце концов восклицала:

— Что же вы смотрите? Мужчины, помогите!

В этих словах невольно звучало признание, что она, Раиса Порфирьевна Коковина, все-таки женщина, мало того, не лишенная самого непривлекательного из женских пороков — каприза.

Как правило, портфель не поддавался и мужским рукам. Его оставляли в покое, документ пересказывался на словах. Но после того как Коковина рывком снимала портфель со стола или с трибуны, он вдруг открывался сам, и на пол летели бумаги, газеты, недоеденные бутерброды.

Степан Артемович, хладнокровно переждав суету, вызванную приходом Коковиной, произнес:

— Предметом сегодняшнего совещания будет обсуждение, так сказать, новых изысканий в области обучения, сделанных товарищем Бирюковым Андреем Васильевичем. Не хочу ничего предуведомлять. Предлагаю такой ход событий: выслушаем для начала Андрея Васильевича, выслушаем тех товарищей, которые захотят что-либо добавить в защиту идей Бирюкова, а уж затем со всей тщательностью взвесим и обсудим совместно. Никто не возражает против такого порядка? Нет. Тогда прошу вас, Андрей Васильевич...

— Я возражаю!

Над столом, над пришедшими в возбужденное движение головами учителей поднялся Василий Тихонович, в своем просторном пиджаке, свободно висящем на острых плечах, из распахнутого ворота чистой сорочки вытянута вверх тонкая смуглая шея с выступающим кадыком, горбатый нос нацелен в Степана Артемовича.

— Возражаю против постановки вопроса, предложенной Степаном Артемовичем...

Василий Тихонович сделал паузу. Наступившая тишина была заполнена напряженным скрипом стульев. Табачный дым лениво изгибался над заваленным бумагами зеленым столом. Степан Артемович вопросительно склонил к плечу свой седой ежик. Коковина впилась взглядом в Василия Тихоновича. А тот, прямой, высокий, разделяя фразы легким постукиванием костяшек пальцев о зеленое сукно, заговорил:

— Степан Артемович предлагает обсуждать, как он выразился, изыскания Бирюкова. Но ведь эти изыскания

только начались, говорить лишь о них, рассматривать их с точки зрения какой-то практической пользы слишком рано. Такая поспешность ничего другого не даст, как только скомкает, сведет на нет принципиально нужный для нас разговор о школе. Я предлагаю поставить вопрос так: нужны или не нужны нашей школе поиски новых путей? Если нужны, то насколько правильно борется за их осуществление Бирюков? Вот мои предложения!

Василий Тихонович опустил на свое место.

Встал Степан Артемович. Опираясь ладонями на стол, подняв вверх узкие плечи, минуту-другую он молча спокойно разглядывал сидящих вдоль длинного стола людей.

— Товарищи, я бы попросил поменьше курить, — буднично обронил он. — В этой комнате нам придется работать не один час... Разрешите ответить Василию Тихоновичу. Он, насколько я понял, предлагает не столько обсуждать эксперименты Бирюкова, сколько дела школы вообще. Мы регулярно собираемся на педсоветы и каждый раз обсуждаем не что-нибудь, а только свои школьные дела. Обсуждали их на прошлой неделе, на позапрошлой, непременно будем обсуждать и в дальнейшем. Сейчас же больше остальных вопросов нас интересует деятельность Бирюкова. Не пойму, по каким причинам Василию Тихоновичу понадобилось отодвигать это на второй план. Ну, а если в связи с деятельностью Андрея Васильевича у кого-либо появится желание покритиковать наши школьные порядки или меня, как директора, в частности, — милости просим, никому рот закрывать не собираемся. Не вижу надобности менять нашу программу. Впрочем, проголосуем. Кто за мое предложение?.. Явное большинство.

Степан Артемович невозмутимо сел на стул, бросил коротко:

— Андрей Васильевич, прошу сюда.

Держа в руках бумагу, я прошел на тот край стола, где сидели Степан Артемович, Тамара Константиновна, Кокovina.

Для того чтобы подробнейшим образом изложить свои многочисленные сомнения, соображения, разработки, планы и прочее, пужен не час, не два, а много часов. Я же мог использовать для своего выступления лишь минут три-

дцать — сорок. Поэтому я решил зря не распыхаться, а сделать коротенькое, как хроникальная газетная заметка, сообщение. Сделано то-то и то-то, такие-то перспективы открываются — и все. Я сказал и вернулся на свое место.

Учителя, приготовившиеся к длинному докладу, с выкладками, с цитатами, со столбцами цифр, озадаченно молчали. Только один Степан Артемович одобрительно кивнул головой.

— Ну, кто просит слова? — произнес он.

Вызвался Иван Поликарпович.

Он сидел впереди меня, и когда поднялся, то я видел только длинную, узкую спину с выступающими сквозь суженный пиджак лопатками, над ней темную шею и жиденькие седые завитки волос на затылке.

— Ни я, ни все здесь присутствующие, — начал он своим неторопливым, глуховатым голосом, — не знают, чего добьется Бирюков. Даже сам Бирюков не может поручиться: выйдет ли у него все гладко. Надо быть пророком, чтобы все наперед предвидеть. А пророков среди нас нет. Тогда давайте предположим самое худшее: что Бирюков на ложном пути. Предположим и начнем доказывать, опровергать, а следовательно, вникать, исследовать. Вы хотели бы этого, Андрей Васильевич? — Иван Поликарпович через плечо обернулся в мою сторону.

— Да, хотел бы, — ответил я.

— Слышите? Другого ответа я и не ждал. Вникать, опровергать, доказывать — это помощь тому, кто ищет. Помощь! Как бы Бирюков ни отстаивал сейчас свои взгляды, он будет рад, если ему докажут, что он на ложном пути. Кому хочется оставаться в заблуждении! И все те, кто начнет сомневаться в его работе вдумчиво и серьезно, неизбежно станут на путь того же поиска, окажутся сотоварищами Андрея Васильевича. Но одно дело — сомневаться, другое — отвергать без всяких сомнений. Нет — и basta! Зачем искать, когда мы и так не плохо живем? И в ответ на это мне хочется сказать только одно: уважайте себя, гоните подалее самодовольство. Нет ничего на свете презренней этого чувства. Все ли поймут меня? Все ли отнесутся правильно к тому, что делает Андрей Васильевич? Не знаю. Хотелось бы, чтоб поняли...

Степан Артемович сидел, облокотившись на стол, прикрыв глаза сухой рукою. Коковина, положив руки на раздутый портфель, устремила вперед неподвижный

взгляд. Тамара Константиновна, прямая, величественная, поводя подбородком, зорко следила за учителями. А они молчали.

После Ивана Поликарповича вскочил с места Жора Локтков.

— Иван Поликарпович! Я вас понял! Я,,

Уставившись в угол, запинаясь от переизбытка чувств и недостатка слов, Жора начал длинно говорить о том, как он хорошо понял Ивана Поликарповича, как он неудовлетворен тем, что делает, с каким уважением отпосится вообще к новаторским попыткам и т. д. и т. п.

Среди сидящих за длинным столом учителей послышалось досадное покашливание, нетерпеливый скрип стульев и отвлеченный шепоток. Но атмосфера скуки сразу же рассеялась, все зашевелились, громко задвигали стульями, когда снова поднялся со своего места Василий Тихонович. Уж его-то выступление сулит если не драку, то наверняка щекочущий нервы спор.

— Вот за той дверью,— Василий Тихонович длинной рукой указал на дверь, ведущую в директорский кабинет,— вы, Степан Артемович, развесили по стенам реликвии, прославляющие нашу школу. Не спорю, может, стоит прославлять наше прошлое. Но ведь для всех нас важнее будущее школы. Вы это будущее собираетесь кроить по старой колодке. Растут запросы, растет требовательность, в конце концов обувь со старой колодки будет жать, мешать движению вперед. Один из рядовых учителей в меру своих сил и способностей пытается как-то кроить по-новому. Он сразу же натывается на вас. Или я не прав, Степан Артемович? Или вы готовы пожертвовать налаженным порядком, согласны разбираться, докапываться до истины, искать новое? Ответьте нам без утайки. Если скажете: «Да, хочу»,— тогда я принесу свои глубочайшие извинения и все свои силы отдам вам на помощь.

Василий Тихонович резко повернулся, громыхнул стулом, сел.

— Кто еще хочет слова? — вместо ответа с прежней ледяной невозмутимостью обронил Степан Артемович.

И наступило затишье. На этот раз не слышно было даже скрипа стульев. Учителя молчали. Я понимал, почему они молчат, Степану Артемовичу брошен вызов (самому Степану Артемовичу!), назревает бой. Вмешаться в него, стать одним из участников?.. Но тогда придется иметь дело

с таким отчаянным человеком, как Василий Тихонович Горбылев. Да и самый старейший, самый уважаемый из учителей, Иван Поликарпович Ведерников, по всему видеть, не на стороне Степана Артемовича. Затруднительное положение — чью взять сторону, как возражать? Нет полной ясности. Не лучше ли отсидеться в стороне? Пусть уж сам Степан Артемович судит, как обычно судил во всех затруднительных делах. Ему видней, а за его спиной покойней. Лучше отмолчаться. И учителя молчали, переглядывались.

— Так как же, товарищи? — спросил Степан Артемович.

В ответ — тишина. И тогда, должно быть, Степан Артемович понял, что пришла пора ему поднимать оружие.

Он медленно встал, откинул голову назад, выставил грудь, тихим голосом начал:

— Я разрешу себе сказать несколько слов... Василий Тихонович, вы сейчас бросили мне прямые вопросы. Ваша решительность и прямота похвальны. Но по тону вашего выступления я понял, что вы не надеетесь на мою ответную откровенность, думаете, что я буду мутить воду, вывертываться. Так слушайте же, на прямые и ясные вопросы я даю здесь перед всеми такие же прямые и такие же ясные ответы. Вы спрашиваете: хочу ли я совместно с Бирюковым и с вами искать новые пути? Отвечаю: нет, не хочу. Вот вам ответ. А сейчас наберитесь терпения и выслушайте комментарии... Вы, Василий Тихонович, пугаете меня тем, что будущее может застать врасплох, что школа не станет отвечать запросам времени. Лег двадцать тому назад, когда я только что стал директором этой школы, сегодняшней день представлялся как туманное, далекое будущее. Если я по натуре консервативен, если я не приемлю нового, то это грозное будущее с таким же успехом могло меня застать врасплох несколько раньше. Но школа до сих пор работает, и даже по сравнению с тем далеким временем стала не хуже, а лучше. Ваш же покорный слуга за этот срок стал чуточку опытнее...

По столу прошел шорох и возбужденный говорок, подтверждающие, что никто не сомневается в опытности Степана Артемовича. Он переждал шум и с прежним спокойствием и уверенностью продолжал:

— По мнению Горбылева и Бирюкова, нужна перестройка школы. Тот порядок, который вы все вместе со

мною создавали, товарищи, в течение многих лет, та школа, которой мы гордились, не отвечает поставленным перед нами задачам. Наша гордость, выходит, дутая, а я, как руководитель, не соответствую тому месту, какое теперь занимаю. Хорошо, согласимся, что у нас много недостатков, что их нужно незамедлительно исправлять. Но что предлагают Бирюков с Горбылевым: вместо старого, многими годами испытанного порядка — новый, весьма туманный путь. А то, что путь туманен и неопределен, не отрицает ни сам Бирюков, ни его сверхгорячий сторонник Василий Тихонович. Что ж, выбирайте, товарищи: или старое, испытанное, или новое, непроверенное. Выбирайте: или я, или Бирюков. Ежели вы встанете на сторону Бирюкова, я, даю слово, не буду чинить ни малейших препятствий. Я уже старик, мне, пожалуй, пора и на пенсию...

Слова Степана Артемовича перебил возмущенный гул голосов:

— Какие могут быть выборы!

— Что за разговор!

— Я пятнадцать лет работаю со Степаном Артемовичем...

Степан Артемович терпеливо выжидал, он еще не все сказал.

— Я — человек, — продолжал он, когда шум утих, — как и все, я, конечно, имею свои недостатки. И наверное, за нашу многолетнюю совместную жизнь каждый из вас может в чем-то справедливо меня упрекнуть. Я не святой, судите меня. Я достоин даже большего суда, чем Бирюков. Я опытнее его, поэтому имею меньше прав на опрометчивые поступки. Мы как могли делали большое государственное дело, и мне боязно... Да, да, не скрываю, боязно наше налаженное дело разминивать на эксперименты. Не приведут ли они к разброду, не упрутся ли школа в тупик, не наломаем ли дров? Помните, малейшая ошибка в нашем деле стоит слишком дорого. Расплачиваться за ошибки придется детям, товарищи.

Как начинал, так и кончил Степан Артемович при полнейшей тишине. И эту тишину нарушил глухой стук приподнятого и с силой опущенного на стол увесистого портфеля.

— Нет! Не могу больше молчать! — Разгневанная Коковина поднялась со своего места. — Меня поражает

терпеливость Степана Артемовича. Поражает, дорогие товарищи, удивительная выдержка и редкая доброта этого человека. Степан Артемович,— повернулась она в сторону директора,— почему вы так либеральничаете? Почему вы не придете к нам в роно и не заявите прямо, что подобные новаторы портят вам кровь, мешают работать? О-о, мы бы сумели принять меры, быстро бы освободили вас от досадных хлопот. То-ва-рищ Бирюков,— теперь она повернулась ко мне и поверх голов уперлась в мой лоб пылающим взором,— неужели вы считаете, что ваша персона настолько драгоценна для нас, что мы согласимся пожертвовать таким опытным руководителем, каким является Степан Артемович Хрустов! Оглянитесь, оглянитесь, товарищ Бирюков! Не покажется ли вам, что вы снимаете голову со школы? С какой школы! Наш район на протяжении многих лет гордится ею. В этом заслуга Степана Артемовича, и никого другого! Мы не позволим вам ломать десятилетиями налаженную работу! Мы не позволим вам подрывать авторитет Степана Артемовича! Да будет вам известно, в нашем районе этим человеком гордится каждый учитель, каждый ученик, любой родитель! Мы не позволим вам носиться со своими утопическими идейками, не позволим смущать легковерных! Мы заставим вас заниматься тем полезным делом, для которого государство вас обучало в институте. Берегитесь! Мы примем меры! Нам легко найти на вас управу! Мы не позволим шутить с нами!..

И так далее, через каждые три слова — «не позволим!». А учителя молчат.

14

«Не позволим!» А что они собираются не позволить?

Я хочу, чтоб наши ученики лучше учились, меньше тратили сил и времени на учебу.

Не позволим?!

Я хочу, чтоб каждый человек еще в школе почувствовал святой закон коллективизма: один за всех, все за одного.

Не позволим?!

Я хочу, чтоб ребенок мог уделять время и для полезного труда, и для чтения книг, и для спорта.

Не позволим?!

Хочу, чтоб Сережа Скворцов, Федя Кочкин, миллионы таких, как они, стали духовно богатыми людьми, которым будут по плечу сложнейшие дела грядущих лет.

Не позволим?!

Да я окажусь преступником, если сробею перед этим начальническим окриком. Не позволите?! Ну, это мы еще поглядим, Раиса Порфирьевна и Степан Артемович!..

Я не считал, что метод, который предлагает Ткаченко, единственный, неизменный, своего рода преподавательская панацея. В последнее время я уделял ему больше внимания только потому, что хотел раскусить этот орешек. Искать универсальный способ преподавания — все равно что врачу искать лекарство, излечивающее от всех болезней. Пусть будет больше методов и приемов, пусть арсенал школьного учителя станет богаче — вот чего я добивался, вот чего мне не позволяют!

За последнее время у меня выработалось особое чутье, какая-то чисто преподавательская интуиция. Шум в классе или, наоборот, напряженное молчание говорили мне много такого, о чем я прежде и не подозревал. И это чутье уже давно подсказывало, что слишком ровно идут уроки, что их однообразие начинает надоедать ученикам. Нужна какая-то неожиданность, встряска, которая бы расшевелила ребят.

Мой класс закончил работу над темой. По программе на эту тему выделяется тридцать часов. Все изучено, закреплено, проведены опросы, выставлены отметки — кажется, нечего топтаться на месте, следует идти дальше, начинать новую тему. Но кончен этап работы, и не отметить ли это событие, не преподнести ли встряску?

Я решил устроить что-то вроде поединка. Выйдут перед классом лучшие из лучших два ученика, в чьих знаниях не может быть никакого сомнения. Но одного багажа знаний мало — нужно, чтоб они умели по возможности интересно рассказать, нужно, чтоб они могли скупо и точно излагать свои мысли, нужно быстро ориентироваться, и самое главное — иметь собственный подход к материалу.

Урок — турнир, урок — смотр духовных сил и знаний. Весь класс до последнего ученика должен участвовать в нем.

Мне сказали: «Не позволим!» А я все-таки буду проводить этот урок!

В классе три ряда парт. Кто в каком ряду сидит, до сих пор не имело значения для урока. Но сейчас я объявляю:

— Первый ряд! Выбирайте одного человека на поединок! Выбирайте самого лучшего, за которого бы не пришлось вам краснеть.

И сразу же шум:

— Скворцова выбираем!

— Скворцов!

— Лучше Юрченко!

— Нет, Скворцов!

Второй ряд сразу же смекнул, в чем дело, начинает бунтовать:

— И нам выбирать?

— В том ряду два отличника — Юрченко и Скворцов! У нас ни одного!

— Соня, садись к нам!

— Пусть Юрченко пересядет!

Я подсказываю:

— За последнее время многие отвечали ничуть не хуже Скворцова или Юрченко.

Во втором ряду легкое смятение: головы вертятся в разные стороны, слышится тревожный шепот:

— Капустину, что ли?

— Федьку... Федька хорошо отвечал.

— Капустина быстрее говорит.

— Тш-ш-ш! Андрей Васильевич смотрит...

— Третий ряд, — продолжаю я, — станет судейским. Он будет решать, кто победил. Он должен выбрать старшего судью.

— Хомякова Васю!

— Верно, Хомякова!

— Он справедливый!

— Первый ряд, кто от вас?

— Скворцов!

— Хорошо, пусть будет Скворцов. Не возражаете?

— Не-е-ет!

— Второй ряд?..

— Кочкина! — выкрикивает Павел Аникин.

— Капустину лучше! — пищит слабенький девичий голосок.

— Чем она лучше?

— Девчонки всегда суют девчонок.

— Ты еще Бабина крикни.

— Кто за Кочкина — поднимите руки... Большинство. Выбраны на поединок. Скворцов и Кочкин. Судейский ряд, выбирайте старшего судью.

— Хомякова! Хомякова!

— Эй, Вася, садись ко мне на первую парту, вместе судить будем.

Рыжий, веснушчатый Вася Хомяков старается выразить на лице притворное безразличие, пунцовеет от гордости.

— Будем внимательно слушать ответы и запоминать, кто в чем ошибся. Советую для памяти записывать на бумажке, а когда начнется обсуждение, подняв руку, сообщить, что заметил. Понятно?

— По-оня-атно!

— Теперь несколько минут тишины. Пусть Кочкин и Скворцов посидят и вдумаются, с чего начать, как лучше приступить к рассказу.

И действительно, в классе наступает тишина — головы вертятся от Феди Кочкина к Сереже Скворцову, от Сережи к Феде Кочкину, легкий, напряженный шорох, откуда-то просачивается придушенный шепоток.

Эту тишину нарушил решительный голос Кочкина:

— Лучше сразу отвечать.

— Начинай, а Сережа пусть подумает.

Но самолюбивый Сережа тоже вскочил с парты:

— И я готов!

— Тогда идите оба к доске.

Заметно волнуясь, от волнения цепляясь карманами пиджаков за углы парт, Скворцов и Кочкин вышли к доске, стали друг против друга. Кочкин Федя — широкий, плотный, как всегда, один палец на руке перевязан замусоленной тряпочкой, одет бедно — застиранный пиджачок, на каждом локте по заплате, штаны пузырятся на коленях. Лицо у Кочкина широкое, обветренное, в раздавленных скулах чуть приметная азиатчина — эх, если б поединок был на кулаках!.. Сережа Скворцов на полголовы ниже Кочкина, но это противник самый сильный, за ним слава способнейшего ученика. Кроме того, этот тщедушный Сережа до болезненности тщеславен — он привык быть только первым. Сейчас его голубые глаза беспокойно бегают, узкое лицо бледно от волнения, однако стоит дерзко, выставив узкую, петушиную грудь.

Их волнение передалось всему классу: нетерпеливо ерзают за партами, возбужденно шушукаются, глядят напряженно округлившимися глазами.

— Кто будет первым отвечать? — спрашиваю я. — Отвечай ты, Сережа.

— Обождите, Андрей Васильевич! — раздается голос. Вася Хомяков недаром заслужил славу справедливейшего человека, он неуклюже вылезает из-за парты с ушанкой в руках.

— Обождите. Не по правилам...

Подходит к Сереже Скворцову и протягивает сложенную ушанку.

— Тяни, — предлагает он. — Вытянешь бумажку с галочкой — будешь первым отвечать. Не вытянешь — первый Кочкин.

Сережка покорно запускает руку в ушанку, вытаскивает скрученную бумажку, долго ее разворачивает. А весь класс до последнего человека следит сосредоточенно, серьезно, словно решается не простой вопрос, кому первому отвечать, а судьба Сережи Скворцова.

— Пустая. Ничего нет, — объявляет Сережа.

— Ты, Федька, первый отвечаешь, — приказывает Хомяков. — Только обожди, не начинай, я на место сяду.

Кочкин взволнованно переступает с ноги на ногу. Десятки пар глаз сочувственно уставились на него.

Наш верховный судья, поерзав, устроился на своем месте, взглядом разрешил мне: «Можно». Я произношу:

— Тишина и внимание!.. Кочкин!.. На...

Но я не успел договорить. Несколько учеников, из тех, кто сидел ближе к дверям, поднялись со своих мест. Следом за ними весь класс вразнобой зашевелился, с шумом повскакал на ноги. Кочкин, напружинившийся, словно приготовившийся к прыжку, обмяк, зябко повзмился. В раскрытой двери, глядя в класс из-под полуопущенных век, стоял Степан Артемович. Коротким кивком он приказал классу садиться, строгий, прямой, сделал несколько шагов вперед. Я услужливо пододвинул стул. Он опустился на него, угрюмо нахохлился, сухо бросил:

— Продолжайте.

— Будем продолжать, — решительно объявил я. — Кочкин, начинай.

— Возьмем для сравнения такие предложения, — с хрипотцой от волнения, нарочито медлительно заговорил

Федя, но сорвался и зачастил: — «Комната наполнилась запахом цветов, которые росли в скромном палисаднике». Если взглядеться в эти предложения...

А ученики ввелись в него глазами. Сразу же обрушилась мертвая тишина. Только тревожный, напряженный голос Кочкина звучал в стенах класса. Кто-то трусливо скрипнул партой, у кого-то звонко упала на пол ручка. У Кочкина налилось кровью лицо. Чтоб отрешиться от всего, он закрыл глаза, с поспешностью, в паузах жадно глотает воздух. Его слушают так, как не слушали еще ни разу в классе, ни одна история с самыми невероятными приключениями наверняка не вызывала такого внимания.

Сереза Скворцов вытянулся у доски, глаза его впились в одну точку — в шевелящиеся губы Феди Кочкина.

Забыв нахохлившийся у окна директор, забыв я, возвышающийся над своим учительским столом, забыто все на свете, есть только Кочкин, рассказывающий об обособленных второстепенных членах предложения.

Когда Кочкин с мокрым от напряжения лицом замолчал, с несвойственной для него застенчивостью оглянулся на меня, по классу пролетел облегченный вздох.

— Хорошо, — подчеркнуто спокойно заговорил я. — Все слышали? Запомнили ошибки и промахи Кочкина?

— Нет ошибок!

— Есть. Я заметила!

— Заметили — запишите для памяти. Скворцов...

Сереза начал говорить, не торопясь, звонким, чистым голосом, в нужных местах делая паузы, легко, без напряжения перечислял примеры.

Снова тишина, снова обостренное внимание. А в стороне, как воробей во время дождя, сидел, не двигаясь, нахохлившийся Степан Артемович.

И должно быть, звук собственного голоса воодушевил Серезу — настолько красив, звучен, спокоен был этот голос по сравнению с хрипловатой, торопливой речью Феди Кочкина. Сереза, видимо, уже не сомневался, что победит, и его уверенность, его звучный голос угнетающе действовали на Кочкина: он увядал на глазах — плечи расслабленно опустились, лицо склонилось к полу.

Но вот в классе начал нарастать шум. Ребята нетерпеливо заерзали на своих местах, некоторые порывисто скидывали руки, опускали их. Кочкин распрямился у доски, в его черных глазах вспыхнуло и сразу же глубоко

притаилось торжество. Сережа Скворцов слишком понадеялся на свою память, слишком был уверен в окончательной победе — он пропустил целый раздел.

Шум класса насторожил его, он стал запинаться, он наконец вспомнил, понял свою ошибку, но решил не сдаваться, вернулся обратно к пропущенному разделу. Но плавность и уверенность его рассказа была уже непоправимо нарушена — Сережа с грехом пополам добрался до конца.

Сочувствующая, а потому и страшная, тишина наступила после того, как Сережа сказал последнее слово. Даже ряд Феде Кочкина молчал, не отваживался на торжество.

— Приступим к обсуждению, — невозмутимо возвестил я. — Обсуждаем только Кочкина. Кто заметил какие-либо ошибки в его выступлении?

Ряд, пославший на подвиг Кочкина, не шевельнулся, оттуда только блестели направленные на меня глаза. Зато ряд Сережи Скворцова ожил, поднялось несколько рук.

— Юрченко, что ты заметила?

Каждое замечание я отмечал минусами на доске. Несколько замечаний оказались спорными, ряд Кочкина негодовал:

— Не говорил о союзном слове!

— Нет, говорил! Я слышала!

— Ничего ты не слышала, пищуха!

Я в завершение от себя поставил еще один минус:

— Кочкин слишком спешил, глотал концы фраз, там, где не нужно, делал паузы.

От моих придирчивых минусов Кочкин мрачнел, на его обветренной физиономии появлялось угрюмо-замкнутое выражение.

— Обсудим ответ Скворцова.

И тут-то началось, тут-то вспыхнули страсти.

Оказывается, у Сережи Скворцова всего одна ошибка: пропустил раздел, но потом поправился — правда, не очень удачно. Выходит, ему можно поставить только один минус, а у Кочкина их три!

— Скворцов победил!

— Один минус!

— Десять минусов за это!

— Скворцов!

— Кочкин!

— Грубая ошибка у Скворцова!

— Но он же знал! Он же поправился! Разве это грубая?

Раздался звонок. Но какая там перемена — не до нее, тут решается острейший вопрос!

Однако в стороне сидит Степан Артемович. Мне хорошо известно, как он уважает порядок, наверняка потом поставит на вид — раз объявлено время перерыва, то следует кончать урок, не задерживать детей в классе.

— У меня предложение! — старался перекрыть я голоса. — Так как урок окончен, нам придется перенести обсуждение...

Но класс забушевал в неистовом возмущении:

— Не пойте-ом!

— Сейчас обсуждать!

— Мы без перемены! Не пойдём!

— Кочкин победил!

— Сережка!

Я пожал плечами, виновато оглянулся на Степана Артемовича. Тот по-прежнему сидел с каменным лицом, не выказывая внешне ни удивления, ни досады.

— Хорошо! Будем обсуждать сейчас. Требую полнейшей тишины!

Разумеется, полнейшей тишины не получилось — все шевелились, сердито вполшепота огрызались друг на друга.

— Слово старшему судье! Хомяков, как ты считаешь?

Хомяков поднялся:

— Я считаю, что победил Кочкин.

— Верно!

— Кочкин победил! Кочкин победил! Кочкин!!

— Ура-а!..

— Тише!.. Продолжай, Хомяков. Почему победил Кочкин?

— Я думаю, что ошибка Скворцова равна трем минусам Кочкина.

— Не равна...

— Больше!

— Равна!

— Тише!

— ...Но Кочкин выступал первым. Ему трудно было.

— Верно! Труднее!

— Голосует судейский ряд! Кто считает, что победил Кочкин?

Вместе с судейским рядом дружно взмахнул вверх руки ряд Федь Кочкина.

— Победил Кочкин! — сообщил я. — Можете идти на перемену.

Ребята сорвались со своих мест, у дверей сразу же образовалась пробка.

Я обернулся в сторону Степана Артемовича. Он, глядя мимо меня, поднялся, не сказав ни слова, вышел из класса.

В коридоре ему пришлось посторониться: седьмой «А» под крики «ура» качал своего справедливого судью Васю Хомякова.

15

Я шагал по длинному шумному коридору за Степаном Артемовичем в учительскую. При нашем приближении возня и шум стихали, ученики, оглядываясь на директора, жались к стенам. Мы проходили — шум возобновлялся.

Я шел, поотстав шага на три, упираясь взглядом в затылок Степана Артемовича. Несмотря на густую седину, этот затылок выглядел каким-то мальчишеским. Тонкая шея с ложбинкой, торчащие уши, сам затылок обиженно натянутый. Пока я гляжу в этот затылок, мне несколько не страшно, мне почему-то даже жаль этого тщедушного пожилого человека, обиженного мною.

Мы вошли в учительскую. Там, как всегда во время перерыва, людно. Акинди́н Акинди́нович влез на стул, достает со шкафа пыльные рулоны географических карт. Учителя стоят кучками, переговариваются, мужчины, не торопясь, курят. Дым от папирос плавает среди глянце-витых листьев фикуса.

Мы вошли в учительскую. Степан Артемович поворачивается ко мне. Мальчишеское, трогательное, обиженное сразу же исчезает в нем, передо мной узкоплечий, узкогрудый человек с тяжелым квадратным лицом, с крупными морщинами на этом лице, с коротким, густым, крепким ежиком седых волос над морщинистым лбом и прямым, пронизывающим насквозь взглядом маленьких холодных глаз.

Акинди́н Акинди́нович со свернутыми картами боязливо слез со стула.

Мы стояли. Я ждал, что скажет Степан Артемович. Он медлил. По сравнению с ним, маленьким, сухопарым,

узкоплечим, я чувствовал себя сейчас излишне высоким, громоздким, неуклюже сильным.

И вдруг под пристальным, недобрим взглядом Степана Артемовича во мне постепенно начало рождаться глухое бешенство, яростное возмущение и решительность. Пусть он только упрекнет, пусть только повторит слова Коковиной: «Не позволим!» Какое он имеет право ломать начатое дело? Я ищу, мне трудно, я отдаю этому все свободное время, отдаю все свои силы, недосыпаю, отказываюсь от развлечений, я вправе ждать поддержки, а на меня смотрят как на преступника! Мы стояли и смотрели друг другу в глаза, а нас со стороны разглядывали учителя.

— Вы не подчиняетесь не только мне! — прозвучал в притихшей учительской сухой голос Степана Артемовича. — Вы не подчиняетесь решению педсовета!

В это время раздался звонок на урок. За дверью, за моей спиной послышался топот ног по коридору, захлопали двери — это ученики бросились по классам. Учителя же стоят в стороне от нас, я загораживаю им дверь, никто не двигается, все молча продолжают смотреть.

— Вы не подчиняетесь коллективу! — Голос Степана Артемовича становится высоким и чуточку торжественным.

— Я готов вам подчиняться, — ответил я так же сухо, — если вы докажете ненужность того, что я делаю, заставьте поверить меня, что я не прав. Вы мне этого пока не доказали.

— Я пытался это сделать, вы не соизволили меня понять.

— Вы не доказывали, вы просто отказывались понимать меня.

— Все остальные учителя приняли мои доказательства, согласились с ними, осудили вас. И то, что вы сейчас не подчиняетесь моим приказаниям...

— Я имею право оспаривать их... Оспаривать делом!

— Любовь Анисимовна! — Степан Артемович поворачивается на каблуках к учительнице зоологии и ботаники.

— Да? — падающим голосом отвечает та.

— У вас сейчас, кажется, «окно»? Пойдете на урок вместо Бирюкова. — Степан Артемович снова поворачивается ко мне на каблуках. — Пользуясь правом директора школы, я отстраняю вас от занятий.

Я молчу. Молчат кругом учителя. Тихо по всей школе. За моей спиной, за покрашенной белилами стеклянной дверью учительской пусты коридоры. Все ученики разошлись по классам. Сейчас они, вертясь и переговариваясь, ждут появления учителей. Но ни один учитель не двигается с места, не покидает учительской. Только Акиндин Акиндинович, нагруженный картами, бочком, бочком продвигается вдоль стены к двери и застывает, пугливо мигая добрыми глазами.

— Объясните точнее причины моего увольнения, — говорю я, и кажется, говорю спокойно.

— Не время.

— Вы не босс, я вам не приказчик. Без твердых и ясных обвинений вы не имеете права выбросить меня из школы.

— О, вы получите объяснения. Приказ о вашем освобождении будет вывешен если не сегодня, то завтра. Там прочтете. — Снова крутой поворот на каблуках. — Любовь Анисимовна, я вас прошу занять свободный урок.

Но в это время раздается голос:

— Это подло! Я тоже тогда не пойду на урок!

Раздвигая плечами поспешно сторонящихся учителей, подходит Василий Тихонович, упрямо упираясь подбородком в узел галстука. Теперь уже перед Степаном Артемовичем нас двое. Двое рослых и плечистых парней перед хрупким, вытянутым в струнку седым директором.

— Я считаю это произволом! — Василий Тихонович наклоняется к директорскому лицу.

И Степан Артемович прямо ему в глаза властно отчеканивает:

— Не могу тащить вас за рукав, уважаемый Василий Тихонович. Но помните: такое поведение будет рассматриваться как саботаж. Вы приносите вред не мне, а тем ученикам, которые ждут сейчас вашего урока! — Степан Артемович поворачивает голову, бросает через плечо: — Товарищи, был звонок, прошу вас приступить к своим обязанностям.

Я посторонился от дверей. Первым, задевая краями свернутых карт за косяк, выскользнул в коридор Акиндин Акиндинович. За ним, поспешно схватив со стола свои книги, бросилась Любовь Анисимовна. Уставясь в пол, один за другим учителя прошли мимо неподвижного, торжественного, как на параде, Степана Артемовича.

Иван Поликарпович, кряхтя, поднялся со своего стула, костлявый, долговязый, с жилистой шеей. Он прошел последним, остановился перед директором, покачал головой:

— На этот раз ты, Степан, слишком круто взял. Не могу одобрить.— Вскинув брови на Василия Тихоновича, у которого на впавших щеках перекатывались желваки, нервно вздрагивали ноздри горбатого носа, прикрикнул с напускной стариковской строгостью: — Иди, иди, не задерживайся, ребята не виноваты, что здесь сыр-бор разгорелся.

Василий Тихонович взглянул на меня, я ему ответил кивком: «Иди».

— Явно выраженное самоуправство, товарищ директор! — бросил он еще раз Степану Артемовичу, прошел к столу, забрал свои книги и в дверях обернулся: — Уйдет из школы Бирюков — уйду и я.

— Разумеется, — вежливо ответил Степан Артемович. — Только каждый в свое время.

Мы остались вдвоем со Степаном Артемовичем. Сквозь двойные рамы было слышно, как внизу, во дворе, скребет чья-то лопата, расчищая от снега дорожку. На длинном, покрытом вылинявшим сукном столе разбросаны книги. В одной из пепельниц чадит непотушенный окурок.

— Думаю, излишним будет напоминать с моей стороны, — сухо обратился Степан Артемович, — что можете жаловаться на меня во все инстанции, кому угодно.

Я промолчал. Степан Артемович, невысокий, напряженно вытянутый, глядел снизу вверх. Сухим голосом он добавил:

— Готов идти на уступки только в том случае, если вы при всех учителях признаете свою неправоту и станете исполнять свои обязанности по-прежнему. Тогда я буду вынужден ограничиться только выговором в приказе.

— Благодарю. Этого не случится.

Степан Артемович понимающе кивнул и, скользнув внимательным взглядом по мне, направился к своему кабинету, невысокий, легкий в походке, с мальчишески наивным затылком.

Я стоял в пустой, беспорядочно заставленной стульями комнате и бессмысленно глядел, как из граненой стеклянной пепельницы поднимается в воздух голубой, неустойчивый дымок тлеющей папиросы.

Я спустился со школьного крыльца. Впервые в жизни вдруг на минуту я испытал чувство безработного, чувство лишнего человека на земле. Моя школа работает, мои ученики учатся, а я в этот ясный зимний, рассеянно солнечный день стою спиной к школе среди сияющих сугробов, пересеченных синими, неяркими тенями, и мне нечего делать. И это после того, как мне не хватало времени, после того, как я засиживался ночами, поднимался по утрам с тяжелой головой, бежал невыспавшийся на уроки, и только в работе снова приходили энергия и бодрость, к концу дня я снова чувствовал себя способным сидеть за полночь. И вот мне нечего делать, впереди пустота. Все работают — у меня каникулы.

Я двинулся с места, ноги сами понесли меня от школьного крыльца привычной дорогой к дому. Я шел, а в моей голове была пустота. Я не испытывал ни обиды, ни горя, ни отчаянья. Я все еще никак не мог понять, что со мной случилось. Чувство беды обычно осознается не сразу, а некоторое время спустя. Не доходя до дому, я остановился. Тони там нет, на кухне хозяйничает бабка Настасья. Она остолбенеет при моем появлении: никогда еще так рано я не возвращался с работы. Сейчас всего одиннадцать часов, впереди целый день, ничем не занятый, бесконечный. Я буду сидеть дома, в четырех стенах, в обществе Настасьи и дочери. Буду ждать прихода Тони. Она придет и... поймет только одно, что я уволен с работы, нужно подыскивать другое место, возможно, уезжать из села, оставлять свитое ее руками гнездо, наново устраиваться, терпеть неудобства. Она, конечно, примется упрекать меня. О, я наперед догадываюсь, какие слова она мне скажет: «О себе только думаешь, не хочешь жить, как все живут. А то, что Наташка останется без куска хлеба, тебя не волнует?..»

И мысль, что я сейчас перешагну порог своего дома, показалась противной. Нет, только не домой! Но куда? Кому рассказать? Вроде много знакомых, много друзей, а вот не придумаешь, куда идти, с кем перемолвиться словом. Одна только Валентина Павловна... Она сейчас, наверно, на работе. А если нет?.. Иногда в редакции работают по вечерам.

Я круто повернул и направился к Валентине Павловне.

Она была дома. В фартуке, рукава засучены, только что, видать, от плиты — лицо румяное, яркие губы приоткрыты, поблескивают мелкие зубы. Я иногда видел ее такой и прежде, до ее работы, до смерти Ани. А может, даже не видел, а представлял себе ее такой — хозяйка дома, простой человек, очень понятный.

Я забыл снять пальто; наверно, по этой забывчивости, по выражению моего лица она поняла — со мной произошло что-то необычное.

— Что случилось, Андрей?

Она назвала меня не по имени и отчеству и не заметила этого. Я опустился на стул.

— Случилось... Я, кажется, больше не работаю в школе.

Она стояла посреди комнаты в кухонном фартуке, с выбившимися волосами, глядела остановившимися серьезными, внимательными глазами.

— Так... — произнесла она. — Одну минуточку, — бросилась в кухню, вернулась без передника, причесанная, в кофточке с длинными рукавами, сразу утерявшая дорогую простоту и открытость. И только в возбужденном блеске глаз, в исчезающем румянце заметна взволнованность.

Она села за стол, переплела гибкие пальцы, приказала:

— Рассказывайте.

Я стал рассказывать о вчерашнем педсовете, о сегодняшнем уроке, о стычке со Степаном Артемовичем:

— ...Словом, он меня просто-напросто выгнал на глазах всех учителей.

— Так просто?

— Что может быть трудного для Степана Артемовича в стенах его школы?

Валентина Павловна склонила светловолосую голову к столу, задумалась.

— Скажите мне откровенно: вы пришли за помощью? — спросила она, поднимая недоверчивый взгляд.

— За помощью? Чем вы мне можете помочь? Я не рассчитываю на это.

— Вы не пришли ко мне посоветоваться, не поможет ли вам Петр?.. — Новый недоверчивый и даже ревнивый взгляд.

— Если я решусь искать помощи у секретаря райкома Ващенко, то пойду к нему не на дом, а в кабинет, — сухо возразил я. — Мне просто некуда было идти. Кому-то надо было рассказать. Вот и рассказал...

— Спасибо, — сказала она. — То, что вы пришли только ко мне, событие для меня... Знаете, я даже чем-то смогу вам помочь. Советом хотя бы...

— Вы?.. Через Петра Петровича?..

— Такой помощи вы от меня не примете.

— Не приму.

— Так не беспокойтесь, не совсем через него.

— Через газету? Через Клешнева?

— И тоже не совсем.

— Не представляю, как вы мне поможете.

— Вы будете действовать через того и через другого вместе.

— Через Петра Петровича?..

— И через Клешнева, — подсказала Валентина Павловна.

— Гм...

— Скажем, вы пойдете к Ващенкоу...

— Прижмет — пойду. Но вы-то тут при чем?

— Я вообще ни при чем. Я только советчик. Так вот, я вам советую: просто так к Ващенкоу не ходите.

— Почему?

— Он не поможет.

— Почему же?

— Я прожила с ним много лет и хорошо знаю его. Это честнейший и доброжелательный человек, можно не сомневаться в его порядочности. Но в его характере есть одна сторона... Он живет и постоянно ждет от жизни какой-то решительной атаки. Он готов броситься в эту атаку, готов пожертвовать своей жизнью, без позы, искренне, но лишь тогда, когда будет верить в святость этой атаки.

— Так в чем же дело? Плохо ли начать атаку на этих Коковихных и Степанов Артемовичей? На мой взгляд, самое святое дело.

— Но у него-то другой взгляд. Он наверняка будет сомневаться: атака ли, стоящее ли дело? Нет, это не трусость, что-то другое, более сложное... Он руководитель района, он считает, что должен быть расчетлив в своих поступках: если уж идти в атаку, то непременно за самое

важное, самое коренное. Наверняка он станет оглядываться: «А прав ли Бирюков? А настолько ли важен этот вопрос, чтоб вмешиваться райкому партии? Так ли уж этот Степан Артемович ошибается? Он, мол, опытнее Бирюкова...» Прямо на вашу сторону он не станет, а поведет примирительные разговоры со Степаном Артемовичем, предложит вам пойти на компромисс с директором.

— Компромисс?.. То есть Степан Артемович принимает меня обратно в школу, под свое крылышко, а я должен дать обязательство быть полностью послушным. Так?.. Спасибо, я уже отказался от такого компромисса.

— Вот видите,— с готовностью подхватила Валентина Павловна,— значит, нужно действовать не прямо через секретаря райкома Ващенкова. Вы писали когда-нибудь статьи в газету?

— Только в стенную.

— Придется сейчас написать в районную.

— Но ведь Клешнев?..

— Да. Клешнев не поместит. Да, он слишком труслив, чтобы поддержать выступление против такой авторитетной личности, как Степан Артемович Хрустов.

— Зачем же статья?

— Затем, чтоб нести ее все-таки к Клешневу.

Я развел руками:

— Не понимаю... Статью?.. Клешневу?.. Чтоб отказал?..

— Да, отказал. Тогда вы со своей отвергнутой статьей и направитесь в райком, к Петру. Вы заявите ему, что желаете высказать публично свои взгляды по педагогике, свои критические замечания по работе школы. Разумеется, статья не должна быть жалобой обиженного человека. Вы будете требовать права говорить своим голосом. В этом отказать Петр не может.

— Он даст указание Клешневу напечатать мою статью?

— Даст. И Клешнев вряд ли ослушается секретаря райкома. Не такой человек, чтоб ослушиваться.

— Статья будет напечатана?..

— Будет.— Валентина Павловна победно улыбалась мне в лицо.

Черт возьми! Значит, есть возможность сразиться на равных условиях со Степаном Артемовичем! Пусть поспорит, пусть докажет свою правоту не на заседании педсо-

вета, где большинство учителей преклоняются перед его авторитетом, а перед всеми в районе, во всеуслышание. Тут-то мы посмотрим, кто кого!

— Ну, что вы на меня уставились? Действуйте.

— Вечером сяду за статью.

— Как вечером?! Или вам улыбается потрясать этой статьей, имея уже печать отверженности на челе? Надо спешить, пока вы для всех еще работаете в школе, пока вас не могут упрекнуть, что действуете по обиде. Статья сегодня же должна быть в редакции! Сегодня же ее нужно показать в райкоме.

— Но ведь статья... Я ни разу не писал статей...

— В том-то и дело, статья не диссертация. Каких-нибудь три странички. Садитесь прямо у меня и пишите. Вон стол. Там бумага и чернила. Что еще нужно?.. А я пока займусь по хозяйству. Да вы в пальто! Снимайте его. Быстро...

Письменный стол стоял теперь в комнате, где когда-то умерла Аня. Я неуверенно примостился к нему, положил перед собой чистый лист бумаги, взял ручку.

С чего начать? Как собрать мысли?

Я написал первую строчку: «Вопросы школьного воспитания в одинаковой мере должны тревожить...» Жирно зачеркнул, покусывая конец ручки, стал оглядывать побеленные стены комнаты. На маленькой этажерке в углу я заметил втиснутый в нижнюю полку странный предмет, отдаленно напоминающий какой-то снаряд — черный, матовый, сплюснутый с боков, со сферическим закруглением наверху и кожаной ручкой для переноски. Да это же микроскоп! Тот самый микроскоп, который я впервые увидел у кровати больной Ани, только в футляре. Я вспомнил слова Коковиной: «Не позволим!» И меня прорвало, я принялся писать...

За моей спиной осторожно ходила Валентина Павловна. Иногда она останавливалась позади, глядела через мое плечо. Я отрывался от бумаги, оглядывался, и мы встречались глазами. Она понимающе и подбадривающе кивала мне головой, отходила. Я снова склонялся над столом, уходил в работу, не переставая прислушиваться к ее мягким, домашним шагам. Оттого что она рядом, что она бережно охраняет мой покой, понимающе следит со стороны, я, только что выгнанный из школы, чувствовал в себе какую-то налаженность. Вот так бы изо дня в день,

из вечера в вечер, всю жизнь ощущать за плечами молчаливую поддержку — ничего не смогло бы испугать меня, ничто не вывело бы меня из равновесия!

Наверно, в то время когда в школе раздался последний звонок и ребята, стуча по лестнице, сбегали к раздевалке, я поставил последнюю точку.

Валентина Павловна придвинула стул, уселась рядом, подперла щеку рукой. Пока я читал, она глядела напряженным, сосредоточенным взглядом, а я страдал и мучился: мне казалось, все, что я написал, плоско, неглубоко, постыдно, даже мой голос, читающий статью, фальшив.

— Хорошо, — сказала она, когда, морщась от смущения, я отложил последний лист. — Со страстью...

И стыд, который заставлял меня внутренне корчиться, мгновенно исчез, как исчезает свирепая зубная боль от успокаивающего лекарства. На самом деле не так уж плохо, не равнодушно написано.

Она сидела, почти касаясь моего плеча, на крепкую щеку падала легкая прядь волос, ее глаза блестели совсем рядом, тянущие к себе глаза, в глубину которых нельзя заглянуть прямо, а хочется, ой, как хочется!..

— Только эта страсть чуть-чуть становится неумеренной, когда вы говорите о Степане Артемовиче. Я такого же мнения о нем, как и вы, но нельзя в принципиальных вопросах допускать даже намека на личные отношения...

Мы вместе правили статью. Иногда ее рука случайно задевала мою.

Вместе мы направились в редакцию газеты.

Наша газета «Колхозная искра», один листок, две неширокие полосы, всегда появлялась в срок, в должной мере освещала весной сев, летом сеноуборку, осенью уборку хлебов, а зимой ремонт тракторов, лесозаготовку, удои, подготовку к севу. В ней регулярно сообщалось о всех конференциях, совещаниях, сессиях, время от времени, не слишком часто и не слишком редко, помещались обзоры международного положения. Для всякого материала была установлена строгая форма. Одни статьи начинались со слов: «В неустанной борьбе за высокие

показатели...» Другие: «Наряду с достигнутыми успехами в ряде случаев...»

Валентине Павловне слегка удалось расшатать эту строгую форму, я стал замечать, что иные заметки приобрели некий облик свежести, как засохшие огородные грядки, чуть смоченные легким дождем. Но моя статья, лежащая сейчас в кармане пиджака, совсем не похожа на те, что помещались в «Колхозной искре». Тут уж дело не в форме. Валентине Павловне не удастся ее пробить, как до сих пор не удалось ей изменить лицо газеты.

Она сейчас шла рядом, независимо вскинув голову, с каким-то воодушевленным лицом, молчащая, должно быть верящая в удачу. Я, нерешительный, переполненный сомнениями, едва поспевал за ней.

В пахнувшей типографской краской комнате мы застали редактора Клешнева.

— Вот,— объявила ему Валентина Павловна.— Андрей Васильевич Бирюков принес нам интересный, на мой взгляд, материал.

Клешнев был членом бюро райкома, членом исполкома райсвета, членом каких-то комиссий и при этом обладал способностью оставаться самой неприметной личностью во всем районе. Его не славословили на собраниях, не делали ему разносов, не вписывали выговоров. Невысокий, рыжеватый, с робко намеченной лысиной, в потертом костюмчике — невозможно в его наружности найти какую-нибудь характерную черту, просто человек средних лет, не слишком молодой, не слишком старый, похожий на всякого заурядного служащего районного масштаба. Он никогда не учился на журналиста, никогда не писал статей и вряд ли даже имел пристрастие к печатному слову, даже в доступном для рядового читателя размере. Между ним и его детищем, думается, было прямое сходство. Если б Клешнев вдруг перестал появляться в кабинетах руководящих работников, присутствовать на собраниях, то, пожалуй, никому бы не пришло в голову спохватиться, где он, куда это делся? Так же если б неожиданно перестала выходить «Колхозная искра», то это событие несколько бы не отразилось на жизни района.

Клешнев не удивился моему появлению, принял мою статью, склонил над ней лысеющую голову и долго-долго читал. Прочел до конца, повернул, прочел начало и наконец сообщил:

— Я думаю, что этот материал нам не подойдет.

— Почему? — спросил я, переглядываясь с Валентиной Павловной.

— Э-э... Думаю, что вы не совсем правы.

— В чем? Возразите. С удовольствием вас послушаю.

— Э-э... Как вам возразить?.. Я не педагог, а вы разбираете сугубо профессиональные вопросы...

— А материал боевой, — вставила свое слово Валентина Павловна.

Клешнев пододвинул ко мне рукопись, косо взглянул на Валентину Павловну, вздохнул и признался:

— Вы же на Коковину да на Степана Артемовича Хрустова нападаете...

— Ну и что ж? — возразил я невозмутимо.

— А то, товарищ Бирюков, что Коковина и Хрустов матерые елочки, крепко в землю вросли. Что им наша статья? Ветер. От такого ветра они только сильнее зашумят.

— А если Андрей Васильевич подымет шум в райкоме о том, что вы не допускаете обмена мнениями? — спросила Валентина Павловна.

— Подымайте, не могу запретить. Если из райкома получу санкцию на напечатание, то всякая ответственность с меня снимается. — Клешнев еще ближе пододвинул ко мне статью.

Я снова переглянулся с Валентиной Павловной, и она взглядом сообщила мне: «Разговаривать больше нечего, действуйте!» Я взял статью, сунул в карман, бросил Клешневу:

— Пойду в райком.

Клешнев без осуждения и одобрения кивнул головой:

— Пожалуйста.

Я ушел, а Валентина Павловна осталась. И впервые я по-настоящему понял ее беду. Сидеть изо дня в день рядом с таким человеком, подчиняться его воле, помогать ему, хочешь не хочешь, разделять его взгляды.

Ващенко был в своем кабинете. Я привык с ним встречаться на дому, на короткой ноге, прошел сейчас прямо к двери, взялся за ручку. Меня остановила секретарша.

— Петр Петрович занят.

— У меня срочное дело.

— Без срочных дел мало кто ходит к секретарю райкома.

Но я уже успел открыть дверь.

— Петр Петрович, я помешал?

— Андрей Васильевич! — весело удивился Ващенко. — Заходите, заходите.

Кроме Ващенко, в кабинете сидел еще Вася Кучин. Он поднялся, стиснул мне руку.

— Здравствуй. Ты чего это в неурочное время, мы уже по домам собрались.

Без лишних объяснений я вытащил из кармана статью, положил ее на стол перед Ващенковым:

— Вот. Отдал в газету — отказываются печатать.

— Что-нибудь щекотливое? — спросил Ващенко, надевая очки. — Поглядим...

Он стал читать, передавая прочитанные листы Кучину. Тот брал, читал, двигая удивленно бровями, молчал.

— Клешнев отказал? Понятно. Такая статья для него — кислое яблочко, — произнес Ващенко, передавая последнюю страницу. — А вы злой человек — ни пощады от вас, ни жалости Степану Артемовичу.

— Ну и Степан Артемович не отличается кротостью. Сегодня при всех учителях приказал мне оставить школу, — сообщил я.

— Вон куда зашло!..

Кучин дочитал, взглянул на меня из-под своей густой шевелюры.

— Не боишься, козленок, с волком бодаться?

Я пожал плечами.

— Нужда заставляет.

Кучин с сомнением покачал головой, а Ващенко из-под очков (дома я никогда не видел его в очках) с любопытством прощупывал меня маленькими, запавшими глазами. Он молча снял с телефона трубку:

— С Клешневым соедините... Клешнев? Слушай, ты только что отказался напечатать статью учителя Бирюкова... Да, да, он действительно не согласен по некоторым принципиальным вопросам с Хрустовым и Коковиной. Ну и что ж из этого? Можем мы зажимать ему рот?.. Не прав? Пусть даже не прав. Нам с тобой в этом трудно разобраться. Напечатаем его статью, а потом предоставим место в газете Коковиной и Хрустову. Твоя воля, отказывай на свой страх и риск, а мое мнение — такие вещи следует печатать... В дискуссионном порядке? Конечно, в дискуссионном. Пусть столкнутся два различных

взгляда, пусть поспорят, от этого ничего, кроме пользы, не будет.

Ващенко опустил трубку, встал, протянул мне руку.

— Идите к Клешневу, не мешкайте, жмите покрепче. Стоит ли вас предупреждать, что он будет тянуть и выяснять исподтишка.

— Спасибо.

— Не за что. Я сделал то, что на моем месте сделал бы каждый. Спорьте, опровергайте друг друга, а мы поглядим со стороны, может, и нам станет ясно.

Кучин снова крепко стиснул мою руку своей жесткой ладонью:

— Я бы на твоём месте не лез на рога Хрустову.

Клешневу куда-то собирался уходить из редакции, я его застал в пальто и шапке. Валентина Павловна сидела за своим столом, читала готовые газетные полосы. Она подняла на меня глаза, одобрительно кивнула головой, сообщая этим, что все знает, слышала телефонный разговор Клешнева с мужем. Во время нашей короткой беседы с редактором она не вставила ни слова, но по напряженной позе, по медлительным движениям рук, осторожно, без шума переключавших бумаги, я чувствовал — внимательно ловит каждое слово.

Прямо в пальто Клешневу уселся за свой стол и снова долго-долго с примерным усердием перечитывал мою рукопись.

— Начало не совсем... — заявил он наконец. — Что это за начало? «На одном из педагогических советов заведующая роно товарищ Коковина с возмущением...» Какое же это начало? И это: «Не позволим!» Сухо как-то, товарищ Бирюков, узко. Надо бы пошире охватить. Сказать, например, о достижениях... А вы сразу: «Не позволим!»

— Нет уж, оставьте, как есть.

— Ваша воля. Имейте в виду, статья если и будет печататься, то в дискуссионном порядке.

— Согласен. Когда напечатаете?

— Я, собственно, ваших взглядов не разделяю...

— Не сомневаюсь в этом. Мне нужно знать, когда вы ее напечатаете?

— Не горит.

— Нет, горит. Меня сегодня освободили от работы, грубо выражаясь, выкинули из школы. Как видите, у меня горит почва под ногами.

— Статьей себя хотите спасти?

— Себя спасти мог и без статьи, а вот свои убеждения, что правда, то правда, пытаюсь спасти с помощью вашей газеты.

— М-да... Я еще посоветуюсь. Во всяком случае, на ближайшие два номера вам нечего рассчитывать — заняты.

— Я вам покоя не дам. Пока не увижу статью напечатанной, буду стучаться во все двери.

Клешнев ничего не ответил, покорно вздохнул, спрятал статью в стол.

Был вечер. На пухлых сугробах лежал желтый свет, падавший из окон. Я вдруг почувствовал голод: с утра ничего не ел, забыл пообедать. Ну и денек! Утром — школа, все, казалось, должно идти налаженным порядком, и вдруг этот размеренный порядок лопнул, завертелись события. Кажется, сегодняшнее утро, когда я привычной дорогой от крыльца дома направился в школу, было где-то в прошлом году.

Почти у самого дома я столкнулся с Тоней — шерстяной полушалок наброшен на голову, свешивается поверх пальто, дышит прерывисто, увидела, бросилась ко мне:

— Ты!.. Полдня ищущи! Где пропадал?.. Знаешь, что случилось?

— Что? — спросил я спокойно, ожидая от нее упреков за размолвку со Степаном Артемовичем.

— Наташка-то...

— Наташка?! Что с ней?.. — испугался я.

День, который был для меня переполнен событиями, для всех других шел своим чередом: продолжались в школе уроки; как всегда, учителя, окончив работу, разошлись по домам; как всегда, в строго определенный час вышел Степан Артемович из школы домой по обычному маршруту мимо моста.

Но прежде я должен поподробнее остановиться на одном человеке, самом близком, самом дорогом для меня из всех людей на свете, который жил в стороне от моих дел. Я хочу рассказать о моей дочери.

Наташке шел шестой год. Каждое утро я просыпался оттого, что чувствовал на себе ее изучающий, доверчивый, немигающий взгляд.

— Папа, а почему, когда ты спишь, у тебя лоб сердитый?

Если у меня не было по расписанию первых уроков, не нужно было торопиться в школу, Наташка залезала ко мне под одеяло. Мои неуклюжие громадные руки обнимали ее узкие, хрупкие плечики. Между нами начинался разговор, состоящий из тысячи «почему».

— А почему чайка называется чайкой? Она же не пьет чай.

— А почему «свинец» такое нехорошее слово?.. Ну, какое же оно хорошее? Мама говорит «свинья» — нехорошее слово. А свинец от свиньи получился, правда?

— А почему у нас не живут верблюды?

— А почему они горбатые?

— А почему?..

И так без конца, пока не приходило время мне собираться в школу.

Как-то я возвращался домой. Наташка играла с младшим поколением Акиндина Акиндиновича. Я прошел мимо мелюзги, громадный, сильный, воистину величавый Гулливер среди лилипутов. Раскрасневшаяся, с блестящими глазами, Наташка вдруг без всякой причины с горделивой запальчивостью воскликнула:

— Это мой папа! Мой!!

И столько силы, столько любви было в этом слове «мой», что остальные ребяташки с недоуменным восторгом, раскрыв рты, уставились на меня как на чудо. А я, в свою очередь, содрогнулся от счастья, что так любим, что мной без всякой причины так гордятся. И это был один из многих случаев, подобными подарками Наташка меня осыпала каждый день по нескольку раз.

Временами я исподтишка пристально разглядывал ее, сидящую за столом, кромсающую кусок бумаги непослушным карандашом. У нее легкие, податливо рассыпающиеся от близкого дыхания волосы. Они имеют рыжеватый оттенок — оттенок моих волос. У нее крутой, чуть выдающийся вперед лоб — мой лоб. Под скулами, в крыльях носа, в изгибе шеи — всюду я узнавал что-то свое. Мое было и в характере неумелых пальцев, в форме крошечных ногтей, Наташка мало походила на мать.

Необъяснимо! Ревниво всматриваешься, ищешь и находишь себя в другом человеке. Вот она сидит за столом, выводит каракули, старательно посапывает, помогает руке языком. Она живет уже не твоей жизнью, она сама по себе человеческое существо — она другое, не ты и в то же время ты. Какими способами природа твое передала другому? Это чудо больше всех чудес на свете, тайна сокровенней всех тайн, вряд ли до конца ее постигнет человеческий разум.

Я вырос, вошел в силу, начинаю уже стареть, придет время — сойду в могилу. Я исчезну... А это *мое* в рыжеватых волосах, чуть выступающем вперед лбу будет жить и после меня. Будет жить!..

Может быть, именно поэтому для меня совсем не различно, как после моей смерти станут жить люди, так как в их жизни будет и мое личное, хотя бы в виде этой подросшей Наташки. Все, что сейчас делаю, я делаю ради нее, ради таких вот будущих людей. Ради них я каждый день вижу солнце, страдаю от неудач, радуюсь победам. Мое сегодня было бы бессмысленно без тех веков, которые принадлежат моим потомкам!

Наташка играла обычно в компании детишек Акиндина Акиндиновича. Ей было запрещено уходить далеко от дома, запрещено бегать к реке, играть в больничном садике. Больница в представлении ревнительных мамаш всегда связана с прилипчивыми болезнями, а река даже зимой опасна. Под мостом из берегов били ключи, и в этих местах река замерзала только в очень сильные морозы. Нынешняя же зима была снежной, мягкой, с частыми ростепелями.

Но, несмотря на запреты, ребята играли возле больницы, бегали на реку. И в этот день Наташка вместе со всеми ушла к мосту.

Как случилось, что она упала в полыню, никто толком рассказать не мог. Толстая Александра Скундина, дом которой стоит на самом берегу, двор упирался в обрыв, увидела ее уже в воде. Александра несла мешиво поросенку, выронила бадью и, бестолково замахав руками, закричала на все село, зовя добрых людей на помощь, забыв в эту минуту, что она и сама могла бы помочь.

Возле моста оказался только один человек. В своей высокой меховой шапке, в негнущемся зимнем пальто шествовал Степан Артемович.

Он быстро, не по-стариковски, сбежал вниз, подняв тяжелые полы пальто, не задумываясь пошел к ледяной закраине. Она подломилась, и Степан Артемович оказался в воде. К счастью, в этом месте у берега было не глубоко, но все-таки низкорослому Степану Артемовичу вода достигала выше колен. Он вытащил полумертвую от испуга Наташку и, мокрую, тяжелую, потащил на руках к ближайшему больничному зданию. Сестры и старый фельдшер Терентий Терентьевич быстро раздели девочку, растерли ей тело спиртом, завернули в несколько больничных одеял.

В хлопотах о Наташке все забыли о Степане Артемовиче. А он, старик, тоже выкупавшийся чуть ли не до пояса в ледяной воде, стоял в стороне и молчал, а когда убедился, что его помощь больше не нужна, тихонько вышел и отправился домой по ощутимому морозу, в мокрых валенках, в мокрых брюках, в намокшем пальто.

Вместе с Тоней я вбежал в дом. Наташка, напищенная порошками, напоенная чаем с малиновым вареньем, спала в своей кроватке, розовая и спокойная.

Мы с Тоней перебросились несколькими тревожными фразами:

— Сколько просидела в воде?

— Был ли кашель?

— Только бы не схватила воспаления легких..

Мы тоже не обмолвились ни единым словом о Степане Артемовиче, как-то забыли о нем.

Утром Наташка проснулась свежей, вполне здоровой, была только притихшей, покорной, виноватой: боялась, видимо, выговора за слушание. Она не схватила даже насморка. Я не стал дожидаться врача, ушел в школу, чтоб встретиться со Степаном Артемовичем.

После того как опасность у Наташки миновала, я сразу же вспомнил об этом человеке. Тот, кто совершил один самоотверженный и благородный поступок, способен и на другой. Я обращусь к благородству Степана Артемовича, изо всех сил постараюсь найти общий язык с ним. Почему мы должны быть врагами? Мне дороги интересы школы, ему — тоже. Мешая друг другу, мы ничего не добьемся. Нужно поговорить с открытой душой, начистоту.

С такими мыслями я вошел в школу и там узнал, что Степан Артемович болен. Воспаление легких, от которого так удачно избавилась Наташка, свалило в постель старика.

Кроме этой новости, я узнал и другую. Приказ о моем увольнении не был подписан Степаном Артемовичем. Тамара Константиновна, оставшаяся за директора, оказалась перед сложной задачей. Степан Артемович перед всеми учителями заявил, что запрещает мне проводить уроки. Но кто-то должен же их проводить, кому-то нужно преподавать русский язык и литературное чтение. Замены нет. То, что мог своей властью решить Степан Артемович, Тамаре Константиновне было не под силу. Она позвонила Коковиной, спросила, как быть. И Коковина поступила так, как и должна была поступить. Позднее я узнал, что она раскричалась по телефону, осыпая меня самыми неслестными эпитетами, соглашалась со Степаном Артемовичем, что меня нельзя больше держать в школе и что, как только Степан Артемович выздоровеет, немедленно совместно с ним будет принято окончательное решение. Короче говоря, Коковина ничего не решила.

Поэтому Тамара Константиновна, величественно глядя мне в лицо, сухо сообщила, чтобы я пока продолжал занятия. И я пошел на уроки.

Именно в эти дни, когда Степан Артемович лежал дома с высокой температурой, временами впадая даже в беспамятство, среди учителей началось брожение. В старом коллективе прошла трещина.

«Коллектив учителей» — при Степане Артемовиче эти слова в стенах нашей школы произносились очень часто и с надлежащей гордостью. Никто не сомневался, что этот коллектив существует. Да и как можно сомневаться: налицо несколько десятков учителей, все они заняты одним делом, у всех одинаковая цель — обучать знаниям детей. Кажется, какие могут быть сомнения?

Но очередь к хлебной лавке, скажем, в голодном Петрограде семнадцатого года, тоже, казалось бы, имела одинаковую цель, одинаковое желание, одинаковое занятие — достояться и получить положенную пайку хлеба. Но от этого всех случайно собравшихся в очередь людей нельзя еще назвать коллективом. Каждый хотел получить *свою* пайку хлеба, *себя* накормить, *свою* семью, желания и заботы других его интересовали постольку, поскольку могут интересовать чужие и далекие нужды.

В нашей школе любого учителя прежде всего беспокоило, как он справляется со *своим* делом, как успевают его ученики, как он выглядит *сам* в глазах Степана Артемовича.

Учителя работали в одной школе, делали в общем одно дело, но действовали в одиночку, своему товарищу по работе в лучшем случае могли только сочувствовать.

Конечно, у них было больше общих интересов, конечно, они были ближе друг к другу, чем люди из очереди на Невском в те голодные годы (какое сравнение!), но коллективом, в большом значении этого слова, я бы наших учителей не назвал.

Коллективы возникают по-разному. Случайно собравшиеся к дверям хлебной лавки люди в то беспокойное время перед Октябрьской революцией становились порой грозным коллективом. Сытый булочник приоткрывал дверь и объявлял голодной толпе: «Хлеба нет!» И толпа, жившая до этой минуты только личными заботами, эгоистическими нуждами, вдруг проникалась общей ненавистью к булочнику, к тем, кто заставляет торчать целыми сутками в очереди, лишает детей куска хлеба. Люди громили булочную, крича: «Хлеба!», «Долой войну!», «Долой министров-капиталистов!», шли по городу, принимая в свои ряды таких же голодных, таких же обездоленных. Одни желания, одна ненависть, одна страсть соединяли их в одно целое.

Такие внезапные и стихийные рождения коллективов — редкость. В будничной жизни коллектив рождается постепенно.

Степан Артемович внезапно заболел, и учителя — одни с доброжелательным любопытством стали приглядываться к нам, другие же, во главе с Тamarой Константиновной, с молчаливым и даже враждебным подозрением следили за событиями.

Теперь ни один мой урок не проходил без того, чтобы кто-нибудь из учителей не присутствовал на нем. После таких уроков в учительской собирались в кружок, сами собой начинались обсуждения.

Стали интересоваться те учителя, на кого я меньше всего рассчитывал, и возражали такие, которые, я думал, станут помощниками.

Агния Никитична Лубкова, преподавательница немецкого языка, всегда послушная воле Степана Артемовича,

ничем не выделявшаяся среди других учителей, тихая, безропотная старушка, побывала на одном из моих уроков, вышла оттуда взволнованная, долго расспрашивала, как составляются карточки, какими способами следует приучать детей беседовать друг с другом?

Я надеялся, что заинтересуется учительница химии Евдокия Алексеевна Панчук. Мне нравилась ее запальчивость на уроках, ее любовь к своему предмету. Я даже завидовал ей во многом.

Она оказалась в числе откровенных моих противников. — Вы сводите к нулю значение учителя! — громко возмущалась она. — Учитель должен заражать своих учеников творческим запалом! У вас учителю отведена роль контролера и надсмотрщика!

До сих пор я действовал в одиночку. Вокруг меня есть сочувствующие, но нет коллектива. Я считаю, что до поры до времени это не должно меня пугать. Прежде чем Маркс и Энгельс написали в своем Манифесте: «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма!», прежде чем они в своем деле ощутили такую силу, что смогли бросить призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», первые идеи коммунизма задолго до этого возникли в головах одиночек.

Мои мысли и намерения не так уж глубоки и широки, быть может, даже в чем-то ошибочны. И уж во всяком случае я не обольщаюсь тем, что созрел до вождя коллектива. Я в самом начале большого и трудного пути, я пока могу предложить только одно: «Давайте искать».

Идут в школе споры, растет интерес к нашему делу. Единого коллектива пока нет, но исчезает и равнодушие — самый злостный враг общих интересов. Не через споры ли да разногласия создается обычно сплоченный коллектив?..

Самым горячим моим поклонником стал Жора Локотков. Ему было неполных двадцать четыре года. До сих пор жизнь этого паренька шла, как пассажирский поезд, по твердому расписанию: в нужное время прибывал на нужную станцию, нигде не застревал, не стоял в тупиках. В семнадцать лет окончил десятилетку, без задержки поступил в институт (тот самый, который окончил и я), после института направлен в нашу школу. Он сторонник передового, он готов засучив рукава ломать старое.

И в то время как опытные учителя вроде Олега Владимировича или Ивана Поликарповича еще приглядывались со стороны, Жора Локотков уже решил действовать. Степан Артемович лежал в постели. Тамара Константиновна не в состоянии наложить запрет — нет никаких препятствий. Жора всем стал говорить, что не собирается больше преподавать по старинке, в самое ближайшее время начнет действовать по новому методу.

Со стороны кажется, не трудно поставить печь: кирпич к кирпичу, вывел под, шесток, трубу — не хитрое дело, клади дрова и затапливай. Дело-то не хитрое. Но сколько нужно знать профессиональных секретов, чтоб свод не обрушился, чтоб глина не выгорала, чтоб была нормальная тяга! Малейшее упущение — и печь, внешне похожая на все печи, вместо того чтобы обогреть, начнет чадить, напускать угар, отравлять существование.

Жора Локотков побывал у меня лишь на нескольких уроках, узнал, что ребята беседуют друг с другом, меняются местами — все это похоже на игру, все просто, как проста и безыскусна на вид русская печь. Жора не подозревал, что я, прежде чем приступить к новым урокам, ломал сам себя, учился свободно беседовать с классом, что каждый мой день заканчивается напряженнейшим вечером, заполненным утомительным и неблагодарным трудом, что мне приходится исписывать кучи бумаги, рассчитывать каждое слово — свое собственное и учеников, — взвешивать по десять раз любой вопрос.

Такой Жора, не мудрствуя лукаво, засучив рукава начнет ставить печи, не зная толком, как положить кирпич на кирпич. И обязательно у него все разрушится, его усилия вместо пользы принесут непоправимый вред. Остальные учителя, глядя на его работу, схватятся за голову: «Какое же это новаторство? Чушь! Ерунда! Прав был Степан Артемович, который хотел запретить эту ненужную затею!»

Жора Локотков может стать страшнее Степана Артемовича и негодующей Коковиной. Сам того не желая, он может погубить все дело.

На стихийных обсуждениях, которые проходили в учительской, я начал говорить о том, что нельзя, не зная таблицы умножения, браться за решение алгебраических

задач, что каждый учитель должен стать прежде всего изыскателем, что, пока не будут разработаны точные приемы, новый способ обучения не может стать массовым.

Порой нас слушала Тамара Константиновна. Слушала и молчала. При встречах со мной сторонилась, на ее величавом лице я улавливал смятение.

Редактор газеты Клешнева оказался еще более осторожным, чем мы рассчитывали. Даже звонок секретаря райкома не помог. Клешнева не отказывался печатать статью, нет, напротив, он был за ее публикацию, но тем не менее перекладывал ее из номера в номер: то срочно требовалось давать подборку о работе лесозаготовителей, то нужно осветить семинар агитаторов, то почему-то в разгаре зимы печатались статьи по закладке силоса...

Меня это не особенно волновало, но Валентина Павловна была в отчаянье:

— Ну как справиться с этим человеком? Подскажите! Он никогда не возражает, соглашается с каждым словом, но делает только по-своему. Сейчас вот новый козырь ему в руки — болезнь Степана Артемовича. Говорит: «Неэтично критиковать больного».

— Тут даже я ему не возражу, — ответил я.

— Но пройдет неделя-другая, и интерес к статье пропадет. Стол Клешнева не для одной вашей статьи стал могилой.

— С моей стороны недостойно бить лежачего. Пусть Степан Артемович всгнет на ноги, еще раз попробую найти с ним общий язык, если же не найду, тогда наседаю на Клешнева. А пока оставьте его в покое.

Я приходил к Валентине Павловне в то время, когда самого Ващенко не было дома, так как при каждом посещении неизбежно бы приходилось заводить разговор о статье. Я боялся, что Ващенко мог подумать: хочу использовать доброе знакомство с ним в корыстных целях. Разумнее было бы вовсе не навещать Валентину Павловну. Всегда найдутся злые языки, которые не упустят случая разнести слухок, что-де подмазываюсь через жену к секретарю райкома. Разумнее не встречаться до поры до времени, но это было уже выше моих сил.

Среди всяческих дел, казалось бы, в самые неподходящие минуты, я вспоминал: «Она недалеко! Она, наверно, ждет меня; наверно, думает обо мне в эту минуту!» Свежее светлое лицо, серые с синевой глаза, порой прозрачные, без мысли, с той трогательной чистотой, какая бывает лишь у ребенка, порой же тревожно ждущие чего-то, беспокойные, с напряженно разлившимся зрачком. Меня всегда поражает изменчивость ее лица, ее глаз. Я никогда не могу заранее представить себе, какой она будет при новой встрече.

Минуты, когда среди всяких дел я вспоминал ее, походили на забытые, на какую-то странную болезнь. Ни о чем другом я не мог думать, все остальное становилось не важным — нет у меня воли, я сам не принадлежу себе. На пять минут, на десять я выключался из жизни, а потом словно просыпался, освеженный, с бодрой радостью в душе. Она здесь! Она недалеко! Стоит мне пожелать, и я встречу с нею! За дело! И я принимался за разработку нового урока, брал в руки раскрытую книгу, проверял тетради.

Как ребенок бережет лакомство, оттягивает наслаждение, так и я ревниво берег в себе желание встретиться с нею, оттягивал сроки. Одна уверенность, что рано или поздно ее увижу, доставляла мне покойное удовлетворение. Но приходил наконец день, когда терпеливое ожидание кончалось. Я начинал сомневаться: а ждет ли, а помнит ли, не изменила ли ко мне отношения?.. И меня охватывала лихорадка: скорей, скорей, надо узнать, как живет, что делает, что думает!..

И я шел к ней, убеждался, что она действительно ждала меня эти несколько дней. И сегодня синее платье, подчеркивающее стройность крепкой, маленькой, с легкой полнотой фигуры, надето ею не случайно.

Но как ни странно, а наши встречи стали какими-то тягостными для нас обоих. Мы говорили все об одном и том же: о моей статье, о больном Степане Артемовиче, о характере Клешнева. Говорили по обязанности, мучились от скованности, боязливо обходили самое важное, самое волнующее нас обоих — наши отношения.

Уходил я от нее с ощущением какого-то смутного преступления. Зачем я хожу к ней? Ведь нет же в этом прямой необходимости. Нам запрещено любить друг друга.

У нее — муж, у меня — жена и ребенок, не могу их бросить. Странно, я никогда не осмеливался (именно не осмеливался!) думать о Валентине Павловне как о женщине. С моей стороны какая-то нелепая мальчишеская страсть, и это в тридцать с лишним лет, у семьянина. Трезво рассудить — лучше не встречаться. Я думал, что стоит мне удержаться, не приходить месяц-другой, и мы снова сможем видаться просто как хорошие знакомые. Так я думал — и терзался.

К Тоне после этих встреч я испытывал сложное чувство: затаенную неприязнь и вину перед нею.

Я давал себе слово не ходить, но на следующий день вспоминал: она здесь, она недалеко, она существует! И в конце концов шел, обманывал самого себя, что иду лишь к товарищу, что мне незачем стыдиться этих встреч, никто не может упрекнуть меня, как никто не упрекает Василия Тихоновича за то, что тот приходит ко мне, когда ему захочется.

Я пришел к ней в очередной раз. Валентина Павловна ждала меня. Она встретила у дверей, провела к столу, уселась напротив. На ней было новое платье, гладко облегающее, с вырезом у шеи. Я сначала не обратил на это платье внимания, только отметил про себя обычное обновление: она не похожа на прежнюю, она опять нова и непривычна для меня. Но едва я уселся напротив, стал украдкой вглядываться в Валентину Павловну, в ее простое платье, как сразу же увидел то, чего никогда не замечал прежде, — женский вкус, женское желание нравиться. Обнаженная белая шея, обнаженные руки — все остальное наглухо скрыто теплой, кофейного цвета материей; она подчеркивает каждый изгиб, каждую линию, застенчиво и в то же время настойчиво напоминает о том, что под этой тканью спрятано крепкое, здоровое, согретое живой кровью женское тело.

Валентина Павловна сообщила мне новость, которая в другое время заставила бы меня встрепетаться, подняла бы целый водоворот мыслей в голове. Она говорила:

— Андрей Васильевич, я вчера разругалась с Клешиным. Я сказала все, что о нем думаю. Я не вернусь больше на работу. Опять — в который раз! — карьера моя кончилась...

Она с тревожным вниманием глядела мне в лицо, а я молчал, я едва слушал, оглушенный своим открытием: белая шея, под самым горлом ямка, разделяющая ключицы, матово-белый кусочек кожи в вырезе...

Она вдруг почувствовала мой взгляд, залилась краской, отвернулась, сказала с досадой:

— Вы не слушаете меня.

И я, кажется, тоже покраснел, глухо произнес:

— Слушаю... Продолжайте... Как же все это случилось?..

— В редакцию приехала Коковина, требовала у Клешнева показать вашу статью...

— Вот как! Пронюхала.

— Разумеется, возмущалась вами, но, что любопытно, при этом оговаривалась: она-де давно разглядела в вас, Андрей Васильевич, талантливого педагога...

— Что-то новое. Не слыхал от нее таких комплиментов.

— Ей лишь не нравятся ваша строптивость, излишняя самоуверенность и прочее в этом духе. Клешнев соглашался, но статью не показал, заявил, что до публикации любой материал — редакционная тайна.

— Бойтся, что я подыму звон в райкоме...

— Вас бойтся или меня — не знаю. Это не так уж интересно. Коковина ушла, а у нас с Клешневым начался обычный разговор. Я помнила вашу просьбу не наседать на него, но не исполнила ее. Таким Клешневым следует ежеминутно надоедать. Я стала наседать, почему он не дает ходу вашей статье. Слово за слово, и он обронил...

Валентина Павловна до слез покраснела, нахмурилась, стукнула своим маленьким кулаком по столу:

— Какая пакость!.. Что скрывать, он недвусмысленно намекнул, что я стараюсь из особого к вам расположения, дурно пользуюсь добросердечием мужа... Фу, как грязно!.. Хуже пощечины.

Я не осмеливался глядеть на Валентину Павловну, долго молчал, наконец решился сказать:

— Я не должен ходить к вам...

— Почему? — выкрикнула она. — Жить так, как требуют Клешневы?

— За такие намеки в старое время вызывали на дуэль. Теперь я не могу даже пойти к Клешневу и тряхнуть его за шиворот. И вы и я безоружны перед ним.

— Ну нет, думаю, он почувствовал, безоружна ли я перед ним. Через десять минут после своих слов он выскочил как ошпаренный. Но это еще не все...

— Кажется бы, достаточно и эгого...

— Клешнев, должно быть, испугался, что я передам все мужу, и решил первым донести.

— Как! Он посмел сказать это Петру Петровичу!..

— Нет, он просто жаловался, что я его извожу, что не подчиняюсь, что ему со мной трудно работать... Петр мне позвонил, я рассказала. Он по своей милой привычке ответил: «Не обращай внимания». Как я могу не обращать внимания? Как мне работать бок о бок с ним?.. Я дождалась Клешнева, сказала то, что раньше не успела досказать, и заявила, что с этой минуты работать вместе с ним не буду. Поглядели бы вы на его физиономию: и радость, что я ухожу, и страх, что припомню обиду, и постное оскорбление за то, что его обозвала бездарью, сухарем, никчемностью, даже не ожидала, что такой выразительной может быть его суконная рожа. Вот... Ушла... Вы опять меня в душе должны презирать.

Она подалась ко мне через стол. Презираю ли я ее? Обнаженная шея, обнаженные руки, вызывающе-дерзкое выражение на лице, глаза блестят — я отвернулся. Где уж презирать — поздно! Соверши она геперь заведомую подлость, я б и тогда прощал ее и оправдывал.

Что же будет дальше?.. Пока не прочна та нить, что нас связывает, надо рвать ее. Потом что ни день, то трудней это сделать. Я не мальчик, я могу себе представить, какой катастрофой может кончиться наше сближение. Катастрофой не только для меня и для нее, но и для тех, кто живет вместе с нами... Порвать?.. Я у нее единственный товарищ, если не считать мужа. Сейчас у нее снова пустота впереди, сейчас, больше чем когда-либо, ей будет нужна поддержка со стороны. Порвать?.. Ведь этим я оберегаю свой покой, облегчаю свое существование. Свое, а не ее! Не пахнет ли это предательством, не называется ли это: бросить в беде?

Сжать душу, мертвыми узлами связать самого себя, свои чувства, свои желания, но не рвать, встречаться, как встречался. Другого выхода нет.

Я расстался с Валентиной Павловной в полном смятении. Я не верил в себя, не верил, что могу предотвратить катастрофу.

Слух о моей статье просочился сквозь стены редакции задолго до этого разговора. В селе Загарье не бывает секретов. Но то, что сама Коковина была в редакции, то, что Валентина Павловна ушла из газеты, разругавшись с Клешневым из-за моей статьи, — все это вызвало многочисленные слухи. Какими бы они там ни были, но из-за них ненапечатанная, мирно покоящаяся в столе Клешнева статья приобрела ощутимую силу.

Статья! Против Степана Артемовича, против Коковинной! Статья, вокруг которой разгораются страсти! Ничто не поражает так воображение, как смутные слухи, несущие полураскрытую тайну. За спиной Бирюкова не просто поддержка учителя физики Василия Тихоновича Горбылева, не только признание старейшего в районе педагога Ивана Поликарповича Ведерникова, за его спиной еще и статья в газете! Таинственная, неведомая статья! Что-то в ней говорится? Как она обрушивается на авторитеты? Есть сведения, что за эту статью стоит горой сам Ващенко. Почему?.. Это тоже небыл интересно... Это тоже стоит обсосать... Но так или иначе, Ващенко на стороне Бирюкова. Ай да Бирюков! Уж не закатывается ли солнышко Степана Артемовича! Уж не придется ли уступить старику?..

А Степан Артемович продолжал лежать у себя дома под наблюдением врача. К нему не пускали. Он был единственным человеком из школы, который был в стороне от событий. И то, что все происходило за его спиной, мучило меня. Было бы легче, если б он по-прежнему оставался моим противником.

Тоня, как и большинство учителей, слепо поклонялась Степану Артемовичу. Но после того как он спас ее дочь, спас, а сам слег в постель, благодарность и уважение Тони к нему переросли все пределы.

— Какой человек! Все говорят, что строг. Да разве можно без строгости! Он строг, когда нужно, а так добрый. Ты вот все противишься ему, пользуешься болезнью. Тебе не стыдно? — повторяла она мне.

Я отмалчивался и ждал часа, когда можно будет встретиться с больным директором, разрешить начистоту все сомнения.

И вот нам сообщили, что Степану Артемовичу легче, что его можно навещать.

Мы нарядились, словно шли не к больному, а на званные именины. Я надел свой лучший костюм. Тоня, как в добрые времена нашей молодости, долго вертелась перед зеркалом, поправляла кружевной воротничок на платье.

Молчаливые, торжественные, смущенные, преисполненные благодарности, мы переступили порог дома Степана Артемовича.

Наш директор жил в маленьком домике, на железную крышу которого клали свои ветви старые липы. Не только я и Тоня, но и остальные учителя редко когда заглядывали за его стены — хозяин не отличался чрезмерной общительностью.

Просторная комната с яркими половичками на крашеном полу, цветы в потемневших кадучках, этажерки с книгами; на одной из этажерок гипсовый бюст Льва Толстого; на видном месте висит скрипка, которую, верно, много лет не снимали с гвоздя, — все говорило о покойной, чистой, скромной жизни старого сельского интеллигента.

Степан Артемович лежал в постели возле маленького столика, заставленного аптечными пузырьками, заваленного журналами. На белоснежно-чистой подушке его лицо казалось сейчас лимонно-желтым, морщины на нем утратили жесткость и грубость, а большие уши, тонкая шея, голубовато-серые глаза вызывали впечатление чего-то детского, беспомощного. Так и хотелось погладить рукой по жестким седым волосам.

Желтой, сморщенной рукой он указал нам на стулья, покряхтел:

— Садитесь... Вспомнили?.. Спасибо.

— Вам спасибо, Степан Артемович, — проникновенно поблагодарила Тоня.

Она присела на краешек стула, в своем нарядном платье, рослая, зардевшаяся от смущения, налитая здоровьем, так не подходящая к скучной обстановке, окружавшей старого и больного человека.

— Вам спасибо. Дочь спасли — шутка сказать! Отблагодарить вас не в силах. — Тоня в чинно положенных на колени руках смущенно комкала чистый платочек.

— Бросьте, бросьте! — с напускной суровостью махнул на нее Степан Артемович. — Лучше расскажите, что

делается на белом свете.— Он перевел взгляд на меня.—
Что новенького, Андрей Васильевич?

Тоня выразительно покосилась на меня. А я в эту минуту пытался разгадать: насколько осведомлен Степан Артемович о тех делах, которые идут сейчас в школе? Вряд ли его держали в полном неведении.

— Так что новенького? — настойчиво повторил Степан Артемович.

Он глядел на меня утомленным взглядом, но под этим утомлением, как угли под пеплом, чувствовалось, тлела подозрительность.

— Нового много,— ответил я как можно спокойнее.

— Вы продолжаете работать?

— Да. Вопрос о моем увольнении будет решаться после вашего выздоровления.

— А вы собираетесь одуматься или по-прежнему упорствуете и будете упорствовать?

— Должен сознаться перед вами, Степан Артемович, что я продолжаю свою работу по-прежнему и...

— И?..

— И не смогу не продолжать...

— Так...— произнес Степан Артемович ледяным голосом.— Что ж, это тоже входит в вашу благодарность? — В его глазах исчезла усталость, взгляд стал острым.

— Что бы ни случилось между нами, Степан Артемович, а моя благодарность к вам останется прежней.

— Так... Кончимте словесные расшаркивания в благодарности — ни к чему. Поговорим о деле. Собираетесь или нет гнуть свою линию? Вот что мне интересно знать.

Давно я ждал этого разговора, давно к нему готовился, по ночам, прежде чем уснуть, перебирал в уме горячие фразы, веские доказательства. В те минуты я верил, что буду говорить со страстью, заставлю поверить Степана Артемовича в свое дело.

И я заговорил. Но Степан Артемович глядел на меня с холодной подозрительностью, он замораживал меня. Горячие слова выскочили из головы, вместо них приходили фразы, сухие и бесцветные, как плотно сжатые губы лежащего передо мной больного старика.

— ...Наша школа может стать передовой по области. Она послужит примером для остальных...

Я говорил, а Тоня, сидящая бок о бок со мной, не поворачивая головы, косила круглым глазом, руки ее оже-

сточенно терзали на коленях платочек. Она кипела от возмущения, ей было стыдно за меня, и только уважение к больному да законы приличия заставляли сдерживаться от слез и упреков.

Я кончил. Степан Артемович, глядевший мне все время в лицо, устало прикрыл глаза. За окном бесшумно падал крупный снег; его мягкий, нескончаемый полет подчеркивал тишину. Степан Артемович, откинувшись на подушки, лежал с желтым лицом. Тоня нерешительно скрипнула стулом, замерла. Я сидел выпрямившись, в неудобной позе, ждал с замиранием сердца, когда Степан Артемович нарушит молчание.

Он пошевелился, с усилием привстал на локте, ворот его рубахи распахнулся, открыв тонкую, туго выпиравшую под сухой кожей ключицу. В его глазах было страдание, настоящее страдание слабого и беззащитного существа, которому приходится выносить незаслуженное оскорбление. И я в душе содрогнулся под этим взглядом всегда волевого, сильного, не терпящего возражений человека.

— Ясно... Подлость, молодой человек! — произнес он. — Да, да, другого названия не нахожу. Воспользоваться моей болезнью... При каких обстоятельствах воспользоваться!

— Степан Артемович!..

— Молчите! — срывающимся, тонким с хрипотцой голосом выкрикнул он. — Вы можете считать меня рутинером, можете сколько угодно презирать меня за косность, но уважайте во мне человека, не пользуйтесь случаем, что я беззащитен, что не могу вам ответить.

— Степан Артемович!..

— Молчите!! Я всю жизнь отдал школе. Всю жизнь!.. А вы... Вы своим отношением плюете на мою жизнь, на мой опыт. Мало того, плюете свысока, самым бесстыдным образом... Молчите! Какой нужно обладать наглостью, чтоб появиться вот так и объявить: вы теперь ничто, пустое место, вам выгоднее слушаться меня.

— Степан Артемович, как вы можете?!

— Как ты можешь! Ты! — неожиданно взвизгнула Тоня, вскочила на ноги, повернулась ко мне, в округлившихся по-кошачьи глазах блестели злые слезы. — Где твоя совесть?! Как не стыдно!..

Она снова упала на стул, уткнулась лицом в истерзанный платочек и затряслась от рыданий.

На шум к постели больного прибежала жена Степана Артемовича Анастасия Николаевна, полная, чистенькая старушка с робким выражением на добром лице. Она, вытирая руки о кухонный фартук, пряча от смущения глаза, испуганно, суетливо и виновато принялась повторять:

Прошу... Прошу вас. Он же болен... Очень прошу... Уходите...

Я, растерянный и оглушенный, поднялся со своего места.

— Простите, Степан Артемович... Я никак не хотел...

— А что ты хотел? — дрожащим от негодования голосом снова набросилась на меня Тоня. — Подлость совершил и думаешь — все будут радоваться! Ради твоей же дочери Степан Артемович здоровья лишился. А ты...

— Прошу же... Очень прошу... Ах, господи!

— Андрей Васильевич, ваша жена не в пример вам более благородный человек.

— Лежи, Степа, лежи, не волнуйся... Очень вас прошу... Он же болен, ему нельзя волноваться.

Старушка с мягкой настойчивостью стала подталкивать меня к двери:

— Очень прошу... Очень...

Дорогой Тоня прятала свое заплаканное лицо от встречных, молчала.

Только что над селом прошел снегопад. Каких-нибудь десять минут тому назад густо летели мягкие, пышные хлопья, воздух был сумрачен, небо угрюмо. Тогда казалось, что близок вечер, день кончается, впереди ночь. Но вот небо очистилось, и день вернулся. Подновленные свежим снегом крыши, сугробы, дороги казались белей прежнего. Снег лежал на ветвях деревьев, на проводах. Каждый дом утопал в пышных кружевах. Летали воробьи над дорогой, молодой пес носился по улице, дурашливо хватал ртом снег; за ним с визгом бегали ребятишки. Все радовались возвращению дня. А я угрюмо глядел на сияющий белизной мир.

И я надеялся, что договорюсь со Степаном Артемовичем. Согласиться ему со мной — значит отойти бесславно в сторону. Сегодняшний разговор не мог быть иным.

Дома Тоня дала волю гневу: как я мог оказаться таким неблагодарным, как я могу оскорблять Степана Артемовича! Степан Артемович — святой человек!..

— Нашу дочь спас от смерти! Понимаешь или нет — твою дочь! Надо же быть таким безмозглым идиотом, таким толстокожим, чтоб не понимать этого! А еще считаешь себя порядочным человеком! Что теперь о нас подумают? Что будут говорить люди? Да что там люди! Своя собственная совесть покоя не даст!

Наташка забилась в угол, следила за нами испуганно мерцающими в полутьме глазами. Тоня стояла посреди комнаты, высокая, гибкая, сильная, лицо перекошено, в округлившихся глазах ненависть.

«Совесть покоя не даст!..» Покоя... Она больше всего на свете бережет свой покой. Не дай бог, если проснется совесть и начнет тревожить — неприятность.

— Мы, видите ли, ищем великие идеи! Мы не желаем жить, как все живут. Мы умнее остальных! Да кому нужны твои идеи! Таким, как ты, как этот физик, умникам. Всем остальным плевать на них. И я плюю на ваши идеи! Плюю! Всегда буду на стороне Степана Артемовича. Всегда!..

Я вышел из дому, громко хлопнув дверью.

Утром, едва я перешагнул порог школы, как почувствовал: что-то изменилось. Тетя Паня, наша гардеробщица, принимая пальто, взглянула на меня как-то значительно. В дверях учительской я столкнулся с Акиндином Акиндиновичем. Он смутился и с поспешностью уступил мне дорогу. Иван Поликарпович при моем появлении не ограничился обычным дружеским кивком, а, кряхтя, поднялся со своего кресла, подчеркнуто поздоровался за руку.

Выскочившая из директорского кабинета Тамара Константиновна, заметив меня, вздернула надменно свое белое лицо и взглянула так, как давно уже не глядела: не в глаза, а в брови. И я понял. Когда Василий Тихонович с озабоченным выражением подошел ко мне, кивнул на дверь директорского кабинета: «Он там...» — я коротко ответил: «Знаю».

Через несколько минут я увидел его. В пальто, с шапкой в руках, седой ежик волос торчит над меховым воротником, он вышел из своего кабинета, прошел молча по учительской и исчез в дверях.

В конце рабочего дня на стене учительской, там, где вывешивались сообщения об изменении в расписании, приказы по школе, появилось объявление:

«Сегодня в восемь часов вечера в роно, в помещении методического кабинета, состоится совещание. Явка всех преподавателей обязательна».

В методическом кабинете, не особенно просторной комнате с побеленными стенами, заставленными стеллажами, было тесно и душно. Я оказался прижатым к окну, от которого веяло зимней стужей.

Степан Артемович сидел за столом, рядом с Коковиной. Он утонул в своем распахнутом на груди громоздком пальто. Лицо его было бледно, глаза устало прикрыты веками; свет от электрической лампочки, висевшей над его головой, резко подчеркивал глазные впадины и провалившиеся щеки.

Все, что он сейчас говорил, не ново. В общем, он повторял свое выступление на педсовете. Но интонации его голоса — тихого, усталого, с затаенным страданием, с искренней, неподдельной болью — новы. Чувствовалось, каждое слово идет от сердца.

— В нашей школе, товарищи, произошел раскол. Одни учителя желают жить прежней, нормальной жизнью, работать, как работали до сих пор. Другие — их меньшинство — во главе с Бирюковым предлагают установить новые порядки, новые, нигде не испробованные, никем не проверенные приемы обучения. Охотно поверю, что в этом есть что-то интересное. Я не могу отмахнуться от того факта, что такой опытный, уважаемый всеми педагог, старейший член нашего коллектива — Иван Поликарпович Ведерников заинтересовался работами Бирюкова. Я бы сам с удовольствием глядел со стороны на деятельность Бирюкова, любопытствовал, что получится... Со стороны, товарищи! Но для меня, как директора, не может быть взгляда со стороны. Я должен или подхватить идеи Бирюкова, на свой страх и риск проводить их в жизнь, или играть нечистую игру: похваливать, делать

благодушную мину, а втихомолку осаждают порывы. Первое я не могу принять потому, что при всем уважении к новому я боюсь прожектерства. Верю только проверенному делу, не имею права допускать ошибок, так как любая ошибка в школе может покалечить десятки, если не сотни, человеческих судеб. Я не могу взять на себя смелость ошибаться. Моя совесть не разрешает вести и двуличную игру с Бирюковым. Потому я открыто выступаю против. Я высказал свои сомнения Бирюкову лично, предупредил его на педсовете — ничто не помогло! Тогда я поставил вопрос перед своей совестью: могу ли принять крайние меры? Кто больше имеет прав оставаться в школе, я или Бирюков? Я рассудил, что должен остаться я, как старший, как более опытный. Я запретил Бирюкову идти на урок. Своеволие? Превышение прав директора? Судите как хотите. Если б Бирюков раскаялся, дал слово, что не будет мешать нормальной работе, я охотно пошел бы ему навстречу. Но он не подумал раскаиваться, он воспользовался моей болезнью. Судите меня. Но как бы вы ни судили, от вопроса «я или Бирюков» уже никто отмахнуться не сможет. Осудите меня — уйду из школы. Признаете меня правым — нога Бирюкова не ступит ни в один из наших классов...

Опущенные веки, изможденное болезнью лицо, слабый, с душевными интонациями голос, который, казалось, вот-вот перейдет на шепот, угаснет совсем. Каждый из сидевших боялся пропустить хоть слово; глухая, подвальная тишина висела в комнате: ни скрипа, ни шороха, ни легкого вздоха. Я видел впереди себя неподвижные затылки, видел нездоровое, с провалившимися щеками лицо Степана Артемовича. Его слабый, искренний голос подкупал и меня. Я не испытывал ни возмущения, ни гнева. Мне было жаль этого человека. Если б сейчас стоял вопрос о каких-то личных интересах, я, не задумываясь, встал бы и сказал: «Сдаюсь, уступаю, считайте себя победителем». Но дело не в личном. Я не имею права быть жалостливым. Этим бы я предал своих учеников. Да только ли их?..

Не могу с ним согласиться, не могу пойти на уступки, не могу потому, что стану считать себя предателем перед своим собственным будущим, перед будущим тех, кто сидит рядом со мной, перед будущим своих учеников, своей дочери!

Жалость к Степану Артемовичу, какую испытываю сейчас я, испытывают и другие. Рядом со мной сидит Жора Локотков: волосы взъерошены, плечи опущены, тонкая шея вытянута, на мальчишеском лице со вздернутым носом, как в зеркале, отражаются боль и страдания Степана Артемовича. Сейчас его сочувствие на стороне директора. А что ж тогда переживают другие, те, кто относится ко мне настороженно? Скорей всего не Степана Артемовича, а меня оттолкнут в сторону.

Степан Артемович умолк, отвалился на спинку стула. Коковина с бесстрастным лицом, с прямой посадкой, занимающая свое председательское место, предоставила слово заведующей методическим кабинетом. Пожилая, рыхлая, с вяловатыми движениями, вечно озабоченная Полина Федоровна Решетова много лет раскладывала по полочкам различные приемы преподавания, собирала литературу, выдавала на руки брошюры. Сейчас она, склонив набок голову, с жалостливым упреком бабушки, желающей добра непутевому внуку, заговорила:

— Андрей Васильевич, дорогой товарищ Бирюков, мне хотелось бы сказать о вашей самонадеянности. Вы мечтаете о перевороте, пытаетесь низвергнуть старое. Но есть ли у вас на то основания? Достаточно ли опыта? Хорошо ли вы знаете все сокровища, накопленные в течение веков педагогической наукой? Нет, не знания движут вами, а излишняя самонадеянность, которая толкает вас не только на прямую бестактность, но даже на подлость. Да, да, оглянитесь на самого себя! Степан Артемович спасает вашу дочь, жертвует здоровьем, надолго ложится в постель, а вы тем временем пишете на него какую-то статью в газету, подбиваете против него учителей. Оглянитесь! Я верю, что еще можете оглянуться, верю, вы не до конца потеряли совесть. Не становитесь на путь подлости, Андрей Васильевич! Вы еще молоды...

Излив душу в родительских наставлениях, Полина Федоровна уселась на свое место.

Возле меня взвился Жора Локотков:

— Разрешите!

Коковина разрешила.

Задевая сидящих, он торопливо прошел к столу, повернулся, взъерошенный, с изумленно наморщенным лбом, не знающий, куда спрятать руки.

— Товарищи! — Жора заложил руки за спину, вновь освободил их. — Товарищи! До этого вечера я был сторонником Андрея Васильевича Бирюкова. Я верил в него, как... Ну, как в гения... Андрей Васильевич! — Он приподнялся на цыпочки, через головы попытался взглянуть в меня. — Не подумайте обо мне плохо. Я не предатель. Но моя совесть подсказывает: мне не по пути с вами. И каждому честному педагогу — я понимаю теперь это — не по пути. У меня сердце кровью обливалось, когда слушал Степана Артемовича. Больной человек, спасший вашу дочь, вам же вынужден доказывать свою правоту. Какое бы ни было ваше дело, но оно не проверено, оно сомнительно. Как же внедрять сомнительное? Я прежде об этом почему-то не думал. В стране у нас есть исследовательские институты, есть особые опытные школы. Пусть они ищут. А наша обязанность учить...

Жора разгорячился, стал размахивать руками. У Василия Тихоновича, сидевшего рядом с Иваном Поликарповичем, раздувались ноздри, проступал хрящ на носу. А я не удивлялся и не обижался на Жору. Бессмысленно негодовать, как бессмысленно озлобляться на корову, истоптавшую цветы в палисаднике: не ведает, что творит, чего уж...

Черная, в жестких прямых волосах голова Василия Тихоновича прислонилась к седой шевелюре Ивана Поликарповича. Василий Тихонович что-то горячо доказывал. Иван Поликарпович с серьезной озабоченностью кивал в ответ. И когда Жора Локотков, снова слепо натыкаясь на стулья, задевая за плечи сидящих, прошел в глубь комнаты, к дверям, подальше от меня, поднялась жилистая, со вздувшимися суставами рука старого учителя:

— Можно мне?

Он встал, длинный, сухой, в мешковатом выгоревшем пиджаке, на темном сморщенном лице выделяются белые усы.

— Упрекаете, а за что?.. Вы, Полина Федоровна, упрекаете Бирюкова за бессовестность, приписываете ему даже подлость. А я не могу осудить Бирюкова! Я бы точно так же поступил на его месте. Человек со всеми потрохами отдал себя делу. Степан Артемович собирается поставить на этом деле крест и делает, как вы все знаете, по-своему энергично. Он даже не останавливается перед тем, чтобы

показать Бирюкову: «Вот бог, вот порог, простись, милый, со школой». Должен Бирюков защищать свое дело? Должен! Честь ему и слава, что он неуступчив. Вам, Полина Федоровна, кажется, что он, отстаивая свои идеи, пользуется недозволенными приемами. Так нет этих недозволенных! То, что сделал Степан Артемович, обязан был сделать каждый из нас. Никто не сомневается, что Степан Артемович не мог поступить как-то иначе, точно так же не мог иначе поступить и Бирюков. Уважаемая Полина Федоровна, разрешите сообщить вам маленькую подробность, которую я сейчас только что услышал от Василия Тихоновича Горбылева. Статья Бирюкова написана и сдана в газету за несколько часов до того, как Бирюков узнал о спасении дочери. В тот момент он просто не мог рассчитывать на болезнь Степана Артемовича. И, что знаменательно, статья до сих пор не появилась в газете. Бирюков не проявил активности, он ждал выздоровления Степана Артемовича, чтобы еще раз поговорить с ним, убедить его. Затормозить же работу до выздоровления Степана Артемовича, который грозил выкинуть из школы, значит отказаться от дела, утопить его в угоду приличию. Слишком большая цена такому рыцарству... Наш юный коллега Егор Филиппович Локотков только что заявил: наше дело учить, а не заниматься поисками, пусть-де ищут другие. Ждать, чтобы кто-то для вас нашел новое, преподнес его на тарелочке — кушай, дружок, не подавись, будь примерным новатором. И так думать в ваши годы! Представляю, каким новатором вы со временем станете... Бирюков, быть может, и для меня угроза. Мне в свои без малого семьдесят лет переучиваться-то поздно. Но что бы ни случилось, а я не лягу бревном на дороге у этого парня. Обскачут нас с тобой, Степан, молодые, пойдем на пенсию, будем в тишине и покое капустку на огороде выращивать. Такова жизнь...

— О чем разговор, — своим слабым, спокойным голосом возразил Степан Артемович, — если придут здесь к выводу, что я способен сажать только капусту, а не руководить школой, покорно соглашусь, ни упрека, ни жалобы не услышат.

— Эх-хе-хе, смирение паче гордости! — вздохнул Иван Поликарпович, опускаясь на свое место.

Коковина, восседающая рядом со Степаном Артемовичем, заявила:

— Время позднее. Всех нас завтра с утра ждет работа. Будем закругляться. Хотелось бы услышать Бирюкова. Я бы попросила вас, Андрей Васильевич, выйти к столу...

Поведение Коковиной показалось мне несколько неожиданным. Я несколько не сомневался, что Коковина всей душой на стороне Степана Артемовича. Она его защищала в прошлый раз, она знает, что я в своей статье бью не только по Степану Артемовичу, но и по ней самой, — не может она встать на мою сторону, исключено! Тогда почему она предлагает оборвать обсуждение как раз в тот момент, когда высказались в мою защиту, когда разбиты те, кто нападал на меня? Почему она не пытается выпустить еще одного, двух, пять ораторов, которые бы возразили Ивану Поликарповичу, поддержали Степана Артемовича, вместе с тем поддержали бы ее, Коковину? Кто-кто, а Коковина опытный лоцман, знает, в какое время и куда повернуть руль...

Но мне предоставлено слово, размышлять некогда, я вышел к столу.

— Здесь идет спор не о том, прав я или не прав. Просто не нравится тот факт, что я пытаюсь что-то искать. Зачем искать, когда и так у нас все хорошо, зачем идти вперед, когда можно стоять на месте? Вот позиция Степана Артемовича. Он не опровергает меня, он заявляет: «Бирюков мне мешает, увольте его». Увольте без доказательств, без опровержений, примените высшую меру педагогического наказания — отстраните от преподавания. Все это, товарищи, смахивает на суд Линча! Я требую доказательств! И вы не имеете права отказывать мне в этом! Вот мое слово.

Я направился от стола.

— Еще раз прошу слова! Разрешите! — взметнулась отчаянно рука Жоры Локоткова.

— Да ведь вы уже высказывались, — возмутилась Коковина.

— Но я должен признаться...

Однако Коковина не удостоила его ответом, озабоченно взглянула на часы, энергично вдавила в пепельницу очередной окурок, поднялась:

— Разрешите мне, так сказать, обобщить итоги обсуждения.

Она направила поверх голов непроницаемо бесстрастный взгляд, начала с внушительной размеренностью:

— И до меня здесь говорили и о личности Бирюкова, и о его деле, но как-то недостаточно четко проводили границу между этими двумя различными темами нашего обсуждения. Попробуем разделить, попробуем разобраться. Итак, я начну с обрисовки Бирюкова как личности. Вы, товарищ Бирюков, нетактичны в высшей степени! Вы дерзки, вы несдержанны! Вы нескромны, заносчивы! Вы самовлюбленны до предела, мните себя чуть ли не новым пророком в педагогике! Вы преисполнены самого грубого неуважения ко всяческим авторитетам! И все эти ваши недостатки переносил Степан Артемович. Да, да! Поглядите, как он выглядит. Поглядите, как сдал этот человек за последнее время. Чьих рук это дело? Что заставило слечь в постель этого энергичного человека? Только ли несчастная случайность, где Степан Артемович проявил себя героем? Кто подточил этот стальной характер?.. Бирюков! Я вижу, вы морщитесь! Вам не нравятся мои слова. Вы любите критиковать и, ох, как критиковать! Мы все терпим вашу критику. Разве я не знаю, что вы в частных разговорах не очень-то лестно отзывались обо мне? Разве я не догадываюсь, какие выпады находятся в той статье, что лежит в редакции нашей газеты? Лежит! Но кто знает, не сегодня-завтра она выйдет в свет, и мы познакомимся... Что мы — весь район познакомится с вашей милой манерой обрушиваться на людей. Но мы терпим, мы молчим. Да, да, мы молчим! Лично я ни единым словом не упрекала и не упрекну вас за критику, пусть несправедливую, пусть нетактичную, пусть высказанную с чрезмерной заносчивостью. Я вытерплю, я смолчу... Так сносит же и вы со всем достойным вас мужеством нашу принципиальную критику! Вот, товарищи, вам фигура Бирюкова во всей, так сказать, наготе. Фигура, достойная всяческого порицания. Но, товарищи!.. Должны ли мы из этого сделать вывод, что дело, которым занимается Бирюков, не стоит внимания? Должны ли мы крест-накрест перечеркивать его стремление внедрить новое, изведать неизведанное? Никоим образом! Товарищ Бирюков, быть может, в чем-то и не прав, в чем-то ошибается. Значит, мы должны поправить его, уяснить ошибки вместе с ним. Да, да, вместе с ним засучив рукава мы должны трепетно холить те ростки, из которых, кто знает, быть может,

вырастет в будущем новая педагогическая система. Мы все сочувствуем Степану Артемовичу, глубочайшим образом уважаем его, понимаем, что ему нелегко расставаться со своими старыми понятиями, но из этого не следует делать вывод, что Степан Артемович во всем прав, что он ни в чем не ошибается. Вы знаете мое безграничное почтение к вам, к вашему опыту, Степан Артемович, к вашему трезвому взгляду на жизнь, к вашей решительности. Но давайте здесь, дорогой Степан Артемович, при всех, как честные люди, положа руку на сердце, взглянем правде в глаза. Вместо того чтобы принять из молодых, неопытных рук нужное дело в свои руки, в руки старого педагога, вы отворачиваетесь. Не ошибочно ли это поведение?.. Что за категорическая постановка вопроса: или я, или он? Мы уважаем ваши заслуги, Степан Артемович, уважаем вашу преданность своей школе, мы ценим тот факт, что школа поднята вами на достойную высоту, но тем не менее мы обязаны остановить всякого, кто тормозит движение вперед!

Коковина негодуяще гремела, а ее слушатели недоуменно замерли. Крутой поворот ее речи был неожиданностью не только для меня.

Степан Артемович, сидевший рядом с ней за столом, побледнел еще сильнее, еще резче выступили морщины на его квадратном лице, глаза, болезненно блестящие, бегали, сопровождая энергичные взмахи рук Коковиной.

Кто-то горячо дышал мне в затылок.

А Коковина ничего не замечала, она оседлала своего конька, говорила громким ораторским голосом, словно стояла перед многолюдной толпой, а не перед тремя-четырьмя десятками людей в тесной комнате.

«Остановить! Не позволить!» — ежесекундно отдавалось в темных оконных стеклах. Теперь эти слова падали не на мою голову, а на голову Степана Артемовича.

— Перед нами выступал наш старейший и заслуженный педагог Иван Поликарпович Ведерников. Он признал деятельность Андрея Васильевича, высоко ее оценил. Он признал, он оценил, а что вам, дорогой Степан Артемович, застилает глаза? Что мешает вам видеть новое?..

И тут во время секундной паузы, пока Коковина набирала воздух, чтоб выдать новый заряд, Степан Артемович, бледный, с плотно сжатыми губами, поднялся с места.

Коковина грозно повернулась к нему.

— Вы!.. Вы ничтожество! — срывающимся голосом бросил он и засуетился, слепо нашарил шапку, натыкаясь на стулья, на не успевших подняться со своих мест людей, двинулся к выходу.

— Степан Артемович, что с вами? — выкрикнула Коковина.

Но Степан Артемович лишь болезненно повел плечами. Дверь захлопнулась за ним. Все стали беспомощно оглядываться друг на друга. И вдруг за дверью в коридоре что-то загрохотало.

Все повскакали на ноги, задвигали стульями. Я бросился к двери, столкнулся там с Жорой Локотковым.

На крыльце, прямо на пороге, — лицо и грудь освещены высоко стоящей на небе луной — лежал Степан Артемович в своем пегнущемся широком пальто, без шапки, лицом вверх. Сквозь чуть прикрытые веки видны были голубоватые белки закатившихся глаз.

Я схватил податливую руку Степана Артемовича, попытался нащупать пульс.

— Шапку ему надень, голова на снегу, — посоветовал за моей спиной Василий Тихонович.

Сзади стояли, плотно забив двери, люди. А за их спинами неистовствовала Коковина.

— Врача! Врача! Ну что же вы все стали? Бегите за врачом! До какой степени довели человека! Боже мой!.. За врачом!

— Вася! — окликнул я Василия Тихоновича. — Помоги мне внести в комнату. Осторожно, осторожно... Егор Филиппович, не мешайся. А ну, из прохода!

Маленькое сухое тело Степана Артемовича было легким. Если б не громоздкое пальто, то и вовсе казалось бы, что поднимаем ребенка. Боясь оступиться в темном коридоре, мы перенесли директора в комнату, бережно уложили прямо на длинный стол.

Он лежал на столе, все еще в пальто, в больших стариковских теплых ботах, под голову подсунута меховая шапка.

Коковина подскочила ко мне, сердито зашипела в лицо:

— Это все вы! Ваши штучки! Довели человека!

— Идите вы!..

Она стушеввалась.

Я нагнулся к Степану Артемовичу — кожа на его лбу стала чуть лосниться от легкой испарины, веки дрогнули и открылись.

— Жив! — вздохнул я облегченно. — Просто обморок.

Тусклые, старческие глаза уставились прямо на меня, грудь подымалась и опускалась, ссохшиеся губы раскрылись.

— Выпейте воды, — поднес я к нему стакан.

Он с натугой покорно приподнял голову, сделал два глотка, откинулся, снова тусклые глаза внимательно, изучающе уставились мне в лицо.

За моей спиной теснились, шумно разговаривали, стучали стульями.

Пришел врач Трецинов, не снимая пальто, подошел к больному, укоризненно покачал головой, обернувшись к народу, приказал властно:

— Прошу выйти всех! Вот вы останьтесь! — Он ткнул в меня пальцем. — Вы, — он ткнул пальцем в Василия Тихоновича, — бегите сейчас в больницу и принесите носилки. Сейчас ночь, дежурят женщины, а вы оба ребята здоровые, поможете мне перенести больного. Товарищи! Кому сказано? Расходитесь, расходитесь по домам.

Все, оглядываясь на нас, натягивая на ходу шапки, потянулись к дверям. Возле стола остались я и Коковина.

— А вам что здесь нужно? — обратился к ней Трецинов.

— Я заведующая роно, обязана присутствовать...

— Ваши обязанности кончились. Прошу мне не мешать.

Коковина бросила на меня ревниво-негодующий взгляд, подхватила портфель и скрылась в своем кабинете.

— Помогите снять пальто, — буркнул Трецинов.

Я помог снять пальто, пиджак, рубашку, обнажил высохшую, узкую грудь директора. Трецинов с сердитым лицом выслушал Степана Артемовича, помог мне снова натянуть рубашку, пиджак, пальто; на мой вопросительный взгляд бросил:

— Сердце... — повернулся к безмолвно лежащему с опущенными веками Степану Артемовичу. — Нельзя после

болезни таскаться по собраниям. Теперь уже будете отлеживаться в больнице. Понятно?

Лицо Степана Артемовича ничего не выразило, веки не дрогнули. Трецинов принялся укладывать свой стетоскоп в чемоданчик.

Василий Тихонович, красный, запыхавшийся, притащил носилки.

По пустынным, залитым светом луны улицам села мы отнесли Степана Артемовича в больницу. Там уже ждала его жена, поминутно прикладывая платок к глазам.

— Здоров будет ваш муж, не волнуйтесь, — объявил ей Трецинов. — Только за послушание положу теперь в больницу. Идите-ка домой, ложитесь спать.

И старушка завсхлипывала, наклонилась над мужем:

— Степа... Степа... Я же говорила...

Желтая, сухая рука Степана Артемовича потрепала ее по щеке.

Трецинов повернулся к нам:

— Спасибо и до свидания!

Час был поздний. Только кое-где светились огни. Спали даже собаки, ни одна из них не лаяла на нас из-за калиток. На дороге были видны следы автомобильных скатов, выбоины, сделанные копытами лошадей, каждая случайная соломинка.

Василий Тихонович шуршал кожаным пальто, пощипывал, выставив вперед свой костистый нос.

Я произнес:

— Как она повернула против течения...

— Против течения?.. Коковина никогда против течения не плавает, — ответил Василий Тихонович. — То, что она сегодня выкинула, — верный признак, что течение повернуло в нашу сторону.

— Мне кажется, ошиблась. Пока что течения нет, просто в тихой заводи зашевелилась вода.

— Возможно... Неопубликованная заметка в газете, слухи, что за ее напечатание стоит секретарь райкома, потом Иван Поликарпович, заслуженный учитель, орденоседец... Тут не мудрено брожение за течение принять.

— Легко же, однако, она предала Степана Артемовича.

— У французов есть поговорка: «Предают только свои». А Коковина — пичья, общая.

Мы простились перед моим домом.

Степан Артемович опять слег в постель. А спустя несколько дней он сообщил Тамаре Константиновне, посетившей его, что больше не вернется в школу, уйдет на пенсию.

Степан Артемович вышел из игры.

Но эта победа меня не радовала. Неприятно сознавать, что в ней сыграла свою роль Коковина. Грязь никогда не останется лежать только на дороге, она переносится и в то место, куда идешь. Путь к цели должен быть таким же чистым, как и сама цель.

Тамара Константиновна ушла в декретный отпуск. На ее место, а следовательно, и на место Степана Артемовича, был назначен учитель математики Олег Владимирович, один из моих друзей.

Моя полемическая статья, лежавшая все время в столе редактора, так и не увидела свет. Клешнев вызвал меня, вынул из стола статью, сказал:

— Сами понимаете, устарела ваша статья... Вы тут нападаете на директора, а он уже, собственно, не у дел. Какой вам смысл теперь полемизировать с ним?

— Никакого, — согласился я.

— Опять же упреки по адресу Коковиной. Она, кажется, изменила свою позицию, придерживается ваших взглядов. Может, вы переделаете статью, выкинете нападки? Мы бы с удовольствием откликнулись на педагогическую тему.

— Нет, переделывать бесполезно.

— Тогда как же быть с вашей статьей? В таком виде ее печатать нельзя.

— Бросьте в корзину для мусора, — посоветовал я.

Клешнев сокрушенно пожал плечами. На этом мы с ним расстались.

Тоня жалела Степана Артемовича, по-прежнему упрекала меня в бездушном к нему отношении, но в этих упреках уже не слышалось озлобления, в ее глазах я был победителем.

Однажды вечером она встретила меня приодетая, слегка оживленная.

— А у нас гость, — сообщила она.

Из-за стола навстречу мне поднялся Анатолий Акиндинович, старший сын Акиндина Акиндиновича, в новом костюме, мешковато сидевшем на его тощем теле, со своей преисполненной достоинства осаночкой.

— Андрей Васильевич, — начал он, значительно поглядывая на меня, — я узнал о ваших новых методах преподавания. Как директор школы, я не имею права проходить мимо. Вы согласитесь с тем, что никакого значения не может играть тот факт, что моя школа находится в глубокой периферии. Ростки нового должны проникать в самые отдаленные углы...

И он пошел распространяться о сельских учителях — культурном авангарде, о неприемлемости им лично всего косного, рутинерского, о его желании сделать свою школу образцовой и т. д. и т. п. Говорил он своим обычным наставническим тоном, не терпящим никаких возражений, поднимал вверх носатую физиономию, с особенным вкусом произносил: «Мы, педагоги...»

— Мы, педагоги, собственно, основные двигатели прогресса. Не будь нас, человечество застыло бы на месте. Мы кровь, переносящая духовное питание в теле общества.

— Среди нас есть всякие, — возразил я. — Есть и такие, как песок, — мешают движению.

— Возможно, возможно. Вы, наверное, намекаете на Степана Артемовича. Он сказал свое слово, об этом не стоит забывать, надо к этому относиться с уважением. Теперь должны расправить свои плечи мы. Вот потому-то пришел и я к вам. Можете быть уверены, что ваши достижения попадут в руки, которые смогут распутать те узлы, какие пока не удалось распутать вам. Будем работать сообща: вы у себя, а я у себя.

Я как раз не был уверен, что новое дело попадет в нужные руки. Этот самоуверенный человек начнет с прямолинейностью бездари внедрять — внедрять, а не искать! И скорей всего после первой же трудности такой вот Анатолий Акиндинович с легким сердцем заявит: «Не выходит, неприемлемо!» Где только можно, станет громогласно возражать: «Я проверял! Новый способ нежизнен!» Докажи ему, что Земля кругла, когда он видит ее перед собой плоской!

Степан Артемович вышел из игры, но в нее вступят новые противники.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Первое мая.

Крыши домов вымыты первым ливнем.

Утром до половины девятого на улицах села хозяева одни галки. Они толкуются на булыжной мостовой, сварливо кричат друг на друга; должно быть, удивляются: почему это задержалась человеческая жизнь? Ни единого прохожего на влажных дощатых тротуарах, ни подводы, ни грузовика на дороге — пустыньность и тишина. Гуляют галки...

Но около девяти каждая улочка, каждый загарьевский переулок, крылечки домов, завалинки, уже подзатянутые яркой травой, оживают. Галки исчезают, уступая место людям. Мужчины в свежих рубашках, в отутюженных костюмах (кое-кто в орденах и медалях), женщины в пестрых платках и платьях — все несколько смущены своими нарядами и предстоящим бездельем. В разговорах слышится непривычная доброта и снисходительность друг к другу:

— Иван Кузьмич! С праздничком вас.

— И вас также, Трофим Егорович.

— Сегодня к Дерюгиным нас приглашали, а завтра заходили бы погостить.

— Спасибо. К нам милости просим.

В лужах искрится солнце, режет глаза, с реки тянет свежим ветерком, празднична погода, красочна одежда людей, светлые лица, светлые разговоры — такое утро бывает раз в году. Утро, когда праздник внове, когда во всем селе еще нет ни одного пьяного.

Наша старая бревенчатая школа подпоясалась кумачовыми плакатами, голубое небо отражается в ее промытых окнах. У крыльца шевелится, толкается, смеется, визжит ребячий цветник. Девочки отдельными кучками, голова к голове, секретничают. О чем? Наверно, обсуждают наряды: свои собственные, старшеклассниц, наряды учительниц. По всему двору над беспокойной сутолокой ребячьих голов гуляют из конца в конец, кланяются, раскачиваются флаги, флажки, гирлянды бумажных цветов. Озабоченной рысцой трусит, поминутно наталкиваясь на

зевак, какой-то активист-старшеклассник, исполняющий самое последнее и самое неотложное поручение.

А по всему селу, заглушая беспечный и суматошный шум школьного двора, поет, наигрывает марши, кричит лозунги, читает стихи радио. Далеко-далеко, за много сотен километров от села Загарья, празднует Москва. И ее шум подхлестывает нашу праздничную суету, от ее далекого торжества и наше скромное торжество становится как-то шире и значительнее.

Ровно в половине десятого не без суматохи, не без окриков, не без коротких скандалов вся школа начинает выстраиваться в длинную, через весь обширный двор, неустойчивую шеренгу. Руководит построением учитель физкультуры Кузьма Демьянович. В эти минуты он наш главнокомандующий, все — от ученика-первоклассника до директора — подчиняются ему. Кузьма Демьянович с красным лицом, покачивая широкими плечами, бегаёт по двору, припадая на покалеченную на фронте ногу, подает команды старшинским басом:

— Пятый класс, подравняйся!.. Седьмой «А»!.. Аникин! Шаг назад! Шко-о-ола-а, рра-ав-няйся!.. Смир-рна-а!

Старшинский бас действует и на меня. Я стою в голове своего класса, ревниво кошу глаз: выравнялись ли мои? — невольно помогаю Кузьме Демьяновичу:

— Аникин! Хомяков! Отступите назад!

— Рра-аз-говорчики!.. Напра-а...о!!

В центре села, напротив райисполкома, стоит тесовая трибуна, сверху донизу обитая кумачом, с красным флагом на длинном шесте. В то время когда наша школа растягивается в неровную колонну, медленно вытекает со двора на улицу, со всех концов идут группами организованные загарьевские жители.

От конторы маслопрома, от льнозавода, от промкомбината, от райпотребсоюза кучками по десять, по двадцать человек, не в ногу, не заботясь о красоте и стройности, движутся несолидные с виду шествия.

В одном месте тонкие женские голоса поют извечную «Катюшу», в другом тоже женскими и тоже тонкими, но с примесью басовитых мужских выводят «По долинам и по взгорьям».

«Колонну» райпотребсоюза, составленную из делопроизводителей, продавцов, кладовщиков, возглавляет, конечно, сам председатель Гужиков, восьмипудовый муж-

чина, с лицом, словно натертым кирпичом. Сам Гужиков плясать не может, — где уж с его животом выкидывать коленца! — зато неумоимо организует веселье, с начальственным задором покрикивает:

— Толька! Развернись!

Рядом с ним экспедитор Анатолий Щелчков — и в будни и в праздник верный слуга Гужикова. Он с готовностью раздвигает мехи гармошки, победно глядит из-под козырька новенькой фуражки. А Гужиков колышется, кипит:

— Настасья Васильевна! Любушка! Ай мы постарели, ай мы молодым уступим! Выйди-ка из строя, щелкни каблучками. Эх, себя повеселим, других потешим!

И все эти «организованные колонны» вливаются на площадь, тесно сбиваются перед разукрашенной трибуной. Вместе со всеми прибываем и мы. Наша колонна самая многолюдная, самая нарядная и благодаря усердию Кузьмы Демьяновича самая организованная.

Минуты перед началом митинга я люблю всего больше. Толчея, устройство, распорядители бегают, до хрипоты кричат, а ряды ломаются, знакомые сходятся со знакомыми, соседи с соседями, заводятся случайные разговоры, заключаются договоры: у кого собраться, как гульнуть. Около райпотребсоюзских демонстрантов и девчат со льнозавода сами по себе расчищаются «пяточки», к ужасу распорядителей гармошки беззаботно начинают шпарить «Барыню», высокие каблучки топчут молодую траву. И возле пляшущих Гужиков густо хохочет, приказывает, хлопает себя по толстым ляжкам.

А на крыше райисполкома торчит одинокая фигура загарьевского фотографа из артели инвалидов, лысого старичка Исаака Куропевцева. Он каждый год запечатлевает на пленке первомайское празднование села Загарья, причем всегда с одного и того же места — с райисполкомовской крыши. Его снимков потом никто никогда не видит, они не выставляются напоказ, не печатаются в газете. Делает их Куропевцев, по всей вероятности, ради святого искусства или же, кто знает, с расчетом на то, что историки грядущих лет захотят лицезреть первомайский праздник села Загарья с высоты двух этажей исполкома райсовета.

Все шло, как всегда: суета, веселье, неразбериха. В колонну нашей школы между шестым и моим седьмым классами втесалась делегация пищеблока с огромным фанер-

ным транспарантом, взывающим заготовлять грибы и ягоды. Их с наслаждением и шумом выставили.

Во время суеты и неразберихи трибуна заполнилась: Ващенко в светлой шляпе, председатель райисполкома в парусиновом картузе, комсомольский секретарь, начавший полнеть Костя Котов, свинарка Лапшина из колхоза «Заветы», от нашей школы пятиклассник Женя Доронин, едва выглядывавший белобрысой макушкой из-за бортов трибуны.

Речи, поздравления, снова речи, не весьма энергичные крики «ура»...

После этого, как и положено, шествие. Все организованные демонстранты вытягиваются в одну колонну, уходят с площади, огибают хозяйственный магазин и магазин райпотребсоюза, возвращаются обратно на площадь, подтянувшись, проходят мимо трибуны.

А с трибуны секретарь райкома Ващенко бросает им лозунги, каждой организации особый, подходящий по профилю.

Проходит больница, им лозунг:

— Работники медицины! Врачи, сестры, санитарки! Отдадим все силы на благо здоровья трудящихся!

Делегация больницы по мере сил отвечает криком «ура».

Проходит райпотребсоюз, снова лозунг:

— Работники торговли! Добьемся отличного обслуживания покупателей!

Льнозаводу — лозунг о повышении производительности труда. Школе — лозунг о подрастающем поколении.

Все шло обычным порядком. Но па этот раз должно было произойти такое, чего не случалось ни в прошлом, ни в позапрошлом годах. Знала об этом только школа, да и то не вся.

От окраины Загарья, из МТС, должен выехать трактор...

Этот ДТ-54 в свое время поднимал пары, надрывался на клеверищах, таскал волоком тяжелые сани. Немало распаханых гектаров было на его счету, немало километров непролазных дорог измял он своими гусеницами, но подошла пора, и век труженика кончился. Ремонтники отказались лечить его патруженное тело. Он стоял под стеной мастерской, занесенный снегом... И быть бы ему на

свалке, если б на него не обратил тогда внимания Василий Тихонович. Конец зимы и всю весну возились с ним ребята под надзором Василия Тихоновича. Почти каждый день надоедали директору МТС, отправляли даже депутатов в райком партии, как-то сумели подладиться к крикливому, вечно задерганному главному инженеру Кириллу Брызжалину, сошлись душа в душу с трактористами. Запасные части доставались правдами и неправдами. На усадьбе МТС, чтоб чем-то умаслить черствое директорское сердце, проводились субботники. В промкомбинате ребята выпросили партию теса. Тес не для трактора, тес нужен МТС, чтобы перекрыть крышу общежития трактористов. Но после этого теса около десяти человек — слесари, трактористы, механики — возились вместе с ребяташками у разваливающейся по частям машины: сваривали, подгоняли, меняли части.

Закончивший свой век ДТ-54 снова ожил. Его недавно выкрасили. С минуты на минуту он должен появиться здесь, на площади.

Трактор приведут Федя Кочкин и Сережа Скворцов. Их выбрали на собрании юных трактористов.

Ждем, должен появиться... Но прошла больница, прошел промкомбинат, льнозавод, сушильный завод, почтовые работники. Прошли мы, прокричали «ура» и снова под строгим наблюдением Кузьмы Демьяновича выстроились в отдалении, напротив трибуны, вызвав этим любопытство праздных зрителей. Я слышал за своей спиной разговор:

— Не концерт ли какой устраивают?

— Какой концерт! Физкультурные упражнения.

— Эй, Семен! Обожди, не уходи домой, физкультурников посмотрим.

Мой класс возбужденно шевелится, топчется, ребята вытягивают шеи, вслушиваются: не застучит ли мотор на дороге. Но мотор не стучит.

Проходит последняя организация, пищепром, с транспарантами о заготовке грибов и ягод.

Те, кто стоит на трибуне, предупреждены, но надолго ли у них хватит терпения торчать на солнцепеке перед пустой площадью?..

Кричит радио, из Москвы доносится шум моторов. Там идет военный парад. По Красной площади, должно быть, проходят колонны танков. Но в этом гуле моторов не слышно мотора нашего трактора.

Оказывается, пищепромовцы не последние. С жиденьким криком «ура» движется еще одна группа — пять человек, семеноводческая лаборатория.

Площадь пуста. На примятой молодой траве обрывки бумажных украшений, конфетные обертки. Грустный вид у площади, на которой только что стояла праздничная толпа.

Школьный строй шевелится, изгибается, слышен ропот, но никто не уходит.

Стоят и переговариваются районные руководители на трибуне. Они тоже ждут и сомневаются. Среди них пятиклассник Женька Доронин тревожно вертит белобрысой головой.

А позади нас село начинает жить обычной праздничной жизнью: слышатся взрывы смеха, песни, играют несколько гармошек — каждая свое, позванивают разъезжающие велосипедисты, ораторствует радио. Мы ждем, мы слушаем. Ждет трибуна.

Ващенко, добрая душа, понимает наше состояние. Он терпит, из уважения к нему терпят остальные.

К Кузьме Демьяновичу, с невозмутимым видом расхаживающему вдоль шеренги, подходит одна из учительниц:

— Первоклассники устали. Хочу распустить их по домам.

Разбегаются первые классы, вторые... С одного конца тает наша шеренга.

Совсем неожиданно поворачиваются и уходят строем десятиклассники. Им ли, самым старшим в школе, ждать сомнительного триумфа группы ребятшек из седьмых классов!

— Назад! — грозно кричит им вслед своим старшинским басом Кузьма Демьянович.

Но десятиклассники дружно затягивают песню:

Славьте великое Первое мая,
Праздник труда и паденье оков!..

Я уже который раз гляжу на часы и неуверенно произношу:

— Что-то случилось... Не оставить ли нам эту затею?..

Но класс устраивает бунт:

— Дождемся!

— На трибуне ждут, а мы сбежим?

А на трибуне сошлись в тесный кружок, переговариваются.

И вдруг рядом со мной раздается торжествующий вопль:

— Едут!

Зашевелились, закричали:

— Едут!

— Тише! Тише!

— Замолчите! Дайте послушать!

— Е-е-едут!..

— Ура-а!..

Уже и я сквозь шум голосов слышу стук мотора.

— Ура-а!..

Из-за угла магазина выкатывается ядовито-зеленый, как травяная букашка, трактор. На нем позади кабины гроздью висят ребята. Человек пять бегут следом.

Трактор стучит, чихает, но двигается довольно прытко.

— Еду-ут!..

— Наши едут!

— Э-эй! Ребята-а!..

— Куда? Куда?! А ну, назад! Соблюдать дисциплину!

Представители на трибуне подтягиваются. Трактор, громко стуча изношенным мотором, подкатывает. Ващенко, подняв над своей светлой шляпой руку, кричит:

— Нашей славной смене, будущим механизаторам — ура!

— Ура-а-а!.. — подхватываем мы.

Трактор проехал...

Только и всего. На этом и кончается столь долгожданная церемония. Но все довольны. Ващенко, сияя, обращаясь то к одному, то к другому, машет вслед шляпой. Ребят уже не удержишь: сломав и без того непрочные ряды, мимо грозного Кузьмы Демьяновича врассыпную, наперегонки бегут за трактором. А тот, трясясь, поблескивая на солнце гусеницами, удаляется.

Я повернулся, чтоб напрямик, кратчайшим путем бежать к школе. Но тут натыкаюсь на одного зрителя, о существовании которого никто из нас не подозревал. На

обочине стоит Степан Артемович со своей прямой осаночкой, в хорошо подогнанном костюме, с сильно опавшим желтым, морщинистым лицом. Заметив меня, он подчеркнуто сухо поклонился и пошел прочь своей расчетливо-строгой походкой.

Он все-таки стоял, ждал: придет или не придет трактор. Быть может, он даже волновался за ребят, этот школьный директор в отставке. Я стоял и глядел в прямую узкую спину. Но разве можно что-либо понять по спине, кроме того, что человек держится с холодным достоинством?

В школьном дворе вокруг трактора — тесная толпа. В самом центре — Федя Кочкин и Сережа Скворцов. У обоих счастливые лица, хотя по своей привычке Федя глядит на всех угрюмовато. На лице у Сережи видны следы размазанных слез.

— Что случилось у вас? — спросил я.

— Горючее не подавалось... — ответил Федя.

— Кажется, впрыскиватель, — неуверенно заметил Сережа.

Я вгляделся в его испачканное, со следами слез, грязное, счастливое лицо и всей душой поверил, что «впрыскиватель» может стать трагедией.

— Все хорошо, что хорошо кончается. — Рядом со мной оказался Василий Тихонович; ноздри горбатого носа вздрагивали у него в непривычно доброй усмешке.

2

Трактор поставили под стеной школы. Вокруг него толпились ребяташки, ощупывали, лазали. Федя Кочкин, Сережа Скворцов и другие члены кружка трактористов стали героями всей школы. Они демонстративно копались в моторе, время от времени запускали его, при немом восторге влезали в кабину, делали по школьному двору круг. Машина подчинялась им, они были ее полными хозяевами, а это вызывало зависть, восторг, обожание.

Афанасий Семенович, наш рачительный завхоз, носивший среди ребят странную кличку «Курок», не мог вытерпеть такой самостоятельности. Он считал, что раз трактор стал школьной собственностью, то и распоряжать-

ся им должен не кто иной, как он, заведующий школьным хозяйством. Афанасий жаловался в учительской:

— Балуются. Лезут к машине без всякого спроса. Слушаться не хотят. Еще изломают, чего доброго, или покалечат кого. Трактор-то как-никак денег стоит. Запретите...

Но ему отвечали:

— Не можем запретить. Ребята же сами отремонтировали трактор, они и хозяева. Сломают, сами починят.

Афоня Курок уходил недовольный.

— Ну и порядочки завелись!

Тамара Константиновна все еще находилась в декретном отпуске, школой управлял Олег Владимирович. Этот широколицый румяный человек, с бровями, закрученными словно вильгельмовские усы, исполнял обязанности директора нешумливо и обстоятельно. Никаких нововведений он не предлагал, делал то, что до него делали Степан Артемович и Тамара Константиновна, отличался от них лишь одним — покладистостью. Нужно изменить расписание, для того чтобы удобнее было проводить уроки новым способом, — пожалуйста, лишь бы другие учителя не протестовали.

В это счастливое для нас межвременье открылся особый талант в Василии Тихоновиче Горбылеве.

Каждому из учителей было понятно, что для любого парнишки сесть за рычаги трактора, управлять громоздкой, сильной машиной — верх наслаждения, соблазн из соблазнов. Но путь к вожделенным рычагам слишком тернист: ковыряние на морозе в моторе, грязная работа, попрошайничество запасных частей у скупого энтээсовского начальства, хождение с жалобами по разным инстанциям. Даже я не очень-то верил, что ребята до конца выдержат, сумеют поставить на колеса разбитый трактор.

А вот поставили... Василий Тихонович сам не притронулся руками к трактору, сам ничего не просил, не обивал пороги учреждений. Он только время от времени собирал ребят на какие-то совещания, и ребята сами решали, сами планировали, сами ходили по учреждениям, выпрашивали, требовали, жаловались, когда нужно, хитрили, работали, заставляли работать других — всё сами, всё без нажима. Вот в этих-то словах «сами, без нажима» и проявился талант Василия Тихоновича. Поставь перед собой задачу, докажи другим, что ее можно решить,

а раз поставил, раз доказал — трудно идти на попятную, стыдно признаваться в своем бессилии.

У нас в учительской время от времени стал появляться новый человек — председатель колхоза «Свобода» Иван Шубников. В выгоревшем офицерском галифе, в штатском тесном пиджачке, в помятой фуражке, натянутой на самые брови, он чувствовал себя среди учителей скованно, разговаривал с угрюмоватой застенчивостью, при этом напряженно и сосредоточенно глядел своими светлыми, ничего не выражающими глазами мимо собеседника.

Два года назад Иван Шубников сидел на скромной должности заведующего райпищепромом. В сутолочной, по-своему нервной жизни района с ее авралами во время сева, уборочной, непрекращающимися заботами о выполнении планов по молоку, мясу, яйцам есть свои тихие заводи. Одной из таких заводов был пищепром. Заготавливали клюкву и рыжики, выпускали квас, называемый «витаминизированный», пахнущий почему-то канифолью. Случалось, Ивана Шубникова вызывали на исполком, прорабатывали, но это было в порядке вещей: и в тихой заводи случается рябь.

Два года назад Ивана Шубникова направили в колхоз «Свобода». Колхоз был рядом с райцентром, Ивану Шубникову не нужно было переезжать, ломать привычный уклад жизни, — он согласился работать председателем. Согласишься, коль поднажмут.

Во Дворцах, основной бригаде «Свободы», если поглядеть со стороны, полно народу, под каждой крышей семья: мужчины, женщины, парни, девицы на выданье, не считая уже стариков, старух и детей. Но почти все они работают не в колхозе, а в райцентре — рабочими при сплавконторе, делопроизводителями при учреждениях, плотниками при промкомбинате, простыми уборщицами или почными сторожами. Верны колхозу старики да старухи. А земли много, одной пахотной с полтысячи гектаров, луга, выпасы — все требует ухода, на все нужны рабочие руки, за каждый гектар отчитывайся перед государством хлебом, молоком, мясом. В районе постоянно напоминают: «В твоих руках богатства, используй!»

То-то и оно! Велик каравай, да беззубым ртом не укусишь. Велико бремя земли! Где найти рабочие руки? От кого ждать помощи?

И вот помощь пришла с той стороны, откуда нельзя было и ждать. К Шубникову явился из школы учитель физики Горбылев и заявил:

— Школа может взять часть земли в свои руки.

— Как это?

— Очень просто. Передайте нам одну бригаду. Мы сами будем отчитываться перед государством, сами распоряжаться доходами, расширять хозяйство. Одно лишь условие: требуем полнейшей автономии, не мешайте нам действовать по собственному усмотрению.

— Учителя, что ли, будут руководить хозяйством?

— Не учителя, а сами ученики. Выберут между собой бригадиров, звеньевых...

— А разрешат такую вещь? Земля-то за колхозом закреплена.

— Будем добиваться, чтоб разрешили.

И вот в учительской стал раздаваться стук подбитых подковками сапог Ивана Шубникова. Были поданы первые запросы в райком партии. Олег Владимирович, временно исполняющий обязанности директора, по своему обыкновению, ничего не предпринимал, ни в чем не возражал, молча выслушивал, осторожно соглашался и ожесточенно крутил свои густые брови.

Не было споров, не было шумихи. Василий Тихонович ненавязчиво предлагал школе свою программу. Нужно трудовое воспитание? Нужно. Следует ли обучать тому, как выращивать картошку, как мастерить тумбочки, как притирать клапаны в моторе, проводить электропроводку, ремонтировать выключатели? Достаточно ли к физике, химии, алгебре, литературе и прочим предметам школьной программы прибавить еще столярничество, слесарничество или полеводство и успокоиться на этом? Многообразна жизнь, много в ней разновидностей труда, бесконечно число профессий, всему не обучишь. Для того чтобы стать квалифицированным столяром или монтером, нужно учиться специально, а не между делом. Конечно, на худой конец даже такой навык — польза. Он может пригодиться в жизни. Но куда полезнее научить ребенка не только тому, что может пригодиться, но тому, как жить.

Как жить?.. Разве этому можно научить? Недаром же говорится: век живи, век учись. Сколько людей, прожив долгую жизнь, так и сходят в могилу, не научившись достойно жить. Мало ли таких, что до конца своих дней

остаются мещанами без особых идеалов, узколобыми педантами, трусливыми эгоистами, готовыми при первом же затруднении продать товарища, просто равнодушными ко всему, что не касается их лично?

Труд создал человека! Все человеческие качества — ум, изобретательность, взаимопомощь и прочее — ярче всего проявляются в коллективном труде. Но обучение столярному, слесарному или какому-либо другому мастерству — делай так-то, делай то-то — ничего не имеет общего с коллективным трудом: это ни более ни менее — обучение каждого человека в отдельности. Труд тогда становится коллективным, когда каждый участвует в его организации, вместе со всеми ломает голову, что и как сделать. Тут приобретаются не только навыки какого-то труда, а умение сообща действовать. Это уже из области «как жить».

Мое имя чаще повторялось, чем имя Василия Тихоновича. Все учителя в нашей школе считали: я инициатор, я виновник событий, я фигура первого плана, а Василий Тихонович ни больше ни меньше — мой помощник. Но я-то понимал, что планы Василия Тихоновича шире, значительнее, глубже моих.

Какая польза сравнится с тем, чтобы научить детей, этих людей будущего, достойно вести себя в жизни? С решением, как жить им, решается и вопрос, как устроить общество.

3

Ни Степан Артемович, ни Тамара Константиновна, ни даже Коковина нам теперь не помеха. Среди учителей у нас много друзей. Что еще пужно?

Была одна маленькая тревога: как-то отзовется облоно на наши события? Мы ждали инспектора, а он не появлялся. Прошел месяц, другой, и мы перестали его ждать.

Инспектор появился перед самыми экзаменами. В учительскую в сопровождении Коковиной вошел осанистый человек. Я не успел в него взглядеться, как он двинулся на меня прямо своей широкой грудью, раскрыл объятия. И только тут я узнал его — Пашка Столбцов!

Пять лет мы проучились вместе на одном курсе, пять лет мы спали койка к койке, ели подчас из одной чашки, держали свои студенческие деньги в одном кармане. Паш-

ка Столбцов, получавший на экзаменационных сессиях более высокие отметки, лучше меня прыгавший на студенческих соревнованиях, Пашка, женившийся на Лене Кругловой, за которой я пытался ухаживать. Он стал крупнее, просторный светлый костюм скрывал преждевременную полноту, крепкая угловатость исчезла с его лица, черты стали расплывчатей, но в то же время внушительней.

Мы обнялись на глазах учителей, хлопая друг друга по спине.

— Здравствуй, старик... Ну-ка, ну-ка, дай взглянуть! Изменился, брат.

— А ты?.. Фигура, что у министра.

Вечером он сидел в гостях у меня. Тоня, румяная от плиты, тщательно причесанная, хлопотала за столом. Она ведь тоже была нашей сокурсницей, нашим институтским товарищем, Павел был не только моим гостем, но и ее.

А Павел скинул пиджак, остался в одной сорочке, с налитыми полными плечами, с выпуклой грудью, краснолицый от первых стопок. Он внимательно слушал меня, качал головой:

— Вот как, вот как. А не смахивает ли тот способ обучения, которого ты придерживаешься, на бригадный метод? У тебя обучаются коллективно, и там тоже. Основа-то вроде одна. Сам знаешь, бригадный метод давным-давно вдребезги раскритикован, крест стоит на его могиле.

— Нельзя же считать сахарный песок и снег одинаковыми по химическому составу на том основании, что они оба белые по цвету. Ничего нет общего с бригадным методом.

— Гм...— Павел перегнулся через стол, розовый, пышущий здоровьем, знакомый и в то же время какой-то благообразно чужой: вместо растрепанной курчавой шевелюры времен студенчества высоко подстриженная волнистая прическа.— Завидую тебе, понимаешь.

— В чем? Ты вроде не обижен судьбой.

— Вот я в прошлом году попал в одну школу. В деревеньке эта школа, глухие места, учитель один там, эдакий старичок-лесовичок в увесистых подшитых валенках. Он мне душу перевернул. На урок математики во второй класс (понимаешь, во второй!) приносит ребятишкам... Что бы ты думал?.. Ведро воды! Ставит это ведро и предлагает: «Подсчитайте, сколько в нем капель». Понимаешь, сколько капель в ведре? Предложи это мне, пра-

во бы, не подсчитал. И ребяташки, разумеется, смущены и заинтересованы. Если каплю по капле считать, то на ведро не только урока не хватит, а дня, даже недели. А этот старичок в подшитых валенках подсказывает ребятам: что, если измерить, сколько в ведре кружек, сколько в одной кружке ложек, а в ложке — капель? Вот тебе урок арифметики во втором классе!

— Любопытно.

— Тебе любопытно, а мне грустно. Когда ребяташки кружками воду переливали, боясь обронить хоть каплю, у меня, брат, в душе скулеж стоял. Перестал я быть учителем. Выезжаю в инспекторские поездки, поучаю свысока: так-то, мол, и так-то, а сам что ни день, то дальше от школы, от живого дела, от того, что творят такие, как ты и этот старичок.

— Кто тебе мешает оставить облоно и податься к нам хотя бы? Найдем место.

— Э-э, не так-то просто. Назови меня честолюбцем, но мне мало успехов эдакого одиночки-новатора в подшитых валенках. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Генералом — не знаю, а капитаном быть хотелось бы. Стать у руля какой-нибудь школы да двинуть ее вопреки всем инструкциям и положениям. Я, брат, чувствую в себе силенки. Работа в облоно, инспекторские поездки тоже не прошли даром: ездил по разным местам, приглядывался, насобирал кой-какой капиталец. Жду случая, чтоб вручили в мои руки школу, вложу этот капиталец в дело. Вот и к тебе приехал узнать, что и как. Хотели другого послать, сам напросился... А ну, выпьем! Пойдешь ко мне работать, если стану директором школы?

— Не пойду.

— Почему же?

— Я и в этой школе себя неплохо чувствую.

— А мы бы с тобой завернули дело. В столице бы о нас трубы трубили. Обычным зауряд-директором не хочу. Только поиски! Только на шаг впереди других! Выпьем, Андрей, за наше будущее! Тоня, и ты с нами. Все мы из одного гнезда вылетели...

Через час Павел уже обнимал меня за плечи, возбужденно кричал в лицо:

— Наша жизнь, братец, только начинается! Да, да, та жизнь, то время, когда и создаются человеческие ценности. Все, что до сих пор было, — подготовка к этой

жизни. У каждого человека на веку должен быть подвиг, большой или маленький, смотря по способностям. Да, да, подвиг! Ты, Андрей, уже подступил вплотную к нему. Серьезно говорю, ты начал свой подвиг! Я поддержу. Все сделаю, что в моих силах. Найти, сделать открытие — это половина дела...

— Никаких открытий я не делал, — перебил я его. — Чужой ум как-то пытаюсь пристроить к делу.

— Все равно, об этом я и говорю. Кто-то открыл — ты поддержал. Сообщить миру об открытии так же важно, как и открыть. Сколько больших и малых открытий кануло в безвестность только потому, что их изобретатели не умели крикнуть так, чтобы их услышали! Мы крикнем, нас услышат! Ты практически будешь проверять; я провозглашать. Будем же, Андрей, дорогой, чувствовать плечо друг друга. Руку, Андрюша! Помни, что это рука настоящего товарища!

Он говорил, мы обнимались. Тоня хозяйничала за столом, слушала признания Павла, заливалась румянцем; исподтишка глядела на меня. Павел Столбцов, самый удачливый из ребят выпуска, тот Павел Столбцов, который так быстро выдвинулся, который руководит школами из области, умный, красивый, внушающий уважение даже Коковиной, этот Павел превозносит ее мужа, сам набивается в друзья! Тоня горделиво рдела.

Павел вспомнил, что Тоня неплохо поет, и они в два голоса запели в честь прошлых студенческих дней:

Коперник целый век трудился...

Неумело подтягивал и я.

Когда-то я пел эту песню в один из самых счастливых и тревожных вечеров в моей жизни. Вчерашние солдаты, офицеры, школьники, рабочие, мы каких-нибудь три часа назад стали студентами. Мы шли, схватившись за руки, перед нами расступались прохожие. На мокром асфальте отражались городские огни. Впереди у нас вся жизнь. Хотелось верить, что у каждого из нас эта жизнь будет необыкновенной. Сердце сжималось от счастья, и охватывала тревога, что вдруг да неудача, вдруг да что-нибудь помешает этой необыкновенной жизни!

Коперник целый век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье...

Как это давно было! Каким наивным и глупым был я в те дни! Счастье молодости в неведении. Теперь я знаю, что моя жизнь — самая обычная, в ней нет и быть ничего не может необыкновенного. Нет, не Рембрандт, нет, не Микеланджело, даже не из тех многих незапоминающихся, чьи фамилии озаряют экран в начале кинокартины. Знаю, слава не коснется меня. Я уже прожил половину жизни, не стыжусь за нее, но и гордиться пока особенно нечем. Простой сельский учитель. Большого мне не дано. Все-таки что-то сделано, быть может, не так много, как хотелось бы, все-таки не зря проживу то время, которое отпустила на мою долю природа.

Студенческая песня... Она напоминает мне, как я изменился, повзрослел, потрезвел, поумнел, постарел...

Закинув назад голову, выставив белую шею, поет сильным, грудным, немного грубоватым и негибким голосом Тоня. Она еще свежа, у нее еще румянец во всю щеку, но я недавно заметил в ее проборе первые седые волосы...

Круто наклонив вперед лоб, собрав под подбородком жирок, поет Пашка Столбцов. Он изменился, пожалуй, больше нас обоих. А каков он теперь? Сейчас он для меня почти так же незнаком, как и любой другой инспектор облоно. Что-то мне в его словах не понравилось. В рассуждениях его о показательной школе было нескрываемое желание выдвинуться. Прежде я никогда не относился к его словам подозрительно. Может, я сам повинен в этом. Я изменился, растерял с годами былую доверчивость.

Полузабытая песня зовет к прежней дружбе, зовет раскрыть душу нараспашку. И какой смысл Павлу обманывать меня, льстить мне? Если на то пошло, я должен к нему подлаживаться, я — льстить. От него, наверное, иногда будет зависеть успех нашего дела. Нет, сказывается возраст, я излишне подозрителен, не мешало бы стать добродушнее и снисходительнее. Даже если он в чем-то тщеславен, то почему и не простить эту слабость? От человеческих слабостей свободны только покойники.

Я подтягивал песне и разглядывал Павла.

А на следующий день Василий Тихонович со своей обычной ядовитостью сказал мне:

— Что-то твой друг старается нас с тобой обворожить, что сваха на сговоре. Не из тех ли он, что на чужом горбу метят в рай въехать?

Я ответил, не скрывая обиды:

— На нашем с тобой горбу далеко не уедешь. Я лично надеюсь даже на горб Столбцова, авось при okazji в области облокотиться придется.

— Облокотился чиж на жабу в пруду, да потом перышки сушить пришлось.

— Все-таки я считаю удачей, что приехал Столбцов, а не другой инспектор.

— Ну, ну, не стреляй злым глазом из-под бровей. Верю на слово и молчу.

4

Павел пробыл у нас в школе десять дней, побывал на последних уроках, присутствовал на экзаменах, встретился даже с председателем Иваном Шубниковым, заглянул для беседы в райком партии. Вникал он во все с пристальной серьезностью, судил толково и доброжелательно, даже недоверчивый Василий Тихонович в конце концов отозвался:

— Я ошибся. Выходит, он мужик с головой. В таких случаях всегда приятно ошибиться.

Я провожал Павла до станции. У вагона мы обнялись.

— Ну, Павел, знай: буду помнить, что ты существуешь где-то там, — сказал я ему на прощание.

Он похлопал меня по спине, заглянул в глаза и легко вскинул свое располневшее тело на вагонную подножку — сильный, крупный, в добротном костюме, с плащом, перекинутым через руку.

— До скорой встречи! Встретимся в городе! — крикнул он.

А поезд, вдавливая рельсы в шпалы, медленно тронулся. Я пошел вслед за вагоном, отстал, помахал рукой.

И снова потянулись дни, одинаково беспокойные и в то же время не похожие друг на друга. Вечерами я опять ложился спать с ощущением нетерпения и досады: к чему ночь, зачем перерыв в жизни, скорей бы наступило утро. Любой человек, пусть он будет самым обычным, самым заурядным из всех, просыпаясь по утрам, должен помнить: его ждут великие дела, только в этом случае он может считать себя счастливым.

Между мной и Тоней были мирные, хорошо налаженные отношения. Даже простые размолвки не омрачали

их. Тоня убедилась, что столкновение со Степаном Артемовичем не принесло никаких неприятностей. Она начинала понимать: существует нечто большее, чем повседневные хлопоты — зарплата, квартира, картошка на усадьбе, обеды, одежда. Что-то высокое вошло в нашу жизнь. Она не задавала себе вопрос: что это? Ей достаточно было знать — это безопасно, это необычно, это красиво по-своему, и она чувствовала ко мне благодарность.

После встречи с Павлом она стала еще предупредительней ко мне, еще ласковей. Если я работал в своей комнате, Тоня поминутно шикала на Наташку: «Не шуми, папа работает». Если я засиживался за полночь, она входила и принималась упрашивать: «Утром тебе вставать рано, ложился бы...» А утром она бережно будила: «Вставай, Андрюша, опоздаешь... Умывайся быстренько, завтрак уже на столе». Я отвечал ей благодарностью и сдержанной лаской. Это была почти любовь.

Валентина Павловна жила тихой, затворнической жизнью: заботилась о муже, читала книги, поражала иногда меня осведомленностью в вопросах педагогики и непримиримостью своих взглядов. Она продолжала до сих пор считать, что мысли Василия Тихоновича о школе ненужные и даже вредные. Она постоянно повторяла: «У детей должно быть детство, а ваш друг отнимает его. Он тот же Степан Артемович, только изнанкой наружу». Она говорила, что Василий Тихонович из породы фанатиков, а фанатики всегда узкие, ограниченные люди. Василий Тихонович отвечал ей такой же нелюбовью, как-то при случае обронил по ее адресу: «Комнатный философ в юбке». Мое счастье, что эти два близких для меня человека почти не встречались.

Я не хотел думать, что у нее есть муж, славный, добрый, перегруженный всегда работой Петр Петрович Ващенко, что он каждый вечер остается с ней один на один, что она принадлежит ему. Если и появлялись какие-то зачаточные ревнивые мысли, я сразу же гнал их. Дай им волю, и они загрызут меня, ни о чем другом я уже не буду способен думать. Я спасал себя бездумьем, я, на удивление самому себе, был расчетлив: заставлял себя встречаться с ней время от времени, обманывал себя, что между нами нет ничего, кроме простой дружбы.

Каждый раз я перешагивал порог ее квартиры со смятением, с усиленно бьющимся сердцем. Постучать в ее

дверь всегда было для меня мучением. В самую первую минуту Валентина Павловна казалась мне не такой, какой я воображал ее себе: менее красивой, более обыденной и простой. В моих мечтах она всегда была лучше настоящей Валентины Павловны. Но я быстро привыкал к той, какая есть, сидел за столом, солидно и независимо рассуждал на посторонние темы, большей частью о школьных делах (ох, уж эти школьные дела, как они были безразличны в те мгновения!), а сам исподтишка любовался ее лицом. Вроде ничего особенного в этом лице не было: нежная, прозрачная кожа, голубые жилки на висках, чистый лоб, над тонкой, чуть намеченной бровью, едва приметная морщинка — ничего особенного, но во всем, в плавной округлости скул, в четко очерченных крыльях носа, во всем какое-то мягкое, пронзающее душу совершенство. Если бы можно, я бы целыми днями, не отрываясь ни на минуту, смотрел и смотрел в это лицо — никогда бы мне не надоело! Я порой забывался, слишком долго задерживал на ней взгляд. Валентина Павловна розовела, опускала глаза, и я тогда панически смущался. Не оскорбил ли я ее своей нескромностью, боже упаси это сделать!

Любила ли она меня так, как я ее любил? Да, любила. Это я точно знал. Существует масса мельчайших примет, безошибочных, как то, что грозовая туча над головой обещает неизбежный дождь. Об этих приметах даже не расскажешь. Что толку, если я сообщу о том, что она напряженно взглянула исподлобья, или о том, как она вздрагивает, когда ее рука нечаянно задевает мою руку?..

Меня спасала работа. А Валентина Павловна стала бледнеть и худеть, ее округлые щеки ввалились, под глазами я часто замечал синеву.

Как-то она, слушая мои глупые и ненужные рассуждения, вдруг взорвалась, впервые за все время знакомства раздражительно набросилась на меня с упреками:

— Вы эгоистичны! Вы увлечены собой! Вы несносно однобоки! Если вы считаете себя моим другом, то следовало бы почаще вспоминать и... и задумываться над тем, как я живу...

Мы сидели с ней вдвоем. Я видел ее вспыхнувшее лицо, ее гневные и страдающие глаза, слушал ее раздраженный и все же милый мне голос. Я повинно склонил голову, преодолевая хрипоту, произнес:

— Валентина Павловна, я слишком часто вас вспоминаю. Следовало бы реже это делать.

И ее гнев сразу же потух, на глазах заблестели слезы, а лицо выразило страх: сейчас все откроется, сейчас я все ей скажу!

— Извините!.. Глупо веду себя... Последнее время легко раздражаюсь.— Она поднялась и вышла в другую комнату.

Во второй половине июня, в один из дней, когда школа отдыхала от только что кончившихся экзаменов, когда мы, учителя, привыкали к безлюдности и тишине коридоров, пришло письмо на мое имя. Меня вызывали в область с докладом о новых методах обучения.

Письмо не столько обрадовало, сколько испугало меня. Нужно докладывать о чем-то сделанном, завершеном. Да, я за последние месяцы кое-что успел узнать, да, я что-то принял на вооружение, но многое откинул как ненужное, во многом разуверился. Открылись новые нерешенные вопросы, появились новые сомнительные места — конца выяснениям не видно. Сделано? Завершено? Разве я могу один все завершить? Только-только зашевелились другие учителя. Каждый из них должен взглянуть по-своему, со своей сноровкой приступить к поискам. С разных концов, с разными подходами, сообща. Нет, этим я не могу похвастаться...

Но, с другой стороны, мне предоставляют высокую трибуну. Почему бы не воспользоваться ею, не признать во всеуслышание: «Давайте не топтаться на месте, есть возможности искать, есть надежда найти новое, на-сущно нужное всем нам!» Может быть, шире станет круг моих товарищей, меньше придется действовать оцупью...

Я не мог уехать, не простившись с Валентиной Павловной. Я выбрал время, когда дома должен быть Ващенко. Оставаться с глазу на глаз с нею мне было все страшнее и страшнее: сидишь всегда напряженно, чувствуешь се отчаянное напряжение, каждую секунду ждешь, что вот-вот вырвутся роковые слова, а уж если они вырвутся, то все полетит вверх тормашками — семья, работа, Ващенко!..

Ващенко весело встретил меня:

— А-а, милости просим! Мы только что о вас вспоминали.

Я сообщил, что уезжаю в город. Меня усадили за стол, началось традиционное чаепитие с незначительными застольными разговорами. Валентина Павловна, как всегда последнее время, была замкнута, разливала чай, не глядела в мою сторону.

— У нас тоже новости, — произнесла она наконец безразлично.

И холодное безразличие в ее голосе заставило меня насторожиться: что за новости, из приятных ли?

— Петр хлопочет, чтоб его перевели в другой район.

— Как? — обернулся я к Ващенкову. — Вы переезжаете в другой район?

— Куда там! — отмахнулся Ващенков. — Разве отпустят? В Никольничих не могут подыскать первого секретаря. Вот и прошусь туда.

— Что ж, у нас вам плохо?

— Мне-то не плохо, а вот за Валою опасаясь. Она человек городской, никак не привьется на благословенной почве села Загарья. Никольничихи же, считай, пригород. До города всего час на автобусе. Валя и работу сможет найти в городе, и круг знакомых у нее там свой. А то посмотрите, как она выглядит. Трещинов советовал переменить обстановку...

— Теперь от него только и слышишь: в город, в город! Как у чеховских трех сестер — в Москву! — вставила Валентина Павловна.

— Э, да что говорить! Меня не отпустят отсюда. Выгодно ли обкому в одном месте вырезать, чтоб другое латать? Ты бы хотя на время переменяла обстановку, Валя. Вот, Андрей Васильевич, посылаю ее вместо себя на курорт — не едет.

— Здесь заниматься бездельем или в другом месте — разница не велика, — нехотя ответила Валентина Павловна.

Ващенков огорченно поглядел на нее:

— Ну что мне с тобой делать? Съездила в город хотя бы, встряхнулась. Сколько лет здесь безвыездно сидишь, кроме Андрея Васильевича, у тебя даже знакомых нет. А в самом деле, съезди в город. Вместе бы с Андреем Васильевичем и отправилась. Остановиться можно у Натальи Павловны или в гостинице... В гостинице чувствовала бы себя менее связано. Я позвоню в обком, помогут достать номер. Поезжай..

Я увидел, как при этих словах Валентина Павловна побледнела и поспешно наклонилась к столу, чтобы спрятать лицо. Только после этого понял и я, какие последствия скрываются за заботливыми словами мужа. Ващенко предлагает Валентине Павловне ехать в город, нам вместе ехать, одним, с глазу на глаз!

— Нет, нет,— поспешно возразила Валентина Павловна, не поднимая лица.— Не выдумывай, никуда не поеду.

Я молчал.

— А почему? Что за упрямый человек! Навестишь знакомых, сходишь в театр. Там московские артисты приехали. Ты же недавно говорила, что тебе хочется побывать в театре, быть нарядной, потолкаться в фойе...

— Хочу. Едем вместе...

— Но ты же понимаешь, что я не могу так сразу сорваться, бросить работу ради увеселительной поездки в город. Смешно же, право...

— Значит, и говорить не о чем. Не поеду, не упрашивай.

Я молчал.

— Но почему? Почему? Оторвись на недельку, на две от Загарья.

— Не поеду.

— Андрей Васильевич, вы-то что молчите? Скажите ей, что нужно ехать.

Я молчал.

— Как, Андрей Васильевич,— вызывающе обратилась ко мне Валентина Павловна,— ехать мне или нет?

Я проглотил застрявший в горле комок:

— Решайте сами.

— А если решу?

— Буду рад... быть вашим попутчиком.

— И все-таки не поеду.— Лицо Валентины Павловны сразу стало усталым.

Ващенко расстроено развел руками.

— Вольному воля...

Рано утром попутный грузовик, подбрасывая в кузове меня и мой чемодан, подрулил к станции.

Наша станция была грязной, голой, с приземистой рыжей водонапорной башней, несколькими станци-

онными зданиями на отшибе и бревенчатым вокзалом, внутри которого и зимой и летом одинаково крепко пахло хлорной известью.

Как и всякий добропорядочный пассажир, желающий скорее получить билет, я перемахнул вместе с чемоданом и плащом через борт кузова, бросился к темным дверям вокзала.

— Андрей Васильевич! — раздался за моей спиной голос, от которого у меня сразу же обмякли ноги.

Я обернулся. По влажному, слежавшемуся за ночь песку дорожки твердо ступали маленькие тупоносые туфли. Вскинув подбородок, грудью вперед, черный берет воинственно держится на светлых волосах, на лице детски наивное, решительное выражение, приближалась она.

— Вы? Здесь?

— Еду, — сухо ответила она.

— Вы же...

— Хотите сказать, не хотела? Неправда, хотела. Вы это знаете. Хотела, вот и поехала... с вами.

— А я думал...

— И сейчас, наверное, думаете: муж уговорил. Нет. Сама напросилась.

— Я сейчас. Я за билетом... Я быстро...

— Не суетитесь. Вот билеты. Два — для меня и для вас.

Я опустил на землю чемодан, выдохнул:

— Хорошо.

— Не знаю, хорошо ли. Скорей всего, плохо... Да отойдемте в сторону, до поезда еще долго.

Мы уселись на скамью за вокзалом.

Вокруг был разбит скверик, худосочный, казенный, с тощими деревцами, объеденными козами. Но было раннее утро, мокрую от росы, истоптанную траву пересекали длинные свежие тени, прыгали, кричали, перелетали с места на место воробьи. Жалкий кусочек земли в эту минуту был красив, по-своему радостно встречал наступление ясного летнего дня.

Валентина Павловна, сложив руки с сумочкой на коленях, сидела прямо, напряженно вздернув вверх плечи, как по-праздничному принаряженный деревенский парень перед объективом фотоаппарата. Ее лицо с тонким, мягким профилем упрямо было направлено в сторону, край берета заносчиво заломлен над гладким лбом.

— Что ж вы молчите? — почти враждебно произнесла она, не поворачивая головы. — Скажите что-нибудь, обругайте хотя бы. — Она резко повернулась, взглянула темным, тяжелым взглядом, и этот взгляд дрогнул, заблестели слезы, ее рука, холодная и влажная, словно вымоченная в росе, опустилась на мою руку. — Я не могла... Не могла не поехать... Пусть валится все в тартарары!

К водопроводной колонке, водруженной на выщербленный кирпичный фундамент, подошел парень с заспаным лицом, открутил кран, скинул со свалывшихся волос на землю фуражку и поставил под сверкающую струю воды тяжелые ладони. Оплеснул лицо, напился из пригоршни, довольно крикнул, дружелюбно взглянул на нас и весело сообщил:

— Вот как мы. По-солдатски: в родничке моемся, шапкой утираемся.

И он действительно утерся изнанкой своей фуражки, довольный, освеженный, утеревший сонливость, бодренько враскачку двинулся прочь.

Он не знал нас, а мы не знали его. Мы оторвались от Загарья, где первый встречный обратил бы на нас внимание. Мы теперь в другом мире, где не надо было притворяться.

Валентина Павловна улыбалась, а в ее глазах все еще стояли слезы.

5

Мы попали в купированный вагон. Пассажирам дальнего следования не было никакого дела до двух чужаков, появившихся после безвестной станциوشки.

Мы стояли в коридоре возле приоткрытого окна. Стояли и молчали. Мы привыкли или молчать, или говорить о постороннем, несущественном. Мы слишком долго скрывали от себя все, что думали, мы даже боялись думать, и этот страх не мог исчезнуть сразу.

Ровный ветер, врывавшийся на ходу поезда в открытое окно, шевелил ей волосы. Ее лицо было рядом, ничто теперь не мешало мне вглядываться в него, а я не решался, глазел старательно в окно.

А мимо вагонного окна не спеша, с какой-то величавой солидностью разворачивалась перед нами земля, вся свежее-зеленая, в не выгоревшей на солнце траве, в невыколо-

сившихся хлебах, еще не утратившая до конца недавней весенней яркости. Телеграфные столбы, провода от них, то спадающие вниз, то круто взлетающие вверх, неподвижная листва перелесков, вороньи стаи, крыши деревенок, колокольни стареньких церквей, далекие трубы каких-то заводов, дороги с железнодорожными шлагбаумами, стоящие перед ними в терпеливой дремоте колхозные лошади. Мимо нас проходили стороной большие села, схожие с нашим селом Загарье и не похожие на него. Села, где шла своя жизнь, где свои Андрей Бирюковы и Валентины Ващенко, кому-то радовались, чем-то были недовольны, чего-то добивались, за что-то воевали, влюблялись друг в друга, боясь людского осуждения, скрывали это или же, пренебрегая всем, открыто сходились.

Обжитая зеленая земля! Крыши домов разбросаны на ней. Под каждой крышей свои человеческие судьбы, простые и бесхитростные, путаные и трудные. Попробуйте, люди, осудите меня за это счастье, что стою рядом с женщиной, которая по закону не принадлежит мне, попробуйте это счастье назвать порочным! Я отвечу, что порочного счастья вообще не существует, его выдумали завистники, те, кто перестал понимать одну простую истину, что снисходительность так же нужна, как и непримиримость, лишь бы то и другое употреблялось к месту и вовремя.

Незаметно ее плечо прислонилось к моему, растрепанные ветром волосы почти задевали мое лицо. Светлые и легкие волосы, такие же светлые и такие же легкие, как у моей дочери. Я боялся пошевелиться, ощущая ее тепло, ее кровь, поддерживающую беспокойную жизнь, кому-то безразличную, мне дорогую.

Стояли у окна долго, пока Валентина Павловна не сказала:

— Я устала...

— Сядем.

Мы уселись на откидные сиденья. Сидели, опять же молча встречались глазами, смущенно отводили их в сторону. Но я уже стал смелей, я теперь с осторожностью стал всматриваться в ее лицо, не испытывая при этом чувства преступности. И она выдерживала мои взгляды, не краснела.

Ее лицо с опущенными веками, ее лицо, серьезное, собранное, обманчиво спокойное, оно то обливалось яр-

ким солнцем, то попадало в тень, то на нем трепетали прохладные отсветы листвы проносящихся мимо вплотную придвинутых к насыпи веселых рощиц и перелесков. Обремененная зеленью земля, щедро заполненная солнечным светом, земля утренняя, земля свежая,— я ее словно читал сейчас на лице Вали.

— Славное утро,— произнес я.

— Славное,— с готовностью согласилась она.

И мы опять молчали.

А поезд шел, стоял на станциях, задерживался на полустанках, снова шел, открывая перед нами все новые и новые просторы обжитой земли с полями, речками, лесами, лугами, крышами деревенок. Мимо, задевая и не замечая нас, ходили проводники и пассажиры. Мы сидели, не думая ни о том, что осталось за нашими спинами, в селе Загарье, ни о том, что ждет нас впереди, в городе...

За окном городской гостиницы начиналось новое утро — бодряще-синее. Улица, кусок сквера в сочной зелени со скамейками и песчаными дорожками, непотушенные фонари, болезненно бледные в свете утра, усталые... Ни одного человека, ни единой живой души — пустыньны тротуары, пустынна проезжая часть с четкими квадратиками пешеходной тропинки, подслеповато отсвечивающие окна, наглухо закрытые двери парадных, ненужные, кричащие вывески магазинов. И в этом пустом, безжизненном городе с утомленно горящими бледными фонарями звонко пели птицы. Город без жителей, вымерший город — и голоса невидимых, казалось тоже несуществующих, птиц! И красиво и немного страшно... Мы одни, нас забыли...

Мы сидели обнявшись. У нее были растрепанные волосы, осунувшееся, милое, скорбное лицо.

Неуверенный свет, вливающийся в окно, сообщал, что возвращается день. Даже пустынность города не могла уже ни обмануть, ни успокоить. День возвращается, вместе с ним возвращается и жизнь, хочешь не хочешь, а приходится заглядывать вперед. Уже проскакивают досадные мысли, что скоро надо возвращаться в свой номер, проходить мимо дремлющей на диванчике в сумрачном холле дежурной по этажу, выносить ее пыльный и осуждающий взгляд. День, другой, несколько таких вот ни на что не

похожих ночей, а потом... Загарье, Ващенко, Тоня, Наташка, падкие на новости соседи. Докажи, что иначе и быть не могло, что все это, случившееся сейчас, так же неизбежно, так же непредотвратимо, как после почной темноты неизбежно наступает вот это утро.

Счастье было минутное, часовое, недолговечное. Какое же счастье, когда оно сделает несчастливыми других людей, вовсе не безразличных нам обоим!

У Вали скорбное лицо...

Поют, пересвистываются невидимые птицы в пустом городе с бледными фонарями.

Валя поднимается, глядит, не отрываясь, в окно, произносит:

— Не будем думать о будущем.

И я впервые в своей жизни согласился, что да, не надо думать о будущем. Лучше не заглядывать вперед.

6

Но от будущего никуда не убежишь, оно само идет навстречу.

Наступил день, и мне нужно было заняться делами.

Валя заявила:

— Я не могу с тобой расстаться... Не могу быть одна. Можно, вместе с тобой поеду в институт?

И мы поехали.

Знакомый конференц-зал. На возвышении длинный стол, академически солидный, накрытый зеленым сукном, по стенам портреты: Ян Амос Коменский, Ушинский, Макаренко... Шесть с лишним лет тому назад я еще сидел в этом зале среди других студентов. Ничего не изменилось с тех пор, ровным счетом ничего. Тот же стол, те же портреты, наверно, даже графин на столе тот же самый, много-много раз испытывавший на себе удары председательского карандаша, водворяющего приличествующую этому заведению тишину и благопристойность.

Шесть лет! За это время у меня появились седые волосы на голове, родилась и выросла дочка, многие из моих учеников окончили школу. В это время для меня рухнули и разбились вдребезги некоторые авторитеты, по-иному я стал мыслить, по-иному глядеть на жизнь и

на самого себя. Здесь же все по-старому, в этих стенах время остановилось.

Так же, как в мои студенческие годы, к столу, вплотную к председательскому графину, вышел профессор Никшаев. Он по-прежнему внушительно сед, по-прежнему в складках мягкого старческого рта таится снисходительная загадочная улыбка.

Сегодня в том институте, который меня выпустил в жизнь, будет проходить ученый совет в присутствии городского учительского актива: директоров школ, работников роно и облоно; будто бы пришли даже представители из облисполкома.

Этот ученый совет посвящен проблемам ведения урока в школе. Сперва выступит профессор Краковский, второе выступление мое. Пока я сижу в зале рядом с Валей и сжимаю в потной руке туго скрученную тетрадь с тезисами моего доклада.

Профессор Краковский выходит на трибуну. Он мужиковат на вид, лысая голова ушла в широченные плечи, массивный подбородок подпирает узел галстука, кисти рук лопатами. Никшаев и Краковский — два педагогических столпа в нашей области, оба с незапамятных времен преподают в институте: один заведует кафедрой методики преподавания, другой считается специалистом по вопросам дидактики.

Они преподавали и мне. Без сомнения, каждый из них вложил в мою голову какие-то знания, чему-то научил, но я никогда не вспоминал ни об их лекциях, ни о них самих. Ни разу не случилось, чтоб я вдруг спохватился: а ведь верно, это еще говорили в свое время Краковский или Никшаев!.. Я даже и не вспомнил бы об их существовании, если б они сейчас мне не напомнили о себе, появившись в знакомой обстановке, за знакомым мне столом.

Краковский привычно уперся толстыми и короткими руками в борта кафедры, нацелился обширной лысиной в зал и заговорил суровым и гулким голосом. И с первых же слов я понял: уже знаю, что он скажет дальше. Он и во время моего студенчества, так же устрашающе уставив на слушателей свою лысину, вещал на ту же тему. А тема не очень-то глубокая: утомляемость учеников на уроках и методы борьбы с ней.

— М-мы нив-велируем состав учащихся! — гремел Краковский. — Семилетних детей, только что севших за парты

первого класса, и семнадцатилетних юношей и девушек, стоящих на пороге самостоятельной жизни, мы одинаково заставляем отсиживать сорок пять минут без перерыва. Академический час для нас остается чем-то вроде языческого табу. Академический час неприкосновенен! Мы боимся поднять на него руку!..

А Никшаев, конечно, улыбается. О нет, он не сторонник взглядов Краковского. Он терпеливо и скромно ждет своей минуты. Он будет говорить мягко, вкрадчиво, с язвительной иронией, суровость и напористость не его черта. Он, профессор Никшаев, очень давно пришел к выводу, что утомляемость учеников на уроках — очень важная проблема, но его уважаемый коллега, профессор Краковский, к ее решению подходит сугубо механически, предлагая урезать уроки, вводит тем самым страшную путаницу. Проще разбивать уроки на двухминутные перерывы. В первых и во вторых классах во время урока можно делать три таких перерыва, в третьих и в четвертых — два и т. д. и т. п.

В свое время я смотрел на этих профессоров, как и подобает смотреть студенту на научные светила первой величины, верил, что каждое их слово содержит недоступную мне премудрость. Теперь же слушал и удивлялся. Из месяца в месяц, из года в год два ученых мужа ведут между собой войну. Со стороны может показаться, что это поединок великанов. На самом же деле дерутся лилипуты, их проблема так же важна для жизни, как спор, с какого конца разбивать яйцо. Можно утомить не за сорок пять, не за двадцать минут, а за десять, можно и два часа без всяких перерывов преподавать так, что ученики не захотят уходить с урока. Не может быть вопроса: сколько времени преподавать? Есть вопрос: как преподавать?

А Валя, родной мне человек, слушает с видом примерной ученицы: вытянула шею, подалась вперед. Ее подкупает вид Краковского, его суровый голос, его поза неуступчивого воина, он для нее ниспровергатель основ. Она думает, что он прокладывает мне дорогу, мне, еще неопытному в крупных схватках, еще не крепко стоящему на ногах. По неосведомленности и простоте душевной Валя видит в нем друга.

И только для того, чтобы разрушить это впечатление, я сказал:

— Руки чешутся...

— На кого? — спросила она.

— Да вот на этого корифея, — кивнул я на Краков-ского. — Так и хочется ударить.

С минуту она недоуменно мигала светлыми ресницами, потом отвернулась, и с новым вниманием, с новым выражением на лице принялась слушать.

В это время сзади меня негромко окликнули:

— Андрей... Бирюков...

Я оглянулся. В проходе стоял Павел Столбцов в светлом костюме, широкий, внушительно серьезный. Он многозначительно кивнул мне: «Выйди сюда». Я поднялся.

Взяв за локоть, мягко поскрипывая ботинками, он повел меня из зала в комнату, которая во время моей учебы в институте называлась «профессорской».

— Ты когда приехал?

— Вчера,

— Почему не позвонил вечером или утром? Нам надо было встретиться, обсудить.

— Не смог, Павел, — ответил я, пряча глаза, боясь одного, чтоб не спросил, что за женщина сидит рядом со мной.

Но Павел был озабочен: он, хмурясь, закурил, бросил спичку, заговорил торопливо:

— Положение сложное. Старики дружно, в один голос возражают против тезисов, которые ты представил в облоно.

— Кто эти старики?

— Никшаев и Краковский. В один голос...

— Так и должно быть. Тут-то они сплуются.

— Но ты понимаешь, чем это пахнет?

— Наверно, порохом.

— Пахнет не порохом, а сырой землей. Чихнуть не успеешь, как все твои высокие идеи закопают в глубокую могилу.

Павел глядел на меня серьезно, с осуждением.

— Ну и что же ты предлагаешь?

— Я телефон оборвал, разыскивая тебя утром. Всю гостиницу на ноги поднял. Знаю уже, в сто двенадцатом номере остановился. Но нет и нет — испарился...

— Вышел, значит, прогуляться.

— Хороша прогулочка! Надо было тебе встретиться со стариками, кого-нибудь из них перетянуть на свою

сторону, сообщить, что я-де ваш ученик. Именно на учеников-то они и клюют. Иметь подающего надежды ученика для таких старцев что-то вроде наградного листа.

— То есть примите под крылышко за ради Христа. Но ведь такой Краковский или тот же Никшаев под крылышко из-за одной только старческой филантропии не примут, плату возьмут, заставят под свой голос петь.

— Слушай, не время играть в благородство. Тебе нужен крепкий локоть, так уж не гнушайся, кое в чем иди и на уступки. Донкихотство не к месту, коли твое дело грозит обрушиться.

— Все равно на хребте старика Краковского к истине не подъедешь.

— Не нравится Краковский, иди к Никшаеву.

— Чем этот лучше?

— Уж не собираешься ли с ними копыя скрестить?

— Не хотелось бы, но если выхода не будет...

— Тоже мне рыцарь! Заранее могу расписать, как тебе шею свернут. Краковский и Никшаев лишь намекнут, что облоно вытаскивает на свет божий фантастические проекты. А наше облоно не Олимп, в нем сидят смертные люди. Они, конечно, испугаются, что обком или облисполком намылит им шеи, и, поверь, быстренько отмежуются от тебя, осудят со всей строгостью, дадут сигнал в район, а там уж тебя... Я знаю вашу заведующую, эту бабу-ягу Коковину. Она за тебя грудью не станет. Посыплется перья.

— Я затем и приехал сюда, чтобы доказывать — планы не фантастические. Буду огрызаться, буду втолковывать...

— И веришь, что тебе удастся доказать?

— Не верил бы, так сидел бы себе спокойно дома. Буду верить, пока...

— Пока костями не ляжешь? Не мальчишествоуй.

— Костями так костями, не я первый, не я последний. Да ты-то на что? Раз взялся за гуж, не говори, что не дюж. Помогай, вместе-то легче пробить.

— Мне быстрее твоего когти остригут. Кто тебя вытаскивал? Кто рекомендовал? А ведь я представитель облоно, должен защищать интересы своей организации.

— Во-от как! Драка еще не началась, а ты уж оглядываешься, за какой куст бежать?

— Не горячись, а слушай, как исправить положение. Сейчас на трибуне Краковский. Никшаев слушает, и ему не терпится потоптаться на оппоненте. В перерыв я сведу тебя с Никшаевым, он будет рад помощнику, который помог бы лягнуть Краковского. Только в этом твое спасение. Пойми...

Павел стоит передо мной, широко расставив ноги на паркете. В эту минуту его раздражение сменилось властной решительностью, брови туго сошлись над переносицей, лицо приобрело прежнюю твердость, в уголках красивого рта ощущается что-то жестокое. О нет, он не рубаха-парень!..

Я понял: ни о чем не договоримся, — повернулся и пошел прочь. Павел не остановил, не окликнул, проводил меня тяжелым молчанием.

Я шел по длинному проходу посреди зала. По ту и по другую сторону от меня сидели люди, устремившие лица к трибуне, с которой бросал сердитые фразы Краковский. Я шел и в эти самые секунды думал: если уж Павел оказался не тот, на кого можно рассчитывать, то от кого мне еще ждать помощи? Нет в этом зале у меня товарища, я одинок. Единственный друг — слабая женщина, случайный человек среди этих людей. Только она будет мне сочувствовать. Провал! Никакими силами я его не предотвращу.

И я испытал запоздалое раскаяние. А может, прав Столбцов? Может, следовало бы расколоть этих двух апостолов? Пришлось бы заигрывать, льстить, подлаживаться — неприятно, но другого-то выхода нет. Не ради же себя подлаживаться, ради дела, ради школы, ради учеников...

Я сел на свое место рядом с Валею.

— Что случилось? Что тебе сказал Павел? — спросила она шепотом.

— Предложил сделку.

— С кем?

— Да хотя бы вон с ним, — я кивнул на разглагольствующего Краковского.

— А ты?..

— А я не согласился.

Валя молчала, пристально приглядываясь ко мне, наконец снова спросила:

— Уж не жалеешь ли?

- Затопчут они наше дело.
- А если пойдешь на сделку?
- Бросят кость, не больше.

И мне стало стыдно за минутную слабость. Я незаметно нашел ее руку и молча с благодарностью пожал. Я должен подпевать, я должен угождать, я волей-неволей стану сдавать позиции — это ли не топтать самого себя!

7

Перерыв. Я мог бы пройтись по коридорам, заглянуть в аудиторию: как-никак в этих стенах прошло пять лет моей молодости. Но мне сейчас не до этого. После перерыва мне выходить на кафедру.

Вокруг меня толпятся люди, разговаривают, курят, никто не замечает меня, никто из них не догадывается, что через несколько минут я предстану перед ними. Они будут меня слушать, они будут меня судить. Кто-то из них, наверное, попытается меня защищать. Должен же кто-то понять меня, поверить мне, поддержать. Найдутся же и здесь друзья. Кто они? Может, вон тот добродушно-толстый, с проицательно умным взглядом из-под очков, а может, эта молодая миловидная учительница или ее собеседница — пожилая, озабоченная, с близоруким прищуром добрых глаз. Или, быть может, этот старичок, беспокойно о чем-то толкующий в кучке людей, энергично встряхивающий своей стриженной головой. У него какой-то сугубо провинциальный вид: узкий, жмушщийся в подмышках костюмчик, на жилистой шее неуклюжим узлом завязан галстук, руки грубые, с обкуренными пальцами. Как узнать, кто из них поймет меня, а кто не сумеет, не захочет понять?..

Я, прислонившись спиной к стене, жадно курю. Рядом со мной стоит Валя, молчаливая, подавленная, доверчиво-беспомощная. Время от времени она робко вскидывает на меня глаза, и я чувствую, как она волнуется.

И когда она смотрит так, с волнением, я начинаю недоумевать. Именно сегодня, сейчас, после того как из окна гостиницы мы глядели на спящий пустынный город с устало горящими фонарями, с пением невидимых птиц, мы волнуемся предстоящему докладу, возможному разгрому. Да так ли это все важно! Неужели важнее того, что она ря-

дом со мной, что я могу на нее глядеть, до нее дотронуться, могу даже увести отсюда и остаться с нею с глазу на глаз! Кто мне здесь это запретит?

Взять бы сейчас ее за локоть, вывести из этого заполненного людьми, накуренного коридора, пойти на вокзал, сесть в поезд и... уехать, но не в Загарье, а куда-нибудь далеко-далеко от родных, от знакомых, от дел, от замыслов, от докладов, от всех забот. Куда-нибудь... Не задумываться бы о будущем, не терзать себя разными проблемами, не портить кровь диспутами и ожесточенными спорами, жить бы ради маленьких наслаждений, радоваться бы ручьям весной, новизне и свежести первой пороши глубокой осенью, цветам в собственном палисаднике, радоваться жизни и любить эту женщину, такую незащищенную, такую беспомощную, по сути, одинокую в этом мире. Любить бы!.. Одарить ее не роскошью, не богатыми нарядами, не сверкающими хоромами, а простым человеческим покоем, испытывать счастье оттого, что она тоже отвечает тебе преданной любовью. И почему-то сразу же представилась картина: сад перед домом, желтые цветы, мокрые от дождя, серое, покойное-покойное, ровное небо, и под этим небом, среди мокрой зелени, среди цветов — она, со склоненным лицом идет мне навстречу, мягко ступая по влажному песку маленькими крепкими ногами, центр этого покойного, уютного уголка с его зеленью и серым небом...

Передо мной вырос Павел Столбцов, стал напротив, выставив грудь, разделенную галстуком, бросил полувопросительный, полунастороженный взгляд на Валю и, сразу же выразив на лице полнейшее бесстрашие, проговорил:

— Тебя ждет Никшаев на пару слов, если, разумеется, ты согласишься удостоить его вниманием.

— Это его желание или твое? — спросил я.

— Мое желание, — ответил он твердо.

— Не буду встречаться.

Павел молча кивнул, повернулся и пошел прочь. В его пухлой и широкой спине, в его решительно размашистой походке я уловил оскорбленное достоинство и презрение ко мне. Этот не окажется в числе моих друзей.

Зазвенел звонок, как звонил он когда-то, созывая на лекции. Теперь он сообщал, что перерыв окончен, все должны пройти в зал, занять свои места.

— Ну, — Валя взяла меня за руку, заглянула в глаза, — иди. Я сяду поближе. Не волнуйся,

— Постараюсь.

— Иди же...

Я взошел на кафедру. Лица, лица, лица из просторного, полутемного зала, обращенные ко мне. Все до единого внимательны, но их внимание кажется мне суровым, отчужденным, убийственно бесстрастным. Все они для меня похожи друг на друга. Я перебегаю взглядом с одного лица на другое, я лихорадочно ищу лицо Вали. Мне надо ее видеть, если я не найду ее, то, кажется, не смогу начать, не смогу произнести и двух слов. Где же она? Сколько лиц! В каком ряду сидит?.. Я же видел, как она вошла в зал...

И я наконец нахожу ее. Она совсем близко, во втором ряду, серьезно, напряженно смотрит на меня. Она смотрит, и под ее взглядом я не могу сфальшивить.

Должно быть, я слишком долго стоял на трибуне молча, вглядываясь в рассыпанные передо мной лица. Зал начал шевелиться, кашлять.

Я заговорил о лилипутской борьбе, о никчемной суете, возведенной в степень научного спора, о том, что не может быть утомительных уроков, если преподавать увлекательно.

Заговорил о том, что мы часто с преступным равнодушием миримся с застоем в своем деле или же для очистки совести начинаем заниматься такой вот мелочной борьбой...

Зал перестал шевелиться и кашлять, зал притаился. Со второго ряда следили за мной глаза Вали.

8

Со своего председательского места поднялся Никшаев, с привычной свободой окинул зал, мягким голосом произнес:

— Что ж, товарищи, приступим без излишних разглагольствований к обсуждению. Здесь уже есть записавшиеся... Минуточку.— Он надел очки, заглянул в бумажку.— Так... Просил слова товарищ Лещев, директор школы-семилетки из Голубянского района. Прошу вас, товарищ Лещев.

Суетливой походочкой, беспокойно вертя стриженной головой, прошел по проходу старичок, на которого я обратил внимание во время перерыва. Кто он, противник или сторонник, этот первый из выступающих по моему докладу?

Старичок водрузил на нос очки, вытряхнул из старого портфеля бумаги на кафедру и заговорил:

— Мне бы очень хотелось услышать от наших уважаемых профессоров: знали ли они о существовании тех нерешенных проблем до того, как о них рассказал Бирюков? Я всего-навсего сельский педагог, но и я постоянно сталкивался со всеми без исключения перечисленными вопросами. Подчас эти столкновения были довольно болезненны. А казалось бы, уж профессорам и карты в руки, должны бы знать. Только почему-то до сей поры они молчали об этом...

Я начинал понимать, что говорит друг и, кажется, довольно активный, от которого должно влететь Краковскому и Никшаеву. А старичок продолжал бойкой скороговорочкой:

— На этом высоком ученом совете я человек случайный. Оказался вот в командировке, пригласили послушать, ума набраться. Я слушал товарища Краковского, и вертелась у меня в голове эдакая беспардонная мыслишка, которой не могу не поделиться. Очень уж жалеет нас, простых учителей, профессор Краковский: трудно-де работать учителям, утомляются у них на уроках ученики, а отсюда и в дисциплине разлад, и успеваемость низкая. Я слушал, и мне, признаюсь, было совестно, что меня так жалеют. Не стою я такой высокой жалости, если у меня на уроках скучно, если моим ученикам трудно высидеть положенное время...

Я слушал язвительный голос старика, глядел на его узкие плечи, на его стриженный затылок и думал: «Лещев, Лещев... Где же я слышал эту фамилию? Что-то знакомая...»

Склонив голову, в каменно-неподвижной позе сидел рядом со мной Краковский. Никшаев, навалившись на стол, слушал с блуждавшей на губах загадочной улыбкой. Они оба спокойны; им, видать, не впервой выслушивать упреки, знают, как держаться в таких случаях.

Лещев сошел с кафедры, и Никшаев предоставил слово новому выступающему:

— Товарищ Столбцов из областного отдела народного образования.

Павел! Он порывистыми, сильными шагами возносит себя на возвышение, уверенно, как-то по-особенному прочно занимает место за кафедрой, окидывает взглядом зал.

Я сижу сбоку от него, мне видна его широкая спина, полная шея, крепкое ухо, часть щеки. Он наверняка чувствует мое соседство, не может не чувствовать мой выжидающий взгляд. И он под этим взглядом спокоен и уверен в себе. Может быть, ему стало стыдно за то, что подговаривал меня на сделку, может, он решил оправдаться передо мной. Так поспешно появился на этой кафедре, держится уверенно. Если он сделает хоть какую-нибудь попытку защитить меня, пусть беспомощную, неуверенную, я снова протяну ему руку, как товарищ товарищу.

Павел начал:

— Товарищи! — И в этом слове сдержанная сила человека, чувствующего собственное достоинство.— В докладе Бирюкова много полезного, много нужного, много тонко подмеченного. Заслуга доклада в том, товарищи, что Бирюков затронул самые сложные, самые наиболее болезненные вопросы...

Мне не нравится его начало. Что-то есть каверзное в этих похвалах, не последует ли за ним злое «но»?

— ...По простоте душевной некоторые товарищи клюнули на эти весьма положительные качества доклада, не заметив...

Вот оно «но»! Я сижу в стороне, в трех шагах от Павла. Я, выслушавший от него столько похвал, столько дружеских излияний, уверенный в поддержке, что-то сейчас услышу от него я?.. Он стоит ко мне почти спиной, и я не могу видеть, краснеет он или нет. Голос его по-прежнему уверенный, звучный, спокойный.

— ...В экспериментах Бирюкова много практически неприемлемого. За каждой, я бы сказал, благородной попыткой что-то сделать чувствуется убогая кустарщина, незнание элементарных основ педагогики. Он, как сами убедились, может хлестко раскритиковать, в иных случаях даже справедливо, но в нащупывании пути по своей, мягко выражаясь, неосведомленности, Бирюков волей-неволей скатывается на позиции давно осужденных и раскритикованных методов. То, что он пытается выдать за новаторство, пахнет давно уже выветрившимся из нашей здоровой педагогической среды душком бригадного метода. Я, товарищи, был в школе, где работает Бирюков, подробно ознакомился на месте с его работой, не в пример предыдущему оратору я сижу не по наитию. И те выводы, к которым я пришел, беру на себя смелость утверждать, не голословные выводы...

Он говорил уверенно, проникновенно, и я видел: зал слушает, ему верят и, по всей вероятности, осуждают выступавшего ранее Лещева, который защищал доклад, не ознакомившись с делом, лишь слепо веря докладчику на слово.

9

Пока я разыскивал Валю, ко мне один за другим подошли три человека. Первый попросил тезисы моего доклада, второй адрес, чтоб можно было впоследствии связаться, третий просто выразил свою признательность.

Этот третий был высокий, с седыми висками и горделивой посадкой головы. Он отрекомендовался директором одной из городских школ. Я его с досадой спросил:

— Вы говорите, я прав. Тогда почему же вы это не сказали там?.. — я кивнул в сторону дверей конференц-зала.

— Видите ли, — спокойно улыбаясь, ответил он, — кроме эмоций, я пока ничего не смог бы предложить. Надеюсь, что еще выступлю в вашу защиту, но попозднее, с фактами, с собственными наблюдениями. Поверьте, ваш доклад, разбитый и разруганный, не пропал даром. — Помолчал и добавил: — По крайней мере для той школы, в которой я работаю.

Он вежливо со мной простился.

На нижнем этаже у выхода я наконец увидел Валю. Она разговаривала с Лещевым. Морщинистое лицо старика сияло счастливой и смущенной улыбкой.

Валя заметила меня, подалась навстречу:

— Андрей! Иди скорей. Ты знаешь, кто это?

Лещев, повернувшись ко мне, продолжал смущенно и счастливо улыбаться — узкоплечий, в тесном пиджаке, как провинившийся ученик, робко опустивший руки по швам.

Я протянул ему руку:

— Спасибо за поддержку. Вы хорошо выступали.

— Андрей, да это же Лещев! Помнишь, я тебе рассказывала, что переписываюсь с одним учителем? Это он тебе прислал рукопись Ткаченко.

— Ах, вот что! Я все думал: где это слышал вашу фамилию?

— Сколько лет переписывались и ни разу не встречались, — взволнованно говорила Валя. — Я вас точно таким представляла себе. Точно таким!..

— Валентина Павловна подошла сейчас ко мне и спрашивает... Боже ты мой!.. Вы так много для меня в жизни значили!.. Простите, моя старая голова идет кругом. Не выбраться ли нам поскорее из этих стен на свежий воздух?

Мы вышли на улицу.

Где-то за высокими городскими крышами погромыхивал гром. Улицы были мокры от дождя, мимолетного дождя, которого никто из нас, находившихся в стенах института, не заметил. От городского сада, названного суровым именем старого революционера, погибшего на виселице за попытку убить царя, тянуло влажным запахом цветов.

Заговорили о моем докладе, о выступлении Столбцова.

— Этот Столбцов и меня обхаживал, — сообщил Лещев, — восторгался: «Ах, новатор, ах, у вас все должны учиться, ах, на уроках арифметики вы приносите ведро воды!..»

— Вот как! Значит, это он про вас мне рассказывал, — припомнил я. — Вы заставляли считать учеников, сколько капель в ведре..

— Рассказывал и, наверное, хвалил? — подхватил Лещев.

— Хвалил.

— И это ему не помешало с умным видом толковать: узко, мол, нет обобщений... В этом Столбцове особый стиль проявляется. Я бы его назвал стилем прогрессивного карьеризма. Откапывается какой-нибудь человек со свежими мыслями, поднимается вокруг него шум, а потом под этот шум с расшаркиванием человека топят без угрызений совести и без жалости. Таким Столбцовым нужен только шум, нужна деятельность, и не простая, а благородная. Быстрее заметят, быстрее выдвинут. Столбцов бы с полной охотой и не продавал вас, но не продавать — значит помогать, чем-то поступаться, быть может, идти навстречу неприятностям. А уж тут, пожалуй, вместо того чтобы подниматься, того и гляди загремишь вниз, да еще с травмами, с увечьями...

Я слушал и вспоминал, как Павел обнимал меня за столом, вспоминал, как он пел проникновенно и растроганно студенческую песню: «Коперник целый век трудился...»

Наш новый знакомый остановился и принялся прощаться. Он рад, очень, очень рад был с нами встретиться, он верит

в мою правоту, верит в победу, верит еще и потому, что на моей стороне Валентина Павловна, а где Валентина Павловна — там справедливость, быть иначе не может! Он жмет нам руки и вдруг, повернувшись к Вале, подавляя смущение, говорит:

— Валентина Павловна, простите, не могу унести после встречи с вами что-то неясное... — Лещев с беспомощной растерянностью смотрит на меня.

— Вы хотите спросить, — спокойно произносит Валя, — кто мы друг другу?

— Я хочу спросить, не случилось ли у вас, Валентина Павловна, несчастье в жизни? Вашим мужем был, я помню...

— Другой человек. — Лицо у Вали независимое, подчеркнута горделивое. — Я не собираюсь скрывать от вас: мой муж жив и здоров, но... но я хотела бы, чтобы моим мужем был он. — Валя сдержанно указала на меня взглядом. — Больше ничего не могу добавить, потому что и сама пока ничего не знаю, ни на что не надеюсь.

— Я вас понимаю... Да, да, понимаю... Поверьте... — Лещев снова стал с нами прощаться.

Локоть к локтю мы направились с Валею к гостинице, оба сурово молчащие, оба чуть подавленные этим объяснением.

— Одну минуточку! Одну минуточку! — Нас догонял запыхавшийся Лещев. — Прошу вас на минуточку!..

Простодушное лицо каждой своей морщинкой выражает тревогу, подбежал, схватил одной рукой Валину руку, другой мою, с трудом переводя дыхание, заговорил:

— Поверьте, понимаю вас... Не могу уйти... Вы должны знать: понимаю, отношусь с уважением... Да, да... И желаю... Как глупы слова! Желаю обоим вам счастья... От всей души... Прощайте... Был бы рад, если б когда-нибудь моя помощь пригодилась... Не так-то просто быть полезным тем, кого искренне уважаешь...

Он махнул нам рукой и скрылся за прохожими.

А прохожие не спеша, не обращая на нас внимания, шли мимо, все празднично неторопливые в этот вечер, принаряженные, веселые, беспечные — редко увидишь озабоченное лицо. Широкие витрины изливали на них яркий свет, в липовой листве горели фонари, шипя скатами по мокрому асфальту, проносились автомашины.

И Валя вдруг прижалась ко мне:

— Я все-таки счастлива. Какая жизнь, сколько волнений! Я бы хотела, чтоб волнения не кончались.

Она счастлива. Я не мог этого сказать о себе.

Идут по-праздничному принаряженные прохожие, говорят о своем, смеются, наслаждаются освеженным после дождя воздухом...

10

Вечер еще не кончился, а в гостинице нас ожидал новый сюрприз. Едва мы вошли, как мимо нас к лестнице устремилась странная публика: женщины в накинутых на плечи легких плащах и пыльниках, из-под которых раздувались старинные кринолины, мужчины в долгополых сюртуках с зачесанными бачками; у одного раздвоенная борода, по толстому животу золотая цепь — ни дать ни взять купчина середины прошлого столетия.

— Что это? Маскарад? — удивилась Валя.

Швейцар гостиницы, седой, морщинистый, словоохотливый, как деревенская старуха, ответил:

— Артисты. Из Москвы кино приехали снимать. У нас живут. Тут на втором этаже комната, где их наряжают. Приедут на автобусе и сразу же быстренько туда. Глядишь, выйдут, как все люди. А вон этот у них вроде самый главный.

Швейцар указал на плотного мужчину с подстриженными усиками, тяжелым, с залысинами лбом и маленькими глазами, запавшими под этот лоб.

Я уже мимоходом видел его в гостинице. Это было сразу же после нашего приезда. Наскоро умывшись, сменив сорочку, я вышел из своего номера, ждал Валу, мерял шагами холл четвертого этажа. Валя задерживалась. И мне начинало казаться, что она, оставшись наедине в своем номере, одумалась, трезво взвесила последствия, испугалась и не хочет выходить, не хочет больше меня видеть. Я вглядывался в длинный гостиничный коридор с уходящей вглубь ковровой дорожкой, поминутно глядел на часы... В это время прошел он, приземистый, твердо ступающий, с устремленным вперед лбом. Я взглянул на его спину, и спина с крутым затылком, покоящимся прямо на широких плечах, показалась мне знакомой. Я поспешно отвернулся, я не хотел никаких знакомых, я мечтал быть среди чужих людей один на один с Валею.

Сейчас он шел прямо на меня, и я почувствовал, что его глаза пристально вглядываются из-под тяжелого лба. Походка с развалочкой, крупная голова, лежащая вплотную на плечах, и я узнал его:

— Стремянник! Юрий!

Брови удивленно поднялись, из-под рыжеватых жестких усов блеснули белые зубы, он протянул мне руку:

— Кого вижу!

— А помнишь ли?

— Хорошо помню. Андрей... Сколько лет прошло? Десять? Нет, больше... Простите.— Он повернулся к Вале.— Стремянник Юрий Сергеевич, старый знакомый Андрея.

С непринужденностью столичного человека он взял протянутую Валей руку, склонился, приложил к ней свои жесткие усы. Валя зарделась. Я, глядевший на нее в селе Загарье, как на воплощение городского изящества и простоты в обращении, сейчас увидел, что она провинциалка, застенчивая, милая провинциалка, не умеющая скрыть смятенной смущенности. А каков тогда я рядом со Стремянником, небрежно одетым в какую-то куртку с накладными карманами, я в своем парадном костюме, купленном два года назад в магазине райпотребсоюза?..

— Как ты? Как живешь? Впрочем, не отвечай. Поднимемся ко мне в номер, там расскажешь.

В тесном номере с двумя столами — письменным, заваленным бумагами, и круглым, покрытым дешевой скатертью, — принесли из ресторана полуостывший ужин и бутылку вина. Стремянник заставил меня рассказывать. Он смотрел на меня незнакомым мне тяжелым, немигающим взглядом, чуть обрюзгший, начинающий лысеть: видно было, по нему крепко проехала жизнь. Я рассказал все, кроме одного, что Валя не моя жена. Она же, притихшая, с чуть приметным румянцем на щеках, казалось, более красивая, чем обычно, переводила взгляд то на него, то на меня.

— Так, так... задумчиво произнес Стремянник.— А я часто вспоминал тебя. Не веришь?

— Не верю.

— Ты вот толковал о своих делах, я в них не разбираюсь, но, если б пришлось выбирать, на чью стать сторону, не задумываясь, стал бы на твою.

— Откуда такое доверие?

— Ушел из института в пустоту, в неизвестность, просто оторвал себя и ушел. Не всякий бы сумел так сделать.

— Ты до сих пор этому удивляешься. Не пойму, что тут особенного?

— Особенное. Самому себя осудить, самому себе вынести приговор, привести его в исполнение... Я сейчас ставлю вторую самостоятельную картину. Старика Островского с его разгульными купчишками тащу на экран. До этого снимал на современном материале. Ты учился на художника, можешь себе представить, как приходится искать, даже отчаиваться, пока не найдешь то, что кажется тебе нужным. Кончил работу, и тут появились наставники, не особенно задумываясь, не страдая, не отчаиваясь, они начали кромсать: не так, невыразительно, перекроить, переделать, плевать нам на твои поиски, на бессонные ночи! Сами они не ломали, не резали, они заставляли ломать и резать автора. Вот в то время я и вспоминал тебя. Я пошел против себя, против своей совести, а ты бы не пошел, ты бы бросил работу, ушел из режиссеров в грузчики. Как мне тебя не вспоминать, когда ты был для меня постоянным укором! Теперь вот прячусь за Островского: авось этот матерый классик подопрет мой авторитет, уберезет от переделок. А мне хотелось бы показать, как сейчас живут люди, чему они радуются, над чем грустят. Хотелось бы помогать им, быть их советчиком, твоим советчиком, ее советчиком, советчиком какого-нибудь рабочего. Что мне купцы-кутилы, цыгане, страдающие любовницы прошлого века! Бегу во вчерашний день, вместо того чтобы вглядываться в будущее...

Он сидел, подперев висок кулаком, изучающе смотрел на меня. Я же приглядывался к нему, к его непривычным усам, к его незнакомой усталости в глазах. Встретились два человека, встретились на половине жизни. И у меня и у него еще мало сделано, и у меня и у него еще есть впереди время. Оно-то и беспокоит: как прожить? Одинаковое беспокойство у двух разных, ни в чем не похожих по биографии людей.

— Ты не можешь сказать, что получилось из ребят, с которыми я учился? — спросил я.

— А кто тебя интересует? Помнишь Сережку Ковалевича?

— Помню. С нашего курса.

— Работает у нас на студии. Толковый художник. Хотел бы, чтоб у меня работал. А Саблина помнишь?

— Не-ет, что-то не припомню.

— Он старше тебя, раньше пришел в институт. Ушел из кино, выставляется... У вас, кажется, учился такой Гавриловский?

— У нас. Вроде меня бездарь.

— То-то и оно, что не вроде тебя. Благополучно окончил институт...

— Благополучно?!

— Ну, что значит благополучно? Без высоких баллов, в хвосте, но окончил. В кино тоже не работает. Что-то рисует, в каких-то ходит организаторах, кого-то учит. Встретил как-то — нарядный, видный, отрастил солидную бороду, судит обо всем свысока.

— Считает, наверно, что жизнь удалась прекрасно.

— Наверно. А впрочем, кто знает... И такому, пожалуй, тоже постоянно хочется большего: больших заработков, большего авторитета...

Я жадно вслушивался в каждое слово Стремянника. Мое прошлое! Я не старик, в моем возрасте прошлому не отдаются целиком. Когда думают и говорят о том, как жил, что делал, то всегда взвешивают, что еще не сделано, как дальше жить. Эти полузабытые мною имена не только пожелтевшие страницы моей биографии, не просто любопытные окаменелости моей жизни. Нет, мне до болезненной страсти хочется знать, как складывалась жизнь у других. Быть может, в их счастье, в их удачах я смогу угадать свое собственное счастье, свои пока еще не пришедшие ко мне удачи. Но такая удача, как у Гавриловского, не вызывает у меня зависти. Пусть себе живет и преуспевает.

— У нас училась Эмма Барышева, — спросил я, — помнишь?

— Толстуха такая?

— Да. Как она? Талантливая девчонка.

— Как?.. Вот не скажу. Ничего не слышно о ней.

— О Гавриловском слышно, а о ней нет?

— Наверно, вышла замуж и...

— И?..

— Дети, суeta семейная — канула, случается и такое.

— Случается.

Почему-то тоскливо сжалось сердце. Что мне Эмма Барышева, не близкий человек, даже знакомы постольку-поскольку — приходилось стоять бок о бок за мольбертами, — а меня волнует ее судьба. Канула?.. Она забыла свой

этиод — туфли под койкой, а я его до сих пор помню: разношенные туфли, чуть покрытые пылью, поблескивающие в полутьме пряжками, будничные туфли — частица чьей-то простенькой жизни. Канула! Несправедливо!

— Поздно, — спохватился я. — Не пора ли нам, Валя, раскланяться с хозяином?

— Не держу, — согласился Стремяник. — Сегодня встал в семь утра, а завтра надо подниматься в шесть. Едем снимать катание на лодках с цыганами. Только выпьем на прощание. Вряд ли мы еще встретимся, Андрей. А жаль... За что бы нам выпить?

— Не будем оригинальничать, — ответил я, поднимая свой стакан, — выпьем за то, за что все пьют.

— За здоровье?

— Нет, за успехи.

— За успехи, за то святое время, в которое они произойдут. За твои успехи, Андрей! Жаль, что не встретимся, мы были бы хорошими товарищами... У тебя есть товарищи?

— Есть.

— Много?

— Один и еще несколько, не считая тех, которые продают,

— Один? Вот за этого одного я и выпью. — Стремяник повернулся к Вале. — Пью за вас.

— Выпейте за мое святое время, — подсказала она. — Я хочу, чтоб оно у меня было не хуже других.

— За ваши удачи. Пусть они придут как можно быстрее!

Мы выпили, простились и ушли.

В номере Валя опять сказала мне задумчиво:

— Все-таки я счастлива. Очень счастлива!.. Ты этого не поймешь.

Нет, я не понимал. Мне было жаль ее. Она счастлива сейчас, счастлива только минутой. В таком счастье признаются с отчаяния. Мы лишь отмахиваемся от того, что нас ждет.

Мы снова в поезде, снова сидим у окна, снова с прежней солидностью разворачивается перед нами земля: зеленые невыколосившиеся поля, мутная синева далеких ле-

сов, столбы, березки, колокольни, крыши, дороги. Только солнце перевалило за полдень, только суше выглядит зелень, нет той утренней свежести, которая была в нашу первую поездку.

Мы молчим, каждый думает об одном — о том, что поезд сделает пятиминутную остановку на маленькой станции, нам придется там сойти, придется ехать в Загарье. Мы даже не скрываем друг от друга своей подавленности, голова к голове глядим в окно: поля, дороги, шлагбаумы, крыши.

Почему бы нам не остаться еще на день-другой в городе, побыть вместе, продолжить, насколько можно, наше непрочное счастье? Нас никто не торопил, никто не требовал срываться с места, не выживал из обжитых номеров гостиницы. Но даже Валя, твердившая о том, что она счастлива, даже она с какой-то боязливой поспешностью стала вдруг собираться в дорогу.

Нам слишком хорошо было вдвоем, и это пугало, тяготило нас, в конце концов не стало сил выносить неверное счастье. Бежать от него, пусть в Загарье, но бежать! Велик белый свет, много в нем разных городов, сел, деревень, и дорога нам никуда не заказана. Но мы можем ехать только в Загарье, которое нам сейчас страшнее любой чужбины. Едем туда...

Мы ничего не решили, ничего не придумали, что делать, как поступить, — едем навстречу полной неизвестности. Но мы оба твердо знаем, что это не конец, что после этих дней мы не можем уже расстаться чужими друг другу, не можем уже быть и друзьями, какими мы были раньше. Что-то будет!

Стучат колеса, отмечая на рельсах стык за стыком, секунды за секундами, метр за метром ближе Загарье. Телеграфные столбы мимо окна, сверкающий белыми стволами березнячок, залитые солнцем просторы полей, влажная полутьма сльника. Стучат колеса...

У Вали серое, какое-то поблекшее лицо. Я сам чувствую, что оступел от беспокойных, тягостных, ненужных мыслей. Стараюсь думать о другом — о школе, о работе...

На вокзале перед отходом поезда я купил газету. На третьей странице я наткнулся на большую статью. Она называлась «Совершенствовать учебный процесс в школе», автор — П. Столбцов.

Тут же на вокзальной скамейке, среди чьих-то чужих узлов и чемоданов, прижавшись друг к другу, мы прочитали ее.

Нет, эта статья не походила на выступление Павла при обсуждении моего доклада. Начиналась она с высоких рассуждений о подрастающем поколении, о великих задачах воспитания. Дальше шли критические замечания о перегрузке школьников, о непродуктивности уроков. Об этой непродуктивности я, помнится, говорил Павлу, но как он старательно обкатал мои мысли, как постарался сгладить все острые углы! И только после такой подготовки начался разбор моего доклада: «затронуты принципиально верные положения», «сам факт поиска новых путей — явление положительное», но «далек от совершенства». Никаких резких выпадов по моему адресу, но и достоинства поставлены под вопросом, так себе — легкие шлепки и снисходительное поглаживание.

— Как тебе нравится? — спросил я Валю.

Она отобрала у меня газету, скомкала и выбросила в урну.

— Забудем об этом Столбцове, — сказала она.

Я согласился его забыть. Я даже на самом деле забыл его, хотя и знал, что по приезде в Загарье мне напомнят о нем, еще как напомнят! Но до того ли мне сейчас, есть заботы важнее.

Поезд подходил к нашей станции. Показалась рыжая водонапорная башня, появились станционные здания. Вот и сам вокзал, позади которого находится скверик, где я и Валя ждали поезда, откуда и началось наше путешествие, скверик с чахоточными деревцами и водопроводной колонкой на кирпичном фундаменте.

К поезду прибыли машины. Они ждут у самого перрона: два грузовика, почтовый «газик» и старая, потрепанная по районному бездорожью райкомовская «Победа». Возле нее, засунув руки в карманы, закусив папиросу, стоит Ващенко, вглядывается из-под полей шляпы в окна вагонов. Мы его заметили одновременно и переглянулись. Это был наш последний открытый взгляд свободных людей. Через минуту мы уже не имели права глядеть так друг на друга.

Он подошел к нашему вагону быстрым шагом, с выражением откровенной радости на лице. И в ответ на эту радость Валино лицо ответило спокойной, чуть снисходитель-

ной веселостью. С таким лицом она, наверное, привыкла его встречать из затяжных командировок. Он обнял ее и поцеловал, привычно, с родственной озабоченностью, как целует муж жену.

— Как съездила? Все ли в порядке?

— Потом расскажу. Едем. Устала.

— Здравствуйте, Андрей Васильевич. Как ваши дела? — Он глядел на меня своими маленькими, близко поставленными к переносице глазами. И глаза его были добрые, наивно-голубые, какие обычно бывают у детей и стариков.

Оттого, что я был глубоко виноват, чувствовал себя перед ним преступником, оттого, что он с откровенным дружелюбием глядел на меня, во мне вспыхнуло против него раздражение: что он строит из себя наивного, он, умный, опытный! Ему знакомы житейские каверзы. Лучше бы подозревал: не приходилось бы выносить тогда эту неприличную двусмысленность.

Я ответил ему сдержанно:

— Далеко не все благополучно.

— Осложнения какие-нибудь?.. Ну, без них не бывает.

Он еще ничего не знал, сегодняшняя областная газета со статьей Павла Столбцова прибыла сюда с нашим поездом. Ее сейчас отвезут в село, распределят на почте по адресам и лишь завтра утром разнесут по домам.

— Без осложнений не бывает, — повторил Ващенко.

А я, чтоб он не увидел моего неприветливого лица, поспешно нагнулся за чемоданом.

Меня посадили рядом с шофером, Ващенко и Валя уселись на заднем сиденье. Он имел право сидеть рядом с ней. Мы еще близко, я еще слышу ее голос, но мы уже расстались, она чужая и говорит сейчас чужим голосом.

— Наталью Павловну видела? — спрашивал Ващенко.

— Два раза заходила, — поспешно, без запинки отвечала она. — Никого не видела. К Тетюховым тоже не собралась зайти... Ходила в театр, в кино, была вот на обсуждении доклада Андрея Васильевича. Ты знаешь, кого я там встретила? Лещева!..

Валя боялась вопросов Ващенко, потому была излишне словоохотлива. Она лгала. Мне был неприятен ее оживленный голос, но осуждать ее я не мог. Как ей поступать? Если б мы что-то решили, если б знали, что нам делать.

Нет никаких решений, нет планов, единственный выход для нее, как это ни неприятно, как ни унижительно, — лгать. Она лжет и не стыдится передо мной.

Солнце опустилось. Впереди, над колючим лесом, куда поднималась пыльная дорога, на полнеба разлился зеленый закат. В этом прозрачно-зеленом разливе плавала Венера — крупная бледная звезда. Загарье близко, за лесом начнутся поля, за полями покажутся крыши первых домов.

Я до сих пор не верил, что прошлое можно вернуть. Оказывается, можно, по крайней мере на время.

Когда машина въехала в село, остановилась, я, захватив свой чемодан, простился.

— До свидания, Валентина Павловна.

Опять она для меня не Валя, а Валентина Павловна, опять «вы» в обращении. Все по-старому.

12

В школе нет занятий, поэтому вставал я поздно, не спеша завтракал, перекидывался за столом равнодушными фразами с Тоней, не спеша шел в школу.

Все стало для меня безразлично. Поражение на ученом совете — плевать, предательство Павла — о нем и не вспоминал, а выжидание Коковиной, ее молчание, не обещающее ничего хорошего, замыслы Василия Тихоновича, с которыми он носит с прежним упорством, то соболезнающее, то настороженное отношение учителей ко мне после газетной статьи — все к черту, ни о чем не хочу думать.

Я вспоминал. Вся моя жизнь теперь состояла из воспоминаний тех удивительных дней, которые я провел вместе с Валею. И чем мельче, чем незначительней события приходили на память, тем больше наслаждения они мне доставляли.

Болезненные наслаждения! Тоня за завтраком мне рассказывала, что младшие сыновья Акиндина Акиндиновича устроили на крыше сарая клетку для голубей. Наташка тоже лазает с ними, а крыша худая, долго ли провалиться... Она говорила, а я глядел на ее чужое, знакомое до тоскливого отупения круглое лицо с маленьким жестким ртом, а сам думал о том, как, набродившись по городу, мы уселись на скамейке. Возле нас ковырялись в песке дети.

Валя сидела, опираясь локтями на колени, выставив вперед плечи, веки у нее опущены, но глаза под светлыми ресницами живут, с затаенной улыбкой следят за играющими детьми. А лицо покойное, разглаженное, ни мысли на нем, ни желания — вся отдалась отдыху, ничего ей больше не надо, достаточно того, что есть: солнца, то скрывающегося, то прячущегося за облаками, легкого ветерка, неподвижности, моего тихого соседства. Я тогда мог взять ее за руку, почувствовать влажное тепло ее ладони, перебрать ее тонкие пальцы. Я не сделал этого. Теперь жалею...

А утро в гостинице, пустынный город, усталый свет фонарей, пение птиц в росяной зелени скверика... Мы не испытывали тогда радости, мы были подавлены, нас пугало будущее. И вот это будущее наступило — оно скучно, серо, безрадостно, но вовсе не страшно. Стоило тогда думать о нем, стоило портить счастливейшие минуты! Эх, если б вновь повторилось! Если б опять сидеть перед окном, смотреть на пустынный город, на непотушенные фонари, слушать птиц.

А после того как расстались с Лещевым... Смоченная дождем зелень, асфальт, отражающий огни фонарей, сияющие витрины, праздничная вереница прохожих... Валя мудрей меня, она быстрее почувствовала радость, первая признала ее: «Как я счастлива!» — и прислонилась плечом...

Я еще сомневался в этом, я не решался согласиться с нею. Теперь вспоминай, кусай кулаки — все, что случилось тогда, неповторимо, прежнее не вернется. Она прислонилась, теплая, доверчивая — сейчас я готов кричать от нежности.

Повернуть бы все обратно, повторить бы сызнова, если б возможно такое чудо — остаться в тех днях, видеть ее, слышать ее, быть рядом с нею.

Просто не верится, что она сейчас живет рядом. Десять минут ходьбы — и ее дом, ее лестница, ее дверь! Что стоит пойти туда, подняться по лестнице, открыть дверь и сказать: «Не могу больше! Нельзя жить! Нет сил терпеть эту муку!..» Десять минут самым вялым, самым медленным, самым неуверенным шагом до ее дверей. Рядом же! Не за тридевять земель!

Люблю! Но чего-то жду, не осмеливаюсь прийти к ней, сказать, нет, не просто сказать, а потребовать: «Идем со мной!» Потребовать так, чтоб не ослушалась. А Наташка,

а семья, а люди, а как глядеть потом в глаза Ващенкоу? То-то и оно, не хватает ни сил, ни решимости перешагнуть через все это.

Так прошло три бесконечных дня, три тяжелые ночи. Утром четвертого дня я направился, как всегда, в школу. По улице пропылила райкомовская «Победа». Я не успел заметить, сидит ли в ней Ващенко. Там мог сидеть и Кучин и другой райкомовский работник. Но мог и Ващенко... Машина выскочила на мост, обдала пылью бревенчатые перила и скрылась во Дворцах.

И у меня появилась решимость пойти к Вале, только сейчас, только не откладывая на другой раз.

С тяжело стучащим сердцем я поднялся по лестнице. Вместо страшных слов: «Не могу. Нельзя жить», — я спросил:

— Вы дома?

Она вышла из комнаты в выцветшем халате, непричесанная, с остановившимся взглядом. Она не бросилась мне навстречу, а стояла, положив руку на горло, и жадно смотрела.

— Вот... Решил зайти... Не мог...

Она опустилась на дощатый диванчик, стоявший в прихожей, я сел рядом с ней. Она припала к моему плечу и заплакала. Я стал гладить ее спутанные волосы, вздрагивающие плечи, гладил, что-то говорил, а сам еле сдерживался, чтобы не разрыдаться.

— Что же делать?

— Не знаю.

— Я кругом изолгалась... Я противна себе... Он начинает догадываться...

— Догадываться?... Может, это к лучшему?

— Он хочет уехать отсюда.

— А ты?... Ты хочешь уехать?

— Не знаю.

Она плакала, я гладил ей плечи. Ни на что не было ответа.

— Иди, — сказала она, освобождаясь из моих рук.

— Я посижу еще.

— Зачем? Так хуже.

— Я не могу уйти.

— Нет, иди. Если ты здесь останешься, будет походить на воровство. Я не хочу этого. Ты мне нужен не на день, не на вечер. Иди...

Я покорно ушел.

А она мне разве нужна на день, на вечер? Тоже на всю жизнь она нужна мне! Я теперь это твердо знаю. Нельзя ждать решения со стороны, надо самому решать.

Тоня тоже стала замечать, что после поездки в город я очень изменился. Возможно, ей даже кто-то из досужих осведомителей успел что-либо шепнуть на ухо. Она смутно догадывалась, но эта догадка была так страшна для нее, что она не решалась высказать ее вслух, только ко мне приглядывалась, иногда пробовала расспрашивать о городе.

— Как там? Весело было? Не один, чай, ездил, было с кем проводить время.

— Весело, — отвечал я скупо. — Ты видишь, какой я веселый оттуда приехал.

И она умолкала, у нее не было прямых доказательств. Мою угрюмость, мое нелюдимое настроение можно объяснить еще и провалом при обсуждении доклада, предательством Павла, его статьей в газете.

Я же пытался решить тяжелый вопрос: оставить мне Тоню, дочь, дом, уйти и начать новую жизнь? Валя ни словом, ни намеком не давала мне понять, что ждет от меня такого решения, но я знал: ждет, не может не ждать, не она мне, а я ей должен приказать, позвать ее.

Наташка... По утрам, как и прежде, возле моей подушки появляется ее милая рожица. Она всегда встает раньше меня. У нас с ней крепкая дружба. Я для нее всемогущий и всеумеющий, и, если у меня есть свободное время, а оно не часто случалось, для Наташки большой праздник. Летом в солнечные дни мы мастерили большого змея — две лучины крест-накрест, крепкая бумага и веревочный хвост с двумя пустыми катушками из-под ниток на конце. Этот змей поднимался выше крыши нашего дома, выше старой березы, выше всего в селе, даже выше колокольни старой церкви. Я передавал упругую, гудящую на ветру бечевку в слабенькие ручонки Наташки, приказывал крепко-накрепко держать и бежать бегом, сам бежал вместе с ней, вместе с ней смеялся и радовался, только что не визжал от восторга вместе с ней.

А в ненастные осенние дни мы с ней читали книги. Она знает всего четыре буквы, из которых складывается ее имя, книг же сама читать не умеет, зато умеет их внимательно слушать. Ох, эта милая сосредоточенность и углубленность на детском лице, а ее счастливый смех, когда выстроганный из полена Буратино бьет деревянными кулачками папу Карло по лысине!.. Мы еще умели с ней вдвоем искать на необитаемом острове спрятанные пиратами сокровища. Для этого нам не надо было уходить из дому, мы могли путешествовать, сидя за столом, склонив головы к большому листу бумаги. На этом листе моя рука рисовала контуры неизвестного всему миру острова с заливами, реками, озерами, болотами, скалами. Нас двое отважных путешественников, вооруженных ружьями и лодками. Мы плаваем по реке, на нас нападают крокодилы, мы стреляем диких кабанов, разводим костры (они помечаются на листе красным карандашом), жарим свинину. И, конечно, в конце концов мы находим пещеру, где стоят бочки с золотом и сундуки с драгоценными камнями. Мы радуемся и сожалеем. Радуемся, что наше путешествие так удачно окончилось, сожалеем, что оно все-таки окончилось.

Наташка! Гляжу ли на нее, просто ли вспоминаю — чувствую: нет сил уйти, нет смелости решиться.

Держит меня и непонятная жалость к Тоне. Я ее не люблю, мне тяжело на нее глядеть, и все-таки она мне не посторонний человек.

Держат даже стены дома. Теперь, когда задумываюсь, что придется расстаться с привычной, годами налаженной жизнью, невольно открываю для себя неприметные до сих пор удобства и прелести. Полки, заставленные книгами. Каждый гвоздь вбит в них с любовным расчетом. Помню, как бегал на промкомбинат, доставал морилку. Тридцатитомное сочинение Горького — первая крупная покупка из моих книг — было для меня праздником. Мой старый рабочий стол с лампой, накрытой вылинявшим абажуром, — мой верный друг, мой молчаливый единомышленник! Сколько вечеров проведено за ним, сколько исписано на нем бумаги, сколько передумано и пережито!..

Но нет минуты, чтобы я не вспоминал о Вале. Жить и постоянно травить себя мыслями о ней — какая же это жизнь? Не могу не слышать ее голоса, не могу не видеть ее лица. Не могу!

Никогда прежде я не ненавидел Тоню. Без всякого насилия над собой я терпел ее общество. Теперь же я ее ненавижу за широкие бедра, туго обтянутые юбкой, за покато опущенные плечи, за все ее тело со знакомыми, надоевшими щедротами, гибкое, сильное, с несоразмерно маленькой головой. Я ненавидел ее за то, что она живет рядом со мною, что нисколько не похожа на ту женщину, которую люблю. Я сдерживаюсь, глубоко прячу свою ненависть, притворяюсь, нет, не любящим — где уж! — а равнодушным. Жить и постоянно скрывать свою ненависть невозможно. Рано или поздно она прорвется. Я должен решиться. Должен! Но как?

Не люблю! Ненавижу! И жалею!.. Как быть?

В самый разгар таких сомнений пришел ко мне Василий Горбылев. Он, как обычно, суров, на его еще больше похудевшем и почерневшем от летнего солнца горбоносом лице выражение упрямой решительности, черные в маслянистой влаге глаза из-под жестких, колючих ресниц глядят на меня требовательно.

Он подсел к столу, положил на белую скатерть темную мослаковатую руку, постучал крепкими ногтями, начал без предисловий:

— Только что от Коковиной... — Сделал значительную паузу, настойчиво вглядываясь мне в самые зрачки, ожидая, что я, как бывало раньше, насторожусь, буду слушать, боясь пропустить слово.

— Так вот, был у нас с этой милой дамой разговор, подымались друг перед другом на дыбки. Обвиняет тебя кругом: в интриганстве против Степана Артемовича, в разваливании школьного коллектива, в прожектерстве...

Василий Тихонович снова замолчал, выжидающе вглядываясь. А я молчал и про себя досадовал: «Эк ведь уставился! Обвиняют в интриганстве, в разваливании коллектива. Да хотя бы в убийстве — пусть себе тешатся! У меня душа не резиновый пузырь — сколько ни суй, растягивается и вмещает. Хватит! Сыт! Того, что есть, переварить не сумею. А Василию не расскажешь. Он весь в заботах — усох так, что нос да глаза остались. Разве поймет?.. Я молчал.

— Не позднее как завтра, в пять часов, — с холодной сдержанностью, по которой я чувствовал — накапливает злость на мое равнодушие, продолжал Василий Тихонович, — собирает Коковина совещание. Цель его — добить

тебя, смешать с грязью, со временем освободить из школы. Коковина напугана, что в области ее будут упрекать за Степана Артемовича, за потворство тебе. Ей, как всегда, для собственного спасения нужна жертва. В прошлый раз, спасая себя, она пожертвовала Степаном Артемовичем, теперь жертвой будешь ты. Слушаешь меня или мечтаешь? Жертвоприношение завтра намечается.

— Ну, слышу. Надоело. Сбежать бы...

— Куда...

— Куда глаза глядят.

— Ты болен?

— Нет, здоров.

— Крылышки с отчаянья опустил... Рано. Нужно драться. Нужно перед всеми вывести Коковину на чистую воду. Учителя должны поверить тебе. Тебе, никому другому! Сейчас самый ответственный момент. Смолчишь, руки опустишь — ставь крест на всем деле. Разуверившись в тебе, учителя перестанут и мне верить. Полетит все к чертям под хвост. Запомни: завтра в пять! К этому времени, надеюсь, у тебя настроение изменится.

Он встал, долговязый, узкоплечий, с кадыкастой шеей и черным, ссохшимся лицом, на котором торчал жесткий нос. С подозрительным вниманием последний раз окинул меня взглядом, шагнул к двери, но тут же круто повернулся, снова прочно сел на стул.

— Слушай,— произнес он сурово,— мы с тобой вроде никогда не признавались друг дружке в любви и дружбе...

— А разве нужно?

— Видно, было не нужно, раз молчали. Теперь нужно. Ты доверяешь мне или нет?

— Ну, доверяю. А что такое?

— Без «ну». Могу я тебя продать, как продал тот твой дружок, которому ты в любви объяснялся? Не отвечай, не сомневаюсь, что веришь мне.

— Что это тебя на объяснения кинуло?

— Потому что ты таишься передо мной. Потому что ты мне не говоришь: что случилось?

— Ничего. Кроме того, что тебе известно.

— Нет, не все известно. Скажи: это верно, что про тебя говорят по селу?

— Мне не докладывают, что про меня говорят.

— Ты с женой Ващенкова какие-то амуры завел. Это правда?

Я поднялся, встал перед Василием Тихоновичем грудь в грудь, спросил тихо:

— Кто говорит?

— Пальцем в таких случаях не указывают.

— Так вот, если опять услышишь, то пришли ко мне такого шептуна. Пусть попробует повторить. И сам знай, что у всякого есть в душе такие уголки, куда не следует влезать чужими руками.

Василий Тихонович постоял, подергивая скулой, повернулся, в дверях бросил:

— Завтра в пять...

Дверь захлопнулась за ним.

14

Да, трудно, да, тяжело, не под силу найти решение, но разве это дает право подводить других? Дело, которому ты решил служить, перестало быть твоим личным делом.

Подвести Василия Тихоновича, подвести учителей, которые начинают нам верить, учеников?..

Утром я сел за стол. Сегодня в пять часов вечера совещание, Коковина готовится нападать. Я должен ответить ей.

Она считает мое дело прожектерством. Хорошо! Но вы, товарищ Коковина, признаете, что перед нашей школой стоит много нерешенных проблем, или же вы считаете, что во всем гладь и божья благодать, не о чем беспокоиться, не о чем задумываться? Нет, вы признаете, что есть еще нерешенные проблемы? Тогда давайте решать. Мои поиски вам не нравятся, мой план вам кажется прожектерским? Предложите другой. Вы не против, чтобы искать, но вам нужны поиски без ошибок, чтобы истина падала с неба в готовом виде. Вы страшитесь заблуждений. Вы даже не можете указать, в чем мы заблуждаемся. Вы не хотите рисковать. Пусть проблемы останутся проблемами, пусть в жизни будут изъяны, лишь бы соблюдалась видимость благополучия!..

Мне пришлось бороться, а вы эту борьбу подаете как интриганство.

Вы обвиняете меня в том, что я разваливаю коллектив учителей. А я рад, что старый коллектив дал трещину, что часть учителей стала на мою сторону.

Я писал, забыв на время даже Валю. Я чувствовал в себе прилив энергии, ощущал какое-то пьянящее отчаяние, верил, что из предстоящего сражения выйду победителем. На поведение Коковиной не трудно открыть глаза людям!

Я уже заканчивал наброски своего выступления, когда в комнату просунула голову бабка Настасья:

— Тебе тут письмо. На-кося.

Она протянула мне конверт и скрылась. Мой адрес, написанный мелким, несколько растрепанным почерком, обратного адреса нет. Я никогда не переписывался с Валей, не знал даже ее почерка, но сразу же понял: письмо от нее.

Листок бумаги, покрытый все тем же мелким, нервным, растрепанным почерком. Валя писала:

«Андрюша, уезжаю. Это уже решено, этому нельзя помешать! У меня никого больше нет, кроме тебя. Как великому бы тебе служила, воистину беззаветно, без всякой к себе жалости. Это, наверное, единственное, на что я способна. Отвернись от тебя друзья, останься без близких, я бы сидела ночи напролет, когда ты болен, зарабатывала бы на хлеб, когда голоден, не смогла б заработать — воровала бы. Что б ни случилось, была бы с тобой счастлива.

И я отказываюсь от тебя!

Петра переводят в Никольничи. Я все ему сказала, все! Люблю! Не поеду! Уж лучше бы закричал, лучше бы ударил, нет, он только произнес: «Теперь — конец».

Не могу убивать человека. Жалость? Да! Но есть что-то еще, сильнее жалости. Чем счастливее все у меня устроится, тем больше начну думать о нем. Вечное мучение, вечные угрызения — не могу, не могу!..

Теперь — конец...

Ты еще близко. Выскочить, добежать... Никогда ты так близко не будешь. Исчезнешь. И помешать нельзя.

Прости. Нет сил... В а л я».

Внизу уже не чернилами, а карандашом, который прорывал бумагу, поспешно, воровски брошены неразборчивые слова:

«Выезжаем второго, к вечернему, в четыре...»

Сегодня второе июля. Письмо написано позавчера. Больше суток шло оно десятиминутное расстояние от Валиного дома до моего. Я взглянул на часы: без четверти два. Она еще здесь. Ни боли, ни отчаянья. Я бессмысленно верю в какое-то чудо.

Во дворе ее дома стоят два грузовика. Один уже на-

гружен вещами, шоферы набрасывают брезент, стегивают веревками груз. Несколько зевак торчат на улице, глядят, как собираются в дорогу секретарь райкома. Я остановился неподдающему от них.

Пыльный булыжник на дороге. Напротив дом началь-ника почты Кирюхина обнесен новым, кричаще желтым забором. За железной крышей этого дома вало склонялся колодезный журавель. Старая черемуха с сухой верхуш-кой раскинула рябью тень на дощатом тротуаре. Знако-мая, как надоевшее лицо соседа, лица. Такой я ее видел вчера, позавчера, месяц назад, год.. Я эту улицу буду ви-деть завтра, послезавтра, через год, быть может, через де-сять лет. Буду видеть и вспоминать, что здесь жила Валя.

Этот пыльный булыжник, скрипящий колодезный жу-равель, черемуха, забор, который потемнеет со временем. Что бы ни случилось, какими бы подарками ни осыпало меня будущее, я уже не стану счастливым. Я теперь согла-сен на все, мне теперь надо мало. Пусть бы шло по-преж-нему, изредка бы встречать ее, знать, что она не просто мое воображение, она существует на свете, может пройти по этой улице, ступить ногами по этому булыжнику.

Праздные зеваки, прислонившись к забору, лениво пе-ребрасываются замечаниями:

— Не дай бог так с места срываться! Маэта.

— Это нам, грешным, маэта. А тут тебе и машины под порог подгонят, и место в вагоне оставят: езжай себе спокойненько.

Во двор из дому выйдет Ващенко, озабоченно ссутло-ваты, в надынутой на глаза соломенной шляпе, с какой-то туго набитой авоськой в руках, которую он сунул в ка-бину машины. Он увидит меня, постоял, опустив руки, и не спеша направится навстречу, вглядываясь из-под шля-пы мне в лицо. Я не двигаюсь, жду.

— Андрей Васильевич, поднимитесь наверх.

Я не пошевелился, ничего не ответил.

— Поднимитесь наверх. Вас ждет Валентина Павловна.

Я неуверенным шагом направился к двери.

Пока я не скрылся в дверях, затылком и спиной чув-ствовал на себе взгляд Ващенко. Он не пошел за мной следом, остался возле машины.

За моей спиной патружают машины. В последний раз шатаю по этим слупенькам. Полумрак, обычный лестнично-чердачный запах, неуклюжие перила, отполированные руками. Неужели конец? Все еще надеюсь на какое-то чудо. Надеюсь...

Дверь распахнута настезь.

Валя снимала со стены знакомый пейзаж ельничка на болоте. Она не слышала, как в вошел. Ее движения были задумчивы, неторопливы. Сняла с гвоздя картину, взяла с подоконника тряпку, старательно вытерла пыль, протерла рука, чтоб положить тряпку обратно, и... застыла у раскрытого окна.

А из окна слышатся голоса, подвигивание стартера, сердитая шоферская ругань. Она стояла и смотрела...

Разгромленная комната, пустые книжные полки, пятна невыгоревших обоев, обшитые мешковинами тюки, рваные газеты на полу, она, неподвижно застывшая у окна. И все-таки в не могу верить, что конец. В глубине души продолжаю надеяться на чудо.

Картина в раме со стуком упала на пол.

Валя обернулась. Все! Чудо не случится! Мне переда-лось ее выражение: на лбу, на щеках судорожно натянулась кожа, собственное лицо стало непонятным, чужим. Она не двинулась от окна, на ее помертвело застывшем лице с напряженно опущенными глазами рта широко открыты с сухим, торчком блеском глаза.

Она первая пошевелилась, старательно обходя картину, валившуюся на полу, двинулась ко мне. На полпути опустилась на ящик, сжала кулаками виски...

В глядел сверху на ее опущенную голову, выбившиеся из пучка волосы, прижатые к вискам стиснутые кулаки и молчал. В мол лишь тупо осознавать: она плачет, ничем не могу ей помочь, не могу вместе с ней плакать.

А из раскрытого окна долетал попявующий звук стартера. Никаких мыслей в голове, кроме самых простеньких, ненужных, отмечающих события: плачет Валя, одна из машин во дворе не заводится.

Звук стартера снова донеслась сердитая ругань. Она отняла от головы руки, поправила сбившуюся юбку на коленях, глядя в пол, глухо, запинаясь, произнесла:

— Андрияша... Ты бы воевал на моем месте?.. Ты бы защищал себя, скажи?..

И эти виноватые, запинаящиеся слова вывели меня из оцепенения. Она не уверена в своей правоте, она ждет ответа. На минуту появилось волчье желание: а что, если потребовать от нее — перемени решение, не уезжай, останься? Что, если заставить ее защищать свое право на счастье? Свое и мое! Такого случая больше не представится!

А Ващенко?.. Он послал меня сюда, а сам ходит сейчас под окнами. Беспомощный в эту минуту человек — убрать его с дороги? А Валя?.. Я перед ней хочу быть всегда и во всем чистым. Хочу, чтоб она мной гордилась. Она, возможно, даже согласится сейчас: убита, в смятении, любит! Сейчас согласится, но пройдет время — оглянется, вспомнит, что без жалости переехали человека, начнутся угрызения... Что может быть гаже счастья, устроенного на чужой беде?

Я молчал. Валя подняла голову — просительные, влажно блестящие глаза, обмякшее после слез лицо.

— Так надо, Андрюша, — сказала она тихо, и по интонации нельзя было понять, оправдывается она или спрашивает, ожидая моей поддержки.

И я молчал.

— Пиши мне...

— Писать? А может, не надо?.. Зачем напоминать, зачем травить друг друга?..

— Андрюша, милый! Ты последнее у меня отнимаешь!

— Уже все отнято...

Лицо ее передернулось, губы задрожали.

— Как ты не понимаешь?! Как ты не догадываешься?!

В это время громко застучали по лестнице шаги, мужской голос басовито спросил:

— Можно?

Несколько человек — шоферы и комхозовские рабочие, — переминаясь, нерешительно поглядывая на нас, вошли в комнату.

— Извиняемся. Вещички остальные забрать...

Валя встала с ящика.

Стук, шум передвигаемых на полу тюков, голоса: «Подхватывай с того конца!.. Придержи!.. Правей, правей!..» Нас оттеснили в угол. Валя безучастно следила, как проталкивают в дверь объемистые тюки.

Вытолкнули последний ящик. В комнате стало просторно, вызывающе голо, сильнее били в глаза невыгоревшие пятна обоев на стенах, захламленность пола.

Шум голосов, скрип, стук раздавались уже на лестнице.

Валя нервно передернула плечами:

— Закрой дверь.

Я плотно прикрыл дверь в прихожую, вернулся к ней.

— Валя,— заговорил я,— раз уж ничего нельзя сделать, раз уж так вышло... Надо отрубать. Каждое письмо и для тебя и для меня — страдание. Валя!..— Я старался заглянуть в ее опущенное лицо.— Родная, милая, что нам еще делать, что делать? Решили так... Что ж... Как нелепо!..

В дверь раздался стук.

— О господи! — Валя мученически сморщилась.

Вошел Ващенко, уставился в пол, произнес:

— Прошу простить. На станции могут быть осложнения с вещами. Валя, я сейчас уеду... распоряджусь там... Через два часа за тобой подадут легковую...

— Нет! — резко перебила Валя.— Поеду с тобой. Через пять минут я спущусь вниз.

Ващенко, глядя под ноги, помялся, хотел, видно, что-то сказать, но не сказал, повернулся.

И едва дверь за ним прикрылась, Валя бросилась ко мне, схватила руками за плечи, совсем рядом заблестели ее глаза.

— Андрюша! Мне нужно знать, что ты помнишь обо мне, ты думаешь, хочу даже, чтоб ты любил! Хочу! Все может случиться! Сейчас ничего не могу, а потом... Вдруг да повернется, вдруг да он поймет?.. Я надеюсь! На невозможное надеюсь! Других надежд нет... Не отнимай этого!

В эту минуту я услышал за закрытыми дверями на лестнице медленные и тяжелые шаги. Ващенко, должно быть, задержался в прихожей, слышал слова Вали.

Я обнял Валу, она до боли стиснула мне шею. Ее щека была мокрой и горячей.

Ветер ворвался в окно, прошелестел газетой на полу, во дворе вдруг взревел мотор, взревел и, словно испугавшись, заглох. И в комнате и во дворе наступила тишина. Валя разжала руки.

— Мне пора...

Она, избегая встретиться со мной взглядом, стала при-

водить себя в порядок. Последний раз я наблюдал за ней. Родные, знакомые мне руки, ширококостные в запястье и узкие, хрупкие в кистях, наклон шеи, волосы, которые она поправляла сейчас, — все, все знакомо и дорого! Неужели в последний раз?..

Медленно, бок о бок, касаясь локтями, мы спускались ступенька за ступенькой по лестнице.

А во дворе в это время происходило что-то необыкновенное. Уже нагруженная, увязанная, укрытая брезентом машина снова разгружалась. Вокруг нее, сутулясь больше обычного, ходил Ващенко. Часть вещей была снята с кузова и лежала на траве.

Валя остановилась, ухватила за мой локоть.

Ващенко, высокий, сгорбленный, с устало качающимися у колен тяжелыми руками, медленно подошел к нам. Глядя прямо в лицо Вале, негромко, чтоб только мы одни слышали, но твердо произнес:

— Валя, ты остаешься. Я так хочу.

Валя прижималась к моему локтю. Возле машины возились шоферы, кидали на нас пытливые взгляды, с улицы наблюдали любопытные.

— Тут я вещи снял... Там и мое... — Запавшими глазами он угрюмо и спокойно глядел на Валу.

— Что это? — слабо спросила она.

— Валя, я все знаю. У нас уже ничего быть не может. Будешь ждать разрыва. Иди домой. Иди... — Ващенко повернулся ко мне: — Андрей Васильевич, с вами я хотел бы поговорить наедине. Идемте!

Я отстранил от себя Валу.

— Вертухов! — крикнул Ващенко одному из шоферов. — Увязывай оставшиеся вещи — и на станцию. Приеду к поезду.

Ващенко медлительным, тяжелым шагом направился со двора. Я, глядя в сутуловатую, с выступающими лопатками спину, шел послушно за ним.

В нашей чайной, кроме общего зала с буфетной стойкой, двумя рядами столов, неизменными фикусами в деревянных кадучках, была еще маленькая комнатка с одним столом — на всякий случай, для особых гостей.

В эту комнату и привел меня Ващенко. Сразу же, поскрипывая протезом, появился сам Трофим Коптелов, бывший разведчик, вернувшийся с фронта без ноги и с набором орденов, теперь заведующий чайной.

— Петр Петрович...

— Организуй нам чего-нибудь,— попросил Ващенко,— только побыстрей.

Взгляд Трофима Коптелова стал проникновенно пытливым. Он неуверенно помялся, но уточнять просьбу не решился, молча повернулся и скрылся за дверь.

Ващенко сидел, облокотившись на стол, подперев голову руками, молчал. Я глядел на его большой, покрытый морщинами лоб, крупный мясистый нос, опущенные веки. Этот человек ничего не сделал мне плохого. Почему людям так скупно отпускается счастье? Почему непременно приходится переезжать чью-то судьбу?

Девушка-официантка принесла накрытый салфеткой поднос, и на столе появились стаканы, пол-литра водки, сыр, холодное мясо. Загадочное «чего-нибудь» прозорливый Трофим Коптелов понял по-своему.

Девушка ушла, старательно прикрыв за собой дверь.

— Что ж...— Ващенко разлил по стаканам водку.— Прошу, ежели желаете.— По-прежнему не глядя на меня, спросил: — Понимаете, что вы сейчас сделали?

— Понимаю,— ответил я.

Снова молчанье. Ващенко разглядывал налитые стаканы.

— Не трудно понять... Я не сентиментальный человек, немало видел, немало пережил, могу при нужде быть и жестоким. Уж я бы сумел оттолкнуть вас в сторону. Да, оттолкнуть, без всякой жалости! И что вас жалеть? Вы еще молоды, вы оправитесь. А скажем, и не оправитесь... Вы мне чужой. Но Валя... Я ее просил спасти меня, не отнимать последнее. Да, просил! Не часто прошу. Она не из тех, кто ради собственного благополучия без угрызания совести затопчет другого. Согласилась, не отказала. А я решил принять эту жертву. Не легко было принять. Какое я имею право спасти себя ее несчастьем! Ее!.. Того человека, которого больше всего люблю. Больше себя...

Он глядел на меня своими запавшими голубыми глазами, глазами больного ребенка, которому непонятно почему приходится выносить страдания.

— Вы...— вглядывался он в меня.— Неужели вы такой, какой ей нужен? Ой ли?! Может, она ошибается? Она мечтатель, в каком-то роде не от мира сего, от нашего практического, здорового, трезвого, большей частью не поэтического, а прозаического мира. Впрочем, любой мир в любые времена был прозаичен. Ей же нужен человек, который бы прозу жизни перекладывал на стихи. Тогда она станет и другом, и женой, и силой, толкающей вперед. Вы тот человек? Не верю! Ошибается. Может, опомнится, уйдет от вас. Хотя она и во мне ошиблась, а протянула же со мной почти пятнадцать лет. Если столько и с вами протянет, то ей будет под пятьдесят. Поздно тогда уходить... Что ж, живите...— Ващенко тяжело замолчал, разглядывал нетронутые стаканы с водкой и, когда молчание стало невыносимым, повторил: — Живите счастливо. Не подумайте, что красуюсь. Впрочем, что бы вы ни подумали, для меня не так уж важно.

Впавшие виски, тяжело нависший нос, глаза, старательно прячущие от меня взгляд, складка крепко сжатого рта, судорожно напряженная... Пытается и не может спрятать боль. Я не дерево, я живой человек, не могу не отвечать на боль болью. Складка рта, дрожащая от напряжения... Жалость, стыд, чувство вины, нет сил — жжет, хоть кричи!..

Стоят непочатые стаканы с водкой. Протянуть бы руку, опрокинуть залпом, оглушить мозг, остудить кровь. Но Ващенко не прилагивается к своему стакану.

— Все-таки жалею, что прощаться вас допустил. Не допусти, уехал бы с Валею. А там, кто знает, как бы еще получилось.

— Пришел бы провожать,— сказал я.

— Даже если б я стал поперек дороги?

Я промолчал.

Ващенко поднял на меня глаза и секунду, показавшуюся мне бесконечной, безжалостно вглядывался. И по всей вероятности, он понял, что я испытываю, потому что с хмурой поспешностью отвернулся, заговорил:

— Выпейте свою водку... И пойдем... Мне пора убираться, вам утрясать свои дела... Смотрите, чтоб досужие сплетни не слишком-то ее пачкали. Сумеете ли защитить?.. Кучин тут за меня остается. Он провожать меня будет, я ему все скажу. Скажу, чтоб вам помогал, чем может.

— Спасибо.

— Да, что я еще хотел сказать?..— Он потер лоб ладонью.— Наверное, думаете: «Позвал, уединился, к чему такая многозначительность?» Я и сам не понимаю: зачем этот разговор? Без него все понятно. Но не мог... молча уехать. Передайте Вале, чтоб она за меня не боялась: в омут не брошусь, травиться не стану, алкоголиком тоже не сделаюсь. Буду жить, как сумею, буду ей письма писать, к себе буду ее звать, буду надеяться... А уж если не оправдаются надежды, для разных там разводов и формальностей, скажите, всегда к ее услугам.

Он на минуту смолк, в углах сжатого рта снова появилась напряженно дрожащая складка, под правым глазом дернулся живчик. Я отвернулся, чтоб не видеть его. Я боялся, что не выдержу, попытаюсь что-то сделать, а сделать ничего нельзя. Ничего!.. Кроме ненужных и постыдных глупостей.

— Берегите Валю...— выдавил он из себя.

Не поднимая на него глаз, я отвернулся к стакану, залпом, не чувствуя вкуса водки, выпил.

Ващенко встал, поднялся и я. Он стоял передо мной, выставив вперед изрезанный морщинами большой лоб, со свисающими руками, внешне спокойный, сумрачный, решительный.

— Еще одно. Когда вы были в городе, видел ли кто вас из знакомых?

— Лещев видел.

— Не то. Из загарьевцев кто-нибудь видел?

— Вроде нет.

— Должно быть, кто-то видел. В обком на вас чья-то досужая рука анонимку написала. Не точно это, но догадываюсь. Очень скоропалительно решили меня перебросить. Боятся за авторитет, спасают меня. До сих пор на мои просьбы приходили только отказы. Имейте это в виду. Вале не говорите. Незачем. Берегите ее...

По заполненному людьми залу Ващенко прошел твердой поступью, с непроницаемо-спокойным лицом. Возле крыльца чайной его ждала «Победа». Шофер при его появлении зашевелился за рулем.

Ващенко протянул мне руку:

— Прощайте.

Я пожал ее:

— Прощайте, Петр Петрович.

Во всех окнах чайной виднелись лица.

Ващенко сел рядом с шофером, уткнул подбородок в грудь, приказал:

— Побыстрее к поезду.

Я стоял, пока машина не свернула за угол.

17

Валя сидела одна в комнате, снова беспорядочно заваленной нераспакованными вещами. Она поднялась мне навстречу:

— Уехал?

— Уехал.

Она снова опустилась на ящик, взгляд ее был рассеянный, руки беспокойно двигались, то поправляли юбку, то ощупывали шершавые доски ящика, то трогали сумочку на коленях, и все это при отсутствующем, рассеянном взгляде.

Я почувствовал, что она не просто жалеет его, а она любит его, любит, пожалуй, в эту минуту больше, чем меня. И я прощал ей это, я понимал ее, я сам был подавлен, уничтожен поступком Ващенко, признавал его превосходство над собой.

— Что мы будем делать? — спросила она безучастно.

— Будем устраиваться. Завтра будем подыскивать себе место для жилья. Нам же нельзя здесь оставаться. Это его дом, здесь станет жить другой секретарь райкома.

— Это его дом, — повторила она.

— А сейчас я пойду.

Она подняла на меня глаза.

— Туда?

— Да.

Она устало кивнула головой: «Иди».

Я вышел.

Сказать? Все?.. Вот она, катастрофа. Мы ее предчувствовали, перед ней содрогались. Вот она разворачивается полным ходом. Она беспощадна, заставляет быть беспощадным и меня. Только что проводили на станцию человека, хорошего человека, которого я обрек на одиночество. Жалость и помощь не могут теперь исходить от меня, я несу только крушение, только ломку. Я сейчас иду, чтоб разрушить еще одну жизнь, и даже не одну, а две жизни.

Я был опорным столбом своего дома. Тоня лишь занималась тем, что вокруг меня лепила гнездо, ежеминутно, ежечасно надстраивала; и делала она все это любовно, вкладывала все силы, какие у нее были. Я уйду, рухнет опорный столб. Что ей останется? Работа? Так она не увлечена ею, она для нее была только лишней подпоркой к дому. Дочь? Так и дочь для нее лучшее украшение дома, его гордость. В представлении Тони дочь станет теперь сиротой, вместе с крушением дома рухнет в глазах Тони и судьба дочери. Трагедия Тони нисколько не меньше, чем трагедия Ващенкова. Тоня наверняка менее мужественна, потому и катастрофа покажется ей еще более ужасной.

Но что же делать? Нельзя обойти Тоню. Я и здесь не смогу быть жалостливым, не смогу ничем помочь. Я разрушитель, я иду в свой дом и несу разрушение. Нет большего несчастья, чем сознательно отнимать счастье у других.

А Наташка?.. По утрам возле моей подушки — ее розовая рожица и изучающие глаза. Никогда этого не будет! Никогда больше я не услышу ее восторженный выкрик: «Мой папа!» Что она подумает о своем отце? Жить без Наташки, видеться изредка, стыдливо приносить подарки, смотреть ей в глаза... Дочь моя! Что я делаю? Ухожу от тебя! Предаю!

Нельзя думать об этом! Повернуть все по-старому невозможно. Думай о том, что Наташка еще ребенок, она не сумеет понять всего, она перенесет разрушение легче, чем Тоня. В этом ее счастье. И мое. Я должен вспоминать о Наташке только так! Всею силой воли, на какую способен, должен заставить себя забыть на время ее глаза, ее милое изучающее выражение по утрам, ее любовь ко мне. Забыть... На какое-то время, не навсегда. Навсегда не забуду.

Настасья время от времени уходила в деревню к родне, часто забирала с собой и Наташку. И сейчас не было дома ни Настасьи, ни Наташки. Не было дома и Тони.

Я облегченно вздохнул. На несколько минут, на полчаса катастрофа откладывается. Могу оглядеться, могу обдумать.

А стены дома встретили меня обжитым покоем. Чистый половичок у дверей, у стола бахромой скатерти в безмятежном одиночестве играет котенок, в углу разбросаны Наташкины игрушки, целлулоидная кукла с наивной до-

верчивостью глядит разрисованными глазами. Тревога пока еще не вошла в эти стены, здесь все как было.

Я прошел в свою комнату. На письменном столе разбросаны бумаги. Это мое выступление, которое я писал для совещания, моя защитная речь перед Коковиной. Неужели не дальше как несколько часов тому назад я писал это, писал взволнованно, возмущался Коковиной, верил в свое святое возмущение! Это было всего несколько часов тому назад!

Среди моих бумаг лежит листок, на нем что-то написано крупным, аккуратным почерком. Что это? Я взял в руки листок.

«Андрей Васильевич,— прочитал я.— Как честный человек, я не хочу действовать исподтишка. На сегодняшнем совещании я выступаю против Вас. Это мой долг. На опыте своей работы я убедился, что Вы глубоко заблуждаетесь. Хотел перед совещанием Вас видеть и объяснить.

Неизменно Вас уважающий *Анатолий Пояров*».

Здесь был Анатолий Акиндинович. Он выступает сегодня на совещании. «Как честный человек...» Честный? Мне не приходилось ни убеждаться, ни разуверяться в этом. Но в том, что он непробиваемо глуп, нет для меня сомнения. Он приходил сюда доказывать, что я заблуждаюсь, только потому, что у него не получилось. Понятно, этого Анатолия Акиндиновича вытащила Коковина, он для нее та дубинка, с помощью которой можно усердно бить меня. У него не получилось. Разве это не доказательство, что я прожектерствую, что из моих потуг ничего толкового не выйдет!

Я взглянул на часы: без десяти минут семь. Совещание уже началось.

Без десяти минут семь на моих часах. И вся окружающая меня жизнь как бы развернулась передо мной, я ее увидел объемной.

Без десяти семь. Ващенко сейчас ходит возле железнодорожного полотна, ждет поезд. Невеселые у него мысли...

Валя сейчас тоже думает об одиноком Ващенкове, ожидающем поезда. И ее мысли такие же невеселые...

Без десяти семь. Идет совещание. Быть может, выступает Коковина, говорит обо мне, упрекает меня за недисциплинированность, за партизанщину, как особое доказа-

тельство выставляет мое отсутствие на этом совещании. А возможно, выступает Анатолий Акиндинович. Кичливо рассуждает о том, как он взялся проверять на практике и у него ничего не получилось. Он не может ошибаться, могут ошибаться только другие. Я всегда чувствовал, что его глупая активность сыграет со мной злую шутку. Впрочем, плевать!.. Василий Тихонович сейчас, верно, глядит на свои часы: без десяти семь, совещание идет, а меня нет. Василий Тихонович мысленно обкладывает меня всяческими ругательствами. Ему не плевать, он не хочет поражения...

Без десяти семь. Я стою у своего стола и жду Тоню. И то, что она вот-вот появится, для меня сейчас самое важное, самое значительное, значительнее всех Коковихных, Анатолиев Акиндиновичей и ругательств Василия Тихоновича.

Тоня о чем-то догадывается, что-то подозревает, но не ждет удара. Легко ли вдруг, с маху обрушить: «Ухожу!» Какой бы она для меня ни была, как бы к ней я ни относился, но живая! Живая! Но что делать? Ващенко вот-вот сядет в поезд. Валя одна, она ждет, катастрофа разразилась, не в моих силах ее приостановить. Жду Тоню, чувствую себя преступником.

Надо взять какие-то вещи, самые необходимые, те, что никогда не пригодятся Тоне. На стене висит ружье, оно первое бросилось мне в глаза, оно-то Тоне никогда не понадобится. Но и мне оно сейчас не нужно. Надо взять пару белья, зубную щетку. Мыло можно не брать — найдется у Вали.

Я прошел в кладовую, достал пыльный чемодан.

И тут появилась Тоня. Она сделала крутую дугу по комнате, остановилась перед открытым чемоданом, глаза с зеленоватым отливом уставились на меня, на лбу вздулась вена. Я понял, что Тоня, переступая порог, уже что-то знала, о чем-то была осведомлена.

Она стояла в легком, по-летнему веселом цветастом платье, выставив вперед грудь, откинув назад маленькую, гладко причесанную голову, напряженно округлив глаза. Между нами лежал открытый чемодан.

— Куда собираешься? — спросила она сквозь зубы.

— Ухожу, — ответил я.

С этих слов началось нечто унижительное и безобразное, о чем я всегда буду вспоминать со стыдом.

И это продолжалось долго, вплоть до сумерек.

Открывались ящики комодов, на пол, на мой раскрытый чемодан летело чистое белье, сорочки, наволочки, брюки, костюмы. В комнате, недавно хранившей обжитый, покойный уют, стоял разгром. Были крики, были мольбы, вопли, проклятия и попошения ожесточившейся женщины.

Я оставил Тоню обессиленной, уткнувшейся в подушку растрепанной головой.

Я шел по улице с легким чемоданом в руке.

Был тихий, теплый вечер, с остывающим закатом, с вялой, отяжелевшей от росы листвой на деревьях. Я шел переулками, чтобы меньше встретить прохожих. Шел и поминутно морщился, вспоминая все, что случилось дома.

Грубость Тони, ее крики и ожесточенная ругань приглушили к ней жалость. Я чувствовал себя уверенней, я лишний раз убедился, что иначе не мог поступить, как только так вот уйти с легким чемоданом в руках. Если б даже не было Вали, рано или поздно это случилось бы. Я и Тоня по-разному думали, по-разному глядели на жизнь. Валя только развязала случайный узел.

Шаг за шагом я ухожу дальше от дома. Ухожу навсегда.

Нельзя думать о Наташке... Через час, через полчаса, через десять минут Тоня сообщит Наташке... Сейчас Тоня ожесточена, что-то ей скажет, какие слова? Она мать, я надеюсь, она будет бережна.

Но нельзя думать о Наташке!..

Я иду к Вале. Она ждет, она с полуслова, нет, не с полуслова, с одного взгляда поймет. Я теперь буду принадлежать ей, она — мне. Одна жизнь у нас впереди, одни мысли, одни желания, одни заботы. Мне не знакомо такое счастье, я никогда тесно еще не жил с человеком, который бы во всем понимал меня, сочувствовал тому, что я делаю. Катастрофа разразилась, она позади, теперь на ее обломках будем создавать новое.

Нас еще многие не поймут, многие осудят, кто-то из людей еще проявит к нам жестокость, но мы и это должны вынести.

Я шагал узеньким переулком, по крепко утопанной, глухо стучавшей под ботинками тропинке. Свисающая из-за заборов листва черемух и рябин задевала меня, обдавала росой.

Неожиданно на моем пути появилась долговязая фигура; тонкие ноги широко расставлены, кулаки уперты в поясицу, острые локти торчат в стороны, жесткие волосы упали на брови. Мне загородил дорогу Василий Тихонович.

Поздно сворачивать — он глядит на меня, — да и некуда сворачивать.

— Не спеши, — надвинулся он. — Дай поглядеть, каковы ты в новой роли.

— Спросить хочешь, почему не пришел? — начал я.

— Хочу сказать, что ты подлец! — оборвал он меня. — Таскайся за юбками — твоя воля, но не продавай за юбку дело. Не явиться, подвести, дать козырь Коковиной!..

— Слушай, Василий, случаются вещи важнее...

— Важнее дел, которые ты сам заварил! Продать все ва бабенку!

— Молчи!

— Нет уж, мне пришлось молчать там. Когда Коковина твоим именем мне рот заткнула. Уж разреши поговорить. Или теперь тебе все безынтересно, кроме этой юбки со смазливой рожницей да сладенькими речами?

— Василий! — подался я на него.

Меня охватил страх: вот оно, начинается! Насмешки, грязь, и не на меня, на Валю! И кто насмехается? Если Тоня выкрикивала ругательства, то перед ней я беспомощен, я чувствовал за ней право — пусть постыдное, недостойное, — но право ругаться, негодовать, обзывать. Но тут Василий Горбылев, он считается моим другом.

— Меня ругай, а ее не тронь, — сказал я.

— Тебя?.. Да ты невменяем. Тебя ничем теперь не прошибешь.

— Василий...

В рассеянных сумерках быстро сгущавшегося вечера я видел туго сведенную линию бровей, притушенный блеск глаз, обтянутую кожей переносицу.

— Что Василий? Кланяться тебе прикажешь за то, что эта комнатная болонка так тебя...

Он не договорил. Я с размаху ударил, целясь в мерцающие глаза, в костистую переносицу. Василий дернул головой, и удар пришелся в зубы. Он покачнулся, вытер ладонью рот, внимательно оглядел ее, бросил быстрый взгляд на меня, сплюнул кровавую слюну мне под сапоги, сначала отвел в сторону крючковатый нос, потом медленно, с трудом повернулся и так же медленно, толкая себя вперед, нескладным шагом двинулся прочь.

А я стоял, одной вспотевшей рукой сжимая ручку легкого громоздкого чемодана, на другой руке ощущал в суставе мертвенно-холодящий след от удара.

Никогда мы не мерялись с ним силою, но я-то знаю, он не из слабеньких, может при нужде дать сдачи. Но он не сделал этого...

Переулочек был пустынен. Влажно шуршала листва в ближайшем палисаднике. На чьих-то огородах деревянным, несмазанным голосом скрипел заблудившийся гусь.

И раскаяние, и стыд, и предчувствие страшной, непоправимой беды вдруг навалилось на меня. Катастрофа позади? Она окончилась? Нет, все только начинается, все ломается и дальше будет ломаться. Вот и сейчас я сломал дружбу с Василием Горбылевым. Нет товарищей, нет дома, нет дочери — ничего нет, кроме Вали, беспомощной и одинокой.

Дорогой же ценой она мне достанется...

Мы улеглись, подстелив под матрацы на затоптанный пол газеты. Лежали, обнявшись, в нежилой комнате, беспорядочно заставленной упакованными вещами, чужой комнате, временном, неудобном пристанище, которое утром нам нужно оставить.

Время от времени по дороге проезжала машина, и свет ее фар проникал сквозь незанавешенные окна, скользил по оголенным стенам, освещал на минуту тюки, обшитые мешковиной, поблескивающие никелем спинки кровати, обвязанные веревками. И от этого плывущего света становилось еще уютней.

Мы не спали, молчали. Я прислушивался к боязливому дыханию Вали. Мы оба одинаково чувствовали одиночество, от этого теснее прижимались друг к другу, и нас охватывала щемящая родственность. Ведь у меня только одна она, у нее — только я.

Жить в Загарье, изо дня в день чувствовать косые взгляды, постоянно ощущать себя в центре досужего любопытства, знать, что добросердые хозяйшки, встречаясь у колодцев, бесцеремонно перемывают косточки тебе самому и, что хуже, Вале. Жить и помнить, что рядом живет озлобленная, ненавидящая тебя Тоня. Твой самый близкий друг незаслуженно обижен тобою. На работу, которой ты прежде отдавал все свои силы, пытаются наложить запрет. Нет у тебя здесь дома; кроме дочери, нет родных.

Казалось бы, что проще — найми машину, побросай туда нераспакованные Валины вещи, поезжай на станцию, возьми билет на поезд — и новые места, новая жизнь!

Так думал я, лежа рядом с Валей, в ту ночь. Но утром понял, что сорваться немедленно с насиженного места невозможно. Тысячи мелочей не пускают. Надо оформить свой уход с работы. Придется, возможно, хлопотать в области о направлении в другой район. Предъявлять доказательства, вести щекотливые разговоры... На все нужно время.

Но самое важное, самое серьезное, что меня прочно держит в Загарье, — это Наташка. Отмахнуться от нее, уехать, писать письма, высылать деньги, пусть себе растет в стороне... Нет, не могу! Надо договориться, чтоб можно было время от времени навещать ее. Сейчас Тоня слишком ожесточена, с ней невозможно вести разумные переговоры. Признание о поспешном бегстве из Загарья вызовет у нее бешеное негодование. Надо ждать. Надо жить...

Днем я случайно столкнулся на улице с председателем колхоза Иваном Шубниковым, и он свел меня к хозяйке, которая согласилась сдать нам пол-избы.

Мы стали квартирантами Марьи Никифоровны Ключиной. Была у нее когда-то большая семья: муж, свекор, свекровь, сын и дочь. Мужа убило в первый год войны. Скончались свекровь и старик свекор, а сын погиб в первых числах мая сорок пятого года где-то в Германии. Дочь года три тому назад вышла замуж и уехала искать счастья в Сибирь. Марья Никифоровна жила одна — маленькая, ссохшаяся старушка, на морщинистом, продубленном лице выделялись ясные, кроткие глаза; ни слезы

по умершим, ни тяготы вдовьей жизни, иссушившие ее тело, не помутили чистоты этих глаз, не вытравили из них врожденной доброты.

Нам была отведена просторная горница, отделенная от жилья Марьи Никифоровны массивной русской печью и легонькой дощатой переборкой. Некрашенные полы хозяйка вымыла до солнечной желтизны, на низенькие окошечки повесила вырезанные из газеты незатейливые украшения.

Из окраины Дворцов, где мы поселились, до центра Загарья было всего минут двадцать ходьбы через мост, соединяющий оба берега реки Курчавки. Там — булыжные пыльные мостовые, двухэтажные здания, там — деловой центр района с вывесками учреждений и магазинами. Здесь же — околица деревни, вместо булыжной мостовой поросшая травой дорога, по которой раз в день простучит колхозная телега; вместо двухэтажных зданий с высокими окнами — крестьянские избы с сараями, поветями, бревенчатыми замшелыми въездами на эти повети; здесь ветхие крыши осевших в землю банек утопают в зарослях крапивы; здесь покосившиеся изгороди, связанные из длинных жердей; здесь по утрам вместе с чадным запахом печного дыма разносится запах парного молока из хлебов. Тут своя неторопливая жизнь, которая на первых порах как-то успокаивала меня.

Марья Никифоровна старалась, как могла: не оказалось в Валиных вещах подушек — дала свои, нужны были доски для полок — разрешила разобрать в старом амбарушке пол, у соседей выпросила рубанок и стамеску; топор, молоток и гвозди нашлись в ее хозяйстве.

Я принялся тесать, строгать, сколачивать. Хозяйственностью и домовитостью я окончательно подкупил Марью Никифоровну. Она любовалась с крыльца, как я подгоняю доски друг к другу, сокрушенно качала головой и не уставала повторять:

— Вот ведь мужик в дом пришел. Алексея моего напоминаешь, сердешный. Тоже, бывалоча, за что ни возьмет, все в руках горит...

Во мне, наверное, погиб недюжинный плотник. С детских лет любил я действовать топором и рубанком. Во время учебы на художника никто из ребят не мог быстрее меня сколотить крепкий подрамник, обтянуть его так, что при одном прикосновении холст звучал, словно бубен.

Запах свежей щепы и стружки всегда вызывал во мне смутное волнение. Теперь работа избавляла меня от назойливых мыслей.

Я поставил полки, разложил на них Валины книги. Валины платья, расправленные на плечиках, повисли в дощатом простенке возле дверей. Все непривычное, ненастоящее, все временное.

И как ни странно, я вдруг понял, что в этом временном нам придется жить долго-долго, что в ближайшие дни и недели мы не уедем из Загарья, эти полки, эти занавески, такие непривычные для меня, — новые корни.

Единственная вещь, к которой я испытывал родственные чувства, картина в простой раме, изображавшая поросшее ельничком болотце.

Я теперь подолгу глядел на нее, и, кроме того, что она вызывала во мне смутную щемящую грусть своими рыжими кочками, влажностью мутного неба, теснящимися друг к другу елочками, она еще навевала воспоминания. Первая встреча — настороженно-выжидательный взгляд Вали, больная Аня в соседней комнате... Долгие сдержанные разговоры под этой картиной... Безвестный — не укажешь в календаре — день, когда оба поняли: любим друг друга. Поняли, но не разрешали себе признаться... И наконец, увязанные в мешковину вещи. Валя у окна, со стуком выпавшая из ее рук картина... Невероятное! Не смел даже мечтать! Свершилось! О чем еще жалеть? На что жаловаться? Незатейливый пейзаж под низким потолком деревенской избы был моим молчаливым другом.

Валя была всегда рядом, она мне помогала устраиваться. Я мог в любую минуту окликнуть ее, позвать. В этом было что-то новое, непривычное, радостное. Произнеси ее имя, и она обернется, позови — она подойдет; я могу следить, как она двигается, могу наблюдать, как, усевшись на крылечке, натянув на крепкие колени легкий подол платья, сосредоточенно действует иглой, подрубает занавески или же со вдумчивым лицом развешивает на веревки только что выстиранные кофточки. Она здесь, она моя, она будет моей, я единственный человек, право которого она признает над собой.

Но во всем этом было еще и другое, появилась какая-то привычка, появилась уверенность — так, а не иначе и должно быть. У меня уже больше не теснило в груди, ко-

гда я ее видел, я уже не опасался, что она может вырваться от меня, что кто-то помешает мне ее видеть, ощущать рядом с собой.

Я продолжал любоваться Валею, не меньше ее любил, но любил ровнее.

Устройство скромного жилья не могло занять много времени. Вбит последний гвоздь, мне надо входить в привычное русло.

Шли летние каникулы, в школе начался ремонт. Один вид пропахших олифой коридоров, заставленных козлами, бочками, ведрами из-под краски, вызывал у меня чувство чужеродности: я лишний в этих стенах.

Я проходил в учительскую, заставал там одного или двух учителей, здоровался, мне с излишней торопливостью отвечали, и наступало тягостное молчание.

Все помнили последнее совещание, где Коковина заявила, что моя дальнейшая деятельность в школе небезопасна для коллектива, что следует поставить вопрос о переводе.

Вернулась из декретного отпуска Тамара Константиновна, приняла на себя обязанности директора. При встречах она едва достаивала меня величественным кивком.

Кроме всего, скандальная слава: ушел от жены, сошелся с другой женщиной. Учителя — мои недавние добрые знакомые — не знали, как держаться, чувствовали себя в моем присутствии связанно.

Ходячая, тривиальная фраза — «беда не приходит одна». Мне кажется, в ней скрыта железная закономерность. Случись так, что мои отношения с Валею остались бы прежними, наверняка я пошел бы на совещание в роно, дал бы Коковиной бой, возможно, вышел бы победителем, дружил бы с Василием Тихоновичем, и учителя не поглядывали бы на меня отчужденно.

Но все переплетено в жизни: рвется одна нить, расплзаются и остальные. Несчастья распускаются не в одиночку, а махровыми соцветиями. Если б только неудача в работе или же только катастрофа в семье — не терялся бы, не дрогнул. Но все вместе... Трудно!..

Как-то в учительской я застал одного Олега Владимировича. Он, как все, был смущен, тербил брови, глядел в сторону. И я не выдержал.

— Олег Владимирович, вы прячете от меня глаза. Прячете и молчите. Вы, отзывчивый, честный, доброжела-

тельный человек, скажите мне все, что думаете, упрекните, осудите, не бойтесь оскорбить. Я еще не стал настолько невменяемым, чтоб не понимать человеческих слов.

Олег Владимирович, добрая душа, покраснел, с мучительной застенчивостью взглянул на меня.

— Лично я вас ни в чем не упрекаю. Все, что с вами случилось, может случиться с каждым из нас.

— Тогда почему же вам сейчас даже с глазу на глаз тяжело со мной?

— Эх, Андрей Васильевич, Андрей Васильевич!.. Тяжело? Да, тяжело... Потому что не знаю, чем вам помочь, как выправить положение. И каждый не знает. Видеть вас и испытывать собственное бессилие, верьте мне, не слишком-то легко. И вы должны понимать это и не судить нас строго.

Олег Владимирович с минуту помолчал, потом добавил не столько для меня, сколько отвечая себе на свои мысли:

— Не созрела, видать, наша школа для кардинальных реформ. Боюсь, что вы стучались лбом в каменную стену.

Иван Поликарпович был в отпуске, жил затворником в своей тихой обители. У меня не было никакого желания встречаться с ним. К чему? Он, возможно, мне посочувствует, попытается утешить, а этого мало!

Из всех моих прежних друзей и знакомых теперь смог бы поддержать один Василий Тихонович. Он-то уж не стал бы опускать смущенно глаза, не каялся бы передо мной в собственном бессилии. За эти дни были у нас с ним две случайные встречи при народе. Василий прошел мимо, не поздоровавшись, не глядя в мою сторону. Я же не осмелился заговорить с ним.

Пусть даже все утрясется, пусть забудется, но, если я не сойду по-старому с Василием, все равно моя жизнь станет неполной, работа ущербной. Буду преподавать по-своему, возможно, добьюсь виртуозности, сделаю каждый урок насыщенным и интересным, увлеку даже своим примером других преподавателей. Не всех, большинство останется верным старым приемам, старым методам, так как задачи школы не изменятся. Нужен энтузиазм, бескорыстное подвижничество, чтобы выполнять больше, чем требует того школа. А рассчитывать, что все

учителя станут энтузиастами и подвижниками,— утопия.

Год назад я, может быть, с охотой согласился бы и на это. Теперь мне этого мало. Василий Тихонович рассчитывает изменить лицо школы: новые задачи, новые требования, учеба и работа в одно и то же время, волей-неволей все учителя будут вынуждены по-новому взглянуть на преподавание. Все! А вместе со всеми искал бы я, не в одиночку, не с избранными энтузиастами — со всеми! Человек, который знает, что можно пересекать материк на курьерских поездах и реактивных самолетах, не может уже довольствоваться ломовым извозчиком.

Но Василий Тихонович оскорблен и не собирается простить меня.

Коковина и Тамара Константиновна за моей спиной готовят какие-то решения.

Учителя боятся глядеть в глаза.

Та пустота, которую я смутно предчувствовал, теперь открылась передо мной, реальная, неизбежная, как унылое болото, раскинувшееся на пути пешехода. Я входил в эту пустоту. Вглядываясь в свое будущее, я уже не видел в нем ничего. Ничего ровным счетом!

Я не мог подолгу оставаться в школе. Сквозь пропахшие олифой коридоры я бежал на улицу. Скорей во Дворцы! Скорей домой! К Вале! Вот единственно близкий и верный человек. Ей могу без стеснения вывернуть наизнанку душу. Скорей к Вале!

Выходя однажды из школы, я увидел Степана Артемовича. Он стоял перед трактором. Этот трактор, торжественно проехавший Первого мая мимо праздничной трибуны, трактор, с которым вплоть до летних каникул возились ребяташки, заводили, чистили, ездили на нем, теперь осиротело приткнулся под стеной школы. Под его радиатором выросла молодая крапива, усики повилики тянулись вверх по колесам, в кабине выбито стекло, выкрашенный зеленой краской капот покрыт тусклым слоем пыли. Весь вид этого трактора, чуть осевшего на один бок, напоминал о конце. Старая машина, которой посчастливилось возродиться на короткий срок, теперь умирала снова.

Вот возле нее и стоял Степан Артемович. Он не заметил меня. Маленький, с желтым сморщенным лицом, утеревшим свою былую тяжеловатость в чертах, одетый, как

всегда, со стариковской аккуратностью в темную отглаженную пару, с туго затянутым на тощей шее галстуком, он стоял перед трактором, насупившись, внимательно разглядывал, осторожно трогал палкой ржавые сочленения гусениц.

О чем он думал в эти минуты? О чем-то своем, важном, наболевшем. На его сосредоточенно насупленном лице не было ни презрительности, ни злорадства. Может, он, глядя на безвозвратно умирающую машину, думал о своем собственном покое.

Мне стало почему-то тоскливо, так тоскливо, что хотелось плакать.

Представилось, что мы все трое — доживающий свой век на пенсии Степан Артемович, старый трактор и я — в чем-то сейчас родственны. Пока живем, пока можем двигаться, топтать землю, но кого это интересует?

А дома мне нечем занять себя. Полки сколочены, уставлены книгами — Валиными книгами, не моими. Поправлено пошатнувшееся крылечко, разбитое стекло в окне заменено новым, а дальше что? Куда деть себя?.. Пустота вокруг, пустота в душе.

Валя страдала за меня. У нее стало появляться незнакомое мне прежде выражение пугливости. Если я окликал ее, она вздрагивала.

Как-то, вернувшись, я не застал ее дома, долго ждал. Она пришла вечером, странно переменившаяся, сдержанно решительная, серьезная, даже прическа на голове какая-то новая, гладко забранная назад со лба.

— Где ты была? — спросил я.

Она под села ко мне на кровать, не снимая кофты.

— Была у Кучина.

— У Кучина? Зачем?

— Поступаю на работу.

— Вот как?.. Куда?

— Да опять же на старое место. Опять к К्लешневу. Никак до сих пор не подберут секретаря. Теперь, Андрияша, буду работать.

И я почувствовал испуг, наверно, тот самый испуг, какой в свое время испытывал Ващенко. У Вали — очередная «вскидка», снова в отчаянии бросается на работу. Но ведь она уже однажды отказалась от нее, теперь-то должна бы поступать умнее. Ко всем моим невзгодам прибавятся еще ее разочарования.

— Андрюша, я знаю, о чем ты думаешь. Но теперь совсем не то, теперь — другое...

— На что ты надеешься? — спросил я.

— Надеюсь только на себя. Пусть будет опять та же работа, пусть снова тот же Клешинев. Пусть. Я теперь все вынесу, потому что есть смысл, которого прежде не было. Давай говорить начистоту. У тебя трудное положение. Возможно, что тебя снимут с работы. Из-за страха, что мы оба потеряем кусок хлеба, тебе придется уступать, соглашаться... Так вот, я иду на помощь тебе, я буду работать и зарабатывать, ты можешь чувствовать себя уверенней, независимей. Нужно будет — станешь выжидать. Работа, пусть у Клешинева, да это прекрасно, потому что она не ради того, чтобы занять свободное время. Она ради тебя! У этой работы свой смысл, Андрюша, значительный смысл для меня. И если я сумею помочь тебе, я буду просто счастлива. Ты понимаешь меня, Андрей? Это совсем не похоже на прошлое.

Она сидела рядом со мной, гладила легкой рукой мое плечо; ее лицо, нежное и чистое, было спокойным и счастливым. Только под ресницами скрытая тревога. И голос ее ласков, он и просит и убеждает. Я не возражал, я не смел огорчить ее недоверием, но я испытывал стыд за себя. Она спасает меня. Она!.. которой всегда была нужна помощь.

Но пусть обманывается, зачем разубеждать?

20

Олег Владимирович с таинственно значительным видом отозвал меня в кабинет директора, попросил присесть на стул.

— Андрей Васильевич, у меня очень неприятный для вас разговор.

Этого он мог бы и не сообщать мне, я сразу догадался: что-то случилось, что-то новое и неприятное. Олег Владимирович сидит сейчас передо мной багроволикий, смущенный до потной испарины, по привычке теребит свою дремучую бровь.

— Я вынужден с вами сейчас разговаривать как секретарь партийной организации. Очень неприятное дело, Андрей Васильевич, но я ничем не могу помочь.

— Говорите без предисловий.

— Да, да... Так вот, ваша жена... Простите, я говорю об Антонине Александровне... Так вот, она передала в нашу парторганизацию письмо.— Олег Владимирович болезненно поморщился, протянул мне вырванный из ученической тетради листок.— Вот, прошу, прочитайте... До чего все неприятно!

Тоня писала:

«...Не знаю, куда жаловаться, где искать помощи. Единственная надежда, что партийная организация примет соответствующие меры, разберет недостойный поступок моего мужа, члена партии Андрея Васильевича Бирюкова. Еще в прошлом году я начала замечать, что мой муж, А. В. Бирюков, стал часто навещать жену недавно уехавшего из района первого секретаря райкома партии тов. Ващенкова. Мой муж обманывал меня, обманывал и честного человека, постоянно занятого руководящей работой. С тех пор стали меняться взгляды моего мужа. Мне часто приходилось слышать, как он в личном со мной разговоре всячески поносил уважаемого директора школы Степана Артемовича Хрустова, называя его сухарем, чиновником и еще более обидными словами, которые я и не осмеливаюсь даже написать в письме. Так же он отзывался о заведующей роно тов. Коковиной. Как всем известно, С. А. Хрустов спас нашу дочь, вытащил ее из проруби, в результате чего сам тяжело заболел. Вместо благодарности мой муж у постели больного С. А. Хрустова устроил скандал, так что нас обоих пришлось выгнать из дому. Все эти факты я сообщаю для того, чтобы парторганизация знала, какое влияние оказала на моего мужа та женщина, незаконно живущая вместе с ним. Лично я с ней никогда не была близко знакома и не хотела знакомиться. Всем известно общественное поведение моего мужа и его участие в травле С. А. Хрустова. Это тоже, как я догадываюсь, происходило не без влияния этой женщины. В конце прошлого месяца, обманув меня и Ващенкова, мой муж и эта женщина уехали в город. Она заставила моего мужа прикрыть этот морально грязный поступок якобы неотложными делами. На самом же деле они занимались в городе тайным сожителем. Все это время муж мне лгал, пока та открыто не бросила своего мужа. После чего А. В. Бирюков устроил мне скандал и ушел к ней. Под

влиянием женщины легкого поведения он бросил дочь, разрушил семью.

Еще должна сообщить, что мой муж всегда с большим высокомерием говорит о своих товарищах-учителях, никого ни во что не ставит, все у него глупы и недальновидны, все, кроме него самого, круглые дураки.

Единственная надежда на парторганизацию. Повлияйте на члена партии, который своим грязным поступком замарал это высокое звание. Исправьте А. В. Бирюкова, верните отца дочери, не дайте развалиться семье.

Еще раз: не откажите в помощи!

Антонина Бирюкова».

Олег Владимирович, втянув в плечи свою крупную голову, старался не глядеть на меня.

Я еще раз проглядел письмо: грубиян, лгун, прелюбодей, даже высокомерность не забыта — все собрано, что только можно, ничем не погнушалась моя верная жена. Если я такой, каким она меня представляет, то ей следует бежать от меня, как от прокаженного, а не тянуть обратно к себе и к дочери. Почти семь лет прожил я с ней, знал, что она не отличается глубоким умом, но не понять, что ничем другим так не оттолкнет она меня, как этой клеветой, этим унижительным доносом, не понять этого и надеяться на мое возвращение! Я не испытывал к ней злобы, было одно чувство после письма — отвращение.

Я отдал письмо Олегу Владимировичу.

— Вы хотите, чтоб я что-то сказал? — спросил я.

— Вся и беда, Андрей Васильевич, что вам придется это говорить не мне, а партсобранию. — Олег Владимирович снова болезненно сморщился. — Она, конечно, сейчас в таком запале, что непозволительно раздувает факты, даже извращает их, но... вы понимаете: раз письмо пришло, то мы не можем бросить его в корзину для мусора, не в моей власти от него отмахнуться. Попробуй умолчать — она пожалуется в райком. Райком вынужден будет нажать на нас. Шум, последствия...

Олег Владимирович долго мне объяснял то, что я и без него прекрасно знал.

— Вы правы. Разбирайте.

Олег Владимирович в ответ лишь снова поморщился.

Наша партийная организация занимала в жизни школы скромное место. В ней состояло всего шесть человек: Тамара Константиновна, Олег Владимирович, Василий Тихонович, две учительницы и я. Был еще Степан Артемович; но после того как отстранился от обязанностей директора, он снялся с учета.

Мы время от времени обсуждали материалы, поступающие от райкома, где говорилось о затруднениях с севом, о недостаточной активности МТС в ремонте тракторов, о помощи колхозам во время уборки силами учеников старших классов. Иногда по просьбе отдела пропаганды и агитации мы выдвигали из учительской среды лекторов и докладчиков. Школьных дел мы не касались, там господствовал один Степан Артемович. И это вошло в привычку.

Олег Владимирович, ставший неожиданно и директором, и завучем, и секретарем парторганизации, совсем было забросил партийные дела. Даже членские взносы вместо него собирала учительница химии Евдокия Алексеевна.

Тамара Константиновна, как всегда, дебелистая, внушительно солидная, восседала по правую руку Олега Владимировича. Ее глаза полуприкрыты веками, и если она разрешает себе глядеть в мою сторону, то взгляд ее в эти минуты ничего не выражает, кроме равнодушного презрения. Прошло то время, когда Тамаре Константиновне с ее властолюбием, заимствованным от Степана Артемовича, приходилось считаться со мной. Я уже для нее не противник. Весь ее надменный вид говорит, что она ни сколько не удивляется тому, что случилось, она ждала этого.

Учительницы — Евдокия Алексеевна Панчук (двойной подбородок придает ее лицу заносчивое выражение) и тихая Горшакова, обе домовитые хозяйки, наверняка поженски сочувствуют Тоне, исподтишка с отчужденным любопытством поглядывают на меня.

Но больше всего меня интересует, что скажет обо мне Василий Тихонович. Он сидит, опустив свой костистый нос к столу, всей пятерней влез в жесткую шевелюру, пока еще ни разу не взглянул в мою сторону. Что-то скажет он?

Я должен подняться и опровергнуть письмо Тони. И казалось бы, что может быть проще — опровергать не-

правду, но нет, попробуй-ка доказать, что все не так, что я иной. Я говорю несколько фраз, скучных, бесцветных, ненужных, и замолкаю. Тогда Тамара Константиновна, не глядя на меня, обращаясь в пространство директорского кабинета, начинает задавать вопросы. Они произносятся сонным голосом, но от них кровь бьет в голову, до боли сжимаются кулаки.

— А скажи-ите, Бирю-уков, — тянет она, — вы имели интимную связь с этой женщиной до того, как ушли от жены?

Я сдерживаюсь: спокойствие — моя единственная защита. Закричать, вознегодовать — значит показать, что потерял голову, значит доставить радость этой жестокой и мстительной даме с дебелим лицом римской матроны.

— Я отказываюсь на это отвечать, — говорю я спокойно.

— Вас удовлетворяет такой ответ? — чуть повернув голову в сторону Олега Владимировича, спрашивает Тамара Константиновна.

А Олег Владимирович сердито сопит, двигает широкими бровями.

— Тамара Константиновна, это действительно не имеет значения, — говорит он. — Нельзя же превращать партсобрание в смакование каких-то щекотливых интимностей.

Тамара Константиновна чуть розовеет:

— А мне кажется, что такие вещи помогут распознать моральный облик нашего товарища.

Я не вступаю в спор.

Василий Тихонович сидит, склонив лицо к столу. Он упрямо молчит. Его молчание кажется мне зловещим. Олег Владимирович наконец спрашивает его:

— Ну, а ваше мнение, Василий Тихонович?

Он поднимает голову, из-под колючих ресниц скользит по мне чужим, бесчувственным взглядом.

— Я осуждаю Бирюкова за то, что он из-за этой связи забыл дело. В этом нет для него прощения. Но письмо... После того как я прослушал его, считаю: бежать надо от этой женщины, бежать немедленно, и подальше, куда-нибудь к Тихому океану. Вот мое мнение. Тамара Константиновна может не соглашаться с ним.

И он снова опустил лицо к столу.

После собрания я бросился по коридору, чтобы догнать Василия Тихоновича, чтобы выпросить у него прощение, чтобы восстановить прежнюю дружбу. Нам нужно быть вместе, нельзя жить порознь, он это знает так же хорошо, как и я.

— Василий... — робко окликаю его.

Но он не оглянулся, лишь увеличил шаг. В его прямой, крепкой спине я почувствовал какую-то каменную отчужденность.

21

У Вали появилась своя жизнь. Иногда она уходила из дому утром, иногда после обеда, иногда возвращалась довольно рано, часов в шесть, иногда задерживалась в редакции до полуночи. В свободное время она возилась по хозяйству: варила обед, мыла посуду, ходила в магазины. Я открывал свежие номера районной газеты и с ревнивым интересом вчитывался в то, что делала теперь она: в колхозе имени Семнадцатого партсъезда доярки такие-то взяли обязательства, в другом колхозе успешно развертывается сеноуборка — скошено столько-то гектаров, заготовлено столько-то; ветеринарный врач Хохлов пишет о случаях заболевания среди молодняка — все это нужно, без этого не обойтись, но должно же появиться что-то новое, не клешневское. Нет, Валя не совершает революции в газете и, кажется, не собирается совершать.

И в наружности ее появилось что-то заурядное: волосы стянуты ситцевым платочком, на лице обидная озабоченность. За несколько дней она стала обычной служащей, каких много в нашем Загарье. Дни в пропахшей чернилами и типографской краской комнате редакции, в обществе унылого человека, посуда, обеды, магазины — все накладывает свою печать, не проходит бесследно.

Прежде я видел в ней какой-то ореол таинственности, неудовлетворенности, духовного смятения, а теперь — проста, понятна, никакого смятения, довольствуется маленьким, не бунтует, не жалуется и боится только одного, что я выскажу ей свое недовольство. Я часто ловлю на себе ее робкие взгляды, часто вижу у нее выражение подавленности, почти испуга.

Я по-прежнему любил ее лицо, ее глаза с синевой, просвечивающей сквозь светлые ресницы, любил ее тон-

кие руки, ширококостные у запястья, ее волосы, мягкие, легкие, покорно скользящие между моими пальцами, любил едва уловимый, свежий, теплый запах ее тела. Я по-прежнему любил ее, но как-то по частям, по отдельности — руки, глаза, волосы, но в целом я испытывал разочарование. И мне становилось страшно: разочарование! Так быстро? Ведь мы прожили с ней вместе всего каких-нибудь две недели! Что-то будет дальше? Мы же рассчитываем прожить вместе всю жизнь.

И эта странная смесь болезненной любви и разочарования неожиданно прорывалась в приливах внезапной жалости. Приливы жалости к ней у меня случались и раньше, задолго до нашего сближения. Но в той жалости не ощущалось ничего унижительного, то было желание спасти ее, подставить плечо. После такого прилива я каждый раз чувствовал себя сильным, способным на подвиг. Теперь же жалость была беспомощной, приводящей меня в смятение.

Она мечтала о широкой жизни, пусть сложной и трудной, но жизни, где совершаются значительные дела. Мечтала, надеялась, была недовольна сама собой. Это недовольство, ее страстность и подкупили меня, заставили внимательнее к ней присмотреться. И вот редакция районной газеты, работа, которую может делать такой, как Клешнев, человек, лишенный всякого таланта, душевной пронизательности, — ходячая скука в пиджаке с протертыми локтями и служебной плешью на макушке. Она смиренно приняла свою долю, оставила свои мечты. Ради чего? Ради меня, ради того, что она в меня верит. Она писала, что я для нее великий человек. Великий! Положим, ради великого можно отдать себя в жертву. Но какой я великий?..

Я припоминал разговор в номере гостиницы с моим старым приятелем по институту кинематографии Юрием Стремянником. Я спросил его об Эмме Барышевой, и он мне ответил: «Канула...» А Эмма Барышева была лучшей студенткой на нашем курсе. Она обещала стать среди живописцев звездой, пусть не первой величины, но наверняка заметной. И не разгорелась... Что ей помешало? Муж, семья, дети? А может, бросилась зарабатывать длинные рубли? Не все ли равно, как это случилось. Не сумела использовать свою жизнь достойно, растратить разумно свои силы,

Почему я, человек без особых способностей, не одаренный значительным умом, должен оказаться в числе особых удачников?

Идешь в гору, напрягаешь все силы, дразнишь свое воображение величественными вершинами, и вдруг — стоп! Ты достиг своей вершины, она не выше, чем у других: обычный холмик, который доступен многим. Достиг его, а теперь спускайся в долину, где беспечно блаженствуют Акиндины Акиндиновичи. Эти дни, возможно, и есть начало стремительного спуска. Стану барахтаться, напрягать остатки сил, рваться вверх...

Но где этот верх, где вершина? Ведь теперь, когда я пробую взглянуть вперед, я ничего не вижу.

Оглядываясь назад, на свое дело, я теперь начинал сомневаться и в нем. Самому себе и другим я постоянно твердил: «Давайте искать!» А правильно ли я начал свои поиски? Новые приемы в преподавании — оргдиалог, активизация ученика на уроке... Я не считал их универсальным рецептом, спасительным средством от всех бед. А если предположить, что их признают, заставят всех без исключения учителей ими пользоваться, вставя в методические письма и инструкции, наложат печать казенщины? В педагогике появится новый шаблон, и я, считающий себя противником всяческих шаблонов, выхожу, способствую его появлению. С одной стороны, мне хочется, чтоб меня поняли, на путь моих поисков стало как можно больше учителей, с другой стороны, я боюсь этого. Даже в деле своем я не уверен, даже за поиски свои я не спокоен!..

Валя, Валя!.. Ты ждешь от меня великих дел. Ты надеешься, что когда-нибудь снова прислонишься к моему плечу и скажешь: «Как я счастлива! Какая жизнь!» Не будет же этого! Я обманул тебя. Ты готова сейчас сидеть в редакции, выносить придирки Клешнева, крутиться по хозяйству. Ты думаешь, что это путь к чему-то заманчивому и значительному, а на самом деле будет все то же самое: та же редакция, тот же Клешнев, те же утомительные, мелочные хлопоты об обеде, об ужине, о чистоте моих сорочек. Я боюсь сказать тебе это. Я продолжаю обманывать тебя!

В конце-то концов ты поймешь этот обман, разглядишь меня, проникнешься презрением ко мне, а быть может, и ненавистью. Кто знает, когда это произойдет:

завтра, через неделю, через много-много лет, когда уже будет поздно отступить, когда ничего другого не останется, как смириться?..

Мне жаль тебя, Валя, но моя жалость беспомощна. Самое честное — это сказать тебе: «Отвернись от меня, иди обратно к Ващенко, там привычное, там не будет позорных разочарований». Я не осмеливаюсь. Но если б даже я и осмелился, ты все равно мне не поверишь, ты станешь меня успокаивать и разубеждать. Я бессилён...

Временами меня охватывало негодование на самого себя. Неужели все потеряно? Неужели я так раскис, что не могу действовать, не могу воевать? Никогда я так не опускал руки! Коковина, Тамара Константиновна, Анатолий Акиндинович — неужели они непреодолимы? Они обычные люди, не слишком умные, не слишком волевые, даже не очень-то верящие в правоту того дела, которое отстаивают. И я пасую перед ними! Я отчаиваюсь, я ничего не могу предпринять! Надо действовать, писать в область, требовать новых обсуждений, надо сразиться с Коковиной, доказать свою правоту, завоевать снова уважение! Это трудно, авторитет мой подмочен, на меня глядят с сомнением. Трудно! Но разве невозможно?..

Нужны друзья. В первую очередь следует объясниться с Василием Тихоновичем, со всей искренностью, на какую я способен, — пусть осудит, но пусть и простит. С нашего полного примирения и должно начаться мое возвращение в жизнь. А уж тогда и без особого страха могу глядеть в глаза Вале. Тогда посмотрим, заедаю ли я ее жизнь, обманываю ли ее надежды.

И вот я решился. Натянув на глаза кепку, я отправился к дому Василия. Шел, глядел под ноги, и меня лихорадило. Сейчас встретимся, сейчас я ему все скажу. Скажу, что нас сроднили не сходность характеров, не какие-то неощутимо духовные симпатии, а дело, труд, которому каждый из нас с одинаковым желанием готов отдать свою жизнь. У нас одни взгляды, мы одинаково представляем себе будущее. Так и скажу: «Не знаю, как ты, а я без тебя чувствую себя слабым и беспомощным. Не может быть вражды между нами! Все, что случилось, нелепость, постыдное недоразумение. Я прошу у тебя прощения. Если хочешь око за око, то вот тебе мое лицо, ударь, расплатись — и забудь...»

Я вышел уже на ту улицу, где жил Василий, испытывая все то же лихорадящее нетерпение. Разве можно не пойти мне навстречу? Не замечал в Василии мстительной мелочности. Он поймет, он не отвернется!

Да, но Валя... И эта мысль заставила меня остановиться посреди дороги. Наша ссора произошла из-за нее. Вряд ли Василий изменил о ней мнение. Наоборот, озлобившись на меня, он не может не озлобиться на Валентину. Я не могу не защищать ее. И если Василий Тихонович снова повторит?.. Нет, мне с ним нельзя встречаться! Хватит и того, что есть на моей совести. Я повернул обратно.

С Василием Тихоновичем помириться не могу. Коквиной и Тамаре Константиновне не могу сопротивляться. Писать в область? А там Павел Столбцов, теперь-то мне известно, как надеяться на его поддержку. Потребовать нового обсуждения? Резонно спросят: «Где вы, дорогой товарищ, раньше были?» Ничего не могу. Бессилен!

Дома ждет Валя, любящая, жертвующая, слепо верящая. Я должен делать вид, что достоин ее любви, жертвы. А это обман. Бессилен что-либо сделать...

Так шел наш медовый месяц.

Я бездельничал, я совсем перестал приходить в школу, тем более что школа в моих посещениях не нуждалась. Все парты были вытащены во двор, сложены баррикадами: в школе полным ходом шел ремонт.

Я бездельничал, а за моей спиной решались мои дела, плелись не слишком-то хитрые интриги.

В райком партии, к Кучину, который временно замещал Ващенко, поступило заявление от Тамары Константиновны. Она писала, что парторганизация Загарьевской средней школы недостаточно объективно подошла к разбору моего персонального дела, что партийным органам следовало бы поинтересоваться причинами той травли, которая в свое время была создана вокруг Степана Артемовича Хрустова.

Олег ли Владимирович посоветовал, или сам Кучин догадался спросить Степана Артемовича, не знаю. Но бывшего директора вызвали в райком.

Степан Артемович жил в своем домике тихой жизнью пенсионера. В обычные часы выходил на прогулку, постукивая по дощатым тротуарам палкой, остальное время копался на огороде, ухаживал за кустами смородины и малины, разбил под окнами цветничок, единственный цветник на все село, если не считать маков, посеянных на морковных грядках.

Он с обычным своим достоинством появился в райкоме и на прямой вопрос о травле ответил:

— Бирюков упрям и дерзок. Его можно лишь упрекнуть, что добивается невозможного. А травлей он не занимался.

Меня даже не потревожили, о его ответе я узнал от других. Сам же Степан Артемович, случайно столкнувшись со мной возле моста, ответил на мой поклон чуть заметным кивком.

Как и прежде, я просыпался в семь утра, но не сразу поднимался с постели. Мне не нужно было спешить, меня ждал бесконечно тягучий, утомительно скучный день. Нечем заниматься, только ночь спасение, только засыпая, я мог не замечать, что жизнь моя пуста и ничтожна, не надо ни о чем думать.

День изо дня дикая скука, ядовитые мысли и, что самое ужасное, сознание, что это положение не на время, нет надежды на лучшее. От безделья не только тупеют; чтобы как-то разорвать непрерывную цепь ненужных дней, от безделья идут на преступление.

И опять я нашел убогое наслаждение в воспоминаниях. На этот раз я вспоминал не те дни, которые я провел с Валею в городе, не открытое окно в гостинице, не пустынный утренний город с непотушенными фонарями и пением птиц. Я теперь вспоминал о том, как хорошо жил прежде, как был тогда уверен в себе, какое прочное душевное равновесие испытывал. Вспоминал свой стол и то увлечение, с каким я засиживался за ним ночами. Я тогда чувствовал себя непревзойденным режиссером тех уроков, которые надлежало разыграть на следующий день. Я знал, что мою работу ждут, моей работой интересуются не только мои сторонники вроде Василия Тихоновича, Ивана Поликарповича, Олега Владимировича, но и такие противники, как Тамара Константиновна. На меня могли смотреть с неприязнью, но относиться равнодушно ко мне не могли. А если у меня вдруг оказывалась свободная

минута, как я ей радовался! Не раздумывая, я отдавал эту случайную минуту Наташке, мастерил ей бумажных змеев, читал ей книги, искал на нарисованном острове пиратские сокровища. Я сейчас не вижу Наташки. Что-то она думает об отце, который ушел от нее? Что она думает? Нет, это нельзя трогать, подальше от таких мыслей!.. Тоня... Она никогда меня не понимала, мы всегда были далеки друг другу, а ее письмо!.. И все-таки с Тоней мне всегда было проще, чем с Валею. Никогда не приходилось задумываться с таким мучительством: а не заедаю ли я ее жизнь, не обманываю ли ее? Меня не пугало, что вдруг да разочаруется, вдруг да поймет мое ничтожество. Я твердо знал: Тоня счастлива своей небогатой по событиям жизнью, стоит мне захотеть, и она всегда будет довольна мною.

Если б все вернуть! Вернуть товарищей, вернуть Наташку, обрести душевный покой и уверенность в себе. Я мечтал о прошлом, как мечтают солдаты в окопах о том мире, где они когда-то ходили во весь рост, сидели за столами, читали по утрам свежие газеты, жили не в земле, а в просторных домах, спали на чистых простынях и не боялись, что с минуты на минуту случайный снаряд смешает их кости с окопной грязью.

Валя работала, я часто оставался один и почти все это время предавался воспоминаниям, мучительным, прекрасным, ненужным, ничтожным. Я потерял над собой власть.

Как-то я лег спать и долго не мог заснуть. В низенькие оконца избы пробивался свет луны, ложился полосами на некрашенный пол. За перегородкой на печи похрапывала хозяйка. Валя еще не возвращалась с работы.

Но вот за окном по облитому луной травянистому дворику прошуршали легкие шаги, заскрипело крылечко, стукнула дверь, вошла Валя. Я слышал, как она скинула у порога туфли. Наша хозяйка Марья Никифоровна, сдавшая по-старушечьи чутко, проснулась, спросила хрипловатым спросонья голосом:

— Валюша, это ты, голубушка?

— Спи, спи, Никифоровна, — тихо отозвалась Валя.

Но Никифоровна зашевелилась на печи:

— Ужо отосплюсь. А ты ешь, ешь себе, не обращай на меня внимания... Ну и работку ты подыскала — ночь за полночь, а сиди.

— Номер сдавали.

— И в прошлый раз номер и теперь. Когда их, все эти номера, сдадите?

— Никогда.

— Тяжело тебе, девонька?

— Нет.

Бесшумно ступая, Валя вошла на нашу половину, сбросила тапочки, встала маленькими босыми ногами в лунную полосу, покоящуюся на шершавых половицах, принялась раздеваться, роняя на пол из волос шпильки.

Я окликнул:

— Валя.

— Ты не спишь? — отозвалась она.

В голосе ее я уловил радость: не сплю, жду ее, она благодарна мне за это.

— Валя... Присядь сюда. Я хочу поговорить с тобой.

— Слушаю, — голос ее сразу же потух. Она покорно присела ко мне на кровать, полураздетая, с распущенными по плечам волосами, с настороженно поблескивающими в темноте глазами.

— Валя. Не перебивай, не возмущайся, выслушай...

— Я слушаю.

— Валя, я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я сломался и тебя сломаю.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Тебе надо бежать от меня. Пойми, Валя, я неудачник. (Даже сам для себя я впервые осмелился произнести это слово!) Теперь в этом не приходится сомневаться. Посвятить неудачнику жизнь — не только незавидная, но и унижительная доля. Валя, родная, пока не поздно, уходи...

— Куда?

— Куда?.. Я боюсь это произнести, но надо. Уходи обратно к Петру. Он лучше меня, достойней меня. Как бы ни сложилась там твоя жизнь, все-таки будет там покой и ясность, все-таки тебе не придется принимать на себя отчаяние, унижение и озлобленность неудачника. Я пока себя сдерживаю, но надолго ли мне хватит сил сдерживать себя? Зачем тебе тянуть на себе ничтожество? Да, да, это так, я сам в себе ошибался, тебя обманывал. Против своей воли обманывал.

— Ты не хочешь, чтоб я жила возле тебя?

— Хочу одного, Валя, — спасти тебя. Пустота впереди, никакого проблеска. Пойми это...

— Не вернусь обратно, — проговорила она. — Как впереди будет, не знаю, но сейчас я довольна. Я живу, понимаешь, живу, у меня есть задача — вытянуть тебя из беды, помочь тебе, поддержать. Пусть трудно, но именно поэтому я и испытываю полное удовлетворение. А ты хочешь, чтоб я вернулась обратно. Опомнись, Андрей, сейчас ты делаешь страшное дело. Страшное для тебя, страшное для меня!

— Но ведь обман! Жить в обмане! Что может быть страшнее? Я сам не верю, что меня можно поддержать, что мне можно помочь!

— А я верю. Что бы ни случилось, верю! Андрей, милый. — Она прислонилась ко мне, ее волосы упали мне на лицо. — Верю в тебя! Ты из тех людей, которые в конце концов или будут жить по-настоящему, или откажутся от жизни. Пока ты со мной, ты будешь жить, будешь верить в себя. Не мной сказано, что в жизни бывают не только свои оазисы, но и свои пустыни. Так перейдем же вместе эту пустыню, не отталкивай меня, со мной тебе будет легче. Другого такого верного товарища ты себе не найдешь.

Рядом решительно блестят ее глаза, волосы касаются моего лица, я чувствую на лице ее взволнованное дыхание. Почти фанатическая вера звучит в ее словах. Она верит, она заражает этой верой. Возражать ей сейчас — святотатство! Я протянул к ней руки и обнял. Верю ей! Всякое несчастье, как бесплодная пустыня, имеет свой конец, рано или поздно я начну снова искать, а раз будут поиски, то будут и находки. Переживал же я и раньше минуты отчаяния. Тогда переживал в одиночку, теперь со мной она, все понимающая, любящая, верящая, предлагающая мне свою жизнь. Как я могу отказываться от нее?..

Я уткнулся ей в плечо.

Утром я вышел на крыльцо с полотенцем на плече. Валя одевалась в комнате. В открытое окно я услышал, что она негромко напевает.

Она возвращается по вечерам с работы осунувшаяся от усталости. Глядя на нее, я всякий раз чувствовал, что прошедший день был для нее нелегким. И сегодня у нее

впереди обычный день — пропахшая типографской краской комната редакции, Клешнева, как наказание, сидящий над душой, работа, которой Валя не увлечена. А она поет, радуется наступающему дню.

За завтраком она была спокойна, ровна, глаза просветленные, доверчивые. Но теперь, кроме доверчивости, я уловил в ее взгляде непривычную для меня уверенность. Такую же непривычную, как и недавнее пение.

В ситцевом платочке, туго стянутом на волосах, она отправилась на работу. Я глядел ей вслед с крыльца. От прежней Валентины Павловны осталась только походка — мелкая, напористая, грудью вперед, со вскинутым подбородком.

Я слишком был занят самим собой, до сих пор замечал лишь ситцевый платочек, озабоченность на лице, внешнюю обидную опрошенность. И опять — который раз! — она новая, не совсем понятная мне.

Дом пуст, в школу идти рано, да и не хотелось. В это утро, как никогда, я почувствовал себя одиноким. Снова охватило тяжелое беспокойство. Она верит... Но чем могу оправдать ее веру? Надо что-то предпринимать, как-то действовать... А что? Как? У меня по-прежнему пусто в душе, в голове хоть шаром покати — ни одной здоровой мысли. Вера, которую она мне вчера сумела внушить, держалась до тех пор, пока Валя была рядом. Вот она ушла — дорогой человек, знакомый и непонятный. Верит... Вдруг да с расчетом идет на обман, трезво решила, пока можно, поддерживать меня? Пока можно! Пока есть у нее силы. Она жертвует собой для меня, как когда-то собиралась жертвовать для Ващенкова.

Идти некуда, делать нечего, а летний день долог. Хватает времени для размышлений. Чем дольше думаешь о Вале, тем запутанней кажется мне отношение к ней. Надо гнать бесполезные мысли.

Не думать о Вале, но тогда вспоминается Наташка. Я постоянно ощущаю пустоту, не могу сидеть на одном месте, тянет пойти к ней, и оттягиваю встречу: что скажу, как взгляну в глаза?.. Иногда с соседнего двора в открытое окно доносится детский крик — я вздрагиваю.

Я знаю всех детей на улице. Загорелые, в вылинявших рубашонках, в залатанных штанишках — деревенская беспечная вольница. Я наблюдаю за ними, как они дразнят

старого сердитого козла, как рысцой бегут вдоль нашей изгороди на речку, держа на весу удочки.

У меня так много теперь свободного времени. С каким бы наслаждением я его отдал Наташке! Каких бы змеев мы запустили в небо! Какие бы истории я ей порассказал! Нет Наташки!..

Нельзя думать о ней! Нельзя о ней, нельзя о Вале, а день тянется медленно. И завтра точно такой же день, точно такие же мысли. Лучше уйти в школу, в чужую, пустынную, неуютную, легче переносить там встречи с Акиндином Акиндиновичем, испытывать при этом жгучую неловкость.

В этот день Валя пришла раньше обычного, на ее лице вместо усталости я заметил сердитую решительность.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего.

— А все-таки?

— Каждый день случается, — и ее лицо вспыхнуло. — Нет, я прищемлю его.

— Да что случилось?

— Пришло письмо о махинациях Гужикова. Сделал в райпотребсоюзе частную лавочку с широким размахом. Клешнев боится Гужикова, старается замазать.

Она, порозовевшая, с налитыми синевой глазами, вскочила со стула, проплась грудью вперед, вызывающе вздернула вверх подбородок, резко повернулась:

— Дождется!..

И я не нашелся, что ответить. У меня хватало своих бед, маленькие недоразумения с Клешневым казались далекими и ненужными. Валя принимает мое, верит в меня, готова служить мне, а я даже посочувствовать не могу. В ту минуту, когда она говорит, я холоден, как мартовский сугроб на солнце.

Она решительно заявила:

— Пойду к Кучину сейчас, немедленно. Выложу все!

Я поддакнул:

— Да, да, стоит... Сходи сейчас...

Я весь день ждал прихода Вали, как спасения. Мне казалось, что рядом с ней мне будет спокойнее. Но теперь я рад, что она уйдет.

Валя ушла. А я, чтоб не оставаться в опостылевших за день стенах, решил выйти на улицу.

На небе тлел сухой закат. По нему чертили ласточки. Трещал мотоцикл за рекой.

Беззаботное пение Вали утром, новое для меня выражение уверенности в ее лице, дерзкое слово «дождется!..», ее запал — неужели все это поддерживается одним желанием, одной страстью: помочь мне, поддержать меня? Она же пробовала работать в редакции при Ващенко, с ней такого не случалось. Как ответить ей? На душевную щедрость не отвечают холодом.

Зловещий красный закат тревожил меня, бередил душу. На дорогу вышло стадо, подняло розовую пыль. Женский голос ласково звал корову:

— Ночка! Ночка! Иди, дурная. Иди, милая...

Неожиданно я почувствовал, что кто-то за мною следит. Я оглянулся: держась одной рукой за колышек ограды, в стороне стояла Наташка. Она напряженно глядит на меня. Но в ту секунду, как только наши глаза встретились, опустила лицо, а с места не двинулась, вцепившись загорелой рукой в колышек забора, старательно выдавливает босой пяткой лунку в земле. Долговязая не по возрасту, в коротеньком платице, с обожженными солнцем ногами и руками, худенькие икры покрыты царапинами, стоит, опустив голову, выставив льняную макушку. Она, верно, давно уже наблюдает за мной, ждет, когда я обернусь и замечу ее, ждет, чтоб я подошел.

От неожиданности, от страха перед этим существом меня прошиб липкий пот, потемнело в глазах, на секунду остановилось сердце: впервые в жизни я почувствовал, что вот-вот упаду в обморок.

Непослушными, свинцовыми ногами, с хрустом неуклюже давя песок на дорожке, я направился к ней:

— Наташенька!..

Она еще ниже склонила голову. Она плакала.

— Наташенька, милая.

Я опустился перед ней на корточки:

— Доченька моя родная!.. Наташенька!.. Славная моя!.. Я тебя люблю. Я ни на минуту не забываю...

Вдруг ее тонкие-тонкие, легкие, горячие ручонки обхватили мою шею. На секунду под своими руками я почувствовал вздрагивание ее острых плеч, мокрое лицо прижалось к моей шершавой щеке.

— Пап... — всхлипнула Наташка, вывернулась из-под моих рук и исчезла.

Я с трудом поднялся, оглушенный, разбитый. Стучало в висках, перед глазами плыли оранжевые пятна, похожие на клочки рассеявшегося заката. Ощущение тоненьких невесомых ручонок на шее, вздрагивающее, угловатое, по-детски тощее тело, мокрая щека и это «пап», страдающее, любящее!.. Она простила меня. Простила не так, как прощают взрослые, а без всякого расчета, без раздумья. Простила потому, что любит.

Я стоял нетвердо на ногах, продолжая ощущать тонкие руки на своей шее.

24

Спотыкаясь, как пьяный, я добрался до дому.

В комнате душно, гудят мухи на оконных стеклах, на полках в приглушенном закатном свете поблескивают корешки книг — Валиных книг, которые она теперь не читает. На стене висит знакомый, изученный вдоль и поперек пейзаж ельничка на болоте. Не хочу ни о чем вспоминать, не хочу ни о чем думать, кроме Наташки.

Тонкие ручонки, охватившие мою шею. Попробуй-ка оторви их от себя, откинь в сторону! Какое сердце может выдержать это ощущение горячих детских рук! Я человек, а не камень. Я отец ей!..

Разве мне не ясно было и раньше, что никого нет на свете, кого бы я любил больше ее? Ничего нет дороже, ничего нет ближе!

Она еще не начала жить, еще только по-детски стала чувствовать и переживать, а я, ее любящий отец, в незащищенную, доверчиво открытую душу наношу рану. Время излечит? Может быть, и излечит, но все равно в душе останется шрам. Не мой, а чьи-то чужие глаза будут следить, как она растет день за днем. Не мои руки, а чьи-то другие станут направлять ее жизнь. Чьи-то глаза, наверняка менее любящие, чьи-то руки, наверняка менее бережные...

Валя... Но разве Валя такая беспомощная, как Наташка? Даже если на секунду предположить, что я смогу Вале что-то дать, чем-то помочь (ой ли, сомнительно!), то Наташка наверняка больше нуждается в моей помощи. Хватит отмахиваться, хватит убегать от мыслей, связанных с Наташкой, пора подумать о дочери и Вале вместе. Поставь для себя вопрос: кто тебе дороже? Поставь и честно ответь.

За спиной у Вали часть жизни, совершенно чужая тебе. Знаешь о ней только понаслышке. А жизнь Наташки?.. Разве ты не помнишь, как топтался возле крыльца родильного дома? Разве ты забыл, как тебе в руки передали завернутое в большое одеяло что-то, пока не имеющее для тебя ни лица, ни имени, но что-то живое, от прикосновения к которому скнуло сердце? Разве ты не радовался первой гримаске, похожей на улыбку? А первые шаги, когда детская ручонка судорожно стискивает твой большой черствый палец?.. С первого часа тебе принадлежит ее жизнь. Почему же ты должен от нее отказаться? В Вале течет чья-то кровь, кровь каких-то незнакомых тебе людей, а в Наташке — твоя собственная. У нее твои глаза, твои волосы, твой лоб. Наташка — это ты, освеженный природой, ты, кому суждено будет жить после твоей смерти. Нет, даже ради Вали не смеешь поступиться Наташкой...

Наташка ждала, чтобы побыть наедине. Она ничего не просит, ничего не требует, она просто любит. И я должен отвернуться от ее любви! Невозможно!..

На Валином столике среди флаконов и коробочек — нераспечатанное письмо. Его не было, его принесли, когда мы ушли из дому. Твердый конверт с размашистым адресом — от Ващенкова. Уже не первое письмо. Этот человек продолжает любить Валу...

Я виноват перед Тоней, что изменил ей, она виновата, что оклеветала меня в письме. Подлое письмо! Трудно простить клевету. Но если хочу, чтоб рядом была Наташка, то как еще поступить иначе? Придется простить письмо, придется смириться...

Надо дожидаться Валу, сказать ей все в глаза. Если уж предавать, то в открытую. Сказать?.. Видеть ее, слышать ее голос, снова почувствовать ее неистребимую веру. Нет, я не могу устоять перед Валею. При виде ее меня покинет решительность, и я останусь. Останусь, а потом без конца буду вспоминать Наташкины руки, без конца терзаться. Конец таким терзаниям один — уйти.

Я сел и, боясь, что Валя с минуты на минуту может вернуться, начал писать письмо. Сумбурное, трусливое письмо, со слезой, с самоунижением, с путаными объяснениями, что не могу жить без дочери.

Это письмо я положил рядом с письмом Ващенкова. Взял свой чемодан, бросил в него свои вещи: пару белья,

полотенце, рабочие брюки. У дверей остановился. Что обо мне подумает Валя? Мне это не безразлично.

Во дворе стукнула калитка. Я вздрогнул, опустил чемодан. Но под окном прошла Марья Никифоровна, на крыльцо не поднялась, загремела ведром возле сарая. Если Валя застанет меня, не смогу уйти. А может, не уходить? Опомниться?.. А Наташка, а ее руки?.. Перешагнуть через позор! Презирая себя, перешагнуть!

Я выскочил во двор...

Калитка, знакомое крыльцо, дверь. На столе стоит самовар, глаза Тони округляются, лицо пунцовеет от неожиданности. У нее гость. Более неприятной встречи не могло быть для меня. Напротив Тони, развалясь на стуле, сидит Анатолий Акиндинович, по-домашнему, в одной сорочке. Острый, длинный нос вздернут, он только что с обычным апломбом рассуждал. О чем? Конечно, обо мне. Он приподнимается, на лице легкое смятение.

И Наташка еще не спит. Она не вскочила со стула, она низко склонилась над своим блюдечком.

Секунду-другую мы все молчали. Я стою возле дверей с чемоданом в руке, у стола в неловкой позе Анатолий Акиндинович, а Тоня как сидела, так и сидит, паверно, не имеет сил подняться.

Я заговорил первый:

— Анатолий Акиндинович, мне нужно поговорить с Тоней.

Голова гостя высокомерно откидывается назад, узкая грудь выпячивается.

— Я уйду, Андрей Васильевич, — пачинает он холодно, — по...

— Вы это потом скажете, на досуге. А сейчас прошу...

Тоня молчит, не собирается мне возражать. Анатолий же Акиндинович вскипает:

— Я уйду, но прежде все-таки скажу. Скажу, что вы непорядочная личность, вы, больше того, гнусная личность. Да, да! Эта женщина — святой человек. Вы недостойны ее!

Я шагнул вперед, как можно бережнее взял сразу съжившегося Анатолия Акиндиновича за шиворот, и он, путаясь ногами, не произнося ни слова от изумления, придерживаемый мною, зашагал к двери.

— Мой пиджак! — кричит он уже из-за дверей.

Я снимаю со спинки стула его пиджак и сую ему в руки.

— Это возмутительно! Это рукоприкладство! Подобные вещи не проходят даром!

Я захлопываю дверь.

Тоня в это время поднялась, выпроводила поспешно в кухню Наташку, сама встала передо мной, знакомая, ничуть не изменившаяся — крупные плечи, маленькая голова, круглое неподвижное лицо, полные бедра, туго обтянутые юбкой. Она покосилась на брошенный у порога знакомый чемодан, и напряжение в ее округлившись глазах исчезло, губы сомкнулись. От сытых плеч и бедер, постного выражения на ее лице я сразу же не то что представил, а как-то почувствовал длинную-длинную череду дней, похожих друг на друга, как удары маятника у старых часов: завтрак, обед, ужин, постель, завтрак, обед, ужин, постель, в промежутках работа, разговоры о картошке, о получке, о гостях, о пирогах... Дни, знакомые наперед, как знакома эта стоящая передо мной женщина с мелкими бусами на сдобной шее — богиня домашнего очага, царица крохотного мира.

Она готова стать великодушной, эта царица, она собирается простить меня. Боже мой, на что я иду?!

Но чемодан уже стоит у порога, в кухне притаилась Наташка. Я устало опустился на стул.

— Образумился? Или прогнали тебя?..

Я угрюмо оборвал:

— Давай без нотаций. Согласна — принимай. Нет — не буду навязываться. Возвращаюсь ради Наташки.

— А я для тебя пустое место?

— Нет, не пустое. Ты мать Наташки.

— И только?..

— Только...

Тоня смолчала.

Так снова началась моя жизнь в старой семье.

Что мне рассказать о первых днях моего возвращения?

Рассказать о том, что продолжал не любить Тоню, что один вид ее — круглое, с крепко сомкнутым ртом лицо, ее

пышные плечи, бесстыдные бедра — вызывал во мне раздражение?..

Валя продолжала жить, как жила. Она ничем не напоминала о себе. Я по-прежнему ревниво следил за нашей районной газетой. Я стал любить ее. Прочитав до последнего знака, всю с титула до подписи Клешнева, отложив в сторону, я сразу же испытывал нетерпение: скорей бы следующий номер! Статья о Гужикове появилась. В тот день я думал только о Вале, я радовался за нее и страдал...

Валя не собиралась ехать к Ващенкову. Что ей Загарье? Не родина, к которой кровно привязана. Здесь у нее нет никого, кроме меня. Ради меня осталась! Ради меня живет! Продолжает любить, продолжает верить!

Валя, Валя! На что ты надеешься? Как ты можешь меня оправдывать? Ведь я же предал тебя! Я даже не могу сейчас с тобой встречаться. Я должен делать вид, что я добропорядочный семьянин, что забыл о тебе, зачеркнул тебя в душе. Каждый день, каждый час тебя вспоминаю. Но тебе-то от этого не легче. Зачем ты мучаешь себя, мучаешь меня? Я оборвал, ты не рвешь, ты надеешься. Валя, Валя! Не обманывай себя, отвернись и прости, если можешь. А не простишь, твои упреки, твою обиду приму, как должное, по праву заслуженное.

Я опять стал часто припоминать случай в московском метро. Мелкий дождь над Красносельской площадью, торопливый удаляющийся стук каблучков по мокрому асфальту. Там был мимолетный эпизод, непроверенная, туманная надежда на счастье. Бог с ним, с этим непроверенным счастьем! Но теперь-то я отказался от счастья проверенного. Сам отказался!..

Но есть еще Наташка. Я счастлив, что она рядом.

Меня порой охватывала дикая нежность к дочери. Вот она, с исцарапанными коленками, со светлой челкой волос над выпуклым детским лбом, с бездумными, открыто распахнутыми глазами. Я хотел, чтоб она проводила время только со мной, чтоб забыла двор, улицу, свои пехитрые забавы со сверстниками, игры в палочку-выручалочку, крышу сарая, где стоит клетка с голубями. Я мастерил ей игрушки, вспоминал забытые сказки. Нежность моя была так обильна, так не походила на мою прежнюю ровную любовь, что Наташка робела, держалась со мной с отчужденной застенчивостью и в конце концов утомлялась, ли-

чико ее принимало просительное выражение. А это меня пугало, я хотел, чтоб на мою ненасытную нежность она отвечала такой же нежностью.

И после этих порывов на меня находило разочарование, на какое-то время я становился прохладен к дочери.

Наташка же, встречая вместо преувеличенной ласки холодность, еще больше робела и начинала чуждаться. А это снова вызывало во мне бунт совести. Она-то в чем виновата, что я несдержан, что я неумерен? Почему она должна терпеть мою холодность, мое равнодушие? И снова неистовая, неумеренная нежность... Я сам мучился, мучил дочь.

Я пытался лечить себя.

Уходил с удочкой и пустым ведром на реку, забивался куда-нибудь подальше от людей и ловил пескарей. Ловил до тех пор, пока дно цинкового ведра не скрывалось под толщей снующих рыбешек. Вечером же я брал лодку Акиндина Акиндиновича — громоздкое, неуклюжее судно, добротное, как все в хозяйстве моего соседа. Облюбованная мною заводь называлась Подкудиновской, по имени деревни Кудиновки, приютившейся напротив, за полем ржи. С лодки видны ее крыши да рваная верхушка старого тополя, богатырем стоящего среди приземистых изб.

В этой заводи я забрасывал перемет. При течении, хотя и не быстром, наживить на тяжелой лодке пятьдесят крюков — дело нелегкое и для двоих, когда один сидит на веслах. Но я наловчился. Пока течение спосило мою лодку, я перебирал крюк за крюком, зацепленные за губу пескари шлепались за борт один за другим. Потом я клал на корму камень, который был привязан к концу перемета, и «заносил» его, то есть выезжал на середину реки и опускал на дно.

И я был рад тому, что завтра чуть свет у меня есть занятие, что мне сейчас надо пораньше лечь спать, ни о чем не думать, заботясь лишь о том, чтобы подняться до восхода солнца.

На рассвете, едва продрав глаза, я начинал спешить: скорей, скорей к реке, ключ от лодки в карман, багор — во дворе, скорей!..

Росая трава обжигает босые ноги, улицы села пустыньны, солнце не взошло, все кругом серовато-голубое, притушенное, свежее. Ей-ей, секундами испытываешь

радость, бездумную радость свободного зверя. Ни забот в голове, ни мыслей.

Подкудиновская заводь черна и неподвижна, дымится холодным туманом. Где-то в ее глубине, на дне, лежит, растянувшись, мой перемет, ждет хозяина.

Запускаю багор, веду по дну, лодку сносит. Ага! Зацепил! Подтягиваю упругую бечеву. Она шершавая от песка. Берусь за нее рукой — не хватаю, нет, осторожно, благоговейно берусь и сразу же чувствую живой, таинственный трепет...

Вот тут-то настоящее забвение. К черту все житейские неувязки! Ничего не существует на свете! Шершаво-колючая бечева в руке. По пей передаются толчки, идущие из глубины, толчки, от которых жаркой испариной обдает тело. На мгновение онемевает сердце и сорвется торжествующим галопом: «Есть! Есть! Что-то есть!»

Счастливейшая секунда! Ради нее я вчера весь день, засучив штаны, стоял с удочкой на солнцепеке. Ради нее до кости рассадил крючком палец. Это она, счастливая секунда, спасала меня вчера от мрачных мыслей, когда я, прежде чем уснуть, ворочался с боку на бок. Она сорвала меня до солнца с нагретой постели. Насладись же ею вдоволь, слушай — трепещет в твоей руке мокрая, пропитанная песком бечева, не спеши ее перебирать, продли тайну, скрытую толщей дымящейся туманом воды, помечтай...

Может, попалась знаменитая щука-дубасница. Она стара, как никто из живых. Она, возможно, старше самого села Загарья с его домами, старым и новым мостом, полуторастолетней церковью и еще более древней часовенкой. Она, эта щука, сбросила с себя шелуху икринки, когда люди не знали еще, что такое паровоз, когда величайшей скоростью на планете считалась скорость рвущей постромки тройки. Об этой щуке по всем ближайшим деревням ходят легенды. Говорят, что морда ее обросла зеленым мохом, что сотни крючков врубцевались в ее пасть. Немало выискивалось охотников поймать ее, и никто не смог. Может, тебе, Андрей Бирюков, блеснет дикое счастье? Может, на твоего пескаря позарилась мудрая царица этих вод, поросших хвостецом, кувшинками и осокой? Ну-ка, помаленьку начнем, поглядим, кто там...

Один крючок, другой — оба пусты. На третьем живой пескарь невинно суетится на поводке. Ого! Вот так ры-

вок! Надо держать крепче — щука! Так не рванет ни самый матерый окунь, ни мясистый голавль. У них всех рывок резкий и в сторону, а это тягучий, упрямый, вглубь, ко дну. Щука!.. Вот повела, делает тугой полукруг, крутая темная спина чиркнула по поверхности — скрылась...

Господи! Услышь молитву от неверящего в тебя! Господи! Не дай сорваться! Только бы не попался ржавый крючок, только бы он не сломался! Только бы выдержал поводок, не перетерся бы об острые мельчайшие, как наждак, зубы! Какая здоровая! Тут не подсачишь: голова окажется в сачке, а хвост наружу. Не перекинешь ее и за борт — сорвется!

Бечеву в зубы — и за весла. Измотать ее, выбить из сил, пусть воет, пусть гуляет туда и обратно. Только б выдержал поводок, только б крючок сидел прочно в пасти! Челюсти судорогой свело на бечеве, во рту вкус речного песка. Только б не сорвалась! Весла осторожно бьют по воде; между рывками устающей щуки слышно, как где-то далеко тащится по дну камень.

К черту лодку! Пусть ее несет течением. Берег рядом, вода по колено, засученная штанина сползла, мокнет в реке — плевать! Ближе, ближе к берегу, мельче, мельче, тесней щуке, меньше приволья, воздушный потолок опускается ей на спину, песчаное дно давит ей в брюхо. Сейчас она взбунтуется. Последний бунт в ее жизни... Только б не сорвалась!..

Брызги летят в стороны, среди их сверкания мелькнуло желтоватое брюхо. Моя рука метнулась вдоль поводка, пальцы без моего разума, без моего приказа звериным инстинктом нашли жабры и вцепились мертвой хваткой. Голова щуки притиснута к песчаному дну тяжестью всего моего тела.

— Есть!

Я выпрастываю из пасти крючок и бросаю щуку на берег, подальше от воды. Она неуклюже делает в траве прыжок-другой и засыпает. А у меня от возбуждения подергиваются коленные чашечки.

Мои руки в липкой слизи, которая пахнет не просто рыбьим запахом, а особым — щучьим. Я долго мою руки в реке, я дразню сам себя, оттягиваю момент, чтобы полюбоваться на свою жертву.

Вот она распласталась на траве — кожа пегая, с морозным, сизым отливом, зловещий разрез хищной пасти,

жабры хватают воздух. Ничего себе, кило на два, может, чуть поменьше. Не дубасница, копечно. Да что там дубасница? Сказка, легенда, пустой звук — нет ее на свете. А если б и была, то у такой древней старухи мясо твердое, как подметка. Моя щука — самая лучшая из всех щук, которые гуляют в реке.

На обратном пути, когда я, мокрый, продрогший, подпрыгивающей походкой иду домой, помахивая повешенной на палец увесистой щукой или держа ведро с трепыхающимися окунями, в такие минуты, когда крыши домов застенчиво, как щеки девушки, начинают пунцовать от невидимого пока еще солнца, когда надо огибать каждую ветку, переброшенную через изгородь, иначе она обдаст тебя жгучей росой, в такие минуты мне вдруг становится тоскливо до крика.

Щуки, пескари, туманы, ползущие по воде, розовые разливы неба перед восходом солнца — все это позолота, чтоб скрыть разъедающую ржавчину. Я боюсь завтрашнего дня. Я не имею права мечтать, я могу только оглядываться в свое небогатое прошлое. Мне всего тридцать три года, а жизнь, кажется, остановилась для меня.

26

В последние дни у меня были особенно удачные уловы. Ни одно утро не проходило без того, чтобы, взявшись за бечеву перемета, я не ощутил волнующих толчков. Щуки, матерые золотистые окуни, желтые, словно тропутые от старости ржавчиной голавли, даже вялые в эту жаркую пору налимы садились на крючки.

Как обычно, в лениво сгущающихся сумерках я наживлял перемет. Длинный багор, торчавший из лодки, мешал мне, и я его выбросил на берег.

Закат за спиной, река под лодкой, кажущаяся смолисто-вязкой, наживленные пескари, с чуть слышным бульканьем падающие за борт. Дома мне тяжело и неуютно, здесь спокойно.

Но пескари наживлены, я кладу на корму камень, опутанный веревкой, берусь за весла. Их осторожные всплески не нарушают тишины. Взмах, другой, третий — я на середине реки, концом весла толкаю камень. Все! Домой!

Скрылись из глаз крыши деревни Кудиновки и рвадая верхушка тополя. Скоро на правом берегу покажется глухая, без единого окна, бревенчатая стена зерносклада — это уже начало Загарья. И тут я вспомнил, что забыл на берегу багор. Вдруг да кто-нибудь случайно наткнется, заберет себе? Багор не мой, он взят у Акиндина Акиндиновича. Лучше вернуться за ним, чем потом оправдываться и извиняться.

Грести вверх по течению тяжело. Я причалил к берегу, вытащил лодку, босиком по крепко утоптанной тропинке, хранящей еще в себе дневное тепло, быстрым шагом направился обратно.

Не доходя до заводи, у которой был заброшен мой перемет, я услышал тихие голоса. Это место всегда безлюдно, все прибрежные тропинки, срезая поросший ивняком мысок, обходят его стороной. Какая нужда загнала сюда людей? Уж не позавидовал ли кто моей рыбацкой удачливости? Решили снять случайный улов, а быть может, вместе с ним и сам перемет?

Голоса ребячьи, приглушенные, вороватые. Прячась за кусты, стараясь не шуметь, ступая босыми ногами в холодную траву, я прошел ближе к берегу, осторожно выглянул.

У самой воды, зябко передрагивая плечами, стоял голый паренек с ведром в руках. Второй, по горло в заводи, где, цепляясь за хвостец, ползли ключья серого тумана, шел толчками, должно быть, бороздил ногой по дну, стараясь зацепить бечеву моего перемета.

Я узпал их: тот, что на берегу, — Сережа Скворцов, в воде — Федя Кочкин.

Приятная картина: учепики решили проверить перемет своего учителя.

— Глу-глубоко здесь, — с выдохом произнес Кочкин.

— Вчера он левее ставил. Там мельче.

От бредущего по заводи Кочкина доносится легкий всплеск. Сережа поеживается, передергивает плечами, перехватывает то одной, то другой рукой ведро.

— Есть! — доносится от Федора. — Нашел! — Его голова на секунду скрывается под водой. — Давай сюда с ведром...

— Глубоко же... Поди скроет.

— Давай, давай, не потонешь...

Придерживая обеими руками ведро, Сережа боязливо стал сползать в темную, дымящуюся холодным туманом воду.

— Ух-х!..

— Смотри не выпусти...

— Глуб-бина!

— В воду ведро-то попусти, легче нести.

В ведре у Сережи что-то плеснуло.

Воруют улов? А зачем ведро? И ведро тяжелое, не пустое...

Две головы и придерживаемое над поверхностью воды ведро сошлись на середине заводи. Голоса ребят от холода и возбуждения неровные, ломкие.

— Говорил тебе, возьмем сегодня лодку.

— Лодку, лодку, а он нас с этой лодкой заметит.

— В кустах бы спрятали, не заметил.

— Ладно, давай ведро ближе.

Снова слышится всплеск в ведре.

— Ишь верткий, никак не ухватишь. Не наклоняй, выскочит. Ага!.. Не хочет снова на крюк. Есть!

Что-то с легким плеском упало в воду.

— Давай окуня... Колется, черт! Бечевку-то держи! Не могу же я насаживать и бечевку держать... И этот сидит...

— Мелкий окунек-то.

— Какой есть. Язь зато тяжелый. До утра, гляди, что-нибудь само схватит. Здесь место хорошее. Андрей Васильевич не дурее нас... Выливай воду из ведра, пошли...

Пустое ведро, звякнув дужкой, упало в траву. Я подался в глубь кустов. Приплясывая, путаясь в одежде, стуча зубами, выскочившие из воды ребята стали одеваться.

— В воде-то теплее.

— Сейчас бегом побежим — согреемся.

Оделись, подняли ведро и замялись на берегу.

— Он багор тут бросил, не украли бы...

— Спрячем?

— А он не найдет. Нет уж, пусть лучше так лежит. Бежим!

Они проскочили мимо моего куста. Я не шевелился, пока топот босых ног совсем не стих.

Так вот почему в последнее время мне так везло в улове! Ой, ребята!..

Надо же додуматься: снимают рыбу со своих переметов и насаживают на мой! Со своих, а может, даже с чьих-то чужих...

Против меня написана статья в газете. Против меня выступали в роно. Меня осуждают за то, что сходился с чужой женой. Осуждают и сплетничают. Все это паверпяка известно ребятам. И они меня жалеют.

На моем перемете сидят теперь язь и окунь. Кто не бывал счастлив в детстве, когда торжественно приносил домой вытащенную из реки своими руками добычу? Федя Кочкин и Сережа Скворцов украдкой делятся своим маленьким счастьем со мною. Та щука, что попала мне позавчера, не их ли подарок?

Никогда между мной, Сережей и Федей не было особой сердечной близости. Я их учил, они учились — деловые отношения, и только. Чем я заслужил такую благодарность? Меня всегда беспокоило: как-то оценят мою работу другие учителя, что скажут Василий Тихонович, Иван Поликарпович, Степан Артемович? Но что подумают, как оценят работу Феи Кочкины и Сережи Скворцовы, -- нет, об этом я много не задумывался.

Неужели я больше ничего не смогу для них сделать? Неужели на этом все кончится? Верно, хорошо же я выгляжу со стороны, если ребятам пришло в голову ублажать меня...

Я взял багор и отправился к лодке. Утром снял свой перемет и решил больше его не ставить.

Вскоре, кстати, зарядил дождь. Меня вовсе перестало тянуть на реку. Я чувствовал, что по утрам Тоня внимательно и испуганно приглядывается, в каком настроении я встал. И это приглядывание еще сильнее раздражало меня. Я перестал с ней разговаривать, на все вопросы бросал только «да» или «нет». Она то старалась быть предупредительной до заискивания, то не сдерживалась и начинала упрекать:

— Дикарь дикарем — слова доброго не услышишь.

И этого было достаточно, чтобы я вспылил:

— Не нравлюсь?

— Кому ты такой нравишься?

Она была права, я не нравился даже самому себе. Именно потому, что она права, меня начинало бесить.

— Не воображай, что ты мне очень нравишься.

— Плоха тебе? Знаю. Как для тебя стать хорошей? Всяко, кажись, подхожу, только что в ногах не валяюсь. Шел бы ты лучше к той.

— Не ради тебя живу. Ради Наташки.

— Наташки?! Да ты и ей жизнь портишь. То обнимать бросишься, то не глядишь. Бояться она стала родного отца...

— Молчи!

— Намолчалась. Теперь рот не зажмешь! Иди к своей... — бросалось циничное слово, и я зверел.

— За-мол-чи!..

Но в скандалах Тоня была сильнее меня. Умолкать приходилось мне. Я с грохотом, сотрясая весь дом, хлопал дверью и уходил.

А на улице шел дождь, пузырились лужи, бочки под стоками, предусмотрительно поставленные хозяйственным Акиндином Акиндиновичем, были переполнены. Я хлопал дверью, а идти-то мне было некуда. Никому я не нужен, никто меня не ждет, ни под чьей крышей не пайду себе крова.

Я уходил в сторону от села, опять на берег реки. Бродил под дождем в промокших насквозь ботишках, глядел на тощие ветлы, на ослизлые глинистые берега, на неуютную свинцовую воду и думал о Феде Кочкине и Сереже Скворцове, моих учениках. Я мог бы сделать для них что-то большое, хорошее. Мог, если б мне помогали, поддерживали, понимали меня. Но теперь я бездомный, неприкаянный, не имеющий права даже жалеть самого себя. Я виноват и в безобразных скандалах с Тоней, и в том, что остался без товарищей, в том, что кругом одинок, что беспомощен. Виноват я сам, виноват слепой случай. Как все получилось нелепо!..

Я беспощаден к Тоне, она беспощадна ко мне, а вместе мы не щадим Наташки. Однажды после очередного скандала я ушел не на реку, а в чайную. Я уселся в той отдельной комнатке, где мы с Ващенкоковым в последний раз вели разговор. Мне принесли водки, и я под стук дождя, под шумные разговоры обедающих шоферов за стеной впервые напился в угрюмом одиночестве.

Я пил и думал, что с того дня, как я разговаривал здесь с Ващенко, прошло не так уж много времени — чуть больше месяца. За этот месяц товарищи от меня отвернулись, любимую женщину я предал, жена ненавидит, дочь боится, а сам себе я противен.

Пьяного меня встретил на улице Акиндин Акиндинович и привел домой под руку.

Я проснулся вечером — чугунная голова, вялая расслабленность, мешки под глазами.

Дождь, шедший почти целую неделю, кончился. Я оделся и вышел. Тоня не задержала меня, не повернула даже головы в мою сторону.

Влажный воздух был на удивление теплым, что ни шаг, то с головой ныряешь в какую-то ласковую волну. Изредка не налетал, а как-то подплывал слабый ветерок, шевелил тяжело повисшую листву на деревьях, перебирал ее бережно и нежно, как задумавшаяся мать перебирает волосы своего ребенка. В мокрой траве звенели кузнечики. Их было так много, они так азартно играли, что, казалось, звенело все: и бревенчатые стены домов, и листва, и само пространство между землей и далекими редкими звездами. Прокричат бранчливо на реке лягушки, разом смолкнут, и снова лишь яростный звон, лишь влажный бережный шелест листвы. Жить бы и жить, радоваться такому вечеру. Но нет, не для меня простые человеческие радости...

Измученный, издерганный, полубольной, ощущая во всем теле какую-то грязь после похмелья, окруженный сейчас теплым, густым от влаги воздухом, тишиной, которой несколько не мешает яростный звон кузнечиков, я прислонился плечом к чьей-то изгороди и заплакал...

Да, я плакал по-настоящему, слезами. Они обжигали мне лицо, я торопливо смахивал их рукой, чувствуя запущенную щетину на щеках, старался приглушить рыдания, а ветхая изгородь слегка сотрясалась под моим плечом. Было уже темно, на улице, усеянной тусклыми лужами, пусто: никто не мог видеть моих слез...

Я не плакал с детства. Хотя нет, в последний раз я плакал в армии, в самом начале службы. Из резервов нас перебрасывали на линию фронта, был большой поход, я не умел по-настоящему наматывать портянок — стер до крови ноги. Надо было идти вперед, надо мной стоял командир отделения, младший сержант Лобода, говорил с издевкой и с нескрываемым удивлением:

— Дывитесь, люди добрые, сопли распустил. Ось, ды-
витесь, мамку вспомнил...

И я не мог удержать слез. Мимо меня шли солдаты, как я, измученные походом, и угрюмо, по-недоброму, смеялись. Им, идущим навстречу смерти, моя маленькая беда в большой общей беде действительно казалась смешной.

Больше я никогда не стирал ног и больше никогда не плакал. Не плакал я во время ранения, когда меня вытаскивали на плащ-палатке, ни в госпитале, когда мне под местным наркозом стягивали перебитые осколком нервы, ни потом, в мирное время, а ведь тоже случались тяжелые минуты...

Сейчас, как ни странно, от слез, от того, что их никто не видит, я испытывал облегчение, почти наслаждение.

Есть, видать, своя горькая радость в том, чтобы пережить один на один свой позор, трезво его понять, почувствовать себя пусть не очень сильным, не очень стойким, но все-таки человеком.

Мои слезы быстро высохли. Вечер кругом был по-прежнему до духоты, до приторности тепел и влажен. А кузнечики все так же продолжали звенеть. А слабый, едва уловимый ветерок перебирал листья молодой липки над моей головой. И все это вместе настойчиво напоминало, что мир, в котором я живу, прекрасен, что преступно угнетать себя, мучить себя, издеваться над собой и другими, когда жизнь может быть такой хорошей, когда тебя окружает совершенство.

Бежать отсюда! Пойти немедленно к Вале и предложить: едем!

Она должна согласиться, если хочет моего спасения. Я теперь лучше знаю, что следует беречь, чем надо дорожить. Буду оберегать дружбу новых друзей, стану дорожить Валею, ее верой в меня, ее любовью ко мне.

Уехать, и подальше! Я здоров, я сравнительно молод, у меня много-много лет впереди. Нет причин отчаиваться. Нет пока конца, все еще может устроиться.

Сейчас надо идти прямо к Вале. Хотя зачем поддаваться минутному порыву? Не все обдуманно, не все рассчитано, хватит с меня опрометчивых поступков, к ней следует прийти с трезвой головой, с бесповоротно принятым решением. Утро вечера мудренее. Утром и надо действовать.

Поздний час, спит село. То село, в котором прошло несколько значительных лет моей жизни, заполненных не только несчастьями, но и скромными радостями. Я все-таки сроднился с этим селом. Здесь будет жить моя дочь. Буду помнить о ней, жить для нее, буду вспоминать эти травянистые улочки, черемуховые ветви, переброшенные за изгороди. Что-то ждет меня?.. Жаль Загарья, как старого друга, который не всегда-то баловал преданностью и вниманием.

Подойдя к дому, я увидел на нашем крыльце двоих, услышал приглушенные голоса. По белой кофточке узнал Тоню. Скрип калитки оборвал их разговор. Собеседник Тони что-то торопливо бросил, должно быть, простился, соскочил с крыльца и пошел в глубь двора к половине Акиндина Акиндиновича, осторожно обходя стороной лужи. Я догадался, что это Анатолий Акиндинович. Тоня встречается с ним в мое отсутствие, о чем-то советуется. Впрочем, удивляться нечему, должна же Тоня в ком-то найти сочувствие. Она нашла его в Анатолии Акиндиновиче. Не разделяю ее выбора. Но мы ведь всегда и на все смотрели разными глазами. Ее дело.

Она стояла на ступеньках крыльца. Подойдя вплотную, я почувствовал на ее лице подозрительность — пьян? — и холодную замкнутость, предупреждавшую: не спрашивай ни о чем; то, что я делаю, с кем встречаюсь, тебя не касается.

Мне надо было что-то сказать, и я сказал первое, что взбрело в голову:

— Пора бы спать. Время-то позднее.

И так как в моем голосе не чувствовалось ни упрека, ни холода, Тоня тоже мирно ответила:

— У тебя тут гость был.

— Кто? Не Анатолий ли Акиндинович?

— Нет. — Голос ее сразу стал резким. — Он приходил ко мне. Был Василий Тихопович...

— Василий! — воскликнул я.

Никто в селе, кроме Вали, не знал о нашей размолвке, о том, что я оскорбил своего друга. Тоне казалось, что это самый обычный визит.

— Принес тебе из школы письма какие-то. Ждать не стал, сразу ушел.

«Приходил, принес письма... Какие письма?» Я поспешно вошел в дом.

Письма лежали стопкой на моем столе. На самом верху письмо: знакомый, твердый, расчетливо ровный почерк. Письмо от Павла Столбцова! Что ему от меня нужно? Письма от незнакомых людей, судя по обратным адресам, одни из города, другие из районов, которые я знал только понаслышке. Вот письмо от Лещева. Оно адресовано не Вале, а мне.

Я перебирал разнокалиберные конверты и удивлялся: никогда еще не получал сразу столько писем. Что бы это могло означать?

И вдруг смутная догадка! В первую секунду я не решился ей поверить, настолько она была неожиданна. Я нужен... Нужен Павлу Столбцову, нужен Лещеву, нужен какому-то Игумнову из Великореченского района. Кто такой этот Игумнов? Никогда не слыхал о нем, а он вот знает о моем существовании.

Пока я запутывался в своих личных делах, пока мучительно решал вопрос, жить с Валей или не жить, пока я, скрываясь от всего живого, ловил щук на перемет, отчаивался, убивался, отравлял себе и другим существование, жизнь шла вперед. В разных местах разные по характеру учителя пытались решать наболевшие вопросы. Обсуждение моего доклада, закончившееся так печально для меня, статья Павла Столбцова в газете, двулика, неопределенная статья, — все это сделало свое дело, известило: есть один ищущий, он пытается шагнуть вперед, он против застоя. Тот, кто не равнодушен, откликнулся.

Валя как-то сказала: «В твоей жизни случилась пустыня». В моей жизни — да, но в общей жизни всех людей пустынь быть не может. Жизнь шла своим чередом, и я забыл об этом.

С какого же письма начать? С письма Павла Столбцова? Уж этот может служить верным барометром, от него-то я сумею узнать, как обстоят мои дела. Нечего искушать себя — я разорвал конверт.

«Дорогой Андрей!..» Ага, знаменательно, я для него не только Андрей, но еще и «дорогой».

«...Я знаю, что ты обо мне думаешь дурно, знаю, что ты перестал считать меня своим товарищем...» Еще бы не знать!..

«...Ты прямолинеен, твоему характеру чужда всякая гибкость, ты отвергаешь всякое понятие о тактике. И в этом твое достоинство и твой недостаток. Я же постоянно обязан помнить о том, что не все крепости берутся лобовой атакой, я вынужден был тогда поддержать стариков, чтоб иметь какие-то надежды на будущее, чтоб потом была возможность подать в твою же защиту голос. Ты, наверное, заметил, что в газетной статье я уже попытался смягчить удар. Конечно, попытка была робкая, и она не могла, разумеется, полностью удовлетворить тебя. Если б ты тогда послушался моих советов, то теперь бы твое имя уже благожелательно склонялось во всех школах области. Но ты отверг советы, проиграл во времени, не сомневаюсь, что пережил много неприятных минут.

Все это предисловие. Теперь — к сути. В воздухе давно висит проблема совмещения школьного обучения с производительным трудом. На днях, не где-нибудь, а в обкоме партии состоялось совещание по этому вопросу. Присутствовали весьма авторитетные товарищи. Конечно, были вызваны два наших корифея — Никшаев и Краковский. К ним обратились с прямым вопросом: как быть? Но ты уже догадываешься, что, кроме пустых фраз, от них ничего не услышали. Тогда я взял на себя смелость выступить. Я говорил, что трудовое воспитание нельзя рассматривать в отрыве от самого процесса обучения, что этот процесс требует некоторого усовершенствования. И тут-то я напомнил о тебе...»

Письмо кончалось опять соболезнованиями, пожеланиями успехов «как на педагогическом поприще, так и в личных делах».

Лещев сообщал, что «ветер меняется, пахнет свежестью», в их школе ставят ребром вопрос о тесной связи с колхозом, расспрашивал, что у меня нового, как думаем мы встречать учебный год. Просил сообщить Вале, что очень беспокоится, так как не получил от нее ответа на два своих письма.

Было письмо от директора школы, одного из тех, кто подходил ко мне после обсуждения доклада. Письмо сугубо деловое, состоящее из вопросов и сомнений.

Авторов этих писем интересуют мои личные паходки, работы Ткаченко, но это частности — фон, задний план писем; красной нитью в них проходит одна мысль, одно

желание — не можем мириться с застоём, требуем права на поиски.

Только письмо Игумнова из Великореченского района оказалось ругательным. Он пытался мне доказать то, что в свое время доказывал Степан Артемович: учеба не игра, а сознательный и нелегкий труд, никакими усовершенствованиями и нововведениями нельзя увеличить природную способность учеников к освоению знаний. Мир тебе, незнакомый мне товарищ Игумнов! Твои речи не новы, они не могут испортить мне торжества.

Из открытого окна несло в комнату запахом сырой земли, трав, свежего сена с дальних покосов. Далеко у реки снова раскричались лягушки, среди их переливчатого, разноголосого, влажного клокотания вырывался утробный крик какой-то могучей жабы — такой голос может быть только у царственной особы.

Я сидел за столом перед разложенными письмами, брал то одно, то другое, снова и снова вчитывался...

Письмо Лещева, письмо почти незнакомого мне директора, письма каких-то учителей. Они сомневаются в моей работе, они не согласны со мной, но они интересуются. Я для них не безразличен. Первые письма, но наверняка не последние. Много таких, кто не хочет топтаться на месте, пытается идти вперед. Каждый по-своему, не моим путем, нет.

Новые пути только нащупываются. И было бы страшно в этот момент выбрать вождя, беспрекословно его слушаться, безоговорочно принимать его взгляды. Надо спорить, сомневаться, сомневаться и еще раз сомневаться, чтоб избежать ошибок. Споры не вражда, а содружество, в конце концов только они приведут к открытию истины.

Вот они, письма людей, для которых мое дело не безразлично. Я не один, я в их рядах. Но для того чтобы совместно с ними спорить и искать, нельзя опускать руки. Это преступно перед ними, перед жизнью, за которую я ответствен вместе со всеми.

Ночь. Василий Тихонович, который принес мне эти письма, спит. Он оказался решительнее меня, первый сделал шаг навстречу. Он пришел, он надеялся застать меня дома, — значит, рассчитывал и поговорить. К черту сомнения! Никуда не поеду, буду жить в Загарье, хочу продолжать нашу работу!

Не застал, жаль! Сидел бы он сейчас здесь, чуть ссутулив гибкую спину, выдвинув вперед острые плечи, сжав

между коленями руки, курил, щурил свои жесткие ресницы на дым, слушал бы и говорил... Нет, не могу ждать. Не могу спать. Разбужу его. Он поймет мое нетерпение. Должен понять! Иначе зачем же он приходил?

Я сгреб письма, сунул в карман, потушил свет и осторожно прошел через комнату, где спали Толя и Наташка.

У Василия Тихоновича во дворе была дощатая пристройка — летник. В ней в свободное время он собирал радиоприемники и какие-то замысловатые приборы для школьного кабинета физики. Часто он и спал здесь.

Открыв калитку, я вошел во двор, стукнул раз-другой в дощатую стену. За квадратным окном, затянутым от комаров марлей, было тихо. Я постучал решительнее.

— Кто там? — Его голос.

— Василий, прости... Это я.

— Черт возьми! — Снова скрип и тишина. Должно быть, Василий повернулся на другой бок на своем топчане...

— Василий...

Никакого ответа. Я потоптался, вздохнул и пошел прочь.

Уже за оградой, оглянувшись, я увидел, как вспыхнул свет в окне, затянутом марлей.

— Василий!

— Да заходи же! Дверь не заперта.

Он сидел на топчане, сердито жмурился от яркого света. На смуглой щеке красный рубец от подушки, в майке и трусах, обнажены костистые плечи, тонкие мускулистые руки и грудь, густо поросшие курчавым волосом.

— Ну... Пришел? — Он почесывает волосатую грудь, по-прежнему сердито жмурится. — Выбрал же время... — Сладко зевнул и сразу же стал добрее: — Присаживайся.

— Василий... С чего начать? С извинений?

— Ладно. Не гляди покаянно. Я и сам виноват. Должен сообщить: я у нее был, познакомился...

— Был? У Вали?..

— Да. Она ко мне пришла, после того как ты... Ну, а потом я и сам стал заглядывать к ней. Тебе косточки перемывали. Не икалось?

— Нет, и в голову не приходило.

— Все, что я о ней говорил прежде, беру обратно. Сидит во мне эдакий самодовольный невежа, мнящий себя человеческим классификатором, который, не подумав,

готов ставить печать на каждого встречного. Она человек, и не из породы несчастненьких. Нет! Ей сейчас нелегко, а на все несчастья смотрит по-своему: «Какая же жизнь без испытаний? Хуже, когда их нет». И твой поступок она оценивает как бы со стороны: «Ушел к семье, — значит, не все перегорело, значит, что-то держит тебя в семье, за это нельзя осуждать. Пусть поживет, пусть перегорит». И верит, что непременно должно у тебя перегореть, что ты вернешься, только надо выдержку иметь, только нужно собрать силы и ждать. Это, брат, мужество, и не всякому-то оно доступно.

Я прятал глаза. Я давно мечтал, чтоб эти два по-своему близких мне человека — Валя и Василий Горбылев — поняли друг друга. Вот и поняли, но стыд сейчас портит мне радость.

— Услыхали мы, — продолжал Василий, — что тебя пьяным на улице видели. Тут и она испугалась. Это уж выходило из ее расчетов, так можно не просто перегореть, а сгореть начисто. Она меня самого поторопила, чтобы навестил тебя... Вот и вся история, как на исповеди. Теперь ты здесь, вижу, опомнился.

— Да, конечно.

— Ну и добро. Письма-то прочитал? У меня все руки чесались их распечатать. Что поделаешь, если с детства внушили, что чужие письма читать непорядочно!..

Мы просидели до рассвета, читали письма, обсуждали, мимоходом Василий сообщал мне новости:

— Коковина глядит, как бы ей снова повернуть на все сто восемьдесят. А для крутых поворотов, ты знаешь, ей нужны жертвы. Как ты думаешь, кто намечается в это жертвоприношение?

Я подумал и не совсем уверенно ответил:

— Уж не Тамара ли Константиновна?

— Она. Коковина нападала на нас, а нам теперь изоблоно шлют запросы. Опять, выходит, просчет. Надо как-то оправдываться, надо на кого-то сваливать свои грехи. Тамара Константиновна тоже нападала на нас и довольно активно, она и будет жертвой. Свалить, пока не поздно, на нее, самой остаться чистой.

— Станный, однако, метод быть правоверной.

— Не столько странный, сколько подлый.

Я ушел от Василия примерно в то время, когда обычно возвращался с рыбной ловли. Солнце еще не взошло, но

окна домов уже горячо полыхали от зари. На высоком крыльце магазина сидела в обнимку с ружьем закутанная в платок ночная сторожиха и сладко спала.

Я шел по самой середине пустой, кажущейся в этот час такой просторной улице. Мои ботинки глуховато стучали по булыжнику. Я шел и оглядывался на пылающие окна, на тронутые уже первым лучом солнца скворечники на высоких шестах, вслушивался в птичью возню, шел, и звук моих шагов отдавался под крышами домов. Каждая мелочь заставляла меня пристально вглядываться: окна домов, зажженные заревом, сияющий скворечник в бледном небе, воробьи, шарахнувшиеся из-под ног, — все удивительно, все необычно. Так, наверно, радуются тяжелобольные, к которым снова начинает возвращаться здоровье, когда бессонные ночи, мучительные боли, кошмары во время сна позади, а впереди жизнь, впереди бытие.

Дома — мягкий полумрак. В своей кроватке разметалась Наташка, из-под острого локотка видна часть разругавшейся щеки и растрепанные волосы, вдавленные в подушку. Я осторожно поцеловал ее.

Написать, что ли, записку Тоне? Зачем? Я еще приду, и мы поговорим. Надеюсь, что на этот раз обойдется без скандала.

Ясной зимней ночью я и Василий Тихонович вышли из школы. В этом году зима выдалась на редкость снежной: дома по самые окна вдавлены в сугробы тяжелыми, полуметровой толщины, заснеженными крышами, колья оград торчат возле самых ног, деревья сгибаются от тяжести снега. Даже Млечный Путь на черном небе казался сейчас снежным следом, наметенным метелью.

Мы шли, похрустывая валенками, два усталых и озабоченных человека. Только что закончился наш день в школе. Теперь он всегда кончается для нас очень поздно.

Василий Тихонович — директор школы, я — завуч. В нашем назначении на эти должности проявила усердие и настойчивость Коковина. Она таки подставила ножку Тамаре Константиновне. Мне и Василию Тихоновичу при-

шлось даже защищать ее. Тамара Константиновна работает теперь рядовым учителем, преподает историю, по-прежнему относится к нам с недоверием.

А Коковина на всех совещаниях поет дифирамбы, где только можно возвещает:

— Товарищи! Загарьевская десятилетка творит свою трудовую поэму!

Но наша «трудовая поэма» начинается пока что с прозы: и телятник, и свинарник, и конюшня, где стоят всего шесть кляч, перешли в наши руки в самом незавидном состоянии — потолки не утеплены, стены прогнили, всюду страшная грязь. Устраивались общешкольные субботники, выгребали навоз. На этих субботниках работал наш трактор, тот самый воскресший старец, который участвовал когда-то в первомайских торжествах, а потом долго стоял под школьной стеной. За его рычагами сидели Федя Кочкин и Сережа Скворцов. Мы устраиваем теперь советы командиров, где сообща подсчитываем, как получить доход, как утеплить свинарник и как его расширить к весне. Доходы! Их пока нет, не сводим концы с концами. Все надежды на будущую осень, на тот урожай, который еще не посеян. Но надежды-то есть, а это главное.

Столбцов написал мне еще два письма, и ни на одно из них я не ответил. Он готовится к защите диссертации, часто выступает, громит рутинеров Никшаева и Краковского.

Я и Василий Тихонович идем по захлебнувшемуся в сугробах селу под чистым небом, где разбросаны по-зимнему тусклые звезды. Мы молчим, потому что за день успели наговориться обо всем. Возле моста мы расстанемся. Василий Тихонович свернет направо по берегу к себе. Я же пойду через мост во Дворцы.

До сих пор мы с Валею живем у Марьи Никифоровны. В моем же старом доме появился новый хозяин. Тоня еще осенью объявила своим мужем Анатолия Акиндиновича. Я бываю у них часто, но стараюсь выбирать такое время, когда новоиспеченного отчима моей дочери нет дома. Не могу выносить этого человека. Встречаясь, каждый раз мы ссоримся. А Тоня его уважает: он и умный, он и внимательный, пользуется авторитетом. Упаси боже, не обижает Наташку.

Наташка на следующую осень пойдет в школу. Я ни в чем не раскаиваюсь, я не мог поступить иначе, но тем не

менее считаю себя перед ней виноватым. Я прихожу к ней раз в неделю, иногда два раза, а Анатолий Акиндинович живет с ней бок о бок, будет жить до тех пор, пока Наташка не станет совершеннолетней. Этот влюбленный в себя наставник не обойдет ее своим воспитанием: будь вежлива со старшими, уважай мнение окружающих... Каждое слово Анатолия Акиндиновича правильно, я бы и сам говорил дочери те же слова, и тем не менее тревожит меня судьба Наташки. Одна надежда, что дети часто вырастают вопреки родительским наставлениям. Быть может, школа и жизнь внесут поправки в семейное Наташкино воспитание. Для того я и живу на свете, для того я и работаю днями и ночами без отдыха.

Мы остановились у моста. Василий Тихонович протянул руку:

— До завтра.

Но мы не успели расстаться. На зимнем небе, на том извечном небе с порошей Млечного Пути произошло маленькое событие. Казалось, одна из звезд, испокон веков намертво прикованных к черному своду, одна из тех, что, казалось, наблюдали рождение Земли, появление на ней первых морей, первой твари, выползшей на безжизненные берега, одна из этих звезд вдруг сорвалась с места и с напористым упрямством медлительно поползла наперекор всему поперек неба. И это была крупная звезда, горевшая сочным светом.

— Он...-- произнес Василий Тихонович.

И я понял, что это за звезда. Весь мир кричал о ней. Газеты, радио на разных языках восхищались и удивлялись ее появлению. В разных концах планеты — и с материков и с бортов кораблей — уже видели ее. И вот она появилась в тихом загарьевском небе, в глухом звездном затоне, что висит над заснеженными крышами.

Пересекая привычные созвездия, плыл спутник.

А мы, два человека, обремененные будничными житейскими заботами, мы, привыкшие больше смотреть на то, что делается на земле, часто забывавшие о небе, стояли теперь, задрав головы, стояли и не шевелились.

Вечер был поздний, улицы села пусты, все жители уже забрались под крыши, укладывались спать возле теплых печей. В стороне лениво лаяла дворняжка. Все выглядело, как всегда.

А он напористо продолжал плыть наискось через небо. И изрыгающие огонь ракеты, вонзающиеся сквозь пустоту в вечную ночь... И астронавты, впервые ступающие ногой на почву Марса, той планеты, которая дала пищу для самых невероятных легенд, когда-либо придуманных человечеством... И купающаяся в вечерней и утренней заре, красивая и непроницаемо таинственная Венера... Нет невозможного в завтрашнем дне человечества! Рушатся легенды, выпревание фантазии кажутся смешными, сказки тускнеют от будничной действительности. Нет невозможного в завтрашнем дне.

По загарьевскому небу, не торопясь, с должным достоинством плывет среди звезд новое небесное тело, сгусток материи, сотворенный людскими руками, светлый узелок, связывающий эту минуту с будущим.

И мои мысли, мысли самого земного, самого обычного из людей, не умеющего проникать ни в величественные тайны космоса, ни в секреты грозного атомного ядра, мои мысли начинают бунтовать, мечты становятся пугающе дерзкими.

Класс, парты, доска у стены, кусок мела, чертящий коренные согласные или выделяющий запятыми деепричастные обороты, — вот мой день, который я только что прожил. Я хочу сейчас, чтоб лица детей при объяснении деепричастных оборотов или теорем Пифагора горели возбуждением, в детских глазах прорывалась страсть: понять! проникнуть! запомнить!.. Я хочу... Но меня теперь распирает дерзость, я хочу многого. Почему бы мне не мечтать с размахом? Хочу, чтоб класс, состоящий из ребятшек села Загарье, вылетел на месяц или на целую четверть в Москву. Да, в Москву, не на простую экскурсию, а учиться. А на его место из какой-то московской гордской школы сюда прибыл бы такой же класс в нашу благоустроенную, не уступающую столичной школе-интернат. Пусть загарьевские ребятки поживут в столице, окунутся в жизнь завода, побывают в музеях, а москвичи поработают на тракторах, узнают, что такое колхозная ферма. Учеба пойдет своим ходом как в Загарье, так и в Москве, и там и тут гости будут получать свои знания. Но мир для них станет шире и глубже, проще потом найти свое место в сложной и многообразной жизни. А жизнь к тому времени не только обогатится, но наверняка усложнится, станет запутанней.

«Ой ли?.. — возразят мне. — Нелепость... Бред... Фантастика...»

Да, фантастика. Но я хочу фантазировать и дальше. Мечтаю, чтоб из села Загарье ученики вылетели на учебную четверть в Лондон или Милан, в поселение скотоводов Новой Зеландии или в какой-нибудь городок штата Оклахома. А здесь бы мы принимали оклахомских ребят: учитесь русскому языку в Загарье, учитесь всему, чем мы богаты, а наши дети станут учиться вместе с вашими вашему умению и вашей споровке. Почему бы и нет? При дружбе и согласии от таких визитов худа бы не было.

Несусветный бред! Фантастика!

Но давно ли здравомыслящим людям казалось, что мечты о путешествии на Марс и Луну — несусветный бред. Почему же мне держать свои мечты на узде? Мне, живущему в дерзновенный век, когда нет невозможного в завтрашнем дне!

Конечно, можно думать иначе. Можно с холодной трезвостью прикидывать, что ракеты, изрыгающие огонь, понесут не отважных астронавтов в глубь космоса, а зловещий груз водородных бомб с континента на континент. Спутники же станут не научными станциями, а корректировщиками, направляющими смертоносные снаряды. Можно мечтать не о том, чтоб наши дети вместе учились, вместе строили, вместе радовались новым открытиям, а о том, чтоб сбрасывали друг на друга бомбы, жгли школы, вешали учителей. Но разве это мечты? Нельзя мечтать о могиле.

Я мечтаю о жизни... Люди, чей ум и чьи руки создали спутник, бросили его к звездам, вряд ли доживут до того дня, когда первый звездолет, оставив за бортом последнюю планету солнечной системы, понесется на неверный свет альфы Центавра. Они мечтают об этом, но не надеются стать живыми свидетелями осуществления своей мечты. И я не все свои мечты выполню своими руками. Их подхватят те, кто станет жить после меня. Исчезнет мое тело, забудется мое имя, но мои мечты, мои желания станут жить, изменяясь и совершенствуясь. В этом моя бессмертность, в этом смысл моей нынешней жизни, с ее скромными победами и неудачами, с радостями и горестями, неизбежными заблуждениями, — смысл жизни обычного сельского учителя.

Ушел спутник, утонул в черном небе. И ночь над селом Загарье приобрела свой первобытный облик: мерцают привычные звезды, заиндевевшей полосой растянулся Млечный Путь, над сугробами приподымаются заснеженные крыши. Все по-старому, казалось бы, ничто не может изменить застывшую жизнь.

— До завтра,— протянул мне руку Василий Тихонович.

— До завтра,— ответил я.

Завтра — новый день. Завтра я понесу дальше свой счастливый крест к неизведанному, к непрожитому, в бесконечность.

1959

СОДЕРЖАНИЕ ·

ТУГОЙ УЗЕЛ (<i>Роман</i>)	5
ЗА БЕГУЩИМ ДНЕМ (<i>Роман</i>)	233

Т 33 **Тендряков В. Ф.**
Собрание сочинений. В 4-х томах. Т. 2. Ро-
маны. М., «Худож. лит.», 1979. 613 с.

В том входят два романа, написанные в пятидесятые го-
ды, «Тугой узел» — о жизни послевоенной деревни и «За бе-
гущим днем», — произведение, где остро поставлены проблемы
школьного обучения.

Г 70302-197 подписное
028(01)-79

Р2

*Владимир Федорович
Тендряков*
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том 2

Редактор Н. Иванова
Художественный редактор
И. Сальникова
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Т. Калинина и Е. Павлова

ИБ № 1245

Сдано в набор 02.02.78. Подписано к печати 02.02.79. А06502. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 32,34 усл. печ. л., 33,804 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 52. Цена 2 р. 50 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарская, 16

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 2 имени Евгении Соколовой «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29